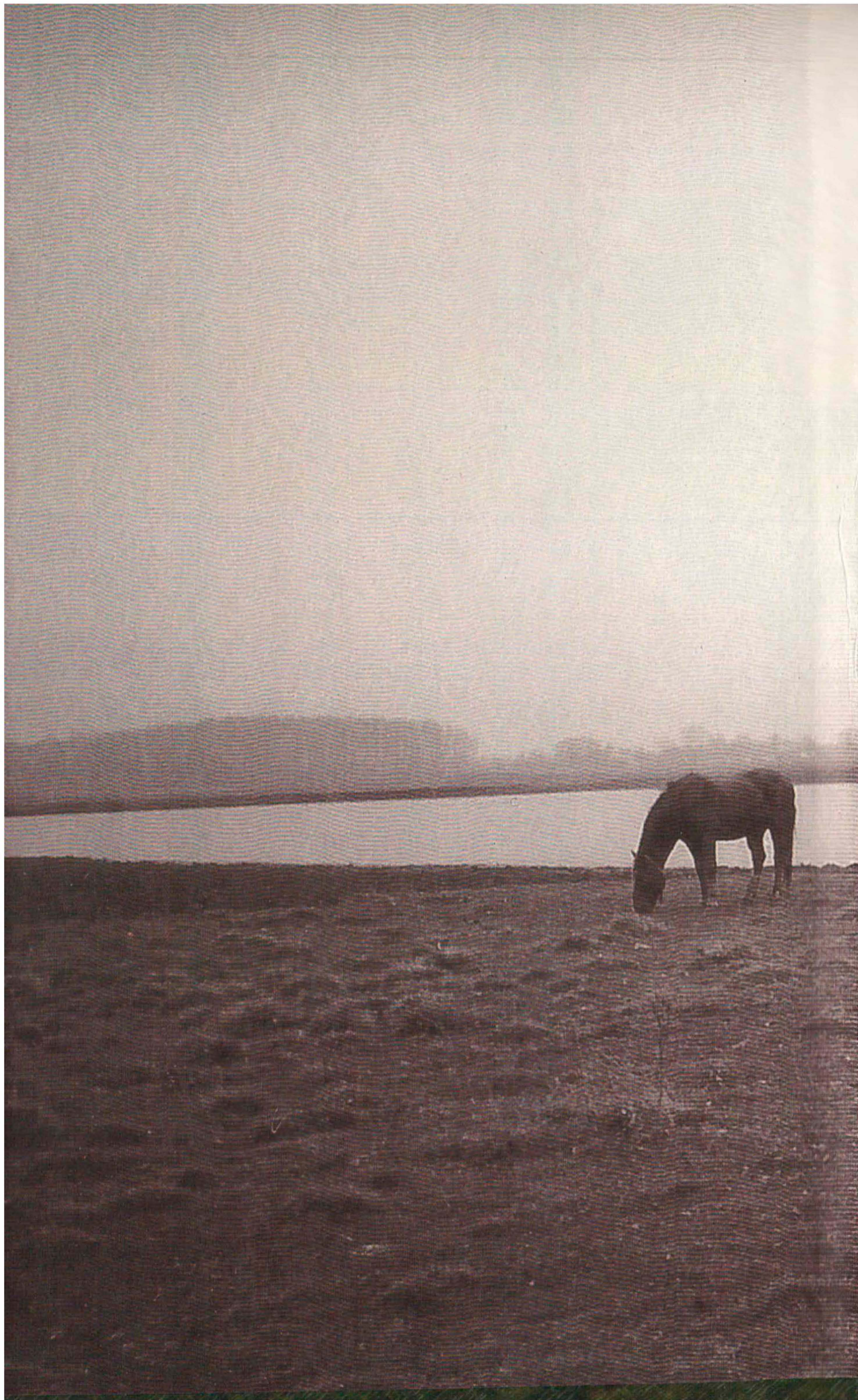
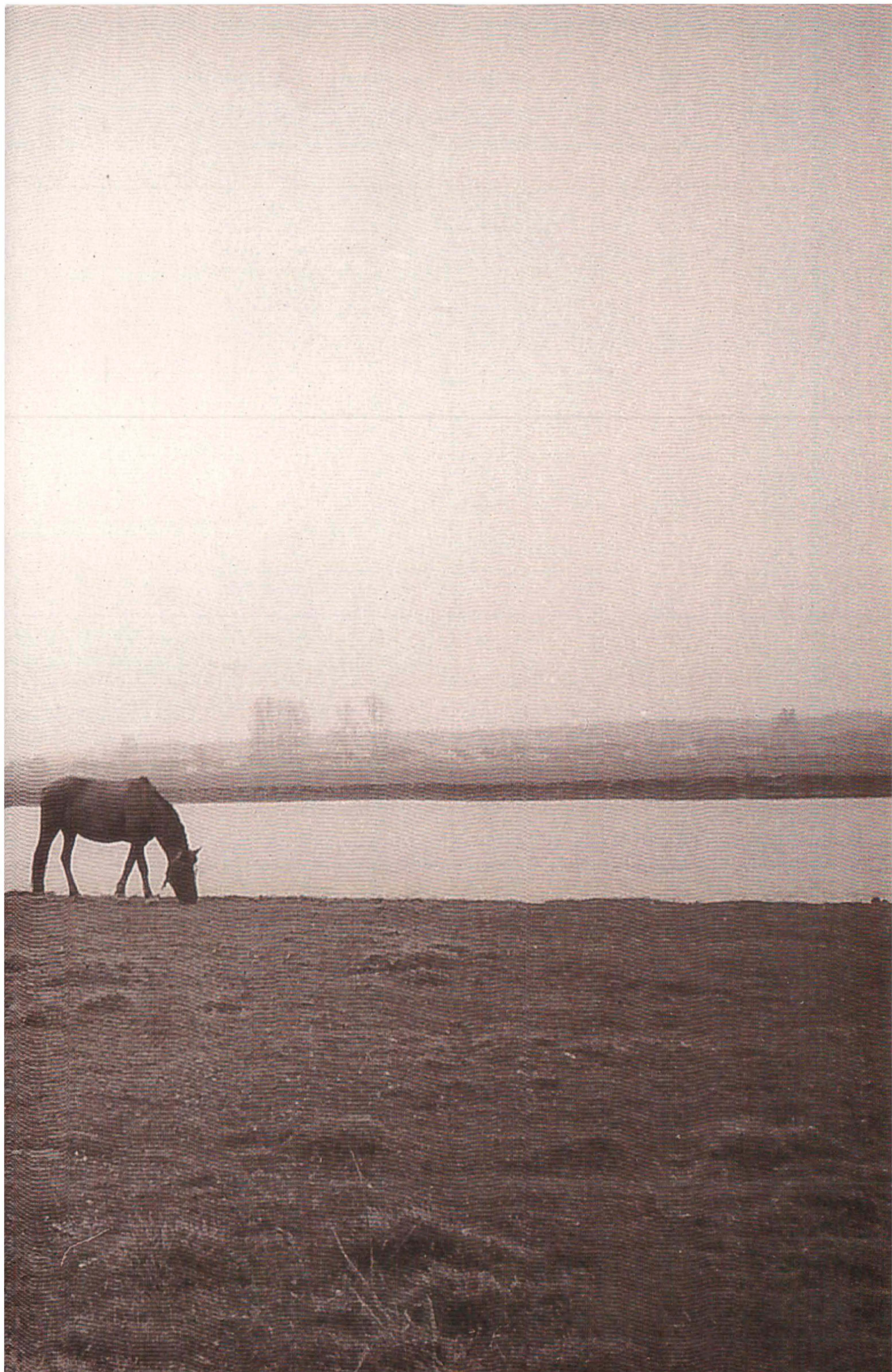


ЕВГЕНИЙ НОСОВ











*К 80-летию  
Евгения Ивановича Носова*



# Е.И.НОСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том третий



*Вечерние стога*

•

*...И остаются берега...*

•

*Во всей правде-матушке...*

Москва · Русский путь · 2005



# Е.И.НОСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



Москва · Русский путь · 2005



Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Администрации Курской области

Составитель *Е.Д. Спасская*  
Примечания *Т.А. Соколовой, Е.Д. Спасской и В.В. Васильева*

В оформлении издания использованы репродукции  
живописных работ, рисунков и фотопейзажей *Е.И. Носова*

**Носов Е.И.**

Н 84      Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3: Вечерние стога: *Рассказы, повесть. ...И остаются берега...: Повести, рассказы, эссе. Во всей правде-матушке...: Статьи, очерки, интервью / Сост. Е.Д. Спасская; примеч. Т.А. Соколовой, Е.Д. Спасской и В.В. Васильева. — М.: Русский путь, 2005. — 576 с., ил.*

ISBN 5-85887-187-9

ISBN 5-85887-219-0

В настоящее издание включены практически все произведения известного русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР и других литературных премий (в том числе премии А.И. Солженицына), кавалера многих орденов и медалей, Героя Социалистического Труда, члена Академии российской словесности *Евгения Ивановича Носова (1925–2002)*, написанные с 1948-го по 2002 г.

Произведения распределены по тематическому принципу. В томе 3 собраны произведения о жизни деревни, которую автор знает изнутри, а также повесть об Онеге, рассказы разных лет и ряд публицистических материалов.

**ББК 84 Р2**

© Е.И. Носов, наследники, 2005  
© Е.Д. Спасская, составление, примечания, 2005  
© Т.А. Соколова, В.В. Васильев, примечания, 2005  
© П.П. Кривцов, фотографии, 2005  
© Русский путь, 2005



# *Вечерние стога*

Рассказы, повесть





## НАГЛЯДНЫЙ УРОК

Ну так, товарищи члены бюро. Тут уже наш секретарь доложил, как мы, комсомольцы из «Красного пахаря», хлеб убирали. Все правильно рассказал, без утайки и прибавки. Верно, что были поначалу потери зерна, никто от этого не отпирается.

Я и раньше нашему секретарю Ивану Матвеичу Мухину говорил, и теперь, потому как он здесь находится, опять скажу: допустил ты, Иван Матвеич, в организации ротозейство. Как же! Началась уборка, вся техника в дело пошла, от комбайнов на тока зерно валом валит, а контроля за урожаем никакого нету. Правда, я тогда в поле не работал, за волами ухаживал. Но дело мое тоже на уборку было направлено.

Ехал я как-то на велосипеде на свою ферму, гляжу — дорога так зерном и пестрит. Вся хлебом позатрушена. И всякой птицы на ней видимо-невидимо. Гуси так те прямо разлеглись посерёд дороги, лапки вытягивали и лежа пшеницу подбирают. Взяло меня за живое, завернул на ток к Ивану Мухину. Он заведующим током был. Ну я его, значит, сразу и взял за пуговицу.

— Что ж это ты, — говорю, — дорогой наш секретарь комсомольской организации, за порядком не смотришь и нас, комсомольцев, к порядку не приучаешь?

— А в чем дело? — спрашивает

— Да как же! Сразу две пары волов пшеницы объелись. Выходит, пока хлеб в амбар не попал, трави его скотом, птицею, рассы по всей ивановской? А кто дал такое право — урожай транжирить?

— Ну ты, полегче, — ответил мне Мухин. — Так и сказал: «полегче». — Расшумелся! Сначала сплунь, а потом и расскажи толком, с чем пришел.

Отошли мы за скирд, присели на обмолоченной соломе.

— Давай докладывай, — сказал Иван, — только попонятней, не петушись.



А как тут, товарищи, не петушиться? Хотя я и не член комиссии, и не начальник какой, а тут же прямо на соломе и пристыдил.

Он мне и отвечает:

— Ну что ж, коли ты такой моторный — тебе и вожжи в руки: помоги комитету контроль над хлебом наладить. Бери себе кого-нибудь побойчее в помощники и проводи рейд по комбайнам, транспортным бригадам и токам. И критику твою принимаем за основу. Так и выразился: «за основу». Это вроде как бы не целиком и полностью, а только одну частность признал. Ну да ладно. Главное, вижу, парень тоже сильно обеспокоился.

Кончилось наше заседание, утер Иван пот рукавом, пожелал мне удачи, пошел хлеб принимать. Утром, говорит, доложишь комитету обо всем, что видел.

Напарника я никакого не стал искать. Куда его, на багажник, что ли, посадить? Сел на велосипед и покатыл прямо в свою бригаду.

Пшеница у нас уродилась добрая. Зайдешь — одно небо и видно. Заблудиться в два счета можно. Тем более что я росточком, сами видите, не по нашей пшенице удался. Сел на велосипед — все равно и с него ничего не видать. Хотя бери да и по солнцу правь... Только мне никаких компасов не понадобилось. Дорога-то вся зерном запорошена. Вот вы, товарищ второй секретарь, хоть в нашем «Красном пахаре» с самой посевной ни разу и не были, а и вы бы с пути не сбились. Валяли бы себе по рассыпанному хлебу и на третью бригаду в самый раз забрели.

Слышу, где-то впереди обоз скрипит. Зерно от комбайнов везут. Ну-ка, говорю я сам себе. Сейчас я их проверю — они рассыпают или кто другой. Слез с велосипеда, нарвал на обочине пук травы и аккуратно размел дорогу шагов этак на десять. Только управился, гляжу, из-за поворота выезжают три подводы. На передней Ванька Сухов, кузнеца сын, комсомолец с позапрошлого года. На второй — Петро Гнездилов. Этого мы по весне приняли. А на последней Семка, тот, которого из прицепщиков прогнали. Помните, еще мы его на собрании чистили? За то, что он примостил на пятикорпусном плуге дверь от калитки и на нее соломы настелил. Устроил себе, значит, постель и завалился спать. Плуг ночью возьми да и отцепись. Тракторист не заметил, устал человек, ну и гоняет по полю один трактор, надеется, что у него за спиной прицепщик. А Семка знай дрыхнет посередине пашни. Так вот этот самый на третьей подводе ехал. И опять не в рабочем положении. Растянулся к солнцу брюхом, в зубах соломиной ковыряет...

— Здорово, говорю, ребята. Не вы ли это зерном дорогу мостите?

— А ты кто такой за начальник? — поднялся Семка. — Знай свое дело — волам хвосты накручивать.

Так прямо и обозвал меня, товарищи члены бюро.



Пока шла перебранка, возчики и не заметили, что я им на пути ловушку устроил. Проехали они чистое место на дороге, и тут сразу все ясно стало.

— У кого, — кричу, — бричка дырявая? Признавайтесь!

Разозлились возчики, остановили подводы, идут ко мне. Сейчас, думаю, по шее нашьвыряют. И на помощь в такой глухомани звать некого. Крутом одна пшеница стеной высится. Правда, можно было на велосипед — да и деру. Но я решился стоять до победного. Подходят. Я и говорю:

— Вань, ты комсомолец? Ты, Петро, тоже комсомолец?

— Дальше что? — спрашивают.

— А то, — говорю, — что совесть должны комсомольскую иметь. Плядите сюда.

Показал разметенную дорогу, они сразу и остыли.

— Чья бричка дырявая?

— Иди проверь, — хмуро отозвался Ванька Сухов.

Проверили, верно, крепкая. У Петра ничего. Правда, в одном месте немножко доски разошлись, но Петро дыру соломой залатал.

— Выходит, твоя, Семка, течет? — подмигнул мне глазом Сухов.

— Держи, карман! — огрызнулся Семка.

— А вот мы сейчас посмотрим, — сказал Ванька.

— Не лезь! — Семка взялся за кнутовище. — Говорю, не моя!

— А чья же? За наш счет хочешь проехаться? Ну-ка, ребята, проверь!

Стали мы осматривать. И верите, товарищи члены бюро, в задней стенке дырку от сучка нашли. Палец свободно пролазит. Доска, значит, рассохлась, сучок и выпал.

— Это что? — подступили мы к Семке.

— Подумаешь, дыра великая, — скривил губы Семка.

— Да ты знаешь, сколько через эту дыру добра ушло? — говорю я ему, а сам чувствую, краснею от злости.

Ванька предложил было акт составлять. А что акт? Бумажка да и только. Не наглядная эта штука. Погодите, ребята, говорю, мы сейчас похлеще акта сочиним...

Товарищи члены бюро! Я вам уже доложил, что росточка я невеликого. А потому вынужден был снимать кожаное седло с велосипеда, а трубку, к которой седло привинчивается, мешком обматывать. Снял я этот мешок, привязал к задку телеги. Семка понял, зачем мы мешок к бричке подвязываем, — кинулся не давать. У меня, вот посмотрите, и до сих пор на рубахе пуговицы оторваны. И глаз немножко затек... Я как узнал, что меня на бюро вызывают, на ночь медный пятак прикладывал, чтобы рассосало малость. Это мы Семку связывали. Связали, значит, ему руки, положили Петру на бричку. А на его повозку я со своим велосипедом устроился. Дырку в повозке затыкать не стали. Это затем, чтобы зерно в мешок сыпалось.



Поехали. Семка кричит, ругается. Петро его за веревку держит, чтобы не вывалился.

— Пустите, а то еще морды понабиваю.

— Лежи! — цыкнул на него Петро. — Ну как там, насыпается?

Я глянул на мешок. Он уже отвис от набравшегося в нем зерна, раскачивается.

— Сыплется! — кричу ребятам.

Только к току подъехали — вот тебе навстречу председатель Игнат Васильевич с комсоргом Иваном.

— Пьяный, что ли? — спросил председатель, взглянув на Семку.

— Нет, это мы разгильдяя на месте преступления застукали, — доложил я. — Колхозное зерно по дорогам рассеивает. Куда его, Игнат Васильевич?

— Такого судить будем. Комсорг, бей в рельсу, собирай народ.

Как раз обеденный перерыв был. Кто молоко из бутылки попи-вал, кто яйца ногтем колупал. Ударили в рельсу. Люди повскакивали с мест, обступили повозку, толкуют, кому что на язык попало. Одни — что, мол, Семка хату поджег, другие — дрался в пьяном виде.

Влез я на повозку и говорю:

— Нет, товарищи колхозники. Ни хату не поджигал, ни дрался, — а сам одним глазом только половину тока вижу. — Он хуже натворил...

Отвязал мешок.

— Вот, говорю, посмотрите, люди добрые, куда ваши труды разбазаривают. В мешке за один рейс полпуда собрано. Давайте теперь считать, сколько Семка за эти дни хлеба рассыпал. Сколько дней убираем? Уже пять? Сколько рейсов за день делал?

— Тоже пять, — подсказал автоком Иван Мухин.

— Теперь помножим полпуда на пять да еще на пять. Это двенадцать с половиной пудов набирается. Слышишь ты, Семка, дубовая твоя башка?

Тут меня одернули, чтобы я не переходил на личности, а говорил по существу.

— А по существу вот какая бухгалтерия получается, — сказал я, подняв над головой мешок с зерном. — Выходит, что Семка свой заработанный в колхозе хлеб по дорогам рассыпал да еще колхозу задолжал. Нечего ему на трудовень получать.

— Выходит, что и нечего, — согласились колхозники. — Пусть идет с метлой пшеницу по полю сметать. Это его рассыпана.

Лежит Семка, слушает, бледный весь, забыл даже соломинку из рта выплюнуть.

— Вы его хоть развяжите, — сказал сторож дед Василий. — Как он, связанный, отвечать-то за свои поступки будет?

Развязали Семке руки. Все ждут от него последнего слова. Взмолился он:



— Братцы, я ведь не нарочно. Во всем этом сучок виноват. Я и не заметил, как он выскочил. Эх, а все через характер страдаю...

Испугался парень, перед всем колхозом обещал работать на совесть. Одним словом, собрание очень наглядно прошло. Председатель даже вспотел от удовольствия.

— Молодцы, — говорит, — комсомолцы. Хороший задали урок ротозеям.

И верно. Плядим, вечером возчики повалили со своими повозками к кузнице: проверять и чинить бестарки. Побоялись в наш колхозный «Крокодил» попасть. Мы потом и до комбайнеров добрались. Так что приезжайте теперь, товарищи члены бюро, в «Красный пахарь», полюбуйтесь. И косим начисто, и возим чисто.

Извините, если где не так выразился. К речам непривычен...

1956

## НА РАССВЕТЕ

Всю неделю низко висело отяжелевшее небо. Ветер кружил и пересыпал снег, шершавым языком зализывал санные пути и тропки, ровнял овраги, а за хатами и амбарами выметывал диковинными полукружьями сутробы с острыми гребнями.

Этой ночью вдруг прояснилось, и над Воробьевкой объявился молодой, чистенький месяц. Пока мело и вьюжило, он успел за тучами высветиться широким серпом, и от колодезных журавлей, перепутанных и запорошенных вишняков и жердяных изгородей на снег проронились робкие, нежные тени.

Воробьевка длинно, нестройно, перебиваясь пустырями, тянулась по крутому берегу речки, как раз по ходу месяца, и он за долгое раздумчивое свое шествие в ночи успел оглядеть каждое подворье, пересчитать стожки на огородах, выслушать всех воробьевских шариков и тузиков, разноголосо и тоскливо обрехивавших его из глубины заснеженных дворов.

Часу в третьем ночи, налившись голубоватым предутренним накалом, месяц повис над Алениной хатой, что сразу за овражком зачинала новый порядок Воробьевки, именовавшийся Березовскими выселками. Берез, однако, здесь никаких не росло, сама же Аленина хата в нахлобученной по самые оконца соломенной папахе, толсто укрытая снегом, одиноко маячила посередине разгороженной усадьбы.

Сквозь морозную ботву на стеклах месяц заглянул в кухоньку, осветил горбатый сундук под самым окошком, на котором, лишь недавно забывшись, Алена беспокойно переживала во сне нахлынувшие на нее события.

Вчера сына ее Севку выбрали председателем здешнего колхоза.



Весь вечер, буравя метельный снег, тарахтел по Воробьевке трактор с двумя санными будками, собирал и свозил людей в правление. Алена тоже была на собрании, народу, несмотря на завируху, набилось полно, она сидела ни жива ни мертва, плохо понимая, что говорили и кричали, и все было как на суду. Как на суду, пытали Севку про всю его жизнь, спрашивали, с чем пришел, как думает повести дело. Иные кричали против: мол, хрен редьки не слаще; иные вступались: дескать, ежели свой, так оно, может, и лучше будет.

Севка сидел за красным столом, между старым председателем Фролом Палычем и каким-то начальником из района, сидел насупясь, кусая губы, был бледен лицом, и, когда встречался с глазами матери, сердце у нее холодело от неприятного страха за сына.

Севка потом и сам говорил с трибуны речь. Алена тянула шею, слушала, но мыслями не могла поспеть за Севкиными словами, потому что неотступно думала: «Как это все будет?»

Вернувшись с собрания, Алена не могла уснуть, долго ворочалась на сундуке и под конец сморилась запоздалым, тяжелым сном.

Ей почему-то снилось, будто провожала мужа Степана на фронт. Привиделось все так, как было когда-то на самом деле, со всеми подробностями, какие теперь и наяву не всегда приходили на память. Как Степан, суровый и молчаливый, в чистой исподней рубахе, морщась от сигарки, старательно и пристально обвертывал новой портянкой ногу, положенную на колено другой ноги, как расправлял складки рядна и обхаживал ступню ладонью, а руки были темные от застарелого мазута, с белесыми волосками на кургузых, негнучих пальцах. Перед севом или жатвой Степан, бывало, собираясь в свою бригаду, всегда требовал чистую рубаху и сам выкраивал из мешка, который поновее, свежие портянки, и в тот день, снаряжаясь на войну, он обувался так же неспешно и рачительно, будто шел на пашню перед страдой.

И еще привиделось, как на машинке перешивала Степану наволочку под заплечную сумку. У нее не нашлось белых ниток, она строчила черными, понимала, что нехорошо это, и сквозь застилавшие слезы видела, как по белому полотну ложилась черная кривая стежка...

И как потом Степан посадил на колени детишек — двух на правое, двух на левое — и говорил ей, чтоб ничего не берегла, если обернется круто, чтоб продала костюм его серый, который дали в премию, и часы именные, и велосипед, и лес, что берегли на новый сруб...

И даже то привиделось, как грохнулась она в Степановы сапоги и заголосила впричет, и все слова припомнились до единого: «Что же ты, Степушка, говоришь такое, будто и вертаться не собираешься? Да нешто мы ироды, чтоб продавать костюм, ни разу не одетый, выжить тебя из собственной хаты...»



Уходя, Степан в последний раз оглядел двор, ошкуренные лесины под плетнем и старую, осевшую набок хату. Одно было непонятно: и пиджак, и мешок белый за плечами были Степановы, как тогда, а лицом и голосом вроде бы Севка. И сказал он ей непонятное: «Полно убиваться-то, не на войну иду. Председателем выбрали».

От этого сна Алена полоумно подскочила на сундуке, порывисто и шумно дыша, будто вынырнула из омута.

Освоившись с темнотой, Алена разглядела на стене у сенной двери пальто и салогги под вешалкой. Все это была Севкина одежда, и, стало быть, никакой войны не было, а сам Севка мирно посапывал в горнице.

В сенях проснулись и тихо загомонили гуси. Старая гусыня, чуя близкую весну, дробно стукотела в кухонную дверь, выщипывая войлочную обивку. Негромкий семейный гомоник птицы окончательно успокоил Алену, и она, перекрестив рот щепотью, опять прилегла на сундуке.

— Ох ты, Матерь Божья! Привидится же такое...

Она уже не смогла больше уснуть и тихо лежала, перематывая, как пряжу с одного клубка на другой, бесконечные свои мысли, — начала со вчерашнего собрания, а незаметно перетряхнула все свое житье-бытье.

Месяц наискосок переместился из одного кружка оконца в другой, высветил из темноты осколок зеркала. Зеркальце это было вмазано в печь еще в давние времена, когда Алена ходила молодой и, бывало, возясь с горшками и ухватами, нет-нет да и посмотрится в осколок, чтобы держать себя перед мужем в опрятности. Была она в свои годы не последней девкой. Правда, с лица не очень приметная, но зато брала свое, когда не сидела сложа руки. Выйдет в круг — в плясе себя не помнила, ноги чуть ли не словами выговаривали «Чеботуху». Заведет частушку, голос — пей, не напьешься, ключ родниковый. А еще коса — ни у кого и на погляд такой не было: через всю спину коса ржаным перевяслом. В работе и того всех пуще: мешок одной рукой за угол, другой за устье, а из-под низу коленом поддаст — и уже в телеге мешок как есть в шесть пудиков. Что стог свершить, что косой прогон вымахать — не столько работа казалась мудреной, сколь легка была девка на руку. Пока раздумывали нерасторопные воробьевские ухажеры, сама себе выбрала в поле жениха, приголубила эмтээсовского тракториста, тихого, застенчивого парня, безродного и пришлого откуда-то с донских низов.

Жили жадно, как и работали. За пять супружеских лет четверых ребятишек народили. Бывало, соседка Марья разжалостливится: ты, мол, Ленка, хоть годок передохни, поостынь малость, себя побереги, или времени больше не будет? А она раз за разом не только не портилась лицом и всем прочим, а еще пуще наливалась здо-



ровой бабьей красой. Муж попался сговорчивый, работающий, бригада его была первой по району. Что ни сезон — премия, то деньгами, то часами, корову справили, всякую птицу, припасли лесу на новый дом. Как-то под октябрьские Степан одним заходом себе велосипед купил, ей — швейную машину. Собирались жить прочно, на твердом корню.

И вдруг, как обухом по голове, — война...

Алена припомнила, как уходили на фронт воробьевские парни и мужики и как без них затаилась, притихла и обезлюдела Воробьевка. Будто стала ниже хатами, словно выросла в землю. А потом осенними забурьяненными дорогами накатил враг, вконец затоптал еще теплившиеся угольки привычной колхозной жизни. Все сразу оборвалось. Отбросил враг Воробьевку к самой черной нужде, к лучине, к знахарям и повитухам.

Поснимала Алена со стены Степановы грамоты, скрутила в трубочку, обвязала тесемкой и запечатала в кувшине вощиной. Среди ночи закопала кувшин у огородной межи. Но кто-то донес, что муж ходил в ударниках, и начали выматывать душу: сначала корову отняли, потом забрали сено, в сене нашли велосипед со швейной машиной, а потом свезли лес на блиндажи да еще разобрали рубленую амбарушку.

Не сдавалась Алена, отбивалась от нужды, как могла, по окрестным деревням выменивала на щепоть соли, на мучной обсевок последнее барахлишко. Только костюм Степанов остался на дне опустевшего сундука. Под конец пошла с сумкою молить людей, но костюма не тронула. Берегла, как затаенную свою надежду. Случалось, бредет безлюдным, стылым полем с разными кусочками в сумке, услышит самолет и, скорее, не глазами, а сердцем поймет, что свой. Будто со дна темного колодца, долго глядит на серебристый крестик. Уж и самолет скроется за далью, и гул его истает в морозной тишине, а она все глядит вослед, переполненная тоской.

Перед весной, по последним метелям, пришли наконец наши. Пришли и прошли, не задерживаясь, шляхом дальше, на запад. На другой день Алена обстригла и выкупала ребятишек, выскребла ножом половицы, отбила в мерзлой земле кувшин с грамотами и украсила ими горницу. Потом с ведром и тряпкой побежала мыть полы и окна в захламленном немцами сельсовете.

Припомнилось, как опять собирали колхоз: снесли припрятанные плуги и боронки, хомуты и еще кое-какой инвентаришко. Из живности в общем хозяйстве оказались две нестроевые лошади, оставленные проходившим армейским обозом, да еще председатель — солдат на деревянной ноге.

По весне вся Воробьевка высypала в поле. Первый раз за эти годы собрались вместе всей деревней. Вышли с детишками, ветхие старики и те выползли. Стаскивали с пашни сухой, застаре-



лый бурьян, жгли большие жаркие костры. Люди хмелели от сквозного вешнего ветра, от крепкого запаха талой земли, но еще больше — от ощущения пришедшей вольности. Война ушла куда-то далеко, лишь иногда кто-нибудь из детишек опасливо насторожится, приняв за вражьи самолеты тяжелые клинья гусей, низко тянувшиеся у горизонта. Безногий председатель Усов в кургузой шинельке, увязая в оттаявшей земле деревяшкой, размечал загонки. У кого уцелели коровы, пахали на коровах. Алена сладила себе из приводного ремня лямку, подбила ее, как хомут, куском потника и, туго подвязав рушником живот, стала в плуг за коренного. Справа и слева, по четыре с каждой стороны, впряглись бескоровые солдатики. Рассыпавшись нестройным полукругом, чтобы не мешать друг дружке, бабы налегли на построики. Лемех туго врезался в слежалую землю, медленно, неровно змеился перевернутый синеватый пласт. «П-шол, п-шол, п-шо-о-ол! — подбадривал Усов, припрыгивая сбоку. — Еще чуток, бабоньки, еще нажмем, родненькие!» Бабы пьяно раскачивались, с вытянутыми до земли руками, в упрямом молчании переставляли босые ноги. В конце гона они останавливались, терли намученные плечи, измятые лямками груди, но никто не уходил из упряжки, не попрекал Усова за его просящее понукание.

Может, все опять и вернулось бы к Алене — бабу трудно сломать, пуще лыка она в жизни, — если б только Степан возвратился домой живым. Тем и держалась она, что ждала мужа. Но пришла бумага — и все впереди вдруг показалось ей непроходимой топью, и не видела она края той топи, и не прошла бы, не сдвинулась с места, если б не четверо ребятишек, из которых самому старшему, Севке, было всего девять годков. Тяжело приходила в себя овдовевшая солдатка, а оглядевшись, опять потянулась на люди. Она и без того уже была не той, прежней Аленкой, какой ходила при Степане, а тут сразу как-то сникла, обмякла, как надрубленная лесина. Все ушло, осталось самое необходимое, чтобы тянуть, кормить четверта: хребет да жилы. Да еще коса осталась, уже не ржаная, а пеньковая, все больше отдававшая холодной мертвяной сизостью. И вот это зеркальце... Год от года мазала и белила Алена печь, обрастало зеркальце глиной и побелкой, уцелел от него глазок не более пятака, и теперь, отражая свет месяца, глядело оно на Алену печальным голубоватым глазком из далеких времен ее молодости.

Ободренные тишиной ночи, заливчато пиликали сверчки в лунном полусвете кухни. Но Алена, думая о своем, почти совсем их не слышала. Привычное, обжитое трюканье сверчков отдавалось в ушах не задевающим внимания звоном, как извечный дух старой хаты, в которой она прожила во вдовьих трудах и заботах почти четверть века.



Последние десять лет Алена жила с младшими детьми. Потом разлетелись и они. Осталась Алена одна в хате, как старая картофелина в лунке. Еще и теперь под руку попадают то растрепанный, замусоленный пальцами задачник, то ссохшийся недомежок — башмачишко, а уже двое младших служат в армии, а дочь Настя замужем на разъезде.

Севка же ушел из дому еще подростком. Как занеладилось в те годы в колхозе, так и ушел. Хотел было пойти на курсы трактористов, по отцовской специальности, но за малолетством не взяли. Тогда он мотнул в город, поначалу пристроился у дядьки, плотничал возле него негласно. Дядька денег Севке не давал, а держал его при себе за харчи и одежду. Алена и этому была рада, но Севка засвоевольничал, отписал, что не хочет жить, как при старом режиме, и ушел в ФЗУ. Школа эта оказалась и того лучше — на всем готовом. После ФЗУ определился в техникум. Днем на производстве, а вечером учился. Последние годы работал прорабом на разных стройках, стал присылать домой деньги. Радовалась Алена: выбился-таки малый в люди! И вот тебе на — бросил все, прикатил в Воробьевку. Да еще полез в председатели, в самое ненадежное и колготное дело.

В сенях на насесте захлопал петух, пустил сонное коленце. Алена сунула ноги в валенки, накинула на шею юбку и опять, остановленная думами, долго сидела так, с юбкой на шее, уронив руки на голые худые колени. Последнее время, томимая одиночеством, она подумывала о том, чтобы продать хату и перебраться к дочери на разъезд. Севку она считала отрезанным ломтем. Младшие, когда отслужатся, наверное, тоже не приживутся в Воробьевке. Осталась Настя. Алена и порешила переехать к ней по весне, тем паче что к этому сроку Настя выходит в декрет. Алена сидела на сундуке, соображая все это, и ее порой заливала теплая волна радости оттого, что Севка теперь будет с нею, но этот радостный наплыв проходил, Аленино лицо опять становилось тревожным и озабоченным, как только она начинала думать о вчерашнем собрании.

Алена оделась, растопила печь, пристроила на полу чутунки и сунула в угли утюг. Потом засветила керосиновую лампочку, осторожно, выбирая половицы, чтоб не пробудить Севку, прошла в горницу и присела перед Севкиным чемоданом. Из стопки белья, разостланного поверх каких-то книжек, она выбрала рубашку и бросила ее на стол. Водя по рубашке утюгом, Алена поглядывала на Севку. Она глядела на него озабоченно, вопрошающе, будто оценивала сына.

Севка спал на боку, подобрав коленки. Он отрывисто всхрапывал, вылезшее из наволочки рыжее петушиное перышко шевелилось под носом. Во всем облике сына было еще много от того, прежнего Севки, каким он еще жил дома, и в глазах Алены, оглядывавшей его некрупное тело под стареньким байковым одеялом, теплилась тихая, грустная ласковость. Ей казалось, что вот сейчас он проснется,



зажмурится от свету и, как бывало прежде, первым делом спросит про сапоги, которые частенько обувал в школу младшенький, Колька. Она силилась представить сына в председательском кабинете, за столом Фрола Палыча. Как Севка бумаги подписывает, как дует на круглую резиновую печатку, как ругается на бригадира и стучит по столу. Но Севка никак не подходил ко всему этому. Всякий раз в ее мыслях Севку заслонял собой Фрол Палыч, неприступно грозный и дюжий, под которым «победа» кособочилась, когда он садился за руль, а уж если громыхнет в сердцах кулаком по столу, в соседней бухгалтерии останавливались ходики... «Кремень человек, а ведь тоже не удержался, — глядя на Севку, подумала Алена о Фроле Палыче. — Мой уже восьмой по счету. Ох ты господи!»

Алена выгладила рубаху, повесила на спинку кровати. Постояла с утюгом в опущенной руке, прикидывая, что бы еще такое сделать. Сегодня Севка в первый раз пойдет в контору как новый председатель, и надо бы, чтоб все на Севке было хорошо и ладно. Расправляя под утюгом складки, нащупала что-то во внутреннем кармане, мешавшее гладить. Алена отстегнула булавку и вынула красную книжечку, обернутую прозрачной слюдой. На ее щеках из-под старческой желтизны пробился девичий румянец радостного и горделивого смущения. Она бережно положила книжечку на край стола и взглянула на Севку.

Севка не спал.

— Вынула я, чтоб утюгом не попортить, — виновато забормотала Алена. — Я обратно положу...

— Ничего, мама. Тебе можно, — сказал Севка.

— Полежи еще, сынок. Только доярки на утреннюю прошли.

Севка достал из-под подушки пачку папирос, закурил, перевернулся на спину, закинул руки за голову, задумался, разглядывая желтый подтек на потолке.

— Сева, может, отцов костюм достать? — несмело сказала Алена, разглаживая пиджак.

— Не надо, мама. Пусть лежит.

— Сколько ему лежать-то? — Алена отвернулась. — Того гляди моль погрызет. Я уж и так табаком да донником пересыпаю. А только про кого теперь беречь? Надевай, чего уж...

— Николай скоро вернется из армии, подари ему, — сказал Севка. — У него нету.

— Ну, смотри... А то ни разу не одетый. Вот и одел бы в память об отце. День-то какой! В первый раз ведь идешь. Народ на тебя глядеть будет... И я бы посмотрела... Ты совсем как Степан стал.

— Ни к чему мне рядиться, — сказал Севка. — Не на смотрины иду. Вон, гляжу, крыша протекла. Перекрыть бы...

— Да теперь уж до новины. Теперь и соломы во всей Воробьевке не сыщешь.



На кухне зашипели угли, Алена всплеснула руками, — батюшки, курица перекипит! — зашлепала валенками к печке. В кухне столкнулась с соседкой Марьей, полной, круглолицей, в суконной шали поверх ситцевой блузки, с бордовыми от мороза, оголенными по локоть руками.

— Здравствуй, соседка! На дворе хорошо-то как! Морозно! Чисто! — веселым шепотом загомонила Марья. — Как раз как Фрола скovyрнули, так и погода стала. К добру, не иначе!

— Дай-то бог!

— Спит еще? — округляя глаза на дверь в горницу, спросила Марья.

— Проснулся.

— С тебя, девка, магарыч.

— С чего это?

— Да как же! Теперь ты председательша.

— Какая я председательша! — Алена зарделась и, пряча смущение, подперла щеку кулаком. — Молодой больно. И не знаю, как это он будет...

— Ничего, Ленка, ничего, — горячо зашептала Марья, — не бойся, выладняется. Слушала я его вчера. Видно, что от души парень берется.

— Правда, Марья, правда! От души... Сам надумал. Какую должность в городе бросил... Недавно квартиру дали. Печку не топить, за водой не бегать, все как есть приспособлено. Тоже оставил. А только не знаю, как он тут будет... Не грядка с луком. Одной земли сколько!.. Машины. С людьми надо ладить. Сама знаешь, народ-то у нас всякий! Ох, боюсь я, Марья! Не шутейное это дело! Пособить бы ему.

— Про это и говорить нечего, — кивнула Марья. — Что же мы — сами себе лиходеи? Не понимаем? Пособим! Жить в этой хате останетесь?

— А где ж еще?

— Я б в Фролов дом переехала. Фрол Палыч все равно здесь небось не останется. Да и дом-то не его, колхоз строил.

— Не знаю... Нешто можно так-то? Против людей совестно. Не успели выбрать — сразу в дом. Сева говорил, свою перекрывать будем.

— Ой, пойду, девка! Пришла на минуту, а стою-то сколь! Настя-то как? Ладит с мужем?

Заговорили про Настю.

— Живут ничего, муж хороший, старательный, недавно дорожным мастером назначили. Настя кассиршей было устроилась, да вот рожать собралась, дома теперь. Хотела к ним перебраться. Да теперь не придется. А то ведь корову им отдала, сама знаешь, тут не прокормишь, а там обочь дороги малость накашивают... Как она теперь будет с коровой, сама тяжелая... Ничего живут...



— Побегу! Кланяйся Всеволоду-то Степанычу. Скажи, пусть не сумлевается.

Марья в который раз уже запахивала на груди концы шали, но находились новые и новые разговоры. Наконец Марья убежала, а вслед в кухню пришлепал босиком Севка за сапогами.

— С кем это ты, мать?

— Марья за солью приходила. Кланялась тебе. Носки, Севка, в печурке. Тепленькие.

Алена остановилась у дверного косяка, спрятала руки под передник и молча наблюдала, как Севка обувался. Сунув ногу в голенище, он с кряком надел сапог, встал, промялся, пошевелил носком, укладывая ногу половчее, и принялся за вторую. Алена смотрела на это мужицкое дело повзрослевшего сына со вниманием и грустным удовольствием, видя в Севке прежнюю отцовскую обстоятельность.

Обувшись, Севка стащил с себя майку, вышел во двор и вернулся до пояса мокрый и красный, сыпучий, морозный снег набился в его растрепанные волосы.

— Хор-рошо-о! — крикнул Севка, ловя брошенный Аленой льняной чистый рушник. — На лыжах у вас тут бегают?

— В школе ребяташки балуются, — сказала Алена.

— Обязательно заведу лыжи.

— Будет тебе когда...

— Найду!

Севка попросил плеснуть кипятку в пластмассовый стаканчик, сел в горнице к столу бриться.

Алена, возясь с завтраком, размышляла над Севкиной ребячьей беспечностью — «вот лыжи еще на уме» — и, выждав момент, спросила из кухни с тревогой:

— Что ж ты, Сева, сам-то как?.. Не боишься?

— Чего бояться надо? — откликнулся Севка.

— Да вот председателем идешь...

Севка долго не отвечал, и Алена ждала, прислушиваясь к тому, что делалось в горнице. Не дождавшись, тихо подошла к двери, прислонилась седым виском к притолоке.

Севка скоблил безопасной бритвой щеку и одним глазом сердито, напряженно косился в круглое зеркальце, приставленное к стаканчику. Не отвечал потому ли, что не вовремя Алена подоспела с вопросом, — как раз языком подпирал изнутри щеку, чтоб ладнее было бриться, а может, думал, что сказать. Заметив мать, Севка посмотрел на нее остро и цепко, но тут же бросил на стол бритву и распахнулся широкой, простодушной улыбкой.

— Знаешь, мама... Если откровенно — малость боязно...

— Тогда как же ты...

— А все равно пойду.



Севка сердито закрутил помазком в мыльнице, но тут же, отодвинув прибор, хлопнул себя по коленкам.

— Вот ты говоришь — в городе на хорошем месте был. Что ж, был... Но вспомню, что вы тут наперекосяк живете, — веришь, не могу! Работа из рук валится. Раз десять ходил в обком, просил, чтобы сюда направили. Мне бы, мать, за этот лежащий камень получше вцепиться. Вагу под него подсунуть. Да народ на это дело окликнуть. Тогда-то уж мы его перевернем мокрым местом на солнышко!

Алена сочувственно смотрела на сына — лицо было знакомо до мелочей, но за мальчишеской быковатостью проступало что-то новое, придававшее Севке незнакомую жестковатую суровость.

— Так-то оно так... Да только будут ли тебя, сынок, бояться?

— Это зачем?

— А то как же? Без этого нельзя. Какая же из тебя власть, ежели бояться не будут?

Севка расхохотался, развел руками:

— Да разве я княжить сюда приехал? Разве Воробьевка вотчина моя? Эх, мать, все перепуталось в твоей головушке. Родина моя здесь, хата, ты здесь, дружки-товарищи, с которыми еще по садам лазили. Завяжи глаза — в каждую хату ход знаю... Зачем же чтоб боялись меня?

— А затем, что Фрол Палыч на что строг был, а тоже не удержался.

— Фрол Палыч! Привыкла ты: если по столу кулаком стучит, так тебе и власть. Негоже это. Давай выпрямляйся.

Севка плеснул горячей воды на конец полотенца, вытер лицо, подошел к матери, обнял ее за плечи.

— Ты ведь теперь председательша! Раздайся, народ, Алена Дмитриевна идет! Так-то!

— Подь ты к лешему! — отстраняясь, замахала руками Алена. Ей было радостно, что Севка с ней так шутит.

— Хочешь новое корыто? — смеялся Севка. — Старое, поди, совсем уж развалилось?

— Цело, цело корыто-то! — отмахивалась Алена.

— Эх, мать, мать! Вот, гляжу я, в святом углу новые угодники прибавились. Это кто же вон тот, который справа?

— Иоанном Рыльским знающие люди зовут.

— Да... Видишь, как оно все поворачивается... А по-нашему знаешь как: Бог-то Бог, да сам не будь плох! Держи хвост пистолетом!

— А ты бы, Сева, не смеялся. Нехорошо это.

— Я и не смеюсь. Тут смех невеселый... Я ведь знаю, что тебя тревожит. Хочешь, скажу?

— Да чего уж...

Севка подвел мать к лавке, бережно усадил, сел рядом.



— На кой ляд, думаешь ты, лезу я в это дело? Не один голову свихнул... Так ведь?

— Разное думала, — смутилась Алена. — Вот гляжу я на тебя, сынок, и радуюсь: хорошо, что приехал, ласковый, поговорить об чем... Одна ведь я осталась... А подумаю, как ты на себя все это взвалишь... Молодой, доверчивый... И провести могут... Разве я тебе худа желаю? В городе оно понадежнее...

— По-разному и в городе живут, — сказал Севка.

— Ох, не скажи, Сева! Против Воробьевки, наверно, нигде хуже и колхоза нет.

— А почему, мать, как думаешь?

— Ох, не знаю, сынок, не знаю...

— Нет, в самом деле?

— Да ведь откуда хорошему быть-то? Тракторами бьют-бьют землю, а чтоб ей чем-нибудь пособить — навозу или каких удобрений, — нету хозяина. Одно слово — сиротой растут хлеба, по пустой земле. Сева, милый, разве это хорошо? И государству обман, и нам. А ведь земля-то у нас какая, сам знаешь. Покойника хоронят — до глины не докапываются, так в черную и засыпают. Нашей ли земле не родить, если с нею-то по-хорошему?

Севка закурил и, пуская под ноги дым, подбодрил:

— Давай, давай, мать, выкладывай. Тебя не послушать — так кого же еще?

— Да что слушать-то? Я-то теперь одна. Мне и этого, что дадут, хватит. А когда вот четверо было — покрутись! Одних ботинок четыре пары, да пальтишек, да штанов, да рубах. Прорву всего надобно. А вы, проклятушие, — как бес на вас ездит, — по плетням да по грязи, в месяц все изорвете. А откуда, скажи, у меня деньги такие?

Алена поднялась со скамьи, подперла бока кулаками, расставив ноги; сухое, заветренное лицо сделалось по-бабьи жестким. Незаметно для себя она все больше распалялась и распалялась и уже не говорила, а выкрикивала, вздрагивая большим, выпуклым животом, тряся оборками передника.

— Скажи, не правда, что ли? Сам знаешь, как было. Тяпаешь-тяпаешь в поле, да и думки возьмут: «Стой, девка, — Кольке с Настькой в школу скоро идти, хоть по ботинкам купить-то, босые ведь. Аванс будет или нет — жди его». Схватишь пару куриц — да на станцию к поездам. Бежишь, а сама озираешься, чтобы Фрол Палыч не перелучил, а то матюков на горб натолкает: почему, мол, не в поле? Я ли, Сева, сынок, не работала? Бывало, где мужики, там и я...

Пока Алена говорила, Севка, сжав потухший окурок в зубах, закинув за спину руки, как был — в майке, ходил взад-вперед по горнице, крепко ставя ноги и упрямо, по-бычьи нагнув голову. Рыжим бурьяном топорщился непричесанный, мокрый со снегу чуб,



отчего и сам Севка казался колючим. На его обтянутых, только что выбритых скулах ходили зубчатые желваки.

Алена, выкричавшись, вдруг обмякла, притихла, будто жарко сгоревший сноп соломы. Она как-то виновато посмотрела на Севку повлажневшими глазами, взяла со стола пластмассовый стаканчик и ушла на кухню.

Севка остановился перед окном, засунул руки в карманы галифе, уставился в рассветную синеву. За окном тягуче визжали сани, фыркала лошадь. Чей-то озябший голос нетерпеливо понукал: «Но-о! Спотыкайся мне!»

Воробьевка пробуждалась.

— Садись, Сева, завтракать, — сказала Алена.

Она накрыла на стол. Принесла отваренную курицу, миску с солеными огурцами, на середине стола поставила большую глиняную черепашку с густо парившей картошкой. Озабоченно оглядев стол и что-то вспомнив, Алена полезла в подпол, достала кувшин с квасом и, обтерев горлышко ладонью, поставила на стол.

За синеющим окном слышался тяжелый скрип шагов. В сенях заметались переполошенные куры, и в хату, пригибаясь и курясь холодным воздухом, ввалился Фрол Палыч. Постучав у порога валенками и сдернув с головы кожаную шапку, подбитую колючим инеем, он, ни к кому не обращаясь, спросил: «Дома?» — и прямо в полушубке вошел в горницу. Тяжелое, задубелое лицо было багровым с мороза, резко оттенился седой ежик на голове.

— Здоров, Севк, — скорее не словами, а сиплым, глубоким выдохом сказал он и подвинул к столу табуретку.

— Здравствуйте, Фрол Палыч. Завтракать с нами.

— Разделись бы, — попросила Алена с почтительной робостью. Фрол Палыч ни разу у них не бывал раньше и теперь в ее маленькой хате, в домашней близости, казался еще больше и грузнее того, каким она видела его обычно в конторе и на колхозном подворье. — У нас жарко, батюшка. Печь топлена.

Фрол Палыч досадливо отмахнулся, отодвинул миску с огурцами и положил на край стола локоть.

— Идешь? — спросил он.

— Позавтракаем и пойдем, — сказал Севка. — Успеем. Скинь полушубок.

— Так... — выдохнул Фрол Палыч, оставив без внимания слова насчет полушубка. Мигая мокрыми, оттаявшими ресницами, он уставился на Севку. Он смотрел на него хмуро, исподлобья, и Алена, не понимая его намерений и почуяв в этом недоброе, угодливо пододвинула ему курицу.

— Кушайте, Фрол Палыч, — сказала она, суетливо застилая рушником коленки его ватных брюк.



Этот суровый, молчаливый человек, уже сваленный под корень воробьевцами на собрании, для Алены все еще был полон магической силы власти. Теперь она уже не могла себе представить, что власть у него отнята и передана ее сыну.

Фрол Палыч сдернул с колен рушник и, не оборачиваясь, сказал Алене:

— Дай-ка еще стакан.

Он отвернул полу, вытащил поллитровку столичной, не торопясь, сосредоточенно вышиб пробку в кулак и поставил на стол.

Севка, перестав есть, выжидающе глядел на старого председателя.

Фрол Палыч налил два стакана, кивнул:

— Тяни.

Севка молча покачал головой.

— Ты чего? — Фрол Палыч задержал свой стакан в руке.

— Не могу, Фрол Палыч.

— Но... Это ты брешешь... Со всякой сволочью не пей. А со мной — можешь...

— Ты, Фрол Палыч, не подумай...

— Хитришь?

Фрол Палыч выпил и, плаксиво сморщившись, засопел. Шумно выдыхая водочный дух, подтянул к себе курицу, с хрустом выкрутил из нее ножку.

— Черт с тобой! Я на тебя не в обиде. Садись управляй, — сказал Фрол Палыч. — Я старый колхозный конь, и на меня еще хомут найдется...

— Не в хомуте дело...

— Не тут, так еще где-нибудь. А ты, жеребчик, пойді попробуй.

— Ну что ж, попробую.

— Быстро холку набьешь!

— Да ты закуси, батюшка! — вмешалась Алена, робея от крутого разговора и поглядывая то на одного, то на другого. — Что ж так-то, не закусишь?

Фрол Палыч, покосившись на Алену, взял Севкин стакан и выпил одним духом. Скривившись, долго ловил заскорузлыми пальцами скибку огурца в рассоле.

— Ты думаешь, в легких дрожках бегать будешь? Дудки! — Он показал Севке кукиш с белыми огуречными семечками на прокуренном ногте.

— Знаю, Фрол Палыч, в какие оглобли становлюсь.

— Ну вот то-то... Зануздают тебя, голубчик, натянут вожжи, чтоб ни туда, ни сюда, да кнутом, кнутом, ежели станешь брыкаться.

— Это кто же меня кнутом-то? — простодушно усмехнулся Севка.

— Не маленький, сам знаешь.



— Ну что ж, — кивнул Севка. — Могут и подбодрить, если постройки ослабнут. Тут ничего плохого нет. За вашим братом председателем только гляди да гляди. А то иной так завезет...

— Ну конечно! Не туда завез... Ты вот на все готовенькое идешь. Машины — полный комплект. Электростанцию пустил. Клуб построил. Контора с иголки. Шесть лет хорош был. По президиумам сидел. А на седьмой не угодил.

В Севкиных глазах стеклянным осколком сверкнул смешок.

— Сначала, может, и правильно тебя в президиум сажали, — сказал он. — А потом уж и по инерции пошло. Тебе там, видно, очень понравилось.

— Не напрашивался, сами сажали.

— Нет, напрашивался! На фасад работал. Клуб с колоннами! Мебель мягкая! А народ из деревни бежит. Звеньевые в няньки в город подались. Брось, Фрол Палыч, пострадавшего разыгрывать. Скажи спасибо, что так обошлось. А могли и под суд закатать.

— Это за что ж меня под суд?

— А я скажу!

— А ну, скажи!

— Скажу! — Севка отбросил вилку, вышел из-за стола. — За то, что землю уродуешь.

— Ну, ну, послушаем умника!

— Ты в прошлом году семенную пшеницу в закуп сдавал? Сдавал!

— Ну и что? Без семян не остались.

— Не остались... А где ты их потом брал? Ты их в «Красном пахаре» на суперфосфат выменял!

— Врешь! — Фрол Палыч грохнул кулаком по столу. — Врешь все!

— Сейчас зайдем к агроному, сверимся.

— И он врет! Суперфосфат весь по назначению внесли. Посмотри посевные акты.

— По актам все правильно. А если по совести, то не сходится. Удобрения на сторону сбывали, а сеяли на пустой земле. Мне вчера агроном после собрания все выложил. На собрании сказать побоялся, а потом догнал на улице и рассказал. Ты его сам уговорил показать в актах, что удобрения вносились. Мол, про это никто не узнает. А если целый клин без семян останется, скандала не миновать. Запутал человека — он и подписал.

— Не верь ему! Теперь начнут валить на серого.

— Ладно, ему не верить — земле верю. Ты на Кобыльем клине по одиннадцать центнеров взял. А «Красный пахарь» на том же бугре, только по другому боку, по восемнадцати собрал. На твоём-то супере!

— Это еще доказать надо... — Фрол Палыч взял со стола бутылку, покрутил в ней остаток. — Может, все-таки выпьешь? — сказал он хмуро.



— Нет. И тебе не надо. Тебе еще дела сдавать.

Севка перехватил было бутылку, но Фрол Палыч сердито вырвал ее и вылил в свой стакан. Выпив, он как-то сразу захмелел, сник головой, на коротком ежике бусинками проступила испарина.

— Агроном — сволочь... — пьяно бормотал Фрол Палыч. — Тряпка... Ёни ты его в шею... У, стервецы!

— Ладно, разберемся. — Севка, уже одетый, тронул за плечо Фрола Палыча. — Пошли?

Тот тяжело поднялся, обдав Севку запахом овчины из распаренного полушубка, нахлобучив шапку.

— Мать, обедать не жди.

Алена ткнулась в Севкину грудь, беззвучно заплакала.

— Ну, ну, будет!

Фрол Палыч и Севка вышли. Хлопнула сенная дверь, потом калитка...

За окном слышались шаги: тяжелые, скрипучие — Фрола Палыча и мягкие, ровные — Севкины.

— Ну, пошел! — проговорила Алена, остановившись посреди горницы. — Пошел Севушка... Дай-то ему бог.

Она метнулась к окну, но окно было доверху схвачено толстым морозным инеем.

Иней полыхал розовым рассветным огнем.

1963

## ПОРТРЕТ

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,  
Пусть солдаты немного поспят.

*Из фронтовой песни*

Директор нашего краеведческого музея, узнав, что я собираюсь провести свой отпуск в Отраде, упросил меня написать портрет тамошнего председателя Зотова. И вот, захватив с собой краски и этюдник с холстами, я весь вчерашний день проторчал возле колхозной конторы в надежде подкараулить Алексея Максимовича.

Перед конторой рос молодой тополевый парк. Аллеи тремя лучами разбегались от круглой клумбы, жарко пламеневшей гвоздиками. Я устроился на одной из планочных скамеек в самом начале аллеи. Отсюда хорошо было видно кирпичное здание правления с двумя колоннами по бокам еще не окрашенной двери. Из распахнутых настежь окон доносились щелканье костяшек, урчание арифмометра. Иногда звонил телефон, в окне мелькала белая рубашка счетовода, и вслед раздавался его недовольный голос:

— Я вам уже говорил — председателя нет... Кто же его знает, где он. Колхоз велик... Что? Откуда я могу знать? Сами ждем.



На этот раз трубка сообщила, очевидно, что-то важное, потому что счетовод вдруг смягчился:

— Подождите минуточку... Коммутатор! Коммутатор, дайте третью бригаду... Третья? Там у вас нет Алексея Максимовича?.. Звонят из райпотребсоюза насчет яблок. Грозятся закупить в «Красном луче», если мы будем медлить... Уехал? Прямо беда с ним! Тут все уши оборвали телефонами. Увидишь — скажи, что звонили насчет яблок.

Я слушал телефонные звонки и все больше терял надежду дождаться председателя. Искать же его по полям было бессмысленно. Да и где его найдешь?

Раза два в аллею заглядывал колхозный сторож Киша, он же управитель парком, — живой, шустрый старикан в галифе и баскетбольных кедах. С почтительностью глядя на этюдник, перепачканный красками, он говорил:

— Вот какая незадача. Нету, значит, нашего Лексея Максимыча. Как поехал с утра, так и не вертался. Да ведь ты сам рассуди. Пять деревень в колхозе. Восемьдесят верст, ежели кругом нашей земли объехать. Одних замков на амбарах, хранилищах, кладовых и прочих дверях четыреста штук. Это уж я тебе точно, как сторож, говорю. А прочей техники и вовсе счету нет. Тьма всего. Черт шею свернет в таком хозяйстве. Вот он, Максимыч, и вертится. Всему лад дать надобно.

Дед запустил под кепку пятерню, озабоченно поскреб косматый затылок.

— А ты, значит, с него портрет думаешь срисовать?

— Да вот собрался...

— От себя или указание дадено?

— Указание...

— Так, так, — одобрительно закивал Киша. — Давай срисовывай. У нас председатель красочный.

Часа через два, когда уже заметно повечерело и я подумывал уходить, дед пришел еще раз.

— Притомился небось, ожидаючи? — сказал он. — Видать, не будет нынче никаких делов. Приходи завтра пораньше. Глядишь, застанешь.

На другой день я пришел к правлению часов в семь. Утро было тихое, ясное, с прохладными, резкими тенями от домов и деревьев. Клумба, обрызганная росой, казалось, была покрыта хрустальным колпаком. Дед Киша уже прошелся метлой по дорожкам и успел посыпать чистым, чуть влажным речным песком. На свежем песке я увидел отпечатки следов председательского «москвича», обрадовался и поспешил в правление.

В кабинете Зотова шло какое-то совещание. Вдоль стены и на подоконниках сидели бригадиры, заведующие фермами, агроном,



знакомый мне счетовод и еще кое-кто. На председательском столе лежала зотовская фуражка с пропотелым донышком, а сам Зотов, по своему обыкновению, прохаживался у стола.

Был он грузен, а с тех пор, как я его видел в последний раз, даже растолстел, особенно в поясе. Парусиновый китель, севший после стирки, выглядел на нем кургузо, из коротковатых рукавов торчали красные, налитые стариковской полнотой кисти рук, чем-то похожие на рачьи клешни. Китель на груди, между медными пуговицами, собрался в гармошку. И, казалось, стоило Зотову неловко повернуться или повысить голос, как пуговицы не выдержат, осыплются и раскатятся по углам. Постарел Зотов! В широкой спине появилась сутулость, голова совсем стала сивой, особенно на висках. Только ноги в легких хромовых сапожках, в синих армейских галифе, плотно обтягивавших икры, выглядели молодцевато. Зотов прохаживался вдоль стола, пружинисто и мягко ступая своими щегольскими сапожками по старенькому, вытертому ковру.

Совещание, видно, уже заканчивалось: бригадиры прятали в карманы записные книжки, заминали папироски, а сам Зотов уже несколько раз протягивал руку за фуражкой и нетерпеливо поглядывал в окно.

— Все, что ли?

— Алексей Максимыч...

Со стула поднялся рослый, плечистый парень в голубой трикотажной тенниске, со следами свежей стрижки на загорелой шее.

— Ну что там еще? Пляжу я, Степка, крутишь ты что-то... Не хочешь ехать — не надо. Другого пошлем.

— Да мы разве против...

— Так чего ж ты? Деньги на дорогу получил?

— Получил.

— Продукты выписал?

— Это все есть...

— Ну?

— Да вот дома как же?

— А что дома? Я сказал буху, чтобы центнера два хлеба в счет аванса выписал. Это матери. Если еще что надо будет, пусть приходит, поможем. А теперь ступай. Помни, лес нужен, постарайся там.

— Да уж за это, Алексей Максимыч, будьте спокойны...

— Ну, ну, ладно, «спокойны»! Пробудешь недельку да и дернешь. Смотри, голову оторву... Давай иди, иди!

Парень старательно приладил кепку на аккуратно зачесанные, крепко отдающие сиренью волосы и вышел. Вслед за ним стали расходиться и все остальные.

Я улучил момент и протиснулся в кабинет.

— А-а! — протянул Зотов. — Живописец! Здоров, здоров! Опять к нам?



— Не откажете?

— Себе — откажем, а уж служителю муз — всегда хлеб-соль.

Когда приехал?

— Уже три дня в Отраде.

— Ну?! И не зашел!

— Как — не зашел! Весь день вчера за тобой охотился.

— Что такое?

Я рассказал.

— Ну, брат, в музей мне еще рановато, — рассмеялся Зотов. — Я еще тут, по земле, похожу. В музее только старые лапти да сарафаны вешают.

— Нет, в самом деле, Алексей Максимович. Надо. Не мне разъяснять.

— М-да...

Зотов поскреб небритый подбородок, жестко зашуршавший под его пальцами.

— Честное слово, много времени не отниму! — обрадовался я раздумью председателя. — Сегодня полчасика, завтра полчасика...

— Вот не выполню хлебопоставок, — сказал он, хмуровато и снисходительно разглядывая меня, — тогда не только в музее, а и на телеграфном столбе мало повесить. Ты давай вот что... нарисуй-ка для нашего клуба картину. Веселую такую, яркую. Нашу, местную, а? Какие у нас места, я тебе скажу. Жигули!

— Опять за рыбу деньги!

На столе яростно задребезжал телефон. Председатель шагнул, широко облапил трубку.

— Слушаю я... Какой трактор, чей?.. Степанова? А бригадир где?.. Фу ты, черт! Ладно, сейчас приеду... Вот тебе и портрет... Трактор стал. За маслом не уследили. Ты уж меня извини, — сказал председатель, нахлобучивая фуражку с заляпанным мазутом козырьком. — Сам видишь, не вольный я казак. Если хочешь, поедem вместе. Вот только посмотрю бумажки. Откуда они набираются? Не успеешь рассовать, глядишь — опять кипа. Есть же любители мараить бумагу!

Председатель сел за стол и, не снимая фуражки, стал просматривать папку. Я, ожидая, пока он освободится, остановился у открытого окна. На крыльце правления сидел разный люд. Зотов завел жесткий порядок: принимал в кабинете по личным делам только два раза в неделю. Сегодня день был неприятный, и председателя подкарауливали у выхода.

Откуда-то вывернулся дед Киша с метлой и, как взъерошенный воробей, набросился на мужиков:

— Совести у вас нету! Ишь сколько окурков нашвыряли! Говорят вам, нечего рассиживаться, день неприятный. Марш, марш отседа, пока председатель не увидел!



Он бесцеремонно совал обтертой, колючей метлой под зад, и мужики, незлобно огрызаясь, по одному очищали порожки и нехотя расходились.

«Москвичок» захрустел всеми своими суставами, когда Зотов сел за руль, накренился на левый бок, да так и оставшись кособоким, покатился по прохладной тенистой дороге. Сразу за парком машина серой мышью юркнула в глубокий зеленый тоннель кукурузы. В ее густой, душной чащобе перепархивали по шуршащим на ветру листьям бесчисленные зайчики. Золотистые, нарядные султаны покачивались над глубокой траншеей полевой дороги.

Я глядел на всю эту буйную силищу, бьющую из земли почти трехметровыми фонтанами, и удивлялся неукротимой мощи чернозема.

Наконец стесненный кукурузой проселок выбежал на залитый солнцем простор и влился в широкую, накатанную дорогу. Глазам стало просторно. Зотов надал газку, «москвич» дернулся, как прищипоренный конь, и бойко покотил, убегая от ленивого, сонного облака пыли.

За лесистой балкой открылась черная полоса свежевспаханной зяби с неподвижным силуэтом трактора у самого края. Было видно, как над железной кабиной дрожал и струился горячий воздух.

Грачи, будто бригада ревизоров, деловито мерили пахоту неторопливыми шажками.

«Москвич» свернул на стерню, запрыгал по бороздам и остановился у кромки зяби, как раз против тракториста. На резкий стук дверцы из-под днища дизеля высунулось растерянное лицо тракториста-подростка.

— Подшипники целы? — еще издали крикнул Зотов, грузно поспешавший по вздыбленным комьям земли.

— Да, кажись, целы...

— «Кажись»! Две тысячи за машину отвалили, а ты — «кажись»... Где бригадир?

— Возле комбайнов.

— Пошли за ним?

— Прицепщик побежал.

— Ну-ка, дай гляну.

— Пойдите, я фуфайку постелю, — обрадовался тракторист.

Зотов, кряхтя, полез под вскрытое, дышащее горячим маслом брюхо трактора. Парень, присев на корточки, участливо заглядывал под гусеницы.

— Поддай-ка тряпку. И отвертку. Шатуны стучали, что ли? — слышалось из-под машины. — Придет бригадир — сделайте перетяжку. И масляный насос проверьте. Только чтобы завтра — пахать. Понял?

— Сделаем, Алексей Максимыч.



— «Сделаем»! Вот допашешь клин — сниму с трактора к чертовой бабушке.

— Я разве виноват? — У парня побелело лицо, и сразу проступили все веснушки, будто набрызганные пульверизатором. — Трактор старый, на нем хоть кто не сработает.

— Мне твое «кажись» не нужно, — не слушая, ворчал Зотов. — Это тебе не телега. Брат когда демобилизуется?

— К ноябрьским обещал...

— Ну вот, трактор отдадим ему, а ты... На курсы поедешь?

Лицо паренька медленно налилось краской, и все его крупные просяные веснушки снова утонули и померкли.

Уже далеко отъехав от трактора, Зотов, все время молчавший, проронил:

— С одной стороны, вроде бы все хорошо: своя теперь техника, от МТС не зависим. Широкая оперативность. А машины все равно простаивают. Еще больше, чем раньше.

— Почему?

— Нет хороших механизаторов. Мне еще трактора три надо бы подкупить. Не могу. Некого на них сажать. Все опытные трактористы после ликвидации МТС в соседние колхозы ушли, по месту жительства. У них там хаты, коровы, деды-бабки. Двух переманил, срубы даже перевез. Да что это — капля в море. Приходится на дизеля прицепщиков сажать. Вот и лезешь чуть ли не под каждый трактор.

— А механики на что?

Зотов досадливо передернул плечами:

— Сколько этих механиков? А моторов в колхозе более ста штук. Считай, тридцать тракторов, двенадцать комбайнов, тридцать две автомашины да еще всякие стационары. И все это разбросано на пяти тысячах гектаров, работает в напряженных условиях — пыль, грязь, тяжелый грунт, бездорожье, техническое бескультурье... Работы все срочные, календарные. Подошла жатва — разбейся, а в две недели свали хлеба. Иначе зерно в землю утечет. В этих условиях не механики решают, а рядовые. Нам нужно до предела загруженное машинное время. Вот на зиму человек пятнадцать по школам рассую.

И еще через некоторое время, как бы продолжая перебирать какие-то свои думы, сказал:

— А много ли толку? Выучишь — в армию заберут. Да-а! Хорошие кадры собрать — лет пять надо. А они мне сегодня, вот сейчас нужны. И так во всем... Хвост вытащишь — нос вязнет. Диалектика!

Среди поля показалось длинное строение с низкой шиферной крышей, донесся гул работающих машин. Мы въехали на ток. Над цементированной площадкой висела упругая пульсирующая дуга. Выметываясь из зернопульта, она проносилась в знойном неподвижном воздухе с легким шуршанием. На другом конце струя тяжело ударялась о ворох, который сразу начинал расти, как только



женщины, орудовавшие совками и деревянными лопатами, на минуту переставали отгребать. Пахло полем и сытым, горячим ароматом свежего зерна. Неподалеку, дробно стукотя, работали от тракторного привода три сортировки. Просушенное зерно насыпали в мешки, вешали и грузили в автомашины.

Зотов прошел к весам, развернул тетрадку, привязанную шнурком вместе с кургузым карандашиком к коромыслу весов.

— Сколько машин ходит? — вскинул он глаза на заведующего током, бритоголового, в красной майке, запорошенной мякиной.

— Машины, Алексей Максимыч, все. Вот зерно не успеваем подсушивать. Мала бетонная площадка. Утром одну машину на элеваторе не приняли. Не прошла по кондиции. Пришлось там во дворе высыпать, досушивать.

— Брезенты есть? Расстелите брезенты.

— Да уж разостлали.

— Расчистьте рядом стерню, утрамбуйте.

— Да кто будет расчищать?

— А ты что, инвалид?

— Ну, я — ладно. А еще кто? Бабы и так вон без разгиба зерно лопатят.

— Значит, ничего нельзя сделать? Будем срывать график? — Зотов отбросил тетрадку, и та закачалась на бечевке.

— Почему — нельзя? Дайте бульдозер — полчаса делу.

— Привыкли: чуть что — бульдозер, трактор! Вон Магнитку без бульдозеров строили. Лопатами да тачками, — ворчал Зотов, доставая из кармана блокнот. — Трактористов у меня нет. Все заняты. — Написав что-то в блокноте, Зотов вырвал листок. — На, съездишь к завгару — пусть сам пригонит бульдозер. Скажи, что на часок, не больше.

Щупая на ходу зерно, Зотов подошел к сортировкам. Постоял, поглядел, подозвал к себе молодую женщину со вздернутым животом, железной мерой насыпавшую зерно в бункер сортировки:

— Ну-ка, поди-ка сюда, Настя.

Женщина отставила меру, подошла, охорашивая передник.

— Гляжу — тяжелая, что ли?

Настя засмушалась, начала подсовывать волосы под платок.

— Ну и... и как же ты?.. Может, тебя на птичник отправить? Пока суд да дело...

— Да нет, Алексей Максимыч, я уж тут...

— Ну, смотри, девка! А то принесешь семимесячного... Мне такие в колхозе не нужны.

— Не принесу! — блеснула глазами Настя. — Крепче будет!

Сев в «москвич», Зотов надавил стартер, но, что-то вспомнив, открыл дверцу и, выставив одну ногу на землю, крикнул:

— Как, обед возят?



— Вчера привозили! — откликнулись бабы, — Оставайтесь с нами обедать.

Зотов не ответил, но, повернувшись ко мне, сказал:

— Побудь-ка здесь. А я, не бойся, не сбегу. Съезжу в одно место и заверну за тобой. Край надо съездить.

Я стал отговариваться.

— Нет, нет... Вылезай, вылезай! Ну чего без толку мотаться? Порисуй, с людьми побалакай. Говорю — заеду.

Не зная Зотова, я бы, конечно, обиделся: говорил он со мной снисходительно, как с малым ребенком. А в этом «порисуй» проглядывало снисхождение уже не к моей персоне, а ко всему моему занятию. Но я понимал: хитрил Зотов! Он хотел, чтобы я остался и пообедал на току.

Пришлось уступить. Хлопнула дверца, «москвичок» сердито вычихнул синий клуб дыма, запрыгал, заскрипел рессорами на примятой стерне. Где еще мотался он — не знаю. Я уже зарисовал несколько листов альбома и успел до костей прожариться в печной духоте августовского уборочного дня, а его все не было. Наконец он подъехал, я влез на заднее сиденье, и мы покатили.

— Поедем, покажу тебе лагерь.

Показывать мне скотный лагерь Зотову не было никакой необходимости, просто ему нужно было туда зачем-то, и вез он меня потому, что деть меня некуда. Но мне и самому, честно говоря, никуда ехать больше не хотелось. Сморенный жарой, я безучастно смотрел на знойно желтевшую стерню вдоль дороги, на далекие комбайны, тут и там выплывавшие на взгорки.

Машина шла быстро. Зотов сердито и размашисто вертел баранку, объезжая ухабы и колдобины. Меня бросало из стороны в сторону, «москвич» гукал задним мостом, как загнанный жеребец ёкает селезенкой.

Одной рукой Зотов полез в карман кителя, очевидно, за носовым платком, чтобы вытереть взмокшую, багровую шею, испещренную сеткой морщин, и неожиданно для самого себя достал кусок давно засохшего хлеба. Поглядев на сухарь с недоумением, он сунул его в рот и спросил:

— Покормили тебя?

— Да нет...

— Что, не привезли разве? Ах черти! Специально выбраковали два десятка петухов. Варить лапшу для токов и комбайнеров. И сами себе угодить не могут. Чистые дети! Поедем ко мне, чем-нибудь накормлю.

— Еще терпеть можно.

— Поехали, поехали! Нечего дурочку ломать!

Зотов решительно затормозил машину, дал задний ход и, вернувшись на перекресток, который только что минули, поехал по другой дороге.



На въезде в село, возле угрюмоватого дома на высоком фундаменте, машина остановилась. Из-под куста бузины вылез большеголовый пес, оставшийся при доме еще от прежнего председателя. Жена Зотова прозвала его Фирсом — по имени старого чеховского лакея из «Вишневого сада». Фирс подбежал к Зотову, застучал по сапогам хвостом, обметая пыльные голенища.

Мы вошли в прохладную горницу. Я и раньше бывал у Зотова, и с тех пор ничего в доме не изменилось. Все так же среди простенькой, наспех купленной обстановки надменно возвышался, холодно поблескивая хрусталем посуды, полированный сервант — единственная вещь, которую привезла с собой из города жена Зотова.

— Я уже три дня холостякую, — сказал Зотов. — Моя старуха уехала к дочери, так что, извини, борщей не будет.

Он принес кусок холодного мяса, с десятков яиц, тарелку помидоров, достал из серванта стопки.

— Яйца сырые пьешь? Или яичницу?

— Сырые так сырые... Только вот что, Алексей Максимович... Давай сначала попозируй. А?

— Пляди, не забыл!

— Хотя бы простой набросок. А то кто-нибудь явится — и опять улетишь.

Зотов крупно, крест-накрест нарезал помидоры, посыпал их кольчатым луком и солью.

— Что с тобой поделаешь? Давай валяй...

Я помчался к машине, вытащил из багажника холст, этюдник, начал готовиться к сеансу.

— Может, побриться? — спросил Зотов.

— Не надо, ничего не надо.

— Что прикажешь делать?

— Садись, голубчик... Больше ничего.

Зотов, пряча смущение, неловко и грузно опустился на стул, не зная, куда деть руки. Наконец он пристроил их на растопыренных коленях и успокоился.

— Сиди так... Свободненько...

Некоторое время я приглядывался, потом, нащупывая, стал класть первые штрихи.

— Так... Секундочку... Что, супруга привыкла к деревне?

— Скучает... Я-то сам из лапотников. Это уж потом рабфак, коммунистическая школа и все прочее. А она всю жизнь в городе.

— Да... трудненько привыкать...

Писать Зотова вроде бы просто. Лицо резкое, суровое, черты проступают отчетливо. Лепи крупный нос, этакой мичуринской грушей; по лбу твердым нажимом проводи борозды; маленькие жидко-зеленоватые глаза утопи в складках век под тяжелым надбровьем...



— Значит, скучает, говоришь?..

— Теперь, правда, не так... Я ей здесь дело нашел... Был у нас рояль. Когда ехали сюда, думали: куда его деть? Дочь училась в Харькове. Сын в армии. Я ей говорю: давай продадим. Куда, к лешему, везти его с собой... Неудобно, говорю, выбрали председателем, а я прикачу с роялем. Нет, уперлась: «Заберем да заберем»...

Зотов говорил одними губами, не шевелясь, будто сидел в парикмахерском кресле.

— Так...

Линию рта намечал чуть искривленной: рот у Зотова косоватый, с какой-то насмешинкой в левом углу. Ну, а дальше массивный подбородок, а вокруг него толстая жировая складка, набегающая на воротник.

— Ну, и что с роялем?

— Привезли, понимаешь, сюда... Стали затаскивать, а он в двери не лезет... Вообще-то втащить можно было... Да я тут словчил малость. Давай, говорю, отвезем пока в клуб. Старуха было надулась. Ни в какую. Два дня ночевал рояль на дворе. А потом жалко стало, согласилась... Под Новый год сидели мы с ней на концерте самодеятельности. Попросили ее сыграть. С тех пор и пошло. Сама бегают, дрынчит, и молодежь около нее учится. У них там теперь что-то вроде музыкальной школы.

— Обхитрил, выходит...

— Нет худа без добра!

— Это верно...

Я отступил от холста, поглядел. Вроде бы все точно схватил. А Зотова нет. Вместо него какой-то сердитый, некрасивый человек непонятных занятий. То ли надменный чиновник, то ли отставной генерал-служака. Придется повозиться. Портрет — дело такое... к нему не приложишь анкету. Оставил лицо пока так и начал писать руки.

— Это ты ее ловко обвел...

Коротковатые рукава кителя беспорядочной смятой гармошкой задрались почти до локтя. Большие, неловкие в своей вынужденной неподвижности руки с какой-то подростковой застенчивостью лежали на коленях. Они чуть отекали и заломились глубокими складками в запястьях, а там, где начинались пальцы, в этой багровой, заветренной припухлости, над каждым пальцем залегли стариковские ямочки. Сами же пальцы, сдавленные с боков оттого, что всю жизнь теснили друг друга в работе, с натруженными, узловатыми суставами и кургузыми, горбатыми ногтями, были сильны даже в своем неподвижном лежании.

Я увлекся, списывая эти терпеливые и добрые руки, и видел, как от их появления на холсте постепенно оживало и как-то добрело суровое зотовское лицо, как эти руки делали Зотова — Зотовым.

— Так, так... — машинально твердил я.



Мой карандаш торопливо шуршал и чиркал в тишине горницы, а Зотов, перенося томительную неволю, послушно глядел в окно, загороженное пыльным кустом бузины.

Вдруг голова его как-то странно качнулась. Я вскинул глаза. Поддерживая грузное тело, зотовские руки по-прежнему твердо и терпеливо упирались в колени. Но седая голова безвольно поникла. Серая парусиновая куртка мерно вздымалась на груди. Верхняя пуговица при каждом вздохе покачивалась, словно на волнах, то опускаясь, то касаясь небритого подбородка... Двадцать минут безделья сломили старика. Я дорисовал руки, осторожно сложил этюдник и на носках вышел из комнаты.

Серый, запыленный «москвич» тоже дремал у обочины, дожидаясь своего хозяина.

1958

## ШУМИТ ЛУГОВАЯ ОВСЯНИЦА...

### 1

В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем стояла ясная недокучливая теплынь, небо высокое, емкое, и тянули по нему вразброд, не застя солнце, белые округлые облака. Раз два или три над материковым обрывистым побережьем сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с хлебных высот, от полужских тесовых деревень неспешно наплывала на луга туча в серебряных окоемках. Вставала она высокая, величавая. В синих рушниках дождей, разгульно и благодатно рокотала и похохатывала громами и вдруг оглушительно, весело шарахала в несколько разломистых колен, и стеклянным перезвоном отзывалась Десна под теплыми струями ливня. Полоскались в веселом спором дожде притихшие лозняки, набухали сахарные пески в излучинах, пили травы, пила земля, набирала влагу про запас в кротовые норы, и, опустив голову, покорно и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь. А в заречье, куда сваливалась туча, уже висела над синими лесами оранжевая радуга. Оттуда тянуло грибной прелью, мхами и умытой хвоей.

Лесные запахи мешались с медовыми и чайными запахами лугов в крепкий настой, от которого становилось хмельно и необъяснимо радостно и молодо на душе.

После таких дождей вдруг выметывала в пояс луговая овсяница, укрывала собой клевера, белые кашки, желтые подмаренники, выколашивалась над пестротравьем, и луга одевались нежной фиолетовой дымкой. И как только накатывал этот чуткий дымок на луга — днями быть сенокосу.

Первыми съезжались в пойму председатели и бригадиры — местные, из полужских колхозов, и дальние, с суходолов. Суходоль-



ские тоже имели здесь свой пай. Ходили по пояс в травах, осматривали деляны, ставили тычки.

Дня через два-три начинали двигаться в луга тракторы, сенокосилки, колесные грабли. Суходольские косари спускались со знойных бугров и междуречий будто на великое переселение: в пароконках — бочки с горючим, артельные казаны, связанные по ногам бараны, кули с мукой и картошкой, пуки деревянных граблей, старых и новых, белых, только что наструтанных. Ехали целыми семьями — с женами и ребятишками, ветхие старички и те увязывались, тряслись в новых рубахах, ухватясь черными сухими пальцами за грядки, будто ехали к причастию. Иные еще бодро сидели в передках, крутили концами вожжей над лошадьми, покрикивали с незлобной хрипотцой: «Но-о, окаянные! Шевелись!» — а сами все поглядывали из-под картузов на буйную травяную вольницу, и в просветленных лицах была заметна хозяйственная озабоченность и много-много раз пережитая радость предстоящей сенокосной страды, крестьянской работы — праздника.

Молодежь ехала особняком. Парни в пестрых майках, крутые угловатые плечи в каштановом загаре, девчата, как одна, в косынках шалашиком. Сидели в больших сенных телегах, свесив босые ноги в бортовые решетки. Рыкала перебиваемая колесным перестуком гармошка, кто-то голосисто выкрикивал частушки, полоскались над головами, мельтешили листвой натканые торчком березовые ветки.

Останавливались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняков распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотали головами, стирали с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузырьстые столбы, полоумно шарахались от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна была маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.

А на мелком, присев на край и сперва попробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины. Старики забредали недалеко, по коленки, и, не стыдясь сраму, в простой житейской потребности, ахая и придыхая, плескали на себя бегучую хрустальную теплынь. Потом долго намыливались, пуская шапки пены по струе, ласково разговаривая с пескарями, что доверчиво тыкались в ноги. Мылись обстоятельно, на весь год, до следующего сенокоса, если еще приведется...



Ребятишки, уже накупавшись до звона в ушах, жарились в песочных лунках, засыпали себя каленым крупитчатым сахаром, а потом, серые, шершавые от песка, который, просыхая, осыпался с приятным зудом во всем теле, бежали в лозняки, трескали кустами, визжали, обстрекаясь о крапиву, и объедались еще не успевшей покраснеть дармовой ничейной ежевикой.

На лужку, на обрыве, вытянув по траве ноги, сложив в подол между коленок ненужные руки, сидели рядышком замужние бабы, отвыкшие за многие годы семейных забот от вольной речной воды. стыдась при таком народе, при таком солнце оголиться, снять с себя одежду. Сидели, поглядывали с виноватыми улыбками на молодых беспечных девок, на Десну в слепящем блеске. Для них в кои-то разы посидеть вот так на бережку — и то радостно. Кто-нибудь из озорников подкрадывался по воде, выхватывал из-под берега и шмякал прямо в подол линючего, облезлого рака. Бабы взвизгивали, раскатывались по траве, подбирая ноги, начинали журить шалопута и вдруг, устыдись своей праздности, вставали и шли к телегам искать какого-нибудь дела, без коего не могла баба чувствовать себя нормальным человеком ни в праздники, ни в похороны.

Под вечер, наполоскавшись в реке, тут же на берегу выкашивали поляну под бригадное становище, плели из лозняка низкие балаганы, каждый под свою семью, закидывали их тяжелой травой, оставляя узкий пчелиный лаз, поодаль врывали казан под общий кулеш, и так по всему берегу на много верст возникали временные сенные селища с теми же, по своим деревням, названиями: Меловое, Сухой Колодец, Полыновка...

Полужане, в отличие от суходольских, выезжали в луга налегке, без баранов и кулей муки — за всем этим ездили на колхозное подворье по ходу дела, однако, чтобы не тратить время, тоже жили балаганами, вкапывали артельные котлы, и у них становища назывались не так сурово: Лужки, Доброводье, Поречное или какие-нибудь Лебязьи Капустичи.

Две недели кипела в лугах жаркая неумная работа. Начиналась она с рассвета. Все вокруг еще в призрачной дреме. Диковинными башнями громоздились на той стороне неясные лозняки ветлы. Десна — под куревом тумана, только слышно, как хрустально вызванивали капли росы, роняемые с нависших кустов в чуткую воду, да на весь плес бормотали струи вокруг затонувшей коряги. Все мокро и серо от росы: мокры задранные оглобли телег, горбатые спины бочек с соляркой, мокры и седые балаганы, и на дне остывшего казана за ночь набежало чистое озеро росы над остатками пшенной каши.

Но вот зашебуршало в одном из шалашей, рука прокопала сенную затычку в лазе. Наружу, как большой неуклюжий жук, выползал дед Тимофей. Выпрямлялся, с кряхтеньем отрывая от земли оплетенные веревками жил руки, да, так и не выпрямившись до



конца, оставался стоять на полусогнутых ногах, и синяя выпущенная рубаха пусто балахонилась спереди и натянута кургузилась сзади. Тимофей сипло откашливал вчерашнее курево, долго и зло скреб под рубахой за поясом: приходил в себя. И не ожив еще как следует, уже крутил утреннюю сигарку и приглядывался к косам, что свисали крючковатыми носами с ошкуренной слегги. И на каждом кончике косы — по росяной капле.

Тимофей осматривал косы, выбирал ту, что притупилась, присаживался с ней на козелки с наковаленкой и прицеливался перевернутым молотком.

«Ди-у, ди-у, ди-у», — чисто, ясно, певуче разносилось над лугами, над сонным становищем. И тотчас на той стороне в лозняках отзывалось еще тоньше и певуче: «Ти-у, ти-у, ти-у, ти-у...»

Шуршали сеном разбуженные балаганы, один за другим выползали багровые, заспанные, измятые, будто в тяжком похмелье, косари, вытряхали из рубах и всклокоченных волос сенную труху, крякали от сырой прохлады, разминали намаянные, не отдохнувшие за воробьиную ночь поясницы, бежали, пошатываясь, споласкиваться к реке. А Тимофей все тюкал по наковаленке, правил косы, и вот уже и ниже по течению, в суходольской бригаде, отозвались, затюкали по косе, и выше, в Меловом стане, и еще дальше... И так по всей реке, по всем ее извилам, близко и далеко, будто первые петухи, загомонили молотки и наковаленки — славили зарю.

Выбиралась из своего шалашика Анфиска, с хрустом потягивалась, заламывая за голову бронзовые руки с острыми локотками, и тоже сбегала босиком к Десне, на ходу расстегивая кофту и бросая ее на кусты. Забрела в реку и, зажав подол юбки между колен, шумно плескала дымящуюся парком воду на плечи в белых лямках ночной рубахи. Соломистая коса ее, свалившись со спины, писала концом по воде.

Косились мужики на Анфиску, цепляли озорными словами: — Может, спину потереть?

Спутнутая Анфиска стыдливо опускала на воду юбку, выбиралась на сухое. Мужики провожали ее долгим прищуром, примечая в Анфискиной фигуре всякие соблазны, потом и сами, смущаясь, переглядывались, без слов понимая друг друга.

Росла Анфиска в Доброводье, никто как-то не примечал в ней ничего особенного: тощеногая, лупоглазая. Жила с матерью, ходила в плюшевом жакетике да парусиновых туфлишках. В ту пору саперная рота доставала со дна реки затопленные понтоны и всякий военный утиль. В Анфискиной избе остановился на постой саперный лейтенантик. Месяца через три рота снялась. Анфиска ходила как потерянная. А под Новый год у нее родился мальчонка. Бабы провожали ее долгим молчаливым взглядом, жалели промеж собой в разговоре.



— Еще найдет себе... Молодая.

— Не больно теперь найдешь.

— Ей теперь один выход: уезжать, вербоваться куда...

Но Анфиска не уезжала, не вербовалась, а вот уже пятый год ходила в колхоз.

— Кончай курить! — по-армейски командовал бригадир и колотил обгорелой палкой по пустому гулкому kazanу.

Всхрапывал запущенный трактор, громко стрелял синим дымом. Мужики запрягали в косилки лошадей, разбирали косы и уходили в луга по росе до завтрака. И уже при солнце шли ворошить сено бабы и девки. Над пестрыми косынками колыхались грабли, будто оленье рога. Плелись неспешно, с ленцой. Но, придя на место и рассыпавшись каждая по своему валку, сноровисто и легко начинали подбивать и ворошить сено граблями. Дело вроде бы немудрящее, а поди ж ты: забивали здоровых девок пожилые бабы. Откуда что бралось: держались прямо спинно, с неуловимым достоинством, грабельки в руках невесомы, знай себе мелькали обшорканными до костяного блеска зубьями. Не гнула, не старила бабу работа, а, наоборот, молодила: не дело делает — играет, кружево вяжет.

На стыке двух соседних лугов иногда останавливались побалагурить.

— Эй, бабоньки! — кричали суходольские мужики. — Приходите вечерком под копенку, потолкуем...

— Пляди, беседчики отыскались! — хохотали полужские бабы.

Один из косарей передавал косу товарищу, обеими руками крепче натискивал кепку и бежал к бабам, по-медвежьи раскорячась и расставив руки-лапищи. Бабы взвизгивали и оцетинивались граблями.

— Проваливай, проваливай, бобик непривязанный!

— А ну, девки, лови его, обормота. Ломай крапиву!

Бабы дружно кидались в контратаку. Косарь поворачивал и, перепрыгивая через два валка, улепетывал к своим.

Но все это так, между прочим. Сенокос же кипел своим чередом. День-деньской катал по лугу свои колеса-бублики белорус-тракторок, сновали, стрекоча, конные сенокосилки, полнились травой и взблескивали, освобождаясь, конные грабли, и лошади ошалело мотали мордами и секли оводов хвостами. А уж по всяким неровностям, по старым окопам, по кустам да бочажникам махали косами мужики. Выпростаны из штанов рубахи, чтоб обдувало, мокры и темны сатиновые и ситцевые спины, багровы лица под выгоревшими картузами и кепками, виски влажно лоснились, а косари все ступали и ступали рядами, нога в ногу, замах в замахи: так спорей и легче, чем вразнобой. Ярko сверкнет сразу дюжина кос над травами, переступит сразу дюжина сапог, на одно мгнове-



ние задержатся, повиснут в воздухе косы — и тотчас снова с шелестящим певучим звоном все разом нырнут в зеленую глубину. Будто узкие белые рыбы играют, выплескиваются над волнами. И ложатся травы в ровные валки, то с подкошенным ирисом, желтой дугой промелькнувшим на пятке косы, то с малиновой свечкой иван-чая. Свежие валки истекают соком, терпко млеют от зноя, и тянет по всему поречью сладким настоем увядания.

К полудню все живое собиралось к воде, поили и купали лошадей, пили и полоскались сами, смывая сенной зуд и соль. Потом, разлегшись вокруг артельных алюминиевых полумисков, хлебали огненный бараний кулеш. Ели по старинке, блюда очередь по кругу от старшего, подпирая донышки резных ложек ломтями хлеба, с хрустом заедая горячее хлебово зеленым луком. А насытившись, расползались по балаганам, где под темными сводами еще хранилась ночная прохлада. Но и тут, завидев, между прочим, как Анфиска на четвереньках, белея заголившимися круглыми икрами, заползала в низкий лаз своего шалашика, кто-нибудь непременно шутил:

— Фис, пусти на полчасака...

— Срамоидолы! — корили бабы. — Мальчонку бы постеснялись. Мальчонка ведь при ней. А вы брешете языками.

За первой на деревне девкой так не следят, так не приглядываются, как за молодой вдовой бабой. Пройдет она обыкновенно, как все, а уже кажется, что не идет, а играет бедрами. Девки купаются — ничего, а войдет она в воду — и опять-таки вроде как с умыслом. Ни пойти ей, ни прилечь без хитрого прищуря со стороны, тем более что дело-то необычное: сенокос! Крутом воля вольная, и в косарях бродила хмельная удаль, как ни при какой прочей работе. И хоть и в шутку задевали Анфиску, но и в пустых словах косарей — извечный тайный намек и мужицкая надежда на лотерейный греховный билетик...

Иногда в луга навевывался доброводенский председатель Павел Чепурин. Был он еще молодой, но уже успел навоеваться, схлопотать контузию и шрам от виска до подбородка, закончить политехнический институт, очутиться в деревне в числе тридцатитысячников, собранных по предприятиям, еще раз переучиться в Тимирязевке и кроме боевых орденов нахватать кучу выговоров за своеобразие и искажение спущенных сверху циркуляров. Но, несмотря на свою горячность, мужик он был толковый, по-солдатски простой, и все оживлялись, когда он появлялся в лугах на мотоцикле.

— Ну как, хлопцы, дождя не будет? — кричал он еще издали, подъезжая.

Косари обступали его, чтобы поговорить или просто покурить председательских папиросок.



— Да вроде не должно...

Чепурин соскакивал с мотоцикла, нагнувшись и захватив пук подсохшего сена, нюхал, раздиргивал на былки и сорил себе на пыльные сапоги.

— Барана съели? — неожиданно спрашивал он, скосившись.

— Еще вчерась, — сознавались косари.

— Даете...

— Дак сена какие... Невпроворот...

— Центнеров по двадцать возьмем?

— И по тридцать будет... Как ни в какой год. Чай — сена!

— Чай-то чай, — почесал под кепкой один из косарей. — А не худо бы и чаюхи. За такие сена магарыч полагается.

— Будет, будет! — пообещал Чепурин, белозубо захохотал, покраснев шрамом, и прошел к трактору, прихрамывая и шмурыгая сапогами по стерне.

— С хорошим сеном вас, бабоньки! — крикнул он весело, проходя мимо ворошенных валков.

— И вас также...

— Носы! Носы берегите! А то облупятся. Потом не забелишь.

Бабы, будто того и ждали, чтоб их задели, дружно посыпали в ответ:

— Мы и небеленые сойдем!

— Все одно в печку глядецца, с горшками целовацца...

— Ты б свою-то на солнушко вытягнул. А то грабли по ней соскучились...

— Почеревок раструсила б... Небось ночью и не охватишь.

Бабы дружно расхохотались.

Чепурин и сам засмеялся и, смеясь, жмурился, крутил головой.

— Ну и язвы, ну и язвы, бабы! Обхватывать-то некого, — сознался Чепурин. — Неделю как уехала.

— Опять небось по курортам?

— В Сочах, бабы, в Сочах...

Бабы зашикали, иные с издевкой, иные продолжая вышучивать:

— Принцесса, скажи на милость!

— В стенгазету ее, толстомясую!

— Что ж так: нами — дак командуешь, а на свою узды нету?

— Нету, бабоньки милые, ох нету! — развел руками Чепурин. — Закатила мне домашнее бюро, села и уехала. Я, говорит, тебя все равно не вижу. Ты готов сам сесть в свинарник, в клетушку. От тебя, говорит, свинарником пахнет... Вот как!

— Знамо, — встряла в разговор Тимофеева бабка, высокая корявая старуха, говорившая басом. — Знамо: у кого грабли на плечах, а у кого задница в Сочах.

Бабы завизжали, схватились за животы. Иные, кто посмирнее на язык, конфузливо ухмылялись: уж больно солоно сказанула баб-



ка! Одними только глазами усмехнулась и Анфиска, застенчиво прикрыв рот уголком косынки.

Поймав на себе ее беглый смущенный взгляд, Чепурин и сам смутился и, переходя на дружески деловой тон, спросил:

— Ну как, Анфиса Васильевна, работается?

— Да так... — Анфиска, почему-то густо покраснев, нагнула голову, затеребила граблями клочок сена, отпихивая и подгартывая его к себе. — Как всем...

Чепурин помолчал, уставившись на бегло перебирающие Анфискины грабельки с таким видом, будто наблюдал важную и неотложную работу. Молчал так, словно хотел еще что-то спросить у Анфиски. И она ждала, не поднимая головы. Но, так ничего и не спросив, Чепурин построжал лицом, сказал:

— Такие, значит, дела...

И, может быть, быстрее, чем хотел, заспешил к трактору.

Меж тем сено начали копнить, а на второй неделе сенокоса в каких-нибудь два-три дня все поречье вверх и вниз по Десне дружно взбугрилось копнами, и не было такого места в лутах, куда бы можно было пройти напрямик, не натолкнувшись на копнушку. И, закружляя дело, стали сволакивать их на места повыше, посуше и там выкладывать округлые приземистые стога. Под конец, свезя к стогам сено с балаганов, поплескавшись в Десне на прощанье, выпив за ранним ужином сельповской перцовки, поплясав или так просто поговорив на вольном досуге, начали сниматься и сами бригады. И вот уже и вовсе опустели берега. Остались только притоптанные поляны покинутых становищ, черные закопченные ямы из под котлов да плетеные скелеты раскрытых балаганов. И еще остались стога... Неспешно тянулись мимо них отъезжающие обозы, и люди провожали взглядом памятники отшумевшей страды. Молча хранили стога в себе и безмятежные радости ребятишек, и чьи-то первые и не первые сердечные тайны, и хозяйственные надежды на сытый год, с молоком и хлебом, и вообще удовлетворение завершенной работой. Плядели косари на стога, на долгие вечерние тени от них, часто перечеркнувшие дорогу, и сами удивлялись: сколько наворочали!

## 2

Разорив свои шалаши, доброводенские косари тем же вечером, пока еще не село солнце, переправились на другой берег Десны разбирать процентовые деляны.

Левая сторона реки густо кучерявилась ивняками. Тут и там над мелколесьем высоко и дремотно поднимались старые уремные ракиты с растресканной корой и темными округлыми кронами. Под ними все лето стояла сумеречная и влажная духота, гудело комарье и бушевал хмель. Местами лес разбегался, открывая большие



и малые луговины. Эти-то опушковые покосы, разбросанные и потерянные в лозняковой чаще и неудобные для бригадной уборки, Чепурин раздавал для подворной косьбы в счет заработанных сенных процентов. Луговины побольше закреплялись за двумя-тремя дворами, на малых косили в одиночку. Обычно из года в год каждый косил на своем постоянном месте.

Анфиска тоже переправилась в попутной лодке, забитой бабами и мужиками.

— Косить али только поглядеть? — поинтересовался дед Тимофей, с кормы направляющий лодку.

— Что глядеть? Смахнет за одним разом, чтоб не бегаться, — ответила за Анфиску баба.

— И то дело, — кивнул Тимофей. — Мы дак тоже, не загад, покосимся.

— Самое в пору, — отозвалась другая баба. — Ночь будет светлая.

— Витюньку бы на деревню отправила, — посоветовал Тимофей, глядя, как Анфиска, подхватив сына одной рукой поперек живота, а другой опираясь на косу, ступила за борт в мелкую воду.

— Нехай бегаёт: лето, — сказала баба.

— Замаялся небось мальчонка.

— А он, может, при ней охрану несёт.

— Какой он охранщик? — сказал Тимофей. — Комар носом проткнет.

— Какой-никакой, а все-таки живая душа при ней. От вашего брата-шатуна... Который ему пошел-то?

— Пятый с зимы, — не оборачиваясь, досадуя на бабье сердоболье, ответила Анфиска и, осыпая комья глины, грузно выбралась с Витькой под мышкой на твердый травяной берег. Она поставила сына на ноги, вскинула на плечо косу, подхватила узелок с едой и шагнула в кусты на пробитую тропку.

— Лодка будет у поваленной ракиты! — крикнул с воды Тимофей.

— Найду!

— Стучи, стучи косой почаще, давай знать!..

— Ладно!

— Ежели раньше нас управишься — покричишь!

Анфиска прошла берегом вверх по реке и в полуверсте вышла на свою деляну, одним краем примыкавшую к Десне. Анфиска не была здесь с прошлого лета и едва узнала свой покос. Поверх нетронутых трав, пестревших багряными головками клевера, синими колокольцами, лупастыми звездами ромашек, часто пророс морковник. Он цвел крупными белыми зонтиками, распустившимися на уровне Анфискиной груди, и ей казалось, будто поляна была занавешена сверху полупрозрачным тюлем.



— Вот мы и дома, — сказала Анфиска Витьке, устало и умиротворенно оглядывая покос, будто осматривала горницу, в которой так давно не была. Опушка и на самом деле походила на светлую и чисто прибранную комнату, окруженную стенами леса и с распахнутым окном на реку, в луговое раздолье. В окно это широко и спокойно лился свет низкого солнца, по-вечернему румянившего лес и поляну, тянуло теплой сыростью речных песков, запахом нагретых за день осок и свежесметанных стогов.

Витька тут же нырнул под зонты морковника, побежал под ними, раскинув руки и теребя ладонями дудки. И там, где он бежал, над его белесой, давно не стриженной головкой вздрагивали и покачивались кружевные шапки соцветий.

— Мам, гляди какие! — кричал он.

Анфиска несколькими взмахами подкосила угол у самой реки, сгребла тяжелую, дурманно и знойно пахнущую траву, бросила поверх вороха телогрейку и позвала Витьку.

— Ну посиди тут.

— Не хочу сидеть. Побегу удочку срежу. Буду рыбу удить.

— Ну поуди, поуди.

Она присела на краю обрыва, свесила ноги над водой, уперлась руками в траву, откинулась на них и замерла так в минутном отдыхе. Прямо против нее над высоким уберезьем садилось багрово-дымное солнце. Матерый берег, до которого Десна доставала только в пору своего весеннего разгула, на самом верху, на увале, плоско и ослепительно желтел хлебами. Но скат его вместе с деревнями, садами и поперечными оврагами был уже окутан вечерней дымкой, казался пустынным, отвесным и неприступной синей стеной громоздился над плоской равниной лугов. Сами же луга еще купались в последних лучах солнца. Бесчисленные стога нежно розовели подсвеченными маковками и тянули навстречу Анфиске по багрово-зеленой отаве длинные синие тени. В лугах было безлюдно и по-вечернему настороженно и тихо. Только на самом увале высоко и густо вздымалась пыль над дорогой. Это суходольцы сразу несколькими обозами, поднявшись на урез, погнали лошадей рысью по ровному, спеша в дальние свои деревни, затерянные где-то за хлебами.

— Вот и покосы прошли, — вздохнула Анфиска, вглядываясь в клубы пыли над отъезжающими обозами. И ей стало почему-то грустно, что прошли покосы. Жаль было хорошей поры, которую она любила сызмальства. Чем больше выросла, тем нетерпеливее бежала в луга, полнясь смутным и радостным ожиданием чего-то... Но все обернулось обычной вдовьей работой, липучим и грубым вниманием мужичья, замкнутым одиночеством, о котором она никому не смела и не могла сказать. Теперь она была даже рада, что поблизости нет никаких делан и что она наконец-то одна. И все-таки было жаль, что прошли покосы, прошло еще одно лето...



Вздохнув, она сняла платье, ночную рубаху, подстелила под себя белье и посидела так, остывая, неспешно, задумчиво оглядывая себя, смахивая с шеи и поперек перерезанных полоской загара грудей сенную труху. Мягкое тепло вечернего солнца тронуло и пригрело ее живот и колени. Из лозняка выпорхнула и закачалась перед Анфиской на торчавшей из воды камышинке желтая плиска. Перечеркивая собою красное солнце, она раскачивалась, вздрагивала узким хвостом и с птичьей откровенностью разглядывала раздетую Анфиску.

— Сарафан сняла? Сарафан сняла? — требовательно спрашивала она.

— Кыш! — махнула Анфиска и плотно сдвинула колени.

В кустах зашебуршал Витька, радостно окликнул:

— Мам, смотри, какая удочка!

— Ага... хорошая.

— Мам, а что это у тебя на руке синее?

Витька притронулся пальцем к Анфискиному предплечью.

Анфиска закрыла покосный балагурный синяк ладонью и небрежно сказала:

— Поди, Витя, побегай...

Витька сострадательно уставился на Анфискину ладонь, прикрывавшую синяк.

— Поуди, поуди, Витя... Вон какая хорошая удочка.

Витька повернулся и запрыгал по берегу, вспархивая выгорелыми волосенками при каждом поскоке.

Анфиска поглядела вслед сыну, глаза ее заплыли слезой:

— Глупый...

И, оттолкнувшись пятками о край обрыва, она сильным броском бухнулась в розовато-засмиревшую Десну.

Уже в сумерках запалили костерок, ели пожаренное на прутиках сало, крутые яйца, прикусывали перышками лука. За темными кустами долго и светло разгоралась луна. Они ели, тихо переговариваясь, слушая, как где-то в лесу, на других делянах, гомонили бабы, звякали о косы оселки, а на той стороне в лугах все ржала и ржала беспокойно лошадь, глухо и тяжело стуча по земле копытами.

— Мам, чегой-то она?

— Так... спутанная...

Поиграв в засиневшем небе хворостинкой с угольком на конце, Витька утомился, прилег на охапку травы. Анфиса прикрыла его телогрейкой.

— Спи, горюшко мое, спи, мужичок мой...

Витька пошевелился, сворачиваясь калачиком, угреваясь, и затих.

Анфиска взяла косу, подошла к краю поляны. Луна наконец выпуталась из зарослей — большая, чистая и ясная, кусты под ней



заблестели влажными листьями. Деляна просияла, будто враз зажглись, засветились подвешенные над травами люстры морковника. На зонтах цветов тончайшим хрусталем заблестела роса. И сразу, как только взошла луна, где-то рядом отсырело заскрипел, забегал под серебристой и невесомой сеткой соцветий дергач, дружно брызнули окрестные кусты стрекучим гомоном камышевок.

— Светло-то как! — подивилась Анфиска.

Стоя на берегу, у края деляны, она заворуженно глядела на медлительную, переспело истекающую медовым светом луну.

Потом, все еще прислушиваясь к ликующей ночи, к радостно-грустному чувству в самой себе, неслышно, как бы боясь что-то потревожить, провела косой по крайним травам деляны.

### 3

Скоро уже, подчиняясь затягивающему азарту работы, Анфиска косила широко и жадно. Лишь изредка она распрямлялась, смахивала со лба волосы и поглядывала на скошенные валки. Неспешная луна собиралась бродить в небе до самого рассвета, и Анфиска прикидывала, что к тому времени должна управиться. Иногда, давая себе минутный роздых, она брала оселок и несколькими ударами поправляла жало косы. И тотчас на ближней деляне, за темными шапками раkit, подавала голос Тимофеева коса: мол, коси, коси, девка, мы тут тоже косим. За ней откликалась другая, третья, и начинало тонко, загадочно звенеть по всему ночному лесу: ко-сим, ко-сим.

И вот уже и жаль Анфиске, что она одна, а не на артельной деляне, где теперь потрескивает костер под старой раkitой, сложена в общую кучу разная еда, закипает черный покосный чайник, набитый смородиновым листом. И нет-нет да кто-нибудь, на время остановив косу, взболтнет что-то веселое... А есть, которые вдвоем, с мужем...

Анфиска пыталась представить, как косила бы она с мужем... Костер палить было бы некогда, да и балагурить незачем... Работали бы молча. А тоже хорошо...

Прислушиваясь к перезвону на ближних и дальних делянах, она уловила ворчливый гул мотоцикла на лесной дороге. Дорога эта, по которой свозили в деревню сено, петляла, восьмерила, давала ответвление по всей уреме и где-то недалеко обегала Анфискин покос. Свое сено она переправляла сразу на тот берег, так было удобней, и на ее маленькую деляну не было пробито проезда. Мотоцикл протарахтел мимо, потом внезапно заглох, долго молчал, снова застрекотал, теперь уже возвращаясь обратно. В кустах, против ее покоса пробился раздробленный листвою свет фары.

«Рыболовы, что ли, — подумала Анфиска. — Мало им места на Десне».



Хлестая ветками кустов, мотоцикл продрался, вынырнул на поляну, полоснул светом, но тут же умолк и погасил фару.

Анфиска опустила косу, выжидая.

Из тени кустов вышел рослый человек.

По белой фуражке она узнала Чепурина. Прямо по некошеному он подошел к ней.

Анфиска замерла.

— А я слышу: кто-то косой звякает. Дай, думаю, загляну, — сказал он. — Едва проехал...

Чепурин стоял против света, и она, мельком взглядывая, не могла разглядеть его лица, но по голосу улавливала какую-то странную растерянность и возбужденность. Видно, ему и самому было неловко оттого, что он оказался на этой деляне, неловко было и объяснять, зачем он здесь.

— Испугалась?

— Думала, рыболовы... — проговорила она.

— А я в районе был... Только что оттуда, — сказал Чепурин и зачем-то снял фуражку. — Заехал поглядеть, как народ полуношничает..

— Да вот косим... — сказала Анфиска. Растерянно перекрещенными на груди руками, оставшимися прижатыми так вместе с ручкой косы с самого момента появления Чепурина, она чувствовала, как часто колотилось ее сердце.

Чепурин обвел глазами деляну:

— Твой, значит, пай... Морковки много. Сорное сено будет...

— И на том спасибо, — выговорила Анфиска чужими, одеревеневшими губами.

Чепурин помолчал, повертел в руках фуражку.

— Помочь, что ли? — сказал он, помолчав.

— Я сама, — тихо воспротивилась Анфиска.

— Сама-то не успеешь.

Он взялся за ручку косы, легонько потянул к себе. Анфиска не отпустила.

— Спешить некуда, — сказала она. — Ночь еще впереди.

— Скоро темно станет.

— Луна только взошла. Вон какая!

— Погаснет луна-то твоя... Сегодня затмение будет...

— Не надо, Павел Семенович, — потупилась Анфиска. — Я сама управлюсь.

— Ну как знаешь. — Чепурин посмотрел на луну, на морковник. — Ты не подумай... Я ведь по-хорошему.

Он достал папироску, пыхнул спичкой. Анфиска стояла, выжидая. В ее как-то сразу поменьшавшей ростом фигуре было что-то неприкаянное и жалкое.

Долго и напряженно молчали. В мокрых кустах верещали камышевки. Вдруг Чепурин порывисто отбросил окурок и крупными



шагами пошел в дальний угол деляны к мотоциклу. Но он не уехал, как подумала Анфиска, а, к ее удивлению, вытащил из коляски разобранную косу, сладил ее и молча принялся косить прямо от колес мотоцикла. Анфиска слышала, как заходила его коса с сердитым и протяжным шиканьем.

Анфиска растерялась. Первой ее мыслью было разбудить Витьку. Но Витька сладко посапывал, и она, поправив на нем одежду, отошла, остановилась у обрыва, смятенно уставившись на светлую гладь реки. Потом тихо, будто крадучись, прошла к незаконченному прокосу. Она начала косить, все время сбиваясь, путаясь в траве, мучительно и обостренно прислушиваясь к размашистому вжиканью в дальнем углу деляны.

Луна, уже высоко поднявшись над лесом, заметно поубавилась, уплотнилась, но все еще была диковинно велика. Анфиска косила против луны. Чепурин двигался от луны к ней навстречу. Работали молча, затаившись, как два сапера по обе стороны фронта, пробивающие проход в проволочном ограждении. Нетронутая стена трав, разделявшая их, уменьшалась и редела. Впереди, белея, покачивалась фуражка Чепурина, широко и порывисто поворачивались его плечи, и то и дело над дудником взмелькивала ручка его косы. Она видела, как, вздрогнув, широкими полукруглыми рушились и исчезали перед ним хрустальные люстры морковника.

Когда между ними осталась тонкая, на два-три взмаха стенка из высоких, пронизанных светом стеблей, Анфиска остановилась. Остановился и он, шумно и прерывисто дыша.

Тяготясь этой неловкой паузой, страхась — не его, Чепурина, а самое себя, своего напряженного обессиливающего оцепенения, она, ни разу не взглянув на него, не поднимая головы, повернулась и пошла, почти побежала к берегу, к началу покоса.

— Анфис... — позвал он.

Она слышала, как он смахнул остатки травы, разделявшие их, и торопливо пошел следом.

— Что ж мы... так и будем разбегаться по углам? Глупо все как-то...

В голосе его звучала все та же неловкость и виноватость за то, что он здесь и вот так с нею.

Анфиска только еще больше нагнула голову, вышла к берегу и сразу начала новый прогон.

— Давай хоть косить рядом... — буркнул Чепурин.

Она успела уже отойти немного, когда Чепурин начал косить с левой стороны. Чувствуя за спиной мерные переступы его сапог, резкое свистящее позванивание, Анфиска, закусив губы, косила с оцепенелым упорством, как будто все дело было в том, чтобы не дать себя догнать. На каждые два его взмаха она отвечала тремя. Босые ноги горели от колючей стерни и спиртово-жгучей росы, но еще больше горело ее лицо.



«Что же это?..» — спрашивала она самое себя.

Вспомнилось, как весной он подвозил ее со станции. Она тогда, перед половодьем, накупила много хлеба, несла тяжело в двух мешках, связанных вместе. Он нагнал ее на своем газике, узнал, остановился, забрал мешки и посадил в машину. Дорога была разбитая, с жидкой снежной кашей в глубоких колеях, с частыми лыжами по низинам, машину бросало, заваливало с боку на бок. Чепурин напряженно рулил и, может быть, потому лишь изредка с ней заговаривал, отрывисто спрашивая о самом обыденном: как живет, как мать, сынишка... В шоферское зеркальце она мельком видела его худое, обветренное лицо с багровым швом во всю плохо выбритую щеку, видела напряженно-сосредоточенные жидко-зеленые глаза и, стесняясь своих чувалов, набитых городскими буханками, грязных галош на валенках, настороженно цепenea от новых его вопросов, односложно отвечала: «Живу помаленьку», «Мать ничего», «Сын уже большой».

И когда потом приходилось встречаться с Чепуриным — на колхозном дворе, на улице, — все так же терялась перед ним, и особенно почему-то в тот раз, на покосе, когда он пытался заговорить с ней.

Ни разу не оглянувшись, она косила все с тем же упорством и уже не чувствовала рук, не ощущала в онемевших пальцах кося и только упрямо, через силу водила плечами. Белые шапки морковника, взблескивая оброненной росой, казалось, сами собой гасли перед нею, будто слабые огоньки от ветра.

На середине прогона она услышала, как Чепурин остановился. Чуть обернувшись, она увидела, что он скинул пиджак, отшвырнул на стерню и, оставшись в одной белой рубашке, азартно плевал на руки.

Но и у нее больше сил не оставалось.

«Сейчас упаду», — задыхаясь и слепея от напряжения, думала Анфиска.

Она уже не слышала ни его, ни своей косы, не слышала цикадного стрекота камышевок, не замечала, как все бежал, все скрипел на остатке быстро таявшей луговины дергач — невольный судья этой борьбы двух людей на ночном покосе.

— Тьфу! Заморила! — сплюнул наконец Чепурин. — Анфис... Да погоди же ты...

Он постоял, глядя вслед продолжавшей косить Анфиске, и вдруг, отбросив косу, в два прыжка нагнал, обнял, больно сдавил плечи, рывком повернул к себе и, сам задыхаясь, прижал к груди.

— Вот... Чтоб знала...

Потная, горячая, не видящая ничего, с гулким стуком в висках, она затихла в крепком захвате его рук, провалившись в какое-то обжигающее небытие.

— Не сердись только... не гони, — проговорил он.



Луна, поднявшись в свой зенит, накалилась до слепящей голубизны, небо вокруг раздвинулось, нежно просветлело и проливалось теперь на лес, на поляну, на белую кипень цветов трепетно-дымным голубым светопадом. Свет падал на Анфискино лицо, казавшееся бледным и осунувшимся. Под полузапахнутыми ресницами темно и влажно взблескивали глаза.

— Устала я, — не открывая век, прошептала Анфиска, почувствовав себя вдруг окончательно надломленной и обессиленной не только от напряженной косьбы, но и от всех этих трудных и горьких лет вдовьего одиночества.

Чепурин, должно быть, понял в ней это, бережно взял в ладони ее голову, притянул и крепко и долго поцеловал в сухие, безответные губы.

Анфиска затаенно молчала, приходя в себя, прислушиваясь к сильным толчкам его сердца под влажной от пота рубашкой.

— Запалила ты меня, — сказал Чепурин.

— Я сама чуть не упала.

— Зачем же так...

— Не знаю...

— Я ведь по-хорошему..

Анфиска не ответила.

Он слегка, будто стесняясь этого движения, одними только кончиками пальцев потрогал ее волосы.

— Давай докосим? — сказал Чепурин.

Постояв еще, помедлив, она наконец молча шевельнула плечами, прося ее освободить. Чепурин разжал руки, она устало нагнулась, подняла косу.

— Ты посиди... Не надо, — сказал Чепурин.

— Нет... Я тоже...

Остаток поляны они докашивали рядом.

Чепурин, без фуражки, с закатанными рукавами белой рубахи, косил размашисто, низко пуская косу, чуть пригибая колени. Встречный свет заливал его плечи, дымился в светлых спутанных волосах. Тяжелые стебли дудника, мельтеша белыми шапками, уносились в сторону и ложились рядом с Анфиской. Валок истекал сырым травяным запахом. Время от времени Чепурин приостанавливался и, шумно отдуваясь, улыбаясь запаленно открытым ртом, подбадрял:

— Идет дело?

Анфиска молча кивала.

— Ну давай... Осталось немножко.

За согласной работой как-то сама прошла Анфискина усталость, руки окрепли, и она, поглядывая на Чепурина, на его неторопливые расчетливые движения, чувствуя, что ему нравится косить, и сама начинала полниться тихой и умиротворенной радостью.

— У тебя есть оселок? — спросил он.



— Где-то на берегу.

— Надо поправить косы. Мы их совсем загнали об эту чертову морковку. Откуда ее столькоросло?

Чепурин говорил так, будто ничего между ними и не было, будто они еще с вечера пришли сюда, как другие, как все, затем только, чтобы запасти на зиму сена.

Он нашел на обрыве оселок и стал править косы — ее и свою. И сразу за лозняками тонко звякнуло ответно. И зазвенело, затюкало справа, слева, близко и далеко — по всему лунному лесу.

— Народу-то сколько! — удивился Чепурин.

Ликующе-голубой свет заливал поляну. Была видна каждая травинка, каждый листок, и все везде сверкало и блестело. Светлая гладь реки за краем обрыва кольчужно серебрилась от кругов разыгравшейся рыбы. Бледно проступили песчаные косы на той стороне, и в песках блестели и переливались голубым огнем выброшенные створки ракушек. Серебрились обрызганные росой осоки под тем берегом, легким дымом серебрилась подстриженная отава, серебрилась шиферная крыша коровника на гребне далекого уреза и призрачными шатрами проступали бесчисленные стога в луговом заречье.

Простоволосо-растрепанный, в расстегнутой на груди рубахе, Чепурин стоял с косой и оселком в руке, чуть наклонив голову, и, полный мальчишеского внимания и интереса, слушал, как перекликались косы на лесных делянах.

Еще вчера этот человек расчетливо считал свои часы и минуты, куда-то уезжал, приезжал, командовал и распоряжался, звонил по телефону каким-то далеким и высоким начальникам и сам был страшно далек от Анфиски своей исполненной какой-то значительности председательской беспокойной жизнью. Но теперь, видя его так близко, рядом с собой, за простой крестьянской работой, обыденной и понятной ей сизмальства, делавшей его тоже простым и понятным, Анфиска почувствовала себя так, будто знала его давно и работала рядом всю жизнь.

— Как названивают! — сказал он, радуясь. — Послушай только, что делается! По всей Десне!

Анфиска смотрела на Чепурина, слушала и ничего не слышала, кроме стука своего радостно-смятенного сердца.

#### 4

Перемешанные с травой стебли морковника пружинисто топорщились, валки высоко бугрились, белели зонтиками, и вся полянка казалась прибойно-полосатой. Терпко, дурманно пахло каратиновым настоем, напитавшим росу и ночной воздух.

Они лежали на ворохе скошенной травы, влажной и теплой, нагретой их телами. Лежали на самом берегу, головой к реке, умиротворенные доверием друг к другу.



- Есть хочешь?
- Что-то не хочется.
- Я захватил с собой. В мотоцикле. Поешь.
- Не надо. Не вставай...

Чепурин лежал навзничь, подложив под голову правую руку, она пристроилась на его плече.

— Не хочется, чтобы ты уходил... — Анфиска задержала его руку на своем плече и сама подвинулась теснее. — Смотри, какая луна сегодня! Я даже чувствую ее сквозь веки. Закрой глаза... Ты правду говорил про затмение?

- По радио передавали.
- А я думала — нарочно...

Луна бесстрашно, светло и празднично шла навстречу неведомому, поджидавшему ее в какой-то точке кроткого ночного неба. Казалось, уже воздух начинал тихо и напряженно вызванивать от ее неистового сияния.

— Я хоть нагляжусь на нее сегодня... Не помню, когда я глядела так...

— Это верно, — кивнул Чепурин. — Головы поднять некогда. Анфиска, задумавшись, долго вглядывалась в голубой диск.

— Какая она чистая... Как девушка. Я даже глаза различаю. Словно бы улыбается...

- Это горы.
- Нет, глаза.
- Кратеры всякие.
- Тебе — кратеры, а мне — глаза.

Чепурин усмехнулся Анфискиному шутливому упрямству.

— Вот песни по радио поют, — вздохнула Анфиска. — Про свиданье на луне. Плустики какие, господи! Земли, что ли, мало? Только любите по-хорошему.

Тяжелый рогатый жук низко пролетел над головами и плюхнулся в скошенную траву. Должно быть, летел из заречья. Жук завозился, рыкая крыльями в стеблях, будто запуская заглухший мотор. Наконец взлетел и, довольный, басовито загудел. На светлом небе были видны его черные вскинутые надкрылья. Анфиска проводила его взглядом, прислушалась.

- Разве есть где лучше? Птиц-то сколько! Каждый куст стрекочет.
- Да, ночь хороша! Теплынь. Самое лето.
- У нас по Десне их сверчками зовут.
- Какие они?
- Разве не видел? Серенькие с желтизной.
- Как-то не обратил внимания.
- Хвост округло подстрижен. У плиски хвост ровный, у зяблика, у чечевички — с выемкой. А у этих — будто лопаточка для мороженого. И голос: не поют, а сверчат. Потому и сверчки.



— Похоже... А вон то кто? Осторожно так...

— Не узнал? Соловей!

— Ну какой же соловей? Соловья-то я знаю.

— Соловей и есть.

— Коротко очень.

— Молоденький еще... Старые теперь уже не поют... Лето переломилось. А этот только пробует голос. Первая его песня. Будто в молодой орешек посвистывает... Слышишь? Шелкнет и сам себя слушает. Мол, ладно ли получилось? А потом надолго и замолчит: засовестится. Молоденький...

— Берендеевна! — усмехнулся Чепурин и ласково, уважительно взглянул на Анфиску.

— В детстве из лесов-лугов не вылазила. В деревне — куда еще побежишь? Вся тебе тут земля, весь мир. Каждое гнездо разглядим: и как сделано, и какие яички... С той поры всех птиц своих знаю... А вот то дергач... Послушай, как он...

— Этого скрипуна я давно приметил.

— Всю ночь так.

— Уж больно музыка у него некрасивая. Будто гребешком по сухой щепке.

— Это нам только. А ему все равно весело. Ночь-то какая! Диво! Все, как умеет, радуется... Я тоже, будь моя воля, птицею стала бы... Даже не задумалась — поменялась бы...

— Чудачка!

— Хорошо птицею. Лети куда хочешь. Воля!

— Куда же ты?

— Мало ли куда...

Раздумывая, куда бы она полетела, Анфиска вспомнила, как еще подростком несколько раз бегала на станцию. Мать завертывала в капустные листья обваренного куренка, клала на дно корзины десяток-другой яиц, свежих огурцов, и Анфиска, шлепая по прохладной утренней пыли, бежала среди хлебов к паровозным дымам на горизонте. Ничего не волновало ее так сладко и празднично, как добела накатанные рельсы и длинные, зовущие паровозные гудки.

Там, на станции, поставив у ног корзинку где-нибудь возле газетного киоска, она подолгу заглядывалась на поезда: дивилась широким, в одно сплошное стекло, выгонным окнам, белым накрахмаленным занавескам, цветам в глиняных горшках на столиках и по всему этому силилась представить, как должно быть хорошо и необыкновенно ехать в таком вагоне. Вполуслух, разлепляя губы, она читала надписи «Москва — Одесса», «Москва — София» и, прочитав, с ревнивой завистью следила за бойкими проводницами в синих беретах, которые, убрав подножки и став в вагонных дверях, вот так просто, с какой-то легкой беспечностью ехали в далекие неведомые города, равнодушно посматривая на все, что оста-



валось здесь, на перроне, на все эти киоски, багажные тележки, на нее, Анфиску, зазевавшуюся босоногую девчонку из неизвестного им села.

Анфиска забывала про свою распродажу, пока какой-нибудь дотошный пассажир, заглянув в корзинку, не обнаруживал торчащие цыплячьи лапки. Набегали другие, копались в корзине, как в своей собственной, выгребали яйца, огурцы, совали деньги. Она машинально прятала их в карман, не сосчитывая, стесняясь своего нехитрого товара, и приходила в себя, лишь когда появлялся милиционер и сонно, разморенно говорил: «Давай, давай отсюда... Не положено».

— Посмотрела бы, куда наша Десна течет... — вслух сказала Анфиска. — До самого моря слетала бы... Живешь! Вот тебе изба, печь, грабли или тятка... Зима — лето, зима — лето...

Анфиска робко улыбнулась, будто винясь за свое такое желание — полететь птицей.

— Правда, Паша... Бабе всегда только и солнышко отпущено, что в детстве. Девчонкой прыгаешь, ничего не знаешь, думаешь: как все. А вырастешь — нажалеешься, что баба... Конечно, не у каждой так.

И опять она вспомнила поезда. Почему-то в них всегда много красивых женщин. Некоторые уже пожилые, с сединой в висках, а все равно красивые. Не лицом даже, а чем-то таким, чего Анфиска никак не могла понять. Вольностью своей, что ли? Они красиво прогуливались вдоль вагонов, красиво ели мороженое, красиво смеялись и разговаривали с мужчинами, тоже красивыми, породистыми. Платформа была единственным местом, где Анфиска прикасалась к этому шумному веселому миру, который существовал сам по себе в неведомом далеке от ее, Анфискиной, жизни.

— Есть — на всю жизнь бабы, а есть — женщины, — сказала Анфиска, прервав свои размышления. — Кому как выпадет.

— А ты тоже красивая. — Чепурин за плечо качнул Анфиску к себе. — Смотрел я, как сено ворошила: красавица!

— Какая, Паша, красота, если по три гектара свеклы на брата... Ноги позаломились...

Небо все расцветало, все голубело в том месте, где проходила высокая и ясная луна. Оставив ее сиять одну, звезды далеко вокруг отступили, истаяли и только понизу, над самыми деревьями, где было темнее, проглядывали редко и несмело, будто боялись помешать праздничному шествию луны. Может быть, она разгоралась бы и дальше, как раз в это время что-то притронулось к ее левому боку, чуть надавило, оставив едва заметную вмятину.

— Смотри, Паша!

— Вижу.

Они притихли, приглядываясь.



Казалось, все оставалось прежним: и мерцающая бездонность неба, и сама луна светила все с той же беспечной ясностью; но это безмолвное, вкрадчивое чье-то прикосновение к луне сразу же было замечено и лесом и лугами.

Коростель оборвал свой скрип и насторожился. Скрипнул еще раз неуверенно, затих и не подал больше голоса. Поредел и рассыпался хор камышевок.

Наступила тревожно настороженная тишина.

Стало слышно, как в тени обрыва, оmyвая камыши, дремавшие у берега взабродку, всплескивалась вода. Казалось, Десна бежала у самого изголовья, и, чтобы достать до реки, стоило только протянуть руку.

— Давай Витьку разбудим, — сказал Чепурин, невольно переходя на шепот.

— Зачем?

— Поглядит на затмение.

— Мал еще... Что он понимает?

Чепурин покосился на часы.

— Сколько? — спросила Анфиска.

— Четверть второго.

— Тихо как стало.

— Ага... Будто отрезало...

— Луна, как откусанное яблоко... Совсем закроет?

— Говорили — совсем...

— А мне почему-то жалко ее...

— Ну что ты...

— Правда. Даже как-то не по себе.

— Это всего только тень.

— Знаю, что тень. И в школе учила — тень. А тревожно. Тебе разве нет?

— Непривычно как-то.

— Вот и птицы затаились. Тоже понимают...

Подчиняясь нахлынувшей тишине, они и сами притихли и долго лежали молча, наблюдая затмение.

На реке стукнуло весло. Высокий бабий голос позвал:

— Анфи-са!

По лесу изломанно прокатилось «и-са, и-са», и, затихая, эхо потерялось в лугах, среди стогов.

— Тебя...

— Домой кличут. У них там лодка.

— А-у, Фиска-а! Поехали-и!

В ответ в лугах залиvistо заржала лошадь.

— Затмение начало-ось! — кричали с берега бабы. — Где ты там?

Кто-то постучал в косу, потом еще покричали и стихли.

Было далеко слышать, как время от времени переправлялись



лодки: стучали о борта весла, позвякивали причальные цепи, перекликались бабы. И еще долго потом доносились с той стороны лугов постепенно затухающие голоса.

— Уехали, — сказал Чепурин.

— Пусть... — твердо проговорила Анфиска.

Из вороха травы, примятого посередине и закрывавшего краями лес, им было видно только небо и круг луны, на который слева все наползало и наползало что-то зловеще-неотвратимое, что принято просто называть тенью.

Чепурин и Анфиска вдруг почувствовали себя затерянными в обезлюдившем, притихшем лесу.

— Глухо-то как...

— Боишься?

— Нет... — И, помолчав, добавила: — С тобой не страшно.

Они глядели на медленно угасающую луну, и Анфиска вспоминала, как все эти годы думала об этом человеке, в одиноких невысказанных мечтах примеряла его к своей жизни. Вспоминалось, как однажды увидела на дороге мотоцикл. Ехали незнакомые мужчина и женщина, усталые, в запыленных комбинезонах. Он — за рулем, а она — сзади: обхватила его за бока, прижалась щекой к спине — от ветра, и ехали. Долго она смотрела им вслед, пока не скрылись за горюшкой, а сама все прикидывала, как бы она тоже вот так поехала... Хоть на край света... И чтоб тоже был ветер... А то раз привезли в сельпо пододеяльники. Хорошие такие, с русской мережкой по углам. Смотрела, как люди брали на приданое девушкам-невестам, и завидовала... И опять прикидывала, как бы она застелила все новое... И хотя знала: ни к чему это, никогда тому не бывать, а все-таки приходили такие мысли, все примеряла его к себе... И сегодня тоже: косила, а его рядом с собой ставила... Только когда и вправду приехал — испугалась. Ждала, ждала этого часу, а самой жутко стало... И жутко и хмельно...

Вспоминая все это, украдкой разглядывая его лицо при лунном свете, Анфиска бережно провела пальцем по шраму на щеке Чепурина.

— Чем это тебя, Паша?

— Осколком.

— Будто ножом.

— Это меня напоследок в Берлине угостили гранатой с чердака.

От темного шрама, затянутого гладкой и бесчувственной кожей, Анфиска провела пальцем по светлой живой щетине на подбородке, попробовала расправить лучики морщин на виске. С тихой задумчивостью разглядывала она залитое лунным светом лицо Чепурина — суровое и грубое вблизи, с крупными сухими губами, с жесткими кустиками выгоревших бровей. Двигая кадыком, он заглатывал дым папиросы и неторопливо выпускал синий жгут, це-



лясь им в комаров. Анфиска удивлялась, как много он набирал дыма, который долго еще потом, при каждом выдохе, курился из ноздрей постепенно затухающими струйками. От лица Чепурина веяло спокойной надежностью, и, может быть, оттого оно казалось Анфиске даже красивым, а больше всего — понятным: в нем ничего не настораживало и не отпугивало.

— Смотрю я на тебя: вот и городской, а какой-то ты наш... — тихо проговорила Анфиска. — Будто в деревне вырос.

Он сузил глаза, жесткие кустики бровей обрывисто нависли над переносьем. Долго лежал так, сощурясь, остро вглядываясь в луну, а может быть, и во что-то свое, в самом себе.

— Вот вспоминаю свое мальчишество, — сказал он задумчиво. — Кажется, оно было страшно давно. Как до Рождества Христова.

— А я будто вчера девчонкой бегала, — сказала Анфиска. — Даже платья какие носила, помню.

— Тебе повезло. Все-таки цельным куском живешь. А я другой раз силюсь представить что-нибудь из тех лет, закрою глаза и вижу совсем не то... Какие-то балки огненные рушатся... Люди бегут... Черные против огня... Бегут и падают...

Анфиска зябко поежилась.

— Насмотрелся ты за войну. Оттого и так...

— Может быть... Никак я не пробьюсь сквозь все это в те свои годы... Где-то они остались по другую сторону.. Как за лесным пожаром. И не связывают с теперешними.

— Сколько тебе тогда было?

— Семнадцать.

— Молоденький совсем.

— Из девятого класса пошел. Перевязал веревочкой свои физики-химии, недоделанные планеры на чердаке спрятал и — потопал... Думал, приду — доделаю... Я даже девчатам писем не писал: не успел завести. Всё планеры клеил.

Чепурин потянул из вороха травинку, пожевал, поиграл ею в губах, продолжая задумчиво и пристально вглядываться в ночное небо.

— И все это куда-то ушло... Самый лучший кусок жизни. Будто и не я тогда был на свете... Так вот и живу какой-то укороченный.

— Может, от ранения это?

— Может, и отшибло... Такое теперь ощущение, словно я впервые появился на свет не в родильном доме, как это положено, а в армейском госпитале. Вынырнул из хлороформа, будто из небытия, и, как младенец, смотрел на божий мир. Ко всему нужно было привыкать заново.

...Помню, первое, что я тогда увидел после операции, — были стенные часы. Я долго смотрел на маятник. А он не спеша так раскачивается. Как, бывало, дома... И тишина... Еще недавно все грохотало, а тут тихо... По этому маятнику и догадался, что живу.. А



еще помню, в палату вошла медсестра, — по губам Чепурина скользнула грустная улыбка. — Вот говорят: не бывает любви с первого взгляда... Она вошла такая белая, чистая. Я смотрел на нее, как на чудо... Подсела ко мне и говорит: «Ну вот, все в порядке. Теперь будете жить». А я даже не словам, а одному только голосу ее обрадовался.

— Это уже после Берлина?

— Берлин еще брали. На тумбочке вода в графине все время вздрагивала... Это было в Эбенсвальде, в полевом госпитале. Я лежал весь в бинтах, и голова и грудь, только ежик между бинтов торчал на макушке.

— Больно, наверное, было?

— Тогда еще нет... Она сунула мне градусник под шею. Сказала, чтобы прижал его подбородком. Я наклонил голову и увидел близко перед собой ее руку.. Не знаю, что на меня тогда нашло. Я дотянулся до ее пальцев губами и поцеловал... Они были прохладные, чистые... И душистым мылом пахли... Она не отдернула руку, а только потрепала мой ежик. Я никогда не был такой счастливый, веришь?

— Понимаю, Паша, — кивнула Анфиска.

— Может быть, потому, что для меня уже кончилась война. А тут еще весна за окном: солнце, небо синее, деревья зазеленели... А может, и оттого, что из детства вынырнул прямо взрослым парнем. Минувшая юность. Она была для меня каким-то открытием. Во мне впервые проснулось что-то радостное, благодарное к этой белой девушке.

— Жалко, что не я была это, — прошептала Анфиска. — Я так бы и сидела около тебя... Ты правда ее любил?

— В тот день она раза три ко мне подходила... А на другое утро меня эвакуировали.

— Так сразу? А она?

— А что она? Для нее я был просто раненый. Сотый или тысячный. Я даже имени ее не знал. Да это было и не важно. Я радовался одному тому, что она есть, кроме огня, трупов, вонючих портянок...

На поляну неслышно выметнулась летучая мышь, стремительно, изломанно заметалась над валками. Несколько раз она совсем близко пронеслась над Чепуриным. Потом так же неслышно пропала — загадочное существо, своим появлением всегда странно и неприятно упрекающее человека в бренности его страстей. Анфиска поискала мышь в лунном небе, но не нашла и тихо спросила:

— А что потом было? Расскажи, Паша. Я ведь только и знаю про тебя, что ты наш председатель.

— Потом? — Чепурин потянулся к пачке беломора, лежавшей рядом с ним на траве, раскурил папиросу и выпустил дымный бублик, целясь им в луну. — Потом валялся в госпитале. В Рязани. Война давно кончилась. На дворе июль, отцвели госпитальные липы. Многие раненые разъезжались по домам. Долеживали самые бедолаги — обгорелые, ампутированные. В палатах пусто, нудно...



Я тоже стал проситься на выписку. Правда, раны еще не затянулись, но меня не стали задерживать: госпиталь тоже спешил сворачиваться. Направили меня лечиться по месту жительства. Есть такой городишко, Борисоглебск, может, слыхала?

— Нет...

— За Воронежем... Пришкандыбал домой. Костыли, рука на перевязи. Мать что-то стирала. Постарела, будто прошло десять лет. Кинулась ко мне красными распаренными руками. Обступили сестренки — друг друга не узнаем: вытянулись. Набежали родственники: одни бабы. То смеялись, то плакали, то опять смеялись... Знаешь, как это бывает, когда одни бабы. Все ведь остались вдовы.

— Знаю, родной... — вздохнула Анфиска. — Я тогда еще маленькой была, а помню: как почтарка пройдет — то в одном дворе плач, то в другом. Да и теперь еще ревут... Когда праздники...

— По всей России было так... Переполовиненные города и деревни. От отца тоже одна увеличенная карточка на стенке осталась... Из нашей семьи девятеро ушло. Сначала батя с дядьями. А следом и мы, пацаны. И все там... От самой Польши до Москвы могилы Чепуриных тянутся. А потом еще и в обратном порядке.

Чепурин несколькими затяжками жарко раскурил папиросу, морщась, заговорил пополам с дымом:

— В общем, вернулся я в свой Борисоглебск. Начислили мне сто восемьдесят три рубля пенсии. А стоптанные башмаки на барахолке тысячу рублей стоили. Пачка папирос — четвертная... Думал-думал, решил пойти в школу доучиваться. Поступил прямо в дневную. Все к лешему перезабыл, все эти синусы-косинусы. Ночами сидел догонял. Утром в школу иду — ветром шатало...

— Я бы так не смогла.

— Что было делать? Правда, в школе меня уважали. Бывало, иду по коридору, костыль скрипит, медали звякают, малышня жметесь к стеночке и тихо так: «Здрасьте...», «Здрасьте...» А директор говорил: «Если надо покурить, заходи в мой кабинет, вместе покурим. Только не при детях, пожалуйста...» В общем, всякое было... — Чепурин махнул рукой и замолчал.

— Говори, Паша, — попросила Анфиска. — Мне все интересно про тебя.

— Ну что еще рассказать? В тот год я все-таки десятилетку не закончил. Весной открылась рана на плече. Положили в госпиталь. Опять что-то резали. Сдал экзамены только на другую весну. Потом уехал в Харьков... Вон опять мышь появилась... — Чепурин кивнул подбородком. — Смотри! Совсем не боится. Даже ветер по лицу.

— Это она около твоей рубашки. Они белое любят... А в Харькове зачем, Паша?

— В Харькове? Надо было как-то выкарабкиваться... Поехал поступать в институт. С условием, что из дому не будут высылать



ни копейки. — Чепурин рассмеялся. — Вот тоже была веселая жизнь. Бывало, разживемся гуашью и рисуем друг другу носки — прямо на голой ноге. Кому в клеточку, кому в полосочку. Красивые носки получались. Если краски покруче на казеине замешать — износу нет. От бани до бани... Вот так, Анфисушка, я стал инженером железнодорожного транспорта. Ну что еще? Направили меня в Смоленск. Год не поработал, как меня сюда, к вам, на укрепление эмтээс... На этом вся моя городская жизнь и закончилась. Успел только жениться, перед самым отъездом.

— У нас бы и женился, — робко усмехнулась Анфиска.

— А я откуда знал, что поеду? Знал бы — повременил. Тебя бы взял. Пошла бы?

— Пошла...

— Ты тогда еще в школу бегала.

— Четырнадцать было.

— Стручок зеленый.

— Все равно через три годочка выскочила.

— Да, как бежит время! — шумно выдохнул Чепурин. — Вот уже и двенадцать лет, как я здесь... Помню, прихожу из обкома домой, месяца три как поженились. Так и так... Едем в деревню!.. В какую такую, говорит, деревню? Посылают как молодого специалиста. Какой, говорит, ты специалист? Там же трактора, а ты паровозник. Пойди и объясни им... А что им, говорю, объяснять? Они и сами знают, что паровозник. Так и знай, говорит, никуда я не поеду! Я замуж выходила не за твою эмтээс... В общем, собрал я чемоданчик и поехал.

— Без нее?

— Один... Я тогда уже коммунистом был. Не пойдешь же говорить: мол, жена, не хочет... У всех жены не хотели... Тогда только в ваш район человек тринадцать послали. Были и добровольцы, но в основном рекруты. Помню, ходят кислые по обкому. Иные разными справками запасались. Так и хочется сказать: да не тяните вы их, все равно удерут... Так и не прижились они в деревне. Потихоньку разбежались. Кто сразу, кто еще года два-три проволынил.

Чепурин опять потянулся за папиросой.

— Ну, вот... Приехал я в МТС, только малость огляделся, меня через пару лет — в колхоз, в Погожее. Он тогда отделен от вас был. Снова на укрепление.

— Досталось тебе, Паша, — вздохнула Анфиска.

— А, да ладно... Ну их к ляду, все эти воспоминания, — засмеялся Чепурин. — Начали про луну, а съехали черт знает куда... Смотри, как уже накрыло, сердешную. А все равно светит, не сдается... Был я недавно в своем Борисоглебске... Поглядел... У нас тут лучше... Красота!

— Отвык, поди...



— Да и отвык... Что это вон там под кустом блестит?

— Где?

— Да вон... Смотри на ту ветку. Видишь? Ну и сразу под ней.

— Теперь вижу.. — Анфиска присмотрелась. — Это паутина, Паша. Росой ее обдало, а паук ползает и раскачивает... Она и взблескивает.

— Все-то ты знаешь! — радостно удивился Чепурин. Он погладил ее волосы, и она, вся вострепешившись от этой его ласки, поднялась на локте и, стараясь заглянуть ему в глаза, взволнованно спросила:

— Тебе хорошо со мной?

Чепурин кивнул.

— Правда? — с каким-то счастливым испугом переспросила Анфиска.

— Правда.

Она порывисто обняла Чепурина, припала щекой к его груди, жарко, обрадованно зашептала:

— Мне тоже... Мне так хорошо, что хочется пойти с тобой куда-нибудь... И сама не знаю куда...

— Сейчас в поле хорошо, — сказал Чепурин, перебирая пальцами Анфискину косу. — Хлеба подходят... Светлые стоят...

— И молодым зерном пахнут, — кивнула Анфиска. — В эту пору мы ребятишками всегда в поле бегали... Наберем снопиков, а потом на костре печем. Не пробовал?

— Нет.

— Зерно молоденькое, быстро печется. Как усики обгорят, так и готово.

— И как же потом?

— А очень просто. Нашелушим в ладошку и — в рот.

— Никогда не пробовал.

— Вкусно! Свежей булкой пахнет. Как только что из печки. Особенно, если посолить маленько... Я поле люблю... Всякое люблю... И когда снег только сойдет... Кругом еще сыро, а оно уже зеленое. Видно, как по нему ветер бежит... И облако пройдет — видно... А то когда еще дождь в мае... — задумчиво шептала Анфиска. — Теплый, с громом... Гром ворчит, как дедушка... И дождь тоже добрый, веселый... Земля так и поднимается под ним... И хлеба на глазах рослеют... Утром стояли чуть выше щиколотки, а к вечеру уже и до колен... А в лесу кукушка без устали... Дождь, а она будто и не замечает...

Обняв Чепурина, она говорила все это, закрыв глаза, счастливо млея от своих видений. И хотелось ей, чтобы не она одна это видела, а чтобы вместе... Так бы вот идти и идти вдвоем...

— А на заре летом, — продолжала шептать Анфиска, — когда идешь полем — тепло в хлебах. Лугом идешь — зябко, а свернешь в



хлеба — сразу согреешься... Так теплом и повеет... Берегут теплоту от самого дня...

— Тебе б стихи писать.

— Не умею я стихов.

— А вот так, как говоришь.

— Что вижу, Паша, то и говорю.

— Хорошие у тебя глаза... Ворожея ты моя! Вот бы, правда, птицами нам с тобой заделаться?

— Перепелками... — подсказала Анфиска.

— Давай перепелками... Ты впереди, а я за тобой: «Дай догнать! Дай догнать!» Так они, кажется?

— И никуда б я от тебя не полетела! — тихо, радостно засмеялась Анфиска.

— Почему?

— До первой кочки только...

— Да почему до первой кочки-то? — не понял Чепурин. — Сама говорила — до моря.

— Это если б одна...

— А со мной — до кочки? Непонятно...

— Что ж тут понимать. Сразу бы яичко тебе снесла.

— А-а! — рассмеялся Чепурин.

— Соскучилась я без гнезда...

— Нет, сначала полетали бы, — сказал он, рассматривая, как путалась луна в легком подсвеченном дыме Анфискиных волос. — Хлеба посмотреть надо... Я хоть и перепелом летал бы, а все-таки душа у меня председательская... Косить, голубушка, скоро... На днях ездил во вторую бригаду. Ничего пшеничка...

— Хорошая?

— С хлебом нынче будем.

— Каждый год так говоришь.

— Теперь точно будем.

— Не сердись, Паша. Люди видят: стараешься ты...

Он приподнял ее голову со своей груди и поцеловал.

— И не полетим мы с тобой никуда, — обнимая Чепурину, прошептала Анфиска. — Никакими перепелками. Нам и тут хорошо... Что нам еще нужно? Правда?

— Правда.

— Мой ты сейчас, и всё... Пусть до света... Пусть одна трава только постелью... А все-таки не сон, а правда... Я только во сне вот так с тобой была... С того самого раза, как подвез ты меня на машине... Помнишь?

— Помню...

— И не сказал ты мне тогда ничего такого, а как-то запало... Заболела тобой душа...

— Потому и не сказал, что сам растерялся.



— А я после того случая даже встречаться с тобой боялась... Только на собрании на тебя и погляжу, когда в президиуме сидишь... Да так когда, украдкой... Думала, заметишь что во мне... Не хотела, чтоб ты знал...

— Что ж меня бояться?

— Думала, зачем тебе это... Работа у тебя такая, на виду у всех, а я тут со своим...

— Вот дуреха!

— Когда покосили, когда было все... думала: ни за что не признаюсь, что люблю... Было, ну и было... Считал бы, что тоже у нас с тобой, как у этой луны, затмение вышло...

— Ну зачем же ты на себя так...

— Не знаю... А теперь будто век с тобой прожила... Вот ты говоришь — в поле бы сейчас... Я б с тобой хоть на край света... А только лучше бы по улице... Открыто... Чтоб народ был и чтоб все видели...

Анфискины глаза влажно заблестели.

— А плакать-то зачем?

— Это я от жадности... Первый раз со мною такое... Вот и замуж ходила, а такого не было, чтоб как пьяная... Я ведь молоденькая за него пошла. Покатал на лодке, духов в коробке подарил, никогда таких не видела... Ну, я и думала, что это и есть любовь... Что я понимала? Мы ведь все дуры-девки так высказываем.

Анфиска говорила порывисто: скажет — и помолчит, будто теперь только начинала осмысливать прожитое.

— Он все говорил: я из тебя конфетку сделаю. Давай, говорит, шляпу купим. И косу, говорит, теперь не носят... как-то поехал в город, смотрю, правда, привозит шляпу.. А я никак не могла шляпу-то эту.. Всю жизнь в платках... Другой раз думаю: уважить все-таки надо... Все уйдут из дому, а я — примерять перед зеркалом. Примеряю и в зеркало себя не вижу: так стыдно!.. Думаю, ладно, не сразу. Может, и к шляпкам привыкну.. Жизнь еще вся впереди. Вот переедем с ним в город, там, может, надену.. А на этом все кончилось... Пожила три месяца, а потом часть ихняя снялась, и он уехал... Говорил, что, как приедет на место, вызовет телеграммою. И по сей день... Поплакала я, заплакала, да и ждать перестала. Маленький родился... Вот и вся моя любовь, Паша... Даже к замужеству не успела привыкнуть... Будто в тяжелой болезни побывала.

— Тебе холодно? — спросил Чепурин. — Ты вся дрожишь.

— Это я когда наговорюсь. Про свою жизнь. Меня и колотит... Смотри, как уже закрыло луну-то.

— Ага.

— И звезды высыпали.

— Это потому, что небо потемнело.

— Я когда маленькая была, думала: звезды — это просо рассыпано.



Чепурин усмехнулся.

— А месяц — петушок.

— Выдумщица!

— Правда... Мне тогда везде сказки чудились. Бывало, найду битое стеклышко, зеленое или красное, приложу к глазу, да так бы все и смотрела: сказка!

Анфиска задумчиво посмотрела на обломок луны.

— Давеча иду лугом: лошадь с жеребеночком. Сама спутанная по ногам, а над сбитой холкой мухи вертятся. А жеребенок знай себе вынашивается. Щипнет раз-другой травку и скачет — ног под собой не чует. Ему щипнуть — не главное. А самое важное — вот так по траве розовыми копытцами помельтешить. И наверное, все ему сказкой кажется... А мать, гляжу, ест, ест эту самую траву, жадно так, словно бы работу выполняет: надо. А сама все глазом косит на жеребенка. Увидит, что далеко забежал, поднимет голову и тревожно так позовет... Поглядела я на них и по этому жеребенку да по лошади себя узнала: какая была и какая есть теперь... Я ведь в детстве как считала? Хлеб — это так, между прочим... Даже и голодно было, и то... Главное — в стеклышко поглядеть. А теперь все наоборот, как у той лошади...

— Сама ты стеклышко битое. — рассмеялся Чепурин и растроганно привлек к себе Анфиску. — Так бы и глядел через тебя!

— Что ты через меня увидишь?

— А вот вижу.. Как-то чисто, хорошо... А насчет лошади — это ты на себя наговариваешь. Человеку никогда не перестанут чудиться сказки. На то он и человек. И у тебя она есть.

— Разве ты только, — вздохнула Анфиска. — Вот едешь мимо дома, а я так и подскочу к окошку. Будто магнитом притянет. Отодвину занавеску и высматриваю в дырочку. Как раньше в детстве через это самое битое стеклышко. И, кроме тебя, никого и не замечала. Гляжу, а у самой так и кольнет сердце: может, зайдешь в избу-то... Видеть вижу, а не достану. Как тот мой золотой петушок в небе.

— А вот и достала...

— Минутное это все, Паша... До свету.. А хочется, чтобы всегда было так...

## 5

Кто-то невидимый выел сочную мякоть луны, оставив от нее только тоненькую дынную корочку с правого края. В тусклом призрачном свете глухо темнел лес. Чуть приметно брезжили белые валки покоса. Было слышно, как с кустов падала роса. Отяжелевшие капли срывались и, падая, разбивались о встречные листья. Кусты неумолчно шуршали и перешептывались.

— Какую ночь мы себе выбрали, — затаенно прошептала Анфиска.



— Не будь затмения, я б и не решился приехать, — сказал Чепурин.

— Почему, Паша?

— Ну как это? Ни с того ни с сего... А то думаю: затмение, дай помогу. Вроде как причина. Наверно, сразу все и поняла?

— Я думала, ты выпивши...

— Да нет... Не было такого...

— Вижу, говоришь как-то не так... Думала, выпил.

— Это я от страха, должно быть, — засмеялся Чепурин. — Еще в дороге: стал у паромщика косу просить, а он посмотрел на меня китрым бесом и говорит: «Покосись, покосись, председатель... Дело гвое молодое... Только косу не утерай... Завези утречком-то». А до того на станции: зашел в буфет кое-чего, а буфетчица с усмешкой: «Каракумчиков» возьмите, пригодятся...» Вот язва! А ну их всех! Давай-ка мы лучше перекусим. С утра ничего не ел...

— Поешь, родной.

— И ты тоже... Я сейчас принесу.

Чепурин поднялся, пошел к мотоциклу.

Анфиске было жалко, что он ушел, и она протянула и положила руку на примятую рядом с нею траву, будто хотела укрыть и сберечь в траве оставшееся после Чепурина тепло. Дожидаясь, она прислушивалась, как он копался в мотоцикле, и ей было непонятно, как она все это время жила без него... И как будет жить завтра, когда из-за этого вот леса взойдет солнце и наступит день... И послезавтра... И страшась и не желая думать об этом, она нетерпеливо позвала:

— Паша!

— Иду! — откликнулся он издали, смутно белея рубашкой.

Возвратясь, он сел на краю, свесил ноги с обрыва, зашуршал бумагой, разворачивая сверток.

— Давай сюда, на бережок... — сказал он оживленно. — Чертуна совсем спряталась... Костер, что ли, разложить?

— Не надо... Не возись...

— Ну фару давай засветим.

— Ну ее...

— Я тут бутылку прихватил, — смущенно сказал он. — Выпьешь маленько? А то прохладно все-таки... Озябла, поди?

— Плоточек выпью...

— Белая только.

— Ничего...

— Жалко, стаканчик не догадался захватить. У тебя нет?

— Кружка есть. В узелке возле Витюшки.

— Пойду возьму.

— Не ходи, Паша. Жалко ведь...

— Чего жалко?

— Минутки наши бегут... Дай, я так выпью.



Анфиска отпила один глоток, потом, расхрабрившись, глотнула еще и еще, но, почувствовав, как перехватило дыхание и навернулись слезы, отняла бутылку от губ, невидяще протянула ее в сторону Чепурина и шумно задышала в ладошку.

— С ума сошла, столько выпить! — ужаснулась она. — Пьяная буду. До стыда...

— Ничего, — подбодрил Чепурин. — Согреешься. Бери поешь. Тут вот сыр... Пирожки какие-то... Колбаса... Сейчас порежу. — Чепурин щелкнул складником. Под ножом вкусно запахло чесноком. — Ешь давай. Еще вот яблоки моченые.

Анфиска жевала, поглядывала на реку. В темной воде светились редкие звезды. Река старалась унести их с собой, качала и дробила на невидимых струях, но звезды, будто позолоченные поплавки, снова возвращались на прежнее место. Заречного берега не было видно, но временами с той стороны легким дыханием ветерка доносило запах спелых стогов.

В деревнях на побережье перекликались ранние петухи.

— Сеном как пахнет! — глубоко вздохнула Анфиска, радуясь еде, выпитым глоткам водки, реке, запаху сена и всей этой вольнице.

— Ехал я сегодня лугами, — говорил Чепурин, шурша в темноте газетой. — От самого райцентра по всей пойме стога и стога. В глазах рябит. Тысячи!

— Ключевские тоже убрались?

— Все! До последней былки.

— А в Капустичах?

— Докашивают, копны свозят. Поглядел — народу в лугах! Ни в какие годы столько не было. Праздник!

— На хорошее — народ дружно.

— Подъехал я к одному дедку. Сухой, как стручок, штаны пустые, но косишкой рьяно так шмурыгает. Ну как, говорю, отец? Идут дела? Остановился, смеется красными деснами: что ж им не пойтить... Одна, говорит, осталась нам работка, где вот так-то, всем миром: сенокос. Отстранили вы нас, стариков, от поля. Обезлюдела жатва, разве што со стороны поглядишь, с дороги. А што справа от той дороги и што слева, — вроде как и не мое теперича... ты, говорит, только не записывай... Это мы промеж собою, сынок. По душам... Хоть ты и не нашенский председатель, а соседский, однако тебе тоже сказать надо. — Смотрю, а у дедка уж и руки трясутся. Крутит цигарку, а табак в разные стороны. — И еще скажу: с народом ладь, сынок. Не шушукайся от него по кабинетам.

Чепурин откинулся на спину, положил голову Анфиске на колени и лежал так недвижно, лицом к потухающей луне. Она истаяла безропотно, в настороженно больной тишине, объявшей землю и небо. Слабый свет узкого серпа терялся где-то в вышине, не достигая земли, и все здесь, внизу, было погружено в тревожное



затаенное ожидание. Было только слышно, как бежала река да невидимые деревья и травы роняли невидимые капли росы.

— Надо пораньше в «Сельхозтехнику» смотаться. Кое-что к комбайнам выколотить... Хуже нет любить председателя!

— Да почему же, родной?

— Разговорами про гектары да центнеры замучает.

— Этим и живем, Паша...

— Да и поговорить не с кем... Так вот, чтобы начистоту. Все в себе носишь... Разве что жене сказал бы... Так ей наплевать на все это... Вот поехала загорать. А потом какие-то однопляжники письма шлют... — Чепурин вздохнул. — Один я, Анфиса...

— Верю, родной, верю...

— Последнее время уставать начал. Старею, что ли? Такое ощущение, будто с самого фронта не демобилизовывался. Кажется, что и сапоги те же... Где-то люди в театры по субботам ходят, в выходной с книжкой на диване валяются... Лет пять, как ни одной книжки не прочитал.

Тень земли скрыла последние остатки лунного диска.

Откуда-то набежавшие тучи, разрозненные и сонные, глухо серея, медленно подкрадывались к луне. В разводьях между ними синело небо, слабо подсвеченное звездами. И на этой синеве отчетливо вырисовывался черный круг, окантованный по краям блеклым отсветом. Казалось, в небе висела луна с мертвым, незрячим тиком. В темноте, перебирая его волосы, Анфиска чувствовала на коленях приятную тяжесть головы Чепурина, улавливала запах зина и папирос в его дыхании, и все это пробуждало в ней счастливое чувство близости и родства к Чепурину.

Чепурин поднял руку и в темноте ответно провел ладонью по ее щеке.

— У тебя хорошие руки. Паша.

— Чем они хорошие?

— Добрые... И травой пахнут... По рукам можно узнать, любит человек или не любит.

— Как это?

— Не знаю... Не могу тебе объяснить... Просто чувствую... Человек может сказать неправду, а руки — нет...

— Добрая ты душа, Анфиска. Вот живу я со своей... Приеду вечером домой, только и скажет: обед на плите. Или: сапоги оскреби... И весь разговор...

— Почему же так, Паша?

— Теперь и не разобрать, кто виноват. Может, и сам... Завез в деревню, по полям мотаюсь. Ни выходного, ни отпуска. Все откладывал с отпуском. Да и когда было? Что ни год — то суматоха... Она едь от меня уже уезжала. Два года не жили... Говорит, что у матери была, а там кто ее знает... В общем, застарелая болезнь у нас с



нею... Никакому теперь уже лечению не поддается... Вот настояла сынишку отправить к бабке.

— К твоей матери?

— Ну, что ты! В Смоленск! У них там пианино и все такое... Мол, тебе один колхоз на уме, а мальчику расти надо... А я, правда, его и не вижу. Без меня вырос.

— Сколько ему?

— Да уже одиннадцатый... Теперь и вовсе пусто в избе без него... Вчера вечером заехал домой — никого! Даже ходики стоят, гирька до полу..

— Все я понимаю, — вздохнула Анфиска. — Не бесчувственная.

— Вот узнает начальство, что я тут с тобой на бережку.. лунное затмение наблюдаю... Персональное дело заведут.. На днях заехал я в райком, усадил меня первый в кресло, про колхоз стал расспрашивать. Раньше никогда не спрашивал, сам все знал. Потом и говорит: давай, Чепурин, пиши заявление, пересмотрим твои выговоры. Сколько их у тебя накопилось? Три, кажется? Полный кавалер!.. Смеется: ну ничего, снимем... Будем, Чепурин, дальше двигать историю. Смотри, какой нам простор теперь дали... А, далеший с ними, с выговорами! — Чепурин приподнялся. — Мне бы еще пяток лет поработать. Охота посмотреть, как оно пойдет.

— Ты еще молодой, Паша. Вон как мы давеча поляну-то уложили.

— Это я перед тобой только... Петухом... Вот раны начали доносить. На пятый десяток уже перевалило... По годам считать — много, а если разобраться, то по-человечески еще и не жил. Ни в городе, ни в деревне...

Невидимая и сильная река бежала где-то под ними, в темной глубине русла. Десна наполнилась множеством то тихих, едва уловимых, то вдруг шумных напряженных выплесков и, как живая, дышала в своей неутомимой работе терпкой речной испариной. По этим всплескам угадывалась ночная жизнь реки, можно было представить, как у глинистых твердолобо-упорных мысов струи закручивались тугими пружинами, то устремляясь в глубину сосущими воронками, то выбрасываясь наверх донной, гневно кипящей водой. И как потом усталая река отдыхала на чистых пологих песках, сама становясь чистой и спокойной, и как мирно перешептывалась она с дремавшими камышами и осоками.

Сквозь речную сырость с другого берега от стога прорывался слабый предутренний ветерок, и тогда дурманно и хмельно пахло переломившимся летом.

— А мне ты все равно молодой... — прошептала Анфиска. — Не смотри ты на эту луну.. Ну ее!..

Она рывком обняла Чепурина и страстно, голодно стала целовать, закрыв его лицо рассыпавшимися волосами...



На востоке робко, бескровно посветлело.

Проступили обвисшие под тяжестью росы, похожие на косматых старух древние уремные ракиты. Наплывшие под утро мышино-серые тучи уплотнились, закрыли луну, так и не успевшую осветлиться, и все, что теперь с ней делалось, происходило в незримом таинстве. Все вокруг было наполнено сосредоточенным раздумьем, будто природа, только что пережившая таинственную операцию над луной, теперь притихшая, томимая неизвестностью, ждала окончательного исхода. Даже камышевки не решались поднимать обычный утренний гам и, сторожко перепархивая в кустах, односложно посвистывали вполголоса.

Деляна, еще вчера полнившаяся пестрой кипенью цветов, неузнаваемо опустела и попросторнела, будто комната, из которой за ночь вынесли все. Скошенные травы к утру обессилели. Приникли к земле и теперь в сером полусвете утра однообразно маячили туманно-сизыми валами.

— Пора нам... — сказала Анфиска.

Чепурин кивнул, но продолжал лежать.

Анфиска приподнялась и, охватив колени и положив на них голову, уставилась на одинокую былку морковника, случайно уцелевшую на середине поляны. Потом стала переплетать растрепавшуюся косу.

— Да... — что-то подытожил Чепурин и рывком встал на ноги.

Он молча сгреб копнушку, раструсил ее между валками, разобрал косы и отнес их к мотоциклу.

— Бери Витюшку, поедem, — сказал он, развернув и вытолкнув из травы мотоцикл.

— Нет, Паша, — потупилась Анфиска. — Поезжай один.

— А ты как же?

— Я сама.

— Ну что ты! Все лодки на той стороне.

— Тебе на паром надо...

— Ерунда... Старик болтать не станет.

— Нет, нет... не проси.

— Ну как же... Были, были и — я в одну сторону, ты — в другую.

— Такая наша доля...

— Ну, не надо так... — нахмурился Чепурин. — Не могу я тебя бросить.

— Это, Паша, не бросанье... Вот если разлюбишь...

Анфиска потянулась к нему руками, обняла, прижалась всем теплым устало-ласковым телом и, откинув голову, заглянула в его глаза — доверчиво и открыто...

— Поезжай...

— Не поеду я один. — Чепурин нагнулся и поднял Анфиску на руках.



— Не надо, Паша, — попросила Анфиска. — Послушайся. Не надо, чтоб нас с тобой видели. Понимаешь?

Чепурин поставил Анфиску на землю.

— Давай хоть Витюшку отвезу. Намучился парнишка...

Витька спал на охалке травы. Под накинутой на него телогрейкой он казался незаметной кочкой. Из-под насыревшей полы торчала только босая, искусанная комарами ножонка, покрасневшая от крепкой утренней свежести.

Анфиска и Чепурин присели перед ним на корточках.

— Крепко спит, косарь! — потеплел лицом Чепурин.

— Витя, сынок... — Анфиска потормошила его, приподняла сонного.

Растрепанный, с отпечатавшимися травинками на заспанно-округлой щеке, Витька, не открывая глаз, подгибал ноги и расслабленно опять оседал на траву.

— Вить, домой поедем...

— Как разоспался парень!

— С дядей Пашей. Знаешь дядю Пашу? Наш председатель.

Витька потер кулаками глаза, расклеивая пухлые губы:

— Зна-а-аю...

— Ну вот, — обрадовалась Анфиска. — С дядей Пашей и поедешь. На мотоцикле.

— Ла-адно...

Чепурин надел на него свой пиджак, плотно обернул полами, подпоясал ремнем и отнес в коляску. Анфиска глядела на то, как Чепурин возился с Витькой, и у нее радостно и влажно блестели глаза.

— Мам, а ты? — забеспокоился Витька.

— Я тут останусь...

— Почему, мам? Садись! Еще есть место...

Анфиска нагнулась, поцеловала Витьку в растрепанные вихры.

— Глупый ты мой... Скажи бабушке, я скоро...

Чепурин, медля, завел мотоцикл и уже за рулем, взглянув на Анфиску, поймал ее взгляд, закрыл глаза и посидел так, с закрытыми глазами. Потом крутнул ручку газа, машина дернулась, нырнула под мокрые лозняки.

Анфиска постояла, послушала, как хрустели под колесами ветки, потом повернулась и пошла к берегу, машинально обломив по пути одиноко торчавшую былку морковника.

Внизу рассветно и холодно клубилась туманом Десна.

Анфиска в какой-то бесчувственной отрешенности спустилась с обрыва, разделась, завязала в узелок белье и неслышно погрузилась в воду.

Она плыла на боку, толчками порозовевшего плеча рассекая и буруня сумеречную гладь реки. Коса, соскочившая с приколок, змеисто извивалась на воде. Туман стлался над самой Анфискиной го-



ловой, задевая поднятый в руке узелок с платьем, он был плотен и непроницаем, как низко нависший потолок. Десна под ним казалась бездонной и отливала тусклой зеленоватой чернью. Анфиска плыла под туманом, не видя берегов, по одному течению угадывая путь. Но реки она не боялась, не думала ни о ее ширине, ни о темных глубинах.

Она плыла, стараясь не плескаться, прислушиваясь. Под нависшим сводом туманного курева стояла глухая мертвая тишина. Было только слышно, как бежала мимо нее, чуть позванивая, сонная вода и как низко, с шелковым шорохом пролетала какая-то птица.

И вдруг где-то на середине туман розово вспыхнул, и светло и радостно просияла вода. Анфиска догадалась: взошло солнце. Она даже остановилась, перестала грести. Ее сносило вниз по течению, но она все ждала, настороженно вслушиваясь, стараясь за всплесками воды разобрать еще что-то такое, что ей так хотелось.

Сквозь оживший под солнцем туман, откуда-то из-за облачной дали, пробился едва уловимый гул мотоцикла.

Сердце ее толкнулось, забилось часто, настойчиво. И она поплыла, полнясь тихой нежностью и надеждой.

1965

## ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ?

Низкобрюхий паровозик натужным рывком сдвинул состав и, тяжело и черно дымя в пристанционные вязы, потащил за выходную стрелку. Станция сиротливо опустела и попросторнела. Стало слышно, как верещали воробьи, облепившие приземистую крышу какого-то склада.

Сошедшие с поезда немногие пассажиры быстро разошлись, и Стремухов остался один возле своего чемоданчика. В здешних местах он оказался впервые, но вообще-то его знали во многих районах: он разъезжал с лекциями на планетно-космическую тематику. Синие афишки, усыпанные звездами, еще долго после его наездов висели на клубных дверях, сельмагах или амбарах.

Был он трудолюбивым и добросовестным лектором, следил за печатью, аккуратно вырезал бритвочкой заметки или отдельные кусочки из них, вырезки наклеивал на плотный листок цветной бумаги и складывал в специальные папки: отдельно — по Марсу, отдельно — по Венере, по звездам и галактикам. Это коллекционирование, особенно после того, как от него неизвестно почему ушла жена Катя, перешло границы утилитарного лекторского интереса и превратилось в тихую, безмолвную страсть.

Командировка была последней перед отпуском, и Стремухов ехал сюда не особенно охотно. И вообще он недолюбливал те места, где нет



чайных и заезжих домов. Дело тут вовсе не в том, что он был человеком изнеженным и не терпел неудобств. Напротив. Прочитав лекцию, он старался уединиться и переночевать где-нибудь на диванчике в сельсовете или в учительской. Но местные власти и слушать не хотели: «Какой может быть разговор! Будет еще где-то там валяться... Пошли, пошли!» И Стремухова вели к кому-нибудь в хату. Тут-то все и начиналось. Его сажали в красный угол, застилали белым хрустящим рушником колени, и, пока он сидел этаким Иисусом Христом, все живое в доме, начиная от старухи-хозяйки и кончая замороженными внучатами и кошкой, разглядывало его всяк на свой манер, ловило каждое его движение. Он же совершенно не умел есть на людях, рассеянно жевал одни только соленые огурцы, хотя стол обычно был обильно уставлен всякой всячиной. Молодая хозяйка пугалась, начинала за что-то извиняться и, отозвав на кухню мужа, срочно усылала его из дому. Муж через некоторое время прибегал, и по его счастливым глазам было видно, что достал-таки... Он с кхеком, будто припечатывал штемпель, ставил поллитровку на стол.

Бутылка мерцала холодной, самоуверенной прозрачностью своего содержимого, при одном виде которого у Стремухова запотевали очки. Он испуганно благодарил и показывал на сердце.

После ужина хозяйка начинала стелить свою двухспальную кровать, взбивать кулачками перину и вытаскивать из сундука чистые наволочки и простыни, и Стремухов, мучимый неловкостью, бормотал, прося постелить где-нибудь на полу.

Но хуже всего было ночью, если приходила надобность выйти во двор. Он не запоминал дверей и особенно всяких задвижек и терпеливо долеживал до утра.

Все это ему еще только предстояло, когда он сошел на перрон в Сенцовых Будах.

Проводив глазами поезд, Стремухов без всякого интереса оглядел станцию. Неподалеку косолапо переваливался брюхатый гусак с вывернутым крылом. Крыло торчало из правого бока наподобие обнаженной сабли. Гусак разговаривал сам с собой сипловатым басом и подбирал просыпанные семечки. Подойдя ближе, гусь замолчал, строго, то одним, то другим глазом посмотрел на Стремухова, будто перронный милиционер, и к Стремухову подступило беспокойное чувство бездомности.

— Сейчас пойду, — сказал он не то гусаку, не то самому себе, поправил очки и взялся за чемоданчик.

От Сенцовых Буд Стремухову надо было ехать еще километров тридцать, в сухомлиновскую группу колхозов. Расспросив дорогу, он вышел за станцию.

Возле дорожного указателя на большом перевязанном чемодане сидела девушка в голубой вязаной кофточке. Желто-пестрая косынка навесом укрывала ее лицо от солнца. Стремухов поздоро-



вался, приподнял шляпу и осведомился, как добираются до Сухомлинова. Девушка ответила, что к поезду приходила почтовая машина, что она уже ушла и теперь придется караулить попутную.

Стремухов тоже присел. Солнце сквозь плащ припекало его спину, галоши сделались горячими. За дорогой, уже сухой, посветлевшей, нежилась под солнцем яркая, ровная зелень озимых. Оттуда тянуло теплой, разомлевшей пашней и травянистыми хлебами. Над головой счастливо звенели жаворонки, в поселке горланили петухи, и все вокруг было по-майски радостно и празднично — и земля, и небо, и все, что росло на земле и парило в воздухе, а где-то по другую сторону Сенцовых Буд глухо и благодушно, как добрый старик, ворчал и погромыхивал гром.

Стремухов снял шляпу, надел ее на острое колено. Ветерок прохладно погладил его по влажным волосам. Он облегченно вздохнул.

Добирался он сюда на двух поездах, и оба были неудобны по времени. На скорый попал поздним вечером, ехать было какой-то пустяк, и он не брал постели. Ночью пересел вот на этот «дачник», проторчав перед тем часа полтора в ожидании посадки в переполненном вокзальчике. «Дачник» едва тащился, то и дело скрежетал тормозными колодками и надолго замирал почти возле каждой будки. В вагоне стоял повальный и беспечный храп. Стремухов и сам было прикорнул на лавке, но к нему, как к единственному бодрствующему пассажиру, привязался какой-то заросший босой старик, а может быть, и не старик, в офицерской шинели. Он дергал Стремухова за рукав и, блудливо озираясь, упрашивал сойти с ним на каком-то разъезде. По его словам, он там раскрыл заговор и заговорщиков-де надобно похватать, пока еще не рассвело. Стремухов безропотно слушал, потом, окончательно умаявшись, не выдержал, извинился, сказал, что ему пора выходить, и пересел в другой вагон...

— А вам до самого Сухомлинова? — спросила девушка.

— Да...

— Наверно, в командировку?

— Да, знаете...

Девушка посмотрела из-под своего шалашика на галоши Стремухова и замолчала.

Молчал и Стремухов.

Тем временем показалась машина. Девушка вышла на дорогу, подняла руку. ЗИЛ прошел было мимо, но потом прижался к обочине и остановился. Девушка переговорила с шофером и замахала Стремухову:

— Идите! Ну идите же!

Кузов огненно пламенел новыми кирпичами. Кирпичи были сложены аккуратно, ряд к ряду, вровень с бортами. Стремухов, успевший, пока влезал, выпачкаться в кирпичной, еще не обдутой



заводской пылице, присел сверху штабеля на корточки, собираясь ехать так до конца.

— Вывалитесь, — усмехнулась попутчица. — Идите сюда.

Стремухов послушно перебрался назад. Там было свободное место и кусок брезента.

— Только знаете, машина не до самого Сухомлинова, — сказала девушка. — Она свернет на маслозавод. Я вас не предупредила... Но там недалеко.

— Ничего, — кивнул Стремухов. — А вы здешняя?

— Сухомлиновская.

— На каникулы?

— Ездила в область на семинар. — Девушка посматривала на бегущие по сторонам поля, и ее косынка, завязанная под подбородком, то парусила, то щелкала за спиной острым уголком. Видно, ей было приятно узнавание дороги в преддверии дома. — Я библиотекарь. — И, как бы желая убедить, что дело ее нешуточное, добавила: — У нас библиотека — двенадцать тысяч томов. В районе такой нету.. Смотрите, какая туча!

Позади грузовика, над Сенцовыми Будами, стояла туча. На ее глухой синеве нежно вырисовывались молодая, светлая зелень придорожной посадки, белый дымок товарняка. Туча казалась неподвижной, хотя полчаса назад ее вовсе не было. Она торжественновеличаво разворачивала свои многоярусные, синие-пепельные полотна, отороченные белым барашком. В ее темных разломах все так же неспешно и добродушно рокотал гром.

— А мне нравится! — воскликнула девушка, хотя Стремухов ничего не сказал. — Как в театре. Так бывает перед спектаклем. Смотрите — занавес опущен, а за ним что-то передвигают.

— Мы успеем? — тревожно спросил Стремухов.

Через полчаса ЗИЛ остановился перед спуском в широкую низину. Открылась речушка в молодых осоках. Луг пестрел гусиными выводками. Не переезжая мост, машина остановилась. Вышел шофер, помог выгрузиться, спросил у Стремухова закурить. Стремухов развел руками, и шофер, хлопнув дверцей, покатиł вправо, верхней дорогой.

— Теперь мы дома! — сказала девушка. — Вот только пробежать луг и взойти на гору.

Тем временем туча все так же не спеша коснулась солнца, поддержала на кончике вытянутого языка добела раскаленный шар, будто остужая его своим дыханием, и медленно проглотила, засветившись изнутри. Солнце в какие-то прорехи выпустило широкий сноп лучей, сверху донизу косо перечеркнувший тучу, но в этот миг весело и властно чертыхнулся гром, и лучи убрались.

— Ой, что будет! — крикнула девушка, перевязывая потуже косынку. — Побежали!



Подхватив свой чемодан, девушка первой стала спускаться вниз. За ней трусил Стремухов, подшаркивая галошами по сухой, убитой дороге. Скат полого и длинно уходил к мосту.

Налетел и упруго толкнул в спину ветер — теплый и влажный, сытый травами, как дыхание стада. По косогору пробежала белесая полоса прижатой озими, ветер заплясал крученым столбом пыли, начисто вымел деревянный настил. Девушка поймала взметнувшийся подол платья, нагнулась, зажала его в коленях. И тотчас ветер набросился на Стремухова, без всякого почтения, дерзко и хулиганисто, заламывая поля его шляпы то кверху, то книзу. Стремухов всплеснул руками, но не успел — шляпа взлетела в воздух. Стремухов бросил свой чемоданчик, побежал догонять. Он неловко подпрыгивал, взмахивая руками. Но шляпа не давалась и, вращаясь вокруг своей оси, синим велюровым Сатурном перелетела через кювет, упала в траву, покатилась.

Стремухов, тонконогий, в обдутых, пусто трепыхавшихся брюках, бежал следом, норовя наступить на шляпу галошей. Но его обогнала девушка и, смеясь и мелькая белыми тапочками, поймала шляпу почти у самой воды.

— Какой... вет.. ветер, однако! — задыхаясь, прокричал Стремухов. Его хохолок свалился на лоб и запутался в очках. Тугой ветер не давал ему сказать еще какие-то слова, и он, простоволосый и растрепанный, смотрел, как вихри заламывали и клали на воду зеленые мечи аира.

Дождь догнал их на мосту. Он спустился с пригорка, шелестя, будто тысячекрылая стая скворцов. Быстро темнела чуть пылившая дорога.

Первые капли редко и гулко зашлепали по теплему настилу. Будто кто-то наискосок вгонял новенькие, блестящие гвозди, от которых оставались видны одни только темные круговины шляпок. И вдруг зашумело..

— Ага-га-га-а! — торжествующе загрохотал гром.

Пока девушка, присев на чемодан, разувалась, Стремухов, чуть поколебавшись, осторожно накиннул на нее плащ.

— Дождь, знаете...

— А вы?

— Ничего! — бодро отозвался Стремухов и приподнял воротник пиджака.

— Идите сюда! — рассердилась девушка. Она схватила его за руку и втащила под плащ.

Серый, мглистый свет то и дело вспыхивал ослепительным голубым мерцанием, и следом через все небо прокатывался крученый, узловатый гром, то затухая до глухого ворчания, то вдруг снова обрушиваясь ступенчато грохочущим обвалом.

Стремухов сидел, радостно оцепенев.



Ночная бессонная езда, попутная машина с кирпичами и эта гроза до сих пор были для него лишь неизбежными препятствиями на пути к лекторской трибуне. Отправляясь в дорогу, он обычно впадал в состояние безропотной отрешенности, будто напяливал на себя непроницаемое облачение. Но внезапный вихрь, сорвавший с него шляпу и заставивший неловко скакать на виду у этой девчонки, заодно сдул с него и это состояние отрешенности.

От недавней погони за шляпой, после чего все еще гулко колотилось сердце, и от хлынувшего ливня, и еще оттого, что он пожертвовал своим плащом и был готов промокнуть до нитки, к нему пришло радостно-счастливое возбуждение. Может быть, оно скоро и прошло бы, но как раз в эту минуту девушка бесцеремонно потащила его под навес плаща и усадила рядом с собой на чемодане. Стремухов стыдливо оцепенел, как если бы его раздели донага. Он не мог бы сказать, сколько просидел вот так, в немом оцепенении, но когда наконец очнулся, то тихо и где-то глубоко внутри себя изумился, будто проснулся и протер глаза.

Он увидел, вернее почувствовал, что сидит на самом краешке чемодана и придерживает полу плаща за спиной девушки. Рука устала, а он боится пошевелиться, чтобы как-нибудь нечаянно не задеть свою спутницу. И это «не задеть» было не просто обычной предупредительностью, а непонятым, волнующим сопротивлением чему-то.

— Извините... — сказал он, заранее боясь того, что хотел сказать, хотя полчаса назад не испытывал никакого страха перед своей попутчицей. — Мы вот так сидим... А я не знаю, как вас зовут.

— Меня зовут Леной.

— А по отчеству?

— Зачем вам по отчеству? — усмехнулась девушка. — Спрячьте ноги.

— Ничего...

— Как — ничего? Садитесь поудобнее. Смотрите, у вас совсем промокли колени.

— А мы не раздавим чемодан? — спросил Стремухов и, немного придвинувшись, почувствовал прикосновение Лениного плеча.

— Ничего не случится. Там у меня репродукции.

— Интересуетесь живописью?

— Буду устраивать выставку.

— Даже вот как!

— Книг теперь в деревне много, — сказала Лена. — А картин хороших нет. Вешают в домах плакаты. Про сберкассу. Просто обидно. Везу хоть это. Пусть смотрят, учатся понимать хорошее.

Не поворачивая головы, а лишь незаметно скосив глаза, Стремухов уважительно посмотрел на свою соседку. Но ничего не увидел, кроме откинутой на спину косынки и копны волос. Но все это



было в такой волнующей и неправдоподобной близости — эти мокрые и спутанные волосы, пахнувшие дождем и ветром, что у него начало застилать уши, и он, словно сквозь вату, едва слышал громыгромыгрома.

— А вы, часом, не уполномоченный? — неожиданно спросила Лена и критически посмотрела на Стремухова.

— Нет, а что?

— Терпеть не могу уполномоченных... Наезжают, как татарские баскаки.

— Нет, знаете... Я лектор. Буду читать у вас лекции.

— На какую тему? Есть ли жизнь на других планетах?

— Да... А как вы угадали?

— Что ж тут угадывать? — усмехнулась Лена. — По вас видно. Какой-то вы... потусторонний.

Стремухов смутился, поправил очки.

Дождь, было утихший, пустился в новую, веселую, скоморошью пляску на чисто вымытом мосту.

— Теперь огурцы полезут! — сказала Лена. — А что, есть еще где-нибудь жизнь, как у нас?

— Очень возможно... Я, знаете, даже убежден.

Стремухов мечтательно посмотрел на серую стену дождя.

— Совершенно ошибочно считать, что во всей беспредельно великой Вселенной жизнь существует только на Земле. Если так, то, стало быть, она возникла и развивается случайно. Но как раз законы развития материального мира исключают такую случайность. Напротив, в не ограниченном ни временем, ни пространством космическом мире возможны бесчисленные повторения. — Стремухова подхватило и понесло, будто к нему придвинули трибуну. — А тем более всякие варианты и стадии существования живой мате...

Над ним оглушительно и сухо треснуло. Мост ходуном заходил под ногами. Стремухов вздрогнул и замолчал, но тут же спохватился и продолжил:

— Так вот... тем более всякие стадии и варианты, в том числе и мыслящей материи.

— А мне не хочется, чтобы еще где-нибудь была жизнь, — перебила Лена.

— Поз... позвольте... Отчего же? — удивился Стремухов.

— Не знаю...

— Но это антинаучно!

— Ну и пусть!

Стремухов даже обиделся.

— Вот вы говорите, что на Марсе нашли какие-то там лишайники, — сказала Лена. — А я радуюсь, что одни только лишайники.



— Странная вы девушка, — пробормотал Стремухов. — Первый раз встречаю такое любопытное игнорирование... За исключением, разумеется, церковников.

— Ну что ж, записывайте и меня в мракобесы, — весело и вызывающе сказала Лена. — А вы и сам как поп... Все неземную жизнь проповедуете...

— Значит, вы совсем отрицаете? — ужасаясь и почти шепотом спросил Стремухов.

— Я не отрицаю. Пусть даже и будет. Но чтобы не лучше, чем у нас. Пусть там ходят по своим лишайникам.

Она выставила босые ноги из-под плаща.

— Не могу даже представить, чтобы такой вот наш, такой вот теплый дождик есть еще где-то... И такой гром... И вообще... Все равно у нас лучше всех! Ничего вы не понимаете!

Стремухов, сбитый с толку, смущенно смотрел, как дождь смывал с Лениных ног набрызганную грязь. Лена шевелила порозовевшими пальцами, и Стремухов даже разглядел на ее мизинце маленькую белую мозолину.

Дождь перестал так же внезапно, как и нагрянул. Шум его затихал, удалялся. Стало слышно, как внизу, между сваями, плескалась взбухшая речка. Мокрый луг наполнился радостным гоготом гусей. Откуда-то пробилось солнце и затеплило доски моста.

Но Стремухову было жаль, что дождь перестал.

Они сошли на раскисшую, в мутных лужах дорогу.

— Позвольте ваш чемодан... — спохватился Стремухов.

— Что вы! Я сама.

— Нет, позвольте, — он решительно взялся за ручку чемодана.

— Имейте в виду — он тяжелый.

— Тем более!

Чемодан оказался действительно тяжелым. Но это лишь обрадовало Стремухова.

Он пошел, осторожно прощупывая галошей уцелевшие бровки и островки. Лена шла сзади, с удовольствием забредая в теплые молочно-желтые лужи.

— Да разуйтесь вы! — смеясь, она поглядывала на Стремухова. — Все равно весь мокрый.

На вершине горы они остановились. Над ними простиралось небо, беспредельно огромное, вымытое и ясное, раздвинутое вширь и в глубину предвечерней прозрачностью воздуха. Где-то впереди туча все еще волочила свои косые рушники дождя. Но ее уже заслонили ярусы недвижно замерших облаков, встававших белыми величавыми городами.

И все это от края и до края перепоясал пестрый кушак радуги.

— Вот здесь я и живу, — сказала Лена, сама удивляясь открывшейся шире. — Во-он оно, наше Сухомлиново.



Как ни упирался Стремухов, Лена все-таки уговорила пойти к ним ночевать.

— Зачем же в сельсовет? Будете там где-то валяться...

— Нет, знаете... Я все-таки пойду, — просяще сказал Стремухов и с тоской посмотрел мимо Лены.

— Куда же вы такой? Какой вы космонавт... в мокрых брюках! — Лена сердито подтолкнула его под локоть. — Ну, идите же!

Ленина мать, невысокая, полная и подвижная женщина, заговорила со Стремуховым так, будто давно ждала его и только удивлялась, что его до сих пор не было.

— А я гляжу — прошла почтовая, а никого нет. Ах ты господи! Надо же, в самый проливень... Вот и за калоши начерпали. Да ведь у нас чуть брызнуло — уж и ног не вытащить.

Лена провела Стремухова в горницу, вынула из сундука брюки, повесила на спинку стула.

— Переодевайтесь. Они совсем новые. Брат купил перед армией.

— Право же... — мученически зашептал Стремухов.

— Перестаньте! Если будут велики — вот вам булавка. И давайте ваш пиджак. Удивляюсь — сидел человек под плащом, а спина мокрая.

Ужинали уже при свете лампы, за тесовым столиком под отцветавшими вишнями. Вечер был с молодым месяцем, чуткий и синий, какие случаются только в начале лета, после первых гроз. Лена в легком безрукавном сарафане бегала в погреб, носила из кухни посуду, раздувала во дворе самовар, смешно плача от дыма.

— А это настоечка. На смородинных почках. — Ленина мать обтерла передником черную бутылочку и пристроила ее между тарелок. — Может, попробуете с дороги? Сами делали... Ух и дождь, скажите на милость!

Стремухов, облаченный в чужие брюки и благодаря этому окончательно примирившийся со всем, послушно ел все, что ему подсовывала Лена. Он даже, ободренный ее вниманием, выпил стопки три настойки. Настойка как-то вкрадчиво и ласково обволокла его теплом, и в нем тихо и радостно что-то посмеивалось.

Ему нравились этот серый дощатый столик, и керосиновая лампа, и путаница вишневых веток над головой. От всего этого ему захотелось говорить о чем-нибудь простом и веселом. И он почему-то вспомнил о старике в офицерской шинели, который подбивал его схватить заговорщиков. Но рассказ получился несмешным, и Стремухов как-то сразу отрезвел, виновато посмотрел на Лену и замолчал.

— Расскажите еще о чем-нибудь, — попросила она ободряюще.

— О чем же?

— О чем хотите.

Лена, подперев голову кулаками, разглядывала Стремухова с открытым, безбоязненным и задумчивым вниманием.

— Вы ведь много знаете. Я по вашим глазам вижу..



— Гм... что ж... однако... — пробормотал Стремухов.

— Ну хотя бы про звезды. Это интересно. Я ведь тогда нарочно наговорила.

— Про звезды? — Стремухов усмехнулся. Не поднимая головы, он помещивал ложечкой в стакане. Потом отодвинул стакан и попросил: — Налейте еще рюмочку.

Он выпил, снял очки и, близоруко сощурясь, грустно взглянул на Лену.

Они еще посидели за остывшим чаем. Стремухов молчал.

Наконец Лена, вздохнув, сказала:

— Эх вы!.. Идите лучше спать.

Стремухову уходить не хотелось, но он послушно встал.

В хате он спать отказался. Ему постелили в сарайчике, в закроме, набитом сеном.

— Только здесь корова, — предупредила Лена, с лампой провожая Стремухова под навес. — Не бойтесь, она привязанная. Тут спал дедушка, когда был жив. А теперь я... Спокойной ночи.

Стремухов разделся и лег, забыв снять очки. Он лежал на-взничь, вслушиваясь, как под ним шуршали, уминаясь, сухие травинки.

В дверной проем он видел, как засветилось окно в хате: в горницу вошла Лена и поставила лампу на стол. Лена опять куда-то ушла, потом вернулась, стала перебирать свои репродукции. На некоторые она смотрела подолгу, и лицо ее то хмурилось, то нежно и радостно расцветало.

Потом Лена унесла лампу, и окно погасло.

По улице шумно прошла ватага сухомлиновских девчат. Они прошли совсем близко и, обходя и перепрыгивая через налитые лужи, хватались даже за забор, изловчась уберечь от грязи туфли и босоножки. «Ой, мамочки родные! Всю красу свою заляпала!» — взвизгивал кто-то.

Дальше по улице их встретила гармошка, и высокий, радостно-бунтарский девичий голос подхватил:

*Не прячь, мама, сарафан  
В белую горошку.  
Все равно я убегу  
Плясать под гармошку!*

Девчата засмеялись, песня рассыпалась, и гармошка смолкла. Потом, уже далеко, так что нельзя было разобрать слов, частушка еще раза два всплеснулась, сладко тревожа Стремухова живым девичьим голосом.

Село затихало.

Стремухов долго лежал в черной пустоте сарая, взбудораженный и настороженный, в ожидании чего-то... В широком проеме



неясно голубела стена беленой хаты с темным окном. Он тайно еще надеялся, что, может быть, в окне снова засветится огонек или скрипнет сенная дверь...

Но ничего не случилось. Ночь шла своим чередом. Сухомлиново спало, и молодой месяц, совсем не космический, не нужный никому во всей Вселенной, кроме как здесь, на земле, запутался острыми рожками и доверчиво задремал в вишняках.

1965

## ХРАМ АФРОДИТЫ

1

Скорый минул Орел.

За окном при низком солнце резко, ослепительно белели жаркие застоявшиеся хлеба. Начинались пространства с открытым безлесным горизонтом.

Сараев стоял в коридоре вагона, курил и сквозь черные очки глядел на знойные степные пейзажи. Встречный ветер задувал внутрь оконные занавески, трепал его тонкую хрустяще-белую сорочку, забрасывал на плечо галстук и сдувал пепел с сигареты, вставленной в толстый мундштук.

— Кто желает бутерброды? Ест свежьи бутерброды!

По коридору прошла тучная грузинка в накрахмаленном чепце и с потными усиками.

Сараев заглянул в корзину и спросил пива.

— Какой мужчина пьет пиво, когда едет на Кавказ? — Разносчица кокетливо повела синеватыми белками. — Пэй напареули, пэй мукузани. Сто лет будэшъ жить!

Сараев натянуто улыбнулся — у него было дурное настроение.

Все последние годы он летал на юг самолетом, но на этот раз решил проехать по-студенчески. Однако получилось как-то несуразно. Вчера по случаю его отпуска были гости, и он опоздал на свой вечерний поезд, на который еще за неделю ему заказали билет. Из-за этого он не выспался и из Москвы выбрался только к обеду следующего дня. Он попытался сразу же вздремнуть, но, промаявшись в душном купе до Тулы, решительно встал, вымылся до пояса в туалете, тщательно выбрился и надел все чистое.

Это придало ему некоторое облегчение, но в душе царила меланхолия, и он старался не заходить в купе.

К тому же попались неинтересные соседи. Ехала высокая костлявая старуха в перманенте, с неприятно белыми зубами, взявшая на себя роль хозяйки и распорядительницы купе и сразу же отобравшая его нижнюю полку для своей внучки. Внучка, по всей ви-



димости еще девица, лет двадцати пяти, такая же высокая и плоскогрудая, в толстых очках, укутав колени простыней, отчужденно читала Блока. Третьим был какой-то Иван Иванович из Мытищ, пухленький, кругленький, с мешковатыми щечками, напоминавший Сараеву благонаправного грызуна, привыкшего к неволе и перевозкам в клетке. Иван Иванович уютно обосновался на верхней полке и ни разу не спускался вниз. Он то и дело доставал из багажного отсека чемоданчик, отмыкал его маленьким блестящим ключиком, похожим на нательный крестик, и долго шуршал внутри чемодана бумагой. Потом принимался мелко и часто жевать и похрустывать, сотрясаясь щечками и вперив отсутствующий взгляд в какой-нибудь шурупчик оконной рамы. И без того душное купе наполнялось запахом малосольных огурцов и домашних котлет, сдобренных чесноком. Сараева раздражали эти запахи, и он уходил в коридор и подставлял голову под ветер.

«Не выпить ли, на самом деле, стаканчик сухого?» — вяло подумал Сараев.

Через грохочущие тамбуры он побрел в ресторан, еще свободный в этот предвечерний час от посетителей, выбрал столик у восточного затененного окна и долго и пристрастно читал список закусок. Ни на чем не остановившись, он попросил подать пару южных груш и поддержать бутылку напареули в холодильнике.

Уже перед закатом остановились в Курске.

Пока охлаждалось вино, Сараев вышел на площадку. Профессиональным глазом он осмотрел тяжелый темноокрашенный вокзал, похожий на кофейный торт, по карнизам которого какая-то архитектурная стряпуха обильно надала маргариновых завитушек. Вокзал был воздвигнут во времена культовой помпезности в расчете на внешний эффект с на редкость бездарной планировкой внутри. Главные выигрышные площади интерьера были безнадежно испорчены подземными спусками и нелепым вентиляционным колодцем в центре вестибюля. Для пассажиров же оставлены маленькие заурядные боковушки.

Сараев хорошо знал не только вокзал, но и прочие достопримечательности Курска. С мысленной усмешкой он вспомнил, как лет десять тому назад начинал здесь свою архитекторскую карьеру. Приехал он тогда сразу же после окончания института, бредил новаторством Корбюзье, был полон воинственного скептицизма и наивно и самоуверенно мечтал облагородить Курск собственными творениями. Городишко показался ему тогда безалаберным, с единственной осевой улицей, выглядевшей более или менее сносно, но в остальном ветхий, замшелый, мещанско-купеческого облика с беспорядочными вкрапинами стандартных новостроек. Но местные отцы зодчества не поняли высоких помыслов и направили Сараева, как молодого специалиста, на укрепление какого-то



треста «Сельстрой», который проектировал в основном одни только свинарники. Теперь это выглядело как анекдот, и, вспоминая иногда, Сараев любил рассказывать об этом курьезе в кругу знакомых. Но тогда он не на шутку обиделся и даже сник и не чаял унести отсюда ноги.

Поезд тронулся, Сараев вернулся к своему столику, ему подали вино, и он отпил несколько глотков из прохладно запотевшего фужера. На дальних городских холмах, погрузившихся в туманную синеву, закатно полыхали окна каких-то зданий. Сараев смотрел на вечерний силуэт города и не чувствовал к нему прежней неприязни. Мелькнула даже честолюбивая мыслишка сойти в Курске на денек, навестить своих коллег и вообще посмотреть, чего они здесь без него нагородили.

Перебирая в памяти имена и события тех лет, Сараев вдруг вспомнил поездку в одну здешнюю деревеньку по делам все того же злополучного «Сельстроя». Тоже прелюбопытная история! Как-то так получилось, что ее он совсем запамятовал и никому не рассказывал, а, право же, стоило бы рассказать. Он попытался припомнить название этой деревеньки и никак не мог: то ли Грызловка, то ли Дрызгалка, какое-то этакое, в духе некрасовского «Кому на Руси...». Знал только, что находится она как раз по ходу поезда, примерно в полста километрах отсюда. «Надо не пропустить, — подумал Сараев, оживляясь при мысли о предстоящем маленьком дорожном событии. — Любопытно взглянуть, что там теперь...»

Он даже вспомнил приметы, по которым можно было узнать места. Как раз напротив той деревеньки должна быть кирпичная железнодорожная будка под огромным разлатым вязом. Еще, помнится, на крыльцо будки выходила босая сторожиха с высоко задирающим юбку беременным животом. Она была повязана платком, поверх которого по случаю поезда надевала форменную фуражку с красным верхом. Провожая поезд, сторожиха безучастно, с каким-то деревянным лицом глядела на мелькавшие мимо вагоны, выставив перед собой обернутый вокруг древка, захватанный мазутом желтый флажок. А поодаль, за бурьянистым кладбищем, торчала заброшенная церквушка. Кровля осыпалась с ее луковки, и обнажился каркас, похожий на школьный глобус, с параллелями и меридианами переплетений. Сама же деревенька начиналась сразу за церковью, километрах в двух или трех от железной дороги, и ее можно, пожалуй, увидеть из окна вагона.

Сараев долил фужер и выпил в один прием: легкое ароматное вино приятно бодрило. Он вставил в мундштук новую сигарету и, поглядывая в окно, принялся не спеша припоминать ту свою давнишнюю поездку — со всеми возможными подробностями, какие еще удерживала память.



Он сошел с рабочего поезда под тем самым вязом поздним осенним утром. Паровоз глухо прогудел в сыром, ватном воздухе, состав потащился дальше, волоча по обочине хвост сернистого дыма, прибитого к земле холодной моросью. После ухода поезда на разъезде стало безлюдно и тихо. В туманной неразберихе ветвей кричала невидимая ворона, и от ее крика особенно чувствовалась близость зимы. Помнится, как он спросил дорогу у той самой беременной будочницы и как, перейдя пути, под вороний карк, неловко пошлепал в своих штиблетах по ослизлой тропе. Тропа эта, мокро блестя, повела его через пустынно черневшую пашню, далеко присыпанную пятками листьев все того же придорожного вяза... И как, озираясь, пересек кладбище, неприятно бутрившееся среди сырых бурьянов, и минул церквушку, призрачно, размыто маячившую в стороне за моросью... И как потом долго пробирался по грязной, ископыченной улице, разорванной пустырями, и как поразила его своей неприютной хмуростью осенняя деревня — кислый запах хлебов, какие-то репьиные собаки с мокрыми, забрызганными животами, черная пузырящаяся грязь в колеях и мазаные хаты в набрякших сыростью землисто-соломенных папах. Хаты смотрели на него подслеповатыми оконцами и странно напоминали Сараеву толпу сумрачных мужиков с полотен передвижников. Помнится, он брел тогда по этой самой Грызловке, чужой и неприкаянный, в отяжелевших башмаках, похожих на свинцовые водолазные боты, и чувствовал себя заброшенным на край света. Утешала только мысль, что он в тот же день постарается вернуться домой.

Ехал он, в сущности, по пустяковому делу. Тамошний председатель, какой-то Яценко, просил прислать специалиста, с тем чтобы тот посмотрел местный камень и сделал бы заключение, годится ли он для постройки или нет. Просили уже третьим письмом, и начальник треста вызвал Сараева и сказал: «Съезди, голубчик, посмотри, что там такое. А то, чего доброго, возьмут и пожалуются. Завтра же и поезжай». Вообще-то, думал Сараев, могли бы послать по такому делу кого-нибудь другого, из простых техников. Но командировка уже была подписана, и он, пожав плечами, вышел из кабинета.

Какой-то малец, с коленками влезший в резиновые сапожищи, погрызавая морковку, проводил Сараева до колхозной конторы — новой рубленой избы под белым шифером. Сараев оскреб щепкой штиблеты и, робко заглядывая внутрь, вошел под навес крыльца, в распахнутые сени, из которых тянуло дымом. На новом струганом полу, заляпанном глиной, пламенела груда новых кирпичей. Дым до пол-окон заполнял комнату, беспорядочно заставленную лавками и столами, ленивым змеем извивался вокруг шкафов, тыкался в углы, ища выхода, и, добравшись до двери, уползал под притолоку в сени. Перед плитой, сложенной в правом от двери углу, стоял на коленях



старик, подвязанный каким-то бабьим платком вместо фартука, и, слезливо жмурясь, дул в открытую топку. Печка парила просыхающими боками, сердито выстреливала в дверцу искрами, старик увертывался от них, сморкался, пронятый дымом, и, глотнув свежего воздуха, опять принимался дуть. На столе сидели двое мужиков, наполовину занавешенные дымом, и Сараев отчетливо различал только их ноги, все в тех же грязных резиновых сапогах.

— Тяги никакой нетути, — говорили деду сапоги. — Вишь, как насупило.

— Имга... Имга дым не пропускает... Не даеть ему ходу через трубу...

— Может, за карасином сбегать? — сидя на карачках возле печника, крикнул в самое ухо мужик в старом военном френче. Рукава френча были закатаны до локтей, а кисти рук вымазаны глиной. Плиной же была выпачкана и его сигарка. Очевидно, не забывая, что папироса измазана, мужик держал ее в губах, брезгливо морщась правой щекой. — Карасину, говорю, надо...

— Чего?

— Карасинцу!

— Подь ты к едрене фене... советчик... — отсморкнулся старик. — Знай давай свои счета и щелкай...

— Щелкать покуда неча... Мошна не звякает. — Мужик отошел и стал обмывать в ведерке руки.

— Боров прогреется и потянет... — сказал дед, протирая красные глаза изнанкой фартука. — Боров нахолодал... Известное дело...

— Ты, дедарь, как с председателем-то уговаривался насчет печки? — спросил мужик во френче. — Мы с тобою ешшо за хундамен не разошлись.

— Это мое дело, — буркнул печник. — Я, можа, нашему председателю в подарок печку сложил.

— С чево б это?

— Ась?

— С чево ты, говорю, такой добрый? — прокричал, надуваясь горлом, мужик.

— А с тово, што с ободранной липки лыка не деруть. Ежели в твоей касси ни полпятака, дак теперича замерзатъ? Погодим. Бог совестью не обделил покудова... Не столько годели.

Сараев стоял в дверном проеме, остановленный ремонтной неразберихой. Наконец его заметили за дымом, за разговорами.

Мужики почтительно слезли со стола, счетовод засуетился, стал обтирать о штаны мокрые руки.

— Строительством вот подзаялись, — виновато проговорил он. — Неделя, как въехали... Насвинячили маленько с печкою.

Счетовод подсел к столу и принялся доставать из ящика какие-то бумажки, карандаш, пузырек с клеем. Он раскладывал их с дело-



витой сосредоточенностью, но было видно, что все это ему без надобности, из-за того только, что объявился посторонний человек.

По людям и по их разговорам Сараев определил, что среди них нет председателя. И теперь он боялся, что придется долго дожидаться, сидеть неизвестно сколько в этой задымленной избе под любопытными взглядами, и совершенно не знал, о чем следует разговаривать в таких случаях. Он хотел было выйти и где-нибудь походить, но, вспомнив про нудную слякоть, присел на лавку. Счетовод перекладывал бумажки, мужики принялись вертеть папироски, наступило неловкое, неприятное молчание.

— Строите, значит, — сказал наконец Сараев, тоже закуривая.

— Да вот... Прямо беда... — отозвался счетовод, конфузливо ожидавший хотя бы каких-нибудь слов от гостя.

— Погода просто никуда... — помолчав, сказал Сараев.

— Да уж куда хуже... Беда, да и только.

В дверь заглянула девушка в мокром жестком плаще с капюшоном, из-под которого белел пуховый платок, наполовину закрывавший ее багровые, влажно блестящие щеки. Не входя в комнату, она расставленными руками уперлась в дверные косяки и как-то устало посмотрела на печь, на ворох кирпичей, на весь этот строительный неуют.

— А, внучка! — обернулся печник. — В самый раз к печке. Иди, милая, погрейся. Сичас, сичас мы ее, холеру...

— Некогда, Пантелей Степаныч. В карьер надо. — Постояв в дверях, она наконец прошла в комнату, роняя с плаща на пол крупные дождевые капли. Даже сквозь дым от нее остро пахло мокрым брезентом. — Мне тут никаких звонков, ничего?

— Как сказала?

— Не звонили?

— Не было, — ответили мужики.

— Звонков-то? — отозвался старик, пристально глядя в топку. — В поле мертво. Какие теперича звонки?

— Анбары почистили, да и отзвонилися, — вставил один из мужиков. — Теперь мы сами по себе.

— Погоди, скоро насчет надоев начнут, — сказал второй. — Сами по себе на погосте будем...

Счетовод нагнулся через стол, шепнул Сараеву:

— Наш председатель... Яценко...

Когда ехал сюда, Сараев не думал, что этот самый Яценко — девушка, причем весьма заурядного облика, которую он поначалу принял за почтальоншу. Он рисовал себе председателя таким степным толстошеим Добрыней с животом, подпоясанным ремнем с двумя рядами дырок. Сараев приподнялся и неуверенно представился.

Протянув над конфоркой покрасневшие пальцы, она со вздохом сказала:



— К вам только за смертью посылать... — И через плечо скользнула по Сараеву беглым изучающим взглядом.

У нее было обыкновенное круглое лицо неприятного красноватого загара, на котором, как на негативе, выделялись белые жиденькие бровки и светло-зеленые, крыжовниковые и потому, может быть, такие резкие глаза.

— Мы уж тут сами обошлись... — Она потерла руки, повернула их ладонями кверху.

Сараев, оставшись стоять на середине комнаты, еще острее почувствовал свою здесь ненужность и в растерянности покрутил в руках шляпу, делая на ней заломы и тут же выправляя их.

— Может быть, посмотрим? — сказал он.

— Пожалуйста... — дернула плечами председательша и, не оборачиваясь, сказала счетоводу: — Вань, дай-ка твой плащ.

Она сама сняла с вешалки такой же серый, как у нее, дождевик, протянула его Сараеву и, бросив коротко: «Надевайте», — пошла к выходу.

Сеялся все тот же полутуман-полудождь. Яценко отвязала от перил мокрую со спины, желтенькую лошадь, поворошила в повозке солому и, подождав со строгим замкнутым лицом, пока Сараев, путаясь в полах плаща, неуклюже забрался в телегу, села с ним рядом. Лошадь, корячась, выбрасывая в сторону ноги, поворотила телегу от крыльца и зачавкала копытами, вскидывая голову, потряхивая светлой, разваленной на обе стороны гривой.

Ехали куда-то деревней, все такой же набрякшей осенней сыростью, с редкими облетевшими ветлами, зелено-замшелыми срубами колодцев, с пустыми огородами по низам, на которых среди черной земли белели капустные кочерыжки и вялая картофельная ботва. Потом свернули на выгон, к кузнице, где кряжистый старик покидал им в телегу штук тридцать синих от закалки ломов, и опять ехали деревней. Телега, нагруженная железом, скрипела, неожиданно заваливалась с боку на бок в колдобинах, колеса со всхлипом выворачивали вязкую грязь, тяжелые шмотья земли, поднимаемые ободом, оползали и отваливались от колеса возле самых пальцев Сараева, сжимавших низенький дощатый бортик, и эта черная, сыро отяжелевшая земля, разжиженная по низинам, казалась Сараеву неукротимой, взбунтовавшейся стихией. Как это все было не похоже на те подмосковные деревни с флюгерками и кружевными верандами, куда он наезжал со студенческими пикниками!

Ехали молча, будто каждый сам по себе, и Сараеву было неприятно это отчужденное молчание председательши.

Впереди из калитки вышли двое. Один — в старой, заплатанной стеганке, но в новом кожаном треухе, с рыжей, коротко подстриженной бородкой; другой — долговязый нескладный подросток. Оба с топорами за поясом. Бородатый, завидев телегу, отступил



было опять за калитку, но Яценко окликнула его, спрыгнула с возка и пошла навстречу.

— Аким Петрович! — еще с дороги крикнула она, крупно шагая в резиновых сапогах. — Аким Петрович! Ну что же вы от меня прячетесь, честное слово!

— А чего мене прятатца? — Рыжебородый сдвинул шапку на глаза и, выглядывая из-под цигейки, усмехнулся. — Не украл, не ограбил...

— Коровник ведь раскрыт. Холода заходят, — подошла к нему Яценко. — Сделать надо...

— А я разве отказываюсь? — Мужик опять усмехнулся, постукивая, поигрывая пальцами по обуху топора. — Давай будем делать. Мене едино: хоть коровник, хоть гроб.

— Вы все смеетесь...

— Какой смех? Я, председатель, господин хороший, свою цену сказал. Могу, так и быть, сот пять сбавить. По-свойски.

— Да ведь нет у нас денег... Нет!.. Понимаете?

— На нет и суда нет, — крикнул рыжебородый.

— Аким Петрович... Голубчик... А деньги, вот побожусь, на тот год — обязательно...

— Не будет... — Мужик отвернулся и принялся с деловитым вниманием разглядывать плетень. — Не будет! Мене уже надували... Вас, таких, восемь сменилося. С вас взятки гладки.

— Ну смотрите, Аким Петрович, не обижайтесь потом. — Яценко постучала кнутовищем по сапогу. Сараев видел, как пыкнуло ее лицо горячей краской. — Я ведь с вами по-хорошему. Совесть надо иметь.

— А ты мене не пужай! Не пужай! — выкатил глаза мужик. — Не я колхоз разорил.

— Ей-богу, обрежем усадьбу. Вот будет собрание, и обрежем. Как неосознательному.

— Нету таких правов. У меня двое девок на тебя холку мнуть. Задарма, за палочки. И за то скажи спасибо... Пошли, Степк.

— А тебе, Степан, не стыдно по чужим селам рыскать? А еще комсомолец!

— А я что? — Степан переступил сапогами. — Ему говорите...

— Ну ты... — цыкнул на малого мужик. — Мы не вред какой делать идем. Тут колхоз и там колхоз. Советская власть — она всюдова... Так что ты нас, девка, на бога не бери. Мы люди трудящие. Накась, полюбуйся. — Он сложил ладоши ковшом и протянул их впереди себя. — Мозоля на мозоле... Нас никто не может попрекнуть. От нас никому разору нету. Пошли, Степк...

Мужик пересунул топор и зашагал прочь. Вслед за ним, втянув шею, будто боясь, что его ударят, затрусил Степан.

Председательша отвернулась и долго стояла недвижно, глядя куда-то в другой конец деревни. Потом медленно возвратилась к повозке, волоча кнут по грязи.



— Какой нахал! — сказал Сараев, не зная, как выразить ей сочувствие.

Яценко не ответила. Она вытянула из-под капюшона угол платка, украдкой утерла глаза, влезла в телегу и кнутом огрела лошадь.

### 3

За селом, возле старого ветряка с растрепанными и заплатами кровельным железом крыльями, дорога повернула влево, вниз через балку. Проехали, как по клавишам, через шаткий бревенчатый мосток. Лошадь, навалившись на хомут, кланяясь в коленки мордой, потащилась на взъём. Яценко соскочила, пошла рядом. Сараев тоже перекинул ноги за край возка.

— Ничего, сидите, — сказала она.

— Ну как же... — сунулся опять с тележки Сараев.

— Сидите, сидите... Я ведь в сапогах.

Он уступил и с чувством смущения убрал ноги в телегу.

— Вы на меня, наверно, сердитесь? — сказал он, испытывая неловкость оттого, что остался сидеть.

— За что?

— Насчет камня...

— Да ну вас... — отмахнулась Яценко.

— Я ведь в тресте новый человек. И притом случайный...

— Почему ж случайный?

— Я архитектор, понимаете... Ну, а тут всякое такое... Никакой архитектуры...

Она долго шла молча, Сараев покосился на нее с повозки, ожидая ответа на эту учиненную над ним несправедливость, но она сказала про свое:

— В колхозе — ни бревна, а вы там все отмалчиваетесь... Мы из-за вас целый сезон потеряли.

Сараев смотрел на нее, тяжело шагавшую рядом с колесом, и все пытался определить, сколько ей лет. То она казалась моложе его, то старше, особенно когда вот так сердилась и снисходительно говорила о его приезде.

— Я вам еще весной писала...

— А что за камень? Известняк, наверно? У вас тут зона известняков.

— Не знаю... Наш печник в овраге разыскал. Принес, говорит, остинец. Били этот камень топором, в воде вымачивали. Вроде бы крепкий. А так черт его знает... Ждали, ждали от вас специалиста, да и плюнули, стали разрабатывать на свой страх и риск. Надо же как-то строиться, выходить из положения. Село — оно вроде па-ынка: цемент достань, гвоздь достань, бревно какое, и то за ним надо своих людей в Карелию посылать. А у нас у самих каждый мужчина на счету. Вот послали троих — ни ответа, ни привета. Еще



сбегут... Разве нельзя снабжать по-человечески, централизованно? К нам же не посылают косить хлеб для каждого учреждения, чтобы каждый себе...

Вдоль дороги, на взгорке, потянулось взрытое, истоптанное свеклянище. Видно, здесь еще недавно шла спешная уборка. Недалеке мокро блестела брошенная железная бочка и какая-то непонятная машина. Лошадь неожиданно повернула к этой машине, переднее колесо завалилось в канаву. Сараев испуганно вцепился в бортик повозки.

— Куда! Куда ты! — крикнула Яценко, натягивая вожжи.

— Я лучше сойду... — сказал Сараев. — Здесь уже не так грязно.

— Сидите... Это он культиватор увидел, — она поворотила коня на дорогу. — Я на нем три года агрономила. Он и усвоил: раз в поле машина — надо сворачивать.

— Ах вон оно что! — попытался засмеяться Сараев.

— Трактористы его за это Механиком прозвали. То морду солидолом намажут, то на хвост старых болтов нацепляют. Он хвостом по мухе махнет, а болты гремят. Трактористы хохочут... Все надо мной подшучивали.

Подобрав полы, она на ходу ловко вспрыгнула в телегу, подхлестнула коня кнутом. Тот старательно приналег, чаще закивав ушами под дугой.

— Но-о, пошел... пошел, парень, — она подбадривающе поцоккала губами. — Я ведь сюда еще совсем пигалицей приехала. Престарелый председатель сам за мной на станцию прикатил. Как же: новый агроном! А увидел и скривился: пигалица!

Из-за края капюшона Сараеву был виден один ее нос, розовый, как молодая картофелинка. Наверно, за лето он не раз лупился и теперь все еще розовел свежей кожицей.

— Ехали сюда, чемодан вывалился на колдобине, и все мои книжки рассыпались. Ползаю под колесами, собираю, а он мне с тележки: «Я думал, сундук приданого везешь. А у тебя одна теория». Из-за этой самой теории и пошло у нас с ним... В прошлом году сняли... Теперь вот сама... У разбитого корыта... Ни денег, ни севооборотов, одни папки с директивами... Библия... Директивы от Луки, от Матфея...

На водоразделе свернули с большака и ехали скошенным полем, жирно, невпопад исполосованным колесами. По жнивью за дождем призрачно бродили силуэты коров. Пастух — старик с холщовой сумкой на боку, — положив темные кисти рук на конец батога, стоял у края дороги в пустынном одиночестве верхового поля и, когда телега поравнялась, старорежимно снял шапку:

— Доброго здравьица.

— Здравствуйте, дядя Сергей.

— На карьер?

— Да вот специалиста везу.



— Да-а... Тюкают, тюкают, сердешные, — согласно закивал сивой бородой старик. — Отседова слышать, как стучать... Больше характером берут...

Сначала за краем поля высунулись серые купы леса, потом открылся и сам овраг, обрывистый, укрытый мгюю. С его затуманенного дна доносился глухой утробный стук. По крутым петлям еще не уверенной, недавно разведанной дороги меж облетевших кустов и мокрых стволов деревьев долго спускались вниз. Лошадь, приседая, давилась в хомуте, колеса наматывали на полевую грязь пестрые лапы опавших листьев.

Наконец скатились на самое дно, которое оказалось довольно ровной луговиной, еще свежо зеленевшей травой в отвесной теснине сумрачного безлистного леса. Под одинокой грушей, выбежавшей на поляну, дымил костер, высились штабеля белого камня, светлели срезами бревна, по ворохам орешника, снятого со склона, прыгали и перекликались сорочки выводки. У костра на плоском камне сидел мужик, прямо вытянув деревянную культю, заляпанную известковым месивом. Он выкатывал из углей прутиком печеную картошку, стучал ею по культе, обивая золу, и, разломив надвое, вяло, неохотно жевал. Заметив приехавших, мужик подогнул под себя здоровую ногу, поднялся на ней, как на домкрате.

— Ну как, Бусов, подается? — спросила Яценко.

— Да вот грызем... Как старуха сухарь. — Мужик обтер с губ картофельную сажу и посмотрел на склон, на темную стену леса, откуда доносились беспорядочные удары. — Кубов с полста набили. Кабы б погода, дак и возить можно...

Припадая на деревяшку, он повел гостей лесной тропой куда-то вверх.

— Отходу многовато, — говорил он, подныривая под орешник. — Половина идет в щебенку.

На склоне, очищенном от кустов и дернины, открылась ступенчатая выемка, похожая на огромную лестницу. Десятка три баб и девок, закутанных в платки по самые глаза, с ног до головы запорошенные мучнистой и слипшейся под дождем пылью, пристроившись на вырубленных карнизах, лопатами и топорами отбивали слоистые плиты и сбрасывали их вниз. Другие подбирали обломки в носилки и спускались с ними вниз, на дно оврага.

— Вот и наш Донбасс, — сказал Бусов, достав кумачовый кисет. — Нужда всему обучит.

— Ох и Донбасс, будь оно неладно! — кряхтя, выпрямилась баба с белым, захватанным носом.

Она отшвырнула кирку и, осыпая щебенку, спрыгнула с карниза.

Вслед за ней полезли и другие, ничком валясь на ворох мокрого, измазанного известью орешника.

Сараев поднял обломок, повертел его в руках.



— Я на Кавказе войну воевал, — сказал Бусов. — Так там все села из камня. Снаряд не берет. Крепости, а не дома.

— Там другой, — возразил Сараев. — Там песчаник.

— А этот какой же?

— У вас типичный известняк.

— Не сгодится, что ли?

— Почему же. На хозяйственные постройки можно. Впрочем, надо исследовать лабораторно. Известняки тоже разные.

Бабы со вниманием следили, как он подобрал несколько обломков и завернул их в носовой платок.

— Товарищ начальник! — крикнула с хвоста баба с белым носом. — А что, тот-та кирпич на погреб сгодится? Хочу себе на-таскать да погреб подладить. А то мой совсем обсыпался.

— Вполне, вполне! — заверил Сараев. — Что касается отходов, то щебенку рекомендую мешать с цементом и лить блоки.

— Оно-то можно... — Бусов лизнул бок скрученной сигарки. — Кабы цемент вольный. Пишем, пишем в потребсоюз, а оттуда один ответ: ждите.

— М-да... — Сараев, сощурясь, озабоченно оглядел карьер.

— Нам бы динамиту! — крикнул кто-то из бабьей кучки. — А то с тово-то камня рожать разучимся. — Бабы сдержанно хохотнули.

— Динамит — хрен с ним! — выкрикнула плечистая конопатая девка в солдатских галифе. — Мы сами динамит. Платили б только — что хошь свернем. Вы там, товарищ начальник, похлопочите, чтоб деньжонок подкинули. А то председатель говорит, будто деньги наши в банке арестовали. Что они, фальшивые, что ли?

— Это временно, товарищи, — сказала Яценко. — И не деньги, а счет.

— Я в этих бухгалтериях не разбираюсь, — жестко усмехнулась конопатая, доставая из-за пазухи зеркальце в картонных корочках. Сидя на хворосте с прямо вытянутыми ногами, она зажала зеркальце носками кирзовых сапог и, подглядывая в него, принялась перевязывать платок.

— Вот еще поковыряю натошак да и подамся в город. Там хоть на платье заработаю. А то, глядите, товарищ, в сверхсрочных штанах хожу. У мово ухажера отняла.

Бабы захохотали, зыря на Сараева из-под низко насунутых платков озорными глазами.

— Чего, Наська, дурь перед человеком кажешь? — отвернулся Бусов. — Дура и есть дура! Тьфу!

— А ты, бригадир, помалкивай! — огрызнулась конопатая.

— Ничего, девчата. Как-нибудь выкрутимся. Вот построим новые фермы. Дом культуры заложим... — примирительно сказала Яценко. — Вы только постарайтесь. С первого дохода всем по платью наберу. Кто работает в карьере.



— Ох, да когда же тот-та рай будеть!

— Честное слово, наберу. По шерстяному. При свидетелях говорю. Первую же свадьбу в новом клубе сыграем.

— Нам бы пока хоть рукавицы. Все руки оборвали.

Начали спускаться в овраг, туда, где дымился полузатухший костерок. И уже с тропинки, обернувшись, Яценко спросила:

— А что, девчата, обед еще не привозили?

— Митька поехал! — крикнула Наська. — Встретите на дороге, чертыхните, чтоб швыдче погонял, зараза.

— Надо бы здесь кухню оборудовать, — обратилась Яценко к Бусову. — А то какой обед — пока довезет, все разболтает. Да и остынет. Съездите, заберите в телятнике котел.

— Сделаем.

— И брезент с машины. Скажите шоферу, что я велела. На рукавицы. Сами и пошьете. А ломов я вам привезла. Тридцать штук. Хватит?

Бусов кивнул и, обернувшись, замахал, как на кур, обеими руками:

— Давай, бабы-девки! Шевелись, родимые!

Бабы нехотя, размеренно поднялись с валежника. Наська подперла бока кулаками, поломала взад-вперед поясницу, пошла следом в распоротых на толстых икрах галифе, волоча за собой кувалду. И вдруг с отчаянной веселостью, с вызовом, дурашливо загорланила:

*С неба звездочка упанеть  
Бригадиру на ремень.  
Бригадир гулять поманетъ  
И запишет трудовень...*

И, взмахнув кувалдой, вдрызг раскрошила подвернувшуюся глыбу плитняка:

— И-эх, мать твою курицу!

Бусов выгрузил ломы, и, пока телега поднималась наверх, со дна балки, из ее занавешенной дождем глубины долго слышались тупые удары лопат и обухов.

#### 4

Уже в сумерки Механик дотащил председательскую колесницу до крыльца конторы. Он шумно вздохнул, понюхал затертое штанами перильце и, грызнув его своими желтыми долотами, принялся устало жевать отодранную щепку.

В конторе уже никого не было. Безлюдно темнели забрызганные алебастром окна.

— Ну, что будем делать? — Прислонясь к перильцу, Яценко задумчиво уставилась на желтые штиблеты Сараева. — Что же вы так-то... налегке?



Сараев смущенно улыбнулся. Он был, наверно, действительно жалок в этих форсистых измазанных башмаках.

— Я, наверно, пойду... — Он посмотрел из-под навеса в низкое сумеречное небо. — Пока еще светло...

— На пятичасовой вы уже опоздали. А до вечернего еще часа три.

— Подожду в буфете.

— Какие у нас буфеты...

— Да, я забыл...

— Пойдемте лучше, я покормлю вас. Только сначала отведу на конюшню лошадь. Хорошо?

— Да, конечно... Конь тоже проголодался. — Сараев сочувственно посмотрел на Механика, громыхавшего во рту удилами.

Яценко вскоре вернулась и заставила Сараева переобуться в принесенные чьи-то, просторные, набитые соломой резиновые сапоги.

Они шли вечереющей улицей, пробираясь у самых завалинок, придерживаясь за ослизтые плетни, чтобы не поскользнуться. В соломенных кровлях копошился дождь, пахло мокрой слежалой соломой. Со дворов журчал тихий гомоник засыпающих гусей. Иногда за плетневой стеной сарая звенело ведро под струями молока. Внизу на пустых огородах, смутно белея боками, по-детски просяще взмывал теляенок.

Сараев не любил деревенских вечеров, даже тех, подмосковных, которые встречали у костра с гитарой. Чужое жилье на закате солнца всегда почему-то навевало на него щемящую тоску, острое чувство бездомности, а эта безлюдная незнакомая улица, затерявшаяся где-то среди осенних полей, — особенно. Иногда в темноте окна, за кустиками геранек, мелькало чье-то размытое, сумеречно-тусклое лицо, то ли старухи, то ли девочки, и ему приходили странные мысли о том, что вот он прошел мимо и никогда, до конца своих дней, не увидит этого человека, как никогда не видел его прежде. Он устал, проголодался и, плетясь за Яценко, не чаял добраться до твердого сухого места.

Яценко остановилась перед сплетенной из лозы калиткой и, подождав Сараева, сказала:

— Проходите. Собак нет...

Инстинктивно втягивая голову, Сараев вошел в низкие темные сени с запахом насеста. Яценко долго возилась с замком, наконец отомкнула какую-то внутреннюю дверь. Придерживая Сараева за рукав, она провела его в темную глубину хаты, заполненную одиноким тиканьем часов, нащупала где-то спички и засветила керосиновую лампу на столе.

— Ну, раздевайтесь? — скорее, не предложила, а спросила она. — Это моя обитель. Так что не церемоньтесь.



Сараев принялся стаскивать плащ, от которого у него занемели плечи.

— Здесь раньше была наша старая контора. Арендовали у одной старушки. А теперь поселилась я... Вы умеете разжигать примус?

— Попробую... — неуверенно сказал Сараев. Пол, крыша над головой заметно улучшили его настроение.

— Пробуйте... Вот вам сковорода. В этом ящике сало и яйца... Я скоро вернусь...

Она вышла. Сараев присел было перед лавкой с примусом, но разжигать его не решился: совершенно забыл, как это делается. Он отрезал кусочек сала и, с удовольствием посасывая его, в одних носках прошелся по комнате. На старом, забрызганном чернилами конторском столе потрогал какие-то ростки, густо пророщенные в простой тарелке, просмотрел несколько пластинок, сложенных стопкой на патефоне, о существовании которого тоже позабыл начисто, потом подошел к плетеной этажерке с «художественными» ожогами на прутьях. Этажерку распирали книги, а верхнюю полку венчали зеленый жестяной будильник и матовый остроконечный пузырек духов. Пузырек приятно и сладостно пах, напомнив Сараеву свет, людской веселый гомон, сверкающий бег автомобилей.

Вскоре вошла запыхавшаяся Яценко, лицо ее было мокро от дождя.

— Припустил не на шутку, — сказала она и поставила на стол бутылку «Столичной». — Есть хочется до смерти!

Сараев приятно удивился: есть действительно хотелось до смерти, и он еще по дороге думал о том, что не худо бы выпить стопку. К нему пришло нетерпеливое оживление.

Не раздеваясь, она разожгла примус, весело зашумевший на лавке синей короной, и, обернувшись, спросила:

— Может быть, подогреем сначала борщ?

— Угу, — напевно произнес Сараев.

— Ничего, что вчерашний?

— О чем разговор? — Нагнувшись, он с тем же мурлыкающим настроением разглядывал корочки книг.

— Некогда готовить. Варю сразу дня на три...

Поставив на примус кастрюлю, она сдернула тяжелый, словно скроенный из толя, громыхающий плащ, ватную телогрейку, раскутала голову и, присев на скамейку у печки, по-мужски, нога об ногу, стащила сапоги.

— Чертовы латы, — сказала она. — Не оборачивайтесь, пожалуйста. Я переоденусь.

Сараев вытащил какую-то «Агротехнику твердых пшениц» и отошел с ней к окну. Он услышал легкие босые шажки по полу, потом шуршанье платьев, которые по студенческому обычаю висели



на стене под простыней, слышал, как она вытащила из-под койки чемодан и выложила туфли.

— Надоели все эти фуфайки и сапоги, — говорила она у него за спиной, торопливо раздирая свалявшиеся волосы расческой. — Иногда ноги просто скучают по туфлям на каблуках...

Звякнула пробка от духов, и она сказала:

— Ну вот... Можете теперь не читать...

Сараев захлопнул книжку и во второй раз удивился: перед ним после грубых своих одежд предстало неожиданно хрупкое существо в голубеньком горошковом платице, с трогательно тонкой белой шеей, с неловко и наспех сделанной прической из светлых коротких волос. Она с чуть испуганной улыбкой взглянула на Сараева, будто спрашивала: «Ну как теперь?»

— О-о! — прицокнул языком Сараев.

Но в самом колыхнулось чувство снисхождения и даже нечто похожее на жалость к этой девчонке, вдруг вместе с плащом и сапогами утратившей олицетворение прежней административности. Ей не удалось только снять с лица свою председательскую маску, крепко прикипевшую от ветров и непогоды, и повесить ее, хотя бы временно, на гвоздь рядом с брезентовым дождевиком. Граница этой маски резко делила надвое высокий лоб, проходила возле маленьких ушей к подбородку, и было непривычно и даже поначалу неприятно видеть этот контраст белой нежной девичьей шеи и потемневшего красновато-оливкового лица со светлыми глазами. Перед ним стояла почти что школьница со странно старившим ее прежним, уже знакомым Сараеву лицом.

— Вам очень идет голубое, — проговорил Сараев.

— Давайте, давайте есть, — смутилась она окончательно и празднично, счастливо застучала высокими каблуками туфель к примусу.

Сараев помог нарезать огурцы и помидоры, нашлась половина арбуза. Яценко поставила на стол две дымящиеся тарелки с борщом, сковороду с глазуньей, занавесила окна, и они сели.

— Ну? — Она посмотрела на Сараева с оживлением хозяйки, наконец-то добравшейся до стола. — За что выпьем?

— Наверно, за хозяйку?

— Нет... Выпьем за этот злополучный камень. Чтоб не развалился...

— За камень так за камень.

Чокнулись, она храбро выпила свои полстакана, зажмурилась, блеснув слезинками в ресницах, и торопливо кольнула вилкой дольку помидора.

— Если все пойдет хорошо — поставим там завод. Купим камнерезную машину. Я читала — есть такие.

— Это очень дорого.



— Не век же мы будем без денег... Ешьте борщ, — остынет... Вообще-то нам обещали ссуду на строительство. Если вы дадите обоснованное заключение. Банк требует гарантий.

— Постараемся.

— Да уж знаю эти старания. Мне вообще-то не следовало с вами чокаться.

— Не понимаю.

— Из-за вашей волокиты. Да что вам? Над вами не каплет. Кругом асфальты. Шаг ступил — булочная, другой — кинотеатр. А у нас дети ходят за четыре километра в школу. Встают в шесть утра и идут в темноте по этакой грязище.

— Да, грязь у вас, действительно, классическая. Брр! — Сараев зябко передернул плечами и сам разлил водку по стаканам. — А вы сами разве не горожанка?

— Нет, я родилась в Заволжье. В степном совхозе.

— И где же грязь лучше? — пошутил Сараев.

— Далась вам эта грязь. У нас там такое раздолье, вы даже не представляете. Один раз, я только в третий класс перешла, отвязала чью-то лошадь под седлом и ускакала в степь. Хотела посмотреть, что там, за горизонтом, какой он, край земли. Так никуда и не доехала. Все хлеба и хлеба.

— Вы сюда после института?

— Да, я из Тимирязевки.

— Это что же, по сердечному влечению?

— Землю я очень люблю. Но не так я представляла себе дело, когда училась. Трудно. Сами видели. Все запущено, особенно земля. Иногда становится грустно. У меня папа тоже агроном, там, в Саратове. Крупный селекционер, не слышали? Павел Григорьевич Яценко. Между прочим, вот та книга, что вы листали, — его работа.

— О!

— Но дело не в этом. Он мне говорил, что мы много шаманим в сельском хозяйстве. Бубны и знахарство. А нужно решительное переливание крови. Нужны серьезные государственные капиталовложения, хорошие машины, дороги, удобрения, знания. Современный хлеб надо делать серьезно, достойно человеческого разума. Когда я приезжала домой на каникулы, мы с ним, бывало, всю ночь проговорим. Вам не скучно? А то я все про свое да про свое.

— Да нет. Отчего же. Но, по-моему, это не женское дело — председательствовать.

— Почему? Женщин-председателей много. Есть даже Герои Грода.

— Мне кажется, они больше мужчины, чем женщины.

— Как это?

— Если несколько лет вот так походить в сапожищах, среди трактористов да всяких уполномоченных, мало что останется жен-



ского. Я заметил, у всех руководящих женщин какие-то мужские физиономии.

— Зато у всех руководящих мужчин физиономии бабьи. Это я тоже заметила.

— Один — ноль в вашу пользу! — весело рассмеялся Сараев.

Он стукнул стаканом о ее стакан, выпил, подышал в тонкие пальцы с золотым кольцом и, закусывая яичницей, в свою очередь возразил:

— Нет, в самом деле. У них ведь должны быть семья, дети. Как-то не вяжется: председатель и — у нее дети. Также не представляю себе женщину-секретаря — ну, допустим, райкома — с ребенком на руках. Всякие там бюро, выговора... Все это какие-то солдатские должности. Тут: или — или.

— По-вашему, я тоже не женщина?

— Ну! Вы еще вполне! — воскликнул Сараев. — Правда, когда ехал сюда, думал, что вы мужчина. Этаким с брюшком. Товарищ Яценко. Сбила с толку ваша, прошу прощения, бесполоая фамилия.

— Кстати, меня зовут Тоней, — тихо, с легкой обидой сказала она.

— Тогда выпьем за товарища Тоню. За милую, несмотря ни на что, женственную Тоню!

— Да ну вас! Вы все время надо мной подсмеиваетесь. Думаете, я не понимаю?

— Помилуйте! Ничуть даже. Совершенно искренне. Я ведь заметил, как вы утром плакали, когда встретились с шабашником. Это — верный признак, что вы еще не растратили себя как женщину.

— Не выдумывайте. Ничего я не плакала. И давайте лучше есть арбуз.

— С удовольствием! Но, извините, вы замужем?

Краска залила ее маленькие уши.

— Зачем вам это?

— Ну... поскольку мы затронули эту тему.

— Я еще несовершеннолетняя. Ясно?

— Нет, вы мне нравитесь! — рассмеялся Сараев. — Вам палец в рот не клади. Ну а если кроме шуток?

— Была. — Она усмехнулась и в то же время вызывающе посмотрела на Сараева. — Не сошлись характером. Понятно? Я неуживчивая и упрямая. Я не женщина, а председатель. Вы же сами говорили: или — или.

— А вы и вправду злюка.

— Какая есть.

Сараев достал портсигар и, напевая, принялся закуривать. Подперев подбородок ладонями, Тоня с задумчивым вниманием разглядывала его свежее, чистое лицо, синий, щегольски повязанный галстук, белый, хорошо накрахмаленный воротничок, следила за его интеллигентно-красивыми пальцами, разминавшими



сигарету. Сквозь оливковую председательскую маску смотрели чуть сощуренные устало-грустные глаза.

— Что так скептически? — спросил Сараев, окутывая себя дымом, как завесой.

— Так... привыкаю. Вкусно пахнут сигареты.

— Хотите? — Сараев протянул через стол раскрытый портсигар.

— Нет, спасибо. Курить совсем не то. Пробовала. Дым приятен только со стороны. Впрочем, возьму одну штучку. На память, что в моем доме был мужчина.

— Так уж и не бывают.

— Представьте, нет. Некому. У нас тут все больше допризывники. Вот платья еще со студенческих времен висят. — Она задумчиво поводила по столу арбузной коркой. — Разве что съезжу когда на совещание. Я — куда ни шло, сама напросилась. Мне наших девчонок жалко. Хорошие все девушки, а замуж выйти не за кого. Я их даже в колхозе не особенно стала удерживать. И ругают меня за это, как-никак все-таки рабочая сила, а все равно потихоньку отпускаю, если попросятся. Сила-то сила, да ведь не конячья. Люди ведь. Вот построим себе новый Дворец культуры, купим хороший оркестр, тогда... А знаете что, приезжайте к нам строить клуб. Честное слово! — Она выдвинула в столе ящик, вырвала из общей тетрадки листок. — Вот вам карандаш, бумага, давайте вместе прикинем, как бы это сделать лучше.

— Так вдруг?

— А что? Вы же архитектор.

— Нужна смета, данные о материалах и прочее и прочее...

— Вот видите, опять волокита. Неужели у вас нет никакой фантазии?

— Фантазия должна опираться на реальный расчет. Я лучше вам пришлю. Сделаю, как положено.

— Эх вы... Дайте сюда! — Она забрала у Сараева листок и совсем по-детски принялась чиркать и набрасывать какие-то линии.

— Это что же у вас, колонны, что ли? — спросил Сараев, зайдя за ее спину.

— Да, колонны. Все это колонны. Много колонн, а на них, не знаю как это по-вашему называется... Вот так должно быть сделано...

— Это называется архитрав. А над ним фриз...

— А здесь мы сделаем вот так... Понимаете, такие широкие крылья, над всеми колоннами, с лепными листьями...

— Целый храм Афродиты! — усмехнулся Сараев. — Осталось голько украсить фронтон вашим собственным барельефом в ниспадающих одеждах.

— Пожалуйста, не смейтесь! Я только не умею нарисовать, но я это вижу! Весь белый, легкий, солнечный, а здесь вот и здесь посадим липы. Больше всего я люблю липы. А в общем, у меня тут ни-



чего не получилось. — Она крестом перечеркнула рисунок. — Ерунда какая-то.

— Зачем же! Отдайте мне этот набросок.

Он свернул листок вчетверо и спрятал в боковой карман, хотя знал, что эта бумажка никуда не пригодится: все эти колонны и фронтоны с лепной мишурой давно вышли из моды. Если уж проектировать, то надо что-то современное: стекло, бетон, лаконичные формы и линии. И потом, неужели она думает, что из плитняка можно построить что-либо стоящее? Святая простота! Разве что коровник.

— Давайте выпьем за ваш храм Афродиты! — предложил Сараев.

— Если серьезно, то давайте! — Она потрогала пунцово пылавшую щеку. — Подумать, сколько сегодня выпила!

Вскипятили чай, потом Тоня раскрыла патефон, поставила пластинку.

— Этот патефон мне подарили на ВДНХ. За капусту. Когда я еще была агрономом. В пятьдесят шестом году.

Из-под иглы выпорхнула экзотическая шульженковская «Голубка». Сараев ее уже пережил, переболел ею, но здесь, в деревенской избе, рядом со сковородой и недоеденными огурцами на столе, она прозвучала неожиданно свежо и зовуще.

— Хотите, потанцуем? — предложила Тоня. — Что-то взбрело в голову. Не помню, когда я танцевала.

Сараев взглянул на часы.

— Успеете. — Она подошла, положила руку на его плечо, и они, привыкая друг к другу, неловко сделали несколько шагов.

— В сущности, довольно вульгарная песенка, — заметил Сараев.

— А мне нравится. В ней все багровое и голубое. Закат и море.

— У нас в городе ее уже заиграли. Под «Голубку» продают лотерейные билеты.

— Ну и пусть. Говорят, если увидишь море хотя бы один раз, будешь скучать.

— Давайте проверим вместе. Берите отпуск, и махнем в Гагры.

— Нет. Это пока мне не по пути. Вот когда разбогатеем, построим...

— Храм Афродиты?

— Какой же вы несносный! — Поравнявшись с окном, она протянула руку и на ходу переставила иглу. Пластинка запела:

*Когда из моей Гаваны отплыл я вдаль,  
Лишь ты угадать сумела мою печаль...*

— Я почему-то на вас все время злюсь, — сказала она, жарко дыша ему в шею.

— За что же?

— Не знаю...



Он ощущал, как под ладонью ходила, двигалась ее остренькая лопатка, и чувствовал, как Тоня вся тянулась, стараясь танцевать на цыпочках. Видимо, эта, в общем-то, банальная мелодия и на самом деле волновала ее, будоражила душу, и Сараеву стало жаль ее, и даже прихлынуло какое-то чувство, похожее на нежность.

— Не знаю... — повторила она и пытливо заглянула в его глаза. — Серьезно, приезжайте к нам строить...

Слушая, Сараев перевел взгляд на ее обветренные, жаркие и очень близкие губы, говорившие что-то еще о стройке, о ее планах, и вдруг, сразу опьянев, больно сдавив ее руку, порывисто нагнулся и зажал этот так близко говорящий рот своими губами.

— Приеду, честное слово, приеду... — торопливо, полоумно твердил он, не справляясь с дыханием. — Верь мне...

...На вечерний поезд он опоздал и уехал перед рассветом пятичасовым.

— Я тебя провожу, — сказала она.

Одевались, не зажигая лампы. Было слышно, как на этажерке, будто вынутое сердце, стучал будильник. Она сунула босые ноги в сапоги, набросила дождевик, ничего не пододев под него, и, шурша бумагой, стала заворачивать штиблеты.

— Ты тоже надевай сапоги, — сказала она.

— Это же чужие.

— Ничего. Ты ведь приедешь?

— Да, конечно.

— Я буду очень ждать. Придумай что-нибудь. Скажи, что... Ну, что ты еще не совсем осмотрел карьер. Или попросись в соседний район.

Они вышли во двор. Было совсем еще темно. Невидимый дождь по-прежнему лениво булькал в невидимых лужах. Вдали, в поле, между какими-то темными сараями светил одинокий фонарь.

— Это окно нашей будки. Пойдем прямо на него. Так ближе.

Шли по глыбистой, перепаханной земле, не видя ни самой земли, ни друг друга. Сапоги сразу же отяжелели. Позади, на деревне, скулила собака — единственный звук в этой вязкой тишине поля.

— Ты идешь? — спросила она.

— Иду. Я чуть было не потерял сапог.

— Дай мне руку.

Она подождала его и засунула в его рукав маленькую холодную ладошку.

— Вот так. А то вдруг показалось, что тебя вовсе нет. И не было. Он забрал ее пальцы в кулак, и они пошли, держась на огонек. Где-то на полпути Сараев остановился.

— Ты беги. Я теперь сам.

— Нет.



Он обернулся и посмотрел на деревню. Деревни не было. Только черная пустота и тоскливый лай собаки в той стороне.

— Беги.

— Нет. Не хочу.

— Озябнешь.

— Нет! Не могу вот так сразу вернуться в пустую комнату... И потом, я люблю смотреть на поезда. Особенно ночью. Когда с огнями.

Она упрямо потянула его за руку.

Где-то слева глухо зашумело. Из-за поворота показался яркий немигающий глаз. Поворачивая, узкий слепящий луч полоснул поле, на мгновение высветил белый остов церквушки в тонкой пряже дождя, замелькал по кладбищенским крестам.

— Это твой!

Они побежали, держась за руки и гулякая сапогами, луч прожектора обдал их колючим боковым светом. Сараев увидел, как между пол распаханного дождевика часто мелькали ее голые колени.

— Я не думала... что он... так скоро... — выкрикнула она порывисто.

Они влетели в грохот притормаживающего состава, стоящего на этом разъезде всего одну минуту. Сараев, задохнувшийся, со звоном в ушах, с колотящимся сердцем, из последних сил вскарабкался на чудовищно высокую, отвесную подножку и, тяжело хватая всем нутром воздух, невидяще посмотрел вниз, где должна быть Тоня. Она колотила его кулаком по сапогу и совала какой-то сверток.

— Туфли, туфли забыл, — разобрал он. — Боже мой, как все нелепо.

Паровоз протяжно взвыл, будка с красным окном качнулась и поплыла в сторону. У его ног замелькала раскрытая Тонина голова. В свете тамбурного фонаря он видел ее растерянное, вопрошающее лицо, почти голую грудь и ночную сорочку, белевшую между пол дождевика, который она забыла запахнуть. Тоня что-то кричала ему, махала на себя поднятой рукой, но он ничего не понял. Вскоре она отстала и исчезла за шумом колес...

Еще оглохший от бега и стука в висках, держась за поручни, Сараев повис на руках над рябо мелькающей насыпью. Он еще пытался что-то разглядеть позади, но видел только красноватый оконный квадрат будки, перечерченный крестом рамы и косым дождем. В последнюю минуту ему показалось, будто кто-то остановился против окна, загородив свет. Но поезд выгнулся, поворачивая, и окно исчезло вовсе.

— Гражданин, не положено.

Сараев втянулся в вагон, проводник молча захлопнул за ним дверь и повернул заветку...



Вспомнив теперь, спустя десять лет, всю эту историю, заслоненную многими другими, приключившимися с ним в более поздние времена, Сараев испытывал нечто похожее на волнение. Она тогда написала ему письмо, потом спустя неделю — второе. Но как-то так получилось, что он не ответил: были срочные командировки в другие районы. Потом она замолчала... А вскоре подвернулся случай, и он спешно распрощался с этим «Сельстроем».

Уже по дороге в Москву он вспомнил, что в кармане брошенного на квартире счетоводского дождевика, который он больше не надевал ни разу, остались образцы известняка, взятого им для лабораторного анализа. Он хотел было написать своим прежним сослуживцам, чтобы они забрали эти образцы и исследовали их без него. Но, приехав в столицу, как-то замотался с устройством на новом месте. К тому же вскоре с головой ушел в срочную работу и выдержал интересный проектный конкурс. Теперь он вот уже несколько лет возглавляет одно из творческих объединений Москвы.

...Сараев курил, машинально, не глядя, стряхивал пепел в тарелку с грушами и старался не пропустить те знакомые места. А за окном все бежала, все разворачивалась равнина, сумерки синили и размывали пустынное жнивье, близкие от дороги скирды молодой соломы, и уже маячили у горизонта первые огни каких-то деревень.

«Да... Храм Афродиты... Где она теперь? Наверно, вышла замуж за какого-нибудь тракториста... А может быть, просто уехала...»

Подошел военный, попросил разрешения сесть за его столик. Сараев кивнул, вылил остатки вина в фужер, прополоскал рот и отвернулся к окну. Но уже ничего нельзя было разобрать, кроме бегущих по обочине отражений вагонных окон.

Правда, в одном месте промелькнуло нечто, похожее на ту, полуразоренную церквушку, а вскоре за ней, дальше в поле, вспыхнуло огнями широких окон какое-то крупное строение. Но то ли это было место, та ли деревня — Сараев не мог бы сказать наверняка. Скорее всего, железнодорожная станция, каких всюду понаставили за последнее время вместе с переводом южной магистрали на электрическую тягу. Впрочем, с этой упрямой девицей все может стать. Немудрено, что чего-нибудь и нагородила...

— Что там такое? — спросил военный.

— Так... Смотрю знакомые места.

— Воевали здесь?

— Да, знаете...

— Курская дуга... А я под Ленинградом... Может быть, возьмем по коньячку?

— Что ж, пожалуй, — сказал Сараев, задерживая занавеску. — Делать все равно нечего.



## ПОТРАВА

## 1

В междуречье верхних притоков Днепра и Дона, по сухим увалистым водоразделам еще и теперь сохранились клочки дикой, непаханой степи, некогда уходившей от порубежных русских земель к Черному и Каспийскому морям — и дальше, за Волгу, в необозримые киргизские кочевья.

Места эти издревле заселялись полупахарями-полувоинами, «с конца копья вскормленными», которым назначено было принимать на себя налеты бесшабашных половецких орд. Позже здесь обживались стрельцы и пушкарные, казаки и ямские люди и тоже пахали и сеяли промеж главным делом. С тех пор и остались во многих городах этой полосы, как память о беспокойной старине, стрелецкие и пушкарные, ямские и казацкие слободы. Правда, слободы уже не те: с кинотеатрами и кафетериями, с больницами и школами-десятилетками, а там, где раньше были ямские подворья и ночлежные станции с запасными тройками, стоят железнодорожные депо и вокзалы. Но до сих пор еще жителей называют по старинке — стрельцами и пушкарями, казаками и ямщиками, хотя ямщики уже давно пересели с облучков на поезда, да и стрельцы с пушкарями нашли себе новое дело. Русь раздвинула свои границы, и никто из теперешних слобожан не страшится, что вдруг наскочит дикий кочевник и отсечет кривой саблей иную зазевавшуюся стрелецкую голову или красавицу на модных шпильках уведут в полон в Крымское ханство. Теперешние стрельцы и стрельчихи и сами валят в Крым в несметном числе — полежать на южных пляжах. Бежит время!

Острова же тех прежних, первозданных степей затерялись теперь в безбрежном море паханных и перепаханных полей, окружены селами и деревеньками, опутаны шоссейными и проселочными дорогами, по которым снуют автобусы и «Волги» или катят грузовики со всякой колхозной пожитью — зерном и картошкой, молоком и сахарными бураками.

Но странная, непривычная тишина охватывает всякого, кто после каждодневной сутолоки, житейских дел и забот шагнет вдруг в дикие травы. Как и сотни лет назад, шумят, переливаются седые ковыли, одиноко в вечном сне дремлют курганы, подернутые синеватой марью, и все так же кружат над дикой равниной отрешенные от всего степные орлы, под быльями которых проносятся столетия: прошли когда-то Игоревы полки «испытать Дону широкого», прошла и конница Будённого — «от Касторной на Тихий Дон»...

Ранней весной рушится и оседает под щедрым солнцем серый торосистый снег, пробивают себе путь к земле талые воды, обнажая бурые, взъерошенные от прошлогодней травы пригорки и холмушки, а сквозь старую дернину уже вострятся зеленые пики ко-



вылей и типчаков. Едва зазеленев, степь сплошь золотится адонисом и сон-травой. В мае она уже бело-лиловая от диких ирисов и анемонов. В июне душно и густо синеет шалфеем, а к концу лета вдруг просияет ромашками, вымечет пуховые ковыли и заволнуется, засеребрится на ветру. Потом все это побуреет и поникнет, солнце иссушит, а дожди прибьют к земле мелкотравье, и только жестко и неприветливо будут торчать ржанные стебли конского щавеля да черные скелеты татарника. И побежит по степи проводочным клубком бездомное перекатипole. А вскоре падет снег, степь замрет, затаится до весны, а там снова — адонис и сон-трава, ирисы и анемоны... И так год за годом, века, а может быть, и тысячелетия в неумном и неистощимом круговороте.

Дикая вольница!

Пройдут краем степи мужики из соседних деревень, остановятся, любясь ширью, и в который раз подивятся слепому неразумию этой праздной, еще ни разу не служившей человеку земли, что сама сеет, щедро и без устали родит, сама пожинает свои плоды, ни с кем не делясь, разве что с птицами, беспечно и расточительно обращая все, что породила за лето, в прах и тлен. Поят, подышат пьяным полынным ветром и пойдут к себе, на соседние косогоры, к своим стократ паханным и перепаханным полям...

Останавливался у пограничной канавы и сапрыковский мужичок Яшка — маленький, узкогрудый, в сером мешковатом пиджаке с отвислыми карманами. По-рачьи красное, безусое и сморщенное Яшкино лицо непривычно мигало, будто так с самого детства и осталось, не обрета зрелых мужских черт, так и состарилось, подобно не набравшему силы, преждевременно оброненному деревом яблоку. То ли за эту детскость, то ли за терпеливую безропотность считали Яшку на деревне дурачком. В колхозе он не имел твердо определенной должности, посылали его на всякие работы, обычно невыгодные, на которые другие шли с неохотой, он же брался за все, был исполнительным, хотя по хилости своей охотнее всего прибавался к бабам — полел с ними бураки, сажал капустную рассаду, собирал долгоносиков. Все это не мешало ему, однако, жениться и наплодить кучу ребятишек.

Прикидывая сухонькую ладоньку к белесым детским бровям, Яшка глядел на буйный неprovорот степных трав и бормотал:

— Ай-я-я... Зазря как... Ай-я-я...

— Чего уставился? — раздалось вдруг за его спиной.

Яшка пугливо вздрогнул и оглянулся. Большой, грузный, в армейской, сбитой набок фуражке, с круглым и сонным лицом, со следами отпечатавшихся на щеке травинок, к нему поднимался с бруствера пограничной канавы объездчик Игнат Заваров. Игнат тоже был сапрыковский, Яшку признал и потому особенно строго и нравоучительно изрек:



— На чужой каравай рот не раз-зевай.

— Поглядеть, чай... а что ж тут, если я из любознательности, — пролепетал Яшка.

— А чего глядеть? Трава — и трава.

— А трава она ноне тоже хитрость. Не стало-ть трав-то... Вот и любо... Сена-то какие... Ай-я-я...

— Какие тут тебе сена?

— Да я так только... Предположительно. А вот тут чернобыльник завелся. Почистить али как...

— Не твоего ума дело, — неохотно, размеренно отозвался Игнат. — Нам чернобыльник не помеха.

— Дак ведь забьет, забьет...

— Науке все нужно, — вяло, будто показывая, что Яшке с его умишком все равно этого не понять, пояснил Игнат. — Науке что плохие травы, что хорошие.

Яшка поднял сухой ком земли, швырнул в суслика, любопытно и нахально разглядывавшего его с рассыпчатого холмика. Суслик сварливо заверещал, юркнул в дырку, мелькнув светло-желтыми подштанниками.

— И не швыряй, — наставительно и сурово сказал Игнат.

— Дак я суслика...

— Небось на столбе читал? Сказано: что произрастает и обитает на территории, охраняется законом.

— Какой суслик — закон? — усмехнулся Яшка. — Мы их на своем поле почем зря давим. А вы подбираете... Под закон приют даете.

— Давай, парень, налаживай лапти. — Игнат нахмурился, поигрывая крученой ременной плетью, пошлепывая ею о начищенную голяшку сапога. — Нечего мне с тобой попусту брехать. А то схлопочешь соли в штаны.

— А я канаву не переходил, — сощурился, скосив набок голову, Яшка. — На нашенской земле стою. А конь твой хрумкает запретную траву... А на столбе написано...

— Вот я те сейчас пропишу! — Игнат топнул по брустверу сапогом, в канаву посыпались комья.

Яшка отпрянул и пошел, опасливо оглядываясь.

— Давай-давай, чеши! — помахал вслед плетью Игнат. — Шляются тут...

Отойдя к придорожным тополькам, Яшка еще раз оглянулся. Игнат вразвалку, будто в морскую пенную волну, забрел выше колен в ковыли и ромашки и, тихо посвистывая, принялся ловить жеребца. Рослый, грудастый жеребец красивой буланой масти, со светлой рассыпчатой гривой поднимал из трав сухую морду, косился на Игната, откликался сдержанным радостным ржанием. Игнат подходил к нему с вытянутой рукой, и конь, то косясь на ладонь, тянулся к ней с опасливым любопытством, то, будто переду-



мав, взметывал шею, прижимал уши и бочком отходил, не даваясь, играя с Игнатом.

— Но, балуй мне, балуй! — добродушно сердился Игнат и вдруг, крупно шагнув, схватил повод, откинутый на луку. Конь приседал, рвал мордой, плясал, часто перебирая ногами, но объездчик легко, одним броском взлетел в седло и, будто сбросив лет пятнадцать, весь подобравшись, помахивая плетью в прямо отставленной руке, пустил жеребца размашистым галопом по невидимой со стороны степной тропе. И Яшка, затаясь в жидкой тени тополя, невольно любовался и конем и седоком, завидуя вольному Игнатову делу.

## 2

Игнат появился в степи лет пятнадцать тому назад, вскоре после демобилизации.

Побывав в Берлине с казаками, поглядев на вражье логово и снявшись на искромсанных ступенях рейхстага, Игнат о четырех медалях на бравой груди летом сорок пятого воротился в свою Сапрыковку. Еще издали увидел он родные кровли, но в деревню сразу не пошел, а, как бы отдаляя удовольствие, сбежал на луг под деревней, стащил гимнастерку, поплескался в торфяной копани, смыл дорожный пот. Улегшись на мягком ковровом кочкарнике как раз против своей хаты, он вдыхал знакомый кизячный дымок, долетавший из трубы, вглядывался в отчий плетень, в поникшие, затяжелевшие головы подсолнухов и, растравляя себя ожиданием, смотрел, не выйдет ли кто из хаты. Со двора в огородную калитку вышмыгнул огнисто-красный петух, кукарекнул, будто поприветствовал, и пошел на грядки — должно быть, клевать огурцы. Петуха этого Игнат не знал, видно, завели уже без него, но все равно было приятно глядеть и на петуха — как-никак тоже родственник.

— Погоди ж ты! — радовался Игнат. — Вот я тя...

Снисходительно, с теплой усмешкой думал Игнат и о своих стариках. Мать небось топит печь, раз дым из трубы. Отец тюкает топориком махру в деревянном корытце. И не знают, не ведают, что сын их Игнат, целый и невредимый старшина казачьего эскадрона Кременчугского, Белостокского ордена Суворова первой степени гвардейского имени Котовского кавалерийского полка, лежит у них перед самым носом. И стоит только ему, Игнату, подняться и перелезть через плетень, как в доме и во всей Сапрыковке начнется великий переполох.

Обмахнув вересковым пучком легкие старшинские сапожки, сшитые ему на заказ полковым сапожником, он достал из чемодана шпоры, приладил, обдергал гимнастерку и, предвкушая столпотворение, суматоху, пошел по приседающим под ним кочкам к огородному плетню.



Все вышло так, как и хотелось Игнату. Мать заголосила, обхватила сухими руками его шею, бессильно повисла, уткнувшись в пальцем виском в Игнатовы медали.

Сестренка Нюська, вытянувшись за эти годы, с робкими пырышками груди, онемев, глядела из-за двери на брата, потом, точно опомнившись, шмыгнула из хаты, побежала в колхоз за отцом. Повалил народ — старики и бабы. Невесть откуда набилось полно ребятишек, босоногих, в выцветших и выгоревших рубашонках. Прибежал отец, протолкался к сыну, на ходу снимая кепчонку и крестясь. Запыхавшийся, со струйками пота в седых висках, сел с Игнатом рядом на лавку и тут же трясущимися, непослушными пальцами стал крутить сигарку, будто затем только и бежал, чтобы закурить. Игнат обнял его за плечи и, чувствуя под пальцами худое, невесомое тело, проникаясь доброй, снисходительной теплотой к старику, на секунду привалил его к своей груди.

— Ну, батя, как жизнь?

— Дак как. Вот дождался. Вся тебе и жисть...

— Ну-ну... — Игнат щелкнул трофейной зажигалкой и уважительно, под ревностными взорами окружающих поднес отцу огонька.

Меж тем мать в окружении баб уже затеяла на кухне стряпню. На всю кухню запахло мокрым горячим паром. Разомлевший от духоты, Игнат протиснулся к ведру с колодезной водой. Напившись из старого, с детства еще памятного медного ковшика, постоял над корытом, у которого присевшие на корточки бабы ощипывали кур. Мать сноровисто обдергивала ошпаренного кочета, того самого огненного петуха, что давеча первым выбежал навстречу Игнату и голосисто приветствовал его.

— Откукарекался, — усмехнулся Игнат.

— Да уж все огурцы издолбил, — с радостной готовностью отзывалась мать. — Не чаяла, как избавиться.

Кто-то принес бутылку самогона, к ней донесли другую, натащили соленых огурцов, капусты, у кого что нашлось на скорую руку. Игнат, со своей стороны, выставил две бутылки припасенного спирта, достал кусок сала, селедку, и пошло накатываться, как снежный ком, веселье — до свету и от свету допоздна. Все перемешалось: и день и ночь. Игната поздравляли с благополучным возвращением, плакали по своим невернувшимся, зарытым — какой под Орлом, под Варшавой, а то и просто неизвестно где, — расспрашивали Игната, когда должны отпустить домой, ежели служит в артиллерии или еще где. Люди приходили и уходили, и только один Игнат сидел в красном углу бессменно, упрямо не покидая стола. Невыспавшийся, с оплывшим лицом, он чокался с вновь прибывающими, пьяно целовался, не выпуская стопки из руки, обнимал односельчан.

— А во — видели? — говорил он в который раз, беря со стола камень. — От самого рейхстага!..



— Скажи ж ты! — Бабы пугливо пялились, разглядывая обломок, и почему-то все до одной прикидывали его на ладони. — А вроде как обыкновенный...

На второй день на таратайке с железными ходами от плуга в передке подъехал Васюхин, сапрыковский председатель. Длинный, с пустым рукавом, желтым сухим лицом язвенника, выбывший из войны в самом ее неинтересном месте — осенью сорок первого, без медалей, — Васюхин уважительно и заискивающе глядел на целого и невредимого Игната и даже наперекор донимавшей его язве с охотой выпил с ним стопку.

— За благополучное возвращение — это можно, — радостно сказал он. — Это мне никто не воспретит.

— А вот это — видел? — Игнат подсунул обломок к Васюхину. — От самого этого самого...

— Пошабашили, значит.

— В пух и прах расколошматили! — Игнат захохотал и стукнул кулаком по медалям.

— Н-да... — Васюхин задумчиво повертел обломок. — Оно, сказать, и у нас кирпича набито порядочно. Ох и набито! И не только кирпича... Из нашей Сапрыковки за все годы почитай рота ушла. А возвернулись Захар Зуев, Ванек Чугунов да вот ты.

— Смертью храбрых, значит! Выпьем за смертью храбрых!..

— И в колхозе тоже, — сказал Васюхин. — Один трактор и семь пар волов осталось. На бабах до сево дня пашем...

— Ну, это все ерунда. Свои кирпичи... — Игнат, красный, потный, весь словно пропитанный хмелем, обнял, положил свою тяжелую лапу на остренькие плечи Васюхина, жарко и пьяно запел ему в шею: — И по камушку, по кирпичику...

— Да уж как-нибудь сообща залатаем... — закивал Васюхин. — Я небось больше отца-матери тебе рад.

Походив еще недели две по родным и знакомым, Игнат наконец выбился из сил и несколько дней отсыпался. Постепенно интерес к нему пошел на убыль. Мать больше не рубила к завтраку курицу, перевела всех до единой в первые дни приезда и теперь виновато ставила на стол пустой суп, заправленный черными шкварками лука, и неизменную картошку с огурцами. Отец пропадал на конюшне, и Игнат, вяло позавтракав, в томлении топтался по знойному, заросшему просвирником двору или, опершись о плетень с торчавшими на кольях жаркими, раскаленными на солнце горшками, в которых заунывно трубил ветер, смотрел на деревню. Глядел он на серо-пыльную дорогу улицы, безлюдную об эту пору дня, на унылые ряды соломенных крыш, не перекрывавшихся еще с довоенных лет, обветшалые, посеревшие от дождей, придавленные старыми боронами и лемехами, глядел на низкий, сырой луг в черных рябинах урезанного торфа, слушал кудахтанье кур, забившихся в



крапиву, в сухую жаркую тень от плетней и сараев, и поднималась в нем тяжелая и мутная тоска и раздражение...

Иногда он забредал к отцу в конюшню. В длинном приземистом сарае было сумрачно и пусто, тянуло гнилой соломой, било в нос крепким, как спирт, запахом застоялого, забродившего в духоте навоза. В косых столбах солнечного света, сквозившего в дыры на крыше, носились и зудели бронзово-зеленые мухи. Игнат, в начищенных сапогах, празднично-брезгливо пробирался по истыканному копытами вязкому проходу, заглядывая в пустые стойла, на которых остались еще дощечки с кличками когда-то стоявших здесь лошадей. Теперь в конюшне ютилась вся колхозная живность: несколько коров, десятка два овец, семь пар волов и единственная лошадь — председательский мерин. Но днем конюшня была пуста, скотина паслась или работала, лишь в одном стойле лежал, уткнувшись мордой в пах, с намазанной дегтем холкой мослатый большерогий вол.

В каморе с узким длинным оконцем и кой-какой сбруей на деревянных гвоздях отец, сутулясь, ковырял шилом хомут. Игнат присаживался рядом на ракитовом чурбаке, оба закуривали и молчали.

— Для чего хомут-то? — спрашивал Игнат.

— Как — для чего?

— Лошадей-то нет.

— Жив живое гадает. Про запас. Все равно так сижу. До вечера.

Игнат сосредоточенно дымил сигаркой, пуская струю себе в сапоги, оглядывал нехитрый упряжный скарб каморки...

— Вот у мадьяров хомуты... Серебром отделаны. И с рогом. На каждом хомуте рог торчит.

— Рог-то для чего?

— А так... Для красоты... И скрипки любят. Как цыгане. Усы почти у всех. А сало — крашеное. И хлеб белый. Круглыми ковригами по полпуда. Огромные рундуки, там овес... А в овсе — сало и коврига. А то и сливянки перепадало... Крепкая, зараза.

Игнат хотел было рассказать, как он выменял у одного поляка за десять тысяч таблеток сахара турецкого жеребца. Поляк тот у одного графа кучером был. Граф с немцами бежал, а жеребца бросил. Весь кипенно-белый, со змеиной шеей и злыми фиолетовыми глазами. И как потом он, Игнат, гарцевал на нем, когда проходили города, и как полячки забрасывали эскадрон тюльпанами. А одна, особо выделив Игната, подбежала и воткнула в стремя белую яблоневую ветку...

Но, вспомнив, что обо всем этом уже рассказывал, Игнат вздыхал и, скучая, поглядывал в оконце, за которым пустынно голубело выцветшее сапрыковское небо. И опять ему становилось невмоготу тоскливо. В такие минуты он чувствовал себя не просто демобилизованным, а выбитым из седла, несправедливо разжалованным,



как-то сразу потерявшим свою старшинскую власть, чин и все привычные привилегии.

— Ну, я пойду, — бросал он, вставая.

— Зашел бы к Васюхину, — говорил вслед отец.

— Зачем?

— Наказывал, чтоб зашел. Может, дело какое?

— Какое у него дело? Сам на железных ходах ездит...

По вечерам, позвякивая шпорами, с резной ивовой тростью Игнат шел на деревню, выпивал где-нибудь самогонки и, уже подвыпивший, повеселевший, вваливался на девчачий пятачок. Собирались обычно возле сельсовета. Сельсоветский сторож Леонтий приносил с собой на ночное дежурство старую, залатанную ливенку, и вокруг него собирались позоревать ребятишки, девки и бабы. Игнат беспечно балагурил, плясал, иногда, разойдясь, посылал ребятишек на огород за огурцами и, подбрасывая один за другим огурцы высоко над головой, вдрызг разбивал их тростью, обдавая всех огуречными семечками.

Ребятишки млели перед Игнатовой ловкостью.

— Это что! — говорил он небрежно. — Вот бы шашку. Рубал бы на заказ: кому на скибки, кому от пупка до хвостика.

— И не надоело тебе шашкой-то махать? — говорил дед Леонтий.

Игнат хмыкал.

— Теперь, знай, косу вострить надо.

Под осень заезжие плотники подрядились сладить обветшалую конюшню. Игнат сошелся с ними, бегал для них за самогоном, а когда пошабашили, ушел с бродячей артелью в город. Где он пропал потом, никто не знал, только через год Васюхин, проезжая мимо, встретил его в степи — с ружьем и в седле.

— Стало быть, в городе не понравилось? — спросил Васюхин.

— А! — Игнат неопределенно махнул рукой.

— Промеж городом и деревней обосновался?

— Опять в казаках!

— Что ж фуражка-то не казачья?

— Ту потерял. Вот новую купил в военторге.

— Дак эта ж летчикская, — заметил Васюхин, поглядев на голубой околыш.

— А! Хрен с ней! Дело не в фуражке, а — что под фуражкой, — усмехнулся Игнат. — Так, что ли, земляк?

— Так-то оно так...

— А ты все на железных бегунках катаешься? Поди, тряско?

Васюхин не ответил, тронул вожжи.

— Так что кланяйся отцу с матерью, — уже вслед Васюхину сказал Игнат. — Передай — мол, опять в казаках. А я как-нибудь наведаюсь.



## 3

С той поры уже пятнадцать раз по весне степь зацветала сон-травой и пятнадцать раз, отковылившись, бурела и замирала под снегами.

За это время ушла из Игната дурашливая бесшабашность прежних лет, когда он, бывало, подвыпив, особенно на праздники, устраивал для сотрудников заповедника — ботаников, почвоведов и студенток-практиканток — «рубку лозы»: натыкал вдоль степной дороги ракитовых шестиков с пучками травы и, лихо гикнув, припав к коню, пускался поддевать их и сбрасывать через себя самодельной деревянной шашкой. Ботанички смеялись до слез и в знак восхищения его удалью надевали на разгоряченную Игнатову голову холодный венок из одуванчиков. По вечерам на центральной усадьбе танцевали под трофейный итальянский аккордеон или играли в волейбол. Игнат тоже пристраивался и все норовил попасть кулаком по мячу изо всей силы. Ботанички принимались обучать Игната правилам, и ему льстило, что эти ученые барышни, диковинно тоненькие, в узких наглаженных брючках, похожие на полек, которые осыпали его эскадрон цветами, обращали на него внимание. И вообще против сапрыковской жизнь здесь в степи была не в пример интереснее.

Вскоре, однако, Игнат соблазнил-таки «рубкой лозы» здешнюю кассиршу. Для молодых устроили свадьбу с речами, тостами и подарками и даже выделили комнату в только что отстроенном коттедже. Но жить у всех на виду Игнату быстро надоело, и он попросил разрешения поселиться отдельно.

Для жительства Игнат облюбовал глухой лесистый лог на краю степи, поросший дубняком, дикими грушами и лещиной. Когда ходил выбирать место, спугнул волчий выводок и выстрелом из ружья уложил матерого.

— Хватит, пожил. Теперь я тут жить буду, — посмеялся Игнат, подняв за хвост взъерошенного зверя.

Срубил крепкую дубовую избу, выложил камнем погреб, на вольные сена завел корову, поставил во двор казенную лошадь, купил батарейный приемник, индюков расплодил... Все пошло своим чередом. Приосанился, посолиднел. Однако по старой привычке по-прежнему носил военные фуражки. Фуражки и теперь были его страстью, он перепробовал все рода войск и, хотя чуб его давно вытерся до звонкой арбузной плешки, носил их с фасоном, свалив на левое ухо. Фуражки придавали его калмыцкому лицу, багрово-глянцевому на скулах, вид внушительный и весьма административный. Мужики из соседних деревень давно уже почтительно именовали его Игнатом Степановичем.

Перекинув через плечо ружьишко, казавшееся за его широкой, заметно погрузневшей спиной игрушечным, он неспешно объез-



жал степь, глядел, чтобы не забредала скотина, не шастали за ягодой ребятишки и вообще чтоб не было никакого баловства. А укачавшись в седле и притомившись на солнцепеке, отпускал коня побродить и приваливался в тень подремать.

Иногда, особенно по воскресеньям, в степь наезжали туристы или так просто любопытствующие. Побродив по степи с экскурсоводами и наудивлявшись, они просили разрешения перекусить на лоне природы. Игнат выжидал, пока гости войдут в азарт, чинно подъезжал к компании и, не слезая с коня, предупреждал:

— Только прошу, чтоб все аккуратно. Бумажки, окурки...

— Конечно, конечно! Мы понимаем...

И почти всегда в таких случаях Игната приглашали перекусить.

— Благодарю, — степенно отказывался Игнат. — На службе. Никак нельзя.

Гости умилялись Игнатовой строгости к самому себе, наливали стопку, подавали в седло.

— Ну разве что одну... За знакомство.

Игнат запрокидывал голову, выпивал, благодарил, брал с протянутой вилки кружок колбасы и, еще раз предупредив, чтоб «все было в аккуратности», с достоинством отъезжал.

— А цветов можно сорвать? — спрашивали гости.

— По букету — это можно, — разрешал Игнат.

Выпадали и особенно урожайные дни, когда Игнат по стопочке «за знакомство» к вечеру набирался-таки порядком. В общем, служба была сносная.

Иногда Игнат наезжал в свою Сапрыковку, привязывал под окнами лошадь и с торжественным видом ставил на стол бутылку водки — выпить с отцом. Отец, теперь даже летом не вылезавший из валенок, выпивал самую малость, и Игнат потихоньку приканчивал всю поллитровку.

— Ну как вы тут живете-можете? — снисходительно расспрашивал он, подразумевая, что в сравнении с ним в Сапрыковке никто крепче не живет.

— Да как живем... — неопределенно говорил отец, глядя слезящимися глазами на корявые кисти своих рук, казавшиеся непомерно большими по сравнению с худеньким его телом, будто они еще продолжали расти и узловатеть. — Вот по Троице схоронили Васюхина. Царство ему небесное.

— Что так?

— Сгорел мужик. Не поест, не поспит вовремя. Все мотался по полям. Думал поскорее сладить дело. А выходит, одной-то жизни и не хватило.

— Другого дадут, — успокаивал Игнат. — Свято место пусто не бывает.

— Дак больно душевный был Иван-то. Жалко.



— Кого теперь метят?

— Дак кого... Чепляют нас теперича к Алябьевке. И Сосновку туда же. Ихний и будет теперь над нами. Теперь мода на укрупнение пошла. Сказывают, и другие деревни так же одна к другой лепят. Как бы не вышло: где широко, там и мелко...

— Стало быть, невесело живете.

— Дак пока плясать не из чего... Пока все гармонь ладим.

Игнат скучающе смотрел в окошко, на все тот же кочковатый луг в черных рябинах торфяных копаней.

— Что ж ко мне не заглянешь? — спрашивал он под конец. — Внуков бы поглядел. И вообще как живу.

— Теперя вот, видать, совсем к лавке прирос. Ноги не шастают... Свез бы — дак почему же не посмотреть.

— Свезу, — обещал Игнат. — На октябрьские.

Отец с первыми осенними дождями слег и вскоре умер. Похоронив его, Игнат все реже навещался в Сапрыковку, а когда мать уехала жить к Нюське в Кокчетав, свез старую хату к себе в лог, сладил из нее амбар и с тех пор больше в деревне не бывал.

#### 4

Весь этот день нещадно парило. По всему горизонту зыбился перегретый воздух, вместе с ним текла и струилась степь, а к полудню в белесом небе появились тяжелые гряды облаков. Казалось, вот-вот дело кончится оглушительной и разгульной грозой с ливнем, который снимет с земли тяжкое бремя удушья. Но, так ничем и не разрешившись, небо вскоре очистилось, облака скатились к востоку и там, потеряв свою пышность, слеглись над курганами в плоскую, длинно вытянувшуюся пепельно-сизую завесу. И только к ночи в той стороне стало глухо погромыживать. Показавшаяся было огромная багровая луна исчезла. Мгновенными вспышками далеких молний все чаще выхватывало из темноты тяжелые хребты поворотившей обратно, в степь, тучи.

Отпустив поводья, с бездумно приятным звоном в голове от выпитого вина, Игнат возвращался домой с объезда. Жеребец размеренно шлепал по мучнистой дорожной пыли, укачивая Игната в седле, и тот временами задремывал, по старой привычке чувствуя коня одними только коленями.

Иногда он поднимал голову и, поглядывая на острые конские уши, проступавшие из темноты при вспышках далеких молний, приятельски говорил жеребцу:

— А я, брат, опять нынче выпимши... Служба, брат, такая... А ты вот меня вези теперь... Потому как я тебя, стервеца, можно сказать, из смерти извлек. Была бы из тебя колбаса по рупь сорок с чесноком. А теперь ты как в царстве небесном... Никаких хомутов и трава до пуза. Понял? Ну и хозяин один...



Года три назад из соседних колхозов вдруг валом погнали лошадей. Из одного колхоза гонят, из другого. Заинтересовался Игнат, вышел на пограничную канаву спросить мужиков, что за оказия.

— Бумага такая пришла, — говорили мужики. — Чтоб гнать, стало быть, на мясо.

— У нас что ни год, то новые указы, — посмеивался Игнат. — То зайцов пускаетесь разводить, а теперь вот лошадей изничтожаете.

— А мы — что? Нам как скажут, — оправдывались мужики. — Говорят, что дармоеды лошади-то. Вот их за это и побоку.

— Худому плясуну завсегда свой зад мешает.

Выходил Игнат и в другие разы к канаве, приглядывался к лошадям, порешив воспользоваться удобным случаем и обменять у мужиков своего застаревшего мерина на молодого конька. Им-то что? Им все едино, лишь бы счет головам. Примеривался внимательно, по-хозяйски и выглядел-таки себе вот этого буланого, в ту пору еще не объезженного, дурашливого стригунка. Шел буланный за медленно катившими дрогами в табунке таких же молодых кобыл и жеребчиков, не подозревая, какая ему уготована участь, игриво гнул шею с коротко подстриженной, светлой гривкой, пружинисто и мягко вытанцовывал высокими, еще не стоптанными восковыми копытцами — гибкий и легкий, с нежно вздрагивающей при каждом переступе грудью. Шел, льня и ластясь к кобылкам, западал ушами и скалил чистые зубы на соперников, дружков и сотоварищей по луту, по вольной ночной пастьбе, а мужик, сидевший в дрогах, время от времени досадливо хлестал молодняк кнутом:

— Ну разыгрались тут!

Погонщик, оказавшийся сапрыковским конюхом Иваном Чуновым, даже обрадовался, когда Игнат предложил ему обмен.

— Выбирай любого, Игнат Степаныч. Все едино в распыл пойдут. Игнат обошел коней, присматриваясь.

— Бери вон этого, со звездой. Отец его полторы тонны возил, как машина. И без поломок, не пробуксовывал, лопатой не откапывали.

— Нет, мне порезвей бы... Под седло чтоб.

— Бери под седло.

— Буланого возьму, — решил Игнат, но все еще продолжал шарить глазами по стригунам: не прогадать бы.

— Буланого так буланого, — одобрил Иван. — Войдет в лета — зверь будет конь.

Игнат достал специально припасенную бутылку перцовки, отъехали в сторону, выпили прямо из горлышка.

— Говорят, теперича всё машинами будем делать, — заговорил Иван, сразу охмелев и слезливо заблестев глазами. — А я так скажу: конь машине не помеха, а, наоборот, подмога. Машина машиною, а конь завсегда исправен и на мази. Вдруг развезет, носу не



кажи, или завьюжит. Да и по мелочам, по деревне — торфу воз, мешок ли на мельницу, картошку выпахать. Семьсот дворов в колхозе — на каждый машину не напасешься. Так ведь, Игнат Степаныч? Рассуди?

— Им с горы виднее, что делают.

— И опять же, уж больно жалко лошадей-то. Корову не жалко, свинью. Этих и сами били, и возить возили живым весом. А лошадь в жисть никто не трогал. Лошадь ведь!.. Как бумагу-то получили, чтоб, значит, в распыл, мужики весь день на конюшне колготились: глядели, какую свести, а какую приберечь. Выведем на свет, глядим-глядим, да и опять поставим. Жалко! Этак раза по три каждую выводили и заводили. Поначалу наскребли десятка полтора, каких постарее да если где подшиблена. А теперь вот и до малолеток добрались, потому как звонят, укоряют.

Игнат курил, глядел на выбранного жеребчика и, уже считая его своим, любовно примечал, как тот бойчится, задирается с одногодками.

— А жеребчик пусть у тебя, Игнат Степаныч. Это я с радостью. Во степу пусть гуляет. Была б моя воля — всех бы тебе отдал. Дети ведь еще... Вот и балуются, как дети малые... Эх!

Игнат, сняв седло, пристегнул своего мерина к телеге и отвязал буланого. Телега тронулась. И долго еще буланый рвал из рук Игната повод, останавливался и тревожно, тонко ржал вослед пылившим по дороге лошадям, не хотел отделяться от товарищей.

Конь, как и прочил Иван Чугунов, на вольной степной траве, под хозяйской рукой получился добрый, и Игнат баловал его и холлил, любя ревнивой цыганской любовью.

Между тем гроза обкладывала степь широкой огненной подковой. Глухо, настороженно темневший восток где-то по ту сторону плотной завесы внезапно вспыхивал на полгоризонта, мгновенно становились видны аспидно-синие хребты тучи, на мертвенно-призрачной, белесой от ромашек плоскости степи черным разломом прорезалась дорога, будто в этом месте треснула земля и разошлась, раздвинулась глубоким провалом. Потом все снова тонуло в глухом, беспросветном мраке, и уже в темноте тягуче прокатывался запоздалый гул грома.

Игнат, однако, не торопил коня, ему даже нравилось вот так одному ехать под громами, чувствуя себя в этот поздний час единственным властителем заповедного степного царства. Правда, в степном этом мире, кроме него обитали еще и другие, но у тех было свое дело, которое они называли наукой, а у него свое — объезд. Заповедных сожителей Игнат не принимал всерьез и про себя думал о них снисходительно и скептически. Вся их наука казалась ему детской игрой: то они, протянув через кусок степи рулетку, высчитывали, сколько на ее протяжении встречается злаков, а



сколько белых и красных клеверов, то детским совочком выкапывали какие-то корешки и, чему-то радуясь, укладывали их в папки, а то набирали в пробирки землю и потом у себя, на главной усадьбе, долго разглядывали ее под микроскопом. Люди они были вежливые, к Игнату относились уважительно, ничем ему не докучали, тем более что свою службу он нес исправно, со строгостью, без какого бы то ни было панибратства даже с мужиками из своей Сапрыковки.

Игнат дремотно прислушивался к далеким раскатам грома и лениво думал о том, что ночь нынче будет тоже жаркая и душная, что в хату он не пойдет — блохи, да и жена заругает, а лучше всего спать ему в сарае на сеновале, где никаких блох и где духовитый воздух от свежего сена и хорошо протягивает сквозняком в чердачное окно...

Жеребец вдруг остановился, и задремавший было Игнат поднял отяжелевшую голову. Под конем заплескалось, запахло взбитой пылью и теплым пивным запахом конской мочи. Ленясь слезть с коня, он и сам помочился — прямо из седла. И, справив нужду, ощущая под рукой теплую, вздрагивающую от прикосновения холку жеребца и проникаясь к коню дружеским расположением, добродушно сказал:

— Во... А теперь, брат, давай покурим.

Он полез в галифе за папиросами, но вдруг насторожился, задержал руку в кармане. Повернувшись в седле, вытянул в темноте голову, прислушался.

Справа, из душной, туго натянутой тишины явственно донеслось: ж-жик... ж-жик...

— И-и... — в неожиданном замешательстве потянул Игнат горлом воздух, и враз взмокло у него под фуражкой темя. — Косят!

Наливаясь яростью, он бесшумно свалился с коня, зашарил руками у края дороги, нащупал куст чернобыльника, сгреб его снопом, захлестнул вокруг повод, чтобы жеребец никуда не ушел. Дождавшись, когда между грозových раскатов снова осторожно завжикала коса, все еще не веря и удивляясь этому звуку, Игнат определил направление и, крадучись, ступил в траву.

— Ах мать твою... — бормотал он, по-петушиному пригнувшись, вытянув шею и прокрадываясь по рослой густой траве. — Ах ты зараза! Косит!

Небо полыхало, на миг мелькнули перед Игнатом седые космы ковылей, и ему вдруг почудилось, будто увидел он сразу несколько человек, рассыпавшихся по траве.

Он упал и затаился. Часто дыша в липкую паутину ковылей, стал соображать, что ему делать. Выждав молнию, сторожко высунулся из травы: перед ним чернели метелки конского щавеля, которые он принял за людей.



«Померещилось...» — подумал он. Но тут же явственно донеслось: ж-жик... ж-жик...

— Нет, косят. Один косит... — определил Игнат, прислушиваясь. — Где же ты есть?

Пробежав несколько шагов и остерегаясь, как бы его не увидели, он при очередной вспышке снова упал в траву. Грохнул оглушительный, разломистый раскат грома. Игнат тотчас подскочил и, пока грохотало, перекатывалось из конца в конец неба, пользуясь наступившей темнотой, сделал перебежку. Снова присел, затаился, дожидаясь света, нетерпеливо вытягивая голову поверх трав. И когда небо пронизали сразу в нескольких местах пучки молний, увидел впереди себя, шагах в тридцати, темную фигуру косца, увидел в его руках белое, новое, недавно выструганное косье.

— А-а, сволочь! — злобно обрадовался Игнат. Примериваясь, как его взять, как налететь сзади и заграбастать поперек вместе с руками, чтобы не успел замахнуться косой, Игнат, весь напрягшись, изготовившись к прыжку, привстал, но вдруг в тишине залившимся, протяжным ржанием его позвал жеребец. Косец, выхваченный молнией, замер, лицо его, мертвенно-голубое, с черными провалами глазниц, было повернуто к Игнату, но тот не успел разглядеть, как тотчас, поглощенное темнотой, видение исчезло.

— Будь ты неладен... — обругал Игнат нашумевшего жеребца, вскочил на ноги и побежал, тяжело давя траву и уже не стараясь пригибаться. И когда степь снова полыхнула, увидел, как впереди верткой серой мышью улепетывал косец.

— Сто-о-й! — закричал Игнат. Запнувшись о что-то, с размаху грохнулся на землю, нащупал рукой мешок, туго набитый травой. — Стой, паразит! Стрелять буду!

Ружья в этот раз при нем не было, и он, досадуя, что нечем пальнуть, напрягая все силы, стервенев, пустился вдогонку, засекая в мгновенных вспышках мелькнувшую перед ним призрачную фигуру, чтобы гнаться потом за нею в темноте по памяти. Косец и не думал останавливаться на окрики, и Игнат, загораясь неукротимым охотничьим инстинктом, яростной гончей жаждой догнать во что бы то ни стало, хрипло подбадривал себя, до боли сжимая кулаки:

— Ну, поймаю... Ну, поймаю...

Почувствовав, что его догоняют, косец заметался, запетлял по степи, появляясь при внезапном свете в неожиданных местах и своей заячьей верткостью еще больше распаляя Игната. Наугад прикинув, куда должен на этот раз вильнуть беглец, Игнат скакнул наперерез и чуть не столкнулся в кромешной тьме с мужиком.

— Ну... Вот он... я-а-а! — запаленно и вызывающе заверещал мужик.

Игнат молча с разбегу ударил его давно стиснутым и занемевшим от налитой свинцовой ярости кулаком в голову. Мужик ойк-



нул, и Игнат, не давая ему опомниться, торопливо навалился на него, как на недорезанного барана. Чувствуя под собой хлипкое тело, не способное всерьез сопротивляться, он стал поспешно ловить его руки, захватывая вместе с руками траву, сгоряча выдирая ее с корнем. Мужик, придавленный к земле, колотил ногами. Игнат сел ему на ноги, сдернул с живота ремень, обхватил мужика, как вязанку хвороста, ремнем, туго застегнул, заломив ему за спину руки.

— Бо-ольна-а! — заскулил мужик, уткнувшись лицом в траву.

— А-а, п-пара-зит, — злорадно прохрипел Игнат, еще не отдышавшийся от бега. — Знал, куда шел, а? Знал, что делал?

— Бо-льна-а! — стонал мужик. — Ногам больна-а... Не сиди...

— У, ворюга! Да я из тебя душонку вытряхну! — Игнат сгреб в кулак пиджачишко на груди мужика и остервенело потряс.

Голова мужика безвольно заболталась, ударяясь об Игнатово плечо.

— Все равно ведь прахом, — заскулил из темноты мужик. — Через месяц дожди... Снега покроют... Ежели б я в мае...

— Не твое — не тронь! — отрезал Игнат.

— Не тронь?! — вдруг взвизгнул мужик. — А где мне косить? Где? Луга позапахали, в колхозе без сенов бедуют. Пасти негде, косить нечего... А у меня их пятеро, окромя самого да бабы... Я и так по болоту по горло с косой... Осоку да хмызу... Оттого и ревматизма... А ты на ноги сел... Да еще кулаком...

Игнату почудилось, будто где-то он уже слышал этот голос, хотя не мог припомнить, где и когда... В деревне он давно уже не бывал и даже с прежними своими дружками не водился. Разве что иногда, встретясь у канавы, перебросится парой слов.

Мужик замолчал.

По степи внезапно пронесся горячий, перемешанный с брызгами близкого дождя ветер. В черной утробе тучи, уже заслонившей полнеба, вдруг сверкнула слепяще белая молния, распустилась огромным, сучковатым, корявым деревом и на миг задержалась, четко проступив на черном небе каждой веткой. Сухо, оглушительно треснуло, будто дерево это, надломившись, полетело из поднебесья вниз маковкой и тяжело, обламывая сучья, грохнулось о землю где-то совсем поблизости. В темноте испуганно заржал Игнатов жеребец, и от дороги донесся торопливый топот. Игнат догадался: жеребец вырвал куст и поскакал ко двору.

Степь глухо, прибойно зашумела растревоженными травами. В мертвенном свете новой вспышки всколыхнулись, заметались вокруг Игната ромашки. Игнат взглянул на мужика и увидел его скорченного, судорожно вздрагивающего в беззвучном плаче.

— А ну ты! Пошли, хватит! — прикрикнул Игнат. — Меня слезами не возьмешь. Знаем мы...



Мужик не отозвался, и тогда Игнат, матерясь, схватил его за ремень, рывком оторвал от земли и, как сноп, поставил на ноги.

— Думал: гроза, нету Игната? — злорадствовал Игнат. — Что — выкусил? Вот закатаю, паразита, под статью...

— На, веда, веда! — бабьим голосом, визгливо вскрикнул мужик и дернул связанными руками. — Веда! Я и сам пойду. Пойду и скажу... На суде скажу! Перед всем людом... Сам ты паразит, Игнатка!

— Давай-давай, топай! Огрызайся мне! — Игнат подтолкнул мужика в лопатки.

Тот пробежал несколько шагов, остановился и вдруг пошел на Игната.

— Я не бёг... Не бёг... — кричал он, подступая к самому лицу Игната. — Я с колхозом жил. Хорошо ли, плохо, жил... Помогал... Все делал... Моего поту там полито.

— И там воровал.

— Нет, брешешь... Былки не тронул... А ты...

— Что — я? — усмехнулся Игнат.

— А ты — убёг... Укрылся... В овраг спрятался... А только от людей не спрячешься. Люди видят твою жизнь... Наблюдают, какой ты есть...

— Что люди видят? — заорал Игнат. И, зверея, ткнул мужика в грудь. — Что твои люди видят? Говори, гад, что за мною видно? Ворую? Чужое хапаю?

— Сам ты гад! — отчаянно выкрикнул мужик, и опять в его голосе Игнату послышалось что-то знакомое. — Мне теперь все равно. Бей! А только гад ты и есть. Канаву перебёг и спрятался... Как серая козюля, под закон...

Пальцы Игната сами собой стиснулись в кулаки.

— А теперича мы тебе не товарищи! — кричал мужик. — Разве ты степь стерегешь? Ты себя стерегешь... Свое житье... Власти над собой не знаешь... Сам на других покрикиваешь... Кому дозволить, кому не дозволить. Ружьем на своих грозисси... Логово свое в овраге ружьем оберегаешь...

Жарким толчком кровь ударила в виски Игната. «Ведь ушибу, враз ушибу... как клопа...» — поостерег себя Игнат, белея от выкриков мужика.

— Волк ты овражный, вот ты к...

Не помня себя, сам не ожидая того, только безнадежно, с сиплым придыхом вскрикнув: «А-эх!», Игнат из-под низу сунул кулаком в темноту. Под кулаком хлопнуло, мужик, захлебнувшись какими-то словами, опрокинулся и исчез под ногами в шумящей траве.

— Я вам догляжу!.. — дрожа плечами, ярился Игнат.

Лил крупный, косой, шквалистый дождь. Игнат и не заметил, как он налетел. Тяжелые, будто свинцовая дробь, капли стегали его по голому вспотевшему темени.



— За мной нечего доглядать... Судья нашелся.

Поискав оброненную в схватке фуражку, Игнат напялил ее и, успокаиваясь, обтер лицо ладонью. Мужик больше не кричал. Он словно растворился в хлюпающей темноте. Вытянув ногу, Игнат пошарил ею перед собой, нащупал лежащее тело, пнул сапогом.

— Ну ты... — окликнул он.

Мужик не отозвался.

Игнат подумал, что следовало бы составить акт о потраве... Но как его составлять, когда льет и темень... Придется тащить потравщика на главную усадьбу и запереть до свету... И опять же, как его тащить такого? А ежели сильно харю расквасил или какие метины? Кричать станет: ударил, мол. И пускать жалко...

Дождь шквалисто шумел, стегал траву, полыхало и грохотало небо, Игнатов гимнастерка промокла, текло по расстегнутой груди. Он еще раз нетерпеливо пнул мужика сапогом:

— Ну, поднимайся. Хватит дурака ломать. Попался.

Мужик не колыхнулся.

Игнат присел перед ним на корточки, скользнул рукой по намокшему пиджаку. Под пальцы попало теплое мокрое горло. Игнат почувствовал, как судорожно вздрагивал костистый кадык. Брезгливо отдернув руку, Игнат отстегнул и вытащил из-под мужика свой ремень.

— Притворяйся мне... — прикрикнул Игнат. — Не будешь зря гавкать...

Мужик не отвечал.

Досадуя, Игнат сумрачно, нетерпеливо глянул в темноту — вправо, влево, в ревущую стену дождя, потом достал коробок, согнувшись, запалил спичку в неприятно дрожащих после удара ладонях, поднес к мужику. Спутанные мокрые космы закрывали его лицо до самых ноздрей. Из разбитого, изуродованного рта пузырилась кровавая пена. Дождь тут же размывал кровь, и она мутной жижей стекала по морщинистой щеке.

— Сам на рожон попер, — пробормотал Игнат.

Он запалил новую спичку, пальцем скосырнул со лба мужика налипшие волосы, посветил в самые глаза. В сморщенном, безумном, недвижно запрокинувшем свою маленькую усохшую голову мужику Игнат, невольно вздрогнув, признал сапрыковского дурачка Яшку.

Отдернув спичку, он гадливо отстранился.

«Ужли ушиб? — мелькнул вдруг брезгливый испуг. Но тут же успокоил себя: — Да не... не должно... Кадык-то телепается...»

Застегнув на животе ремень, Игнат осторожно отошел от дурачка. И, еще раз оглянувшись, крадучись, будто его могли увидеть в этом ночном ливне, пошел прочь...



— С дураком свяжешься — сам дурак будешь, — бормотал Игнат, испытывая гадливое чувство, будто нечаянно раздавил клопа и теперь все время чуял его ядовитую вонь. Он шел по колено в тяжелой от дождя траве, и в его ушах неотвязно стоял Яшкин крик. Припоминая все, что кричал ему Яшка, думал, что для Яшки слова эти были не так уж полоумны: связно кричал...

— Моду взяли во степу косить, — успокаивал себя Игнат. — Дурак-дурак, а воровать соображает... Да еще орет... Огрызается... Мне слово никто по службе не сказал... А они — доглядать за мною...

Дождь шумел, подталкивал Игната в спину, гимнастерка студено обхватывала тело, в сапогах чавкала вода, сбегавшая со штанов в голяшки. Косые зигзаги молний то здесь, то там втыкались в равнину, и на мгновение становились видны стремительные нити дождя, густо обступившие Игната, будто кто-то невидимый поспешно вколачивал на его пути прямые стальные прутья.

«Отойдет... дождем отмочит», — опять подумал Игнат о Яшке, тревожно прислушиваясь к степи после каждого раската грома: не бежит ли Яшка, поняв, что его отпустили...

«Ждет небось, пока отойду подальше...»

Он шел, машинально убыстряя шаги, в ту сторону, где, как ему казалось, должна была быть дорога, и все прислушивался, спиной чувствуя позади молчаливое Яшкино присутствие. Неприятное ощущение от оставленного в степи дурачка толкало его прочь, подальше от того места.

«А что, если пришиб?» — вдруг первый раз не на шутку испугался Игнат. Перед ним предстало в мокрых ковылях под ногами сморщенное, безусое, безобразно окровавленное Яшкино лицо с налипшими на глаза волосами, и он, сам того не замечая, вдруг побежал.

«На суде скажу... Перед всем народом...» — вспомнил Игнат Яшкины слова. — Накаркал, дурак... Вот тебе и суд теперь...»

Он бежал, пробиваясь к дороге, но ее все не было, и, поняв, что сбился, он стал забирать правее. Но трава показалась ему выше, чем была, ноги, ощущая внезапную пустоту, сами побежали в какую-то низину, травы спутанными петлями охватывали ноги, и он, тяжело ломясь сквозь заросли, продирал их коленками. Ага-га-га-га-а! — злорадно и торжествующе прогрохотал над Игнатом гром. Выскочив из ложбины, он забрел по шею в жилистые, холодно брызжущие пригоршнями воды и липкими семенами бурьяны, яростно разгребая их, будто тонул в топком болоте, пробрался на открытое место и стал забирать левее, надеясь пересечь дорогу или какую-нибудь тропку. Но под ногами все путалась трава, и он, много раз уже поворачивавший то вправо, то влево, совсем перестал



понимать, в какой стороне должен быть его лог. Тяжело дыша, отирая ладонью лицо, Игнат остановился. Кровь гулко отдавала в висках, туманила глаза. Первый раз за все пятнадцать лет объездов Игнат не узнавал места, не знал, куда ему идти. И, не решаясь больше шагнуть дальше, боясь, что в любое мгновение может наступить на лежащего в траве дурачка, загнанно, по-волчьи ощерясь, он повел по сторонам втянутой шеей.

— Если что — ничего не знаю... А то — конец... Отказаковался. — И он вдруг явственно осознал, что все эти годы ждал каких-то неприятностей от Сапрыковки. — Вот оно...

Небо грохотало над Игнатом тяжкими обвалами, полыхала и шумела седая, вспененная степь, и казалось Игнату, что нет ей конца и краю, нет за ней ни дорог, ни деревень, ни людей...

1966

## ЗЕМЛЯ ЗАПОВЕДАННАЯ

Таня проснулась от того волнующего чувства радости, которое еще во сне румянит щеки. Всю ночь эта радость витала над ее горячей подушкой, тревожила какими-то неясными, неуловимыми грезами, от которых сладко заходило сердце.

Так она просыпалась по праздникам. Еще охваченная сном, ничего не понимающая, она открывала глаза в трепетном нетерпеливом ожидании чего-то. И вдруг по какому-нибудь предмету, по первому бросившемуся в глаза штришку — новое ли выглаженное платье на спинке стула или разбитый елочный шарик на столе — мгновенно вспоминала: «Ой, да ведь сегодня же Новый год!»

Сначала Таня никак не могла понять, где она находится. Она лежала на стареньком, продавленном диване, в глубине которого при каждом ее движении, жалобно и тонко, перезванивались пружины. Письменный стол был завален книгами. На книгах у окна сидел пушистый дымчатый котенок. Поводя острыми ушками, он следил, как дождевые струи текли по стеклам. Изредка он вскакивал и осторожно прикасался пушистой лапкой к юркой водяной струйке, сбегавшей по другой стороне стекла. Таня улыбнулась этой детской забаве котенка, перевела взгляд на дверь и вдруг увидела у порога свой потертый студенческий чемодан. И сразу все вспомнилось: «Да ведь я же в Стрелецкой степи!»

Вчера утром Таня распрощалась с Москвой, с опустевшим на лето университетским общежитием на Ленинских горах, а вечером, вскоре, как только миновали Курск, она сошла на темное шоссе рядом с указателем государственного заповедника. Здесь она должна пройти свою первую практику.



Кто-то из местных жителей вызвался проводить ее до конторы. Они шли темной выбитой дорогой. Впереди, среди черной стены деревьев, перемигивались огни усадьбы. А дальше, за островком посадок, лежала непроглядная ночь. Где-то там распласталась во всю свою богатырскую ширь загадочная заповедная земля. О ней Таня много слышала в университете от профессоров, изучала по программе, читала различные отчеты и труды. И все — и устные рассказы, и печатные тексты — волновало воображение будущего геоботаника. Но видеть степь не приходилось.

Контора заповедника оказалась закрытой. Сторож проводил девушку на квартиру научного сотрудника Петра Вениаминовича. Ее напоили свежим парным молоком и уложили на этом самом диване. Она долго не могла уснуть. Сознание, что где-то рядом, сразу за окном, начинается та самая, никогда не паханная степь, под копытами которой, быть может, и до сих пор сохранились следы копыт Игоревых полков, волновало ее. Думалось о предстоящей встрече со степью, об увлекательной работе, о дальнейшем жизненном пути, таком еще неясном, но полном молодых и светлых надежд и веры. С этим взволнованным ожиданием встречи со степью Таня и уснула.

То неосознанное чувство радости, с которым она только что открыла глаза, наконец обрело осязаемую ясность. Но от этого праздничное настроение нисколько не изгладилось. Таня соскочила с дивана, быстро перебежала босиком комнату, схватила котенка, прижала пушистый теплый комочек к шее. Потом, выпустив котенка, стала торопливо одеваться.

— Что так рано? — В дверях стояла хозяйка, полная пожилая женщина, со свежими огурцами в переднике.

— Ой, что вы! Я и так все проспала! — ответила Таня, выкладывая из чемодана книги, папки для гербария, линзу в черной оправе и маленькую лопаточку. — Ведь Петр Вениаминович без меня в степь ушел.

— Еще успеется. Да и какая нынче степь? Вон как раздождило! А Петр Вениаминович сейчас придет.

К завтраку Петр Вениаминович действительно вернулся. Он снял в передней негнувшийся брезентовый дождевик, вытер носовым платком седенькую бородку и вошел в комнату, по привычке зябко разминая длинные, тонкие пальцы.

Это был старый сутулый человек в черном сюртуке и полинялом галстуке. Галстук по давнишней, еще университетской привычке, трогательно висел на худой шее, заросшей редкой белой щетиной. На носу поблескивали чистые хрусталики пенсне. Сквозь них доверчиво и кротко, с какой-то детской готовностью поглядывали карие глаза под клокастыми белыми бровями. Петр



Вениаминович почтительно, по-гимназически, поклонился Тане и сел к столу.

— Кажется, проясняется, — сказал он. — Только жаль, что ковыли намокли. Отчего же, милая Таня, вы раньше к нам не приехали? Скажем, в мае. Сейчас в степи последний интересный аспект. Чтобы степь узнать, полюбить — нужно время.

— Я только позавчера получила назначение, — ответила Таня. — А вы давно уже здесь живете?

— С самого начала. Еще вместе с профессором Алехиным хлопотали перед правительством оградить этот уцелевший уголок степи. Я все боялся, что и он исчезнет с лица земли. А ведь это такое сокровище для потомков! Теперь я могу умереть спокойно.

Петр Вениаминович долго рассказывал о назначении заповедника, о его научной и практической работе. Рассказывал он увлекательно, как может рассказывать, находить нужные слова и краски только влюбленный в свое дело человек. Таня с благоговением слушала и смотрела на старого ботаника, отдавшего всю жизнь незаметной, кропотливой работе, которая со стороны может показаться никчемной, такой далекой от грандиозных дел, с какими мы привыкли сталкиваться на каждом шагу кипучей жизни огромного государства. Но она-то сама, будущий ботаник, прекрасно понимала, какой это тоже огромный благородный труд и как он, вроде бы незаметно, исподволь подкрепляет общие усилия народа. И слушая, она все больше убеждалась в том, что избрала правильный путь.

— Что же я вам взялся лекцию читать? — улыбнулся Петр Вениаминович. — Вам в университете и без того их было достаточно. — Пойдемте лучше в степь. Оцените сами. Кажется, и дождик перестал.

Сквозь раздерганную вату облаков то там, то здесь прорывался чистый, процеженный солнечный свет. Было тепло и парко. Миновали служебные и жилые домики усадьбы, прятавшиеся под кружевом листвы, вышли за посадку, на открытое пространство.

— Ну вот, это и есть наша заповедная степь, — сказал Петр Вениаминович, поведя вокруг рукой.

Она начиналась у самых ног и уходила волнисто к горизонту огромным пестро-ситцевым полотном. Прошедший дождь освежил и подновил ее краски, растворил в мельчайших капельках, повисших на цветах и травах, все ее ароматы, и теперь она щедро и одуряюще цвела и благоухала. Влажные волны воздуха доносили душное дыхание степи. Пахло медом и полынью, мятой и напитавшимся влагой черноземом.

Тучи окончательно поределели и истаяли. Брызнувшие в синие промоины солнечные лучи бежали по степи вслед за прозрачны-



ми тенями облаков. Лучи, с разбегу зарываясь в мокрые травы, выхватывали и озаряли то желтоокие в белых чепчиках ромашки, то курчавые кружева цветущей таволжанки, то вдруг расплескивались золотом в купавах подмаренника. А по всему этому радостному разнотравью, будто стежки дорогого шитья, были рассыпаны серебряные ковыльные росчерки. Пройдет еще некоторое время, обсохнут на ветру, распушатся перья ковыля — и заходят по степи, заволнуются, все укрыв собой, сверкающие пенистые волны.

Сегодня степь надела самое лучшее свое летнее платье — легкое, светлее, радостное. Но у нее, как у разборчивой красавицы, много и других нарядных одежд. Ее никогда не заставишь в одном и том же. И к каждому наряду — особый аромат. Май она встречает золотисто-желтыми цветами адониса по нежно-голубому полю гиацинтов. А провожает май в бело-лиловом убранстве. Цветут белые анемоны и лиловые ирисы. К июню она одевается в голубое шитье, потому что зацветают незабудки. В июне она уже в наряде цвета распустившегося шалфея. Цвет густой, сине-лиловый. Степь одевается в тяжелый бархат, и кажется, что ей жарко в этой дорогой царской одежде. Она тут же беспечно сбрасывает величавую мантию и надевает светлое, ситцевое платьице, все в ромашках и ягодах земляники. И так оно, это платьице, к лицу, так подходит к легким перьям облаков на безмятежном июньском небе, к зыбким струям теплого воздуха у горизонта, к гуденью пчел на клеверах и ликующему щебету ласточек на заре вечерней! Именно такой ее рисуют на картинах и воспевают в песнях — облик родной земли. Но не родился еще художник или поэт, чтобы сполна воспеть безмерную ее прелесть, буйную силищу чернозема, бережно укрытого целым океаном цветения и аромата, и то волнение и отклик, и те мысли откровения и сыновнего родства, какие обуревают тебя здесь, у девственного порога.

Это удивительное чудо к нам пришло из глубин веков. Это не просто непаханое поле. Мысль о его распашке так же кощунственна, как была бы безумна мысль написать новую картину по нерукотворному холсту Шишкина или Поленова. Оно и само, как старинный холст, как народный эпос. Это та бесценная реликвия нашей истории, к которой нельзя прикасаться. Где-то, за межевой посадкой, по шумному Симферопольскому шоссе гулко мчится двадцатый век. Пройдет время. И рядом еще более торопливо побежит век двадцать первый. А здесь, за узенькой стежкой, по которой изо дня в день бесшумно, как по музейному коридору, проходит Петр Вениаминович, лежит нетронутое прошлое нашей земли. Прошлое, по которому можно ступить ногой, куда, сверкнув на солнце, упал и затерялся обломанный меч первых посягателей на эту землю. Прошлое, над которым в темном ночном небе, когда-то



мерцавшем звездами над Игоровыми полками, чертит свой удивительный путь искусственный сподвижник нашей планеты. Прошлое не ради прошлого.

Сюда, на кусочек девственной степи, оберегаемый государством так же, как хранится им все ценное — от каменного топора, вытесанного нашим предком, до фолиантов величайшей мудрости его потомков, — приходят люди, чтобы с помощью этого прошлого творить настоящее и будущее. Сюда идет историк и пылливо вглядывается в молчаливые шапки курганов, синеющих на горизонте. Там, на вершинах холмов, когда-то дымились костры, оповещая Русь о надвигающейся опасности. Приходит геоботаник и, беседуя с безмолвными травами, выпытывает их о грозных эпохах оледенения. Приходит композитор и тоже слушает травы, слушает могучее дыхание земли, и, может быть, все это выльется у него в великое, волнующее творение. Наведывается хлебороб, мнет в грубых пальцах тучную глыбу первозданного чернозема и также что-то взвешивает и гадает, озабоченно сдвинув брови. Тоже спрашивает у земли и трав ответа на свои думы, на свои замыслы, на свои планы об изобилии. Приезжает художник, пишет степь и ветер, облака и дымчатые дали или просто заимствует у красавицы-степи ее убранство и наряды для ситцев и шелков наших девушек-красавиц. Целой гурьбой приходят дети, которым все в диковинку и в радость. Их глаза разбегаются от цветочной кутерьмы, их головы утыканы перьями ковыля, а рты вымазаны земляникой.

Петр Вениаминович и Таня стояли у самого прибора оживших под ветром трав и молча смотрели в степь. Петр Вениаминович снял фуражку. Ветер ласково трепал его седые, похожие на переспелый ковыль волосы. Тот же ветер полоскал легкое Танино платье. Оно, разрисованное ромашками и васильками, казалось выкроенным из кусочка расстилавшейся перед ними степи. Они стояли — эти два понимающих друг друга человека: один — знающий в лицо каждую былинку, тысячи раз поклонившийся каждому цветку, другой — только загоревшийся мечтой прожить жизнь вот так же; один — глядя на степь с нежностью и грустью догорающего заката, другой — с радостью и восторгом восходной зари.

— Как хорошо! — наконец прошептала Таня. Она сняла тапочки и осторожно, будто в морскую волну, шагнула в травы. Хотелось бежать, смеяться, обнимать это уймище цветов, глотать до упоения густую пряную свежесть. — Как хорошо!

С этого дня Таня все время пропадала в степи. Она уходила туда на заре, и жене Петра Вениаминовича нередко приходилось разыскивать ее, чтобы загнать пообедать. Сначала Таня терялась перед неописуемым разнообразием форм и видов. «Как это все за-



помнить?» — удивлялась она. Но несколько практических уроков Петра Вениаминовича помогли ей разобраться во всей этой путанице. Они ходили в степь вместе. Старый ботаник брал с собой длинный шнур, натягивал его между кольями и заставлял Таню называть, запоминать и записывать русские и латинские названия растений, по которым проходил шнур. Постепенно она усваивала практические навыки, и даже карандаш и резинку носила на веревочке, как заправский естествоиспытатель. Порастеряв в травах уйму карандашей и резинок, она придумала привязывать их шнурком к уголку тетрадки. Рассказала о своем изобретении Петру Вениаминовичу и очень этим порадовала старика. Он все думал: догадается ли?

В перерыве между занятиями он непременно рассказывал ей интересные вещи из жизни растений. Сколько знал этот человек! Он, например, мог, лишь взглянув на цветы, почти точно определить, который час. Он знал, как и в какое время ведет себя каждый цветок. Он протягивал наугад руку, не глядя, срывал первый попавшийся стебель, и ему мало бывало часа, чтобы все сообщить об этом растении.

— А это вот — румянка! — подавал он Тане жестковатую метелку с темно-фиолетовыми цветками, разместившимися на верхушке стебля целой пирамидой. — Вы и не подумаете, что ваши прабабушки держали корни этой травы в шкатулках и комодах точно так же, как нынешние красавицы носят в сумочках помаду. И эти корни служили им исправно. Помочите корень и убедитесь.

Таня мочила толстый жесткий корень румянки, прикасалась к нему пальцем, и тот окрашивался в приятный пурпурный цвет.

За дни, проведенные в заповеднике, Таня поздоровела. Сошла с лица ее московская бледность. Она много ходила и дышала, дышала сколько ей хочется, дышала вместе с травами целебным воздухом степи.

Как-то раз, когда Тани не было на усадьбе, к крыльцу конторы заповедника подкатила сияющая всеми своими величавыми изгибами голубая «Волга». У ветрового стекла на нитке чуть покачивалась гроздь винограда. Каждая ее ягодка была налита зеленоватой морской водой.

Водитель с мефистофельским профилем и аккуратным проборм черных волос, выплюнув феодосийскую папироску и приветливо и чинно кивнув собравшимся сослуживцам заповедника, бодро взбежал па крылечко. Вслед за ним протиснулся его спутник: грузный, уже немолодой, рыжий мужчина в соломенном бриле, с лицом, измятым дорогой и массандрой.

Директор заповедника, не зная, с кем имеет дело, выжидающе приподнялся над столом. Мефистофель представился:





В курской деревне. 1985. Фото П. Кривцова





На родной земле. 1978



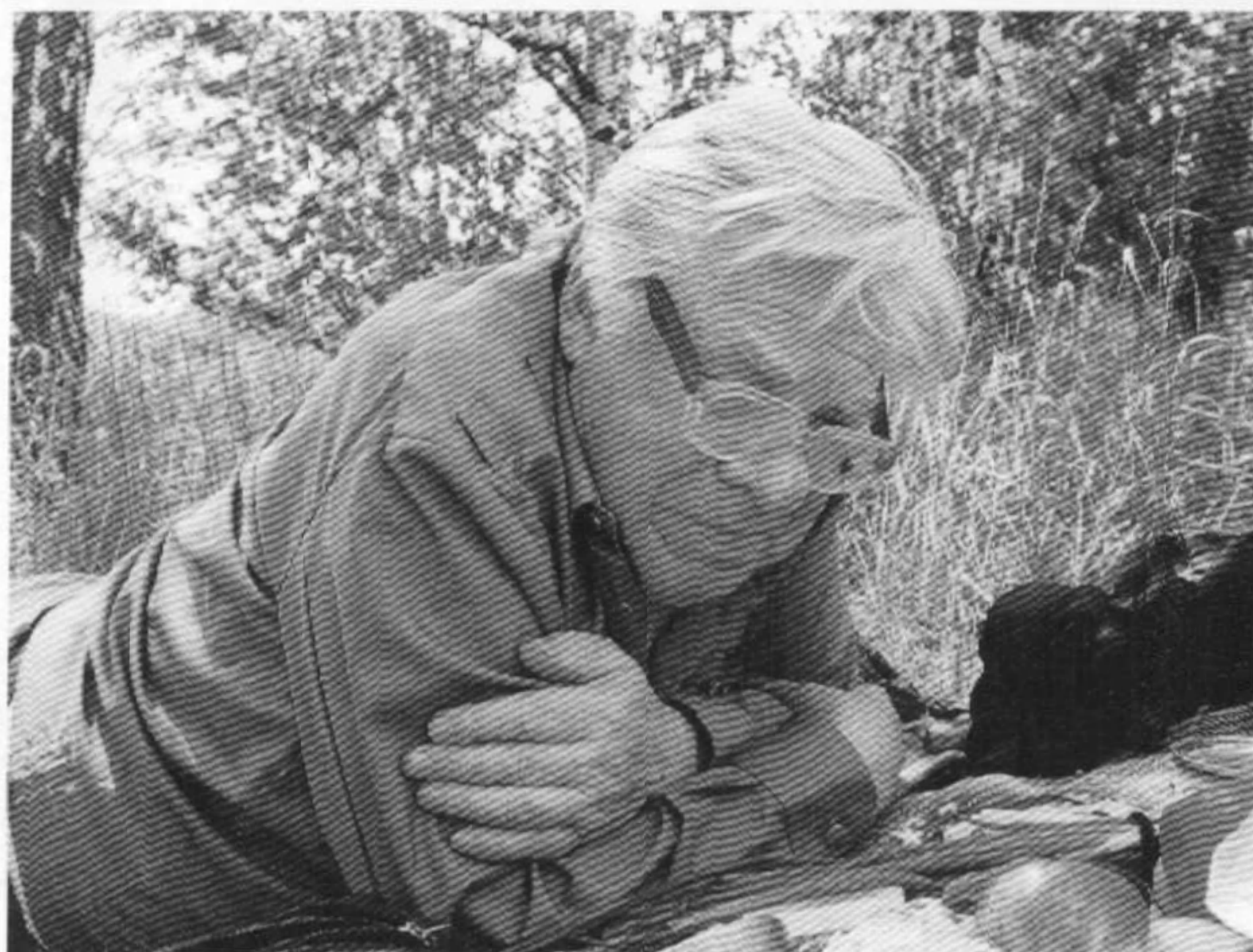


На подворје у лесника. 1983. Фото П. Кривцов





У куста терновника. 1995



На отдыхе. 2000



— Проезжие туристы. Интересуемся всем достопримечательным. Едем с юга. Не могли устоять перед соблазном заглянуть в ваш укромный уголок. Извините, если беспокоили.

— Садитесь, товарищи. Рад услужить.

Туристы уселись. Мефистофель вступил в переговоры.

Рыжий, предпочитая не вмешиваться, лениво оглядывал из-под покоробленного бриля стены кабинета, увешанные планами заповедника, фотографиями степи и моментов научно-опытных работ. Ничего привлекательного он не увидел, украдкой зевнул и устался на носки своих ботинок.

Директор весьма охотно, но бегло познакомил с особенностями заповедника и поддержал мысль о расширении туризма. Мефистофель понимающе кивал черной, гладко причесанной головой, по которой блуждал тусклый синеватый блик, улыбался и нетерпеливо барабанил двумя изящными пальцами по краю директорского стола.

— Впрочем, вы сейчас сами все увидите, — сказал директор. — Я знаю, вы увлечетесь. От нас еще никто не уезжал разочарованным. Мария Ивановна! — позвал он кого-то. — Мария Ивановна, пригласите, пожалуйста, Петра Вениаминовича. Это наш ботаник. Он вас и ознакомит.

В кабинет несмело вошел Петр Вениаминович, почтительно и каждому в отдельности поклонился гостям и ожидающе остановился посреди комнаты, тиская пальцы.

— Петр Вениаминович, будьте добры, пройдите с товарищами в степь. Покажите и расскажите.

Туристы, сопровождаемые ботаником и директором, вышли на крыльцо. Из кабины «Волги» вылез третий спутник — совсем юный, с длинной девичьей шеей и тоненькими вразлет усиками. Глаза у него были заспанные, а усики мокрые. На нем была клетчатая блуза на выпуск.

— Ёша, — представился он и сунул теплую вялую руку Петру Вениаминовичу.

Захватив с собой саквояж, туристы двинулись вслед за ботаником. Он шел по тропинке семенящей походкой старого человека и давал пояснения. Поблескивая дымчатыми очками, Мефистофель лениво блуждал взглядом по степи, ища что-нибудь такое, на чем можно было остановиться. Но взгляд скользил, не задерживаясь. Изредка он механически восклицал: «Вот как! Это любопытно!» Чувствуя, что его слушают без интереса, Петр Вениаминович терялся, замолкал и ожидал вопросов. Но вопросов не задавали. Беседа явно не получалась.

В нескольких шагах позади брел с саквояжем рыжий. Он откинул бриль на спину, и над его лысиной дрожал воздух, как над просяхающим валуном.



— Куда мы, собственно, идем? — моляще спрашивал он. — Посидеть и тут можно. Трава как трава.

Гюша тоже отстал. Распутывая кузнечиков и пчел, он, длинный, голенастый, как журавль, охотился за земляникой.

— Петр Вениаминович! Петр Вениаминович! — вдруг донеслось из степи. — Идите сюда!

Только теперь все увидели девушку, поднявшуюся из трав и размахивающую тетрадкой. Свернули с тропинки и пошли к ней.

— Студентка Таня, — представил ботаник. — У нас проходит практику.

Все трое вдохновенно пожали маленькую смуглую ручку девушки.

— Петр Вениаминович! Надо записать эспарцет, а как полатыни — не вспомню. — Таня протянула Петру Вениаминовичу кучерявую веточку в розовых гроздьях мелких цветов.

— Ну как же, как же! — улыбнулся ботаник: онобрихис аданс.

— Ну конечно же! — обрадовалась Таня.

Таня снова присела возле натянутой веревки и стала вписывать в тетрадку все растения, через которые прошла бечева. Она часто ошибалась в латинских названиях, краснея, подтирала их резинкой.

— А для чего у вас на носу бумажка наклеена? — спросил Мефистофель.

Таня схватилась за нос, испугалась, закрыла лицо руками.

— Понимаю. Чтобы носик не облупился. И кому в такой глуши нужен ваш нос? Ах, эти девушки! Они даже в пустыне готовы подкрашивать брови. Ну, не обижайтесь. Это по-дружески.

Трое из «Волги» оживились. Неожданное появление в скучной, однообразной степи этого хрупкого существа внесло наилучшую поправку в настроение. Они наперебой заговаривали с ней, предлагали помочь, угощали конфетами, совсем позабыв о Петре Вениаминовиче, который теперь им был не нужен и даже мешал. О нем вспомнили, когда увидели его сгорбленную фигуру на дорожке. Он шел дальше в степь, машинально держа розовую веточку эспарцета.

— Я тоже пойду, — спохватилась Таня.

— Ну нет, мы вас не отпустим! — улыбнулся Мефистофель. — Сейчас позавтракаем. Вы любите массандру? Чистейшее виноградное. Гюша, открой буфет.

— Нет, нет! — Таня решительно поднялась. Мефистофель, продолжая улыбаться, ухватил было ее за руку, но девушка отпрянула и, забыв тетрадку в траве, побежала через ковыли к тропинке. Ее ромашковое платье, обдуваемое ветром, путалось складками в коленях.

— Ничего огурчик! — донесся голос Гюши. Поднявшись на свои длинные голые ноги и подбоченясь, он провожал вытянутой шеей убегающую Таню.



— Ну и черт с ней! — прорычал рыжий и достал из саквояжа длинную, как ракета, марочную бутылку.

Пили, ели бутерброды с керченской икрой, с хрустом крошили крымские яблоки. Выпитые бутылки швыряли в ковыли.

Уезжали уже под вечер. В книге посетителей Мефистофель не очень твердым почерком написал:

«С сожалением покидаем ваш прелестный уголок. Восхищены беззаветным служением науке. Тронуты и признательны за радушие. Группа туристов».

«Волга» отсалютовала долгим прощальным гудком и бесшумно выпорхнула из ворот заповедника.

\* \* \*

Петр Вениаминович и Таня возвращались на усадьбу. Под закатным солнцем розовым туманом клубился ковыль. Вспорхнул и полетел низко над травами грузный стрепет — тоже розовый под отсветом зари. Где-то, на соседних полях, мирно бормотал трактор, и его далекий рокот смешивался с бесконечным стрекотом кобылок. Степь готовилась ко сну.

Ботаник шел, сняв фуражку и подставив прохладе седую голову. — Пойдемте, я заберу свою тетрадку, — сказала Таня.

Они свернули. Возле знакомой лужайки остановились. Ее нельзя было узнать. Трава измята и вытерта, будто по ней катались лошади. Пестрели обрывки газет в жирных пятнах, смятые папиросные пачки, окурки, консервные жестянки и пустые бутылки.

Петр Вениаминович выронил фуражку и опустился на колени. Он сидел молча, ссутулившийся и совсем постаревший. Ветер шевелил на его поникшей голове редкие волосы, мягкие, как у ребенка. Таня, не зная, что делать, присела с ним рядом.

— Не надо, Петр Вениаминович, — непослушными губами прошептала Таня. Она приподняла примятую ромашку, и та, будто к ней вернулись силы, медленно, сама собой стала выпрямляться, поднимая свою резную панаму все выше, выше — навстречу солнцу.

1964

## ДОМОЙ, ЗА МАТЕРЬЮ

### 1

Когда поезд пришел в Москву, Васюкеев все еще богатырски храпел в пустом купе мягкого вагона. В новом касторовом пиджаке, нейлоновой сорочке и рыжих собачьих унтах он лежал навзничь, сцепив на животе толстопалые руки в синих крапинках подкожного угля. Его светло-русые кудри рассыпались по стопке нераспечатанного постельного белья, запихнутого под голову.



Проводник долго дергал его за рукав. Васюкеев поводил бровями, жевал, издавая крепкими зубами морозный скрип, наконец разлепил глаза и мутно, непонимающе взгляделся в проводника.

— Подъем! Прибыли!

— Куда?

— Москва, браток. Белокаменная.

Васюкеев поворотился на бок, отдернул занавеску. За окном было голубо и солнечно, перрон многолюдно бурлил народом, пестрели цветы и яркие весенние шляпки.

— Вот это махнули! — зевнул Васюкеев, удивляясь тому, как поезд быстро домчал его до столицы, и припоминая, как еще совсем недавно он залезал в вагон, набело заляпанный косой заполярной пургой, и как вот этот старикан-проводник, пряча фонарь за полу казенной шинельки, горбился от снега в три погибели, разглядывая его, Васюкеева, билет в мягком вагоне.

Он сел в Воркуте и был озабоченно-деловит перед лицом провожавшей беременной жены Кати, которая все твердила, чтобы зря не пил и не сорил деньгами. Прощаясь с женой, Васюкеев стоял на подножке вагона, заслонив проход медвежьей шубой. С багровым и мокрым от колючего снега лицом смотрел он вниз, на Катю, на ее вздернутый живот и кричал в пургу, в ветер:

— Ты, Кать, крепись тут... Я скоро...

Ехал он в отпуск на Орловщину, но не просто прогуляться, отдохнуть от шахты, а по неотложному делу. Через три месяца ожидали они с женой прибавления и, обсудив по-семейному, как им быть дальше (Катя тоже работала в шахтоуправлении и не хотела терять место), порешили, что он поедет и заберет свою мать, которая жила в деревне под Кромами.

Хватит, потопила печи, потаскала чугуны, — жалел он мать дорогой, сидя в пустом купе и поглядывая на зимнюю тайгу, убегавшую беспрестанно в обе стороны.

Летящие вдоль насыпи завьюженные километры, мягкое постукивание колес, строгая чистота, никель и зеркала купе и толстый бумажник, давивший грудь сквозь нейлоновую рубашку, будили в нем спокойное, горделивое чувство своей собственной значимости, хозяина жизни и всех этих диких промерзлых пространств. Здесь он был нужным, почитаемым человеком.

Ему припоминалась послевоенная голодная безотцовщина, вросшая в землю сумеречно-дымная хата, рвань телогреек и косяковых ватных одеял, в которую они, четверо голопяток, вечно не стриженных Васюкеевых, кутались, вповалку укладываясь спать на полу; вспомнилась клекотавшая выварка, ее кислая бражная вонь и то, как мать, плоская, безгрудая, иконолика от худобы и глубоко провалившихся глаз, всю ночь топталась возле выварки, а под утро разливала по бутылкам мутный и теплый самогон, который она, зана-



весив мешками окна, тайком гнала на хлеб и одежду.. Один за другим Васюкеевы, недоучившиеся, кое-как прохажив по пять-шесть зим в школу, подрастая, покидали деревню и по вербовкам разлетались кто куда. Лишь младший Алешка дотерпел до десятого класса и по всем правилам поступил в Московский университет. Учился он уже по третьему году, и уже три года мать жила в деревне одна.

«Сколько же ей теперь?» — думал Васюкеев, напрягаясь подсчитать материны годы. Но с горечью и укоризной закусил губу, поймав себя на том, что даже не знает, когда она, в каком году, в каком дне-месяце появилась на свет. Растравив себя воспоминаниями, нахлынувшими сыновними чувствами и не вынеся одиночества, Васюкеев отправился на люди, очутился в вагоне-ресторане и больше не выходил оттуда, по-родственному зазывая за свой обильный стол разную подорожную публику.

— Давай, братва, подсаживайся, — делал он широкий замах рукой, пьяно мигая отяжелевшими веками. — Вотпущеду.. За матерью... Мать у меня, понимаешь... Ты знаешь, какая у меня мать? Во-о! Понял? — Васюкеев отставлял от кулака большой палец и показывал его всему застолью. — Душу за нее натварь выну, понял?..

Когда проводник растолкал его в Москве, поезд был уже пуст и состав собирались отвести на запасные пути. Васюкеев натянул порыжелую медвежью шубу и оглядел заваленный закусками столик. Среди снеди стояла початая бутылка коньяку, про которую он даже и не помнил, когда и как она появилась в купе. Васюкеев налил коньяку в ладонь, плеснул себе в заспанное лицо и вытерся подкладкой шапки.

— Закуси тут за меня, — сказал он проводнику, стащил с полки чемодан и выскочил на перрон.

## 2

Через полчаса Васюкеев был уже на Курском вокзале. Он сдал вещи на хранение и тут же на площади узнал в справочной будке, как ему разыскать брата Алексея. В Москве Васюкеев бывал не впервой, но уверенно чувствовал себя только на вокзалах и в дорожных ресторанах, да еще в метро, которое напоминало ему родную шахту, — ценил в нем хорошую вентиляцию и строгий график на рельсах. Безо всякой путаницы Васюкеев добрался в метро до университета и сразу, выйдя на поверхность, увидел его соборно-строгую громаду.

«Куда затесался!» — подумал он о брате, чувствуя, как трудно ему задирать свинцовую после попойки голову, чтобы разглядеть вознесенный в небо золоченый шпиль.

Он не сразу разыскал вход в здание, долго обмерял его то справа, то слева, широко мельтеша унтами, наконец, робея перед строгостью мрамора и тяжелых дверей храма науки, вошел вслед за ка-



кими-то черномазыми девками в просторный вестибюль. Черномазые девки в длинных до пола цыганских юбках, поводя синими белками, заинтересованно косились на его меховую одежду-обужу, и он, польщенный вниманием, подошел к ним, спросил озабоченно:

— Извиняюсь... Брат у меня тут Алексей Васюкеев.

Девки широко, толстогубо заулыбались, блестя крупными фасоллинами зубов, и одна из них, кивая, переспросила:

— Алекс?

— Ага! — обрадовался Васюкеев. — Алексей Ильич.

— Алекс? Басюкееф?

— Да-да-да! Брат я ему.. Родственник.

— О, карашо! Один момэнт, товарищч.

Девки заулыбались, вошли в лифт, и та, что разговаривала с Васюкеевым, закрывая за собой полированную дверцу кабины, еще раз сказала ему «карашо» и поводила в воздухе узенькой синей ладошкой.

Ожидая результата, Васюкеев топтался у поминутно хлопающих выходных дверей, испытывая неловкость от своего здесь присутствия и нечаянной встречи с заморскими девчатами, в то же время мысленно примеряя их на свой вкус. Он не чувствовал к ним никакого мужского интереса, а только удивлялся как непонятной и неизвестно для чего существующей диковине.

«Черные, а тоже бедовые, — думал он снисходительно. — Шныряют по лифтам, как дома».

Брата он не видел лет пять, еще с тех пор, как наведывался домой в отпуск, помнил его маломерком, по-домашнему, обыденно, в ватнике и резиновых сапогах и никак не мог представить его здесь, среди этого мрамора, но, когда из лифта вышел рослый плечистый парень в куцем волохато-зеленом пальто, без шапки, Васюкеев сразу же радостно восторженулся. Алексей, еще издали расплываясь знакомой васюкеевской редкозубой улыбкой, покраснев чистым широким лицом, твердо прошел через вестибюль, протягивая руку, и совсем просто сказал:

— Привет! Откуда ты?

— Да вот зашел... Домой еду.. — Васюкеев переступил унтами.

— В отпуск?

— Ага... Дай, думаю, съезжу.. Значит, тут ты...

— Как видишь.

— Солидно.

— Да ничего. Жить можно.

Братья еще раз оглядели друг друга и улыбнулись. Алексей дружески толкнул Васюкеева в плечо. Васюкеев засмеялся и полез в карман за папиросами.

— Пойдем, покажу тебе мои апартаменты, — предложил Алексей.



— Да не...

— Пошли! На самый верх свожу. Вся Москва видна, как с самолета.

— Эта самая... с тобой, что ли, учиться? — попытался перевести разговор Васюкеев.

— Сембел? Со мной. В одной группе. Из Камеруна она.

— Слышал такой... — Васюкеев мял пальцами папироску, не решаясь ее зажечь.

— Так поднимемся?

— Да не... Как-нибудь в другой раз...

— Чудак-медведь! — усмехнулся Алексей.

— Пошли, проводишь. Мне вечером на поезд.

Солнце по-весеннему яростно сияло меж грудастых белых облаков, небо, подпираемое шпилем университета, казалось особенно высоким. Асфальт на проездах ослепительно блестел вешней бегучей водой. С карниза, откуда-то с огромной высоты, сорвалась сосулька, раскатисто, со стеклянным звоном жажнулась о дымящийся просыхающий тротуар.

— Куда потопаем? — Алексей зажмурился от солнца. — Хочешь, покажу Третьяковку?

— Погоди... — Шалый ветер, который не чувствовался там, внизу, в старой Москве, не давал Васюкееву прикурить, и он торопливо жег спички. — Погоди... Поговорить надо... — И, увидев такси, замахал шапкой.

Они поехали в центр.

— Где у вас тут хороший ресторан? — спрашивал Васюкеев, поглядывая на сутолоку столичных улиц.

— А тебе какой надо? С музыкой?

— Ну.. Чтоб посидеть... Поговорить, как брат с братом.

— Этого добра хватает.

— Ну давай, Леха, вези... Посидим, потолкуем.

Выбрали «Берлин». Ресторан Васюкееву понравился: бархатные диваны, фонтан в зале, лепные девицы под потолком. Заказали обед, а для начала — бутылку коньяку, икры, осетрины, каких-то салатов, свежих огурцов, которые Васюкеев попросил не резать, а подать целиком. Старый чинный официант вскинул косматую бровь на Васюкеева, на его заветренное до глянцевого блеска лицо, понимающе кивнул седым стриженным ежиком: «Сделаем». И пока официант подавал на стол, Васюкеев побряхтывал, будто у него ломило поясницу. Лицо его было страдальчески-озабоченно.

— Ну, давай, Леха... — Он отодвинул рюмки и разлил коньяк по пивным фужерам. — Давай по лампадику..

Чокнулись. Васюкеев с дрожью старательно выцедил весь фужер, Алексей отпил половину.

— Ты чего? — озабоченно, понизив голос, спросил Васюкеев.



— Я с двух раз...

— А-а... Ну ладно... Ты давай рубай. — Он захрустел огурцом... — А помнишь, как мы с тобой просвирник за амбаром лопали?

— Было, — кивнул Алексей, намазывая икру на булочный ломтик.

— Проснемся, а в хате хрен ночевал, все порушил: ни хлеба, ни... А то еще бздюку рубали.

— Паслён по-научному, — усмехнулся Алексей.

— Не знаю, как там по-научному. Помню, за ушами потом скребло... — Васюкеев разлил остатки коньяка. — Брехня! Теперь выкарабкались! Иван с Илюхой пишут: тоже хорошо живут. Иван «Волгу» купил.

— Слышал.

— Тебе еще долго?

— Два года осталось.

— Сколько платят? Полста дают?

— Хватил! — Алексей усмехнулся.

— Ну ты давай рубай. — Васюкеев с сочувствием посмотрел на брата. — Харчишки, поди, неважные?

— Жив, как видишь.

— Зря ты по этой ботанике пошел.

— Почему?

— Пшик один.

— У нас геоботаника. Разведка ископаемых.

— Ну ладно... Тебе виднее. Вот только с матерью надо что-то делать. Ты бываешь в деревне, как она там?

— Да как? Крышу ей перекрыли. Иван в колхоз написал, чтоб помогли. Садочек развела. Копаются помаленьку.

Васюкеев помолчал, поводил вилкой по скатерти.

— Хочу, понимаешь, ее к себе забрать. Хватит ей там сидеть. Как думаешь?

— Не знаю... Как она...

— А что она? Хату продам натварь... Деньги ей на книжку положу. Пусть свои у нее водятся. Квартира у меня хорошая: ванна, все такое... Печку не топить, воду не таскать. Гастроном прямо подо мною. Вот Катюха скоро родит. Пусть с внуком копается, стариковское дело...

— Ее Илья к себе зовет.. У них двойня родилась.

— Илья обойдется. У него жена не работает.

— Съезди поговори.

— А что говорить? Заберу, и все.

Подали клецки по-немецки с копченостями и по курице. Васюкеев попросил еще бутылку коньяку.

— Ты чего? — поднял брови Алексей.

— А чего? — засмеялся Васюкеев. — Посидим, поговорим...



— Я больше не буду.

— Эх ты, интеллигенция! — Васюкеев, рисуясь, долгим засосом, как ситро, вытянул двухсотграммовый фужер и понюхал огурец. Вторую бутылку он выпил один, покраснел до багровости, на бровях заблестела испарина — захмелел. Он курил одну за другой папиросы и стряхивал пепел на нетронутую курицу.

— Ты давай тоже ешь, — посоветовал Алексей. — Да будем выбираться, в Третьяковку поедem.

— Брось, Леха, — поморщился Васюкеев. — Что ты мне со своей Третьяковкой? Я, может, поговорить с тобой хочу.. Понял?

— Понял, — усмехнулся Алексей.

— А Иван — трепло. Расхвастался. Подумаешь, машину купил! Да я хоть завтра могу..

— Чего же ты не купишь?

— Дура ты, Леха. Куда я на ней? Это тебе не Иванов Донбасс... Кочки да болота... Вот поеду мать заберу натварь... Не знаешь ты, Леха, какая у нас мать с тобой... Ни черта ты не знаешь...

— Почему — не знаю?

— Сопляк ты еще, понял? Просвирник.

— Ладно тебе. — Алексей отвернулся и принялся смотреть в зал.

— Да ты не козюлься. А Илюшка зря мылится. Он матери ни рубля не послал. Во — ему мать, понял? — Васюкеев свернул кукиш. — У него цаца дома сидит, женю мнет.. Пока он соберется из своего Братска, а я уже еду.

— Смотри, а то еще передеретесь... Васюкеевы, — усмехнулся Алексей. — И матери достанется.

— А что? И морду набью. Илюшке? Жмоту этому? Набью! И Ваньке набью... Крышу перекрыл! Осчастливил... Да я за мать душу хоть кому натварь выну. Понял?

Васюкеев поднялся и, косолапо шаркая унтами по красной ковровой дорожке, пошел искать туалет.

Возвращаясь, он остановился возле фонтана. Там, в кругу любопытных какой-то шкет с усиками пытался сачком изловить живых карпов, сновавших в мелкой воде. Под хохот и визг девиц шкет, все больше конфузясь и зверея, шлепал по воде сачком, норовя накрыть рыбу. Но карпы успевали вышмыгнуть.

— А ну дай я. — Васюкеев взялся за сачок. Парень с усиками было заковеврился, но подвыпившие мужчины поддержали Васюкеева.

— Дай ему.. Пусть сибирячок попробует.

Васюкеев, спрятав за спину сачок, не спеша пошел по кругу, давая карпам успокоиться и собраться в стадо.

— Ты давай лови, — презрительно усмехнулся шкет.

— Тихо! — Васюкеев поднял руку в его сторону. — Тихо, понял? — И в тот же миг сделал выпад, воткнул сачок ребром в дно фонтана.



Вода закипела. Васюкеев выхватил сачок, провисший под тяжестью двух рыбин. Откуда-то появившийся оркестр заиграл туш. В толпе и за столиками хлопнули. Васюкеев поднял сачок высоко над головой и приложил руку к сердцу. Карпы трепыхались в сетке, обдавая всех водяными брызгами.

— Прикажете зажарить? — спросил подскочивший официант.

— Зажарь, папаша.

— Одного? Двух?

— Давай обоих.

Вскоре за сдвинутыми столиками Васюкеев угощал жареными карпами и коньяками почитателей своего охотничьего таланта. Карпы, окрапленные зеленым крошечным луком, были поданы на метровом подносе в окружении румяно зажаренной картошки. Время от времени Васюкеев передавал бутылку коньяку в оркестр и заказывал играть, что взбредет в голову.

— Домой, понимаешь, еду, — говорил он капельмейстеру. — Мать у меня там... Знаешь, какая у меня мать? У-у.. — Васюкеев мотал головой и скрипел зубами. — А ну давай сыграй... «Вечера» давай, «Вечера».

Заказав через швейцара такси, Алексей наконец выдворил Васюкеева на улицу и усадил в машину.

— К ГУМу давай, — сказал Васюкеев шоферу.

Поехали к ГУМу.

Васюкеев влетел в универмаг перед самым закрытием. Купив с ходу рюкзак, он в распахнутой шубе, взопревший, метался по этажам и, наваливаясь на прилавки, манил к себе пальцем молоденьких продавщиц...

— Подай, любя, вон ту шалку, с махрами которая...

Он разворачивал шаль, таращился, тяжело двигая веками, и коротко бросал:

— Где касса?

Потом под звонки и предупредительное мигание гумовских люстр купил сапожки на меху, плащ-болоню, хотел еще что-то прихватить, но секции начали закрываться, и его попросили вниз. В гастрономическом отделе он успел купить яблок и банок с конфитюрами и, ссыпав все это в рюкзак, помахал на себя лапами шубы.

— Уф!.. Давай, Леха, поехали!

### 3

Послав Алексея забрать чемодан и закомпостировать билет, Васюкеев надумал бриться и из-за этого чуть было не опоздал на поезд. Едва только успели запихнуть вещи на площадку первого попавшегося вагона, как поезд тронулся.

— Ну, Леха, ты тут давай... шуруй! — крикнул с подножки Васюкеев, оставляя на перроне конфетный запах одеколона. — Пока!



Замельтешили красные и фиолетовые путевые фонари, потом над Яузой прмелькнула древняя церквушка, слабо озаренная отсветом городских огней, и потянулась скучная неразбериха складов, автобаз и серых пригородных домишек. Васюкеев докурил папироску, стрельнул окурком за дверь под колеса и пошел искать свой вагон.

Ему надо было в головные вагоны, но он пошел не в ту сторону и долго открывал и закрывал за собой тамбуры, шел, толкаясь и задевая рюкзаком за боковые дверные ручки купе, по пустым коридорам ночного южного поезда, не встречая ни единой живой души. Лишь в самом конце он наткнулся в тамбуре на молодых солдат. Солдаты, без поясов, в расстегнутых гимнастерках, дымили папиросками.

— Какой вагон, служивые? — спросил Васюкеев, протискиваясь в задымленный до синевы тамбур.

— Надцатый! А тебе какой?

Васюкеев махнул рукой и полез дальше.

Этот самый Надцатый был заселен довольно густо. Ехал всякий тульский, орловский, курский и прочий этого направления неказистый люд, экономивший на сидячем билете. В полутьме отсеков на охряных лавках рядом сидели постнолицы, закутанные платками бабенки и меднокожие небритые мужики. На верхних багажных полках теснились мешки, чумалы, перевязанные веревками и ремнями самодельные сундучки, вздутые чемоданы или же торчали ноги сморенного дорожной сутолокой ездока, решившего растянуться вопреки билету, на дурнину. Крепко шибало неистребимым духом сидячих вагонов — сырыми ватниками, взопревшими сапогами, кислым кизячным дымом цигарок, которые смолят тут же, в «рукав», несмотря на сварливые запреты проводниц.

Ради этих одно-двуххвостовых третьеклассных вагонов и мчался в ночи южный, мотаясь на путях длинным и пустым телом с пустыми, безлюдными окнами купе, до которых не дошла курортная лихорадка.

Васюкеев не стал возвращаться в свое спальное купе, ехать было ему теперь недолго, не более пяти часов, и он, отыскав свободную лавку, сбросил на нее рюкзак и стащил душную шубу.

Наверху, выставив кверху острые обтянутые коленки, спал голенастый солдат, похожий на зеленого кузнечика. Васюкеев, обвыкаясь, некоторое время наблюдал, как дрожали от качки вагона солдатские коленки, потом перевел взгляд вниз, где в полутьме нижней полки ехала какая-то маленькая старушка, крест-накрест спеленатая под мышками толстой шерстяной шалью. Старушка сидела в терпеливой неподвижности, сложив клубочком маленькие темные руки в подол длинной ватной одежды. На ногах у нее были черные валенки, которые, не доставая до пола, торчали, как у куклы, чуть вперед, об-



нажая подшитые побелевшей дратвой подошевки, на одной из которых прилепилась блестящая обертка вокзального эскимо. Нависшая шаль скрывала ее лицо, торчал только сухой морщинистый подбородок, но и по нему Васюкеев догадался, что старушка была ветхая. Древняя, чуть живая. Он подумал было, что она спит, но, приглядевшись, заметил, как под шалью, в темной глубине шалашика, взмелывала какая-то живинка: старуха наблюдала за Васюкеевым.

— Жива, ай нет? — спросил он, наклоняясь и заглядывая под шаль. В нем еще бродило хмельное желание задеть кого-нибудь, побалагурить.

— Жива покудова, — отозвалась каким-то далеким голоском старушка.

— Чего не спишь? Добро бережешь?

— Какое у меня добро? Шило да мыло...

— Тогда давай спи. Лавка порожняя.

— Опрокинусь, да и просплю станцею-то.

— А какая твоя станция?

— До Орла мне, сынок. Да там еще до Ливен.

— Землячка, выходит, — оживился Васюкеев. — Я тоже орловский. Давай ложись, а я покараулю.

— Да кто ж тебя знает..

— Боишься, обкраду? — Васюкеев засмеялся.

— Выпимши ты... Самого укачает.

— Это верно, выпил, — кивнул растрепанным чубом Васюкеев. — Домой, понимаешь, еду. Мать у меня там... Вроде тебя... Помоложе, конечно, а тоже уже старенькая. Одна живет... Вот хочу забрать ее к себе.

— Далече забирать-то?

— На Севере я... Живу — во! От души, понимаешь? Ну, а она в деревне... Чугунки-горшки всякие... Зачем, когда у меня полный ажур...

— Детки есть?

— У меня? Об чем разговор! Во какой Гагарин растет!

— Один маленький?

— К маю еще космонавт будет. За нами не заржавеет... Можно и третьего настругать. Не в это все упирается... Вот поеду, хату продам, мать заберу, тогда полный ажур будет. Мы с Катюхой — вкалывать на молочишко, а бабка с внуками, как водится... А то бабка без пользы теперь... Садочек завела — кому это нужно? Верно ай нет?

Васюкеев, довольный своей рассудительностью, посмотрел в темноту, под полку, ожидая, что она скажет, но старушка не отозвалась, а только послышался ее глубокий вздох. Приняв ее вздох на свой счет, Васюкеев расчувствовался, полез в рюкзак и выбрал большое румяное яблоко.

— На, погрызи маленько, — протянул он.



— Нечем мне кусать, сынок... Напоказ нетути...

— Сколько годов-то?

— Да зажилась, — спокойно ответила старушка. — По пачпорту девяносто первого году я. А так Господь знает кодышняя...

— А у тебя и паспорт есть?

— Да мне он без надобности, да в городе без него жить не дают.

— В городе, стало быть, прописана?

— В Кизеле. Может, слыхал: на Урале Кизел-то... Сын у меня там, Петя... На заводе мастером.

— С Урала едешь?

— Да нет... Зачем с Урала... С Череповца еду, за Москвой который...

— А говоришь, в Кизеле прописана?

— Прописана-то в Кизеле... А жила у Степана, в Череповцу.. Дак я и в Череповцу допрежь была прописанная. Это до того, как в Кизеле. А опосля Череповца еще и в Туймазах жила, у дочки, у Надеи... Плянуть, дак у меня весь пачпорт в печатках... А самая последняя печатка в Кизеле поставленная... А еду-то я, чтоб тебе понять, не из Кизела, а с Череповцу, от Степана, стало быть...

— И сама небось запуталась, — зареготал Васюкеев.

— Да чего путать... Я тые дороги зажмурючись сыщу.. По несколько разов проезжала... Детки у меня там... Петр, который мастером-то... Тот в Кизеле... А в Череповцу Степа, меньшенький. Инженером он по литейному.. А в Туймазах дочка Надея... Та по нефти... Лаборантка... Теперь ее там нетути, в Туймазах-то... Выехала... Далеко она теперь. А то еще Николай, сын. У того, правда, не жила... Тот тоже далече, за границею аж... В Египту.. Это которые живые, а которые побитые, так то Митрий и Алексей, самые первые от рождения-то...

— Катаешься, значит.

— Да ужо укаталась... — вздохнула старушка.

— А у меня тоже браты к себе мамашу зовут. Да только я к себе ее заберу. — Васюкеев подтянул чемодан, достал семужный балык и бутылку пятидесятидвухградусной «Северной водки». — Давай, мать, позанимаемся, раз мы земляки с тобой. Я тоже свою пока-таю, покажу свет белый... А то сидит там...

Он ополоснул водкой кем-то забытый на столике стакан, налил с палец и протянул старушке.

— Маленько, а?

Старушка, не расцепляя рук, даже не пошевелившись, сказала из-под шали:

— Что ж так-то пьешь, мать не повидамши? Спрятал бы ты ба-ловство это...

— Нельзя! Домой еду, душа горит — просит Волнуюсь, стало быть.

— Встретит пьяного-то — не обрадуется.



— Обрадуется! Пять лет не виделись. — Васюкеев трудно, содрогаясь, выпил и, щелкнув складником, принялся кромсать балык на газетке. — А тебя, стало быть, тоже сыны нарасхват?

— Дак что ж поделаешь... Всем надо было... У всех детки... Теперь ить семьями не живут, чтоб все вместе. Теперь вроде утиные выводки пошли: едва наклюнулся, втемеже и бежать от матери: то в ФЗУ, то на курсы, то по вербовке... Бывало, полна хата народу, положить некуда, а то одна осталась... Петя на Урал махнул, Степан себе укатил, Николай себе... Надея на ноги поднялась — тоже полетела... Это поначалу-то, сразу опосля войны, — сказала старушка, помедлив. — А потом Петя объявился... В Кизеле который... Пристал: поедем да поедем. Вроде тебя... Ничего с собой, говорит, не бери, все есть, только поедем... Что ж, думаю, одна сидеть буду? Хатку скоренько продали, коровку продали, поросенок было завела, закололи, опалили в дороге... Перину, подушки, всякий чебур-хабур по свояченицам да по соседям пораздавала... Все порушила, весь свой корень извела начисто, поехали. В Кизел-то... Ну, Петя сразу пачпорт на меня схлопотал, прописали. Квартира, правда, хорошая, заводская... Двое деток у Пети, жинка тоже работает. Обстирываю, обшиваю, живу. Хлоп — Степа письмо прислал. Зовет-молит, чтобы приезжала, стало быть... Петя ему телеграммою: не поедет, дескать, заболела, все такое... Опять Степан шлет письмо: получает новую квартиру, да мало дают площади. А ежели я приехала бы, то на меня лишнюю комнату и дали бы... Что ж, думаю, такой походящий случай будет из-за меня упускать. Говорю Пете: поеду. Он ни в какую, не пускает меня, и все тут: дети малые, жене придется работу бросать... И Петю жалко, и Степу жалко — квартиру боюсь, упустит. Кое-как уговорила Петю, пообещала вернуться вскорости, да и поехала в Череповец... Ну, схлопотали ему квартиру, хорошую, на три комнаты. А он возьми да и пропиши меня, чтоб, стало быть, к Пете-то не верталась. Живи, говорит, у меня, и все тут... Вот, говорит, тебе отдельная комнатка, хозяйствуй. Ну, живу, деток обхаживаю, года три так-то прожила... Вот тебе Надея пишет: поздравь, мама, замуж вышла. В Туймазах-то этих... Зовет письмом к себе. Раз зовет, другой раз зовет, а то и обижаться стала. Мол, почему у братьев живу, а единственную дочку позабыла... Да как забыть — помнила я. А только Степа не отпускает, самое детки в такой поре, глаз нужен, дескать, чего тебе не хватает — поедешь к Надее... А Надея возьми да и сама прикати, в Череповец-то... Поссорились они со Степкой из-за меня, война поднялась, никуда я, говорит, без матери не поеду. Надоело, говорит, мне аборт делать... Пришлось мне поехать, раз такое неотложное дело. Да и застряла у нее было, пока Надея с мужем не разошлась. Запил так-то, загулял, драться начал... Ну Надея возьми да и махни от него на Дальний Восток-то. А меня опять Петя к себе забрал... А опосля к Степану переехала. Да так вот и ездила туда-сюда.



Васюкеев, опершись о столик рукой, начал было задремывать от качки, но все же уловил, когда старушка замолчала. Спросил вяло:

— А теперь куда едешь?

— А теперь на свою прежнюю родину еду.. Руки отказываться стали... Ни постирать, ни по кухне чего сделать... Степина-то жена говорит: «Чтой-то ты, мамаша, заскучала? Съездила бы ты к Петру, может, говорит, тебе там получше будет». А откуда мне теперь лучшему-то быть, совсем укаталась, за столом, за чашкою-то среди бела дня стала задремывать... Поехала я прошлым годом в Кизел, к Пете... Побывала там маленько. Ну, а что быть без толку? Я и чулочка детского теперь натянуть не могу, силушки моей не осталось. Да и какие чулочки? Детки все повзросли, повзучились, женихаться по лестницам, как кутята, стали. Старшенький, Витька, дак тот и жинку уже с положением в дом привел... Время подошло, куда от него денешься-то... Петя мне и говорит: мы, мам, коечку тебе в кухне поставим. А в комнате твоей пусть молодые поживут. Пока своей площадью обзаведутся. А там мы тебя опять на прежнее место водворим... А то, ежели хочешь, у Степана покамест побудь... Пожила я на кухоньке, вижу, одна помеха людям. Они допоздна сидят, телевизор смотрят, чай пьют, а я тут с раскладушкой на кухне расшапериваюсь, к плите не подойти... Собралась я и опять к Степану. А Степа меня и прописывать даже не стал, дескать, раз в Кизеле прописана, дак зачем же еще у него в Череповце прописывать-то. Правда, сам Степа ничего насчет этого не говорил, молчал, а она, невестка, ему об этом говорила... А и правда, жить у них тесновато стало. Гарнитур новый купили, каждому чтоб по отдельной кровати — ей и Степе... Ну, поколготилась я у них зиму, а недавно она, невестка-то, меня и спрашивает: «Как там Надея живет, что пишет? Не съездила бы, говорит, к ней? Денег, — говорит, — на дорогу дадим...» А куда я к Надее-то? Близок свет — на островах где-то живет, на консервных... А делать нечего, собралась я к Надее... Думаю, как-нибудь доберусь. В последний раз съезжу, да там у нее и останусь, на островах на тех-то... Дали мне денег на дорогу, телеграмму отбили... Ну, раскланялись мы по-хорошему, Степа всплакнул даже, дескать, может, в последний раз видимся... Поехала я. До Москвы доехала, чтоб, стало быть, самолетом-то лететь, да так заскучала я, так замутилась душа, смерть, что ли, почуялась? Да домой сюда поворотила, на прежнее свое жительство...

Старушка говорила спокойно, рассудительно, все так же сидя неподвижно, говорила одним только сморщенным подбородком, выступавшим из-под шали. Васюкеев, запустив пятерню в кудри, давно уже дремал за столиком под монотонное жужжание ее голоса. Ему даже приснилось, будто он залез на свою хату и отдирает новую, недавно покрытую солому. Ветер подхватывает пуки и далеко рассеивает по огороду. Он рвет кровлю, а мать хватает его за



руки и смеется. Не хватай меня за руки, тоже смеется Васюкеев, ты лучше трубу ломай...

— Куда ж мне теперь... — говорила свое старушка, не замечая, что Васюкеев спит. — Пока у людей побуду до часу своего... Кладбище у нас хорошее. Сирень кругом... Вот зацветет скоро...

Наверху заворочался солдат, приподнялся на локте, сонно посмотрел вниз. Васюкеев крикнул, прогоняя дремоту, налил стакан водки и протянул солдату.

— На-ка, служивый, ополоснись.

Солдат, долго не раздумывая, заспанно выпил и полез в тесное галифе за куревом.

— Где едем? — хрипло спросил он.

— Да где... — Васюкеев отдернул занавеску и хмельно вызрелся в окно. Над пустынными пашнями взошла обкусанная с одного бока луна и летела за поездом, ударяясь о встречные деревья и путевые будки. В призрачной синеве мартовских снегов, подернутых гляцевым настом, маячили, будто наколотые иглой, точки далеких деревенских огней.

— Все по России едем... Где ж еще... — сказал Васюкеев.

#### 4

В Орел поезд пришел около двух часов ночи.

Васюкеев, выгрузившись, побежал в буфет подкупить еще каких-нибудь гостинцев. Потом, озаботясь, испытывая сладко-щемящее чувство от близости родной земли, направился к выходу.

Заглянув в помещение пригородных касс, он увидел свою недавнюю попутчицу. Она пристроилась в пустом зале на жестком эмпезсовском диване, напротив заставленного фанеркой кассового окошечка. Сидела, как и в поезде, сложив в подол руки и выставив вперед подшитые валенки. Блескучая фольга от эскимо все еще держалась на подошве. Видно, она приготовилась сидеть так до утра, ожидая поезд на Ливны. Зал начали убирать, полы наполовину мокро блестели. Васюкеев постоял в дверях, поглядел, как бабы, мелькая из-под халатов рейтузами, мыли тряпками пол, и, махнув рукой, пошел к городскому выходу искать такси на Кромы.

1967

## ПЯТЫЙ ДЕНЬ ОСЕННЕЙ ВЫСТАВКИ

В последнюю погожую неделю октября на окраине областного города открылась сельская осенняя выставка. На улицах веселого фанерного городка вперемежку с дикторскими объявлениями гремели марши и взмыкивали породистые быки. Тракторы новейших



марок временами сотрясали землю вместе с павильонами. Выхлопные дымы мешались с запахом антоновки и крепкой осенней капусты. А над всем этим, в синеве солнечного ветреного неба, на высоких шестах струились флаги, вытягиваясь в одну сторону, как отлетные журавли. И было радостно и празднично от их пламенно-кумачовых всплесков.

На выставочных площадках в походных кухнях, одолженных по этому случаю у местной воинской части, варились кукурузные початки. Крышки котлов наглухо завинчены лопаухими гайками, но даже и они не могли удержать аромата. Возле кухонь нетерпеливо толпились ребятишки. Повара в белых халатах и высоких накрахмаленных колпаках с важностью посматривали то на водомерные трубы, то на карманные часы. Вот кто-нибудь из них делал повелительный жест рукой и требовал отойти подальше. Над булькающим кратером котла вздымалось облако пара, повар поддевал метровой вилкой первый дымящийся ослепительно желтый кочан и в обмен на пяточок, покрикивая: «Руки! Руки береги!» — сбрасывал его в подставленную кепку. Что же это за лакомство — пропаренный до барашковой кучерявости, до золоторунного сияния, обжигающий руки даже сквозь ватную шапку початок, особенно если его подсолить из баночки, которую имел при себе каждый кукурузный повар!

А тем временем колхозники показывали свои достижения под ажурными навесами павильонов и на скотных площадках. Все они, какого ни возьми, были отменно загорелые, будто только что приехали сюда с самого Южного берега Крыма. Лишь на затылках и висках просвечивала белая кожа после свежей стрижки по случаю праздника. Многие были в новых, неловких, словно чужих костюмах, иные даже при галстуках, которые, впрочем, ни у одного не сидели должным образом, а непременно съезжали на сторону или же, ослабнув в узле, обнажали под воротником верхнюю пуговицу рубашки, что случается с горожанином, когда он порядком, или, как говорил один выставочный милиционер, «зарядно выпимши».

Показывали они свои достижения в большинстве случаев молча, лишь иногда бросая коротко: «Не балуй», если какой-нибудь малец начинал карабкаться на трактор или тыкать кукурузной кочерыжкой в бок развалившегося за изгородью хряка. Так что весь день, терпеливо простаивая возле своих экспонатов, они и сами, казалось, были выставлены для всеобщего обозрения.

Одетая в белый халат поверх плюшевого жакета, которые все еще любят носить женщины черноземного подстепья, топталась возле своих коров Анисья Квасова — уже немолодая, с узким сухим лицом, темневшим треугольником из серенького полушалка. Лицо это с костистыми, обтянутыми и поэтому особенно заветренными скулами и со впалыми щеками, на которых ранее всего появлялись бес-



порядочные морщины, лицо это было замкнуто и даже сурово. Но в светло-серых глазах, затененных крутым надбровьем, таилась детская робость и доверчивость. Такие женщины обычно молчаливы даже в девичестве, больше слушают других, а при неожиданной и редкой улыбке стараются прикрыть рот концом косынки. Но зато нет рукастее их в работе, и, наверное, не бывает в нашей стороне более хлебосольной хозяйки, когда в ее избу нагрянут незваные гости: уполномоченный ли на ночлег, заблудившийся в осеннюю распутицу водитель, или полузабытая золовка с детишками из дальних мест. Забегает, замелькает неслышно по избе — и зашумит самовар у загнетки, вскрикнет и забьется зарубленная курица, а из распаханного сундука замелькают чистые мережковые наволочки с простынями, и все это в радостно-смятенной бессловесности.

Коров у Анисьи было три: Ромашка, Зинка и Лада. Лада чуть погрузнее, попреставительнее — она мать, а Зинка с Ромашкою ее дочери. Все три были светлой масти цвета молока, самую малость приправленного кофе. И у всех у трех — белые чулочки на передних ногах и белые одинаковые пролысинки на узких и большеухих мордах, похожих на олени. Схожесть с оленухами им придавала еще и безрогость — и мать, и дочери комолы. Но в крестцах коровы были неожиданно высоки и разлаты, с тяжелым, прямо-таки неподъемным выменем, так что если бы одну из них, скажем, разрезать поперек, то, пожалуй, никто не признал бы, что обе части принадлежат одной и той же корове. Своей необычностью животные вызывали любопытство, и возле Анисьиного стойла всегда толкался народ.

Когда Анисье сказали, что поедет на выставку, она испуганно ойкнула и целый день скребла и чистила коров, хотя они и без того содержались в опрятности. Потом еще мыла их теплой водой с дегтярным мылом и уксусом, а хвосты — самые кисточки — даже расчесывала гребнем, так что они вовсе волнисто распушились. А приехавши на выставку, Анисья ревниво оглядела все, что доставили из других колхозов. Скотины навезли множество: с машин с зарешеченными кузовами сводили по доскам коров, телят, баранов невиданной породы — один лобастее другого, свиней всяких да еще с малыми поросятами. О птице и говорить нечего: каких только гусей не навезли! Больше всего Анисью занимали коровы, и, надо сказать, были среди них очень даже видные и статные. Но, возвращаясь к своей машине, дожидавшейся разгрузки, и еще издали увидев за бортовыми решетками своих коров, она тихо обрадовалась: свои всегда кажутся лучше.

Определив коров в стойло, Анисья больше не отходила от них все эти дни, каждую минуту находя себе дело. Праздник праздником, а и убрать за скотиной надо, и сено в кормушке поладнять, чтобы зря не топталось, и подоить три раза, потому как для коров и вовсе нет ни выходных, ни праздников: знай гони молоко. Затем их и показыва-



ли, что каждая за раз нацеживала по полной доенке. Это если посчитать, то ребятишкам на целую школу по стакану молока каждый день.

Спала Анисья в шумном, переполненном и прокуренном Доме колхозника, выстроенном тут же, на краю выставочного городка, где всю ночь горел свет, хлопали дверьми, а за хлипкими перегородками на мужской половине стучали в домино, горласто, подвыпивши, гомонили с непременным матерком, хохотали, пиликали на гармошке. Анисья не спала, а так, вздремывала на казенной провалистой койке, стесняясь раздеться как положено, сбросив одну только жакетку да резиновые сапоги. И даже во сне всё струились и хлопали выставочные флаги — так они за день намелькались в глазах.

Вскакивала еще до свету и, окликаемая сторожами, затаившимися где-то под навесами павильонов, бежала по пустым выставочным улицам. Лада узнавала ее еще издали, нетерпеливо и обрадованно взмывала. И Анисья, тоже радуясь, приговаривая: «Сейчас, девки, сейчас, родные», совала им сквозь решетку куски булки, оставшиеся после ужина.

В коровьем стойле, где пахло скотиной и сеном, где стояла доильная скамейка и висели ведра, ей было привычно, она чувствовала себя здесь куда как спокойней, чем в заезжем доме, и ей даже нравились эти ранние и тихие часы до открытия выставки.

Тем временем начинали доить и в других стойлах, позвякивали ведра и цепи, циркало молоко, перекликались выставочные пегухи в пропахшем антоновкой и капустой синем предрассветье, и, казалось, все было так, как на колхозной ферме. Молоко сливали во фляги и отвозили куда-то на машине. Потом по рядам развозили сено, и угрюмый казенный скотник, стоя на возу, сбрасывал пару-тройку навильников прямо на коровьи головы.

Анисье всегда казалось, что он скаредничает, обделяет ее коров, и она старалась украдкой выщипать из воза лишний пучок.

— Но-но! — кричал скотник, замахиваясь на нее вилами.

— Кинь еще маленько, — просила Анисья.

— Вот я т-ти кину...

— Насорил только...

Скотник отъезжал к соседнему быку, громыхавшему цепью за дощатой перегородкой.

Вечерняя дойка проходила тоже без посторонних, после того как схлынет гуляющая публика. Зато днем, когда выставка бурлила в полную силу, доить приходилось на людях. Анисья присаживалась перед Ладой, загородку обступали любопытные. Обмывая Ладино большое, отяжелевшее вымя, розоватое, покрытое легким белым пушком, сквозь который проступали голубые, напряженно вздутые вены, Анисья слышала голоса:

— Гляди, доит...

— Пацаны, айда сюда, тут доят!



Бежали глядеть ребятишки, останавливались взрослые.

Шумно налетала стая десятиклассниц в сопровождении не менее шумных своих одноклассников и, защебетав: «Девочки, побежали. Ну чего особенного? Не видели, как доят коров?» — останавливались посмотреть.

— Мам, а что тетя делает?

— Тетя доит молоко, Игоречек.

— То самое, что в садике?

— То самое...

Молодая женщина в голубом кожаном пальто, с пышно и высоко взбитой прической подняла сынишку над оградой. И круглощекий Игорек, одетый в розовый комбинезон под космонавта, заглядывая через изгородь, за которой, запуская языки в розовые парные ноздри, шумно жевали настоящие живые коровы, с каким-то испугом в округлившихся, немигающих глазах смотрел, как Анисья «делала» молоко — то самое, что в садике. Плядел он на Анисьины большие красные кулаки, которые часто мелькали, поднимаясь и опускаясь, и из этих красных кулаков, то из правого, то из левого, в ведро били мгновенные упругие молнийки. Ведро сперва голодно позванивало, потом показывалась белая пузырьчатая шапка, струи пропарывали пену отрывистыми хлопками, будто били по бумаге.

— Мам, а коровке не больно?

— Нет, не больно...

Анисья слушала лепет малыша и умилялась его любопытством и неведением: «Откуда же ему знать, — думала она. — Всё бутылки да бутылки. Ах ты господи!»

Она отставила тихо шипящую доенку, достала из своей авоськи, что висела на задней стенке, на гвозде, алюминиевую кружку, раздула пену и зачерпнула.

— А ну-ка, попей вот молочка. — Она обтерла ладонью донышко и протянула теплую кружку через изгородь. — Попей, голубчик. Не стоялое, от коровки толечко. Самое сладенькое, запашистое.

Малыш отпрянул от протянутой к нему кружки.

— Может, он меня чурается, так вы сами... Из своих рук. Коровка моя чистая и кружка сполоснутая...

— Что же ты? Как нехорошо... — укоряла сына женщина.

Игорек еще больше нагнул голову и вдруг заревел.

— Ах ты господи... — Анисья сконфуженно вылила молоко обратно в доенку. Обеим — и мамаше и ей — сделалось неловко.

— Пойдем, пойдем, — заторопилась женщина, — мы еще не видели лошадок. Хочешь посмотреть лошадок?

Иногда набегали обвешанные аппаратами фотокорреспонденты. Они ставили Анисью между коров, заставляли обнимать Ладу за шею или же совать ей в нос пучок сена.



— Ёловку вот так... — Фотограф брал Анисью за подбородок и воротил голову куда-то на сторону. — Не смотрите на меня. На корову смотрите, на корову... Вы ее кормите и ласково разговариваете... Очень хорошо... А где же улыбочка?

Анисья послушно поворачивала голову, подсовывала Ладе сено и старалась улыбнуться. Но губы, будто обмороженные, не подчинялись, и она еще больше немела лицом, а глаза заволакивались слезой от внутреннего напряжения, так что она уже не видела ни коровы, ни фотографа.

— Очень хорошо! А теперь запишем... Значит, Анисья Квасова... так... доярка...

— Ага, доярка, — облегченно выдыхала Анисья.

— Так... Ну и как вы добились такого успеха?

— Да как... Кормим, ходим...

— Передовой опыт, конечно, изучаете...

— Да есть брошюрки... У нашего учетчика.

— Значит, читаете, — подсказал корреспондент. Ему, видно, очень надо было, чтобы Анисья читала брошюрки, и он, не дожидаясь ответа, что-то записал в блокнот.

Анисья сконфуженно теребила Ладино ухо.

— Если хотите иметь фотокарточки лично, — сказал под конец фотограф, — могу занести.

После дойки Анисья полоскала ведро, стирала цедильную марлечку, снова прибирала в стойле, посыпала мокрые места песком, всякий раз боясь остаться без дела, потому что просто так торчать на людях под сотнями любопытных глаз было непривычно. А народ все валил и валил вдоль скотных рядов, и все непременно останавливались перед Анисьиной троицей.

— Петька, гляди, какая коровища.

— Ого!

— Дай ей покурить.

— Га-га-га!

— Мальчик, зачем же ты тычешь в корову папиросой? А еще, наверно, пионер.

Мальчишки шмыгнули в толпу.

— А вы знаете, Алла Павловна, я этим летом был в Нидерландах. И представьте — у них сплошь черно-рябые. Просто поразительно. Проехал всю Голландию — и одни черно-рябые.

— Эти тоже милые коровки. Смотрите, вымя какое. Особенно вот у этой. Не представляю, как она ходит с таким выменем.

— Голубушка, вы не скажете, почему они безрогие?

— Комолые, — пояснила Анисья.

— Как это?

— Без рогов которые.

— Первый раз вижу. Это что же, порода такая? Что-нибудь новое?



— Не знаю... — Анисья застеснялась своей неучености. — Так просто... Деревенская...

Она знала только одну породу — ту, что прошла с ней рядом через всю ее жизнь: таскала плут по одичалому, забурияненному в тяжкие годы войны полю, когда, кроме баб и коров, не осталось никакого другого тягла; волокла из леса к деревенскому пепелищу свежесрубленные кругляши, из которых вокруг уцелевших печей все те же бабы сами вязали венцы и забирали простенки; возила торф из болота и рожениц в больницу и с первой капелью телилась сама плоским, каким-то слежалым телком, с которым бледные, бескровные ребяташки играли с неделю, пока он учился вставать на нетвердые копытца, а затем играли уже в бабки из его костей.

Знала Анисья ту породу, что в бескормные зимы, встав на дыбки, обнажив тощий живот и усохшее, тряпичное вымя, скреблась по стене копытами, тянулась и выщипывала обледенелую застреху коровника и не сдыхала, не имела права околевать только потому, что чуяла поблизости, за хлевом, возню детишек, для которых она из последних своих соков нацеживала кружку-другую синева-того молока. Ее заносили в черные списки беспородных, выродившихся, пригодных только на головки кирзовых сапог, но Анисья знала, что если эту ребрастую, зачуханную горемыку покормить хоть бы один год досыта, подостлать ей свежей просяночки да не пинать, а найти для нее пару-тройку добрых слов на каждый раз, то вскоре она позабудет все свои прежние невзгоды, быстро наберет тело, шкура ее заблестит, забархатится, а до того сморщенное вымя нальется, отяжелеет и резиново распрямятся соски. И будет она каждую зорю перед закатом, издавая протяжный трубный мык по лугам, спешить ко двору, обрызгивая нетерпеливым молоком дорожную пыль и собственные копыта.

Такой породы и была ее Лада.

Она досталась Анисье от Клавдюхи лет семь, а то и все восемь тому назад. Тогда Клавдюха еще только начинала доярить, а до той поры кипятила воду, мыла фляги, иногда подменяла кого-нибудь на дойке — приноравливалась к делу. Анисья помнила ее еще совсем пигалицей: худющей, безгрудой, в маломерковом надставленном платишке, с мышинными хвостиками косиц, схваченных по концам марлевой тесемкой.

Когда Клавдюха начала доить самостоятельно, ей спихнули самую никчемную скотину: тугососых, бодливых, застарелых яловок. Но Клавдюха и этому была рада. Бывало, бежит с доярками в луга, старается не отстать от спорого бабьего шага, на руке песком начищенный подойник, а на дне его — кусок хлеба, чтобы коровы к ней привыкли.

Досталась Клавдюхе и эта самая Лада — тихая, замученная оводами безрогая животиная... Ладу безнаказанно бодали, из-под



носа отнимали пучок травы, она ходила с пропоротыми боками, в ссадинах, старалась отделиться от стада и пастись одна, так что поневоле была самой блудливой коровой. За это пастухи ненавидели ее и лупили чем попадя.

А тут еще в те годы с кормами было худо. Ровные, открытые луга, а стало быть, и самые тонкотравные и укормистые, запахивали под кукурузу. Скотина бродила по кустарниковым неудобьям, дожидаясь, пока вырастет кукуруза. И получалось, что в самый травный месяц май, когда к тому же план по молоку подвалил высокий, кормиться было нечем. В это-то время ихний председатель Иван Тихонович и распорядился поддержать коров мучной болтушкой. Приказ был такой: за каждый надоенный литр — сто граммов муки. Дала корова десять литров — получай кило... Дала пятнадцать — получай полтора. Такая была заведена коровья сдельщина: кто не доится, тот не ест. Ну, а поскольку Лада давала не больше двух-трех кружек, ей ничего и не причиталось из председательской премиальной оплаты. Да и другим Клавдюхиным горемыкам за их нерадение тоже доставалось что ни на есть на самую понюшку.

Бегают с ведерком Клавдюха, а надоев никаких. Всё, бывало, пишут ее фамилию на самом последнем месте. Иной раз подойдет Клавдюха к Доске показателей, смотрит, а сама ногти грызет.

Заикнулась как-то Анисья Ивану Тихоновичу, чтобы Клавдюхиным коровам мучицы прибавили, а он: «Ты давай знай свое. У меня план трещит, а я тут буду с дармоедами нянькаться. Пусть она на таких учится. На заводе ученику тоже не сразу хороший станок дают». Такой суровый человек этот Иван Тихонович...

Тем же летом по Троице случилась у Клавдюхи неприятность. Поймали ее за нехорошим делом. Стала подливать в молоко разведенный мел. И как она такое удумала? Дошло до Ивана Тихоновича. А он сразу: «Позвать сюда Клавку! Ты что ж, говорит, делаешь? Тебе колхоз доверие оказал, а ты пакостишь». Да еще судом прирозил. Может, он и несерьезно это, судом-то, так только, пострадать, ну а Клавдюха еще пуще оробела да в тот же вечер как ушла из кабинета Ивана Тихоновича, так и не пришла больше домой. Ни справки, ни полсправки не взяла, как была в одной жакетке, так и пропала. С тех пор Клавдюха больше и не появлялась в деревне.

...Спросили у Анисьи невзначай про Ладину породу, а вся эта история и припомнилась ей. И долго она еще припоминала, откуда юшла ее Лада, а заодно и о многом другом передумала, и как-то выходило, что комола не одни только коровы бывают, а и человек тоже, и всяк может боднуть и отпугнуть от своего стада.

После Клавдюхи никто больше не хотел брать к себе Ладу. Иван Тихонович распорядился списать ее и свести в районную столовую. Пастух Сашка Севрюк побег ловить, накинул веревку на шею и, легоча и злорадствуя, надавал Ладе сапогами под бока. Уж больно



насолила она ему своей блудливостью. Тут-то Анисья и отняла у него корову и забрала себе, в свою группу. Уж и походила она за ней, как за бездомной сиротой. Обмыла застарелые струпья, смазала чистым дегтем. Да еще оставалась после дойки в лугах, уводила с собой Ладу подальше, куда-нибудь в укромное, незатоптанное местечко между болотцами, где по влажным берегам росла угонистая разновсячина. Днем пасла ее особо от стада, а на ночь ее к себе домой пригоняла: то бурачка ей подкрошит, то пойлица соберет. Был у Анисьи припасен чувал отрубей, собиралась поросенка завести, да весь мешок на Ладу и извела.

А там и в колхозе с кормами посвободнело, что-нибудь лишнего да подкинет Ладе. Ну и повеселела коровка, в один год выладнилась, откуда что взялось: и грязь к ней не стала липнуть, как раньше, когда взъерошенная ходила, да и шерсть как-то покорочела, а на лбу даже завиваться начала такими вензелями, какие и в парикмахерской не уложишь, да и сама вроде бы сделалась выше и легче, будто на каблучках стала ходить. И пошли у нее каждую весну теленочки один другого лучше. И вот ведь удивительно: ничто к ней не приставало, никакая примесь. Отец Зинки с Ромашкою — здоровенный дурила, темные полосы по бурым бокам и рога — впору трехведерные чугушки из печи вынимать, тигра полосатая с рогами, да и только. Но Лада упорно ничего этого не принимала, и телятки росли безрогими и светленькими — тютелька в тютельку сама Лада. Иван Тихонович удивлялся: что за чертовщина, ты, говорит, Аниска, слово какое хитрое знаешь... На выставку послал. А теперь вот фотографируют, породой интересуются. А порода все одна — руками выхоженная.

...Натоптавшись за день до застарелой простудной ломоты в ногах, Анисья иногда присаживалась на скамейку в укромном месте за коровами. За изгородью мельтешила разноголосая публика, гремели музыкой и песнями репродукторы, но Анисья, уже ничего не воспринимая, в первый же день пережив праздничное возбуждение, роняла красные суставистые руки, какие бывают только у доярок и прачек, себе в подол между коленок и забывалась в недвижимом покое, а то и просто задремывала. А иногда вдруг начинала томиться всей этой сутолокой и высчитывать, сколько ей еще сидеть тут. И принималась думать о доме. Виделась ей деревня: белые хаты по косогору, будто кто расставил пиленные рафинадные кубики. За десять верст светит белым деревня, особенно теперь, по осени, когда воздух ясен и студён. Перед каждой хатой вниз, к синей притихшей речке, забрызганной палой ракитовой листвой, тянутся полосы огородов: одни еще в жухлой зелени — там, где не копали картошку, другие свежечерные, перерытые, и по ним белые крапины гусей. Витька с Галькою теперь тоже копают огород: Витька небось разделся, чертенок, до майки, пыхтит, шурует лопатой и все лается на Гальку, чтоб швыдче подбирала, потому что



ему не хочется после копки еще ползать на карачках и помогать Гальке собирать картошку. Ну, а та не спешит, разглядывает, как всегда, картофелины: то ей поросенок почудится, то баба с головой, с перехватом в поясе. Да и много ли накопают они вдвоем, без нее — дети ведь... А еще и перебрать надо, и посушить, и в подполе засыпать, да и яму на огороде почистить. Мужичье это дело, а какой из Витьки мужик — двенадцатый годок: задачки пишет — книжки под себя подкладывает, чтобы повыше сидеть... Никак не хочет ходить в школу, пострел, с ремнем да с хныком, с самого начала нахватал двоек, учительница приходила выговаривать. Ну, а теперь ему без матери и вовсе своя воля...

— Есть горячая кукуруза! За початок — пятачок! За пару — грии-венничек!

— Пап, посмотри, какая рогатая корова.

— Какая же это корова? Это бык.

— А что у него в носе? Пап, что?

— Гражданин Метелкин! Вас у главного входа ожидает жена. Повторяю...

...И коровы брошены. Этим-то ничего, Ладе да Зинке с Ромашкою, эти при ней, обхоженные, а ведь там еще девять хвостов осталось, окромя своей во дворе. Назначили Нюрку Хмызову доглядать, дак какая Нюрка хожалка: надсмотрит — надоит, за неделю коров не узнаешь от такого надсмотра — ветер в голове. А еще небось ден пять сидеть, руки связамши... Ладно бы сбегать на ярманку, посмотреть Гальке с Витькою обувки да так чего, селедок да бубликов, а то все порасхватают к закрытию, и уедешь ни с чем. Скажут, была в городе, а гостинцев не купила. Хорошо бы вдвоем сидеть: можно кому и отлучиться, по ларькам походить...

*Буду петь да тебя целовать —  
Научи на гармошке игра-а-ать!*

— А вот я тебе побалую за уши... побалую...

— Кукуруза горячая! Кукуруза!

...Говорила председателю, Ивану-то Тихонычу, чтоб вдвоем с кем-нибудь с коровами ехать. Да нет: а что ты там будешь делать? Сено казенное, общий скотник будет раздавать, воду тоже не таскать, автопоилки по рядам устроены, сиди да посиживай... Не больно рассладишься при людях-то... Поперву хотя сам Иван Тихоныч заглядывал, справлялся. Ты, говорит, книжку отзывов на видном месте держи. Пусть записывают. Любит он, чтоб записывали... А вчера и нынче что-то совсем не казал носу Тихоныч, должно, загулял с начальством, не идет, не спрашивает... И откуда только народ набирается: и валит, и валит. Пятый день выставки, а он все колготится. Шутка ли, каждому надо по булке да по куску мяса, сколько всего на каждый день! Люду, как муравьев, и каждому давай... А так все красиво устроено: павиль-



оны, что тебе дворцы или театры, и флаги, и музыка. Отсюда, со скотного, глядеть — и то красиво. Вот бы Витьку-то моего с Галькой сюда, нагладелись бы, набегались. Чудес-то всяких...

— Ай задремала, девка? Кличу, кличу...

Перед Анисьей выросла грудастая фигура Доньки Матюхиной, телятницы из ихнего района. Ее стойло находилось за быками, на том краю рядов.

Анисья встрепенулась, поднялась со скамейки.

— Чтой-то задумалась... Думки взяли... Дома-то все брошено...

— Нашла об чем горевать. Пошли лучше обедать.

Донька была без халата, в канареечном шелковом плаще, плотно обтягивавшем крепкую центнерную фигуру на коротких толстых ногах. Поверх плаща на могучей Донькиной груди, как на комоде, лежала медаль «За трудовую доблесть». Донька человек бывалый и на выставку приехала с телятами уже по третьему разу.

— Давай собирайся.

— Дак ведь как же...

— Куда они к ляду денутся! Накормлены, привязаны.

Донька, шурша плащом, фасонисто прошлась по стойлу, похлопала Ладу по бокам. Она была в хорошем настроении.

— С тебя вообще-то должно причитаться. За таких коров, вот увидишь, швейную машинку отхватишь.

— Смеешься все. — Анисья развязала тесемки на рукавах халата.

— Ая тебе говорю: отхватишь. Лучше твоих коров нынче никто не привез. Так что машинка обеспечена.

— Да за что машинка-то?

— Такса такая: за первое место швейную, за второе — часы, а у кого третье — тому отрез на платье. Не веришь, Марью нашу спроси, она уже четыре машинки отхватила. Каждый раз по «тулке».

— Чудно. Зачем ей столько? Одной хватит, а к ней еще чего б дали...

— Да разве упомнят там, кому что раньше дадено? Я и то двое часов схлопотала. Одни продала, а эти — вот они: тикают, голубчики! Так что давай, девка, собирайся, в ресторан пойдем.

— Куда-а? — Анисья испугалась и перестала развязывать халат.

— Куда, куда... Закудахтала, смотри, снесешься.

— Ой, да ну тебя с твоим рестораном! Выдумает тоже... Я уж тут перекусила...

— Знаем мы эти перекуски... На зеркальце, причесывайся, а я от народа загорожу.. — Донька растопырила полы плаща на жарко-пламенной подкладке, занавешивая Анисью. — Хороший я себе макинтошик подцепила? На ярмарке давали.

— Яркий дюже...



— Наплевать. Хоть теперь веселенькое поносить. Самые хорошие годочки в серых ватниках прошли... Глянь-ка, как городские одеваются: шляпа не шляпа, пальто не пальто. А мы что, хуже, что ли... Брехня, вот еще шпильки себе куплю. Фу-ты ну-ты...

— Чево тебе не носить, ты еще молодая...

— А ты как старая! — Донька усмехнулась, оглядывая Анисьин коротенький плюшевый жакет, из-под которого белел оборчатый передник. — Ты себе тоже плащ купи. Теперь такие уже не носят.

— Это еще от свадьбы.

— И передник сними. А то в ресторан не пустят.

— Ой, бес тебя поднес... Не пойду я никуда... Иди сама, если приспичило.

— Я шучу. Пустят. Сегодня наш праздник. Хочешь подкраситься? — Донька вынула из кармана пластмассовый патрончик с помадой и подбросила его на ладони.

— Что ты, что ты... — испугалась Анисья.

— Как хошь... А то давай, разрисую. Плядишь, какой влюбится. Бабий век — сорок лет, а в сорок пять — ягодка опять...

— Ой и брехло ты, Донька!

Анисья наспех прихорошилась, перевязала платок поладнее, пошоркала тряпкой резиновые сапоги и, попросив посмотреть за коровами соседа-старичка, дежурного возле утрюмого бугая с кольцом в ноздрях, побежала вслед за Донькой.

Ветер рвал из рук мальчишек разноцветные шары на нитках, в глазах рябило от всплесков кумача, от яблок, капусты, колосьев и всяких лозунгов и диаграмм, радио играло какую-то хорошую музыку, и к Анисье снова вернулось праздничное настроение, перемешанное со щемяще-сладким испугом.

— Удумает же такое — в ресторан! — восхищалась Анисья Донькой.

Белый, ажурный, с широкими застекленными верандами на все стороны, с высоко бьющим рассыпчатым фонтаном перед входом, весь в гирляндах разноцветных лампочек и флажков выставочный ресторан гудел народом, как улей во время взятка.

Анисья, невесомая от робости, стесняясь взглянуть по сторонам и видя перед собой одну только канареечную Донькину спину, тлблялась вслед на ней в дымный гул зала.

Они прошли к только что освободившемуся столику у края веранды с видом на примыкавший к выставке молодой сажень сосняк.

С непривычки робея даже перед ресторанными стульями, Анисья деликатно примостилась на краешке красного изогнутого сиденья и с преданностью и чуткой готовностью посматривала на Доньку, как будто вся ее, Анисьиная, жизнь теперь зависела от одной Доньки.



Зал гудел. Как на молотбе, стучали вилки и тарелки, пушечно выстреливали пробки, пахло жареным луком и кофе, то здесь, то там прокатывались взрывы смеха. Маячили покрасневшиеся лица, которые Анисья видела будто сквозь запотелое стекло, — не лица, а какие-то жаркие пятна, постепенно таявшие в глубине зала, в дымном табачно-луковом тумане. За некоторыми столиками Анисья успела разглядеть женщин, тоже покрасневшихся, большинство в пестрых цыганских платках, сдвинутых за спину или распущенных по плечам.

У многих на груди поблескивали медали.

В дальнем углу зала пела наряженная в сарафан певица. Песня долетала урывками, и Анисья видела только, как певица раскрыла рот, будто ей не хватало воздуха.

Анисье было непривычно видеть такое шумное, праздничное застолье, наблюдать сразу столько заслуженных людей, которые так вот просто ели, пили, говорили и смеялись. Будь это не в ресторане, а в простой избе, все это походило бы на веселую свадьбу. Свадебную праздничность всему пиршеству придавали своим бесшумным мельканием белолицые улыбающиеся официантки, все как одна в голубых кашемировых платьях и накрахмаленных фартучках. Анисья засматривалась, как они в этой толчее сноровисто и легко, будто плавали меж столами, несли горы тарелок и бутылок на высоко поднятых подносах и при этом улыбались, будто всех знали, любили и были бесконечно рады такому наплыву гостей. Они были все хорошенькие, чем-то похожие в своих кружевных чепцах на подвенечных невест, и Анисье казалось, что не эти невесты должны разносить тарелки, а наоборот, их самих надо посадить в красный угол, подавать все в первую очередь и кричать: «Горько!»

Есть Анисье уже не хотелось, она вовсе забыла про еду и с пугливо-радостным любопытством смотрела в зал, будто с улицы подглядывала в свадебное окошко.

— Быр-быр... тыр-тыр, — сказала что-то Донька.

Анисья, ничего не поняв, растерянно улыбнулась и в знак согласия кивнула головой. Она была согласна со всем, что говорила или могла сказать Донька.

Донька засмеялась:

— Чего киваешь? Есть, говорю, что хочешь?

— А что ты, то и я.

— Ну вот слушай. Я буду читать, а ты замечай.

Донька разложила перед собой толстую клеенчатую папку и, заправляя пальцами за уши жиденькие завитые кучеряшки, принялась вычитывать названия еды.

— Салат «Выставочный»... Осетрина заливная... Рыба под маринадом... — После каждого названия Донька поднимала глаза и



вопросительно глядела на Анисью. — Да ты что палишься по сто-  
ронам? Ты давай слушай... Вот отхватишь первое место... Еще и  
депутатом выберут... Наездишься, наглядишься...

— Да подь ты! Не кричи-то громко.

— Гляди-ка, а вон и наш Иван Тихоныч сидит. — Донька при-  
ставила палец к строчке в меню и указала глазами в зал.

И верно, в середине зала среди незнакомых лиц виднелась по-  
хожая на мучной куль туго обтянутая спина Ивана Тихоновича. Он  
разламывал и аппетитно вычмокивал большого красного рака, и  
шея Ивана Тихоновича, тучная и тоже красная, все время вздра-  
гивала, набегая складкой на ворот пиджака. Стол перед ним был  
завален красными рачьими ошурками, в опорожненных бутылках  
шевелились и лопались глазастые пивные пузыри.

— А ты знаешь, с кем он сидит? — сказала Донька.

— Что-то не признаю.

— Да с Катькой! Дроновская ветеринарша.

— И правда.

— Гляди, гляди, как он возле Катьки-то увивается, старый  
хрен... Значит, так... Рыба под маринадом... Чепуха, треска какая-  
нибудь... Салат из помидоров... Видали мы такие... Вот! Икра чер-  
ная! Ух ты, елки зеленые! — Донька воткнула палец в буквы и по-  
смотрела на Анисью. — Берем, а?

— Не знаю... Как ты...

— Берем! И шпроты попробуем... Гулять так гулять!

Донька предлагала все заковыристое: выбрала какой-то «суп  
пити», да еще по ромштексу с луком и с яйцом, да по кофею с лимо-  
ном, и Анисья только кивала с удивлением.

— Обалдела девка! Куда сразу столько? Небось на великие день-  
ги замахнулась.

Тем временем певица в сарафане, исполнив еще несколько пе-  
сен, ушла под нестройные хлопки, и сразу же из-за своего столика  
привстал Иван Тихонович с обломком рака в руке. Лицо у Ивана  
Тихоновича просторное, нарощенное с боков и снизу, под подбо-  
родком, и все, что на нем было размещено — и круглые, глубоко  
запрятанные глазки, и вперед устремленный нос, и жесткий посе-  
чик усов, — все кучно располагалось на самой середине лица, в то  
время как вокруг еще оставалось много пустого, незанятого места.  
Иван Тихонович простер в зал руку, требуя к себе внимания. На-  
прягаясь лицом, побагровев, он низко и силно запел, поводя перед  
собой раком, будто дирижерской палочкой:

*Есть на Во-о-олге у-у-тес...*

Анисья никогда не видела этого вечно насупленного, что-то сооб-  
ражающего человека поющим, и теперь лицо его сделалось каким-то  
незнакомым. Он пел трудно, с мученическим выражением оттягивая



книзу углы рта, — будто не пел, а плакал, — и она сразу же заперевалила, проникаясь к Ивану Тихоновичу сочувствием: как бы не осекся.

Улыбаясь, покачивая головой с легким укором, мимо прошла бело-голубая официантка, неся большую вазу с фунтовыми антоновками. Иван Тихонович преградил ей путь, еще энергичнее замахал перед ней раком, приглашая петь вместе. Но та легонько отстранилась, и Иван Тихонович, сконфуженно оглядываясь, махнул рукой и опустился на стул.

Неслышно, как тень, к Анисьиному столику подошла официантка и принялась убирать на поднос грязную посуду. Анисья встрепенулась и хотела было помочь, но та притронулась к ее плечу и чистым полотенцем смахнула хлебные крошки со скатерти. Потом поправила солонку с перечницей, достала из фартучного кармашка чистые вилки и ложки и положила их попарно перед Анисьей и Донькой. И пока она это делала, мелькая оголенными руками, Анисья испытывала стыдливую неловкость за свое праздное сидение. Она не привыкла, чтобы за ней вот так ухаживали, и, когда случилось бывать на деревенских празднествах, войдя в избу, первым делом принималась помогать хозяйке.

Пережидая песню, официантка оперлась пальцами правой руки о край столешницы. На безымянном пальце туто врезался перстень с голубым стеклышком.

«Чистая работа, — подумала Анисья. — Ногти крашеные». И украдкой снизу вверх посмотрела в лицо официантки. Посмотрела, не поверила своим глазам, еще раз взглянула и опешила: «Да неужто Клавдюха?»

— Так... Что желаете кушать? — вежливо спросила официантка совсем знакомым голосом, отчего Анисье стало даже неловко.

Донька начала перечислять еду, водя пальцем по строчкам в клеенчатой папке, а Анисья все вглядывалась и вглядывалась снизу вверх на спокойно стоявшую рядом официантку и все больше про себя изумлялась: «Господи, Клавдюха! Клавдюха и есть!»

— Что тут у вас на второе? — Донька запуталась в меню.

— Из вторых — лангетик, шашлычки по-карски... — с доброй услужливостью отозвалась Клавдюха. — Но лучше возьмите гуся с яблоками — это наше фирменное блюдо.

— Давай гуся, — кивнула Донька.

— Пить что желаете? Крюшон, апельсиновый напиток, соки натуральные, кофе черный с лимоном.

И опять Анисье было странно слышать, как Клавдюха свободно выговаривала заковыристые слова. Хотелось заговорить с ней по-родственному, но что-то мешало, да и сама Клавдюха то ли не узнала, то ли делала вид, что не узнала Анисью.

Записав заказ себе в блокнотик, Клавдюха забрала грязную посуду и пошла. Анисья посмотрела ей вслед. Шла она легко, часто



постукивая тонкими каблучками белых туфель. И опять не верилось, что это та самая Клавдюха, тетки Клепихи дочка.

— Нашенская, — нагнувшись к Доньке, вполголоса сказала Анисья. — Из одной деревни мы... Вместе на ферме работали.

Донька обернулась и проводила Клавдюху долгим взглядом.

— Скажи пожалуйста... Отойди-подвинься... Что ж, признала тебя-то?

— Может, не разглядела, — с сомнением сказала Анисья. — Столько лет прошло.

— Заелась небось... — возразила Донька.

Анисья посмотрела на кухонную дверь, за которой скрылась Клавдюха, и сказала:

— Неловко как-то получилось...

— Что неловко?

— Да как же... Мы тут сидим, а она прислуживать нам будет... Вроде как барыням. Кабы не наша была...

— Вот пусть и поприслуживает, — фыркнула Донька. — За красивой жизнью погналась.

— Грех вышел у нее. Она и ушла со стыда.

— В подоле притащила?

— Да нет... Молоко мелом разбавила.

— То-то, гляжу, глаза непутевые.

— Судить хотели... А была такая старательная да понятливая. Еще девчоночкой на ферме прибилась. Дома у них было — не приведи господь: раку не за что ухватиться. Все, бывало, на ферме в поддувале скотскую картошку пекла... Я ей и насоветовала в доярки проситься... А оно вон как получилось-то...

— Она и тут небось разбавляет...

— Тише ты, вон она идет, — прошептала Анисья.

Приподняв над кружевным чепцом поднос с тарелками, Клавдюха снова пробиралась между столиками. Анисья выжидательно всматривалась. И, уже подойдя к столу, Клавдюха встретила Анисьиными глазами, будто напоролась на острое.

Анисья, сама не понимая для чего, приподнялась со стула. Они молча смотрели друг на друга, и обе покраснелись от неожиданности встречи.

На располневшем Клавдюхином лице малиновел напояженный рот. Ресницы ее были незнакомо черны, от уголков глаз тянулись к вискам полосы, намалеванные чем-то зеленым, а над белым чепцом торчала копна резко-желтых, тоже не Клавдюхиных волос. Все на ее лице было неприятно-чужое, и только глаза, голубенькие кругляшки с удивленно расширенными зрачками, оставались прежними, Клавдюхиными.

— Стало быть, тут ты... — Анисья перевела взгляд на Клавдюхины белые туфли.



— Да вот, видите... — Клавдюха совсем сконфузилась, и глаза ее беспокойно и виновато забегали.

— А я гляжу — ты ли, нет ли... И ты, и не ты...

Клавдюха опустила поднос и, все так же пылая лицом, переживая неловкую внезапность встречи, старательно и как-то даже торжественно расставила на столе посуду с закусками.

— Так, так... — твердила Анисья, не зная, что еще сказать.

— Да вы кушайте, кушайте, — услужливо говорила Клавдюха, поправляя перед Донькой и Анисьей тарелки.

Донька, поджав губы, откровенно и неприязненно разглядывала официантку.

— Принеси-ка нам шампанского, — потребовала она.

— А и правда, выпейте, — оживилась Клавдюха. — Праздник ведь! Сейчас сбегаю...

Она проворно побежала за вином.

— А что? — Донька подпушила свои кучеряшки. — Пусть посмотрит. А то небось думает, кофею ее обрадовались.

— Дак, поди, дорого будет-то?

— Наплевать. Я плачу. Еще сейчас и по полкило мороженого закажу.

Запотелая бутылка с посеребренным горлом шарахнула пробкой из Клавдюхиных рук, ясно-золотистое вино закипело в фужерах. Сидевший за соседним столиком грузный, наголо обритый мужчина скрипуче повернулся на бутылочный хлопок.

— Дают колхознички жару! Какого района будете?

— До нас сто верст шляхом, а там то рысцой, то шагом. — Донька выпила фужер шампанского одним духом, как самогонку.

Мужчина захохотал так, что на пиджаке зазвякали медали.

— Давай перебирайся сюда, в мой колхоз, — сказал он, отодвигая на столе тарелки.

— Мы сами казаки с усами, только сабли не пристегнуты.

— Ай да девки!

Анисья тоже глотнула. Шампанское защемило в носу, слезой ударило в глаза. Она поддела вилкой смуглую шпротину в зеленом крошечке лука.

— Может, выпьешь с нами? — сказала Клавдюхе.

— Глоточек за встречу выпью, — согласилась Клавдюха и подтянула к столу незанятый стул. — Я на одну секундочку только. Там ведь еще четыре моих столика.

Опять вышла певица, на этот раз в блескучем черном платье и черных до локтей перчатках. Позади нее выстроились три музыканта, одетые в одинаковые белые пиджаки, с черными бантами под шеей. Замурлыкал аккордеон, и один из музыкантов принялся постукивать чем-то похожим на детскую погремушку с горохом.



Клавдюха убежала на кухню за обедом. Донька снова разлила шампанское.

— Мне бы хватит... Доить еще... — запротивилась Анисья.

— Ладно тебе... Держи свою марку.

Анисья отхлебнула три жарких ложки супа и распустила под шеей концы полушалка. Донька налила себе еще вина и выпила дочиستا... Плаза ее блестели.

В глубине веранды пели что-то быстрое, веселенькое:

*А парни важности полны,  
Придирчивы ужасно.  
И остаются вдоль стены  
Пришедшие напрасно...*

Певица, пощелкивая черными перчаточными пальцами, подходила то к одному, то к другому музыканту, и все, улыбаясь ей, кивали одинаковыми черными головами с одинаковыми проборами.

*Стоят девчонки; стоят в сторонке,  
Платочки в руках теребят,  
Потому что на десять девчонок.  
По статистике девять ребят.*

— Веселая у тебя работенка, — не то позавидовав, не то подко-  
вырнув, сказала быстро захмелевшая Донька. — С музыкой.

— Ой не говорите! — Клавдюха закрыла уши ладонями. — Так за вечер наслушаешься! Придешь домой, а в ушах все музыка гремит. Мы тут временно, пока выставка, а в будни я в городском ресторане работаю. Так там до самой ночи.

— Музыку стерпеть можно, — сказала Донька, разглядывая то Клавдюхин чепчик, то зеленую подкраску на глазах. — Я б всю жизнь под музыку телят выхаживала...

Клавдюха промолчала и, опустив ресницы, принялась катать на столе хлебный мякиш.

— Пойду за столик получу, — сказала она, вставая.

— Вот ведь как... — вздохнула Анисья.

Она задумалась, подперев кулаками щеки.

— Пляди-ка! Иван-то твой Тихоныч, — кивнула Донька.

Иван Тихонович и Катька сошли с веранды и, обогнув ту ее сторону, где у края сидели Анисья и Донька, побрели прочь от ресторана. Иван Тихонович, нетвердо ступая, держал Катьку под локоть и все говорил ей что-то на ухо, зарываясь усами в ее волосы.

— Ай, комедия! — Донька щурилась на них, горя кошачьими глазами. — Пошли малину собирать. Кино прямо!

Вскоре сосед переманил Доньку за свой стол. Она забрала гуся с яблоками и пересела. Сосед оживился, вызвал Клавдюху, заказал коньяку и плитку шоколада.



— И еще что-нибудь этакое... — Он побренчал в воздухе пятерней. — Фруктов, фруктов...

Донька хмельно хохотала и делала из-за спины соседа знаки Анисье: дескать, почему бы не погулять.

Анисья качала головой и стыдливо отворачивалась: ох уж и баламутка...

Клавдюха прибрала им стол и принесла заказанное угощение: графинчик с коньяком, шоколадку и большой полосатый арбуз.

Придерживая рукой вершок, Клавдюха ловко расхватила арбуз вдоль полосок так, что он при этом не развалился, а только пустил розоватые слезки по надрезам. Но когда она убрала руку, арбуз мгновенно раскрылся алым цветком на черном подносе.

Анисья невольно подивилась Клавдюхиной ловкости. «Тоже, видать, проворность нужна», — подумала она. Разрезав арбуз, Клавдюха опять под села к Анисьиному столику.

— Значит, на выставку...

— Да вот все с коровами. Трех привезли.

— Не бросаете...

— Да уж куда теперь бросать. Теперь уж до пенсии.

— Да-а.

Разговор не вязался. Но Клавдюха не уходила и в раздумье переставляла на столе пустой фужер.

— Мама-то твоя померла, — сказала Анисья.

— Знаю... — Клавдюха потупилась.

— Похоронили мы ее... У прудовой стежки положили.

Клавдюха прикрыла глаза рукой, губы нервно задвигались под ладонью.

— Ну будя, будя, — тоже расстроилась Анисья. — Ничего все, ничего, обошлось... Вот, гляжу, обуто-одета. Тут столуешься али как?

Клавдюха, не отрывая руки, кивнула.

— И то ладно. Копейка лишняя задержится.

— Все у меня есть, тетя Анисья, — вспыхнула Клавдюха. — И тряпки, и сыта...

— Ну будя, будя...

В зале застучали вилкой по графину.

Клавдюха вздрогнула, быстро достала платочек, вытерлась и побежала на зов.

Анисья видела, как она раза два проходила между столиками, шла, как и прежде, легко, приветливо прося посторониться, улыбаясь, и в своем казенном бело-голубом наряде снова походила на счастливую невесту.

Из ресторана Анисья выходила одна: Донька осталась досиживать с тем самым бритым соседом.

«Баловство все это», — с осуждением думала Анисья о себе, вспоминая, как Донька выложила за обед красненькую.



Клавдюха не хотела было брать с них денег, говорила, что, мол, все это пустяки, не стоит беспокоиться, но Донька и слушать не пожелала. Она сунула десятку в карман передника Клавдюхи и от-  
вернулась с неподступным видом.

После ресторанной дымной сутолоки на площади было свежо и просторно. Анисья невольно задержалась на ступеньках. Перед ней из фонтана бил толстый жгут воды. Водяная пыль от фонтана долетала до самого крыльца и приятно холодила разгоряченное Анисьино лицо. Радио играло «Амурские волны», и было радостно и в то же время почему-то грустно слушать эту красивую музыку.

— Чтой-то я загуляла нынче, — вздохнула она и сошла со ступенек.

И, вспомнив про своих коров, она торопливо пошла вдоль павильонов. Витрины и стеллажи ломились от всякой всячины, но она нигде больше не задерживалась и, поглядывая на низкое солнце, думала о том, что скоро опять начнут раздавать казенные корма и ей надо успеть к раздаче, чтобы коровам положили сена как следует. После праздного сидения в ресторане мысли о предстоящем деле — раздаче кормов и вечерней дойке — доставляли ей даже тихое удовлетворение.

— Баловство все это, — повторяла она, шагая и с упреком думая о выпитом шампанском. — Целую пенсию просидели...

Лада еще издали заметила Анисью и нетерпеливо и обрадованно взмывала.

— Иду, иду, — отозвалась Анисья, затворяя за собой калитину загона и на ходу снимая со стены халат.

Солнце опустилось за павильоны. Быстро за вечерело. Включили лампочки. Народ еще потолокся немного и стал постепенно расходиться. Репродукторы объявили о закрытии выставки и смолкли. В наступившей тишине стало слышно, как на другом конце скотных рядов скрипела телега и сердито тпрукал на лошадей скотник: начал развозить вечернее сено.

Получив свою порцию и засыпав сено в подвесные кормушки, Анисья немножко посидела на своей скамейке. Она сидела и прислушивалась к тому, как где-то за выставкой, за темной стеной саженных сосен все еще бурливо и неугомонно шумел город: выстукивали колесами трамваи, что-то пыхтело и шипело паром и еще что-то непрестанно и пчелино гудело — то ли от перепутанных проводов, то ли от скопления народа.

Посидев так еще минуту, Анисья устало приподнялась и не спеша принялась готовиться к дойке.

Она опростала сперва Ладу, потом Зинку и уже заканчивала доить Ромашку, как вдруг почувствовала за своей спиной чье-то присутствие. Анисья обернулась.

Опершись о калитку, плохо различимая в тени навеса, стояла женщина, видимо уже давно наблюдавшая за ее работой. Анисья



подумала, что это возвратилась из ресторана подгулявшая Донька, но женщина негромко отозвалась, и Анисья узнала Клавдюхин голос.

— Доите, тетя Анисья? — спросила она с робкой уважительностью.

— Да шабашу уж...

— А я с работы. Думаю, дай забегу...

Она просунула сквозь решетку руку и поворошила в кормушке сено.

— Да ты заходи, — сказала Анисья. — Я сейчас...

Клавдюха несмело вошла в калитку. На ней было легкое голубое пальто и тонкая паутинно-прозрачная косынка поверх высоко взбитых волос.

— Хорошо тут у вас, — вздохнула Клавдюха и теплым взглядом окинула нехитрое Анисьино хозяйство: ведра на гвоздях, вилы, стираную марлечку на веревке у задней стены. — Сено хорошо как пахнет...

Она остановилась позади Анисьи и задумчиво глядела на ее быстро мелькавшие под брюхом коровы жилистые руки. Колкие струйки глухо зарывались в нежную пену переполненного подойника.

— А кто ж еще из наших? — помолчав, спросила Клавдюха.

— На выставке-то? Да кто... Иван Тихоныч...

— Видела я его. Каждый день на веранде сидит.

— Признал-то хоть?

— Узнал! Все предлагал выпить на мировую. Дескать, строго тогда было...

Анисья промолчала.

— А я не только выпить, а и смотреть на него не могу, — тоже помолчав, сказала Клавдюха. — Столько потом натерпелась. И в копне ночевала... И на вокзале... Как тогда из дому ушла... И в няньках была, тарные ящики сколачивала, асфальт заливала, пока ногу смолой не ошпарила... А сколько углов по чужим домам да баракам пересчитала. Верите?

— Да уж известное дело — не дома, — сказала Анисья.

— Бывало, уткнусь в подушку и реву. Даже матери не писала, чтоб не знали, где я и что... И вас, тетя Анисья, поди, тоже ругали за меня. Наверно, сердитесь на меня.

— Ну да что ж теперь толковать... — Анисья поднялась со скамейки и принялась процеживать молоко во флягу.

Делала она все с той спокойной и уверенной сноровкой, с какой Клавдюха в прошлый раз разрежала арбуз. И Клавдюха в свою очередь тоже загляделась на Анисью. От широкой струи, округло сбегавшей из подойника во флягу, тонко запахло парной молочной свежестью.



— А коровки у вас хорошие. — уважительно сказала Клавдюха.

— Да это же Лада твоя. Помнишь Ладу-то?

— Да неужто?

— Она, Клава, она.

— Ой, да какая ж она стала! Да какая же..

Клавдюха робко прошла между коров к кормушке.

— Неужели Лада? Тетя Анисья?

— А это вот дочки ее, — сказала Анисья. — Правда, похожи? Ромашка и Зинка.

— Ой, да надо же! — не переставала удивляться Клавдюха, поглядывая то на коров, то на Анисью. — Лада! Лада! — позвала она, дотрагиваясь до кучеряшек на лбу коровы.

Лада долго обнюхивала Клавдюхину руку, тычась влажной розовой губой в ладонь, потом шумно выдохнула воздух и, отвернувшись, принялась поддавать мордой сено в кормушке, отыскивая какие-то одной ей известные лакомые былинки.

— Не узнала, — растерянно сказала Клавдюха. — Разве всех упомнишь... А я ни капельки себе тогда не брала. Ну вот ни полстолечка... Верите? А Иван Тихоныч как окрысился... А я ведь как думала... Думала, замерят у меня молока побольше и муки набавят. Всем коровам дают, а моим не дают. А мне самой — зачем? Сколько лет прошло, а все обидно...

— Не то важно, Клава, что про тебя говорят, — сказала примирительно Анисья. — А то, что про себя знаешь. Душа свята — свят и день...

Они долго еще сидели в загоне на Анисьиной доильной скамье. Коровы неторопливо, монотонно пережевывали жвачку. Возле фонаря перед стойлом кружились поздние осенние бабочки. Было тихо, и они, подчиняясь этой тишине, тоже разговаривали вполголоса, почти перешептывались.

— А кто ж еще из наших?

— Да кто... Варька Зобова.

— Какая Варька?

— Да что с выселок.

— А-а... Я ж с ней вместе училась. В пятый ходили. Скажи ты! Тоже тут, значит..

— Ага, тут.. С капустою.

— Хоть бы посмотреть на нее.

— Зайди, повидайся.

— Не узнать, поди... Сколько лет прошло.

— Уже двое детей у нее. За Папшой Калабухом замужем.

— За Калабухом?

— А что... Какой стал парень! Действительную отслужил. Теперь в колхозе по моторам. Дом построили, все под масло. Хорошо живут.. А еще Ванек Стукалин тут. У того просо хорошо уродило.



Да агроном с ним, ты его не знаешь, новенький он у нас... Приезжай летом, погостюй.

— Говорят, получшало теперь.

— Да подладилось... И равнять с прежним нечего...

— У нас небось теперь паутина летит по лугам, картошку копают...

Высоко на белых шестах дремали уставшие за день, наплескавшиеся флаги. Пересвистывались сторожа...

Прошел пятый день осенней выставки.

1967

## ВО СУББОТУ, ДЕНЬ НЕНАСТНЫЙ...

### 1

Однообразно-серое небо недвижно висело над аэродромом. С осенней лентой крапал нудный, обложной дождишко.

Сеялся он с ночи, и взлетное поле, ровное и пустое, с одинокой, наспех сколоченной диспетчерской будкой посередине, побурело и потерялось краями за сизой моросью. Лишь с одной стороны к нему подступали призрачные очертания старых деревьев, казавшихся особенно высокими в тумане, за которыми еще более смутно угадывались окраинные постройки районного центра.

Райцентром здесь именовалось большое село, разделенное пополам худосочной речушкой Варакушей. Речка привередливо петляла и рылась в хлябной низине, заросшей камышами, лозой и красностволым дурманным дудником. По весне она затопляла все это от склона до склона, так что избы, отбежав на сухие взлобки и растянувшись по ним двумя бесконечными улицами, гляделись друг на друга через камышовую чащобу с почтительного расстояния. Ближе к центру села Варакуша была подпружена глиняной дамбой, разлилась широкой стоячей водой, и на этой воде весь день гомонили, полоскались и смертно дрались стая на стаю заживевшие осенние гуси. По утрам они слетались сюда прямо из калиток окрестных дворов, а днем — с суходольной озими, что зеленела по буграм за домами. Перед тем как опуститься на воду, они старались как можно дольше протянуть, продержаться в небе. Тяжело и трудно махая крыльями, заполошно кегекая, удивляясь самим себе, что так высоко летят, они проносились над дворами, над торговой площадью возле заколоченной церкви, по сторонам которой толпились скобяные и книжные магазинчики, парикмахерская и новая кирпичная чайная, потом, спускаясь все ниже, летели над школьным двором и садом, откуда в них швыряли яблоками и кепками, и под конец, потеряв строй и высоту, беспорядочно ломились к воде сквозь береговой ракитник. Гусиный ликующий гам прони-



кал даже в кабинет предрика, куда я заходил по делам своей командировки.

— Вот черт, — говорил он, прикрывая форточку, — когда насыпали плотину, думали устроить озеро Рицу, с беседками и крашеными лодками. Беседки и лодки поразломали в один год, но зато гусей поразвели превеликое множество. Жизнь, так сказать, дала поправку.

Даже отсюда, с аэродрома, было слышно, как гоготали стаи где-то за дождем, за туманной хлябью.

Часов в восемь утра, когда я добрался до диспетчерской будки, возле нее уже собралось человек пять пассажиров. На чемодане, укрывшись офицерской накидкой, так что были видны одни только начищенные сапоги и белые резиновые ботики, сидели, шушукались военный с женой, а может, и не с женой... У дощатой стенки прятались от дождя две девчонки — обе в высоких прическах, прикрытых прозрачными полиэтиленовыми накидками, о которые с сухим треском разбивались крупные капли, копившиеся на карнизе. Красными нахолодавшими руками девчата бросали в округленные бубликом рты подсолнечные семечки и с вороватым любопытством прислушивались к шушуканью под палаткой. Топтался еще какой-то пожилой и сумрачный гражданин с портфелем, в очках, зеленой обвислой шляпе и тяжелом драповом пальто — должно быть, наезжий ревизор.

Потом подошли еще двое — грузная, закутанная бахромчатой шалью бабка и женщина моложе, тоже полная, по крепкая и рослая, в васильковом шелковом плаще. Та, что помоложе, несла на изгибе руки большую, обшитую мешком одноручную корзину. Она поставила ношу у кассового окошечка, загороженного фанеркой, усадила на корзину запыхавшуюся бабку и, сама переводя дыхание, с приветливым добродушием оглядела публику.

— Будет — не будет самолет? — спросила она вслух у самой себя, ребром ладони запихивая под платок шестимесячные кудряшки.

Ей никто не ответил. По расписанию самолет должен был прилететь в половине девятого, а уже набежало без четверти, и каждый задавал себе такой же вопрос: «Будет — не будет?» Гражданин в очках вместо ответа только взглянул на небо. Он нетерпеливо топтался взад-вперед, придерживая обеими руками свой желтый портфель впереди себя у коленок, и, прохаживаясь так, успел натоптать на раскисшей земле хлюпкую пятиметровую дорожку.

Неожиданно под бабкой резко, звонко, пронзительно гаркнул гусь. Все оглянулись. Даже военный высунулся из-под накидки. Он оказался молоденьким лейтенантиком и был, судя по покрасневшему лицу, немного под хмельком, а может быть, разогрелся так от интимной беседы со своей спутницей. Гусь забился в корзине и закричал еще громче. Девчонки переглянулись и прыснули.



— Ну чего ты, чего ты, — засмущалась женщина в васильковом плаще и с виноватой улыбкой посмотрела на корзину. Гусь все вскрикивал просительно и тревожно, тыкал носом в натянутую мешковину, но бабка продолжала недвижно сидеть, широко расставив толстые отечные ноги в глубоких калошах.

— Черт знает что такое, — проворчал гражданин в очках, морщась и косясь на старуху.

— А что я сделаю? — еще больше засмущалась женщина, стоявшая рядом. — Накормленный, напоенный...

— На то есть автобус, — сказал гражданин в очках. Он подбежал к окошечку и забарабанил по фанерке согнутым пальцем. — Совсем избаловались...

— Говорила, мама, давай зарежем. Одни только неприятности, — сказала женщина. — Еще и за корзину возьмут, за место посчитают. И люди вот обижаются...

— Сердит, пока за стол не сел, — сказала бабка.

Гражданин промолчал и еще раз побарабанил в оконце.

— Ну чего здучите? — взъярился наконец молчавший до того диспетчер, появляясь в дверях будки. Щуплый, обиженный, был он одет в выцветший на плечах синий ватник и резиновые сапоги с байковыми отворотами и выглядел по-домашнему. И не брит был тоже по-домашнему. Только гевеэфовская фуражка, фасонисто сдвинутая набок, обозначала его высокое предназначение.

— Здучат и здучат... — с напускной суровостью проворчал он, но, видимо, довольный тем, что может вот так строго говорить с каждым.

— Так ведь уже больше часу ждем, — с простодушной виноватостью отозвалась женщина.

— И я жду, — диспетчер циркнул желтой табачной слюной. — Запаздывает...

Морщась от дождинок, он пошарил глазами по мутному небу, перевел взгляд на шест с обвисшим полосатым конусом, потом достал из кармана большой амбарный замок, повесил его на дверь и, побалтывая ключом на веревке, поглядывая на свои сапоги, на то, как они разъезжаются на ослизлой земле, пошлепал к райцентру.

— Куда же вы? — возмутился гражданин. — Как в Конго, ей-богу...

— Все улетите... Сказано, — не оборачиваясь, отозвался диспетчер и вдруг, замахав руками, погнался за мокрой, взъерошенной коровой, которая забрела к самой будке.

— Куды пресси?! Геть — пошла, пропасти на вас нетути!

Корова, оставляя глубокие жирные рытвины на раскисшей земле, отбежала прочь и лопоухо вызрелась на диспетчера.

— Целый день, знай, гоняю...



Диспетчер ушел неизвестно куда и на сколько, растворившись, в мороси. Вскоре, взявшись за руки и над чем-то хохоча, убежали девчата.

Дождь не дождь, но я успел промокнуть в своем легоньком пальто и тоже пошел поискать прибежища, решив, что если появится самолет, то непременно услышу его гул в небе. Да пока он сядет, разгрузится, пока пилоты перекурят — времени будет достаточно вернуться на аэродром.

## 2

Я пошел не по натопанной дороге, которая выводила на улицу окольно, а напрямик, по аэродромной траве, к маячившим впереди деревьям. Несмотря на ненастье, было у меня легкое настроение, должно быть, оттого, что завершил свое дело. Я особенно не сетовал на опаздывающий самолет и даже на этот въедливый дождишко, который мне и вовсе пришелся бы к настроению, если бы со мною были плащ и сапоги: люблю побродить по полю или же по опустевшим лесам, чужим и гулким, как заброшенные храмы. А то, встретиться поблизости копенка сена, я с удовольствием привалился бы сейчас к ее обдерганному коровами сухому подножию и лежал бы так, наблюдая за вороной, одиноко тянувшей по серому осеннему небу. Или, жуя травинку, добиваясь от нее какого-то вкуса, думал бы о минувшем лете, о живой шумливой траве, которая теперь вот уложена всем скопом в сенной ворох. Зимней лунной ночью к стожку начнут подбираться сторожкие русаки, и радостно глядеть, закопавшись в копне с ружьишком, как они то и дело встают столбиком, роняя на искристый снег длинные синие тени...

Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых пустяках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитростное, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни, хотя бы вот о таком сером осеннем деньке, о бабкином гусе, зашитом в корзине, должно быть еще молодым, не долетавшем своего срока до веселых морозцев, когда воздух резок, как спирт, и вода холодна, и особенно красны на первом снежку гусиные лапы, о том, как иду сейчас полем и как встречу кого-то в деревне и заговорю с ним или с ней, еще не зная о чем, — написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства. И почему-то вспомнилось мне яшинское:

*Медведя мы не убили,  
Но я написал рассказ  
О том, как медведя убили,  
Какие мы храбрые были,  
Когда он пошел на нас.*



Зная, что меня теперь никто не услышит, я попробовал напеть стихи на мотив «Я люблю тебя, жизнь»:

*В журна-ле меня-я хва-ли-ли-и-и  
За правду,  
За мас-тер-ство-о-о...  
Медведя мы не уби-ли-и-и,  
Не видели даже его-о-о.*

Дальше мотив как-то не пришелся, и я, перелезая под высокими деревьями через плетень, захрустевший подо мной всеми своими иссушенными и выветренными костями, а теперь мокрыми и ослизлыми, дочитал стихи без напева:

*И что еще характерно:  
Попробуй теперь скажи,  
Что факты недостоверны, —  
Тебя ж обвинят во лжи.*

Так, бормоча про шкуру неубитого медведя, я очутился в чужом огороде. Дождь копошился в опавших тополевых листьях, далеко усеявших гряды, и был он здесь слышнее, чем в поле. Огород уже перекопан и истоптан, но на одной грядке еще матово голубели крепкие студеные кочны и свежо и остро пахло поздней капустой, а еще горьковатым палым листом и посыревшей усталой землей, отработавшей свое. На старом подсолнухе, забытом у межи, предзимне тинькала синица. Прицепившись к его поникшей растрепанной голове, она теребила пустую жухлую решетку. И тоже было хорошо видеть этот живой и неунывающий желто-зеленый комочек бытия. И был приятен своим домовитым уютom стук топора за сараем.

Я пошел на этот стук, отыскал в плетне огородную калитку, снял с кола лыковую петлю, удерживавшую дверцу запертой, и, остерегаясь собаки, но в то же время желая все-таки, чтобы она выскочила и облаяла — не мрачный цепной Полкан, а суматошная и незлобивая собачушка, что через минуту уже приятельски тычется в колени, нетерпеливо перебирает передними лапами и метет землю хвостом, — протиснулся за лозовую скрипучую калитку.

Собака не выскочила, не облаяла, а в пустом дворе таяла топором женщина. Голова ее была небрежно обмотана хлопчатом мелкоклечатом платком, забранным внутрь воротника все того же стеганого ватника, так удачно кем-то придуманного, что и поныне его предпочитают в нашей несуровой местности всем прочим одежкам, — и в лес по дрова, и в город за хлебом, и так просто дома расхож да ловок, а если нов еще, то и в праздники. Носят его от млада до старого, иные так и всю жизнь, только роста меняют, как раки меняют скорлупу. У меня и у самого такой: добрая штукенция, а если сверху полушубок набросить или, на худой конец,



пододеть козловую безрукавку, то и вовсе стой себе у проруби, таскай окуней.

Женщина выдергивала из мокрой кучи хвороста плоско слежавшиеся лозины и, прилаживая на плахе, подобно тому как придерживают куренка перед тем как отрубить ему голову, сноровисто отсекала полуметровые полешки, а потом, когда хворостина истончалась, секла и ветвистые концы. Нарубленное она складывала в ровный ворошок, белевший в мою сторону свежими косыми торцами, после чего выдергивала новую хворостину. Я стоял у сарая, смотрел, как она рубит, и она долго меня не замечала. Заметив же наконец, женщина выпрямилась, свободной рукой сдвинула съехавший платок на затылок. Мокрый блескучий топор в другой ее руке повис вдоль кирзового сапога.

Было ей лет за сорок, а то и под пятьдесят, суха и мелка темным дубленным лицом, некрасиво-востроноса, и серые, полураскрытые и растянутые в частом дыхании губы светлей, чем само лицо, разгоряченное работой. Неосознанно, без всякой для себя надобности, я пожалел, что она не молода. Нам ведь, мужикам, всегда хочется, чтобы нас окружали молодые и красивые. Едешь в поезде, и всей-то езды на три-четыре часа, казалось бы, что тебе до проводника. Ан нет, почему-то чувствуешь себя бодрее, когда знаешь, что в твоём вагоне молоденькая проводница. Даже лишний раз покуришь в коридоре. Или в магазине: из молодых рук возьмешь и жирную ветчину, не станешь препираться... Да что поезд или там магазин! Лежишь в больнице, температура под сорок, глаза осоловелые, а все же приятнее, когда подсядет врачиха помоложе. Даже если и министр, вот как занятой человек, тысячи бумаг, сотни прошений, важен и суров с виду, а зайди к нему просительница, если, конечно, не явная рухлядь, — суров-то суров, а все равно улучит момент и оценит. А ежели хороша собой, то невольно, хочет не хочет, а помягчает, хотя и сам понимает, что не положено: все-таки при исполнении высоких обязанностей... Что поделаешь, видно, не нами это устроено...

Моя суженая была не молода, и я лишь на мгновение пожалел об этом, даже не я, а что-то во мне, помимо меня. И уже через секунду, смирившись и позабыв об этом подспудном толчке, я с фальшивой бодрей, с какой-то юродинкой зябко потирал руки, изображая сирого и бесприютного.

— Пустила бы, хозяйюшка, к печке. Ждали, ждали самолет, а его все нет, проклятого.

Должно быть, вид у меня был не совсем разбойный, но и не начальственный — пальто да кепка и никакого пугающего портфеля (в деревне казенный портфель — всегда какая-нибудь смута), а потому она сразу же откликнулась:

— Да какой самолет — вон как обложило.



Она врубила топор в колоду и, нагнувшись, принялась собирать растопку.

— И диспетчер куда-то ушел, — сказал я, продолжая потирать ладони.

— Пойдемте уж... Только печка еще не топленая.

Она подхватила беремок и направилась к сеним, гулякая разлатыми голяшками сапог. Просыпав по дороге несколько полешков, она быстро обернулась, но, заметив, что я подбираю, пошла, заговорив уже совсем доверительно, по-свойски:

— А вчерась вроде был самолет. Утром бегла в магазин, дак слышала — рипел. А и автобус небось нынче не пойдет, глейдер расквасило.

Вслед за ней я прошел в темные сени, различая тугие тела насыпанных мешков в углу, коромысло и волосяное сито на стенке. Забилась, заметалась на мешках и с дурным криком, загромыхав опрокинутым ведром, прошмыгнула меж ног на свет, за порог, курица.

— Проходите, проходите, — ободряла меня хозяйка уже из кухни, видя, как я втягиваю голову перед низкой дверной притолокой. — Да уж чего там ноги вытирать, все одно пола нету.

Со свежего воздуха резко потянуло духом чужого жилья: каким-то варевом, застарелым дымом. Маленькое, на уровне пояса, оконце, заплаканное дождем, роняло непривычно низкий свет прямо в разверстое устье холодной печки. На подоконнике, среди мутных пустых бутылок равнодушно и безжизненно торчал из консервной банки отводок цветка алоэ. Колочий и неказистый, он почти совсем перевелся в городах, особенно в пору пенициллинов, и его держат теперь лишь сердобольные старушки, все еще памятуя как о сподручном лекарстве.

Женщина сбросила дрова к подножию печи, на землю, истыканную острыми поросячьими копытцами, и, не раздеваясь, приговаривая: «Сичас, сичас... А я вчерась не управилась нарубить, дак и припозднилась с печкою», — полезла открывать вьюшку, ступив на полук — дощатый настил между печью и горничной перегородкой. Учув хозяйку, настороженно гукнул под полком поросенок. Он приладил свой пяточок к дверной щелке и, шевеля им и втягивая воздух, докучливо заверещал, заканючил.

— Узё-ё! — Она притопнула сапогом по доскам настила. — Порои мене, скаженный, Витьку разбудишь... Сейчас наварю.

Я снял кепку и присел на краешек скамьи перед столом, рядом с ведрами, в темной глубине которых на взблестках воды покачивались черные перекрестия оконной рамы. Сидя так, я оглядывал убежище, приютившее меня. Из-под стола высывалось лукошко, набитое кусками свежего розоватого сала, густо пересыпанного крупной замокревшей солью. Несколько кусков почему-то валялось на земле, у подножия лукошка, и на один из них я чуть было



не наступил ботинком. Я принялся подбирать, но хозяйка, заметив мое смущение, замахала с полка:

— Небось, небось... Это поросенок пораскидал. Все балуется, демоненок. Ему и лиха мало, что, можа, это мать его посоленная лежит, — усмехнулась она. — Отлучусь, а ему тут своя воля. В лукошко лезет, чугулки с лавки скапывает... Один грех с ним. — Она опять усмехнулась, глядя на меня сверху, с полка. — Намедни рушник с гвоздя сдернул, бегаёт, запутался, телепает — весь об пол измызгал. Как кутенок. Хоть не выпускай. А в закутке держать жалко, сосуночек ещё...

Она принялась собирать на печи сухую разжижку и, шеборша щепками, говорила откуда-то из глубины запечья, вся перегнувшись туда с полка, вытягиваясь и привставая на носки, отчего из сапог высовывались голые, напряженно-угловатые икры в уродливых жгутах синих вен.

— Да и сарай такой... Вот Витька, может, подладняет... Да теперь что ж ладнять... дожжи пошли. А и то, слава те господи, со свеклой управились.

— Это хорошо, — отозвался я, имея в виду убранную свеклу.

— Да уж отмаялись. А то нешто благо по грязи-то убирать?.. Кабы б не дожжи... Оно хочь и машины теперь, а все одно работы много... Машина-то она слепая, за ней тоже догляд нужён. А ещё ж погрузить... Полтора ста центнеров на гектаре, а в колхоза их пятьсот... Бабе оно завсегда на чем живот порвать сыщется...

Она спрыгнула с полка с пучком лучин и, положив разжижку на шесток, принялась выгребать золу. Кочерга утробно гыркнула по кирпичам пода.

— А теперь и надо бы помочить, — говорила она за ловкой своей работой. — Хлебушко по сухому сеялся. Ему и так, бедному, ничево... Все под бурак да под конопли сыпуть, а ему опять ни грамушки. Байки одни. Сердце изболелось, на него гляючи. Взошел квелый да не охотный... Какой же он будет, коли уже теперь такой... А ему ж ещё под зиму итить.

О хлебе она говорила «он», «ему» — как о живом существе.

— Это плохо, если так, — поддакивал я, разглядывая большой брусковатый фуганок, висевший на горничной переборке. Был он из какого-то темного, с красниной, дерева, и на его смуглых, лоснящихся боках проступали витиеватые, узорчатые слои.

— Мужев струмент, — перехватила мой взгляд хозяйка, подпавшая выложенный на поду дровяной колодчик.

— Хороший фуганок, — похвалил я.

— А и хороша-ай! — кивнула она, обрадованная похвалой. — Мастера смотрели, тоже так говорили. Сказывают, лёзги дюже хорошие. А мой дак когда и брился лезгою. Уж так, бывало, правит, так правит... До того чтоб газетку состругивало... Ежели буковки



снимает, а газетка цельная остается, не прорезывается насквозь, тади бросает точить... А после того побриться любил. Свежей-то лезгою. А мне дак и страшно делается, как он по лицу вострой железкою. У него весь струмент такой был ухоженный. Дюже любил, штоб все в аккуратности было...

Печь разгоралась, сипели и потрескивали лозовые дровца, пузырились обрубленные концы, роняли капли на жаркие угли, которые, допламенев, сами собой распадались на одинаковые округлые кусочки, осыпая наставленные чугуны. Дым, обволакивая поверху устье, розовым холстом бежал навстречу и уже серым загибался в трубу. Хозяйка, по-прежнему в телогрейке, лишь платок отбросив с маленькой головы на заплечья, проворно шастала по кухне — то поскребет какую-то посудину, то ухватом поправит чугунок, отодвинет подальше, если начинал закипать. Стены, потолок, ведра на лавке, бутылки на подоконнике — все заиграло веселыми красноватыми отсветами, и совсем славно запахло ракиновыми дровами. Я сидел поодаль, а и то чувствовал на лице и на руках приятное тепло, пальто мое начало парить и попахивать пареной и кислой материей.

— Это ж он сам делал, — кивнула она на посудный шкафчик справа от окна.

Я сначала не обратил на него внимания, но теперь из вежливости принялся разглядывать. Стоял он в темном углу между окном и сенишной дверью и сам был темен от времени. В его потускневшем лаке где-то глубоко и глухо тоже плясало багровое пламя печи. Но я все же разглядел резьбу на дверцах — трехпалые, похожие на клевер, листья и какие-то птицы с чешуйчатым оперением. И пока рассматривал, женщина, опершись на ухват, с робкой настороженностью ожидала, что я скажу.

— Тонкая работа. Это что же за птицы?

— А не знаю... Это он всё выдумывал.

Женщина в раздумье поковыряла в печи ухватом.

— Он-то не здешний был, с Архангельску. А сюды на подряды приезжал, с товарищами. Кому конюшню, кому что... По колхозам. Два лета так. Ну, мы с ним и сошлись. Это ж он, как поженились, скапчик-то сделал. Бывало, прибежит с работы, повесит на дереве фонарь — дерево во дворе стояло, засохло — и все пилит, стружит. Скапчик-то этот. И ночь уже, мошкara около фонаря мельтешится, а он все стружит. А я ему: Коля, да что ж ты так-то: там работаешь, дома работаешь, не к спеху бы. Жить будем, так все и поделаешь потихоньку. Не слушается, все работает. А я и сама стою около, да и засмотрюсь на ево. То одним рубанком досочку пробежит, то другим, яичко положи — не шелохнется: так гладко да ладно. А ему все мало. А уж когда сошьет вместе шипами да клеем, то и опять стружит. А опосля всего возьмет этот-то вот большой да еще и им отгладит. Фуганок аж птицей посвистывает, а стружка ну вот тон-



ка, вот тонкусенька, чуть не светится. Я, бывало, наберу ее, обдам кипятком, запарю, да потом цветы делаю. В луковый отвар, да химический карандаш разведу — покрашу, ну как живые...

То ли от печки, а может быть, и от разговора она вся разругалась, запылала худым темным лицом, и сквозь заветренность и не в пору ранние морщины пробилось что-то далекое, девичье, какое-то стыдливо-радостное смущение.

— А птиц-то он уж опосля наметил, да и вырезал. Стамесками да долотцами разными. Уж дюже забывался он за работаю. Долбит, а в волосах стружки вот как понапутляются. Волос у него весь вился, тоже как наструтанный. И так у него ладно все получалось. И травки, и листочки всякие. А я гляжу теперь, и все вспоминается, как мы с ним первый покос косили. Когда поженились. И птицы вот так тоже были. Сидит она на щавелиночке и ну свищет, ну свищет. Коси около нее — не боится...

Она постояла, с тихой задумчивостью глядя на огонь, и я пытался представить, какой была она в молодости.

— Все звал к себе туда. Сказывал, дома у них высокие, окна не достать, леса — конца краю нет. Покосы вольные. Хотелось мне поехать посмотреть. Да так и не собралась: то Нюркою, старшей дочерью, затяжелела, а тут и война вот она... Загадывал хату перебрать, полы постелить. Дюже непривычно ему было без полов. В кухню выходил, дак обувался, как во двор... Да так все и осталось, как есть. Один скапчик-то этот только и успел сделать...

— Погиб, что ли?

— Да сразу-то не убило... На побывку опосля ранения приезжал... А уж потом его, под самый конец... Вот все берегу, — кивнула она на фуганок. — От самой войны. Просили продать — не продала. Стамески да коловоротья, мелочь всякую — так Витька порастаскал, позабельшил, не углядела. Бывало, ругаюсь: Витя, сынок, да что ж ты делаешь, струмент растаскиваешь. Вырастешь — как раз и сгодится. Работать пойдешь, как батька. Где тади возьмешь такой струмент? Отец его по штучке собирал да копил... А уж и вырос Витька, а не заинтересовался етим. Оно если бы при отце, дак видел бы, как тот работает. Может, и поймел бы интерес. А так что ж, лежит мертвый струмент, сам он ничего не покажет, не расскажет... Не привилось ему отцово. Так вот и висит на стенке... И не нужен, а продать чегой-то не могу, чегой-то жалко...

Она отлучилась в сени, вернулась с полумиском картошки и, продолжая рассказывать о муже и Витьке, о старшей дочери, что теперь замужем на Урале, пристроилась было чистить картошку прямо на шестке. Я приподнялся, уступая ей место у стола.

— Сидитя, сидитя, — запротивилась она. — А то лучше в горницу ступайте. Молочка бы, дак своего нету... Да вы разденьтесь, я пальто просушу. Будет ай нет самолет, а оно тем часом и провянет.



Видно, за то, что я поговорил с ней, послушал, ей хотелось чем-нибудь уважить меня, и она просто-таки стащила с моих плеч мокрое пальто и проводила в горницу.

Гуренка была об два окна и с полом. В простенке старенький комод, на середине — круглый стол под клетчатой скатертью. Ситцевые занавески в мелких синих цветочках прятали кровать у глухой стенки. Оттуда доносилось глубокое дыхание спящего, должно быть, Витьки. А она продолжала говорить мне через перегородку:

— Это ж еще тади, как коров в закуп отбирали, дак с тех пор и нету... Раз зашли: продавай да продавай, другой раз... Да и отдала, бог с ней, с коровою. Не отдашь, дак потом и горя с кормами не оберешься. За каждым пучком станут доглядать: где взяла. А теперь и сама отвыкла, ну ее. Да и дети повзросли, сало вон есть. Станет Витька жить да внуки пойдут, дак тади, может, опять заведем.

— А вы в колхозе? — спросил я.

— В колхозя, ой и в колхозя... — сказала она, появляясь в дверях горницы с ножом и полуочищенной картофелиной. — Правда, теперь многие по конторам служат. То больнички, то базы... Много тут контор всяких. Консервный завод вроде собираются строить. Дак на контору грамоти нужно... Так что в колхозя мы... Да и куда ж теперь? Жисть прошла. Теперь уж одново надо держаться. Вот и пенсию в колхозе стали начислять. Не знаю, как Витька порешит... Чтой-то молчит, ничего не говорит...

На кухне закипело, и она, убежав, загромыхала сковородной крышкой, продолжая говорить о Витьке. Видно, ее очень беспокоило, останется сын дома или уедет, как уезжают многие вернувшиеся из армии.

Я подсел к окну, выходящему на улицу, в палисадник. За мокрыми кустами смородины, сохранившими кое-какие листья, проглядывался крутогорый выгон, под которым, в самом низу, чернел колодезный журавль, а дальше серой туманной шубой простирались камыши. К колодцу не спеша, с коромыслом и ведрами, спускалась какая-то молодуха. Несмотря на ненастье, она была раздета, в одном только полушалке, наброшенном поверх безрукавого красного платья, и, лениво сходя, играя крутыми бедрами на скользком глинистом спуске, она озиралась направо-налево, оглядывая пустынную улицу. Посматривая на окно, у которого я сидел, она не спеша привязала цепь к дужке, не спеша опустила ведро, зачерпнула, перелила в другое, зачерпнула еще раз и, все так же, не торопясь, посматривая на окно, прошла косой тропкой в гору, к соседним домам.

— ...Жить будет, дак и новую крышу справим, — продолжала говорить из кухни хозяйка. — Хотела в том году картошки на крышу продать, да ящур не дал, не пускали с картошкою. А нынешним какой-то жук, говорят, напал.



— Колорадский, что ли?

— Шут его знает. Тоже не пускают. Я уж и картошку на палочку натыкала — нет, никаких делов.

— Это зачем же на палочку?

— А так теперь делают. Знак для проезжих шоферов. На палочку наткнут и перед домом тею палочку поставят. А шофера уже знают, что в этом дворе есть продажная картошка.

В горницу неожиданно залетел поросенок. Стукотя по полу копытцами, едва не упав на повороте, он обежал вокруг стола и остановился как вкопанный перед моими ногами. Глаза голубые, смышленные, хитрые, сквозь белую шерстку проглядывало чистое, младенчески-розовое тельце. Я поднял носок ботинка и пошевелил им перед настороженной мордочкой. Поросенок гукнул животом, отскочил и, мотнув скуластым рыльцем, умчался в кухню.

— Иди лопай, лядущий, — заговорила с ним хозяйка. — Вынашивается, скачет...

Послышалось торопливое чавканье и похрюкивание.

— Покопай, покопай мне. А то в закутку запру, дак тади не больно будешь привередничать, все подберешь на холоди.

В окно смотреть наскучило, и я прошелся по горнице, разглядывая картинки и фотографии. В большой раме, узорчато выпиленной из фанеры, да еще и подпаленной какими-то зигзагами, висело стекло, с обратной стороны которого по синему фону цветной фольгой были выложены три женские фигуры с наивными кукольными и в то же время порочными физиономиями. Под ними золотилась надпись: «Вера, Надежда, Любовь». У «Надежды», восседавшей в центре, были огненные кудри и синие глаза с лучеподобными ресницами. У «Веры» и «Любови» — смоляные косы, переброшенные на грудь, и черные жгучие очи, но почему-то без ресниц. Произведение это было еще ново и, должно быть, покупалось, как и оклеивалась свежими обоями сама горница, к Витькиному возвращению. Мне представлялось, как в радостном удивлении остановилась покупательница перед базарным китайцем, выставившим на прилавке пеструю и броскую мишуру, и как не могла отойти, стояла, смотрела и все-таки взяла. А потом везла домой, в автобусе, тихо радуясь и ревностно оберегая свою покупку, чтоб не раздавили в автобусной толчее. Был в этой покупке и свой особый резон, поскольку, кроме праздничной яркости, коей всегда недостает в крестьянском доме, несла она во вдовье жилище еще и нечто символическое, долженствовавшее провозгласить извечные чаяния: чтобы в доме обрелись и Вера во что-то, и Надежда на что-то, и Любовь, без чего жить человеку невозможно.

— У нас кто картошку в Донбасс свез — все с крышами железными, — между тем говорила она, возясь с поросенком. — А так, где ж его возьмешь, железо-то...



— Да, с железом трудновато, — отозвался я.

На комодке были разложены явно Витькины вещи. На подставке, изогнутой буквой «С», возвышалась черная пластмассовая подводная лодка, грозная своим стремительным видом даже в миниатюре. Небрежно валялись белые офицерские перчатки, которые самому Витьке в его звании не полагались. Рядом стояла голубая спидола и граненый флакон с оранжевой грушей пульверизатора. Из-за решетки спидолы торчала фотокарточка, ажурно обрезанная по краям: хорошенькая смеющаяся девчонка-чертенок в короткой стрижке, растрепанной свежим ветром, в белом платице и с босоножками в руке. Она стояла в накате волны, захлестнувшей пляжную гальку, а позади бурунилось и взмелькивало барашками бескрайнее море, и было оно не злобное, а только ветреное и солнечное. От этих вещей — подводной лодки, транзистора, фотографии веселой приморской девчонки, от снежно-белых перчаток и даже от пузырька с резиновой грушей, который был пуст, но все еще источал тонкий праздничный аромат недавнего одеколона, — веяло иной, не здешней жизнью. Все это напоминало о далеких морских походах, свежих соленых ветрах, матросских вахтах, беспечных увольнительных на берег, когда перед тем в тесном и шумном кубрике старательно утюжились клеши, драились бороды и ботинки, одеколонились чубы и ленты бескозырок...

— Где служил-то парень? — спросил я через перегородку.

— А на Черном море. Сказывает, дюжо красиво там. Целую сетку апельсинов привез...

— Повидал свет, стало быть.

— Да поглядел... В прошлом годи далеко плавали... Уж и забыла, в какую страну... Одну-то помню — Болгария. Это что все помидоры оттудова продают... А ту — вот запомятовала, какая это земля. Снегу, говорит, совсем не бывает. Дак, говорит, пальмы, как у нас ракиты, по улицам растут... Возили их куда-то, где ихние цари лежат. Сказывает, по три тыщи лет уже в гробах, а все, как есть, цело...

— Наверно, в Египте был? — подсказал я.

— Ага, во-во... Там, там... Говорит, будто и бабы и мужики в платьях ходют... — рассмеялась она. — Дак, а что ж, ежели такая жара... Повидал всево. Теперь, слава богу, дома... А то боялась, в Етнам пошлют или еще куда... Да скоро сахар начнут давать. За свеклу. Малому костюм надо справить, — быстро переключилась она с Египта и Вьетнама на свои житейские заботы — вот уж верно: пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает. — Когда-то он себе заработает, одно флотское на ем... За четыре-то года, поди, надоела казенная одежда...

— Зато девчатам нравится, — пошутил я, все еще стоя перед комодом.



— Да чтой-то не больно, гляжу я, с девчатами, — живо отозвалась она, и были заметны в ее голосе озабоченность и даже недовольство. — Третью неделю, как приехал, а — дома и дома... Все свое радио крутит, балаболку-то эту... Правда, вчора ходил куда-то... Аж утром пришел... Выпивши...

«Наверно, трудно было оторвать от себя такую...» — еще раз полюбовался я фотографией на спидоле.

— ...Он по радиу там служил. У ево это еще с мальства. Все, бывало, проволоки мотает и мотает... Теперь и не знаю, какую ему работу дадут тут... Тоже горюшко... Говорила, учись по отцову-то делу, уж на что лучше, каждому нужон...

— Это тоже нужная специальность.

— Да есть тут при районе радио, дак туда бы...

— Радиоузел?

— А не знаю... Кино объявляют, да так чево... Посылала спросить, дак, говорит, нету таких местов, монтером только по столбам лазить... А и по столбам что ж, ежели платют. Зато дома. И обстиран и обшит. Да и самой веселее. А то все одна и одна. В фэзэву учился — одна, да в армии четыре годочка... И старшая дочь пять лет как из дому. Жисть прошла — одна, как палец.

Я бы им и койку свою с периною отдала, — сказала она, пораздумав, имея в виду, должно быть, будущую невестку. — Живитя. А мне теперь и на печке хорошо, таковская...

В сенях опять всполошилась курица, зашаркали ногами, слышались голоса.

— Ой, ктой-то еще идет. — Хозяйка толкнула дверь навстречу.

— Можно к вам? — донеслось из глубины сеней.

— Заходитя, заходитя, — с готовностью отозвалась хозяйка, отступая от двери.

Мне было видно из горницы, как неуклюже протиснулись в кухню сначала женщина в васильковом плаще, державшая впереди себя одноручную корзину, а за нею и бабка, закутанная шалью, — те самые, что вместе со мной дожидались самолета. Пока они входили, до меня докатились волны холодного воздуха и запах сырой одежды.

— Здрасьте вам, — устало, расслабленным голосом поздоровалась женщина в плаще. — Да зашли на дымок. Связались с этим самолетом, сами не рады. Попутной давно бы уехали.

— Да и машины нынче небось не вот-то ходят, — тотчас сочувственно подхватила разговор хозяйка. — А у нас уже есть один человек, тоже дожидается... Да вы проходите, проходите, обогревайтесь, сейчас лавку ослобоню.

Звякнули ведра: хозяйка переставила их на пол.

— Гляжу я, что-то вроде знакомые будетья, — говорила она живо. — А где видела — не упомню.



— Да здешние мы. — Женщина достала из кармана плаща вчетверо заутюженный носовой платок, развернула его и принялась вытирать крупное и влажное лицо, помалиновевшее от уличного ненастья. — Цукановы мы, может, слышали... Наливайки по-уличному, — добавила она.

— Ну-те, ну-те... — задумалась хозяйка. — Это что возля сельпа?

— Ага, ага... Домик ошалеванный.

— Теперь признаю... Старичок еще у вас хроменький.

— Да старичка-то уже нету. Год как помер.

— Ай-я-я... Скажи на милость... — вежливо сокрушалась хозяйка. — Царство ему небесное. Или болел чем?

— И не болел, в голову что-то вступило. В одну минуту прибрался.

— Ай-я-я... Да вы садитесь. Да корзину-то поставьте, чего ж ее держать, надержались небось... Узё-ё! — прикрикнула она на поросянку. — Куды приножишься, демоненок, не про тебя положено.

— Хорошенький кабанчик, — похвалила гостя. — Тьфу, тьфу — не сглазить.

— Да завела, пока того есть будем. — сразу озаботилась хозяйка. — А и морока в зиму заводить.

— И не говорите, — понимающе согласилась Наливайка-младшая. Теперь она с бабкой сидела на лавке и не была видна мне из горницы. — Ни травиночки, ни крапивочки, знай вари. Да и выпустить некуда.

— Ой и правда! А и без него нельзя.

— Нельзя-я! — убежденно протянула Наливайка-младшая.

— Да все собираюсь позвать слегчить, пока маленький. Я кабанчиков чтой-то больше люблю.

Женщины, едва познакомившись, повели беседу с тем доброжелательным и чутким вниманием друг к другу, которое и теперь еще кое-где водится по укромным заповедным деревням.

— Свинка хуже, — продолжала поддерживать разговор хозяйка. — Свинка в тело войдет — дай гулять, не жрет, с боков спадает.

— Дак и огулять, вот тебе и выгода, — возразила Наливайка-младшая.

— Ну ее... Натерпелась я раз, дак и зареклась маток заводить, — отмахнулась хозяйка. — Вот так-то годов пять назад усходилась свинья, ревет, закуту роет... Дай, думаю, огуляю. Поросятки как раз в цене были... Ну-те... Побегла я в правление. А мне: не можем. Да как же так? А очень, говорят, просто: свинья частная, а хряк колхозный. Не можем дозволить. Да что ж, говорю, с ним сдеемся, с хряком-то? Али моей свинье тоже заявление в колхоз подавать?

Женщины рассмеялись. Рассмеялся про себя и я.

— Ой лихо мое! — оживилась хозяйка. — Побегла я в Кудиново, там, может, думаю, договорюсь... И там от ворот поворот.



— Да пол-литру взять бы, — смеялась Наливайка-младшая.

— Брала я. Как же теперь без пол-литры. Брала. А и магарыч не помог. Нельзя, и все тут. Строгое указание, говорит, такое дано.

— А и правда, было тогда, — смешливым голосом подтвердила Наливайка-младшая. — Скот води, да в оба гляди, чтоб не заедаться.

— Свинье не до поросят, коли заживо палят, — вставляла бабка. Говорила она редко и всякий раз со строгостью, но женщины рассмеялись ее словам, и хозяйка продолжала вовсе весело:

— И смех и грех... Да уж со свояком уложили ее в телегу, морду веревкой обвязали, да тишком, огородами свезли ее в Малаховку, да там и окружили по знакомству. Да и то сторож за воротами хвермы стоял, караулил, как бы кто не нагрязнул. А я-то сама сижу в сторожке, жду, пока свадьба-то кончится, а сама как на угольях: вот набегут, вот прихватят. Чего доброго, свинью отберут. — Хозяйка машинально ковырнула в печи ухватом. — А теперь и разрешили, пожалуйста, да не хóчу. Благо ее вести на ферму-то. Далеко... Ну ее, кабанчик спокойнее.

— А зачем вести? — сказала Наливайка-младшая. — Вести и не надо. Теперь на дому можно. Аким Ваныча позвать, он все и поделает.

— Да как же это он сам? — стыдливо рассмеялась хозяйка.

— У него все есть для этого. В чемоданчике носит.

— Ой, да что ж это мы про такое! — спохватилась хозяйка. — Человек у меня в горнице. Вот послушает-то...

Женщины поутихли, хозяйка зачем-то сходила в сени, вернулась и уже потом, поостыв и опять взяв уважительный тон, сказала:

— А вы, стало быть, дочка с мамашею. Пляжу, дюже похожие.

— Ага, с мамашею, — томно, прочувственно вздохнула Наливайка-младшая. — Да надумали съездить к Ване. К брату моему меньшенькому. Ваня-то наш теперь в городе живет. Пусть мама побудет, пока ноги ходят. Квартира у него хорошая, детей пока нет... Дак и пусть поживет до весны, до огородов.

— А я к своей никак не соберусь К дочке-то, к дочке... Тоже в городя, да больно далёко, аж на Урали.

— А наш тут, в области. Как отслужил действительную, побыл дома, поглядел и уехал. Не хочу и не хочу тут...

— Молчитя... Не живут теперь молодые в семьях, — горестно подтвердила хозяйка. — Едут и едут, лишь бы со двора долой. Моя тоже: вербовка была на целину, загозила: поеду и поеду. Подружки сговорились, ну и она туды... Ни в какую. Чего, говорит, я тут сидеть буду. Молодость, говорит, моя проходит... Ну, проводила. Платье ей в дорогу справила, кофточку шерстяную в городе на ба-



заре по-дорогому взяла, туфли неодеванные положила... Из последнего собрала. Поехала. За Волгу куда-то... А потом пишет в письме: чемоданчик украли.

— Да как же это? — ужаснулась Наливайка-младшая.

— А шут ее знает. Дура-то непуженая. Это они с матерью широкие, нос драть... Я так и охнулась: последние тряпьишки!

— Да чего там говорить...

— А тут к весне прикатила ее подружка, здрасьте вам, отец-мать, радуйтесь: пуговики на пальте не застегаются... Нацелинничалась... Ой, лихо мое! Это ж она про ихний барак и порассказала. Ухажеры со всего степу около того бараку.

— Да уж известное дело...

— Правда, говорит, которые самостоятельные, с понятием, дак те и замуж потом берут, погулявши. И домик им дают отдельный. Да как же, ничего не видимши, узнаешь, который с понятием, а который с безобразией на уме.

— Нету, нету у молодых строгости, — поддакивала Наливайка-младшая.

— Ой и натерпелася я с этой целиной! Да опосля, слава те господи, человек попался, забрал ее из того бараку. Работали у них приезжие, колодцы били, да один и присватался.

— Так, так...

— На Урал к себе забрал. Хоть и татарин, а, пишет, ничего, смирный, уважительный. Двое детишек уже. Обошлось, камень с души... А теперь вот Витька, не знаю... Пишет ему одна, смущает малого... Глядишь, тоже завееется.

— И-и, да и пусть еде-е-ет! — нараспев высказалась Наливайка-младшая. — Малый — не девка... Вон Ваня наш... Что ж, говорит, я тут буду. И пять лет пройдет — Ванька, и десять — все Ванька. Деревня она и есть деревня. В одном званьи... И верно, уехал, дак и живет теперь. До помощника мастера дошел. Образованную взял... Одеты-обуты, этим летом вдвоих на курорт ездили, карточки прислал.

Помолчали, задумались. Потом хозяйка спросила:

— И не боитесь самолетом лететь?

— Да и лучше, чем автобусом. С маминым ли здоровьем полдня по колдобинам трястись. Шестьдесят восемь годочков ведь. Самолетом спокойнее.

— А я — убей, не сяду. — с веселым испугом воскликнула хозяйка, как-то легко переключаясь от озабоченности на шутку. — Да как же это лететь — кругом пусто? Лучше пешки добегу.

И опять неожиданно, как тогда, на аэродроме, в корзине гаркнул гусь, да так оглушительно, так звонко, что эхо отозвалось в пустых ведрах. Поросяенок всхрюкнул и примчался ко мне в горницу с ошетенным загривком.



От гусиного вскрика на кровати заворочался Витька, потянулся, высунул из-за полога ногу в полосатом носке.

— От скаженный. — обругала гуся Наливайка-младшая. — Да везем Ване, к октябрьским. Хотела зарезать, а мама: не улежит до праздников. Говорит, давай живого свезем. У них там гараж есть, в гараже пока побудет.

Гусь забил крепкими крыльями по ивовым стенкам и еще раз кегекнул, на этот раз надломленно и безнадежно.

— Стомился, бедный, — пожалела хозяйка. — Пуцай походит, промнется.

— Это ж надо корзину расшивать, — заколебалась Наливайка-младшая. — А вдруг самолет?

— Да долго ли обратно запихнуть. Я ему зернеца сыпану.

— Обойдется не гулямши, — строго определила судьбу гуся бабка, и женщины перешли судачить на другую тему.

Витька окончательно проснулся, отвернул полог, выглянул в горницу. Был он еще по-южному смугл, черные вихры неприбранными завитками клубились над крепким скуластым лицом. Заспанно сощурясь, он посмотрел на серое окно, на меня и, не поздоровавшись, потянулся полосатой тельняшечной рукой к брюкам на стуле, за папиросами. Он курил, мял зубами папироску и, глядя куда-то поверх меня, с молчаливым бесстрастием слушал разговоры на кухне.

За окном мелькнуло красное, хлопнула сенешная дверь. В кухню кто-то вошел, вытирая, зашаркал у порога ногами.

— Заходи, заходи, Вер, — приглашала хозяйка.

— Вы еще не истопились, здравствуйте, — слышался голос с приятной напевинкой.

— Что раздетая, дош вон какой.

— Уж перестал, туман только. А я нынче хлеб пекла. Надоел покупной, кисёл, меры нет. Своего захотелось. Нажарилась возле печки, дак и тепло.

— Или выходная, хлеб затеяла?

— Кой выходная? К двум часам бежать. Лектор какой-то приехал, дак клуб прибрать надо. Вчера танцы были, затолкли, лопатой не отскребешь.

— Теперь заненастилось, не намоешься. Да ты проходи, проходи, — опять приглашала хозяйка. — А я дак еще не прибиралась, ералаш в хатя.

— Да нет, тетя Усть, я на минуточку... Я чего... Радио что-то замолкать стало. От дождя, что ли. Слово скажет — два молчит.. Зашел бы Витя глянуть, чего оно...

— Да он спит еще. Вчера натанцевался.

— Я глядела, не было его в клубе.

— Да ты пройди, побуди.

Витька придавил о пол папиросу, задернулся пологом.



— А я вижу, кто-то в окне, думала, Витя, дай забегу спрошу. А если спит, дак чего ж...

— погоди, я его сама побужу, — готовно сказала хозяйка. — Хватит ему...

— Ой, не надо, тетя Усть, — горячо запротивилась Вера. — Вы уже потом, передайте. Да и не к спеху. Как будет время, так пусть и зайдет... Побегу я.

— Да сидела б... — не отпускала хозяйка. — Щас самовар поставлю. Вчерась бегала в селпо, дак мед с сотами был, полкило взяла...

— Спасибо, тетя Усть, бежать надо. Гладить затеяла.

Вера ушла, опять промелькнула под окнами жарким платьем. Витька лежал еще за пологом и снова высунулся.

— Соседка наша, — пояснила хозяйка. — Девушка еще... Не забыть Витьке сказать, чтоб сходил починил... А и будете, бабы, чай пить, самовар поставлю? — предложила она с лихой бесшабашностью. — Все одно сидеть...

— Да когда уж теперь, — сказала Наливайка-младшая.

Витька встал — крепкий, кряжистый, с сильными скошенными плечами, бедра его плотно обтягивали синие трикотажные полуплавки с красной окантовкой — натянул флотские брюки, обулся. Потом отвернул полог, сдернул с гвоздя бушлат, громыхнувший латунными пуговицами, набросил его внапашку. Уже одетый, закулив еще раз, он вышел.

— Вить, а тут Вера заходила...

— Слыхал, — буркнул Витька.

— Радиво у них чевой-то...

Витька не ответил, шагнул в сени. Дым от папиросы протянулся за ним из самой горницы.

— Сын? — уважительно полусшепотом спросила Наливайка-младшая.

— Сыно-ок, — вздохнула хозяйка, и были в ее голосе и гордость, и растерянность перед непонятным Витькиным молчанием. — Вот демобилизовался... Дома теперь...

Потом они еще о чем-то судачили, и было слышно, как весело зашумел самовар.

В окно я увидел Витьку. Он стоял, прислонясь спиной к палисаднику, засунув руки в карманы и растопырив локтями накинутый бушлат. Время от времени над его кудлатой головой взвивался дымок папироски.

Дождик, наверно, и вправду поутих, потому что заметно посветлело, и был теперь виден не только колодец под бугром, но и бурые чащобы камышей за ним и даже тот берег с окраинными домами заречной улицы. Только пахота на бугре за избами еще размыто синела.



По той стороне, полевой дорогой, мимо намокших, резко желтевших скирдов новинной соломы, плелась подвода, и было видно, как лошадь усердно мотала головой, помогая себе тащить телегу. Витька долго следил за нею, потому, должно быть, что ничего живого не попадалось на глаза и глядеть было не на что.

Глядел на телегу и я... Вдруг Витька обернулся и закивал мне, замахал рукой. Я было не понял, в чем дело, но тут и сам за разговорами на кухне, за шумом самовара услышал глухой и ровный гул самолета.

В доме сразу все всполошились. Хозяйка прибежала с моим пальто, просохшим, с горячей подкладкой, потом побежала помогать Наливайкам, сама же подхватила корзину и потащила в сени.

— Ой леший! Да что ж он так-то налетел, — приговаривала она. — Чаю не попили.

— И на том спасибо, — выходя, ссутулилась в низких дверях Наливайка-младшая. — Заходите когда...

— Да вы горóдами, горóдами бегите. Тут ближе...

Самолет, развернувшись над селом, серым кургузым саранчуком промелькнул за деревьями и пал где-то в поле.

Уже за сараем я торопливо сунул руку хозяйке, она, простоволосая, с откинутым на плечи платком, тревожно озабоченная тем, как бы мы не опоздали, неловко подала мне свою маленькую, неприятно жесткую и сухую руку и, приговаривая: «Вы уж извиняйтесь... Заходитея», — растроганная не расставанием с нами, а, скорее, самой процедурой прощания, стыдливо и смущенно завлажнела глазами. Я взял у Наливайки-младшей корзину с гусем, и мы пошлепали торопливым скользучим бежком по раскисшей огородной тропке — я, за мной Наливайка-младшая и уж за ней, растопырив руки, толсто закутанная бабка.

— Час вам добрый! — кричала вослед нам от сарая хозяйка. — Ох, лихо мое!..

### 3

К самолету никто не опоздал: в полутемном железном чреве кабины уже сидели и лейтенант со своей попутчицей, оживленной предстоящим полетом, и гражданин с ревизорским портфелем, и те две девчонки в высоких копноподобных прическах. В овальную дверь было видно, как внизу, возле стремянки, покуривая и часто сплевывая, нарочито налегая на матерок, панибратничал с пилотами аэродромный диспетчер. Наливайки сели в конце на разных скамейках, и, когда самолет взревел, задрожал всем телом и помчался, они, грузно припечатанные к сиденью, уставились друг на друга, окаменело переживая оторопь.

Сначала за окном струилась близкая трава, потом она незаметно отступила вниз, стала полем, самолет накренился, поворачи-



вая, земля резко провалилась, и в этом провале, в буром разливе камышей оловянно заблестела кривулистая речонка. Мы летели над долиной Варакуши, ближе к левому ее косогору, и вскоре внизу поплыли четкие квадратики дворов. Я даже разглядел сруб колодца под кручей с нитками тропинок, веером протянувшихся от него к избам, и, мысленно пробежав по одной из них, отыскал по вялому, затухающему дымку над соломенной крышей Витькину избу. Разглядел и неубранную грядку капусты, и сарай, и ворошок хвоста во дворе.

А еще успел разглядеть черное пятно перед палисадником, и я догадался, что это все еще стоит на улице Витька. Мне показалось, что мелькнуло его запрокинутое лицо — светлое пятнышко на темном фоне бушлата: должно быть, он глядел на самолет. И то, как от соседнего дома отделилось красное и двинулось навстречу Витьке...

Самолет забирал все выше, и стало видно далеко окрест: неоглядно простирались ухоженные поля — зеленые и черные, с пятнами скирдов на взметах, с жирными полосами дорог, разумно обходивших овражки и кочковатые низины, пестрая россыпь коров мелкой галькой виднелась на яркой озими. Сама же деревня, вытянувшаяся двумя долгими улицами по обе стороны Варакуши, под конец смешалась и разбрелась домами, и это был уже сам райцентр. Я отыскал базарный майдан с белой церквушкой, заезжий дом рядом с нею, где провел четыре командировочные ночи, и розовый брусок школы по другую сторону площади в окружении серых безлистных садов. За школой широко белела вода местной Рицы в голых глинистых берегах. Своими очертаниями пруд походил на балалайку, основанием которой служила ровная грядка плотины, а грифом — втекавшая в него Варакуша. С высоты все это казалось ничтожно малым, игрушечным, каким-то воплощением суеты сует. И только сама земля с высотой становилась еще шире и беспрельней.

И опять в корзине забился и закричал гусь, и все повернули головы, обрадовались происшествию, снявшему тягостное напряжение полета, засмеялись, заговорили. Покраснев, делано заулыбалась и Наливайка-младшая: ей было неловко, что она везла такую беспокойную ношу. На крик гуся высунулся из служебного отсека пилот, широколицый, густобровый, в лихой аэрофлотской фуражке с эмблемами.

— Это у кого такая веселая закуска? — спросил он, оглядывая пассажиров.

Все уставились на бабу.

— А ну, давай, старая, шуранем его за борт, — сказал летчик. — Эх и полетит!

— И ее заодно, чтоб знала место, — желчно буркнул гражданин с портфелем. — Совсем обнаглели...



Наливайка-младшая побагровела от смущения, маленькие глаза ее замигали, но бабка даже не повела бровью.

— Ничего, мать, — летчик блеснул белозубой улыбкой. — Давай действуй... Гусь — это штука!

Все рассмеялись, он подмигнул и захлопнул за собой дверь.

Под крылом пластались дымные космы тумана, и вскоре самолет нырнул точно в вату — во что-то белое и глухое...

1968

## ТЕЧЕТ РЕЧКА...

Туман, по-осеннему колюч, студен, хватал за руки и был так плотен, что Устин не видел даже своего стада, а лишь различал шумное сопение коров, обрывавших траву. Парусиновый картузик на нем отволг и потемнел, сизым сделалось и остроносое лицо, поросшее невесомой, редкой бородой, сквозь которую видны были белые пуговицы рубахи. Опираясь на батог, Устин слушал стадо и время от времени, шмурыгая по траве сапогами, не торопя скотину, переходил на новое место.

Из тумана вынырнул Валерка, долговязый подпасок, переросший за лето Устина почти на целую голову.

— Во насунуло! Носа не видно. — Он потер красные озябшие руки.

— Дак ить Ильин день проше-е-ел! — прокричал Устин с бодрой готовностью поговорить. — Самое теперь туманы пойдут.

Валерка достал блескучий портсигар, откинул перед Устином крышку с тремя выдавленными на ней богатырями. Тот долго копался, пытаясь подцепить корявыми дрожащими пальцами сигарету, но, так и не сумев вынуть ее из-под резинки, махнул рукой.

— Мне ить нель-зя! Врачи начисто запретили!

— И по лампадику нельзя?

— Не-е! — замотал бородой Устин.

— А то — есть! — Валерка, хитровато сощурясь, хлопнул по дерматиновой сумке, висевшей через плечо. — Нынче ведь праздник. На деревне гулять будут.

— Какой такой?

— День механизатора.

— А-а... Ну-ну... Дак и верно: вчера по радио объявляли. Только мне теперь нельзя. Отпился. — Устин виновато засмеялся. — Все! Выбрал весь свой лимит. Врачиха сказала: дышать — дыши, а больше на этом свете ничего не положено. Во как!

— А я думал, все: отбросишь копыта.

— Да не-е пока... Выцарапался. Считай, весь жалудок обреза-ли, — засмеялся Устин. — Штаны не держатся. Хоть к пупку пристегивай!



Устин не говорил, а выкрикивал Валерке, будто глухому. Кричал, должно быть, оттого, что стоял туман, и эта крошечная, промозглая слепота сама по себе заставляла напрягать голос, а может, кричал и потому, что был он радостно возбужден первым своим выходом в луга. Прележал он в больнице с самого апреля, увезли еще до травы, не чуял уже вернуться в свои Кулики, и теперь ему был весь свет внове. Он живо ощущал сквозь чуткие резиновые сапоги холодок мокрой травы, приятен был ему и грубоватый уют тяжелого брезентового дождевика с его застарелым псиним запахом и даже радовался батогу, давнишней своей палке, захватанной руками до костяного блеска, которая все лето простояла в углу за печкой вместе с бабкиными ухватами и чапельниками.

— Это, говорит врачиха, все от сухой пищи получилось! Надо, говорит, горячее потреблять! А иде оно, горячее, — поле да поле! — смеялся Устин. — Молодая, рази она понимает наше? Картох напекешь — то-то брюхо и погреешь! — Устин ласково глядел на Валерку, радуясь ему, тому, что Валерке можно выпить по случаю праздника.

— А и выдурился ты, гляжу! Ерой стал! Девоч, поди, щупаешь, когда в клубе кино пускают, а?

Валерка покраснел оттопыренными ушами.

— Во флот попадешь, помяни мое слово, во флот!

Постояв, они продвинулись немного вслед за стадом. Завидневшаяся недалеко черно-рябая корова, вытянув морду, задумчиво уставилась на Устину.

— Сорока, Сорока! — позвал он, узнавая корову.

Сорока потянулась к нему, обнюхала рукав дождевика, негромко мыкнула, обдав запахом утробного травяного варева.

— Ты гляди, а? — счастливо удивился Устин. — Не забыла!

Он принялся шарить по карманам, привычно отыскивая корку хлеба, но, не найдя, поерошил корове кудлатую челку, осыпанную водяной пылью.

— Стало быть, ходишь еще, а, Сорока? У, дуреха! А я вот, вишь, было отбегался... Что поделаешь... Ну, ходи, ходи, глупая!

Валерка подхлестнул корову кнутом, та взбрыкнула и вмиг исчезла из виду, растаяла в тумане.

— Не балуй зря, — укорил Устин. — Не обижай...

Туман вдруг ожил, за клубился, закипел румяно, и Устин понял, что взошло солнце. Подперев грудь палкой, он смотрел в легком стариновском забытии в ту сторону. Стадо тоже почуяло солнце: коровы перестали щипать, тронулись брести все разом навстречу свету, ревя с протяжной ленцой и оставляя на сером росном лугу сочные густо-зеленые полосы, и там, где только что паслись коровы, туман остро пах скотиной и парным молоком.

Наметанным ухом Устин вскоре определил, что стадо вышло к речке Ивице: слышался хруст осоки, чавканье воды под копыта-



ми. Забирая левее, чтобы стать во фланг, за последней коровой, они и сами вышли к реке, дымным провалом обозначившейся внизу, под берегом.

— Ой, ктой-то?!

У воды, в парном куреве неясно мелькнуло нагое тело, затрещали лозняки.

— Ты, что ль, Татьяна? — догадался Устин.

— Напугалась-то как! — отозвался из кустов женский голос. — Думала, рыболовы.

— Куда бежишь? То ли на праздник?

— В Кулики. Говорят, артисты приедут.

— Дак пошто рано так-то?

— К девчатам забегу. Платье хочу укоротить. Дядь Устин... шел бы ты... Одеваться стану. Валерка, чего вызрелся, дурак...

— Нужна ты мне. — Валерка, волоча кнут, вразвалку ушел по берегу.

— Ты что ж, гляжу, плыла? — спросил Устин. — Мать-то чего не перевезла?

— С малым нянчится.

За невидимой Ивицей, за розовой клубящейся ватой тумана плакал ребенок. В его хныканье вплетался торопливый говорок Татьяниной матери, Нюрки:

— Ну, миленький, ну, Павлунюшка... Да что ж ты так? Или зубки режутся?

— Дак сама-то и переехала б, — сказал Устин. — Вода небось ледяная.

— А ну ее, лодку, крутиться с ней. Еще рыболовы угонят... Тут под берегом только глыбко и осталось. По коленки всю речку шла. Бр-рр!! Роса какая жгучая! Дядь Устин, иди уже...

— Иду, иду. — готовно заспешил Устин.

Он отошел на несколько шагов. Валерка чуть подальше лежал на боку, постукивал по сапогу кнутовищем.

Татьяна, прижимая к животу ком белья, выбралась из мокрых кустов и, маяча округлым телом, принялась одеваться. Устин глядел, как она, облитая процеженным зоревым светом, отвернувшись, набрасывала на шею собранную хомутом нижнюю рубаху, как затем торопливо обдергивала ее, липкую, неподатливую, по мокрой спине, и удивлялся тому, как быстро выросла Татьяна: давно ли бегала вот таким поганышем, а уж вон какая... Глядел, смиренно радуясь Татьяниной красоте, ее молодой, свежей, только что свершившейся взрослости. И, поглядывая на нее так, припоминал по ней свое молодое, далекое, что будто сон: вроде и было и не было...

— Муж-то как? — спросил он, вспомнив, что у этой девочки есть уже муж. — Пишет чего?



— Ой, да ну его! И думать не хочу. Как укатил на целину, так и концы в воду. Ни одного письма.

— Напишет еще. Оглядится — и напишет.

— Больно нужен. Небось другую уже завел... А ты, дядь Устин, значит, опять вышел?

— Да похожу, погоняю еще маленько, пока ноги несут.

— Шел бы ты уж на пенсию. После такой-то операции.

— Дома хуже, — засмеялся Устин. — А тут воля. Вроде как и опять жилец.

Татьяна оделась, повязала косынку и заспешила босая, разбрызгивая траву, будто зеленую воду. Опершись на батог, Устин смотрел на ее строгий прямой след в мокрой траве.

«Вот уж и выросла», — думал он про Татьяну.

За речкой бабахнуло. Устин встрепенулся от своих дум, прислушался. Палили, должно быть, под лесом. Дуплет раскатился протяжно, и Устин определил, как выстрел ударился о невидимый сейчас заречный саженный сосняк, загремел по нему гулким и бодрым эхом.

— В заказнике, не иначе, — кивнул Валерка, подходя к Устину.

— Скажи ж ты... Вот ведь и запрещено, а балуют.

Вскоре с шелковистым посвистом с той стороны на эту пронеслись утки. Оба задрали головы, сиюсь разглядеть выводок за туманом.

— Чирята! — признал Устин, провожая уток по слуху долгим и жадным взглядом. Ему было радостно, что где-то еще водятся утки. И вообще было хорошо видеть, слышать и узнавать в лугах все прежнее, знакомое, что связывало его с этой землей, с этим миром.

Притомившись, Устин нагреб сухой, кем-то накошенной осоки, сгромоздил ворошок под ракитовым кустом, кряхтя привалился боком.

— Полежать, что ль... К земле, брат, гнет. Бяда-а! Бяда-а!

Валерка выложил на осоку краюху ржаного хлеба, ломоть сала, крупные налитые помидоры, головку чеснока и соль в спичечном коробке. Потом деловито достал из полевой сумки зеленую четвертинку, зубами вырвал бумажную затычку, на всякий случай, больше из вежливости, протянул посудину Устину. Тот, засмеявшись, потряс головой.

— Мне твоей еды-питья не положено, — сказал Устин, вынимая из своей холщовой сумочки бутылку молока и городскую баночку, обсыпанную маком.

Валерка крупно глотнул из горлышка, сморщился и поспешно разломил помидор, заблестевший сахаристым инеем на изломе.

Река все еще курилась туманом, но уже просветлевшим и редким, и на середине Ивицы обозначился остров. За лето, пока Устин лежал в больнице, остров еще больше зарос лозой, и от его нижне-



го конца далеко по течению высунулся узкий песчаный язык, разделивший Ивицу на два рукава.

— Вон как прет, — кивнул Устин. — Дурница пустопорожняя. А ить глубина была, когда мельница стояла. Вожжами не промеряешь. Ты не захватил, не знаешь.

— Сваи-то помню, — сказал Валерка. — Тракторами таскали.

— Тут ить прежде ивы росли. Во какие, не в обхват. По обоим берегах! Лес! Это ж на середине речки только небо и увидишь. Половодье-то схлынет, крыги унесет, — вспоминал Устин, поглядывая на речку. — дак скворухов слеталось видимо-невидимо. Все деревья, бывало, осыпят. Свиристят, гомонят в затишке... А то цвествь начнут, пушиться серьгами. Ивы-то. Аж по лугам дух сладкий. Пчела как полетит, как повалит! Гудит все пчелою. Потому и речку нашу Ивицей назвали.

Устин стал рассказывать, как любил ездить сюда с отцом по новине. Увидел себя мальчишкой, отца, старую свою хату, двор, амбар, вкусно пропахший зерном, сбруей, старыми полушубками. Вспомнил, как батя еще с вечера подкатывал к амбару полук, отвинчивал гайки на осях, стаскивал колеса, мазал ступицы дегтем. Как потом начинал грузить мешки с житом, укрывая их рядом, клал в передок полушубок, еду, торбу с овсом... А перед тем неделя молотбы. На огородах, за половнем, начисто разметали ток, выкладывали снопы, голова к голове, колосья на колосья и — пошел, пошел цепами.

— Туки-туки, туки-туки... — Устин замахал батогом, изображая молотбу. — Ты ить и не знаешь такого, а?

— Да слыхал...

— А-а, слыхал! — по-детски восторжествовал Устин. — А я меньше тебя был, годиков десяти, а уже имел свой цепок. Батя сделал! Вроде как для забавы, а сам меж тем и к работе приучал. Давай, давай, Узька, бывало, подбодряет. Да по соломе-то не лупи. Не порть солому. По колосьям меться.

— Тоже, значит, техника была, — усмехнулся Валерка, поддевая складничком соль из спичечного коробка.

— Да ить какая техника: держак да дубовая бита на ременных завертях. Вот тебе и весь сказ. За день так-то умолотишься, что и домой не дойдешь, а тут прямо в солому и ткнешься... Ни рук, ни ног. Ну а на мельницу поедешь, там-то уж воля вольная. Это ж теперь кино да телевизоры. А тади слаще как на мельницу съездить, и развлечения не было. Так с раки в воду насигаешься, аж в ушах звон. А то лошадей пораспрягаем, да всей гурьбой на них в Ивицу. Кто за гриву ухватится, кто за хвост. Шум, плеск, кони храпят, гуркают утробой от удовольствия, а уж нам, ребятишкам, и вовсе... Да...

Валерка допил, зашвырнул пустую четвертинку в протоку и, ковыряя в зубах травинкой, спросил с сытой ленцой:



— А мельница куда ж делась?

— Да ить как же... Всему свой конец приходит. Машина в Куликах объявилась. Машиною молоть начали.

— Дизель, что ли?

— Не-е! — засмеялся Устин. — Тади таких еще не знали. А и тоже сила была. Чего хошь сыпь — все перетрет. Так это, бывало, пыхтит, пары пускает. И зимой и летом.

В Куликах неожиданно заиграла музыка, стало даже видно, как сквозь туманную дымку, должно быть возле клуба, зеркально взблеснула медная труба. Валерка приподнялся на локте, поглядел, прислушиваясь, на деревню. Устин начал было еще о чем-то рассказывать, но Валерка все поглядывал на деревню, все вострил в ту сторону уши, по всему было видно, что ему теперь не больно-то интересно слушать словоохотливого старика, и Устин, сдержанно пожекав в кулак, замолчал.

— Сегодня гульнут! — с тайной завистью сказал Валерка.

— А што ж, — одобрил Устин. — Зябь попахали, дело теперь законное. Да ты шел бы тоже. Я и один попасу.

Валерка оживился.

— Иди, иди, соколик. Дело молодое. Чего томиться.

Валерка не заставил себя упрашивать, поддернул голяшки сапог и, не убрав закуску, широко зашагал лугом.

— Иди, милай, — радостно напутствовал его Устин. — Теперь твое время.

Коровы, привлеченные водой, все еще лазили по берегу, добывали себе из ила узловатые корни рогоза, громко хрумкали кочерыжками. Растревоженный рогоз источал душный аптечный запах. Устин лежал на животе, глядел на Валеркину угловатую фигуру, пересекавшую седой дымящийся луг, на то, как солнце уже одолевало туман над высоким убережьем, по которому длинной вереницей ракит обозначились Кулики. Солнечные лучи подожгли пожаром высокие окна в новом клубе, кумачово полыхали флаги, вывешенные на белых колоннах. Потом высветились краснокирпичные ряды гаражей и мастерских, длинные бруски коровников, бело-серебристая водонапорная башня, похожая на гранату, поставленную торчмя.

— Эко наворочали! — удивился Устин. — Вот как взялись. Чисто город!

Возле клуба снова заиграла музыка, на этот раз звучали неторопливые «Сопки Маньчжурии». Устин улавливал знакомый старинный вальс и одновременно слышал, как в заречье Нюрка громыхла пустым корытом, хлопала сенешной дверью.

— Сейчас мы с Павлушей стирать будем. — Нюркин голос явно долетал в чуткой утренней тишине. — Рубашечку Павлуньке постираем. Чистенькое наденем. Мамка воротится домой и не узнает нашего Павла. И чей же это, спросит, такой умница?



Ту-та-та...  
Хо-та-та...  
Во-та-та...  
Круг-та-та, —

задумчиво вздыхала в Куликах басовая труба.

— ...Да неужто, скажет мамка, это наш Павлуныка та-акой чистенький да умытенький? — приговаривала по другую сторону Ивицы Нюрка.

И какая-то высокая, голосистая дудка совсем по-человечески выводила:

*Ветер листвы не колы-ше-ет...*

Музыка сладко щемила, скребла и царапала какую-то еще не усохшую струнку в Устиновой душе. Он даже зажмурился, весь уйдя в слух, в радостно-тихое восприятие звуков. Мысли его все время почему-то углублялись в прожитое, и Нюркин баюкающий говорок, процеженный туманом, такой молодой и чистый, вплетаясь в плавные переливы оркестра, напомнил Устину те далекие его годы, как он, уже парнем, ездил молотить на Ивицу, как выпрашивал у матери поновее рубаху, намусливал лампадным маслом непослушные вихры, а перед тем бегал в винополку купить в дорогу шкалик. К тому времени мельница отошла куликовской коммуне, и заправлял ею Ивашка Бобров, Нюркин отец, бородатый плечистый мужик на деревянной ноге, которую он привез с собой после австрийского плена. Мельницу он отдал в коммуну добровольно, и его поставили заведовать общественным помолом.

— Это ж как соберутся бабы-мужики по новине, как съедутся! — вспоминал Устин, посматривая на реку, туда, где горбился остров. — Мать честная! Что тебе ярманка! Возы скрипят, лошади ржут. Конь чужого коня, из другой деревни, увидит и то интересуется. А уж человеку и вовсе занятно: кто, да што, да откуда. Ночью под деревьями костры палят, лясы да байки точат, ожидаючи-то своего череда. Девки дак и петть возьмутся. А вода знай себе шумит на плотине. Денно и ночью. Бьет, пластается вода в щелки, в ставни-то... И жернова: жур-жур, жур-жур... Жуют жито. Теплой мукой пахнет. Уж так все припорошится пылкой: мужики бегают — брови, картузы белые.

Помнил Устин и ту прежнюю Нюрку, тогда еще молодую девушку, как угощала она помольцев горячими ситнухами с общей муки, которые сама ночью же и пекла. Как приносила она эти хлебцы в решете, прикрытом полотенцем, под самые ивы, к костру, где коротали ночь мужики. Босоногая, румяная, только что от жаркой печи, пропахшая свежим хлебным тестом, кивком головы поправляя темную крученую косу, Нюрка обходила всех, приговаривая: «Ешьте, ешьте, люди добрые, с новиной вас». К решетку тянулись темные корявые руки мужиков, разбирали хлебы, натирали горя-



чие краюхи чесноком и салом. «Берите, берите, — предлагала Нюрка, — я еще напеку». Тянулся к хлебу и Устин, краснел и не глядел на Нюрку. И был он готов уступить свою очередь, молоть самым последним, чтобы еще вот так позоревать у костра, дожждаться, весь обомлев, этого Нюшкиного ночного прихода. Все хотел он с ней как-нибудь заговорить, да так и не решился, так молча и ушел в Красную армию на действительную службу.

Когда же воротился домой, Нюрка была уже засватана. Прибился к ней Степка Грач с ивицких хуторов, черномазый скуластый малый с вертлявыми глазами. Был он годов на пять постарше Устина, держался бойко и самоуверенно. К тому времени старый мельник, Нюркин отец, уже помер, и всем делом на мельнице управлял этот самый Степка.

Помнится, как пробрался Устин на плотину, как лежал в чужой телеге, таился, ждал, не выйдет ли Нюрка по прежнему своему обычаю... И верно, вышла и опять обносила всех ситнухами, а у самой под фартуком вроде тоже ситнух запрятан... И так тогда сделалось Устину безвыходно, так нехорошо было глядеть на ее беременный живот. Кинулся бежать, не помня себя, ломился сквозь какие-то кусты, в клочья изодрал гимнастерку, жахнулся по грудь в торфяную зыбь, потом всю ночь пролежал в сырой траве, в темени, то стеная, то загораясь жгучей слепой мстью. Недели две после того пил запойно, а потом и сам женился с отчаяния, чтобы враз все отрубить. Взял незнакомую, чужую, из дальнего села.

«А и было тоже, — подумал как не о себе Устин без сожаления и обиды. — Куда что девалось... Ушло время».

Года через два в Кулики привезли ту самую машину. Волокли ее со станции на восьми волах, разукрасили портретами, березовыми ветками с красными бантами. Пока везли по деревне, возле машины бегал, волчком вертелся подвыпивший Степка Грач, махал руками, указывал, по какой дороге везти, где меньше колдобин, подсовывал под чугунные колеса снопы соломы. Старый мельничный сруб разобрали, свезли на деревню, сделали из него сарай над машиной. И опять Степка командовал: сам метил цифрами бревна, сам снимал жернова, выдираал скобы и петли. Его и поставили потом заведовать новой мельницей. Предлагали ему заодно перевезти в деревню и хату, но он отмахнулся, дескать, сейчас не время, главное, чтобы машину пустить. Поначалу Степка бегал к машине из заречья, потом все чаще стал оставаться ночевать, а когда прирубил себе сбоку камору, то и вовсе неделями не ходил домой. Завелись у него дружки-приятели, рассказывают, будто шастала в эту камору одна хуторская разбитная бабенка. Однако все кончилось тем, что как-то раз сильно хмельного Степку затянуло ремнями и задавило приводным колесом.



Вместо Степки назначили какого-то заезжего мастерового, и все пошло своим чередом. Меж тем старую плотину размыло и унесло половодьем, и Нюрка с дитем осталась в лугах одна. Но об ней особой речи не шло, а только вспомнили, что на той стороне осталось десятин двенадцать артельной пахотной земли. Думали, думали, как поступить с той пашней: засеять ее было теперь несподручно, поскольку туда не стало переправы, а порешили передать этот неудобный клин в договорное пользование какой-то городской артели. А заодно передали тоже вроде как в аренду и саму Нюрку, потому как она оказалась ни то ни се...

Как-то раз, еще в те годы, возвращался Устин с ивицких хуторов выюжной ночью. Ехал зимним путем по остановившейся реке, и конь сам повернул к Нюркиному подворью. Видел, что свернул с дороги конь, потянул было за вожжи, но потянул как-то робко. Все в нем пыхнуло горячим содомом, и он не стал воротить коня, и вдруг, ополоумев, огрел кнутом и погнал напрямки целиной. По глубокому снегу пробрался к темному окошку. Долго стоял, осыпаясь с крыши бегучей снежной заметью: постучать или не постучать. И постучал... Нюрка долго не отпирала, выглядывая в протертую круговину окна, наконец узнала, вышла в сени, что-то испуганно заговорила ему, придерживая щеколду, но он, ничего не слыша, не помня себя, рванул дверь и, как был в завьюженном тулупе, с мокрым лицом, сграбастал полураздетую отбивавшуюся Нюрку, шагнул с нею в сени... И тут же, неся ее кулем, сразу весь обмякнув и похолодев, почувствовал сквозь замашную нижнюю рубаху жесткий вспученный ее живот... Остывая, он бережно опустил ее на ноги, Нюрка отвернувшись, закрыла лицо ладонями...

— Как бы не помял тебя сдуру, — сказал он, смутившись.

— Чего уж мять... — глухо отозвалась Нюрка. — Мятая. А ты иди, Узя, ступай себе... Не хочу я теперь ничего...

Устин постоял, покомкал мокрую шапку.

— В Кулики, что ли, переезжала бы... На люди.

— И в Кулики твои не хочу... Иди, иди...

Раза два после того встречался Устин с Нюркой, опять уговаривал переезжать на деревню. Нюрка не глядела на Устину, молчала. Да так и осталась по ту сторону, вот уже скоро сорок годов. Менялись всякие арендаторы, переходила из рук в руки и Нюрка со своей хатой.

— Ну ладно, перекусили маленько, — сказал сам себе Устин, вставая. Он спустился к реке и принялся полоскать свою бутылочку.

Река тем временем просветлела, открылась на всю ширину, заиграла под солнцем, и на той стороне выбелилась одинокая Нюркина хата. Стали видны ступени, прорытые в глинистом обрыве, сбегавшие к мосткам, у которых дремала большая, как называют в Куликах — сенная, лодка. В двух правых оконцах пламенели ка-



кие-то цветы: там обитала Нюрка с Татьяной. В крайнем левом, загораживая выбитую шибку, стояли конторские счета. В этой половине в разные времена размещались всякие огородные конторы. Теперь там обосновалось подсобное хозяйство глухонемых. Со стороны казенной половины на забурьяненном разгороженном дворе громоздились штабеля тарных ящиков, стояли плуги и телеги, краснел тракторок на дутых колесах. Ближе к берегу торчала на столбах фанерная Доска почета, обращенная фасадом к Ивице, а рядом с ней — физкультурный турник, на котором иногда баловались возчики. Контора от самого мая пустовала, подхозовская картошка и капуста еще не доспели, глухонемых на уборку пригонять было еще рано, так что, кроме завхоза, здесь никто не появлялся за все лето.

В дверях хаты показалась баба в солдатской гимнастерке на выпуск. Это была сама Нюрка. Она вынесла из сеней деревянную зыбку, привязала постромки к перекладине турника, потом опять сходила в хату, принесла всхлипывающего ребенка в голубенькой рубашке, уложила его в зыбку.

— Уж я тебя на солнушке покачаю, вот как хорошо-то на солнушке, — певуче выкрикивала Нюрка. — Слышь, вон как музыка в Куликах играет!

Ребенок устало квохтал, было видно, как он задирает ножки, хватал их руками.

— А вот на-ка тебе цацу! На-ка огурчик! Поточи, поточи зубки. Ишь они, зубки, не дают спать нашему Павлуньке... Болят, болят, окаянные...

Присев на колоду, Нюрка закатала рукава, принялась тискать белье в корыте.

— Точи, точи огурчик, — выкрикивала она, болтая седыми космами в такт движениям сухих оголенных рук. — А я тебя побаюкаю.

И, горбясь над корытом, начала тягуче и высоко:

*Голова ж моя, головушк-а-а,  
Голова ж моя бурлацка-я-я,  
Забурлачила ты меня, молодца,  
Эх, да на чужой дальней стороне-е-е...*

— Кхи, кхи... — квохтал в зыбке малец.

Нюрка высвободила из мыльной пены руку, обтерла о подол гимнастерки, поймала конец кушака, который волочился по земле вслед за люлькой, принялась раскачивать и снова припевать:

*Сторона ж моя, сторонушка-а-а,  
Сторона ж моя незнакомая-я-я.  
Ох, да незнакомая, незнакомая,  
Ой, да ни дорожки к тебе, ни тро-по-чки-и-и...*



Голос ее чисто и ясно перелетал тихую утреннюю Ивицу.

*Завела ж меня, хмелинушка-а-а,  
Ох, да хмелинушка, вороний ко-о-онь.*

Мальчонка, ненадолго присмирив, начал снова однотонно, басовито реветь.

— Да дай же мне достираты! — подскочила Нюрка, и голос ее загремел грубо и зло, будто и не она только что так сладко и душевно напевала. — Понапачкал и не дает сполоснуть.

— А-а-а-а... — трубил малец.

— Вот вражье семя, ирод полосатый, угомону на тебя нетути, прости ты мою душу грешную.

Нюрка торопливо принялась выкручивать белье, перекладывая отжатое себе на плечо.

Близко, где-то за мельничным островом, опять шарахнул выстрел. Сонная поверхность Ивицы взметнулась мальками, будто в воду сыпанули гороху.

— Слыхал? Будешь нюниться? — кричала Нюрка. — Вот придет Мамай с ружьем, заберет тебя в сумку.

Павлушка приумолк.

— Вон, вон Мамай идет! — продолжала устрашать Нюрка, развешивая белье на гребне Доски почета. — Иди, иди скорей, Мамай, заberi Пашку-поганца.

И верно, той стороной, берегом, отражаясь в воде, шел охотник. Брел он неспешно, устало, ружье висело поперек груди, отвернутые голяшки болотных сапог толсто свисали под коленками.

— Батура идет. — Устин узнал в грузной, облаченной в кожаную куртку фигуре Нюркиного завхоза. На его поясе болталась убитая утка. Было видно, как при каждом шаге охотника птица взмелкивала светлым брюшком.

— Здорово, бабка! — еще издали гаркнул Батура сиплым басом. — Жива?

Он заглянул в зыбку, отчего Павлушка сразу же заревел. «Нуну!» — прицыкнул на него Батура и пальцами показал козу. Нюрка принялась трясти люльку, а завхоз, пройдя к хате, приставил к стене ружье, расстегнул патронташ и вместе с уткой повесил его под застрехой. Освободившись от пояса, Батура помахал лапами куртки на округлый живот. Нюрка шмыгнула в сени, вынесла большую медную кружку. Батура долго пил, широко расставив сапоги, потом снял кепку, нагнулся и, шумно отфыркиваясь, вылил оставшее себе на шею.

— От добре! — довольно крякнул завхоз и прошелся по двору, разглядывая хозяйство.

— А это что ты тут понавешала? — строго крикнул он, остановившись перед Доской почета. — А ну, сними, сними...



«А и верно, нехорошо это, — подумал Устин. — Не для того предназначено».

Сколько он помнит, вечно на виду у всех Куликов в Нюркином дворе болтались пеленки да рубашонки. Однако детишки почему-то не выживали. Может быть, оттого, что лечили их всякие захожие бабки. Уцелела только Татьяна. Родила она ее после войны, будучи сама уже в летах. В то шумное, безалаберное послевоенное время по воскресеньям наезжали в заречье городские артельщики из коопторга, целый день лазили по Ивице с бреднем, а вечером на берегу палили костры, варили уху, горланили песни. Какие они собирали со своего огорода урожай, Устин уже не помнит, зато после них Нюрка снова была с прибылью: родила эту самую Татьянку. Девочка росла почти на Устиновых глазах: училась она в куликовской школе, нередко оставалась у него ночевать, а по весне, когда Нюркину хату отрезало недели на две, на три половодьем, жила у них до сухого. Девчушка она была тихая, привязчивая, лицом живо походила на Нюрку, особенно глазами, и Устин, у которого так и не народилось детишек, встречал ее, как свою, одаривал то конфетами, то яблоками. А иногда, таясь от жены, покупал в сельповской лавке чулки, а то и ботинки и, дожидаясь со стадом в лугах, когда Татьяна побежит в школу, заставлял ее тут же на траве переобуться в обновку...

Теперь вот пришел Нюрке черед развешивать внуковы рубашонки...

Пока Нюрка перевешивала белье с Доски почета на борта телеги, завхоз оглядывал заросший бурьяном инвентарь, сунулся было в распахнутый сарайчик, где обитал подхозовский мерин, но оттуда через Батурину голову вылетела белая курица. Батура запустил в нее кепкой, попал на лету, курица, роняя перья, взвилась аж на самую хату и долго орала там, вышагивая взад-вперед по самому гребню, перепуганно вытягивая шею и не решаясь слететь. Батура подобрал кепку, пошел в огороды. Постоял, поглядел на капустные грядки, воротился обратно, на ходу застегивая ширинку.

— Дочь дома? — спросил он, засматривая в окна.

— Нету, — отозвалась Нюрка.

— А может, дома?

— В Кулики пошла.

— Чего она у тебя такая... неразговорчивая? — Батура пощелкал косточками счетов, вставленных вместо разбитой шибки.

На деревне снова заиграл оркестр, завхоз приставил ладонь к козырьку, долго прислушивался, глядел в сторону клуба.

— Чего там у них? — поинтересовался он.

— Праздник какой-то...

— Гм...



Батура сдвинул кепку на лоб, почесал затылок, постоял над ре-  
й, должно быть сиясь разглядеть, что происходит в Куликах,  
том подошел к зыбке, принялся что-то бубнить Нюрке. Та мота-  
головой, разводила руками, но Батура все терся около, клал руку  
а Нюркино плечо и даже хватался за кушак, которым она раска-  
ивала люльку.

— Давай уважь... — доносилось до Устина. Нюрка отдала-таки  
пшак, сбегала в хату и вернулась оттуда повязанная белой ко-  
нкой.

— Давай не бойся... Я с ним тут побалакаю.

Она сдернула с крыши сарая весло и спустилась к лодке. Пав-  
шка, должно быть почувствовав, что Нюрка куда-то уходит, за-  
пил, заколотил ногами.

— Ух ты! Ух ты! — Батура потрянул зыбку. — Горластый-то ка-  
й! Когда штаны носить будем? Поори мне! Живо оторву воробья,  
кину кошке.

Нюрка долго возилась с лодочным замком, наконец отомкнула,  
гремела цепью и отчалила.

— А вон, гляди, курица на крыше орет, — заговаривал Батура  
авлушку. — Дура пустоголовая. Давай-ка мы ее из ружья пуга-  
ем.

Нюрка торопливо гребла, скоргыкала веслом по борту и все ог-  
ядывалась на кручу.

«Кудай-то она, — запереживал Устин, наблюдая из-под куста. —  
альчонку бросила. Не видит Татьяна...»

Ближе к середине тяжелую плоскодонку подхватило течением,  
ачало разворачивать. Нюрка суетливо совалась веслом то спра-  
а, то слева, но лодка не слушалась, с разгону ткнулась днищем в  
есок и остановилась.

— Чего там такое?! — крикнул с обрыва Батура.

— Да мелко тут... — отозвалась Нюрка. — Совсем воды не  
тало...

Плоскодонка прочно села на тот самый песчаный язык, что уже  
од водой тянулся от острова. Нюрка уперлась в дно веслом, по-  
робовала сдвинуться, но лодка не поддавалась.

— Надо было тебе объехать, — досадовал Батура, раскачивая  
ыбку. — Живешь, а речки своей не знаешь.

— Да ить побыстрей хотела...

— Ты вылазь теперь, вылазь! Чего сидеть? Подтолкни ее.

Нюрка подобрала подол, послушно полезла за борт.

— На меня давай вороти! Куда ж ты ее дальше-то задвигаешь?  
кая бестолковая! Да цыть ты! — прикрикнул он на Павлушку. —  
его разорался? Цела твоя бабка.

Нюрка обошла лодку, ухватила за цепь. Подол юбки выско-  
ил из-за пояса, но она больше не подтыкала его, а, мокрая, рас-



трепанная, с повисшим на шее платком, тянула за цепь изо всех сил, увязая в быстро таявшем под ногами песке.

— Покачай ее, покачай! Чего без толку тянешь? — сердился Батура, не переставая дергать за кушак. За его спиной под турником размашисто мелькала зыбка. Павлушка, обессилив от крика, захлебывался и сипел. Плач мальчишки еще больше сердил Батуру, и он, топчась возле люльки, нетерпеливо кричал, ударяя пятерней по бедру:

— Наваливайся на нос, подпрыгивай! Подпрыгивай, говорю... Раскачивай, чтоб вода под днище-то подпирала.

Нюрка попробовала исполнить то, что кричал ей Батура.

— Да не так! Не так, черт ты дери! Ты давай животом на нос дави, а потом отпускаяй. Поняла?

— Да уж я надавливаю...

— Ну давай по команде: раз-два, взяли! Еще раз — взяли!

— Поди сам да попрыгай, — озлился Устин и первый раз за весь день лапнул себя по карману, машинально отыскивая кисет.

— ...Ну еще разок: взя-ли...

— Эть как настырничает! Эть командует! Чистый урядник. — Устин, сердито поглядывая на Батуру, начал стаскивать сапоги. — Совсем заездили бабу.

Он сбросил дождевик, ватник, торопливыми дрожащими пальцами расстегнул на штанах ремень.

— погоди, си-час! — крикнул он Нюрке, выходя из-за куста в одних подштанниках. — Не тужись без толку.

Его заметили.

— Во-во! Помогай, папаша! — обрадовался Батура. — Давай, подпихни, а то бабка одна не сладит.

Устин попробовал ногой воду. Он не купался в речке несколько лет, и даже мелькнуло сомнение, не разучился ли плавать.

— Да ты не бойся! — подбодрил его Батура. — Тут раку по это самое место...

— Не учи, едрена Матрена, — буркнул Устин.

Батурины слова насчет «не бойся» еще больше озлили Устину. Придерживаясь за ветки ивняка, он ступил одной ногой с берега, сразу ошугнулся до пояса, зашелся с непривычки от студено охватившей его глубины и постоял так, обвыкая и перебарывая сердцебиение. Потом, глотнув воздуха, решительно окунулся и поплыл незабытыми саженками. За его головой с прилипшими к черепу седыми волосами пусто пузырились кальсоны.

— Давай, давай, папаша!

Плыть до мелкого было недалеко, каких-то метров двадцать, но Устин быстро запыхался и, немного не дотянув, попробовал стать на ноги. Однако бегучий песок ускользал из-под пяток, быстрое течение воротило напрочь. Устин чуть не опрокинулся, но вовремя успел уцепиться за длинные, пластавшиеся на струе космы водорос-



лей. Задирая бороду, чтобы не захлебнуться, он по-рыбьи хватал воздух, в глазах зарябило от радужной мути.

«Оплошал, — с досадой подумал о себе Устин. — Совсем никуда...»

Он отдышался маленько, снова поплыл и, когда толкнулся коленками о дно, встал и пошел, пьяно шатаясь, животом обрывая травяные путы и волоча за собой мокрые хвосты водорослей.

— Куда ж ты такой, — оторопело выговорила Нюрка. — Из больницы толечко, из-под ножа...

— Куда... куда... — огрызнулся Устин. — Ты-то куда... — Он сердито отобрал у Нюрки весло, подважил им под носовой брус. Песок зашипел под днищем. Упрямо сопя, синевя проступившими ребрами, Устин поддевал и поддевал веслом, орудуя, как ломом, лодка мало-помалу начала подаваться.

— Лезь, отяжеляй тот конец... — велел он Нюрке.

На вольной воде лодку подхватило течением, понесло, Устин проворно вскочил коленками на носовое сиденье и, загребая выставленной ногой, направил лодку к Нюркиному берегу.

— Эй, дед! — замахал с обрыва Батура. — Куда правишь? Слышь!

Устин не отвечал.

— На ту сторону давай! — шумел Батура. — Глухой, что ли?

— Уважь ты ему Христа ради... — попросила Нюрка. — Перевези уж...

— Какое такое спешное дело? Небось за водкой послал?

— Дак ведь пристал: дай выпить и дай... Я ему: нетути у меня, не гоню больше. А он: на деревню, говорит, сбегай. Там, дескать, гуляют нынче, у всех есть.

— На нет — и суда нет, — отрезал Устин.

— Когда сама гнала, дак и было. А позапрошлым летом милиция из району налетела... Для них, как конторских, и гнала, заставляли. Иной раз сами сахару привезут, дрожжей. Давай, дескать, займись... Им гулянья, а мне условный год присудили. Теперь вот зареклась больше...

— Зарок дала, а сама бежишь. От дите-то хворого, совсем ум отжила.

— Дак ить просит человек... И отказать нельзя: вся зависимая. Уж перевез бы ты меня от греха... Я ведь все собираюсь с ним на счет алиментов обговорить.

— Какие тебе алименты? — плюнул за борт Устин. — Дочь уже сама мать. Надо было тогда и спрашивать, по горячему следу.

— Люди сказывают, положено мне... За выслугу-то годов.

— Дак то пенсию положено!

— А не знаю я, как это зовется по-конторскому-то. Пенсию, дак и пенсию... Годки-то мои совсем повышли, ноги теперь не носят... Что ж я... И так всю-то жисть бесплатно. Ни копеечки ломаной...



— Тебе рази зарплату не дают?

— Дак чего там... Одной натурою... Овощем всяким.

— Этакая ты, однако, дура! — досадовал Устин на Нюркину бес-толковость. — Чего же не договаривалась?

— Дак чего... Живу и живу. Приедет новый начальник хозяй-ство принимать, спросит: кто такая? Сторожиха, говорю, здешняя. Ну ладно, скажет, сторожи... Вот тебе и весь договор... Просила Таньку написать бумагу, чтоб, стало быть, похлопотать. А она: это ж, говорит, письменное подтверждение надо, что я здесь работала, справки за все года. А какое подтверждение, ежели и так все зна-ют, как я тут день и ночь верчусь... Уж перевез бы ты меня, принес-ла бы ему пол-литру, дело таковское, не слиняю... Он человек но-вый, может, и пособил бы...

— Такое дело за пол-литру не правят. Прокурору сразу и пиши. Чтобы по закону.

— Ох ты, грехи мои тяжкие...

Батура еще что-то выкрикивал, но Устин, мелькая сухими лок-тями, борясь с течением, упрямо продвигал лодку к Нюркиному берегу и, когда лодка наконец ткнулась в мостки, велел Нюрке вы-лазить.

— А ну иди сюда, дед! — нетерпеливо потребовал Батура.

— Иду, иду...

Устин не мешкая полез наверх вслед за Нюркой. И пока он ка-рабкался по крутым ступеням, помогая себе веслом, Батура попи-рал берег широко расставленными резиновыми ботфортами, воз-вышаясь над Ивицей, во всей своей начальственной строгости. Нюрка смиренно прошла мимо него, забрала из люльки Павлушку.

— Ты чего ж это, а? — Батура обдал Устина козлиным духом распаренной кожанки.

— Дак а чего?

— Старый, а такой неуважительный. Сказано, на ту сторону надо.

Устин впервые видел перед собой незнакомо-замкнутое, с на-бегавшими на кожаный ворот багровыми бурдами лицо заречного завхоза, однако не дал себе стушеваться и, сам побагровев от отча-янной смелости, выпалил:

— А мне, мил человек, твой сказ не указ! — И для собственной твердости прибавил: — Понял?

— Да ты кто таков? — Батура смерил Устина с ног до головы.

Вид у Устина, и верно, был не весьма авторитетный, это он и сам за собой чувствовал: мокрая борода свисала обсосанной ко-сицей, непросохшие подштанники облепляли тонкие голенастые ноги. Но Устин от сознания этого своего несоответствующего вида еще больше взъерошился и мокрым бесом подскочил к Ба-туре.



— Кто? Ты думаешь, ежели я с кнутом, дак уже и никто? А ну, Нюрка, давай бумагу, буду протокол составлять.

— Какой еще протокол? — С Батуриного лица сошла административная жесткость, и проглянуло удивление.

— А вот узнаешь, как пропишу, — напирал Устин и, понимая ответственность момента, а также и то, что на плеть надо переть с обухом, решительно соврал, пристукнув веслом о землю, будто державным посохом: — Я, может, есть депутат райсовета, понял? И имею полномочия разговаривать со всяким.

— Ох ты господи! — вздохнула Нюрка.

— Иди, иди, дед, отсюда, — захохотал Батура. — Хлебнул, что ли?

— А ты, гражданин, не смейся! — На Устиновом впалом животе малиновел рубец со следами недавних больничных ниток. Он поддернул подштанники и опять затребовал: — Давай, давай, Нюрка, бумагу. Писать буду, как этот гражданин принуждал к незаконности, самогон вымогал. А ты, гражданка, будь свидетель.

— Но, но! — Батура перестал смеяться. — Ты эти штучки, дед, брось. Не городи чепуху. Какой такой самогон?

— А ну, гражданка, подтверди, — потребовал Устин. — Дай показания.

— Я ее на почту с телеграммой посылал. Чтоб рабочих на уборку давали. Скажи ему... — Батура обернулся к Нюрке: — Скажи, куда я тебя посылал?

— Устин Ваныч, не надо... — испуганно проговорила Нюрка.

— А ты помалкивай, ежели дура, — огрызнулся на нее Устин. — Я вот сейчас участкового кликну. Пусть ему ответит, по какому такому полному праву в запретном месте дичь стрелил. Вон она, улика, висит убитая. — Устин ткнул пальцем в сторону застрехи. — Пусть участковый самолично спросит у этого гражданина письменное дозволение. Он думает, ежели на этом берегу, дак и сладу с ним нету? Это тебе не крепостное право, беззакония творить.

При упоминании об утке Батура окончательно смутился.

— Да ну вас всех к черту! — сплюнул он. — С дураками свяжешься — сам дураком будешь. Иди, дед, проспись...

Батура прошел к хате, снял с гвоздя патронташ, принялся подпоясываться. Лицом он был хмур и строг, будто говорил тем самым, что больше не позволит шутить с собой дурацкие шутки.

— На той неделе капусту возить начнем, — крикнул он Нюрке хозяйственным тоном. — Ты тут тово, готовься... Контору хоть прибри.

Завхоз перекинул через плечо ружье и направился к огородам. Нюрка с Павлушкой на руках угодливым бежком поспешила ему вслед.



— Сделаю, Захар Степаныч... Все сделаю...

— Да шуметь свое, смотри, не развешивай. Развела срамоту. И чтоб всякие посторонние, — он кивнул в сторону Устина, — не шлялись по территории. А то, поди, всю капусту растащили, депутаты эти...

— Все цело, как есть...

— Да ты хоть глядишь-то?

— Пляжу, Захар Степаныч, как не глядеть?..

— Наверно, и носу не кажешь.

— Третьего дня ребятишки озоровали, дак шумнула. А так бог миловал...

— Миловал! Смотри у меня.

Он поправил на плече ружье и не спеша пошел, на ходу оглядывая инвентарь и постройки, делая вид, что вовсе ничего не боится и уходит только потому, что нет времени разглагольствовать со всякими встречными.

— Всего хорошего, Захар Степаныч, — закачалась вместе с Павлушкой в поклоне Нюрка. — Уж вы не беспокойтесь.

Устин отошел к берегу, сел, свесил ноги с обрыва и, все еще не остыв от горячего разговора, глядел в куликовские луга. Солнце уже хорошо припекало, стадо, насытившись, мирно полегло.

С Павлушкой на руках робко под села Нюрка. Она долго разглядывала Устина, косясь на его немощную худобу, и в ее опутанных морщинками глазах светилась грустная материнская озабоченность. Многие годы она не видела его вот так близко и теперь почти совсем не узнавала.

— Ты обратно-то на лодке езжай, — сказала Нюрка. — Не плыви больше... А Танька вернется, дак и пригонит.

— Ладно... — кивнул Устин.

— Исхудал-то ты как, изболелся... А я, Узя, хотела тогда съездить к тебе в больницу. Уж и творожку припасла. Думала, съезжу, а то, может, и не увижу больше... Да вот не поехала, грешная...

— А пустое... Об чем теперь говорить...

Они напряженно замолчали. Павлушка добродушно сопел на ее руках, изворачивался и все норовил ухватить Устина за локоть. Устин долго недвижно смотрел в плоскую раковину лугов, потом перевел взгляд на деревню, стал глядеть, как и кто успел перестроиться за это лето и сколь еще домов под соломой. Старых домов почти не осталось, все больше под шифером и под железом, а в одном месте, в щербатине между ракетами, будто вставной зуб, сверкала под солнцем даже цинковая крыша.

«Зажили люди», — успокаиваясь, порадовался Устин, глядя на помолодевшую деревню, и вдруг остро почувствовал, что скоро ему



уже не ходить по куликовским улицам, по этим лугам... Все останется: и дома, и речка, и коровы... И будут жить другие люди... Татьяна, Валерка, Павлушка... Теперь это все ихнее.

«Ничего, тепло еще подержится, — утешал себя Устин, думая, что, пока постоит тепло, проживет и он. — Осень, глядишь, будет погожая. До Покрова еще сколь... В иные года стоит и стоит теплынь... Дак, а что ж, ежели Покров... Дровец насечь да печку истопить...» И он, сидя в отрешенном забытии, стал прикидывать, как бывает, когда падет зазимок. Вспомнил белый праздничный свет за морозными окнами, стрекот сороки на коньке сарая, пахучую сухость сенных стогов под шапкой первой пороши, мягкое тепло впервые надетых валенок... И выходило, что после Покрова тоже бывает хорошо...

— Ну, мне, однако, пора... — очнулся Устин. — Скоро доить придут.

Он встал, подобрал с земли весло.

— Прощай, Анна, — сказал он со сдержанной строгостью и, не глядя на Нюрку, стал спускаться по ступенькам.

На мостках он отомкнул цепь, ступил в лодку, отчалился. Посудину сразу же подхватило течением, но Устин, стоя во весь рост, напрягшись, поворотил ее и погнал на середину, в объезд острова.

— Заходи когда... — каким-то не своим голосом робко крикнула ему вослед Нюрка, оставшаяся сидеть на обрыве.

Устин не ответил. То ли не счел нужным откликаться на пустое, а может, и не разобрал Нюркиных слов, потому что в Куликах снова загремела музыка.

Играли что-то веселое, плясовое.

1970

## КНУТ И АТОМ

Туман был по-осеннему колюч, студен и так плотен, что деревянная растворилась и пропала из виду, едва они сбежали под гору, на луг. Устин, шмурыгая непослушными сапогами по траве, старался не отставать от крупно шагавшего зятя.

— Правильно идем? — спросил зять, оборачиваясь и поджидая Устину. Сняв запотевшие очки, он протирает их платочком.

— Правильна-а! — кричал Устин, тоже останавливаясь, чтобы передохнуть. — Тут боко-ом катись!

Белый парусиновый картузик на Устине отволг и потемнел, сквозь редкую, старчески дрожавшую бороду видны были пуговицы на серой рубахе.

— Я тут сорок годов скотину гонял.



Зять достал пачку сигарет, протянул Устину. Тот долго копался, стараясь подцепить сигаретку, но, так и не сумев выудить, махнул рукой:

— Ладно, обойдусь... Главное, гороху не напарили. На горох голавель фолбает. Да когда ж было... Вчерась запьянствовали с тобой. — Устин усмехнулся единственным глазом, вспоминая вчерашнюю выпивку. Ему было приятно, что он теперь с зятем так по-мужски накоротке. — Голова болит?

— Все в порядке!

— А у меня как чугун-но-ок! Ох и выпили! — сладко зажмурился Устин.

Вчера под вечер Устин лежал под окном на деревянном диванчике — донимала поясница, клятая пастушья болезнь, особенно расхаживавшая после того, как он вышел на пенсию. Неожиданно к избе подкатила легковая машина и дала длинный гудок. Кряхтя, Устин приподнялся на локте, отвернул угол занавески. Из машины, выставляя коленки, вылезла молоденькая бабенка в соломенной шляпе, черных очках и голоруком цветастом сарафане. «Кто б такая?» — подумал Устин, заглядывая в щелку глазом. Старуха тоже подбежала к окну, глянула, ойкнула: «Да это ж наша Надея!» — и, подняв юбкой ветер в избе, умчалась на улицу.

Вышел из машины и зять — высокий, солидный, тоже в очках, голову обнимал синий берет, надвинутый до самых кудлатых бровей.

Устин никогда не видел его, хотя минуло уже три года, как они вошли во взаимное родство. Надька, ихняя младшая, в то время училась в Москве, поехала куда-то на практику, и эта самая практика обернулась тем, что пришло оттуда письмо. Так, дескать, и так: не беспокойтесь, в моей жизни перемены... Жила Надька теперь где-то в запрещенном поселке. Зять служил по ученой части, сама же она перевелась на какое-то заочное обучение, о котором Устин так и не поймел определенного понятия, хотя Надька и писала, что это такое... «Баловство небось», — подумал он тогда о ее замужестве.

Зять скользнул очками по окнам избы, заметил Устину, задержал на нем взгляд, но не признал, не кивнул, поскольку не были еще знакомы, прошел к задку машины и, откинув крышку, принялся выставлять чемоданы на траву перед палисадником. Все на нем: и штаны со множеством карманов, и куртка на блескучих молниях, и обут был необычно, — отдавало солидностью и достатком. «Экого подцепила!» — с тревожной озабоченностью подумал Устин, спуская ноги с дивана и щупая ими галоши. Его охватил нервный озноб, и он долго не мог найти обуться. Наконец, пришлепывая галошами, как был — в кальсонах, набросив один только пиджак, — выполз во двор. Надька уже в калитке, обдав духами, повисла на



Устиновой шее. Следовавший за ней зять тоже чинно поздоровался, сразу же назвал его папашей, и Устин, зайдясь сердцем, воочию убедился, что этот человек и есть его родственник, низко поклонился ему. Из Устинова единственного глаза выкатилась стариковская слеза, побежала по щеке, отыскивая дорогу в морщинах, и затерялась в бороде.

— Милости просим... Только машину-то куда... — засуетился он, смутившись своей минутной слабостью и сердито сморкаясь в траву. — Воротов у нас нету.. Когда-то были и ворота.

— Ничего, папаша, — сказал зять, мельком оглядывая подворье.

— Да как же... Машину-то одну оставлять... Сорванцы чего и откроют...

Он засеменил к сараю, взял железную вагу и вгорячах, забыв про поясницу, с отчаянной решимостью принялся рушить плетень рядом с калиткой. Подбежавшая Надька, смеясь, отняла лом и забросила его под забор в крапиву.

— Да хоть бы телеграмму отбили! — причитала старуха и все хлопала себе по пустой юбке тяжелыми, костлявыми плетьюми рук.

Когда были занесены в избу чемоданы и немного поулеглись первые переживания от внезапной встречи, старуха, отозвав Устину в чуланчик, долго шепталась с ним, обсуждая, чем и как угощать и где постелить на ночь.

— Кажись, оставалось в четверти, — сипел Устин.

— И-и, срамник! Будет он тебе пить такое.

— Дак а что... Настояно... К Ивану Степановичу сбегай, медку спроси...

— Что мед — гусака надо изловить.

— Да иконки завесь, — наставлял Устин. — Может, человеку не по нраву..

Надька, прослышав об ихних тайных хлопотах, замахала руками: дескать, ничего не надо, у них все есть. И, пока муж толкся в горнице, разглядывая по стенам фотокарточки, принялась на кухне распечатывать коробки и свертки.

Гусака все-таки зарубили (Устин настоял и даже ругнулся на Надьку, чтоб не перечила), были и мед, и яблоки из собственного садочка, и графин первака на смородиновых почках зимней выдержки; и шумный, пышущий жаром ведерный самовар посередине застолья. Старуха вытащила из сундука пропахший табачной пылью серый рушник с мережкой, застелила молодым коленки, и Устин, мокро блестя причесанными остатками волос на желтом черепе, торжественно потянулся за нарядной бутылкой коньяку, привезенной ему в подарок, долго разглядывал непонятные, нерусские вензеля на золоченом ярлыке, страстно прицокивая языком, и лишь потом осмелел скovyрнуть прозрачно-белую пробку.



равновесие, привычное понятие о бытии. Он пялил на зятя глаза, гонял по пустому рту осетровую хрящину, попавшуюся в балыке, собираясь с мыслями, но все, что приходило ему на ум, казалось теперь никчемным по сравнению с тем, что таилось в лобастой голове негаданного родственника. И даже зятево молчание, когда тот обволакивался дымом сигареты и вертел, играл недопитой рюмкой, было полно обескураживающего значения.

— Давай, папаша, лучше выпьем, — предложил зять, и Надька оживленно поддержала, почувствовав, что дорогая ее вещь сработала, произвела на стариков нужное впечатление.

Устин, однако, предложения не расслышал и сидел, неподвижно облокотясь скулой на жесткий костистый кулак.

— Папаня! — тронула его за плечо Надька. — Выпей с Аркадием.

— Погодь, погодь, девка, — как-то потерянно и сумрачно произнес Устин и, тяжело опершись о столешницу, неловко перекинул ноги через лавку. Он прошлепал к сундуку, порылся в нем, придерживая спиной горбатую крышку, и воротился к столу с толстой трубкой бумаг, перевязанной шнурком.

— А это тебе зачем? — насторожилась старуха.

— А затем, что к разговору, — буркнул Устин, развязывая на бумагах опояску.

Он оправил на колене скрюченные свитки и, пошуршав бумагами, вытащил и положил перед зятем лист почетной грамоты, взблеснувшей позолотой.

— Гм! — носом изрек зять и полез в карман за очками.

Одну за другой Устин принялся выкладывать их на стол, ревниво выжидая, чтобы зять прочитал все, что было написано в каждой.

— Прочитал? — спрашивал он, стоя за спиной гостя и заглядывая через его плечо. — Так... А вот эту на-кась почитай...

Зять принимал очередную грамоту и, кривясь половиной лица от сигаретного дыма, молча просматривал и возвращал через плечо бумаги.

— А теперича на вот эту..

— Да будя тебе! — осерчала старуха. — Ты лучше послушай, что умные люди сказывают.

— А ты сиди, — отмахнулся Устин. — У нас свой, мужицкий разговор. Мы ведь тоже не валенки подшитые.

— Ерой объявился! С кнутом за коровами. У его их восемнадцать штук. Грамоток тех-тих. Как выпьет с кем, так и лезет в сундук пылью трусить. Чего к человеку пристал, бородой ухо ему мусолишь.

— Ничего, ничего, — сказал зять. — Это тоже интересно.

— Велик антирес! — не унималась старуха. — Как дите с забавой.

— И ты, Надька, на, почитай, — раздухарился Устин. — Тут вся моя жизнь как есть описана. За печатями. Все сорок годов.



— Похвально, похвально, — откинулся зять, и Устин, удовлетворившись, вернулся на свое место.

— А теперича давай и выпьем, — провозгласил хозяин.

Молодые пожелали спать на сеновале. Устин поплелся зажигать фонарь, но Надька, как, бывало, прежде девкой, без света проворно залезла по хрусткой лестнице на чердак, принялась раскапывать и уминать сено. И пока старуха таскала через двор и подавала ей подушки, попоны, одеяла, зять с Устином при «летучей мыши» принялись копать за сараем червей.

1979

## НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ...

Весь день шепчется в лопухах вкрадчивый моросейный дождишко, от которого перестали прятаться даже куры. Замызганные и нахохленные, они привычно бродят по железнодорожным путям, выискивая всякую оброненную поживу, время от времени встряхиваясь и топорща мокрые перья. Словом, дождь не ахти какой, однако же настырностью своей успел-таки расквасить окрестные дороги, так что всякий выбредший к вечернему поезду из глубинки, из этой хлябкой черноты распаханых осенних полей, поневоле принимается оскабливать заляпанную хватким черноземом обувь. Иные, не найдя ничего подходящего, забираются на насыпь и ошмыгивают башмаки прямо о край рельсов, что под низким серым небом зовуще выблискивают в обе стороны до самого горизонта.

Место это не имеет названия, поскольку не является ни станцией, ни даже разъездом. Именуется оно всего лишь блокпостом, носящим порядковый номер, исчисляемый количеством километров от Москвы. Еще недавно, когда крестьянин сидел по деревням, здесь было глухо, безлюдно; рабочий поезд, составленный из разномастных, чуть ли не времен Анны Карениной, вагонов, останавливаясь, подбирал нескольких случайных пассажиров. А в такое ненастье к поезду и вовсе никто не выходил, разве что по великой крайности. Паровозик тутукнет обиженно, оттого что зря останавливался, напрасно жег тормозные колодки, железно лязгнув сцепкой и буферами, выдохнув чадный дым пополам с угольной пылью, заново принимался набирать разбег — до следующей будки, такой же глухой и безлюдной.

Ныне народу собирается здесь препорядочно, человек за сто, а в воскресные дни, как сегодня, и того пуще, и повезет его прыткая, похожая на большую зеленую веретеницу, электричка, точно такая же, какие снуют по бойким пригородам Москвы. Правда, на подмосковную — ухоженную, заасфальтированную, обустроенную, со всякого рода указателями, подходами и переходами, расписанием движения



поездов, скамейками, светильниками, навесами от дождя и даже мороженщицами — здешняя платформа ничем подобным не похожа. Собственно, здесь и нет никакой платформы, а просто, когда подходит электричка, все пускаются карабкаться на весьма крутую насыпь, которая к тому же обложена грубой и зыбкой щебенкой, при этом обремененные годами и ношей тетки помогают себе даже руками. Там, наверху, все так же спеша и оттирая, отталкивая друг дружку (потом они будут, уже приехав в город, вот так же отталкивать других, садясь в трамваи и автобусы), оттого что еще не избыт крестьянский страх перед машиной, врожденная, сословная боязнь, что электричка (автобус, троллейбус, трамвай) не станет ждать и вот-вот уйдет, в меру и не в меру своих сил и пробойности натуры принимаются штурмовать подножки, нижняя из которых находится на уровне пояса. Опять же, больше других достается тучным дошлым теткам, которые, побагровев и выпучив от натуги белесые, будто просоленные, глаза, пытаются задрать негнучую оплывшую ногу и утвердиться на подножке поначалу хотя бы одним коленом.

— Штаны треснут, — хохочут из тамбура молодые мужики.

— Гляди, чтобы рожа твоя бессовестная не треснула, — тут же взвивается скороговоркой баба. — Чего пнем стоишь, пособи лучше!

— Да тебя, тетка, и ухватить не за чево: как есть тыква неохватная.

— Сам ты... Ой-й-ё, ляд тя замай! Да полегче ты цапай-то, бугай буреломный, весь ворот оторвал.

— Сидела б тогда дома, раз на порог не влезешь.

— Дак и сидела б, ежли б и вы, молодые, из дому не бёгли. А то теперь одна нога в огороде, а другая — в городе.

Машинист электрички, высунувшись из окна, наблюдает за всем этим столпотворением, добродушно посмеивается, глядя, как в четыре руки втаскивают на порожки бабу. Но он зря поезд не дернет, а непременно выждет, пока все уберутся в вагоны (а убираются, несмотря на кажущуюся непреодолимость подножек, в считанные секунды), и только тогда раздастся басовитый, похожий на пастушью дудку, гудок электрички, после чего блокпост враз опустеет и на пути, еще постукивающие убегающими колесами, снова вышмыгнут мокрые, всклокоченные куры.

В ожидании же электрички все устраиваются под насыпью прямо на траве, если позволяет погода, или на штабеле шпал, на срубе колодца, под заборными кустами бузины на кирпичном выступе фундамента блокпостной будки, а в ненастье, когда все и везде мокро, терпеливо толкуются, перемогаются стоя.

За полчаса до электрички кассовое окошечко, а вернее выставленная нижняя шибка в оконной раме, еще закрыто, заставлено фанерной крышкой от посылочного ящика, и ты в недоумения и от нечего делать прочитываешь сначала адрес и фамилию получате-



ля, а потом — отправителя. Впрочем, этой фанеркой, а вернее кассой, интересуются только непривычные к электричкам горожане, случайно, вроде меня, оказавшиеся здесь. Местных же продажа билетов мало волнует: будут давать — кто возьмет, а кто и воздержится, а не будут — все равно уедут все.

Пробую стучать в кассовую дощечку — никого. Застясь ладонями, припадаю глазами к соседнему стеклу — в самом деле никого. На служебном столе, рядом с компостером на электроплитке бурлит большая семейная кастрюля, и я улавливаю запах свежей капусты, аромат домашнего борща. Стало быть, кассирша где-то тут поблизости. Обхожу будку с тылу, оглядываю двор, испещренный крестиками куриных лап, — тоже никого.

— Щас придет. Она корову доит, — поясняет наблюдавшая за мной какая-то тетка и услужливо помогает мне зычным криком: — Акимовна! Тут спрашивают, когда билеты будешь выдавать.

Из надворной хлевушки так же зычно, на высокой задиристой ноте, отозвались:

— Кому это невтерпеж? Скажи, щас додою. Пару раз циркнуть осталось. Это ты, Ульяна?

— Я, я, Акимовна.

— Кого провожаешь али сама собралась?

— Да зятя с дочкой. На выходные наведывались. Да вот с погодой не повезло: ни в лес, ни на речку.

— Зато, поди, набалакались.

— Дак чево больше делать: говорить да исты. За два дня целого гусака убалакали.

— Ой, Ульяна, хорошо, что напомнила. Будь добра, посмотри в окошко, не бьют ли щи, а то в ящик натечет, билеты намокнут.

А народ тем временем все подваливает, накапливается вдоль полотна на всю длину ожидаемого поезда, и я от неча делать пытаюсь угадать, кто есть кто, куда и зачем едет. Без всякого затруднения определяю человек пять-шесть горожан-грибников. Как правило, одеты они неброско, расхоже, но надежно и обстоятельно, в самый раз по погоде. Устало уйдя в себя, они порознь, отрешенно сидят поодаль от толпы на крепких ивовых корзинах или специальных заплечных коробах.

Несколько раз крутнулся около, вопросительно оглядел меня, должно быть, принимая за своего собрата-командированного некий багроволицый субъект в теряющей форму серой узкополой тирольке и вообще экипированный во все серое, поношенное, рассчитанное на неудобства и грязь, как принято у некоторых мелких чинов снаряжаться в сельскую дорогу. Обеими руками он носил под грузным, вышедшим из подчинения животом обшарпанный, туго набитый чем-то кожаный портфель. Субъект был заметно угощен, видимо, перепала какая-то служебная мзда, и теперь, предаваясь



чувству высокого самомнения, вождельно косился на двух молодых цыганок, невесть откуда взявшихся в этой глубинке. Обе — под радужными японскими зонтиками, обе — в долгих цветастых юбках, играющих гофрой при каждом движении невидимых, сокрытых ног, прибойно переливающихся справа налево и слева направо вокруг осиных талий. Прошлись вдоль насыпи, поканючили, поприставали к пассажирам, попредлагали свои сомнительные косметические товары и только одну пациентку обошли, оставили в покое.

Та нетронутая цыганками женщина пристроилась в стороне, в укромном месте, под навесом старой разметавшейся ракиты. Она была низко, по самое переносье, повязана черным платком, и в его треугольном обрамлении белело бескровное острое лицо с глубоко запавшими глазами. С ней дожидался поезда попутчик, издали похожий на мальчика, едва достигавший ее груди, оказавшийся уже пожилым увечным человеком, за плечами которого нескладно, чужеродно топорщился болоньевый плащишко. Поначалу я принял их за музыкантов из какого-нибудь сельского самодеятельного ансамбля, ибо рядом с ними, прислоненный к древесному стволу, покоился обвязанный мешковиной предмет, весьма похожий на контрабас. Однако контрабас этот почему-то стоял узкой головной частью книзу. Двое маленьких ребятишек, бегавших друг за дружкой неподалеку, вдруг остановились перед диковинным инструментом, затихли и, взявшись за руки, робко устались на оголенный комель. На его темной лакированной поверхности смутно желтели потускневшие от времени нарисованные человеческие стопы, приколотенные одним общим нарисованным гвоздем... Теперь все стало на свои места: и эта бледнолицая женщина, и убогий при ней человек, видимо, постоянный носитель этого предмета, и сам предмет.. В какой-то ближней, дальней ли полузаброшенной, поросшей пустырником и скорбной лебедой деревеньке, должно быть, отошла еще одна обветшавшая жительница. И пожелала она напоследок, чтобы упокоили ее по стародавнему обычаю. Для такой вот последней старицовой прихоти и везут из ближайшей уцелевшей церкви выносное распятие, которое предписано перевозить и переносить в общественных местах, подобно всяким ранищим предметам, завернутым в мешок, дабы своей обнаженностью не царапать живые души.

— А ну, нечево тут... — не пошевелив губами, жестко цыкнула на ребятишек черная тетка, и те, уже и сами готовые бежать от всего этого непонятного и страшного, опрометью умчались прочь. Вот, собственно, и все случайные пассажиры, которых в следующее воскресенье наверняка здесь больше не застанешь.

Остальные — довольно устойчивая клиентура блокпоста, хотя и она имеет свою внутреннюю, учено говоря, дифференциацию.

Если представить, что городское счастье выглядит в виде эдакого коня с розовой гривой, то жаждущие на него забраться распа-



даются на три основные категории: на тех, кто уже на коне, на тех, кто только занес ногу в стремя, и, наконец, на тех, кто пытается на первых порах ухватиться хотя бы за конский хвост.

Сидящие на коне и вызывающие естественное почтение у двух других категорий — это те, кто достаточно прочно обосновался в городе, то есть обрел какой-то производственный навык, дождался или еще каким иным способом заполучил казенную квартиру, завел семью, детей, всякую домашнюю утварь и при случае не без самодовольства говорит: «У нас в городе...» С прежней деревенькой его связывают теперь лишь воспоминания детства, родственные отношения и некоторый меркантильный интерес к родительскому огороду и надворному хозяйству. С годами такие наезжают в деревню все реже и реже, большей частью по настроению или по житейской необходимости: чья-то свадьба, чьи-то похороны, престольный праздник, Первомай или октябрьские... Но если еще не за сорок и не оброс самодовольным жирком, то частенько заглядывают и просто на два выходных — повалить деревенского дурака, а заодно прихватить с собой грядочных огурчиков, авоську яблок или свою, деревенскую курицу, выхоженную на вольной воле, лапша с которой пахнет на весь подъезд. Едут всей семьей с разнаряженными чадами, да и сами надевают все самое-самое: жена достает заветную галантерейную шкатулку, одновременно ревниво поглядывая, в чем собирается ехать муж, потому что жизненно важно, как и в чем пройти по селу, где от каждой калитки будет доноситься, к примеру, такой шепот: «Плянь-кась, Ульянин-то, Ульянин зятек приехал. Уж и пузцо наел. Вот поди ж ты: сама лядашша, а какого селезня уговорила. Рубаха-то как у грузина, аж глядеть жарко. И где их только такие достают?»

Таких вот, что «на коне», ныне собралось здесь пар десять — пятнадцать, не считая детишек, то есть примерно четверть всей ожидающей публики.

Следует заметить, что два выходных, проведенных в деревне, где всякая мелочь — и в доме, и во дворе — родственно бережит душу, даже туалет на задворке, некогда собственноручно сколоченный из сельповских тарных досочек, а ныне щелястый и продуваемый, опасно скособочившийся, как пизанский шедевр, куда заходишь со сложными чувствами умильного смущения, — и это, и многое другое незаметно упрощает людские взаимоотношения: сами собой избыывают первоначальная чопорность и напускная, заведомо, еще в дороге, выдуманная осанистость и вместо городского жесткого «г», с таким трудом и усилием освоенного ради культурной мимикрии, здесь раскрепощенно переходят на родное неприятное «х», как если бы из жесткой обуви переобулись в разношенные шлепанцы: «Халь, а Халь! Хлянь, хусь не задохся, часом... Ты б яму хорло наружу высунула... А ахурцы давай в мою авось-



ку...» На Ульяновом зяте к этому времени уже нет синего горошкового галстука, он засунут в набедренный карман пиджака, откуда и торчит синим телячьим языком; не достает и нескольких пуговиц на «дефицитной» красной рубахе, а русский чуб упал на глаза и мешает открыто глядеть на белый свет. «Што мохут карали... — навязчиво повторяет он, сплевывая в кусты придорожной бузины. И, возвращая в рот мокрую неприкуренную сигарету, опять же: «Што мохут карали...»

Больше других числом, пожалуй, половину собравшихся, составляет вторая категория — те, кто еще не влез на коня с розовой гривой, а лишь только занес ногу.. Все они — кто как и кто где — устроились и приладились в городе: шоферить, слесарить, монтировать, штукатурить, малярить, бульдозерить или просто чего-нибудь носить, копать, сторожить, а женщины — по столовым, больничкам, мойкам, прачечным, лоткам, лифтам и т. п. Среди всех этих видов услуг и занятий весьма ценятся всякие вахты и дежурства, так, чтобы сутки отбыть, зато двое суток дома. Потому-то они еще и не «на коне», что пока не внедрились в город накрепко и, не имея там постоянного жилья, вынуждены ездить в деревню. Но отныне живут они в родном селе с какой-то тоской в душе, с обидным чувством обделенности и лишний раз не возьмутся за топор, чтобы подпереть покосившийся забор: «Глаза б мои на все это не глядели...»

Спрашиваю одного знакомого комбайнера, уже с сединою по плохо выбритым щекам:

— Ну как сын? Отслужил армию?

— Давненько! — отвечает. — Уж с полгода как пришел.

— Теперь тебе полегчает: помощник явился.

— Ну да, помощник... Разве его на такое уговоришь?

— А чем плохо — комбайнером? Ты за сезон, дней за сорок, тысячи две карбованцев вымолачиваешь?

— Когда как... Иной раз, в хороший год, и поболее...

— Ну вот... Чего ж не комбайнерить? Летом поработал, а зиму, считай, свободен.

— Не схотел, подался в город... — Он как-то скучно поглядел мимо меня. — В милицию было нацелился. Всегда, говорит, в чистом, брюки в стрелку. Все тебя боятся, а ты — никого. К любому подойти имею право: «Ваши документики!» Сечешь, смеется, старый? — Да уж секу, отвечаю. — А чево? Любую вещь достать смогу: хоть из еды, хоть из дефицита. И звания: положенное отбацал — получай старлея, еще срок послужил — уже капитан... Понял, батя? А комбайнер — и сегодня, и завтра — все комбайнер... До самой березки. Ванькой родишься — Ванькой и помрешь.

— М-да... Ну и как ему в милиции: все так, как расписывал?

— Да никак... Не взяли... По глазам не прошел...



— И где ж он теперь?

— А все равно домой не вернулся. Три места переменил. Теперь где-то на тарной фабрике... Картонные короба шьет. А живет в общежитии. Тумбочка да угол... Зато в городе! Вот кое-что везу: кабаника заколол да медку нонешнего, с гречишки взятый. А то чтой-то давно носу не кажет. Не занемог ли?

— Выходит, жалко?

— Да ить как же не жалко! — вскинул тяжелые кисти комбайнер. — Хоть дурное дитя, да свое. Эх, все из рук валится... Не так задумывалось жить... Чтой-то мы не так сработали, не туда винты повернули...

— Да, выпустили джинна из бутылки... — согласился я. — А теперь обратно не загнать, не заткнуть.

— Ой, молчи, парень... В нашем колхозе председатель вовсе без колхозников остался. Контора есть, печать в кармане есть, а колхозников нету... Все на дорогу глядит, шефов высматривает... Коровник строят чеченцы, бураки выхаживают молдаванцы... Такого отродясь не было...

Ну а третья разновидность... Вон они, натянули между веток полиэтиленовую пленку, кучной толпой режутся под прозрачным навесом в карты. Чуть подальше такая же кучка обступила ревуший магнитофон: слушают Высоцкого... В основном молодые парни и девчата, крестьянские повзрослевшие дети, выпорхнувшие со дворов окрестных деревень. Им пока не до седла, не до стремени, им — хотя бы ухватиться за хвост. Кто-то подал в ПТУ, но без места в общежитии; кто-то на какие-то курсы; кому-то что-то пообещали... У кого-то брат в городе, рассчитывает пожить у него недельку, может, за это время что-нибудь наклюнется... Кому-то через два месяца в армию, и он пока вообще ни о чем не хочет думать, а едет в город просто так, за компанию...

Почти все они знают друг друга по соседству ли жилья, общей ли сельской школе, уличным посиделкам и танцам в колхозном клубе, а теперь вот и по общей дороге в город и обратно, по совместным поискам своего места под солнцем. А потому толкуются, дожидаются поезда веселыми непринужденными группами, легко, особенно ребята, переходят от компании к компании, делятся новостями, а то и прихваченной бутылкой «Три бурака», если, конечно, в компании не пребывают в давней хронической вражде. Одеты парни разно, пестро, ни на ком уже не углядишь прежней, выдавшей виды стеганой телогрейки, долгие годы служившей в крестьянском обиходе единственным видом одежды — в ней и в поле, в ней же и на праздники. Теперь на большинстве — болоньевые с подстежкой куртки, порой крикливых, назойливых расцветок, например, как вон та — ядовито лимонная с красными подлокотниками и какой-то надписью на спине, которая, может, быть, и вписыва-



лась бы в спортивный мир большого стадиона, где полощутся на ветру цветные флаги, пестрят красками панно и рекламы, но здесь, в свете серенького ненастного неба, среди приглушенного колера окружающих полей, холмушек и перелесков, эта куртка воспринимается так же, как смотрится улетевший из клетки попугай на простой российской раките. Под куртками же, обычно распахнутыми, несмотря на непогоду, предпочитают носить рубахи, тоже расстегнутые так, чтобы были видны всякие примитивные и вульгарные татуировки или же мелкая бижутерия на шейных шнурках: черное бритвенное лезвие, продырявленный юбилейный рубль, ключ от зажигания или самодельный крестик — выкроенный из расплющенного полтинника. Но особой гордостью почти каждого нынешнего деревенского парня являются мушкетерские кудри, распущенные по плечам, иные со следами бигуди или нагретого в печке железного штыря (мой двоюродный братец, не стану называть его имени, для пущего впечатления красился хной под древнего перса и в таком виде со свекольно-фиолетовыми лохмами ошивался на клубных танцах). Правда, осенняя морось не пощадила хлопотных бигудевых подкруток, и они снова опростоволосились и обвисли мокрыми слипшимися куделями. Со стороны все это выглядело презабавным, поскольку феминоподобные кудри, позаимствованные у зарубежных киноэкранных сердцеядов, никак не сочетались с простенькими и наивными лицами среднерусской деревенщины, которая пока еще и рта не умеет держать взаперти, а так и пялится на весь этот энтееровский мир с удивленно распахнутым зевом. Этаким д'Артаньян из Лобазовки!

На девчатах — такие же куртки, брюки, плащики с капюшонами, рукава которых неизвестно за какой надобностью отвернуты по самые локти. И тоже волосы по плечам. Время от времени заученным движением кисти с непременно перстнем на изогнутом пальце они отбрасывают, помогая кивком головы, сырые, отяжелевшие пряди со лба, с невидящих, но на самом деле весьма зорких и приметливых глаз, и, пока проделывают это кокетливое движение, успевают, подобно вынырнувшей пловчихе, оглядеться и оценить обстановку.

Всматриваюсь в девичьи лица: мордашки, в общем, пригожие, русские, родные, если б только не глаза, шаблонно вымаранные не свойственной сельской здоровой молодости синевой и просто нелепой прозеленью, делающей их страдальчески старше и отчужденнее. А еще не по душе мне эти суетные беспокойные взгляды. В них под сенью русалочьих волос промелькивает, как неизбывная боль, скрытая озабоченность, вопрошающая, пристальная ко всему приглядка. У парней такое заметно меньше, лица у них беспечнее, дурашливее, хотя и они тоже время от времени произвольно кидают окрест эти блуждающие озабоченные взгляды.



— Ну, чтоб живы были, — провозгласил он и, дрожа рюмкой, плеская на хлеб и яблоки, потянулся чокаться с зятем.

За вечер два раза подогревали самовар, а между самоваром опять наливали — Устин себе диковинного коньяку, зять — не менее диковинного самогона. Надька, пышкая сытостью, обсасывала гусиные косточки и, лоснясь двойным подбородком, рассказывала про свой запрещенный поселок, где «всего полно, одного только птичьего молока не хватает». Старуха смятенно и восторженно складывала на груди ладонь к ладони, качала головой в белом платочке, присказывала:

— Ить скажи ты!

— Да, мама, да!

— И селедка есть? — пытала старуха.

— О чем ты спрашиваешь: селедка!

— Дак, сказывают, будто в морях всю переловили.

— Для кого — переловили, а у нас всегда пожалуйста.

— Ить скажи ты!

Потом Надька перескочила на эти самые атомы, но не сумела объяснить, что это такое, кивнула на мужа:

— Ну, это по его части, он пусть и расскажет.

Надька блестящими глазами посмотрела на тучного, лысеющего мужа, будто на дорогое приобретение, и, взяв конец рушника, заботливо смахнула что-то у него с губ.

— Поговори с папой. Вы знаете, он такой засекреченный, что даже меня к нему не пускают.

Зять повертел перед собой рюмку и, измерив Устина долгим, пытливым взглядом, произнес:

— Ну если только популярно...

Устина вконец развезло и осыпало крупным потом. Напрягаясь, мигая покрасневшим глазом, он тужился уяснить, что к чему, и никак не мог понять, осилить своим разумом, для чего щепать атомы, ежели они, выходит, и без того мелки и даже совсем не видны человеческому глазу.

— Ну как для чего? — снисходительно пожимал литыми округлыми плечами зять. — Расщепляют, чтобы обнажить ядро...

— Да польза, польза-то от этого какая! — несогласно горячился, перебивая, Устин. — Будь то орехи, так тогда понятно. А то пшик колоть — пшик и будет. Вот чего я не возьму в толк...

И зять, в который уже раз, принимался объяснять устройство атома, помогая себе вилкой, которой он царапал по скатерти, изображая какие-то круги. По ходу разговора выходило, что из атомов состоит все: и огурцы, и самогонка, и даже сам Устин. От этого на душе делалось муторно, зыбко: питье — не питье, огурец — не закуска, а какая-то чертовщина. Ему хотелось поговорить о чем-нибудь настоящем, понятном, чтобы снова восстановить в самом себе



шего помочь с уборкой колхозной картошки. Или содеят такое, что и вовсе никакому уму непостижимо: изловят за околицей доверчивую лошаденку и сперва загонят ее так, что та под конец ткнется мордой в дорожную пыль, а потом привяжут проволокой к дереву и обольют бензином... И будут дико хохотать и каннибальски приплясывать, глядя, как, охваченное ревущим огнем, корчится и утробно стонет уже бесхвостое, безгривое и обезумевшее животное. Та самая лошадь, предки которой мчались в яростные сабельные атаки конноармейских буденновских лавин; что потом поднимали из разрухи выстоявшую Россию и везли в красных обозах первый колхозный хлеб для трудового люда... Могла ли она, эта коняга, знать, да и мы с вами тоже, что в эпоху торжества технического прогресса, над воцарением которого и она, как могла, немало потрудились, ее, недавнюю кормилицу, постигнет такая печальная участь — гибель на костре от рук крестьянского сына? Могли ли предвидеть, что все содеянное нами в деревне и с деревней, наряду с положительным, обернется и проявится и вот такой патологией?

Это как в экологической цепи: казалось бы, из благих побуждений уничтожили какое-то, на наш взгляд, нежелательное явление, но в конечном результате оказывается, что непредвиденно вылезло, получило благоприятственную среду и условия другое зло.

...Как-то вместе с художником-ветераном Михаилом Степановичем Шороховым заехали в здешние места поглубже от железной дороги. Нужен был ему подходящий ландшафт для полотна о Курской битве. Стоял июнь — первый летний месяц с юным названием, молодецки погромыживающий, «как бы резвяся и играя», тютчевскими раскатами, с внезапными набегами дождей, от которых вовсе не хотелось прятаться, а неудержимо тянуло разуться и пошлепать босиком по теплой, дымящейся дороге. А по обе стороны большака разворачивались такие неоглядные дали: не просто убегающая к горизонту докучливая ровнота, а размеренная череда холмов, похожих на глубокие взволнованные земные вздохи. Где-то в затридевятъземельной дали, у самого края небес, уже невнятно синеющие взгорья будто и сами начинают отрываться от земной тверди, обращаясь в парящее скопище облаков и тучевых нагромождений. И сколько видит глаз — все одето молодой ликующей зеленью: с легкой сивцой зеленели озимые хлеба, уже пробующие гнать первые ветровые волны; зеленым половодьем растекалось по балочным и яружным склонам шалфейно-ромашковое разнотравье; особенно весело и зелено, — зеленее хлебов и трав, — лепетал и полоскался по межхлебным холмам и овражным овершьям молодой, тонконогий осинник. И вместе с медвяными волнами зацветшего подмаренника, как сон, как сладкая обволакивающая дрема, бархатно и усыпляюще доносилось кукушкино кукование.



Художник, бывший командир артиллерийской батареи, с острым, уже тогда наметанным глазом на ландшафт, долго стоял в отрешенном безмолвии. И наконец каким-то упавшим голосом сказал: «Какое диво! Какая земля! И какой ценой за нее заплачено... Бились за каждый метр, за каждую рытвину. Сколько братских могил на этих холмах! А нынешние уходят, оставляют ее, даже не оглянувшись...»

Заехали в селцо Николаевку, раскинувшееся на берегах просторного, шумящего раkitами пруда. Прямо днем над головой, в черемушнике, не скажу чарующе, а оглушающе, аж закладывало уши, бьет соловей. Беззвучно, рыжим веником над темной водой пролетела выпь, опустилась на сухостойну и испуганно уставилась на нас оранжевым зраком, оценивает, кто такие... Ходко прочертила водную гладь ондатра, чья-то пока еще плавающая шапка, возле коряжки вильнула задом, сделала «буль» и ушла под воду — подальше от незваных гостей... Но, несмотря на ветряный шум раkit, на разбойное щелканье соловья, всем существом чувствуешь, какая тут непривычная убаюкивающая тишина. Какой благодатный, прямо-таки райский уголок!

И все же было как-то не по себе, такое ощущение, как если бы кто-то пристально, пронизывающе глядел в спину. Оборачиваюсь — и неприятный холодок пробегает под рубашкой: из-под старых деревьев, широко разметавших кроны, сквозь заросли вишенника и какой-то разросшейся дичины глядела изба пустыми глазницами оконных проемов... Такая же пустоглазая мерещилась сквозь кусты справа. А от той, что слева, остались лишь стены с мотающимися внутри ошметками обоев. Во дворе у порога плодоносят еще не успевшие одичать яблони, на меже сочно рдеет малина, и даже весело, празднично вымахал и расцвел на огороде ничего не подозревающий подсолнух. Но двери в избах уже кем-то сняты и оттуда, из сумеречной пустоты, тянет неприютом и скорбью.

Неужто ушли, ни на что не оглянувшись?..

Откуда-то из огородной неразберихи бурьянов и чертополоха свечой взметнулся огненно-красный фазан, некогда завезенный в здешние места для украшения фауны. Петух громко, как в ладоши, хлопал крыльями и, развевая длинными перьями хвоста, будто сея над порушенными дворами жар и искры, и в самом деле похожий на Змея Горыныча, неспешно и низко, никого не страшась, полетел в прибрежный раkitник.

Да, ушли...

Тогда тоже было воскресенье, и под вечер на всем нашем обратном пути: на перекрестках, на свертках на деревенские грунтовки — нам заискивающе махали, пытались упроситься на машину люди, выбравшиеся на трассу из-за этих холмов, что так похожи на земные вздохи.



Но вернемся на блокпост.

...Тем временем двор пересекла кассирша в переднике и с ведром. Следом, настырно канюча, задрав нетерпеливо подрагивающий хвост, проволочился мурластый кот. Это означало, что скоро начнут выдавать билеты. И в самом деле: народ пришел в движение, потянулся к окошечку.

До электрички — считанные минуты.

Она придет почти без свободных мест, и здесь знают, что хлопать ушами нельзя, а надо постараться залететь в вагон в числе первых, иначе будешь стоять всю дорогу. Впереди еще много остановок, и чем они ближе к городу, тем нагляднее станет пример геометрической прогрессии: «Ой, мамочки родные!» — «Да куда ты со своим чувалом!» — «Куда, куда... Раскудахталася». — «Да не дыши ты на меня! Какой только гадости нахлебался!» — «Абакнавенной! Не хуже твоея...»

Ничего не поделаешь: последняя воскресная электричка...

Давайте прикинем: в каждом вагоне двести десять мест. Да пусть для круглого счета стоят человек девяносто. Хотя набивается гораздо больше: бывает, платка из кармана не достать, чтобы утереться. А вагонов в поезде — десять. Выходит, три тысячи сразу выплескивается на конечной остановке. Да перед тем проследовала шестичасовая электричка. Тоже набитая под завяз. А их — четыре направления: южное, северное, западное, восточное. Мы не берем в счет десятки автобусов, связанных с деревенскими глубинками.

Полезны ли эти стихийные тысячи городу? Ответить на это однозначно нельзя. Несомненным остается одно: не усвоив традиций и трудовой этики, без развитого чувства самосознания и достоинства рабочего человека, без твердых навыков культуры городского общежития даже те, кому повезло стать у заводского станка или взойти на леса новостроек, будут представлять собой всего лишь полурабочего и полустроителя, то есть некондиционный человеческий материал, из которого трудовым коллективам и всему городу только предстоит воссоздать подлинного горожанина-труженика.

Ленинградцы мне рассказывали, как после блокады и разрухи было нелегко переработать и вобрать в себя, в свою среду ту массу привезенных строителей, а точнее — новгородских, псковских, костромских и калининских парней, не столько мастеровитых, сколь просто крепких, жадных до работы. Конечно, их помощь израненному городу была необходима, однако высокая питерская городская культура претерпела нежелательное воздействие: в парках, трамваях, кинотеатрах появились откровенно подвыпившие люди, на улицах — непривычные глазу ленинградца окурки, смятые сигаретные пачки... И оскорбительный гогот в затемненном кинозале. И сквернословие при свете дня. И драки у пивных ларьков...

Потребовались годы, чтобы одолеть эту стихию.



Скрывать нечего, и в самом городе еще немало своей собственной скверны. Но и этим многотысячным стихийным наплывом поддерживается, подпитывается благоприятная среда для шабашки, халтуры, мздоимства, спекуляции, усушки-утруски, обвеса-обмера, соблазна не завинтить шуруп отверткой, а заколотить его молотком, унести со стройки унитаза, банку краски, моток провода, отвинтить душевую систему в сдаваемом доме и загнать ее за трояк в соседнем... Такому принадлежит не сама стройка, а все, что плохо на ней лежит. Привыкнув халтурить, делать на авось да лишь бы, такой уже не способен на высокую квалификацию. Даже за большие чаевые он оставляет капающий кран, перекошенный дверной замок, косо повешенный кухонный шкафчик, который вскоре срывется со стены вместе с посудой. За хорошие деньги он, может быть, и хотел бы сделать как следует, но не умеет. Не умел и теперь уметь никогда не будет. Мастерство — это не просто ловкость рук, но и труд души.

Итак, со всех сторон в город торопятся электрички. Прибудет сразу несколько людских тысяч. Казалось бы, городу станет легче: все-таки помощь, кто-то из прибывших возьмется за мастерок, за руль, за метлу... Но увы, как ни странно, город от такой помощи только лихорадит, тут и там возникают перебои в его трудовом ритме. Читаем объявление: «В связи с сельхозработами лаборатория берет кровь только у инвалидов войны». Или: «Парикмахерская не работает. Все в колхозе». Не работают совсем или частично многие почтовые отделения, сберкассы, магазины, киоски, конторы, производства, врачебные и процедурные кабинеты, отменяются занятия в институтах и техникумах, сокращаются или вовсе упраздняются автобусные рейсы.

И вот парадокс (вернее — явление, подобное тому, что возникает в природе при неосторожном вмешательстве в экологические взаимосвязи): завтра утром, на той же электричке, но в обратную сторону, то есть из города в деревню, взамен одних тысяч помчатся иные тысячи. Но ценою подороже. Там будут и врачи, и преподаватели вузов и техникумов, инженеры и техники и иные квалифицированные специалисты всех разрядов и уровней. Поедут кандидаты всевозможных наук и командиры производств, начальники цехов и смен, физики и лирики. Бывает, большие начальники. И даже профессора. Среди них будут и те, кто сегодня спешит в город вечерней электричкой. Только поедут они уже в качестве «шефов» за щедрый государственный счет.

Вот такие пироги: из деревни, бросив свои поля и плантации, едут делать как-нибудь, на авось, неумело (капающий кран, криво врезанный дверной замок) городские дела; а из города, оставив свои порой мудреные обязанности (анализ крови больных), едут делать тоже кое-как, на авось, неумело дела деревенские...



Прежде это свершалось в виду стихийного бедствия. Теперь стихия стала нормой?

...Но вот с насыпи кто-то закричал:

— Митька-а! Хат! Хте ты запропал? Электричка идет!

И в толпе подхватили:

— Электричка идет!

— Электричка!..

1984

## ПЕТУШИНОЕ СЛОВО

С мельничной ямы, что на реке Полной под Красной Горкой, в тот день я возвращался ни с чем. Да и на что было рассчитывать, когда всю клокотали ручьи, лед на реке вспучило, вода замутилась, а вдоль берегов налились закраины, в которых с радостным кегеканьем полоскались красногорские гуси, отмывали в полой воде заношенную одежду.

Стояла парная теплынь без солнца, без дуновенья ветерка, отчего торосистый снег рушился особенно споро и воздух был полон тонкого и непрерывного позванивания распадающегося наста. А под хутором, в старых его деревьях, всё горланили ошалело днями прилетевшие грачи, срывались и блаженно кружили над теплым протаявшим побережьем или вдруг все разом облепляли жухлый перезимовавший скирд соломы, одиноко маячивший среди глыбистого зяблевого поля.

А когда я поднимался от реки в гору, на высокий хуторской взлобок, внезапно, с нарастающим шуршанием налетел такой плотный снежный заряд, что вмиг все вокруг растворилось, исчезло в непроглядных хлопьях куры, и было странно и непривычно слышать за этой белой кутерьмой все тот же возбужденный и радостный грачиный грай.

Вокруг сделалось брезжуще-светло, ново и так отрешенно, что я, нахлобучив капюшон, не заметил, как прошел мимо хутора, в нескольких шагах от его плетней и сараев, как вышагал за околицу, что называется, в белый свет, определяясь лишь по отдаленным перестукам электрички.

И без того невнятная хуторская дорога была замечена за каких-то несколько минут, я с трудом различал ее едва приметные признаки и потом не сразу разглядел следы прошедших впереди меня людей. Следы были только что протоптаны в свежей пороше, но уже успели округлиться и сгладиться почти до неразличимости. Я прибавил ходу и вскоре едва не налетел на совершенно заснеженные фигуры мужчины и женщины. Она была по-зимнему укутана плотной клетчатой шалью, он — в опущенной ушанке, расхо-



жем ватнике и с обвязанной мешком ивовой корзиной, которую нес за плечами на вдетом под обе ручки ремне. Шел он с какой-то нездоровой развалкой, опираясь на самодельный костыль. На их плечах, шали и шапке и особенно на корзине налипли толстые пласты и нашлепки снега, и, когда я окликнул, здороваясь, — оба не просто оглянулись, а, приостановившись, повернулись ко мне всем туловищем вместе с налипшим снегом, словно не решаясь разрушить и осыпать его причудливые нагромождения.

— Вот это так сыпануло! — воскликнул я весело, представляя, как и сам вот так же оброс наметью. Снег столь густо роился и мельтешил меж нами, что я даже на разглядел лица женщины, таившегося где-то в темной пещерке шали. Лицо же мужчины, в обрамлении белой, забитой снегом овчины, было мокро и багрово, а на бровях и усах копились и тяжелели натаявшие капли.

— Уже и ни к чему бы... — продолжал я делано сетовать на погоду.

— Поздний снег по осени жернова вертит, — степенно и хрипловато возразил мужчина, снимая и ставя к сапогам корзину.

Краем ладони он бережно соскреб и сбросил с мешковины толстый снежный пласт, и мне показалось, что в корзине затрепетало, забилося что-то живое.

— Рыбка? — догадался я опрометчиво.

— Откуда она, рыбка-то? Об эту пору рыбка только у вора. — Мужчина остро взглянул в мою сторону, снова перекинул корзину на спину и пошел развалисто торить дорогу, тыкая впереди себя корявой грушевой палкой.

— Это пету-шо-ок у нас! — уважительно, с протяжкой назвала женщина живность в корзине.

— На продажу?

Мужчина как-то упрямо, напористо шагал в нескольких шагах впереди и, должно быть, не слышал, а может, не хотел слушать меня, а потому отвечала теперь только женщина.

— Не-ет! — откликнулась она из заснеженной шали-пещерки. — Себе купили-и!

— Сами-то откуда? Из каких мест?

— А сами мы запла-а-вские! — Она возвышала голос до той напевности, с какой всегда говорят — выкрикивают разгоряченные ходьбой крестьянки. — Заплаву слышали? Дак оттуда мы.

— Что у вас в деревне, своих петухов нет — так далеко зашли?

— Как — нет? Е-есть! Многие держат. Дак как теперь держат-то? Больше по привычке. Лишь бы курица. Почти у всех — белые, пус-томясые. Иная в хороший ветер и до дому не добежит. — Голос женщины наполнился смехом, будто светом, и она, поддерживая в себе смешливое, продолжала: — Лапами ко двору скребет, а ветром ее на сторону относит. А то есть петухи, дак и кукарекать не умеют.



— А у вас что ж за петух, какой породы?

— Про породу не скажу, не знаю. У него, у Степана, спрашивайте. По мне б, дак который постатней, покрасивше. Чтоб на петухе кустом хороший был. А ему — перво-наперво — голос. Он этого петуха, говорит, за три километра услышал... Мы с ним допрежь на Севере работали. На путевом обходе. Между Хановеем и Воркутой. Места глухие, безлюдные, зимы до-о-лгие! Весь истоскуешься, пока тепла дождешься. Дак Степан еще там петушка хотел завести. Ну, да где уж: вокруг — ни деревни, ни двора, леса да болота. В апреле, а то и в мае там еще снег лежит, а Степан размечтается, бывало, на зимнюю хмарь гляючи: а у нас в Заплаве уже молодая травка и петухи вовсю поют. Ничего ему так не напоминало родину, как петушок. Ни другая какая птица, ни дерево или еще что... А потом он захворал, клещ его укусил. Вся-то козява с гречишную кожурку, а какой беды натворила: отнялись у него ноги, ослабли глаза. Лечили всякие врачи, даже шамана приглашали из стойбища, а уж сколько денег на это самое мумиё извели — прорву, и — никакого результата. Дали ему инвалидность, залег дома обездвиженно, часами в окно глядел, тогда и заладил: поедem и поедem отселева. Ну и снялись с насиженного. В позапрошлом годе приехали в свою Заплавушку. После свекрови три года хата заколоченная стояла. Отбила я окна-двери, кое-чего подладила, бурьян с заброшенного огорода сдернула, под зиму перекопала. Все я да я, он-то был не помощник. Так-то перезимовали мы с ним в ожидании тепла, и вот она наконец нагрелась, весна долгожданная! Наша, заплавская! Нет, ничего такого не скажу, там, где мы жили, тоже по-своему красиво: белые ночи, речка Уса по каменьям шумит, ягоды всякой прорва, грибы аж на железнодорожную насыпь лезут... Но свое, родное, кажется, во сто крат краше. Особенно когда вот так, как мы, натоскуешься. Попросился он на улицу, вынесла на закорках, пристроила на завалинке. Там, на Северном Урале, и летом под валежником мерзлота лежит, земля стылая, без запаха. А тут, едва брызнуло весеннее солнышко, как запарила, задышала земля! А она у нас, сами знаете, какая: черным-черна, что вороново крыло. А дух-то какой, господи-и! Полной грудью хватаю, хватаю, а надышаться не могу-у! В хату заходить неохота с благости такой. И как погнало, как пошло все расти на глазах! Вот тебе уже и травка под забором, и крыжовник озеленился, и верба зацвела. Загудела пчела, выползли божьи коровки, скворцы туда-сюда носятся, пух собирают. А петухи — будто у них районная спевка: ну как дерут горло, ну вытягиваются друг перед дружкой — на все голоса, на все лады, на всякие стороны, одни кончают, другие подхватывают. Иные где-то далеко, за тридевять дворов, будто это вовсе и не петушиный крик, а звон в ушах — от весны, солнца, от гама и пересвиста, от теплой огородной хмели. Что значит родные места! Все-то тебе любо, приметливо. Пляжу, сидит мой Степан в за-



тишке, запрокинул подбородок навстречу солнышку, закрыл глаза. Думала, пригрелся, задремал. Подошла одежду поправить, а у него по щекам — слезы...

С того разу каждый день стал проситься вынести его за порог. Прилачился кое-чего мастерить: то тяпку наострит, то бельевого прищепков настрогает. А иной раз забудется, сложит на коленях руки и затихнет: петухов слушает. Своих, заплавских, уже всех по голосам узнавал: этот на переезде голосит, а это шустовский кочет кричит, за мостом. И все мечтал себе хорошего из хороших выбрать. Вот ты, говорит, не веришь, а они мне вроде лекарства. Пригоже на душе делается.

Несколько шагов она прошла молча, должно быть, глядя, как и я, на маячившего впереди, за курой, Степана, потом раздумчиво спросила:

— А может, и правда есть такое петушиное слово?

Я не нашелся, что ответить, как поддержать в ней эту непрочную веру, и она снова заговорила, как и прежде, напевно, как бы выдыхая слова:

— А как-то, слышу, кричит со двора: «Нюра! Нюра-а! Скорей!» Аж сердце оборвалось. Подбегаю, Господи, что такое? Глаза круглые, не пойму, не то испуганные, не то удивленные, руками колени ощупывает. «А ноги-то, — кричит, — потептели! Вроде как мураши по ним лапками заскребли! Туда-сюда забежали!» На другой день, гляжу, костыли себе принялся ладить. Да к маю и встал мужик! Вот тебе и петушиное слово! Не хочешь, да уверуешь. Сперва по стеночке, по стеночке — только бы самому из хаты до завалинки добраться. А потом и за калитку стал выскондыбывать. Да и пошел, пошел помаленьку с палочкой. Сколько потом деревень обошел, все искал себе разлюбезного. И меня затаскал: пойдём, говорит, вместе послушаем, есть у меня один на примете.

Уже перед самой станцией снег начал слабеть, а вскоре вовсе изредился. Самого солнца по-прежнему не было, а только процеживалось его ровное, рассеянное свечение, не дававшее теней, отчего белое поле казалось беспредметным и беспредельным. И лишь позади нас его первозданная белизна была грубо взрыта нашими следами.

Возле вокзального зданьица женщина в оранжевом жилете деревянной лопатой расчищала подходы к двери, и все входившие останавливались, стряхивали с себя снег, топали ногами и шаркали подошвами о брошенную у входа метлу.

Степан аккуратно выколотил шапку о голенище сапога, отвернул кверху ушки, завязал тесемки, потом помог Нюре снять и вытряхнуть тяжелую шаль, и та взяла ее под мышку, оставшись в одном кашемировом посадском платке, расшитом красными розами. Они прошли в зал, выбрали в дальнем углу свободный диван и облегченно присели, поставив корзину у ног.



У Нюры оказалось простенькое, еще свежее, но по-крестьянски заветренное лицо, на котором светло голубели некрупные и безбровые застенчивые глаза, не приученные, должно быть, открыто шарить по чужим лицам. Обвыкаясь и отдыхая после уморной ходьбы, она некоторое время сидела совершенно неподвижно, глядя перед собой на кафельный рисунок пола, потом повернулась и что-то пошептала Степану. Тот согласно кивнул, нагнулся, развязал корзину, обеими руками бережно вынул петуха и так же бережно опустил его на пол. Нюра плеснула ему с ладони подсолнечных семечек.

Петух не обратил внимания на еду, а сперва оглядел помещение, легкими толчками поворачивая голову и направляя на людей то правый, то левый округло-строгий янтарный зрак, лишь на мгновение задерживая его снизу вверх бело взмелькивающим веком, похожим на шторку фотоаппарата. Когда мы шли полем, я воображал себе петуха какой-либо необыкновенной, огненной, что ли, как у жар-птицы, расцветки. Он же оказался просто серым, и это даже разочаровало меня. Но, приглядевшись к нему, я обнаружил, что каждое его перышко, чешуйчато и плотно пригнанное одно поверх другого, обведено по краю черной окантовкой, отчего представлялось, будто на нем была надета кованая боевая кольчуга. И гребень его не был тем легкомысленным, картинным головным убором, столь лихо вознесенным наподобие чепца наполеоновского капрала или даже свисающим на сторону и застывшим один глаз вроде красной гайдуцкой шапки — нет, гребень его был без всяких излишеств, низок и широк, по всей поверхности усаженный крепкими зубцами и скорее походил на боевое наверхье витязя, из-под которого выдавался красиво очерченный, с благородной орлиной горбинкой и словно выточенный из слоновой кости клюв. Он, будто витязь, был статен, могуч и величествен в своей стальной кольчуге и, должно быть, осознавал эту свою статью и достоинство, потому что, когда его выпустили из корзины, он не побежал куда глаза глядят от скопища народа, не забился под лавку, а, внимательно оглядев всех присутствующих, приподнялся на мощных своих ногах, обутых в желтые и тоже кольчужные ичиги, и, неспешно, сановито расправив онемевшие в корзине крылья, трижды взмахнул ими, выметая из-под себя насыпанные Нюрой семечки.

— Плянь-ка: петух! — выкрикнул кто-то в зале, и все повалили глядеть, будто на невидаль.

Так бы не хлынули, не повскакали с мест, окажись здесь кошка или собака, гусь или, допустим, поросенок. Кто-то ожидаючи поезда, от нечего делать, возможно, и пошел бы поглазеть на гуся или собаку. А кто-то, и, наверно, таких большинство, остался бы сидеть: место на диване дороже. Но вот взглянуть на этого петуха, которого так долго искал Степан со своей Нюрой, почему-то пришли по-



чти все. Пришел даже дежурный по станции в своей красной фуражке.

— Что тут такое? Плохо, чо ль, кому?

— Да нет — петух!

— А ну, дайте гляну... Ух ты! — изумился дежурный и тоже, как и все, притих в невольном почтении.

1984

## КУЗИНОГОРЕЦ

С приятелем Мишей Еськовым, человеком неприхотливым, способным безропотно таскать тяжелые вьюки, добывать топливо, подстилку для ночлега и прочее, а потому весьма удобным в рыбацких скитаниях, мы как-то сошли с автобуса в благословенной памяти Успенке. Памяти потому, что на ее месте ныне вознесся городок Курчатов, а все прежние успенские луговые займища и саму речку Сейм поглотило обширное водохранилище. Но о Курчатове как-нибудь в другой раз, а тут захотелось рассказать об одном любопытном свойстве человеческой натуры.

От шоссе по переулку вышли на приречную успенскую улицу, глядящую окнами на реку, и у крайней избы сложили с себя на лавку тяжелые рюкзаки, чтобы передохнуть. Сидим на крутом буторке, разминаем плечи, а перед нами — неожиданная красотища, душа замирает, заходится восторгом: такие сверху открываются просторы, такие дали! И через все эти луговины, ивняки и черемушники поблескивает тугими извивами наш Сейм-благодетель. Под успенской кручей он предвечерне тих и ясен, так что видно, как ласточки оставляют на водном зеркале тонкие алмазные росчерки. И все бредут, бредут тем берегом к мосту коровы, идут друг за дружкой, у самой кромки воды, не очень приметные на фоне берегового уреза, зато наперечет видна вся эта долгая вереница шагающих ног, четко отраженных в розоватой снулой воде. А в заречье, за медвяно облитыми вечереющим солнцем покосами, встает Кузина гора, всегда манящая своей возвышенной обособленностью от всего лугового мира. Гора окутана легендами, вроде той, будто именно здесь находился стан Кудеяра, каждое лето там что-то копают и что-то находят, какие-то древности, а потому приютившаяся на горе деревушка предстает в моих глазах как обитель людей загадочных и необыкновенных, причастных к таинству древних сказаний.

Но получилось так, что за долгие годы моей привязанности к здешним местам я ни разу не побывал в той нагорной деревне и не встречал воочию ни одного тамошнего жителя. Тут нет ни малейшего преувеличения: вот так, бывало, приедешь навьюченный («приедешь» — это только до автобусной остановки, а дальше — все



пешочком, на своих двоих) и, добравшись до заветного места, рад клочку берега, палатке, тому, что все при тебе есть: котелок, хлеб-соль, топливо — вокруг, вода — под носом, сено — под боком... А тут еще поклевывать начнет — и не заметишь, как эти два-три денька пролетят восвояси. Разве что иногда из-под ладони поглядишь в сторону Кузиной горы с манящим любопытством, утешно пообещав себе наведаться как-нибудь в другой раз...

И вот сидим мы с Мишкой на лавочке, сушим взмокшие на спине рубахи перед последним броском, взираем на далекую гору, по склону которой просыпались избы менее спичечного коробка. И вдруг слышим позади:

— Здорово, охотнички!

Подошел неторопливо, праздной перевалочкой, невысок мужичок годов под полста — зажаренный, получерный лицом, сморщенный добрыми, приветливыми морщинами, и так же неспешно, со значением, поочередно пожал нам руки. Несмотря на безветренную духоту, он был при галстукe, в мятом болоньевом плащике и в жесткой фетровой шляпе, которая заломом в доньшке сидела не с переда назад, а с правого уха на левое, как полковничья папаха, и по этой посадке шляпы все стало ясно и понятно: дядечка навеселе...

— Пым-мали чево?..

— Идем только.

— С ночевой небось? — Мужичок, пригнувшись, участливо заглянул сначала в Мишино лицо, затем в мое.

— С ночевкой, — подтвердили мы нехотя.

— Ага! Ну так ясно дело, — согласился мужичок. — С такими чувалами, понятно, что не обыдёнкой.

Он присел на лавку с Мишиного края, достал из-под болоньи пачку «Ароматизированных» и приятельски предложил опять же сначала Мише, потом уже мне, из чего можно было заключить, что отдавал большее предпочтение моему приятелю. От сигарет мы отказались, и он без интереса закурил в одиночестве.

— А у меня нонче уже клювало, — засмеялся мужичок, шумно, со всхрапом, будто лодочный насос, втягивая в себя воздух, и его темно-смородиновые глазки весело смежились и утонули от удовольствия. — В спортлото клюнуло. Ежели б ишшо одну букву подгадать, тады — о-го-го! А то троячку толька. Ну так тоже намолот. А што? Чуть рассвело, я газетку в карман — и в район, в сберкассu. Точно, троячка! Ну мы ее со свояком под яишанку шандарахнули, итт тя кругаля руля...

Нам как-то нечего было на это сказать, но мужичок, видно, и не претендовал на диалог.

— А у вас, стал быть, ишшо не клювала. — Он засмеялся игровому двусмыслию своего вопроса и, убедившись, что мы и на это никак не отреагировали, перешел на разговор по существу: — Дак на чево ловится? Какая нажива?



Мы перечислили все свои запасы, но мужичок ни с чем не согласился, ничего не одобрил.

— Не-е, — мотал он головой. — Не-е и не! На такое дело до веку не клюнет. Могу на спор. Вот пошли ко мне, покажу, на чево надо ловить. Вы в какую сторону?

Миша махнул рукой вправо за реку.

— Под Кузину гору? — обрадованно оживился мужичок. — Дак и мне туда! Я ж на горе живу. Вона моя хата! Пошли, щас картохи молодой нарою...

Теперь уже мы с любопытством рассматривали мужичка: оказывается, вот он кто — кузинский абориген. Кудеяров потомок, первый тамошний обитатель, которого видим вот так за просто.

— Что ж, — спросил я, — на горе все еще копают?

— Это самое? — Абориген неопределенно покрутил в воздухе растопыренными пальцами. — Ну, эти... как их... В том годе копали. А нынче чтой-то не было, не приезжали... Дак и я сам с ими одно лето копал. А-а! Нема делов. Слабовато! За день начертоломишься с лопатой, а харчи: макарены и макароны. Говорят, нема финансов. Дак кова ляда: у нас свой колхоз такой, без финансов. Ну, я не стал. Ну их!

— А нашли что-нибудь? — допытывался я.

Мужичок шумно потянул воздух и махнул потухшей сигаретой.

— Ерунда! Столько кубов выбросить, а всех делов — черепки. Ну, ишшо крюк. Которым рыбу ловили. Во какой! Палец ежели загнуть, дак крючок больше. Нынче на такой крюк на базаре коровье стегно вешают. Тады что ж за рыба была, а? Ежели по крюку мерить? Огло-о-обля! А все в книжках пишут, что допрежь, в старые года, с голоду мёрли. Ну да! А дичи сколь было! Я и то, помню, мальцом руками подлетьшей ловил. Полезу по камышам...

Надо было идти, и мы принялись ладить лямки на своих рюкзаках, снабженные специальными наплечными подушечками, как вдруг над Кузиной горой, той ее частью, где деревушка одним концом подходила к речному склону, поднялся белый клуб дыма. Дым начал расти, грибом подниматься в безветрии как раз над одним из крайних дворов, и мы замерли, встревожась.

— Грит что-то, — предположил Миша.

Мужичок, примолкнув, посмотрел на свою деревню, но никак не отреагировал, возможно, был слабоват глазами, продолжал свое:

— Дак я насчет наживки... Нет, ты послухай... — Он потерябил Мишин рукав. — Нигде такова не прочитаешь...

— А ведь правда горит, — обеспокоился я, увидев, как к белой завесе начали примешиваться тугие завитки черного дыма, а над соломенной кровлей, как мне казалось, не то избы, не то сарая вдруг петушиным гребнем выметнулось пламя.



— Ты слухай сюда. С рыбой будешь, понял? Берешь полстакана абнакавенной муки...

— Да ведь горит же! — прервал я кузинского жителя. — Плянь, пламя какое!

— А-а! — неопределенно дернул плечами абориген. — Сено. Небось, пацаны курили.

— Какое там сено! — не согласился я. — Вон, видишь, еще одна изба занялась.

И верно, рядом с первым очагом пожара вспыхнул второй, а вскоре еще правее поднялся и нехотя стал разворачиваться пока еще белым младенческим дымком третий. Честно говоря, при виде этого быстро распространяющегося пожара меня начала забирать оторопь.

— Послушай, ведь твоя родная деревня горит! — Это Миша попытался возбудить у кузиногорца какую-либо обеспокоенность.

— Ну, горит.. — Мужичок достал новую сигарету.

— А если это колхоз полыхает?

— Э-э! Наш колхоз уж давно погорел, — захохотал мужичок. — Да и не колхоз эта. Наш колхоз не здесь. Он за горой, понял? Ево отседа не видно.

— Ну а если дом твой?

— Не-е! — сощуренно расплываясь улыбкой и будто бы торжествуя над нами, закачал шляпой кузиногорец. — Не попали! Там моей хаты нема. Моя хата вон аж где. На другом краю. Щас придем — увидите, где моя хата. Под самым лесом. Третьево дни кабаны, паразиты, в огород залезли.

— Ну, знаешь... — возмутился Миша.

И тут случилось такое, чему трудно поверить, но что действительно случилось на моих глазах, да и Миша тому свидетель. Я не знаю, как это произошло и чем объяснить случившееся, но только неожиданно загорелось на другом конце деревни — как раз там, куда только что тыкал пальцем кузиногорец, показывая свою хату.

— Смотри, смотри, где загорелось! — воскликнул Миша, и в его голосе почудилось невольное злорадство.

Кузиногорец поднес ко лбу ладонь и вдруг подскочил со скамейки:

— Ух ты! Дак это ж на моем краю!

— Наверное, сено? — съехидничал Миша.

Мужичок еще раз вскинул ладошку, изучая место и характер дыма:

— Ох, не сено это! Ну, ладно, товарищи, я побег.

Он натянул шляпу на лоб, чтобы сидела покрепче, и, не попрощавшись, как говорят шоферы — прямо от лавки, «воткнул» четвертую.

— Не-е! Не сено это! — крикнул он, сбегая к мосту. — Ох, итит тя кругаля руля...



Уже за мостом кузиногорца нагнала красная пожарная машина. Было видно, как мужичок, обернувшись, просительно воздел руку, чтобы его взяли с собой. Но машина, зычно огрызнувшись сиреной, промчалась на скорости мимо, обдав аборигена непроглядным облаком пыли, давно не знавшей дождя...

1984

## ХОЛМЫ, ХОЛМЫ...

Так получилось, что в позднее осеннее ненастье, взъерошенное лохмами туч — мимолетных, набрякших моросью, волочащих свое мокрое отрепье по стылой распаханной земле, сиротской озими, задевающих и застящих мглой редкие перелески и одинокие, сгорбленные скирды соломы, — в это глухое клятое время пробирался я нашими курским взгорьями, именуемыми на школьных картах Среднерусской возвышенностью.

Шел я к человеку, пока еще не известному мне, некоему Павлу Кондратьевичу Мохову, написавшему мне недели две назад, что он хотел бы показать кое-какие свои фронтовые записи, которые он вел по молодости, будучи офицером связи при штабе Западного фронта, несмотря на строгие запреты, и что он хотел бы привезти эти записи сам, но расхворался, и, кажется, надолго, за что просит извинить его.

Что-то подсказало мне больше не тянуть, не медлить с поездкой в Подсвирково, и я отправился, не глядя на ненастье. И вот, сойдя с электрички, уже часа полтора брел я, вернее сказать, не брел, а переставлял резиновые бродни, силком выдергивая их из благословенного чернозема, превратившегося в черный распущенный бетон, и погружая их иногда по самые отвороты во все ту же цепкую, намертво хватающую, неизбывную до тоски кромешную хлябь.

Наконец впереди, на самом взлобке, призрачно замаячил серый на сером же небе неприкаянно-одинокий обелиск, под которым покоились (покоились ли?..) наспех свезенные с окрестных полей и просто стащенные за ноги, хорошо если переложенные плащ-палатками или хотя бы соломой, тысячи полторы (впрочем, кто их точно считал?..) безымянных солдат. Когда-то эти высоты утробно, до самой преисподней содрогались от гула и остервенелой ярости многомиллионной битвы, от края и до края подернувшейся пеленой, в которой смешались и хвостатые дымы рухнувших самолетов, и мазутно-удушливая гарь подожженных танков, и кислый дым занявшихся соломенных деревень, и мешавшие дышать и видеть черные хлопья жарко пылавших июльских вызревших хлебов.

Этот обелиск, один из многих, венчавших здешние холмы на так называемом северном фасе гигантского побоища, был моим



заведомым ориентиром: я уже знал, что, как только миную его, начнется долгий спуск в долину, а пройдя насыпную гать через неказистый ручей, запутавшийся в череде и хмызе, стану снова подниматься на очередной узволок...

Однако же глазу близко, а битым ногам далеко. Да еще по такой распутице.

Какой-то двухскатный, хорошо обутый грузовик, видать, не из робких, не из слабаков — за рулем жох-парень, — проследовавший ранее меня, судя по вензелям и вдавленным в грязь беремкам соломы, ох и повыл тут волком на предельных оборотах, ох и пострелял забитой грязью выхлопной трубой, набуксовался до резиновой гари, пошвырял выше телеграфных столбов черных ошметков, ну и конечно, в чистом поле никого не таясь, ох и поперебирал-перечислил гласно, повязал в пучки всех местных районных, областных и небесных богов, подбожков и боженят, а когда и это не помогло, плюнул и чесанул прямо по зеленым, по хлебным малолеткам, оставив после себя разверстые канавы, уже успевшие кое-где налиться водой.

Потом нагнал меня тракторишко на больших лопауких задних колесах, шаткий, валкий, весь в ржавых ссадинах и ушибах на голубой идиллической покраске, предполагавшей радовать глаз на райских колхозных просторах. Тракторок тускло мерцал единственной заляпанной фарой и с хрипом и храпом татажрал погорелым задышливым мотором. На подозрительных местах он умерял бег, вычехивал из трубы несколько едких колец и с досадной скороговоркой, а может быть, и с матерком на тракторном эсперанто преодолевал черно-сметанные разливы, под которыми неведь какой глубины скрывались ямины и провалы. При этом скрипел, скрежетал и скоргыкал всеми своими застарело-ревматическими суставами и сочленениями, не знавшими смазки, поди что, еще от самого заводского двора и теперь уже не познающими ее до скорой его кончины. Голубая кабина опасно переваливалась с боку на бок, моталась из стороны в сторону, мотая внутри себя двух седоков, однако невозмутимо переносящих дорожные неудобства и как бы ничего не берущих в голову. Один из них, тот, что не крутил руля, что-то живо рассказывал приятелю, мелькая крупными сахарными зубами на раздольном расплывчатом лице с гуцульскими вислыми усами, и то и дело поправлял и машинально пересовывал на кудлатой голове вязаный никчемный петушок.

Зажженные фары должны были означать, что трактор не один и что он влачит за собой еще нечто... И действительно, на крюке этого бедолаги болтался еще и двухосный прицеп, заваленный мокрой, чумазой бурачной ботвой, поверх которой задом наперед, зас- таясь от ветров и выбросов грязи, сидело несколько баб. Они были плотно, матрешно одеты в расхожую одежду, сообщавшую им равнодушную недвижимость и какое-то безразличие и к тряске, и к



непогоде, и ко всему замутившемуся свету. Низко насунутые платки и полушалки треугольно обрамляли багровые, нахлестанные дождем и ветром недвижно-суровые лица.

«Вот он поехал, курский сахар, — подумал я о женщинах. — Каждый шестой кусок в общероссийской пачке!..»

Приятно, конечно, на свежей скатерти в тонком стакане чайной ложкой болтать белый кубик. Но у нас эти облепленные грязью бураки, из которых потом выжимают сладость, и вообще всю эту крошечную, неразгибную до самых морозов, а то и не глядя на морозные колчи, мороку, на которую гонят и старого и малого — от школьников до профессоров — называют сладкой каторгой. Пойди так вот, как они, поворочай, почертоломь, и тогда узнаешь, почему фунт пиленого...

— На Подсвирково правильно иду? — крикнул я прицепу.

— Правильно! — вяло отозвались бабы, нимало не пошевелиясь, не поворотив в мою сторону толсто обмотанных голов.

— Далеко еще?!

По-собачьи бездомно, заискивающе я посмотрел вслед тракторной колымажке. Хотелось, чтобы бабы посочувствовали сирому путнику, подобрали бы к себе в кузов, где, хотя тоже муторно и неприютно, зато можно передохнуть и скоротать часть пути. Но истраченные бурачной работой, прижатые друг к дружке усталостью и непогодой, утонувшие в своих думах, они не посочувствовали, не позвали к себе: был я им вовсе безразличен, как, впрочем, наверно, и все остальное вокруг.

Уступая дорогу трактору, я заранее свернул на обочину, в бурьяны, и вскоре обнаружилось, что идти по дурнотравью легче, способней, если поднимать подошвами жесткие стебли и нащупывать плотные, упористые корневые узлы.

Обелиск, высшая точка холма, серый четырехгранник, похожий на незабитую строительную сваю, оказался несколько в стороне от дороги и среди черной глыбистой пахоты без каких-либо следов к нему. Вымахавший чернобыл, не задетый плугом, буреломно скрывал подножие, надмогильную плиту. По простоте нравов крестьяне сюда не ходили, а городские казенные экскурсии едва ли соблазнялись столь отдаленным и малопримечательным мемориалом.

От этого места исподволь потянуло под уклон, и впереди, за серым месивом туч, скорее интуитивно, нежели зримо, предугадывалась долина, обжитое междухолмье, где обычно в затишке и у близкой воды жались друг к другу курские селенья. Будь бы тихая погода, уже отсюда, с верхов, слышались бы раздольные крики петухов, протяжный поскрип колодцев, доносило бы вкрадчивый запах печных дымов, манящих уютом натопленного крестьянского дома. Но нынче, в обломившееся ненастье, только и слышно, как



подвывал сиверко за вздернутым капюшоном да время от времени принималась барабанить по спине въедливая морось.

Десятка два ворон шумно, заполошно вдруг поднялись впереди меня из придорожных зарослей и, натужно махая крыльями на ветру, кособоко перелетели на придорожный скирд. И тут только за бурьянами на извие дороги углядел я малоприметную темную спину какого-то животного. Оказалось, это был понуро и недвижно стоявший жеребенок.

Я прибавил ходу, еще не осознав, не найдя объяснения, откуда и почему он тут, один в безлюдном поле на хлестком ветру — эта сеголетняя кроха, неуклюже большеногий, еще весь по-первородному плосконецкий, шаткий и неуверенный в себе, с жалконьким окомелком кучерявого хвоста, плотно притиснутого меж мокро блестящих ягодичек. Жеребенок никак не откликнулся, не пошевелился, даже не покосился на хрусткий шум моих сапог, торопливо давивших жесткое окостенелое чернотравье. Голова его так и осталась низко опущенной, маленькие, трогательно-детские ушки отрешенно прижаты, а глаза сокрыты опущенными веками в долгих ресницах.

— Кось! Кось! Кось! — еще за несколько шагов протянул я руку и негромко, вкрадчиво позвал совершенно забытым словом, не слышанным со времен моего детства и так внезапно, самопроизвольно и легко всплывшим вдруг из завалов памяти. — Кось! Кося! Косечка!

Но тут же запнулся и умолк, увидев на открывшейся дороге у ног жеребенка громоздкое и безвольное тело взрослой лошади.

Она лежала, запрокинув на травяную обочину тяжелую костистую голову с огромными остро выпиравшими салазками и ощеренными желтыми, скошенными вперед резцами, из-за которых вывалился долгий, посиневший, искушенный язык. В натужно выпученном, окровенелом зраке еще что-то мерцало, взмелькивало зеркальным бликом, должно быть, отраженные мятущиеся небеса. Само же тело почти наполовину засосало жидкой дорожной хлябью, а то, что возвышалось над лужей — большой бурый ребрастый короб и иссохший костлявый крестец — было густо заляпано земляными лепехами. Видно, перед тем, как испустить дух, коняга еще пыталась встать, отчаянно вскидываясь, била и скребла широкими разношенными копытами, разбрасывая вокруг себя и на себя грязные ошметки. А может, машины захлестали.

«Как же так? Как же это? — убито, потерянно недоумевал я, озираясь и невольно ища окрест какую-нибудь человеческую душу. — Ах, несчастье-то какое!»

В смятении не сразу я заметил, что на лошади осталась замызганная ременная узда с забытыми во рту железными удилами. А еще на ней оставалась упряжная изветшавая седелка с нерасстегнутыми на вздутом животе брезентовым чересседельником, следовательно, был при ней и хомут, а стало быть, и телега тоже... Но



хому, как очевидную ценность, успели-таки сдернуть и увезти вместе с телегой, следы от которой я вскоре обнаружил в траве.

— Не бойся, не бойся, маленький, — я притронулся к жеребенку и осторожно провел ладонью по его мокрой и стылой спине. Он содрогнулся, и волна ознобной дрожи пробежала под моими пальцами. — Ну, не надо, не надо бояться. Вон как тебя затрясло... Где же твой хозяин? Как это он оставил тебя, такого кроху, одного?

Я несколько раз еще провел рукой по хребтинке, потрепал по мордашке, и жеребенок вроде бы перестал робеть, успокоился, и только волны дрожи прокатывались по всему тельцу.

— Небось сам виноват. Вон ты какой натурный! Поди, собирались и тебя забрать заодно вместе с телегой, а ты, браток, не послушался, не захотел от мамки уходить, да и дернул небось от хозяина. Ну а он ждал-ждал тебя, да и уехал. Не станет же он за тобой по чернопаху гоняться. Вот он отвезет телегу, соберет подмогу и явится за тобой. Одному с тобой не совладать. Ты ведь вон какой упорный, неуступчивый... А то знаешь что? Давай, браток, со мной. Давай вместе пойдем... Тут совсем недалеко. Под горочку, под горочку — и вот тебе и пришли, а?

Я обхватил жеребенка за шею и легонько, но настойчиво колыхнул его, с усилием потянул на себя. Но тот вдруг весь напрягся, упористо воспротивился.

— Ну, вот видишь ты какой... Чего же ты не идешь, глупый? Чего ждешь? Вон как промок, нахолодал. И не ел, не пил невесть сколько. Пойдем, а? Не поднимется она теперь, твоя мамка, понимаешь? Не накормит теплым сладким молочком... Если не догадаются люди оттащить от дороги и закопать, изорвут ее лисы и бродячие собаки, исключает воронье. А остальные кости ночные КамАЗы да трактора затопчут в грязь. Пойдем отсюда, голубчик. А то и ты тут окочееешь. И тебя зверье разнесет... Вон, видишь, вороны уже сидят, дожидаются...

Опять я попробовал подвинуть жеребенка, заставить его уступить мне хотя бы один шаг в надежде вывести из этого скорбного оцепенения. И снова, как и тогда, он напрягся всем тельцем, не поддаваясь моим намерениям. И когда я еще решительнее притянул его к себе, он вдруг вскинулся, издал какой-то слабый, тут же иссякший голосовой звук, неудержимо забился в моих объятиях и, опрокинув меня, отбежал прочь.

— Ну ладно, ладно, успокойся! — бормотал я, обтирая вывоженные в грязи ладони пучком травы. — Успокойся, не буду больше...

По глубоко разверстому следу, крутым обводом обогнувшему лежащую лошадь, нетрудно было понять, что тут только что прошел тот самый голубой трактор с прицепом. Стало быть, тракторист и сидевший рядом с ним парень в чепчике видели одинокого жеребенка. А еще лучше, если бы его увидели прицепные бабы.



— Бабы — те не промолчат, — говорил я жеребцу. — У них больше сердца. Непременно отыщут твоего хозяина. Будь уверен! Накинутся на него: ты чего же, скажут, такой-сякой, сидишь в теплой хате, щи хлебаешь! Забыл, что ли, что жеребенок твой один в поле под дождем стоит? Скоро ночь нагрянет, а ты тут штаны просиживаешь... А то и до самого председателя доберутся: мол, как же так... На нашей же земле конь пал, надо что-то с этим делать! Хорошо бы, председатель, народ кликнуть. Несчастье-то какое! Жеребенок-сиротинушка середь поля от невзгоды гинет. Так и скажут побабы: сиротинушка...

Стало вкрадчиво, исподволь вечереть. На востоке, куда весь день устремлялись тучи, скопилась плотная аспидная затемь, на западе же, у самого горизонта, вдруг прорезалось узкое и багровое лезвие зари. Уж не на мороз ли? Мне надо было уходить, пока вовсе не стемнело и еще можно было различать дорогу, и я, смиряясь с этой необходимостью, ради своего оправдания отправился к скирду и, распутивая ворон, швыряя в них комья вспаханной земли: «Кьш, кьш, стервятницы, настырное племя, ружья на вас нету!» — принес большой беремок соломы и расстелил его рядом с жеребенком.

— Вот, полежи, пока сухая. Сколько можно так вот стоять? Ложись, не упрямысь. На соломе оно теплее. Да и ночь, вот она, скоро. А мне, извини, идти бы надо...

Однако, небрегая моей заботой, жеребенок неприязненно отодвинулся от разостланного ворошка.

— Зря ты так... Напрасно... Ну, я тогда пойду, а? — Моя просьба прозвучала приниженно, виновато. — Ничего не поделаешь... Будь умницей, а я пойду и скажу там, кому надо... Все будет хорошо, малыш! Все будет хорошо... Ну, пока! Пошел я...

Вынув из кармана яблоко, я положил его на солому — приметно бордовое на золотистой желтизне и, сделав над собой усилие, чтобы совершить эти первые шаги прочь, я потом с излишним усердием зашагал обочиной под уклон.

Заплескивая на придорожные бурьяны грязь, переваливаясь и заносясь замызганным задом в какой-то лихаческой спешке, вскоре меня нагнал брезентовый газик. Я поднял было руку, но шофер, молодой парень в хорошей меховой шапке, мимолетно и равнодушно взглянул в мою сторону, снова озабочился дорогой. Но как сказано — Бог шельму метит — спустя не так уж много времени я догнал заносчивый «газон», круто завалившийся на левый бок, так что распахнутая дверца нижним углом уперлась в глыбистую колдобину. Раздетый, в одном только пестро раскрашенном свитере, шофер брезгливо ковырялся лопатой под передним бампером.

— Помочь, что ли?

— А-а! — досадливо буркнул парень, не разгибаясь. — Чем ты мне поможешь?



— Ну как... Голова — хорошо, а две — лучше...

— Тут не головой... Тут... поршнями надо... если не подгорели... Ты вот чё, ты давай подопри сзади, а я попробую вырулить...

Не с первой и не со второй попытки, но мы все-таки вытолкали газик из бездонной колеи, и парень, приоткрыв дверцу, сам предложил повеселевшим голосом:

— Давай, садись, что ли?

Подобрав полы плаща, я забрался в газик и сел рядом. Кроме шофера, в машине больше никого не было. На заднем сиденье небрежно валялась кожаная куртка, густо разившая одеколоном.

— Тебе куда? — все с той же бодрейцей спросил шофер. — Не в Подсвирково ли?

— Ага... — кивнул я.

— Ну, тогда в самый раз. Я тоже туда.

Он включил фары, но от низкого неверного света расквашенная дорога стала казаться еще неприглядней и непроходимей.

— Во развезло! — прокричал парень, напряженно вглядываясь в ветровое стекло, по которому со скрипом ходил туда-сюда дворник, соскребая мутные набрызги. — Со станции часа три пилую. Посуху минут двадцать ходу, а я в обед выехал, а доси еще не дома. Сколько счас? — Он взглянул на наручные часы. — Ну, все правильно: начало пятого... сегодня, говорят, по телеку кинцо клёвое... Не лопухнуться бы еще... Уже раз пять залетал, лопатой ковырялся...

— Тебя как зовут-то? — поинтересовался я.

— Толик, а что?

— Да хотел спросить: ты вот ехал мимо — жеребенок стоит?

— Какой жеребенок?! — не сразу врубился Толик. — А-а! Который возле дохлой кобылы? Да я как-то не глянул. Дорога — сам видишь: некогда зевать по сторонам. А когда утром ехал — видел: стоит. Да он и вчера стоял. Я нашего бухгалтера с рапортичками в район возил, дак смотрю — стоит. Во чудак! Мимо машины идут, а он ноль внимания.

— Но и люди на него — тоже ноль внимания. Есть у него какой-нибудь хозяин?

— А-а! Хозяин! — дернул плечом Толик. — Есть тут у нас один... Степка Пупок. Правда, живет он не у нас, в Подсвиркове, а за горой, в Козодоях. Он и подобрал эту кобылу летом в посадке. Уже с жеребенком. Ничейная она была.

— Как это — ничейная?

— Ну как... Нигде на балансе не состояла, — засмеялся Толик. — Вроде как без прописки... Шаталась где-то себе, нагуляла. Все ее Катей блудной называли. Была у нас одна такая, Катька блудная, дома не жила... Ну вот... Пупок возьми и обращай эту Катю. Привел к себе во двор. Баба его в рев, мол, самим есть нечего, а ты еще на хлебницу приволок, да с дитем-коседёнком... А он, знай, свое: где-



то на хоздворе высмотрел телегу, вытащил из-под стародавних лопухов. Должно, валялась еще с хрущевских времен, когда всех лошадей порешили, а телеги позабросили. Ну и стал Пупок подрабатывать себе на бутылку.. Вернее, денег не брал, а чтоб сразу натурой. От этой натуры он почти не просыхал. Ну а когда жахнет — любил лихо прокатиться. Упрется стоймя на телеге, разгонит Катю лобазинной и орет: «Эх, с налета, с поворота, по цепи врага густой!..» Это его любимая была. Один раз вот так орал на плотине, да из телеги прямо в пруд и загремел...

Под фарами зловеще заблестел еще один грязевой разлив, и Толик, замолчав, сосредоточенно минул подозрительное место.

— А гляди: лужи-то затягивает! — оживился он. — Вишь, воду стеклом кроет. Это хорошо. Хоть грязь подберет! Да... А на той неделе, значит, к Пупку какой-то друг залетел. Из Сибири, что ли... Откуда-то из тех далеких мест. Я его однажды возле нашего сельпо видел: в большой собачьей шапке, мешки под глазами, а сам худой, дерганный... И пошел у них дым винтом! Сколько-то дней гудели. Пупкова баба жаловалась: всех кур на закуску порешили... Одну курицу, говорит, Пупок топором по шее не попал, промахнулся да пополам и перерубил. Прямо в перьях!.. Тут утром хватился друг, оказывается, билет у него на обратный самолет. И садиться на самолет надо в Москве. А время — в обрез. Ну, Пупок в момент заложил Катю в оглобли, усадил друга в телегу и погнал «с налета, с поворота, по цепи врагов густой...» А он вон как развезло, ног не вытянешь. Чернозем! А ехать-то в гору! Тягун — километра на три! Уже на самом верху Катя и сунулась мордой в грязь. Что-то в ней лопнуло. Сердце, что ли, не выдержало. У них тоже небось инфаркты бывают. — Толик кинул на меня усомнившийся взгляд. — А мы про это ничего не знаем. Лошадь да и лошадь, а чего у нее там... это ж тебе не машина: отвинтил, продул, смазал и опять поставил. Да и отвыкли мы теперь от лошадей. Сознаться, я ни разу не запрягал и не знаю, как это делается. Верхом, правда, один раз под этим делом пробовал. Больше закаялся: как на заборе посидел. Прошло это все — хомуты, телеги. И нечего теперь к ним возвращаться, я так понимаю. Во — под капотом сразу шестьдесят серо-бурых скачет, стучит копытами в четыре такта. Верно я говорю? — убежденно переспросил Толик.

— Как сказать... Не все живое заменишь машиной. Особенно живую душу.. Ну и что Пупок?

— А Пупок с другом то ли изловили попутку, а может, и пешком утрёхали до станции. Ну и с концами. Жена говорит, Пупка доси нет дома. Должно, в штопор вошел, в загул ударился.

— А кто у вас председателем колхоза? Может, он как-то распорядится? Нехорошо: лошадь пала на дороге...

— Не-е! — мотнул ондатровой шапкой Толик. — Его это уже не касается! Это ж я его сегодня отвез на станцию. Вот, еду обратно.



А он теперь уже далеко. Поехал в Гагру отдыхать. Он — от всех нас, — засмеялся Толик, — а мы — от него... Нет, я ничего такого... Вообще-то он мужик сходный. Со мной по-хорошему: «Толик, Толик». А все равно друг другу поднадоели. Я тоже с завтрашнего дня в отпуске. Дудки: до пятнадцатого ноября никого и ничего не знаю.

— Ну а председатель сельсовета? — попытался я удержать разговор, от которого непринужденно уходил Толик.

— Яков Андреич? Он сейчас не выходит, дома сидит.

— Что значит — не выходит? Как же сельсовет?

— А так: ногу подвернул. Сидит, йодом намазанный.

— Ну, если йодом намазанный... Понимаешь, Толик, какая штука. Я так думаю: если лошадь убрать с дороги и закопать, то жеребенок, наверно, сам побежит... Его ведь мать держит... А то давай с тобой... У тебя как раз машина. Отступя выроем яму, лошадь подцепим тросом... На полчаса дела.

— Чё вы все ко мне? — вдруг осерчал Толик. — Я уже вон как наковырялся лопатой! С шести утра как сел, так и теперь баранку накручиваю. Если на то пошло, то кобыла эта не из нашей даже деревни. Из Козодоев она, сказано. Так что мы тут ни при чем. Пусть у Пупка голова болит. А то как на кобыле гонять, так он чапаевец, а закапывать почему-то я. Вот с него пусть и спрашивают. И вообще я с завтрашнего дня в законном отпуске. Пошли вы все...

Толик нагнулся к приборной панели, чем-то решительно щелкнул, будто обрубил разговор, и газик враз осыпало изнутри громкими, колючими, всепроникающими звуками рока.

Высадил он меня на каком-то подсвирковском выгоне, сказав, что бензин у него на пределе и дальше он никуда не поедет.

В сумерках я пересек затравенелое, подмороженно хрустевшее пространство, в конце которого прямо на уличную хлябь роняли теплый ледовый свет большие окна деревенской школы. Занятия, видно, только что закончились, и школьная дверь то и дело пушечно ахала, выпуская шустрых ребятишек, которые, схватываясь с освещенного крыльца, черными жуками ныряли в уличную темноту и, гомоня и горлая, разбегались во все стороны.

От этих мальчишек я и узнал, что тот человек, к которому я ехал, тот самый Мохов Павел Кондратьевич, на прошлой неделе скончался. Выходило, что весь этот мой поход в Подсвирково совершен напрасно. Бессмысленно стало теперь тащиться по темным непролазным улицам села, искать дом Мохова, что-то объяснять незнакомым людям, тем более выпрашивать у них какие-то бумаги, о которых они, скорее всего, не имели ни малейшего понятия. Все эти мои размышления в конце концов привели меня в школу, чтобы попроситься переночевать.

В передней меня встретила школьная нянька, изготавившаяся мыть полы, — утрюмая тощая старуха, вся в сером, в глубоких гало-



шах-бахилах на босу ногу. Она недружелюбно осмотрела мою замызганную, неавторитетную фигуру — плащ, сапоги, дерматиновую сумку с кое-какой едой, — и на вопрос, есть ли кто еще в школе, не сразу и нехотя, будто сквозь зубную боль, пробубнила, что директор пока не уходил, но что он занят — у него комиссия из района.

— А нельзя ли его позвать на минутку, — спросил я, сняв кепку и проводя растопыренной пятерней по бурелому волос.

— А тебе на шо?

— Надо.

— Мало шо надо, — строго осекла меня старуха.

— Из области я.

Нянька еще раз пристально, по-таможенному оглядела меня:

— Тожа комиссия?

— Ага... Вроде... — соврал я, чтобы упростить, ускорить переговоры.

Старуха молча приставила к стене швабру и, шаркая бахилами, ломко, ходульно переваливаясь из стороны в сторону, привлекая одну ногу, пошлепала в глубь коридора.

Вскоре, обгоняя старуху торопливыми шажками, объявился директор — маленький, округлый, весь взопревший, с расслабленным на груди галстуком, словно бы выскочивший из парилки, где его только что отхлестали березовым веником. Он был влажно причесан на низкий пробор, позволявший часть волос из-за левого уха перебросить на просторную распаренную лысину.

Подходя, директор еще издали уставился на меня тревожно округленными серенькими дошкольно-детскими глазками, изговываясь к любым неприятностям.

— Директор Подсвирковской средней школы, — настороженно произнес он, — заслуженный учитель.

Узнав, однако, что я — никакая не комиссия, как донесла ему нянька, не ревизор, не еще одна крючконосая птица на его голову, а что, напротив, надобности мои самые простые и безобидные, директор оживился и протянул мне короткую, полную, похожую на икряного подлещика ладошку, которая оказалась влажной и горячей от какого-то внутреннего напряжения, исходившего от всей его рыхлой фигуры.

— Посошков! — прибавил он почти дружески и обернулся к старухе: — Пегаша! Пелагея Петровна! Проводи вот человека в учительскую. Постели на диване. Чтоб все было хорошо! А я, извините, побегу. У меня там комиссия — бумаги, бумаги... Куда только уходит человеческая энергия!.. Ну, располагайтесь... А может — чаю? Пегаша, сделай, пожалуйста...

Мне постелили на просторном клеенчатом диване с высокой спинкой, снабженной полочками и потайными ларцами. Я уже и



забыл, что подобные мебельные мастодонты существуют. Они были в ходу еще в сталинские времена, всей своей неуклюжей помпезностью как бы должныствовали олицетворять уют и благоденствие тогдашнего бытия. С полочек свисали какие-то долгие растения, похожие на поникшую картофельную ботву.

Умывшись и попив чаю с чабрецовой заваркой, я уже начал было принаравливать к лязгающему пружинами дивану, когда в дверь учительской вкрадчиво постучали. Я откликнулся, и в комнату, неся себя на носках, вошел директор.

— Ну, как вы тут? — спросил он, смирив голос до заговорщицкого шепота. — Все в порядке? А мы наконец тоже пошабашили. Вернее сказать — отложили до завтра. Проверяющие только-только ушли. В правлении есть комнатка для приезжих... Такая вот канитель.

— И что они проверяют? — поинтересовался я. — Что-нибудь серьезное?

— Обычное дело: заявления, доносы... С утра ничего не ел. И не хочется. Вот иссосал полпатрона валидола...

Посошков присел на краешек дивана, у моих ног, но и оттуда чувствовалось, как он разгорячен и как все его округлое тело пышало реакторным жаром, еще не погасшим после ревизоров.

— И все такая чепуха! Такая злобная неправда! — библейски вскидывал он обе ладони сразу. — Вот, например, пишут, что я незаконно пользуюсь школьным садом. Слова «как своим собственным» дважды подчеркнуты. И как будто бы видели, как мой тесть продавал яблоки на станции... Какие яблоки? Какой тесть? Тесть мой едва переступает на костылях, и то только до нужного места... Эта какая-то повальная болезнь — писать друг на друга: сосед на соседа, родитель на учителя, учитель на директора... Наверно, ни в одной стране не пишут столько доносов!

Посошков поднял с пола уже остывший чайник, жадно отпил из носика.

— Я вот все думаю: откуда это? Почему человек так озлобился? Отчего старается сжить со света своего ближнего? Ей-богу, все это — от утраты верного дела, от поголовного холопства, сплошного иждивенчества, выглядывания и ожидания какой-либо подачки. Все ревниво следят друг за другом, чтобы кому-то не перепало больше — без очереди или не по чину.. Вот, пожалуйста, завтра снова соберутся и станут распинать меня за то, что кому-то помешалось, будто в моей миске оказалось лишку. А, да ладно! Что я вас окунаю в эту грязь? Кстати, как вы к нам добирались? Вон как развезло!

— Грязи вам не занимать, — согласился я. — Добирался повсякому: где пешком, где с оказией. На машине ничуть не быстрее. Особенно в гору.



— Да, у нас тут холмы, холмы... Гималаи! Местная Азия! А еще досаждают трактора, грузовые машины: безжалостно превращают дороги в сплошное месиво. Получается заколдованный круг: ехать надо, но нельзя, а ехать все-таки надо... калечится техника, на дым и ветер расходуется горючее при общем голодном пайке на него... Не дороги, а сплошное беспутство! Нельзя, но надо — так не только ездим, но так вообще живем...

— Между прочим, — сказал я, стараясь заглянуть директору в глаза, — там, наверху, как раз недалеко от обелиска, пала лошадь. Прямо в непролазную топь. И возле нее совсем крошечный жеребенок. Вот закрою глаза и вижу, как он понуро стоит над материнским трупом. Мимо проезжают машины, люди — и никакого внимания.

Посошков, выслушивая меня, все ниже нагибал голову, и, когда я тоже замолчал, он еще долго сидел склоненно и бездвигательно.

— Да, это у нас бывает, — проронил он куда-то в отвороты пиджака и, приподняв голову, бросил на меня скорбный, виноватый взгляд, будто ожидал пощечины.

— Но как же так?

Директор не стал отвечать. Он сидел совершенно недвижно, отрешенно, наглухо уйдя в себя. Потом тяжело, затрудненно поднял свое как-то вдург обмякшее тело.

— Извините... Что-то барахлит сердце... Весь сегодняшний день. Вот иногда тоже: жить нечем, а надо, жить надо, а вот как сейчас — нечем...

И трудно пошел, пришаркивая подошвами.

У двери, однако, обернулся:

— Вы правы: безобразный случай. В прежние времена ни один земледелец не позволил бы себе такой безнравственный поступок. Ужасающее пустодушие. Но мы что-нибудь придумаем... Надо что-то придумать... Впрочем, завтра ведь воскресенье. Никого не найдешь. А у меня — опять комиссия... Ну да ладно, отдыхайте. Можете рано не вставать: завтра занятий не будет... Так что спокойной вам ночи.

Я долго не мог заснуть — как всегда на новом месте. Где-то за полночь в окно вызрелась луна — обмытая, сиятельно начищенная тучевой ветошью. Вокруг нее угодливо обозначился легкий прозрачный нимб.

Набросив одеяло, я подошел к окну.

Мир холодно сиял в морозном оцепенении. Стеклянно отсвечивали лужи на пустыре, мерцали обмерзшие столбы и деревья, плоскости крыш, папахи сенных копнушек на задворках.

Подсвирково оледенело забылось до утренней суеты.

А за селом, за плоским его разбродом, по обе стороны ручьевого долины, неожиданно развернулись окрестные взгорья, которые, пока я шел, не были видны за ненастной мглой, а только чувствовались по сбитому дыханию. Сейчас они походили на чьи-то се-



дые, заиндевелые исполинские спины. Ночной мороз выбелил на них старое жнивье, забурьяненные межи, лоскуты озими, выжал влагу и обсахарил вывороченные глыбы вспаханной земли, и все это слилось в мерзлую всклокоченную шерсть, покрывавшую земные горбы, стыло мерцавшие стадным скопищем в разливах лунного света. Холмы, холмы...

Где ты там, невскормленное дитя, кося-коседёнок, один-одинешенек в ночи, среди этих безлюдных холмов, иззябший, покрывшийся морозной солью, мужественно и безропотно принимающий свою судьбу?..

1989

## КАРМАННЫЙ ФОНАРИК

По мокрому, туго распыленному брезенту мелко, просяно сеялась назойливая морось, наполняя гулкую утробу палатки шепелявым усыпляющим шепотком. Временами дождь припускал, и тогда вкрадчивый шелест переходил в нетерпеливую раздраженную скороговорку, заглушавшую мой изрядно припосаженный приемник.

Из палатки виднелась серая плоскость реки в мелких кольчужках дождевого накрапа да край тусклого неба без малейшего намека на просветление. Заречный берег едва проступал сквозь мгlistую наволочь. Иногда из размытой глубины лугов объявлялись на урезе призрачные, бесцветные и плоские коровы и так же бесследно истаивали, словно растворялись в небытии. Выходил и подолгу стоял у края воды пастух, тоже призрачный и бесцветный, в конусном клубке. Высмотрев мою палатку в мутном хаосе лозняка, он окликнул меня вопросом: «Который час?» Пастухи знают время и без часов, почти с безошибочной точностью они ощущают его неосознанно каким-то своим, внутренним самосчетом, и потому спросил он меня просто так, из любопытства: кто таков, что за палатка? Было начало пятого, я прокричал ему время в ладони, не высовываясь из-под навеса, и тот как-то нехотя, неудовлетворенно повернул от реки и растворился в ненастье. Вскоре раскатисто, ружейно громыхнул его набрякший сыромятный кнут и осерженный хлопок многократ надломился эхом меж старых ветел.

Куртинки раkit и ольх, рассыпанные по лугу, тоже утратили свою плоть, обратясь в зависшие над землей причудливые декорации какого-то плоского одномерного мира. И оттуда, из той зыбкой потусторонности, на эту мою, хотя и неприятную, но все же вполне реальную зримую сторону всякий раз прилетал и с тем же размеренным постоянством возвращался обратно крошечный кулик-перевозчик. Он словно бы выискивал кого-то и тонко, удрученно призывал: «пюи-и... пюи-и...»



Помню, в далеком детстве бабушка моя, исконная жительница этой реки, сама вязавшая сети и управлявшая плоскодонкой, просвещала меня, будто сия ничем не приметная птаха летает не просто так, сама по себе, а «сполняет Господнее послушание». С рассвета и дотемна с одного берега на другой перевозит она души усопших. Я, стриженный под овцу, лопоухий, не понимал этого и бестактно спрашивал: «А зачем?» Бабушка, возгораясь от моей языческой бестолковости, ревностно наставляла: «А затем, что всякой отошедшей душе перед тем, как явиться пред Всевышним, непременно надобно очиститься от всего земного. Чтобы ни духу, ни запаху. А для этого положено пройти очищение живой бегучей водой, перенестись через реку или даже через малый ручей. — Бабушка верила в эту наивную легенду истово, без колебаний, с восторженной святостью, и я видел, как одухотворялось, хорошело ее простое, крестьянское лицо. — Вот только через озеро негоже. Ты понаблюдай: на озере кулик полетит-полетит, да тут же и воротится на прежнее место, потому как у озера берег един и вода в нем недвижна».

«Может быть... Может быть, и так...» — вяло соглашался я, спустя более полувека, наблюдая из палатки, как частил крыльями, неустанно трудился кулик-перевозчик. И привязалось почти на весь остаток дня:

*Перевозчик-водогребщик,  
Парень молодой,  
Перевези меня на сторону,  
В ту сторону — домой...*

Мне и в самом деле надо бы уже на ту сторону. Рыба не брала: говорят, при низком атмосферном давлении ей не до поклевки. Я даже перестал спускаться к удочкам, сиротливо торчавшим под берегом. Нанизанные черви, белесые, выполощенные водой, уже более суток висели нетронутыми. Между тем без рыбы, на которую был весь расчет, мои съестные припасы иссякли до срока, остались лишь соль, лаврушка и чай-сахар без хлеба. Честно сказать, весь сегодняшний день я пробавлялся викой: вытеребливал стручки из охапки вико-овсяной соломы, которую еще по приезде притащил от недалекого скирда для подстилки. Стручки попадались все реже и реже, тогда как машина, забросившая меня сюда, по уговору должна быть только завтра во второй половине дня. Впрочем, уговор этот наверняка утратил свою силу: вряд ли какая-либо машина способна теперь пробиться к моему жалкому пристанищу, даже такая, как лихой четыреста шестьдесят девятый газон.

Позади палатки, метрах в двадцати, за прибрежными лозняками, проходила дорога, если же не говорить преувеличенно, то растерзанный тракторами грунтовой проселок со спекшимися ди-



нозавровыми хребтинами между ямистыми колеями. Таким он был еще посуху, когда мой приятель, багровея и чертыхаясь, не раз хватался за лопату, чтобы срубить опасные надолбы. Ну а каким он стал после затяжного дождя... Его состояние можно определить, даже не выходя из палатки: если в первые день-два еще пробирались кое-какие отчаянные машиненки, то уже вчера за весь день протащились, надсаживая моторы, едва ли два-три борта. Нынче же с самого утра за палаткой стояла удручающая тишина. Лишь в обед, подоткнув подола, возбужденно гадя все разом, прошлепали обвешанные авоськами и сидорами деревенские бабы, должно быть, с далекой электрички.

Дорога эта тянулась вдоль реки из невидных отсюда прибрежных деревень Жаховки и Верхних Чапыг, обезлюдевших, неприятно заросших бурьянами. к единственному в округе бревенчатому мосту и далее — к железнодорожной станции с нефтебазой, лесным складом, крепко, бражно разящим гнилой древесиной, с пивной забегаловкой, парикмахерской и прочими соблазнами глубинной цивилизации.

Конечно, будь мой приятель посообразительней, он мог бы оставить свой газик где-нибудь на станции и пешки, верст пять-шесть, дотопать сюда, чтобы помочь собрать и унести мои рыбацкие бебехи. Но, скорее всего, по законам современного прагматизма, завтрашнюю поездку он посчитает бессмысленной и перенесет ее до лучшей погоды. Ему, поди, и в голову не приходит, что я сижу тут буквально на бобах. Скорее всего, придется, взвалив на себя все это — сырую, втрое отяжелевшую палатку, рулон спальника, замызганный котелок, неизвестно для чего взятый большой двухлитровый термос, ненужный топор, поскольку рубить им оказалось нечего, приемник, одежду всякую, пук удилиц, два садка — с учетом того, что одного могло и не хватить, — и прочее, и прочее, также не пригодившееся, придется самому месить злосчастные километры до электрички.

*Перевозчик-водогребщик,  
Парень молодой...*

Да, единственное, о чем я жалел, что не взял с собой, так это о резиновой лодке. Она показалась мне лишней, но сейчас была бы весьма кстати: можно было, погрузив шмотье, сплавиться на ней по течению до ближайшей деревеньки, просушиться, обогреться, похлебать щей и выпросить лошадку до станции.

Между тем под толщей ненастного неба раньше времени заволокло. Из скудной дневной расцветки исчезло последнее тепло — охра лозы, палевая зеленца отавы, — и все заволокло быстро надвигавшейся освинцевелостью. Перед долгой сентябрьской ночью,



уже по-осеннему ознобливой и жесткой, неплохо бы испытать крепкого горячего чаю, чтобы потом, забравшись в нахолодавший спальник, греться изнутри чайным теплом. Но, представив, что ради этого придется лезть в мокрую, обвисшую от накопленной влаги лозняковую чащобу, уже многократ мною прочесанную в прошлые вечера, где почти не осталось ничего подходящего для костра, а то, что еще уцелело, вконец вымокло и ослизло и вряд ли способно гореть, решил-таки не высовываться, чтобы не забираться в спальный мешок в мокрой одежде.

В мешок я все-таки не полез: за эти ненастные дни и ночи нутро его насырело и дурно разило погребом, а потому, взбив порыхлей соломенную подстилку, я закопался в нее и накрылся спальником, как одеялом. Так было вольнее и телу и душе. Впереди ожидания двенадцать часов кромешной темени — этого гнетущего беспредела, морозящего, капающего, булькающего, временами напряженно умолкающего и снова принимающегося шелестеть, что-то нашептывать и как бы тяжело ворочать тучами, завладевшего, казалось, всем мыслимым пространством, от которого меня отделяли весьма условные палаточные застенки, пропитанные водой, конелзя и уже не создававшие иллюзорного чувства какой-никакой обители и защиты. Крупные дождевые капли, копившиеся на пшвах, провисах и под потолочными растяжками, с пунктуальной размеренностью то тут, то там шлепались в солому, заставляя подгибать ноги, отодвигаться, избегать прямого попадания. В сущности, мне предстояло коротать долгую ночь, свернувшись на подстилке щенячьим калачиком и ощущая боком всю толщу земной тверди, по ту сторону которой ходили вниз головой уже проснувшиеся американцы, а над собой — безмерную глубину Вселенной со всеми ее черными дырами и запредельной звездной пылью. И это — в абсолютном одиночестве! Для такого отрешения необходимо определенное равновесие духа. Хотя бы для того, чтобы не прислушиваться к установившемуся дыханием к темноте и не впадать в мистическоецепенение, если где-то за палаткой явственно хрустнет ветка или под тобой вкрадчиво зашебуршит солома. Испробуйте подобную ловчевку, и, право, вы сполна ощутите свое собственное ничтожество, тем паче если там, за горизонтом, в людском миру, вы занимаете самообольщающее положение и повелеваете другими.

Безмятежно дрыхнуть в такой обнаженной среде в полном одиночестве, без взаимной подстраховки, вряд ли возможно, и я, надо полагать, всего лишь коротко забывался, проваливаясь в грубое и недолгое небытие, тогда как в остальное время пребывал как бы в сивотном, сурковом анабиозе с замедленным кровотоком и мыслеворчеством, смиренно и терпеливо протискиваясь сквозь ночь, поодившую на долгую и тесную трубу, в конце которой через много часов изнурительного прозябания должен забрезжить утренний



рассвет. В этот вечер, однако, утревшись в волглом тепле соломенного логова, я сразу же отключился напрочь и очнулся неведь когда от ощущения какой-то перемены. Я нащупал в изголовье электрический фонарик и посветил себе на запястье: было всего только половина девятого. Впереди все еще оставалась целая ночная бездна. Приходя в себя и вслушиваясь в явь, я внезапно догадался, что именно могло отпугнуть мой сон и возбудить подсознание: меня обнимала глухая, вязкая тишина, почти осязаемо давившая на ушные перепонки. Дождливая мгла больше не скреблась в чуткие скаты палатки, ничто не капало с брезентового потолка, не тормошило помышину солому, отчего еще ощутимей, пронзительней сделалась наружная немота, поглотившая все окружающее пространство — мокретью пресыщенную землю, прореженные лозняки, сронившие почти всю охряно-желтую листву, залитый лывами проселок, осунувшийся и как-то сразу одряхлевший от сырости викоовсяной скирды середь грубо вздыбленной плугами предзимней пахоты, а заодно — все живое в этом напрягшемся тишиной ночном мире — вконец продрогшее зверье по сырым чащобам и раскисшим норам и взъерошенных, нахохленных, изголодавшихся птах на скользких ветках, не успевших отлететь в благие, теплые края.

И вот в этой предельно натянутой, настороженной глухоте мне почудилось отдаленное чавканье. Я приподнялся и замер: не показалось ли? Нет, не показалось: чавканье походило на замедленные, неуверенные шаги, слышимые пока еще в отдалении с тыльной стороны палатки. Порой вязкие переступы ног заглушались всплесками стоялой воды, после чего наступала долгая немая пауза. «Кто это? — не понимал я. — Зверь или человек? Может, заблудшая, спутанная лошадь? Или старый одинокий кабан, голодный и свирепый, выбредший на какую-нито поживу, способный в клочья изорвать мою квелую палатку, а заодно и меня, такого же голодного и полуодичавшего, по самые глаза заросшего сивой кабаньей щетиной?»

Через некоторое время за палаткой, за лозняком, еще раз обвально, раскатисто всплеснулось, и когда возня в калюжине унялась, постышалось глухое, раздраженное бормотанье и даже рваные, задышливые слова:

— Ну, ешь ты... дорога!.. Не яма, дак канава...

Понял я, что никакой это не зверь, не кабан дикий, а некто, бредущий с вечерней электрички. Расквашенным проселком с залитым сметанной грязью колеями брел он, надо полагать, в одну из прибрежных деревень, куда, собственно, и вела эта расхристанная дорога, из чего следовало, что этот пробиравшийся в темени некто — не иначе как местный землепроходец, поднаторевший абориген, ибо залетный чужак вряд ли сунулся бы в такую темень, в такие разверстые хляби.



— Ну, попал, Ванька! И назад, пля, далеко, и вперед неблизко, — говорил он сам с собой. — Хоть бы что-нибудь зыркнуло... Надо было, дураку, итить засветло. Хоть и дождь, да зато видно, куда ступить... Давай, пля, еще по маленькой... Да и просидел, покуда не мерклося...

Теперь было ясно, что землепроходец, блуждавший во тьме, был дело пьян, и во мне шевельнулось неприятие и даже опаска, как бы он не набрел на мое становище. Не было настроения возиться с ним, гадить его, мокрого и грязного, в палатку, и вообще... Опять же — кто за человек? Какой бес в нем сидит? Иной пьяный хуже дикого вепря. Того хоть можно отогнать внезапным окриком или зажженной спичкой, ну а залившего зенки до помутнения ничем не смудишь...

С неприязненным вниманием вслушивался я теперь в каждый его шаг, в каждый хлюп и чавк, и показалось, что он нисколько не приблизился, а невесть почему барахтался, месил грязь в одном и том же месте в топкой низине, вобравшей в себя всю окрестную жижу.

— Во, пля! Кепку, кажись, потерял... — донеслось наконец хрипкое восклицание. — Ну да, нету, пля, кепки... Вот это дак звезданулся! Не то что без кепки, а и без головы, пля, останешься.

Матерился он как-то так, спрехвала — обыденно, самосево, должно, ничуть того не слыша и не замечая, будто с этим и родился на свет. Тем паче пребывал он, как ему казалось, наедине сам с собой, в полном безлюдье да еще в непроглядной тьме и непролазной гибели. Тут уж и не хочешь, да пульнешь... В ущерб достоверности я, конечно, вынужден буду кое-что опустить или заменить отнюдь не эквивалентными синонимами...

А он по-прежнему сокрушался:

— Кепка-то ладная была. К голове притертая... Никогда не слетала... А тут — на тебе, нету, пля, кепки... Ишо в тем годи с шуряком махнулись... На октябрьские... Под этим делом... Шуряк как раз выгнал... Хорош был первак! В ложке до самого дна выгорал! Только ракеты б заправлять. На это мастак! Пристал: давай и давай кепками махнемся. Ну, хрен с тобой, давай... Он свою на другой день потерял... А я, пля, аж до се дня доносил... Ладная была кепка...

В той стороне завозилось, засопело, зачавкало грязью, а потом снова донеслось пьяное сетование:

— Рази теперь ее, лядюгу, найдешь?.. Куда ступаешь, чево руками цапаешь — ни хрена не видно. Ровно в погребе. Мобыть, сам же ногами затоптал. Кабы б посветить, дак, ешь ты, нема, чем... Был коробок — весь размок на хрен. Карманы полны грязи... Ну, Ванька, жди от бабы выволочки... Спросит, игде, пля, валялся, на четырех лапах ходил? Как — игде? У шуряка был. Точильный брусок надо было спросить... Я рази, пля, виноват, что дорога такая? Янава на канаве. Чего, дура, орешь? — Тово ору, что я воду таскать не буду.. На тебе, пля, сто цибар треба. А у меня и так с бура-



ков мочи нетути... Она, пля, завсегда так... Раззявится, аж видно, чево ела. Крокодил-баба...

Поддавший землепроходец наконец смирился с утратой кепки, потому как на проселке снова зачавкало, донеслись его неверные, медлительные шаги, гибло вязнущие в засосном месиве.

— Ладно, завтра Манькю пошлю поискать... Пусть, пля, пробежится до моста... Мобыть, я ее не здесь, а ишо где потерял? Сколь разов, пля, падал... Хорошо, хоть зубы не обронил... Ишши их тади... Маньке надо бы сбегать до трактора. А то трактор утром пойдет с молоком на станцию, тади — звездац кепарю! Гусеницами изорвет, або в грязь утопит. Пятерку только жалко: в подкладку от бабы спрятал. Кто ж знал, что так, пля, получится...

И тут запутавшийся в ночи и бездорожье землепроходец враз впал в неистовство, завопил зло и хрипло:

— А все, пля, Семибабов, сучий потрох! Морду нажрал, аж на кухвайку обвисла... Какой год обещает защебенить, покрытие положить... Ни хрена! Пустой брех! Как в район забрали — сразу про все забыл... Как же так? Игде ж твоя совесть? А вот так: нету вас в списках... Как это, нет?... А куды ж мы подевались? Ведь и деньги на это были отпущены... Ваша деревня, грит, теперь неперспективная... Подлежит сносу.. Дак а што вместо деревни-то будет?... А ничево... Поле, грит, будет. Бураки посеют... Дак, а мы куда?... Как куда? Старые — на погост, а молодым везде у нас дорога, понял?... Чево ж не понять... Он умотал, теперь по асфальту катается... А ты, пля, ковырайся тут рылом в грязи...

Сознавая, что здесь он один-одинешенек на всю забытую богом округу, землепроходец вольно, распахнуто и даже с каким-то сладострастным остервенением обложил всех больших и малых толсторылов, а заодно и ни в чем неповинных святых отцов, не удосужившихся ощебенить проселок.

— Неперспективная — а-йа! Чевой-то она такая стала? Деньги дорожные небось с прихлебателями пропил, вот тебе и неперспективная... Сволочи...

Он, поди, опять-таки не туда и не так ступил, потому что в том месте, откуда сыпались матерки, как бы в отместку за это, шумно и грузно всколыхнулись дорожные хляби, да так, будто со всего маху ухнул туда туго набитый мешок.

В ночи повисла неприятно затянувшаяся вакуумная тишина. Сколь я ни наводил ухо — в той стороне больше ничего не ворохнулось, словно бы землепроходец, этот подвыпивший Ванька-абориген с головы до пят грешный в непотребной хуле всех святых и районных праведников, провалился в тартарары и накрыло его крышкой.

Уже не питая к нему прежней неприязни, я мысленно понукаю его и почти братски упрашивал: «Ну, чего ты там? Давай вставай! Шевелись, что ли... Этак и утопнуть можно. Хлебнешь жижи и —



конец!.. А все оттого, что распаляешь себя... Материшься... От этого вестибулятор слабнет и мотор сдает от больших оборотов...»

Я торопливо натянул сапоги, запихнул в карман батарейковый фонарик и выбрался из палатки в крошечную тьму, как, поди, космонавты выходят из обжитых кораблей в дикий и неприютный космос.

«Ну, хватит, хватит... Давай вставай... Или хотя бы скажи что-нибудь».

И он наконец внял посылаемым мной флюидам, моим позывным и, больше не тратя никаких человеческих слов, рванул гнетущую темень отборным матом без всяких комментариев:

— Там-тара-ра-рара-рам!

Но, вскарабкавшись на твердь, обретя равновесие и отдышавшись, все-таки пояснил, что он этим хотел сказать:

— Во, Семибабов, радуйся... Ребро, кажись, надсадил... Об железяку.. как есть со всего маху.. Тут не то кардан засосало, не то прицепную вагу.. Дак, а сколько этого добра по всей дороге... Кто считал утопленные рублики? Тут нешто асфальтом крыть? Золотом на два пальца...

Сапоги вяло, неуверенно захлюпали в слепом неведении, будто брел он, шарился с повязкой на глазах, прощупывая ночь охватно расставленными руками.

— Ей-бо, ребро выломал... — хрипел он болезненно и натужно, останавливаясь и передыхая. — Во, вишь, дыхнуть больно... Наружу ишо выдыхаю, а как обратно — аж искры из глаз... А мне завтра в Макарьино на распиловку.. Доски пластать...

После того как он еще раз оступись и тяжело, с отчаянным стоном упал, расплескивая жижу, из него окончательно ушла недавняя пьяная бесшабашность, голос обмяк и засмирел.

— Ничего не узнаю... — жаловался он потерянно. — Как не своя земля... Всю жисть проходил... А теперь не узнаю... Ни одной верной приметы... Кабы зыркнуло где — месяц, звезда какая... Али собака брехнула, дала б знать... А то — нигде ничево...

Он глухо застонал, как бы процеживая боль сквозь стиснутые зубы, и затих, должно, не решаясь больше ступить, сдвинуться с места, будто весь изошел, растворился, сделался обезличенным наполнителем непроглядной и алчной темноты.

— Где же это я?.. — упавше спрашивал он. — И куда мне теперь? В какую сторону?.. Мост я перешел али нет? Ежли б переходил, дак небось доски ногами почуял... А то грязь да грязь... А мобыть, это и не дорога вовсе?.. Поле теперь тоже зыбью взялось, на паханое не ступить...

Я наконец выбрался за кусты. Человек находился совсем близко. Теперь я отчетливо слышал его сиплое, загнанное дыхание с каким-то жалобным, птенцовым писком на исходе. И даже разобрал



затрудненный полусшепот, те немощные, недоозвученные слова, которые, как мне представлялось, в обыденности, за ее серой чередой прозябания, за опостылевшей земляной бескормной работой на чужом бескрайнем поле с непременными опосля, разящими с ног выпивками где-нибудь там же, на обочине, под кустом, и с утренним мутным похмельем, — за всем тем, что саму жизнь обращало в отупляющую дрему, — запомнил эти слова, а то и вовсе забыл напрочь. Но они, отторгнутые повседневностью, не исчезли, не канули в небытие, а сами собой береглись до случая где-то, и вот родниково высочились из-под слежавшихся, полуиссохших подкорок, из-под толщи прожитого и улегшегося однообразной пылью, — воспряли и отлетели в ночь робкой стыдливой мольбой:

— Господи, не дай пропасть...

Наверняка человек не слышал меня, пока я, привыкая к темноте и отводя руками лозины, выбирался к дороге, не чувствовал и теперь стоявшего в непосредственной близости и продолжал бормотать, торопя слова:

— Спаси и помяни... Спаси и помяни мя, грешнова... Не отвернись токмо... Буду век помнить...

Честно сказать, я не знал, что мне дальше делать, и, поскольку в моей руке оказался электрический фонарик, я нажал кнопку и направил луч впереди себя.

Низкий касательный свет имеет свойство зловеще преувеличивать дорожные изъяны. Но, и с учетом этого, проступившая из темноты льва, которую я не мог охватить всю разом, а прощупывал желтым овалом света по частям, воистину показалась погильной и ужасной. Луч фонарика скользнул по мазутно мерцавшему, язвенно пузырящемуся вязкому разливу, отдававшему равнодушной надменностью всякой коварной прорвы. Простершаяся хлябь бугрилась коростой множества островов и целых архипелагов, вывернутых из глубин и вознесшихся дыбом, словно в библейские дни сотворения мира. Избегая эту погиль, отчаявшиеся водители пытались проторить объезд по пахоте, но и свежий распуток долго не вынес: осел, провалился глубокими каньонами, сразу же наполнившись черноземным мазутом, вознесся по обе стороны колесных вмятин лунные хребты и неодолимые системы, особенно если те спекутся потом на солнце.

В эти-то свежевздыбленные кордильеры и завело вконец потерявшегося землепроходца, не признавшего родные места.

По хриплому, протабаченному голосу и забористому мату во мне заведомо, сам собой сложился облик крепкого, ражего выпивохи, но когда я направил на него фонарь, то зыбкий луч его выхватил неказистое существо, хлипкого мужичонку в подростковой болонье, мокро обвислой и замызганной донельзя. Куртеечка была схвачена под животом женским перламутровым пояском, да и сама она,



голубого, не наших полей и дорог цвета, с белыми лупастыми пуговицами, явно относилась не к мужскому крою. Чуть приподняв фонарь, я увидел и его непокрытую голову, нахохленно вобранную в поднятый воротник. Голое заостренное темя тыквенно желтело от уха до уха, и лишь по бокам торчали мокрые, обсосанные ненасытием застрешные кудельки. В ответ на пучок направленного света в колодезной глубине запавших глазниц желтой фольгой, как на дорожных знаках, полыхнули округлые неясыевые глаза, полные недоумения и страха.

Стоя в глубокой развалистой колее, почти до колен засосанный вязкой трясинной, ослепленный светом, он не видел меня, и некоторое время оцепенело глядел на фонарь, в самый его воспаленный зрак, но, будто осознав какую-то опасность, внезапно сорвался и, будоража жидкое месиво и руша нагроможденные кордильеры, ринулся от меня прочь, в темноту, в глыбисто распаханное поле. Я продолжал удерживать его в пучке жидкого света, сколько позволяли возможности рефлектора. Через несколько судорожных прыжков он, однако, завяз и упал и, повернувшись на спину, по-заячьи замотал зелеными резиновыми недомерками, роняя и на себя, и вокруг земляные ошметки и крича панически высоко и визгливо:

— Не подходи! Не подходи!

Брезгливо, со всеми возможными предосторожностями я преодолел топкий, разбитый объезд и среди земляных глыб, небрежно навороченных «Кировцем», вновь накрыл лучом голубую болоньевую куртку.

— Не подходи! Не подходи, сказано! — продолжал, лежа на спине, вопить землепроходец, хватая тут же распадающиеся комья земли. — Чево пристал? Нету у меня ничево!

— Да ладно тебе! — как можно небрежнее сказал я. — Брось ломать дурочку. Я ведь к тебе по-хорошему.

— Зачем я тебе!?? — тревожно вскрикивал он. — Денег у меня нет, курить нечево... Чево надо!?

— Да перестань! Я ж тебя знаю, — продолжал я, осторожно приближаясь. — Ты — Иван! Верно ведь? Иван, да?

Тот настороженно молчал.

— А жена у тебя — Марья! Угадал? Ну вот! А живешь ты в Жаховке, там, за поворотом?

Землепроходец продолжал молчать, должно быть, сбитый с толку этой моей осведомленностью, но, заподозрив что-то неладное, вновь всполошился:

— Все равно не подходи! Я за себя не ручаюсь!

Отталкиваясь пятками сапог, он, как был на спине, принялся юзом выползать из светового пучка.

— Ну что ты такой... Я ведь в самом деле по-хорошему. Слышу — стонешь, думаю, худо человеку.. Ты что, вправду сломал ребро?



— Не твое дело... — огрызнулся он, застясь рукавом от фонарика.

— Давай погляжу.. Может, перевязать надо? Это ведь не шуточки. Сломанным ребром можно легкое проткнуть... Давай, давай гляну.

— Сказано, не подходи! — прошипел он, и глаза его вновь, как тогда, полыхнули желтой фольгой. — А подойдешь — гляди, чево будет...

Привстав и уже сидя на земле, он пошарил рукой в кармане болоньи, достал складник и ловко открыл его зубами.

— Во, видишь? Сунься только...

— Ну и дурак... — сплюнул я. — Знал бы, что ты такое дерьмо, я бы не пачкался... Сапоги только зря утвяздал...

Землепроходец поднялся на ноги и, оглядываясь на фонарь, не пряча ножа, попятился еще дальше, в черное поле. Свет больше не добивал до него, я потерял его из виду, хотя чувствовал, что он еще где-то тут, близко: наверно, стоял и, как зверь из укромы, наблюдал за мной, за маневрами фонарика...

— Слушай, там дальше скирд где-то...

— Знаю... — отозвалась темнота.

— Можешь в стогу заночевать...

— Мне домой надо, — несколько ровнее, успокоеннее отозвался тот.

Выйдя из полосы света и как бы обрета свободу, он почувствовал себя более уверенно и надежно.

— Не дойдешь ведь... Куда по такой темени?

— А мне надо... — упрямо возразил он.

— Ну, ладно, черт с тобой, топай... Не понимаешь ты добра. Совсем одичал. Как брошенный пес: протянутой руки боишься. Или много пинали тебя?

На всякий случай я обвел фонариком вокруг себя полкруга, но везде было голо и пусто.

— Эй, где ты там? Чего молчишь?

Он не отозвался.

— Послушай! Хочешь, я дам тебе свой фонарик?! А?! Без него ты все равно никуда не дойдешь... Ни полем, ни по дороге. Полем еще хуже. Полем вовсе заблудишься. Последние ребра доломаешь. На вот, бери!

Но я кричал ровно впустую.

— Или давай так... Я уйду, а фонарик тут оставлю. Понял меня? Фонарик будет гореть один, без меня.

Я притих, вытянулся в струнку, вслушиваясь, не подаст ли он ответного голоса, но тот раздражающе молчал.

— Ты понял как? Я включу и оставлю его возле дороги... А ты подойдешь и возьмешь... И не будешь ломить напролом. Ведь па-  
дать тебе больше никак нельзя. А с фонариком потопает в свою Жаховку чин-чинарем.



Отыскав на краю поля подходящую глыбу, поросшую жесткой стерней, я утвердил на ней фонарик, направив рефлектор ровно вверх, чтобы свет был виден со всех сторон.

— Слушай меня! — обратился я снова. — Я сейчас три раза помигаю. На счет «три» я положу фонарик на землю. Усек? На счет «три»... Ну, вот, давай считай! Р-раз... Два-а! Три-и!.. Все! Ты видел, как я помигал? Это значит, что я кладу фонарик... Вернее, ставлю на попа... Вот, слышишь, отряхиваю ладони, стало быть, в моих руках ничего нет. А теперь ухожу.. Честное слово! Вот иду.. иду.. иду.. Ухожу, без дураков...

Я и на самом деле ощупью, вслепую перебрался обратно сперва через свежераскуроченный объезд, а потом и через старую дорожную лыву и сам едва не шлепнулся в одном месте. Нет, не завидую я ночному путнику — ни пешему, ни тем паче на колесах...

— Эй! Где ты там, черт возьми!? — окликнул я с досадой. — Я уже на дороге! Фонарик вон где, а я вот где... Можешь подойти и взять... Ну, давай, бери, чего же ты?

Но фонарик, оставленный там, на краю поля, продолжал недвижно и ровно излучать свет в вышину, редая и истончаясь, он растушевывался чернильной толщей и исчезал бесследно. И я начал выходить из себя. Может, там уже давно никого нет, а я ору, даю ценные указания... Если тот тип смотался, то надо снова лезть через эту отвратительную топь, которая способна сделать бесперспективной не только деревню, но и саму человеческую судьбу. Глупо же оставлять в поле фонарик, впустую жечь батарейки, тогда как свет в любую минуту понадобится здесь — в палатке или около нее.

Я остался стоять у края лозняков, все еще медля возвращаться в свой лагерь.

Низко надо мной, так что пахнуло ветром и запахом влажного пера, беззвучно, словно некий дух, пролетела большая птица, должно быть болотная сова. И хотя она не обронила ни малейшего звука, рождаемого сильными махами, тишина после нее показалась еще обнаженнее, острее. Сделалось беспокойно и тревожно от сознания, что где-то, возможно совсем рядом, таился другой человек, как и я, напряженно, опасливо слушавший ночь и все, что таилось в ней.

Но как я ни вслушивался, ни тянул шею, все же не ухватил предваряющих шагов, хотя на глыбистой пахоте вряд ли возможно пробраться совершенно неслышно: что-то заденешь, ковырнешь сапогом, что-либо да проломится под подошвой, а в такую мокреть в иных местах и самого сапога не вырвешь без хлопка и чавканья. Я увидел только тот момент, когда ровно струившийся кверху пучок электрического света, схваченный у основания мотнувшейся из темноты рукой, будто вырванное с корнем светящееся деревце, внезапно вздрогнул, судорожно рухнул ниц и тотчас погас, исчез



бесследно. И только теперь слух уловил поспешные чмокающие прыжки убегающего человека.

Я не стал его окликать, да и не нашелся сразу. Много спустя, уже на порядочном удалении, фонарик снова ожил, воровато оглянулся, пошарил позади себя и, отведя свое желтое око, зачиркал лучом по неровностям земли.

Свет его еще долго взмелькивал, пока не иссяк, не изжил себя далью.

...Утро прозрело поздно и неохотно. Блеклое, обескровленное, словно после болезни, после ее изнуряющего перелома, еще не способное улыбнуться, оно безучастно и кротко глядело с очистившихся высот на распростертое под ним осеннее пожухлое пространство в колких отсветах пролитой воды, заполнившей все природные емкости и прогибы — от лутовых низин до убористых пазух дягиля и белокрыла.

Раздумывая о вчерашнем, я лежал в промятой соломе, закинув руки за голову и глядя в утреннее серебро палаточного проема. Простенькие реалии видимого там — поникшие купы заречных раkit, изреженных дождями, обозначившаяся линия далекого побережья с тонкой жестяной трубой на просветленном горизонте, трудолюбиво сучившей нескончаемую нить сизого дыма, переливчатая вуаль скворцовой стаи, казалось, ничего не поклевавшей, а может, и потому, что нечего, — с утра, на пустое брюхо устремившейся вон из России, и опять вышедший к берегу пастух, уже не в половецком навершье, а в простой обмятой кепке, и просто так спросивший, не видя меня, «сколько время», и где-то флейтово пюикнувший кулик-перевозчик, подавший кому-то знак к отлету на ту сторону, — все это светлое, привычное отстраняло вчерашнее, ночное, творившееся только слухом и взбудораженным воображением и обращало это вчерашнее в какое-то странное саднящее сновидение.

Я, однако, продрог без спальника, а пуще — проголодался еще вчерашним голодом. Пошарив в рюкзаке, я сунул за щеку кубик пиленого сахара, чтобы не сосало под ложечкой, и на четвереньках выполз к мокрому прибитому кострищу с вялым намерением на еще не собранном валежном сырье хотя бы как-то вскипятить чаю.

— А может, лучше попробовать пробраться к стогу и притащить свежую охапку с викой? — рассуждал я, как вчерашний землепроходец, тоже полагая, что меня никто не слышит в этой сиротской неперспективной округе. — Или нашелушить стручков прямо там под стогом, а потом сварить из черных зернушек кашу?

И тут со стороны дороги послышалось:

— Хозя-и-ин!? А хозя-и-ин! Есть ли кто?

Зашебуршали кусты, хлестко стегавшие концами веток по одежке, и на притоптанную, обжитую мной кулижку выпуталась из хмызы невысоких и некрупных статей женщина в белой с на-



крапом сельповской косынке, поверх которой сидела еще клеенчатая шоферская восьмиклинка с черным лакированным козырьком. Ее плечи облежала таковская ватная стеганка, в коих ныне уже не выходят за околицу, но которая, однако, сидела на ней ладно, с небрежной домашней уютностью. Обеими руками она держала перед собой рыжий дерматиновый кошель.

— Есть хозяин-то?

Осматриваясь, женщина по-птичьи вытягивала шею и любопытствующе шарилась остренькими, заметно выцвелыми глазами, похожими на поздний голубичник.

Медленно, заторможенно, удивленным питекантропом поднялся я с четверенек — заросший почти недельной сивостью, с овсяной половой в нечесаных волосах, с отечными неумытыми глазами.

— Ну, я... хозяин... А что? — не очень приветливо выцедилося из меня.

— Здрасьте вам! — мягко поздоровалась она без лишней робости, и я, все еще не соображая, что это за утреннее явление, машинально принялся обтирать о свой синий олимпийский зад не очень опрятные после вчерашнего руки.

— Вот, велено передать...

Опустив к ногам кошель, она извлекла из кармана телогрейки блестящий, белого металла фонарик и бережно, на составленных вместе ладонях протянула мне.

— А-а! — сообразил я наконец, в чем тут дело... — Да-да, это мой фонарик... Мой, мой, спасибо...

— Вы уж извините... Обеспокоили вас...

— Ну что вы! Какое же тут беспокойство?

Я не знал, что еще такое сказать, и вместо слов просто так пощелкал выключателем. Фонарик несколько раз послушно приоткрыл единственный глаз, заспанно и блекло посветил в серое небо.

— Что-нибудь не так? — испуганно шатнулась ко мне женщина. — Я только помыла его, тряпочкой обтерла... Уж не навредила ли?

— Все так, все так... — сказал я небрежно, все же радуясь возвращению фонарика, проделавшего такое странное кругосветное путешествие. По правде, я уже считал его для себя потерянным, вернее сказать, отдавал тогда без возврата. А он — надо же! Чудесным образом опять со мной. — Все так, все так... Не велика ценность!

— Ну как же... Ваня мой говорит, если б не фонарик, ни за что не дошел бы... Ужасно что было! Гляну, гляну в окно, а глядеть некуда... Дошть и черень! Светопреставление! А Ваня говорит: стою середь ночи и не знаю, куда итти. Не знаю, и все! Куда, говорит, ни ступлю — или яма, или провальная. Было совсем ослаб духом, аж, говорит, Бога давай кликать... Как на войне... Там будто бы тоже так... Вот прижмет! Вот прижмет! Дак иной, даже при хорошем звании, капитан или майор, за минуту до того кочетом глядел, а



тут — куды гордыня девалась... Жужелкой тыкается, ищет земную трещину... А сам шепчет в песок: «Господи! Спаси да пронеси...» Дескать, век не забуду... — Она посмотрела на меня внимательно и пытливо. — Ну а потом, когда минет-то напасть, стряхнет с себя пыль да комья и опять кочетом глядит, кого клюнуть...

— Да-а, вы как на передовой побывали. Все точно так и было.

— Ну, на той передовой я, конечно не была, — улыбнулась она. — У нас тут теперь своя передовая. Это старший брат мне рассказывал... А то, говорит, было такое... Один раз, где-то на Украине, на хуторе поднялась воздушная тревога. Смотрю, говорит, командир дивизии, генерал, выскочил из хаты и — в лопухи. Там щель была отрыта... А я, говорит, как раз на посту стоял, цею хату охранял... Немец как давай молотить! Ну, куда? Бросил я пост и тоже в лопухи. Да на командира дивизии и угодил, прямо ему на спину... А он ничего, терпит... Тут как садануло, совсем близко, как полетели ветки да бревна, слышу, генерал подо мной: «Свят, свят, светы наши!»

— Все мы человеки! — вскинул я ладони кверху. — И со мной такое было... Ну а ваш, ваш-то — дошел? Все нормально?

— Мой-то? Ой, да едва отполоскала! — подхватила она смешливо, с хорошим запасом певучести в чистом голосе. — Вваливается — то ли он, то ли не он. Одни глаза белые зенькают. Голова колтуном взялась. Стоит на пороге, вашим фонариком светит, забыл даже, что надо выключить...

— Жаловался, будто ребро поломал...

— Кряхте-е-ел! — подтвердила она. — Когда обмывала в корыте, не давал дотронуться. А и правда, аж синяк проступил. Да я меду с хлебом пожевала, прилепила к боку, а сверху липучкой крест-накрест... Кашляет, а сам морщится. Видно, не шутейное дело. Крепко бахнулся.

— Может, доктора надо?

Женщина добродушно рассмеялась, даже шлепнула себя по бедру:

— Кова доктора! Уже нету! Уже в Макарьино утрёхал!

— Как — утрёхал?!

— Убежа-а-ал! На пятой скорости! — продолжала смеяться женщина. — Боится, что уговор пропадет. В Макарьинском отделении овощехранилище надумали строить, до морозов хотели успеть, а он доски пилить подрядился. Он у меня росточку не шибкого, говорит, в самый раз на верхнего распиловщика. По бревну целый день бегать — не всякий найдется. Это же цирк! — засмеялась она. — А Ваня взялся. Он у меня за все хватается — и за столярное, и за печное, и помалярничать... Правда, у самого в доме — ласточки на чердак через крышу летают...

— Говорится: сапожник...

— ...без сапог! — подхватила она. — Небо-о-сь! С ребром, говорит, обтерплюсь как-нибудь, пилой отмахуюсь, — а сам востритс



на меня, смотрит, что на это скажу, не пошлю ли в больничку. — В болезни, говорит, надобно, чтоб не заклинило. Никак не допускай до этого! А как заclinит — вот тогда кресты! Тогда — в тополя! Вот такой он прохвесор...

— Тополя — это что? — не понял я. — Кладбище, что ли?

— Да не-е! Больница! Наша районка. Она в старых тополях стоит.

— Поди, барская усадьба.

— Не-е! Так и была больничкой. Еще до революции. Мужики сложились и сами построили всем миром. Он этих тополей пуще колючей проволоки боится. В прошлом годе у него что-то с печенкой занеладилось... То не ест, это отпихивает... Ну, уговорила... А через два дня является: «Маня, встречай Ваню, топи баню!» Стоит на пороге, рот до ушей, из авоськи мои тапки торчат и какая-то железка, на дороге поднял. Там, говорит, одно томление. Окна законопачены, телевизор сломатый, а бессмертника я и сам накошу.. Так что мимо тополей аж в Макарьино умотал...

— И далеко ли?

— Да сперва на лодке через речку, да верст пять до конторы, а там, может, подвезут... Ополоснулся, прикорнул на сундуке, спал — не спал, а чуть засерело — подскочил! Покряхтывает, лоб тискает со вчерашнего, но терпит, поправки не просит... Щец холодных постербал и побег, сердешный. Упорхал без кепки, на босу голову.. Пусть, говорит, маленько ветерком обдует, освежит... Вчера, говорит, обронил где-то... Да где ж: тут вот недалече и нашлась. Кверху кутырьками в луже плавает, как ладья. Спасибо, хоть не протекает, не затонула часом...

Женщина сняла кепку, повертела так и сяк, поскребла ногтем в каком-то месте и опять надела, присадила ладонью поплотнее.

— А кабы б не фонарик, то как бы не пришлось не кепку, а самую дурну голову на дороге искать... Уж такое спасибо! Такое спасибо!..

Она присела на корточки перед кошельком и, вконец засмущав меня, выставила на землю трехлитровую банку молока — «Кипяченое, из погреба только, хотела в приемку сдать, да не принимают, возить — дороги нет», — банку накрыла большой, как спелый подсолнух, белой лавашинной — «Вчера напекла, хлеб весь кончился, а за хлебом на станцию благо ли в такую погоду?» — на лепешку пристроила брус сала и головку чесноку, а то, что не удержалось на лепешке, разложила возле, на лопушках, с десяток яиц и сколько-то соленых огурцов, полоснувших по ноздрям смородиновым листом и укропом. И что меня совершенно растрогало, так это полиэтиленовый мешочек с ядреными, белыми, как перлы, тыквенными семечками.

— Кушайте на здоровье! — сама волнуясь и пыхая смущением, предложила она напевно, как на большом хлебосолье. — Хотела курицу, да не успела б... Боялась, уйдете или уедете. Такое спасибо! Такое спасибо!..



— Ну что вы! Простая человеческая обязанность! Слышу, кто-то на дороге стонет... Дай, думаю, пойду погляжу..

— Ну вот... Ну вот... Слава богу! — Она широко, откровенно перекрестилась щепотью. — Это вас Бог надоумил... Только кажется, что мы всё — сами... А Ваня мой говорит: после вас будто взял его кто-то за руку да так и довел до самого дома. Больше ни разу не упал, не запнулся.

— Может быть... Может быть... — неопределенно уступил я, хотя можно было и сказать вроде того, что зло за руку к дому не поведет. И Бог наш есмь добро. Но не сказал этого, а, пошлепывая фонариком по ладони, согласился:

— Может быть, и так...

Женщина сунула шоферскую конфедератку в опустевший кошель, перевязала на голове косынку и протянула мне свою руку — живую, теплую, проложенную косточками и жесткими натертостями ладошку, полную благодарного отклика. И, конечно, не догадывалась она, что никто другой, а именно вот эта рука и к дому, и к храму, и к человеку всю жизнь вела, а иногда тащила и подпихивала непутевого Ваню-землепроходца, без коей он давно бы сложил свою разудалую подростковую голову.

— Ну, до свиданница! — сказала она, будто просила разрешения отправиться восвояси.

...Уехал я на другой день.

Переночевав, я принялся потихоньку свертывать свой лагерь: вычистил котелок, смыл с бродней бетонно схватившийся родной чернозем, скатал и увязал спальник, сжег истертую солому.. Потом разобрал и сложил в чехол две удочки, оставив третью, как бы дежурную. Так вот именно ее неожиданно загнуло, и я нежданно-негаданно выволок отменного судака! Вот тоже: помню, на этом крючке больше суток болтался жалкий выполощенный обсосок червяка. Ну конечно, такой важный чин на два кило солидности с темными послужными полосами по серому фраку ни в коем разе не притронулся бы к жалкому обсоску. Тут как надо бы рассуждать: на усопшего червя сперва позарился какой-нибудь изголодавшийся, вечно гонимый, без определенного места жительства (бомж), чумазый слизливый ершишко. А уж потом только, проверяя виды на проживание, схватил за шиворот ерша, но при этом допустил неосторожность и наш блюститель донного порядка. Но так механистически все можно препарировать и объяснить. А ежели без учета ехидства, то: не было ни ерша, да вдруг судак! Чудеса! Чистое везение!

Как водится, я сыпнул под жабры сольцы, обложил крапивой и, завернув в махровое полотенце, спрятал рыбину на самое дно рюкзака. Друзьям на уху. А главное — как наглядность. А то одним словам не поверят.



Меня подобрала цыганская колымажка под парой сытых, гривастых, темно-гнедых... Хотел было написать «лошадей», но это были не лошади, а вот именно кони! Кони, косившие диковатые глаза и отфыркивавшиеся зеленой луговой пеной, в колымажке на дутых колесах и с полосатым тентовым верхом, кроме средних лет цыгана в меховом жилете гнездилась еще куча цыганок и цыганят непонятной степени родства.

Цыган прошел на мою кулижку, и пока усмешливо оглядывал приготовленные пожитки, цыганята, перепираясь и отталкивая друг дружку, набросились на оставшуюся еду и, азартно сверкая белками и молодыми резцами, миглом схрумкали и счавкали все яйца, огурцы, почти непочатый шмат сала, полпачки пиленого сахара, запивая все это молоком из ходившей по рукам трехлитровой банки. Ели они в таком темпе не потому, что были голодны, а от бодрящего сознания внезапно выпавшего фарта.

— Сколько дашь? — все так же усмешливо спросил большой цыган, буйной зарослью лица похожий на черного скотчтерьера.

— Веришь, друг, — развел я руки, — нету ничего!

— Ни копейки?

— Вот, последний рубль. Но это — на электричку.

Цыган циркнул слюной, обтер бороду черной лапой с белыми ногтями.

— Ладно, поехали! — воскликнул он весело. — Потом всем расскажешь, какой хороший цыган попался. Это дороже денег, верно?

Его готовность отвезти меня, праздного человека, за здорово живешь заставила мое сердце сделать сильный непредвиденный толчок, ошпаривший меня чувством горячей любви и братства, и, уже искренне любя и счастливо созерцая этого человека, я взволнованно сказал:

— Хотя погоди...

И я развязал рюкзак, достал и протянул ему карманный фонарик.

— Вот...

— Работает?! — прагматично спросил цыган.

— В хороших руках... — сказал я.

— Ну, тогда — хоп!..

1992

## ТЕМНАЯ ВОДА

Нет ничего досаднее, чем возвращаться с пустой охоты.

После бессонной ночи у костра, на всполохи которого вскоре набрели еще и соседи по охотничьим засидкам, тоже выставившие свои «боеприпасы» в знак укрепления ружейного братства; после всенощного опроса о калибрах, порохах и собаках, а тем паче о по-



литике, особенно распаляющей неуступчивость и не дающей сосчитать выпитое: после затем нетвердого похмельного лазанья по мокрым рассветным камышам средь чавкающих торфяных хлябей, сокрытых невесть откуда взявшимся туманом, столь густым и плотным, что перепуганный чирок, едва выфыркнув свечой из-под самого носа, тут же исчезал в непроглядном ватном небытии; наконец, после бестолковой пальбы по любому живому промельку, по всякой подозрительной загогулине, чернеющей на молочно парящей поверхности воды, — после всего этого, называемого открытием осеннего сезона, мы, невыспавшиеся, помятые, с дурным гудом в голове, за полдень засобирались домой, молча, отчужденно запихивая в рюкзаки раскиданное шмутье и лагерную утварь.

Можно было, конечно, остаться еще и на вечернюю зорьку, подождать того часа, когда земля подернется густеющей дремой, а небо еще полно прежнего озарения. В эту пору утка, прокоротав светлое время на хлебных верхах, откуда заведомо зрим и слышим любой конный и пеший, всякий пес и лис, покидает дневную кормежку и тянет к воде. На безопасной высоте она ведет свой едва ставший на крыло выводок к еще недавно тихому родному болоту, в один день истоптанному десятками охотничьих бродней, осыпанному свинцом, горелыми пыжами и окурками, чтобы забиться в крепи и перебыть там, вслушиваясь и тревожась, до первых утренних отсветов...

Вечерний подлет длится каких-то полчаса, когда стрелок, слившись с одиноким кустом, хорошо видит птицу, а она его — нет. Темный утиный рисунок четко, чеканно проступает на рьяной палевости зари. Матерая крачка сторожко поводит аккуратной, точеной головкой, посматривает, что там, внизу, коротко вскрикивает, наставляя несмышленный молодняк, несчастливо родившийся в пору предельно усовершенствованных «тозов» и «зауэров», выцеливающих их хрупкое бытие.

В этот момент и бьют утку влет хорошей, крепкой дробью, чтобы не рикошетила от плотного пера мелкой, бессильной пшенкой, а разила кучно и наповал.

Еще как сказать, что лучше: утренняя ли охота на воде или вот такая, в сухой лет, когда удачно схваченная на мушку дичь с тупым звуком падает на прибрежный бутор и стрелок не опасается ее потерять, как часто теряют подранка в болотной чаще. Здесь сама себя добивает наверняка, грохаясь о твердь с подлетной высоты.

Впрочем, сам я не охотник, никогда не заводил ружей и со времен войны ни разу не стрелял во что-нибудь живое, и потому мои суждения об этом предмете, надо полагать, весьма сторонни и поверхностны. А напросился я на открытие сезона просто по случаю, любопытства ради, чтобы, как говорится, подышать подлинной атмосферой охотничьего праздника.



— А может, останемся? — заколебался один из двух наших Андреев, обладатель клетчатой тирольской шапочки. — Давай еще вечерок постреляем, а?

Он вопрошающе смотрел на хозяина газика Куприяныча, ища на его округлом, в крупных складках лице какие-либо обнадеживающие подвижки.

— Нет, братцы, — отмахнулся Куприяныч. — Вы как хотите, а я по таким дорогам ночью не ездук.

— Завтра поедем...

Куприяныч категорически зачехлил свою «ижевку» и бросил ее на заднее сиденье.

В общем, разговор кончился тем, что оба Андрея оттащили свои набитые рюкзаки в сторону, а мы — я, Куприяныч и его не то зять, не то племянник Олега — забрались в «газон» и помахали им ручкой.

Дорога и впрямь была не для всякой машины. Недавние затяжные дожди и хлебоуборочная техника — все эти КамАЗы, К-700 с прицепами — сделали свое черное дело. Полевые проселки, за лето было присмирившие и даже поросшие травкой, как-то сразу утратили свою прежнюю твердь, гибло распустились, налились по низинам бочагами, расплзлись вширь по зяблевым и свекольным окрайкам, а то и по неубранным хлебам, и веяло Мамаевым нашепствием при виде золотистых пшеничных стеблей, вдавленных в непроворотное месиво чернозема.

Правда, за последние дни погода снова восстановилась, прозревшее солнце и неназойливый ветерок подсушили поля, на жнитве опять ожили, замелькали планками комбайны, но дорога, глубоко взрытая колесами, вздыбленная грязевыми хребтами, уже начавшими цементно цепенеть, сделалась еще более непригодной для легкой езды.

Мы истратили не меньше часа, пока добрались до маячившей на горизонте заброшенной церквушки, убого, пустоглазо замершей среди бурого, заматеревшего бурьяна, из которого кое-где торчали ржавые, под стать бурьянам, остовы железных крестов.

Странно, но никто из нас не помнил этой церквушки. Видно, вчера при трудном подъеме на взгорок, когда газик, рыская то вправо, то влево, будто живое существо, у которого вот-вот иссякнет последняя воля и заглохнет вконец загнанное сердце, несчастно, страдальчески выл и захлебывался, окутываясь сизым чадом, мы, напрягшись и сопереживая, вглядывались в дорогу, не имея возможности озираться по сторонам. И потому, выйдя теперь из машины, чтобы оглядеться, мы ни в чем, кроме заезженного бугра, не узнавали этого места.

Отсюда, с кладбищенского взлобья, жестким фольговым блеском воды открылся долгий, с боковыми отводками пруд, уходивший



куда-то за поворот, за дальний береговой выступ. На большей своей площади пруд одичало лохматился камышами, образовавшими шумливые острова, и, очевидно, был мелок и тоже заброшен. По обоим его берегам, в прогалах древесных крон, тут и там проглядывали деревенские строения, изреженные и произвольно разбросанные, без признаков уличного порядка. На левой стороне, за глинисто желтевшей плотиной, обособленно, на возвышенном выгоне, смотрел на округу большими нездешними окнами белый, из силикатного кирпича магазин, по которому наконец мы узнали, что это и есть та самая деревня Верхние Чапыги, или Чапыги, где мы вчера крепко засели, и как раз в этот магазин бегал Олега спросить черенок для сломавшейся лопаты. Никаких черенков там не оказалось, зато Олега принес полную кепку сырых сорных семечек, а еще — подозрную грубу из тех, которые в городе уже нельзя найти, поскольку все подозрные трубы, по слухам, купили и увезли вьетнамцы.

Обсудив все за и против, все-таки решили больше не ехать той гиблой стороной, а попытаться обойти деревню по ее правым задам, тем паче что туда от церкви тоже вела какая-то дорога. Смущало лишь то, что правый развилок, круто сбегая вниз, терялся под пологом старых сомкнувшихся ракит, и было неведомо, каково там, внизу.. Но дорога эта тоже была езжена машинами, оставившими по себе свежие и не весьма обнадеживающие колеи.

— Ладно, — сказал Олега, — была не была... Давай, Куприяныч, помалу, а я пойду впереди для подстраховки.

— Нет, — не согласился ехать Куприяныч. — Ты сперва сбегай посмотри, что там... А то, как вчера, опять вляпаемся, не глядя.

— Это я мухой, — согласно кивнул Олега и зашагал вниз, поплеывая подсолнечными кожурками.

Но едва он скрылся под навесом ракит, как тут же появился вновь и поспешно, с застывшим лицом взбежал на гору.

— Ружье! — выдохнул он запаленно. — Дай ружье скорее...

— А в чем дело? — не понял Куприяныч.

— Кажется... кабан... — засуетился он возле машины.

— Какой кабан? Где?

Олега досадливо поморщился, выхватил чехол со своей «тулкой», накинул на шею патронный пояс и снова пустился к раки-там.

Мы с Куприянычем машинально потрусили следом.

— Только сунулся туда... — возбужденным шепотом оповещал Олега, — а там что-то черное... прямо на дороге... в колее копаются... Колея глубокая, одна только спина видна... Точно: кабан!

— Причудилось, поди, со вчерашнего... — ворчал Куприяныч, и тучное его лицо сотрясилось от неловкой побежки под уклон.

— Да чего мне врать! — обиделся Олега. — Вот сами увидите... если еще не смылся... Вы тише давайте... Кончай кричать....



Олега, настороженно приподняв плечи, вкрадчиво вступил в аллею, мы же с Куприянычем, тоже внутренне изготовясь, следовали за ним в пяти-шести шагах...

После открытого солнечного пространства здесь, под толщей ветвей, было серо и поначалу даже сумеречно. Повеяло горечью томленого листа, погребным духом непросыхающей земли, древесного корья. В узкой теснине одной из колеи ртутно высветилась давняя, застойная вода. В той же колее чуть подалее и в самом деле шевелилось что-то невнятное, неопределенное, но явно живое.

Должно быть, почуяв постороннее присутствие, это нечто суточно зашевелилось, выпятилось черным лоснящимся горбом, приподнялось над острыми гребнями канавы и вдруг обернулось в нашу сторону.

В удивленном смятении увидели мы блеклый, желтоватый косяк человеческого лица, обернутого серым самотканым платком. Старая женщина немощно приподнялась с четверенок и, так и не выпрямившись в полный свой полудетский росток, застыла в колее. Измазанные сметанной грязью кисти рук отстраненно свисали по бокам черного плюшевого полусака, тоже заляпанного шлепками дорожной жижи.

— Фу ты черт! — облегченно выдохнул Олег и опустил выставленную вперед двустволку. И вдруг заорал запальчиво и гневно: — Ты что, старая?! Чуть до греха не довела! А если б пальнул нечаянно?

Старуха продолжала немо, как бы виновато горбиться, безвольно расставив, как не свои, черные, земляные ладони. В подлобных впадинах, затененных нависающим платком, обозначились красноватые, слезливые прорези глаз, в сыромятой глубине которых уже нельзя было распознать, есть ли там еще что-либо живое, способное воспринимать внешний мир.

Олега отбросил ружье и подскочил к старухе. Подхватив под мышки, он выволок ее из канавы.

— Ты чего так дрожишь? Напугалась? — спросил он, заглядывая под осунутый на глаза платок. — Да не трону я тебя! Тебе плохо, что ли? Сердце небось? Или что? Да ты чего молчишь-то?

— Не вижу я... — слабо, почти только одними губами произнесла старуха. — Темная вода у меня...

— А дрожишь-то чего?

— Уморила я... Колевины вон какие... Всю душу вынули...

— Ты что, совсем не видишь? — допытывался Олег.

— Щас дак совсем... Мутно, как сквозь рядно...

— Как же ты шла? По такой клятой дороге...

— Я в очках была. В очках маленько видно... Да и то одним глазом токмо.

— Так очки-то где? Потеряла, что ли?



— Да вот... — Старуха шевельнула расставленными руками, делавшими ее похожей на ушибленную ворону, у которой не складывались помятые крылья. — Запнулась я да и сронила с носа.

Олега повертел головой, озираясь, даже посмотрел себе под ноги, приподнимая то один, то другой сапог.

— Где обронила-то? В каком месте?

— Тутотка и сронила.

— Ну хоть приблизительно покажи! — начал кипятиться Олег.

— Дак как я тебе покажу? Я и сама не знаю, где я, куда забрела... Небось битый час на четверях лазила...

Мы все трое разошлись по низине, обшаривая глазами колеи и колдобины, заодно прикидывая, пройдет ли это место машина.

Дорога оказалась непроходимой даже для нашего полноприводного газика.

Пошарив еще окрест, мы, кажется, нашли выход: протиснувшись между деревьями, надо будет попытаться вырулить на деревенский окраек, на забурьяненные огородные зады, по которым, подняв саженный дурностой, кто-то уже проложил колесный починок.

— Ладно, будем и мы пробовать, — согласился на объезд Куприяныч. — Пойду за машиной.

Он ушел, а Олег, подобрав в кустах какую-то жестянку и зачерпнув стоялой воды, подступил к старухе:

— Давай, мать, руки маленько обмоем. А то вон как испачкалась.

— Дак и угваздаешься, — начала обвыкаться старуха. Она послушно свела ладони ковшиком, выставила их перед собой. — От машин да тракторов альнишь земля дыбом. Шарила, шарила — нигде ничего... Утопли небось мои стеколки. Ежли теперь сапустат трактор проедет, дак и вовсе раздавит али зарует колесами... Трактора нынче выше хаты стали, а все толку нема...

— Трактора, мать, делались не пахать, а пушки таскать, — пояснил Олег. — Давай-ка заодно сапоги ополоснем. Станешь опять как новая! Тебя как хоть зовут?

— Ульяна я, — назвалась старуха.

— А по отчеству?

— По отчеству, милай, мене уж давно не кличут. Допрежь хоть в колхозных бумагах две буквы ставили. А теперь я из всех бумаг выставлена. Так что бабка Уля я. А мне и ладно, таковская.

— Так ты откуда шла? — спросил Олег, еще раз сходяв за водой.

— В магазин бегала, — бодрясь, сказала Ульяна, вытирая обмытые ладони о полы одежды.

— Аж на ту сторону?

— А что делать? Хлебца-то надо! Я и так сидела-сидела, пока все сухари не извела. Одной картошкой жила. Ну, да с картошкой чаю не выпьешь. А без чаю и вовсе жить нечем.



— К чаю заварка нужна, — поддерживал разговор Олега. — А чаю нынче и в городе не стало.

— Заварки мне довеку хватит: зверобой, да душичка, да лист смородиновый. Этого добра — на всякой меже. Я уж и на зиму припасла, пучков навязала...

— Выходит, хорошо живешь?

— А мне много не надо. Вот хлебца купила, макаронцев, пшеница полкило... Ой, а где моя покупка? — вдруг встрепенулась она. — Со мной авоська была...

— Да тут, тут твоя авоська! — успокоил Олега.

— Ох ты господи! Аж сердце захолонуло! — Она провела ладонями по лицу, будто очищаясь от незрячести. — Так грохнулась — про поклажу забыла. Небось весь хлеб уляпала... Погляди, сынок, все ли цело? Не просыпалось ли чего...

— Цело, цело! Я авоську на сухое отнес. Хлеб немного повредился, а так все цело.

— Ну, слава богу! — расслабилась Ульяна. — Хлебец — это я общипала. Шла да сквозь мережку поковыривала. Хлеб еще теплый, в самый раз привезли. Хотела еще маргарину взять, да сказали — нету. И тот раз не было. Мне одного кирпичика до октябрьских хватило бы... А без маргарина лук не на чем обжарить. Для варева я и так обхожусь: натереблю подсолнуха, бутылкой жареное семя покатаю, ненужное отвею, а нужное — в суп. Оно вроде и пахнет маслом.

— Ну, ловко! — делано похвалил Олега, поглядывая на бугор — не едет ли машина. — Сама додумалась или кто научил?

— Не я, дак нужда моя. Нужда жернов вертит. — Лицо бабы Ули затеплилось довольной плутоватой живинкой, но тут же пасмурно озаботилось. — Все б ничего, да вот без очков не знаю, как буду.. Слепая, дак и за ворота не выйдешь. А мне скоро картошку копать.

— Разве больше некому? — поинтересовался я.

— Дак кому еще — одна живу.

— А мужик где?

— А мужик теперь от меня отдельно.

— Как это? Бросил, поди?

— Ага, бросил... — кивнула Ульяна. — Вон на тот бугор убрался.

— Умер, что ли?

— Да уж семнадцать годков тому, — торжественно, в каком-то почтении пропела Ульяна.

— Что так? Отчего умер-то?

— А зачем тебе? — уклонилась она. — Ты его не видел, не знаешь. Помёр да и помёр, царство небесное.

Ульяна затихла, отрешилась лицом, собрав губы, будто стянула их шнурочком наподобие кисета.

— Ну не хочешь — не говори.



— Да чего говорить... — горестно выдохнула она. — Трактором переехало, вот и вся недолга...

— Как же это?

— Смерть причину найдет, когда Бог отвернется, прости мя, грешную... Ночью он на болоте осоку косил. Для своей надобности. Коровка у нас была. А когда рассвело — пошел еще и колхозный клевер убирать. Днем на жару разморило не спамши. Он и прилег на свежую кошенину. Да еще голову травой прикрыл — от мух. Вот тебе и трактор с прицепом. С фермы за подкормкой приехал. Стал разворачиваться да и накатил своим колесищем на сонного. Аж внутренности выпали.

— Да как же он так? — ужаснулись мы. — Куда тракторист хоть глядел?

— А я, говорит, думал, что это чья-то кухвайка лежит. Он ведь в своей кабине эвон на каком юру сидит! Оттуда и земли до путя не видно. А может, тоже ночь не спал, по девкам пробегал. Малый молодой, только из армии вернулся. Ну а председатель с парторгом убоялись ответа да и написали бумагу, как будто мой сам во всем виноват. Дескать, выпимши был. Трезвый, мол, не стал бы в борозде валяться. А он и в рот ничего такого не брал — язвой маялся. Из-за этой ихней бумаги мне и пенсии никакой...

— Взяла бы да в суд подала, — подсказал Олега.

— С кем судиться-то? Тракторист завеялся от греха куда-то. Парторг вскорости сам от водки помёр. А председателя в район на должность забрали. Посудись теперича с ним, когда он пузом вперед ходит...

Ульяна потянула на затылок платок, подоткнула растрепавшиеся седые кудели.

— Ох, лихо мое! — вздохнула она. — Стало быть, нема очков? Как же я добираться буду? Даже не знаю, куда лицом стою: домой али от дому.. Срубите-ка мне палку да направьте носом, куда иттить... Бог даст, доберусь как-нибудь...

— погоди, баб Уль, — Олега тронул ее за плечи. — Сейчас машина будет. Отвезем тебя до самого дома. У тебя соседи-то есть?

— Теперь какие соседи? Кричи — не докличешься. Справа один бугор от хаты остался. А слева хаты целы, да без людей. Аж в четвертой от меня Клаха еще копошится.

— Ну а если что случится — как тогда?

— А мне в том году школьные ребята флаг перед хатой устроили, — почему-то усмеялась Ульяна. — Они так-то всем кривым старухам поделали. Ежли надо чего, говорят, дак ты, баба Уля, за шнурок потяни — белый флаг и поднимется на слегу.

— Ну и как, тянула?

— Баловство все это! — отмахнулась Ульяна. — Кто эту тряпицу увидит? Кто на нас побежит? Клаха совсем обезножела, хоть са-



мой белый флаг выкидывай. А которая справа — та к дочери уехала: дочь у нее родила. Доси нету.

— Ну а у тебя самой дети есть?

— Да как сказать... Пока маленькие бегали — вроде были, а выросли — вроде и нету.. Одни обноски от них остались, берегу в сундуку.

— Выходит, тоже бросили?

— Не-е! — воспротивилась Ульяна. — Детки у меня хоро-о-шие! Бог не обидел! В школу день в день проходили, выучились. Младшенькая, Алевтина, учительский институт закончила по английскому языку, потом на самолетах летала.

— Стюардессой, что ли? — переспросил Олега.

— Ага, ага! — закивала Ульяна. — Я этого слова никак не скажу.. Противилась ей: зачем тебе это? Я ж буду бояться: а ежели упанешь с неба-то? А мне, говорит, нравится: за границу летаем, людей интересных вижу, форма красивая... Цветную карточку прислала — и правда: кустом прямо влитый и картуз с золочеными крыльями — она и не она. Видеть радостно, а сердце щемит..

— Всю жизнь ведь летать не будешь, — резонно заметил Олег. — Когда-то надо и на землю спускаться.

— Теперь, слава те господи, уже не летает, — согласилась Ульяна. — И я успокоилась, от души отлегло. Замуж вышла. В первый раз неудачно: что-то там у них занеладилось. А во второй — муж хороший попался. Правда, намного постарше ее и не нашенский, Асланом звать. В Махачкале живут. Была я у них, еще когда видела. Внучатки чернявенькие, волосики баранчиком завиваются, ну прямо ангелочки! Сам он ревизором на железной дороге работает, она — кассиром в аэропорту. У них машина своя, лодка с мотором. Возили меня на дачу. Ихний домик в горах, два этажа, веранда на четыре стороны, так что ребятишки по кругу бегают. А под домом еще подвал с гаражом и с кухней. Виноград прямо от калитки до самых дверей вьется. Кисти висят, аж ходить под ними боязно. Алевтина смеется: мама, ты чего голову пригинаешь? Рви, не стесняйся. Вот тут белый растет, а вот черный. А я и притронуться робею. Даже не верится: будто в рай попала. А сынок Степа в Туймазах живет, тоже далеко где-то... Звал, звал — так и не собрался. А теперь куда ж я такая?

— Ну а они у тебя бывают? — поинтересовался я.

— Прежде приезжали... Особенно Степа. Бывало, подскочит, картошку уберет, крышу подлатает, дров на всю зиму наколет. Это когда еще молодой был. А теперь как поедешь? У Алевтины дети, в том годе четвертого родила. Пишет, пришлось женщину нанять за детишками доглядывать, да и так по дому, в магазин сходить. Сама-то на работе. А Степа участок взял, затеялся дачу строить. Тоже двухэтажную. Все отпуска на нее изводит. Он у меня на все руки:



сам стены сложил, сам покрыл, а теперь столярничает. Говорит, одних дверей надо двенадцать штук сделать да оконных рам сколько... И служба у него ответственная. Аж до прорабов дошел. А вот деток Бог не дал. Одни живут...

Наверху за деревьями слышался капризно подвывающий звук мотора, будто газику заведомо не хотелось спускаться вниз, и мы замолчали, вслушиваясь.

Остановившись перед сводом ракут, Куприяныч хлопнул дверцей, подошел к нам.

— В магазин, что ли, ездил? — пошутил Олега.

— Кой в магазин! — Куприяныч досадливо сплюнул. — Колесо менял! Прокололись где-то... На колючую проволоку наскочили. Пока поддомкрачивал да менял... Еще запаску подкачивать пришлось... Ну что, поехали?

Усадив Ульяну и уложив на ее колени авоську, мы с Олей пошли позади машины, готовые всякий раз подтолкнуть или подкинуть чего-либо под колеса. Наконец газик свернул со взрытой дороги и буквально впритирку просунулся между двух библейски древних ветел, расстресканных и грубо сморщенных в кряжистом обножье. Сразу же за ракутами сыро, илисто ощерилась придорожная канава, заставившая машину взреветь и окутаться сизым угаром. Из-под колес выметнулись ошметки грязи, перемешанной с прелыми листьями и веточной гнилью, резкошибануло потревоженной затхлостью, перегретой резиной. Содрогаюсь остовом, газик медленно, обреченно сползал по склону канавы влево, однако в последнее мгновение все же ухватился за какую-то твердь и вдруг резким скачком, оторвавшись от нас, толкавших его в задний бампер, выпрыгнул на ту сторону, оборотисто взвыл, закашлялся от ненужного теперь усердия и виновато заглох, роняя с днища пласты черного месива.

Мы с Олей, ошмурыгав о траву сапоги, расселись по своим местам, и машина осторожно, как бы ощупью, углубилась по старому следу в чащобу зобника, жестко, наждачно царапавшего и хлеставшего по окнам и брезенту грубыми, похожими на свиные уши листьями, с исподу поросшими сивой щетиной. Машина наполнилась шумом, как если бы мы ехали под проливным дождем, и мы невольно примолкли, переживая непривычное, сковывающее ощущение.

Эти неприятные, наговатые растения с толстым, жирным и тоже волосатым стволом называют также сатанинским бурьяном, а еще — дурнишником, и это последнее прозвище наиболее соответствовало непролазному дурностою. Мне говорили знающие люди, будто этот вид, в отличие от нашего российского зобника, весьма неказистого и не столь алчного, каким-то грехом был завезен из Америки. Заморский пришелец, как бы почуяв нашу слабость и безнаказанность, из своих прежних габаритов в несколько поколений мутировался в дерзкого вездесущего гиганта. Однаж-



ды просыпавшись семенем, он в три-четыре года заполонил все места, где человек опускал руки, переставал ладить с землей, и по этим зарослям, прежде всего на обиженной и заброшенной пашне, вокруг скотных дворов, манящих навозом, возле силосных ям, а затем и на уличных пустырях, на порушенных пепелищах — по этим черным его всполохам безошибочно можно судить, что к селу подступили разор и пагуба.

— Так куда ехать-то? — повернулся к Ульяне насупленный Куприяныч, отрулив по дурнишнику порядочное расстояние. — Ты верно из этой деревни? Может, не из этой вовсе?

— Из этой, сынок, из этой! Из Чапыг я, — поспешила заверить Ульяна, не видя, что у «сынка» плешь от уха до уха, да к тому же покрывшаяся испариной от такой тряской и непроглядной езды. — Из Верхних Чапыг я, милай.

— Что, есть еще и Нижние?

— А то как же! На одной речке живем. Сперва мы напьемся, а что останется — в Нижние Чапыги течет. Зато там у них контора, сельсовет с почтой, а мы только бригада ихняя.

— Это сколько ж до Нижних-то?

— Да, считай, верст пять, не мене. Я оттуда и не добрела бы. Так что с верхов я, милай, тутошняя.

— И что, везде так вот позарастало? — ехидно дознавался Куприяныч.

— Да кто ж знает... Давно таютка не была... Прежде так часто бегала. Даже на доске возле конторы висела. А теперь пенсию на хлеб або открытки к праздникам почтарка заносит. Так что незачем туда. Они мне не нужны, а я — им. Во всем квиты.

— Ну, так дом-то твой где? Куда ехать?

— А у меня не дом, у меня хатка. Под навозцем... Вот и гляди: как увидишь под навозцем — это и есть моя хата.

— Да куда глядеть-то? — злился Куприяныч. — Ни хрена ведь не видно. Бурьянице — аж выше крыши. Поразвели, понимаешь...

— Дак кто ж его нарочно разводить станет? — противилась Ульяна. — Человек со двора — дурная трава во двор.

— Хоть бы скосили, что ли. Нельзя же так! Срамно глядеть...

— Эх, милай, кому косить-то? Никаких рук не хватит.

Наконец выбрались на открытый прогалок. Вниз, под гору, уходили побуревшие картофельные ряды, меж которых то тут, то там желтели и розовели сытые тыквенные туши. На межах торчали поникшие подсолнухи, желтые будылья кукурузы со спеленатыми початками в пазухах заломленных листьев. За картошкой, ближе к жилью, разлито дремали яблони, покрытые огрубевшей, неопрятной листвой, среди которой неожиданно ярко, свежо проглядывали ядреные яблоки.

Куприяныч тормознул машину, распахнул дверцу.



— Вот тут на огороде тыквы валяются. Не твои, часом?

— Не-е! — отказалась Ульяна. — Тыков я не сею. Тыквы для поросятков. А у меня теперь ничего не хрюкает. Пошабашила с этим.

— Тогда вон кукуруза на меже?

— Тоже не моя.

— Ну, не знаю... — досадовал Куприяныч. — Тогда что же у тебя?

— Картошка, квасоля да так разное.

— Ну, может, дерево какое приметное?

— Дерев много. По берегу растут.

— Ну а еще что?

— А еще — дуля у меня.

— Груша, что ли?

— Ага, — закивала Ульяна. — Грушка, грушка на огороде. Уже падать начала. Приедем — покушаете...

— Фу ты!.. — поморщился Куприяныч. — Ты дело говори...

— Может, сбегать спросить кого? — готовно предложил Олега.

— Ладно, давай.

Олега вышмыгнул из машины и побежал по картошке, ребячливо перепрыгивая в своих лопоухих сапогах через тыквы. Его синий вязаный петушок замелькал между яблонь и скрылся в глубине сада.

Вскоре, однако, он воротился. В подоле его свитера румянились яблоки, одно он с хрустом обкусывал и жевал, ходко двигая салазками.

— Ну чего? — Куприяныч потянулся за яблоком.

— А-а! — мотнул петушком Олега. — Нету там никого. Дверь доской заколочена. А в соседнем дворе один глухой старик, сидит под навесом, вентерь чинит. Я его спрашиваю, а он — ась да ась... Да и так ясно, что не то место, не те приметы. А яблок!.. Елки-молотки! Под деревьями вся земля усыпана! Запах — что твое шампанское! Осы роем гудят, дырки делают. Прямо чудеса: все растет, а хозяев нету. Ба Уля, хочешь яблоко?

— Не, милай, это не моя еда... — отказалась Ульяна и пояснила насчет заколоченной двери: — У нас многие ногами в городе, а руками тут. За усадьбу держатся.

Автомобильный след снова вывел нас на прежний проселок. Здесь, наверху, придорожные ракиты сменились легкими, веселыми березами с первыми желтеющими прядками в еще зеленой листве. Березы почти не затеняли подножие, и ветер беспрепятственно сквозил между белых стволов, не давая дороге киснуть. Однако все это сделало проселок жестче, чем там, внизу, под ракитами, и потому по-прежнему пришлось пробираться исключительно на первых двух передачах.

А между тем встречный трактор, тот самый К-700, напоминающий некое доисторическое животное, которому все нипочем, легко



бежал по островерхим колчам и устрашающим промоинам, споро мелькая толстенными рубчатыми колесами. Вынесенный далеко вперед тупой лобастый урыльник с низко расставленными бельмами рифленых фар надменно плыл над дорожными препятствиями, и я вспомнил, что именно такой подслеповатый и бесчувственный ко всему, что встречается на его пути, мастодонтище когда-то наехал и раздавил Ульяниного мужика.

— Давай у него спросим, — предложил Олега.

Куприяныч, предусмотрительно отвернув в сторону, остановил машину, и Олега выскочил и замахал над головой перекрещенными руками.

Трактор черно выхрюкнул из торчащей кверху трубы, качнулся рылом и тоже остановился, утробно урча разгоряченными, разящими соляром внутренностями. На полуторазэтажной высоте распахнулась оранжевая дверца, в проем высунулся тракторист, молодой, со спутанной копной модно немытых битловских волос, и весело, общительно выкрикнул, промелькивая крепкими зубами:

— Закурить есть?

Олега извлек из заднего кармана трико обмятую пачку «Опа-ла» и вложил ее во встречно протянутую руку.

— Я возьму еще парочку? — спросил парень, закулив и жадно, во весь дых, втянув в себя первую, голодную затяжку.

— Бери, бери...

— Ну вот, выручил... А то весь искурился. Щас мотнусь до магазина, куплю... А ты небось с Ольшан едешь?

— Ага, на открытии были, — кивнул Олега, закулив за компанию.

— Ну и как?

— По нулям, — кисло признался Олега.

— Что так? А я позавчера прямо с крыльца крякуху саданул! — довольно засмеялся парень. — В огород упала. Думал, утка, нет — селезень, голова зеленая. Гуманитарный доппаек кила на два! — еще пуще смеялся он, и Олеге стали видны его крепкие, в острых молодых буграх коренные зубы. — Баба тут же зажарила под сто-парь. А у тебя, значит, ничего?

Олега подернул плечами: дескать, что поделаешь, не судьба.

— А я жду, когда пролетная пойдет, — сказал парень, выковыривая слезины, запавшие в уголки все еще смеющихся глаз. — Вот это охота! Северная утка — дура. Непуганая, людей не боится. Камень из кустов бросишь, а она не шарахается, как наша, думает, что рыба всплеснулась... Приезжай, если хочешь. Тебя как зовут?

— Олег.

— А я — Славка. Так приезжай, а?

— Сюда ж путевку надо, — не согласился Олега. — В населенных пунктах стрелять не положено.



— Ну, это вам, городским, не положено. А я тут живу, пруд под самыми окнами — какие еще путевки? Я здесь хозяин, понял? Ну какая, скажи, путевка: сижу, чай пью, вот тебе сели, можно сказать, в тридцати шагах от моего самовара... Когда тут путевку выписывать? Хватаю ружье, выскакиваю как есть, в майке: бах-бабах! Пара есть! Да я и без ружья обойдусь... На перемет, понял?

— Но ведь это запрещено?

— Да ладно тебе! — укоризненно тряхнул кудрями тракторист. — Запрещено, не положено... Ты, часом, сам не легаш ли?

— Да пошел ты! — обиделся Олега.

— Ну, тогда слушай, как я делаю, может, пригодится... Ставишь перемет, но только не со дна, как на рыбу, а поверху, на поплавках. Можно на пробках, а можно на пенопласте. На пробках, я считаю, лучше: пенопласт больно белый, не всякая утка подойдет, а пробка в самый раз, на деревяшку похожа, вроде как природная, понял? Остальное — крючки, поводки — все так же, как на рыбу. Нажива — все сгодится: лягушата, дохлая рыбеха, червяки, плавленый сырок, ну, в общем, сам пробуй. Можно даже куриные кишки... Я один раз на арбузную корку заловил! Утка все пробует, а потом, что не понравится, выплевывает, понял? А дальше так... Всю эту снасть заводишь на лодке в камыши, но не в самую гущу, а в прогалки между ними. Это обязательно! Не на чистое, а в камыши, понял? Щас скажу, почему. Когда утка заглотнет, то больно шумит, крыльями хлопает. А в камышах не видно. Мало ли кто хлопает. Может, местные гуси купаются... — Парень снова рассмеялся и довольно оглядел Олегу. — Усек?

— Ну а если гусь попадется?

— Не-е! Гусь такую наживу не тронет. Брезгует! Он чистоплюй, одной травкой питается.

Тракторист снова закурил и, не закрывая дверцы, откинулся на сиденье.

— А ты чего порожняком? — спросил Олега, оглядывая мерно гудящую, подрагивающую махину «Кировца».

— Да говорю ж тебе — за куревом еду! А прицеп в поле оставил. Пока солому накидают, я успею смотаться.

Из машины коротко посигналили: мол, хватит трепаться, — и Олега наконец спросил, что хотел:

— Слушай, друг, ты не знаешь, где тут бабка Уля живет?

— Зачем тебе?

— Да так... Нужно...

— Бутылку мозгобойчика, что ли? — хохотнул Славка.

— Ну, допустим.... — дипломатничал Олега.

— Бабка Уля... Бабка Уля... — Славка напрягся лицом, вспоминая. — Сухорукая такая?! Правая рука плетью висит?

— Нет... Руки у нее целы. Слепая она. Темная вода у нее.



— Ну, тогда не знаю... А зачем тебе именно бабка Уля? Ты поезжай на ту сторону, спроси Кукариху, она все сделает. У тебя есть ручка — я записку напишу? А то поехали со мной, мы туда-сюда — в один момент...

— Да нет... Мне бабка Уля нужна.

— Сказал — не знаю!

— Ну как же... Ты сам-то на этой стороне живешь?

— На этой. И что?

— И она на этой.

— Наша сторона большая. Всех бабок разве упомнишь? Если бы ты про девку спросил, — Славка захохотал, смачно шлепнув себя по коленкам, — это пожалуйста! Всех от края до края пересчитаю, какие еще остались. А бабки — потайной народ. У них своя жисть, отжитая. В клуб они в Нижние Чапыги не ходят, на танцы не бегают. По своим норкам сидят. Где их увидишь? Разве когда вперед ногами через всю деревню пронесут... Ну ладно, покати я. Салют!

Он газанул на холостых оборотах, и трактор готовно выстрелил из трубы несколько черных бубликов — в знак прощального привета.

— погоди! — спохватился Олега.

— Чего тебе? — еще раз высунулся Славка.

— Хотел узнать: низом по улице проехать можно?

— Не-е! — Славка помотал головой. — Нынче там нет сквозной дороги. Водой подлило. Были яружки, а теперь — затоны. Так что улицу на куски порезало. Разнобоем живем, по несколько дворов. Как лумумбы на островах! — захохотал он.

— Зачем тогда пруд, если так? — не понял Олега.

— Алеший его знает! Так просто! Его уже два раза сливали. Один председатель напустит, приедет другой — сольет... Третий опять плотину починяет... Бабы гундят: раньше они в магазин через луг бегали, а теперь надо кругом закреңделивать... Лично мне вода не мешает, даже весело. Окунуться с работы, бредешок поставить... У меня лодка резиновая. Всегда надутой держу. Надо в магазин, баба моя раз-два — и тама! Ленъ двигает прогрессом! — снова зубасто зареготал Славка. — Тебе-то зачем низом?

— Отсюда домов не видать, — пояснил Олега. — Говорят, у бабки Ули хата под соломой. Не знаешь?

— Да есть тут одна или две... Это на том краю, — неопределенно кивнул Славка. — Третий затон проедешь — там и смотри...

Из газика опять подудели протяжно и сердито.

— Ну, давай, по коням! — крикнул Славка улыбочиво. — Бывай! Приедешь — мой дом белый, с мансардой, из силикатного кирпича. С дороги видно. Зарубил?

Он захлопнул дверцу, и трактор сразу же ходко заворочал огромными рубчатыми колесами, давя и сокрушая горные хребты оцепеневшей грязи.



Миновав, как велено, третий затон, мы остановились перед давно не езженным, затравенелым свертком, по которому, однако, недавно проехала какая-то машина. Две полосы придавленной травы убегали вниз вдоль остатков жердяной изгороди и скрывались в темной прутьяной чащобе вишенника и бузины. На выгоревшей за лето пустошке двое пацанов распаляли костерок, нехотя куривший хилым дымком. Завидев машину, оба приподнялись, замерли столбиками, будто испуганные суслики.

— Эй, ребятки! — окликнул Олега, не отходя от машины. — Подойди кто сюда!

Ребятишки продолжали настороженно стоять: меньшенький — с коробком спичек в руке, большенький — с пучком изломанных былин.

— Не бойтесь! Спросить надо!

Большенький суслик принялся затаптывать костерок, а меньшенький, спрятав в карман спички, несмело подошел к Олеге.

— Слушай, дружок, посмотри в машину, — попросил Олега, отворив дверцу со стороны Ульяны. — Не знаешь ли эту бабулю?

Парнишка, вытянув тонкую шею, уставился в сумеречную глубь газика.

— И как? Узнаешь? — допытывался Олега. — Видел такую?

— Не-к... Не видел... — наконец сознался паренек.

— Да ты посмотри, посмотри получше! Ее бабой Улей зовут. Она тут где-то живет. Не соседка ли ваша?

— Не-к... Не видел... — повторил мальчик. — Я не здешний.

— А какой же ты?

— Я в городе живу.

— Ну-ка, милай, подойди ко мне, — попросила Ульяна. — Подойди, подойди к бабке.

Мальчонка, смущенно млея, приблизился. Ульяна, неуверенно протянув руку, сперва коснулась его лица, затем переложила ладонь на голову и огладила волосы.

— Ах ты мой хороший! Глубеночек ты мой! — Она охватила его тонкое тельце, обтянутое белой футболкой с какими-то латинскими письменами. — Какой же ты не здешний? А я вот чую — нашеньский ты! Дымком пахнешь!

— Не-к... Я в городе живу.

— Ну ладно, ну ладно... — согласилась Ульяна. — Стало быть, к бабушке приехал?

— Ага.

— И мамка с вами?

— И мамка. Уже восемь дней живем.

— Ну и хорошо, ну и славно! Ах ты золотце мое!

Расспрашивая, Ульяна бережно оглаживала футболочку, темными, коряжистыми пальцами ощупывала что-то сквозь одежду, и по ее лицу было видно, что делать это ей сладко и радостно.



— Бабушку-то как звать? — теплилась она голосом.

— Баба Клава.

— Так, так... А мамка у тебя Антонина? Угадала?

— Угадала! — удивился мальчик.

— Ну, голубь ты мой! — обрадовалась Ульяна. — Как же мне мамку-то не знать? Ведь я ее кресна-ая! Болявый пупок серой из своего уха мазала, соплюшки утирала мамке-то твоей! Ведь она почти дочка моя! — таяла Ульяна. — А ты мой внучек! Вот как Господь вывел!

Радуюсь, она продолжала тискать парнишку, ощупывать плечики, трогать тонкие кузнечиковые руки.

— Так-то, золотенький! Я и мамку, и бабу Клаху вот как знаю... Только папку твою никогда не видела. А теперь небось и не увижу.. Папка-то тоже с вами?

— Папка привез нас и опять уехал.

— Что так?

— Ему нельзя. У него — совещание.

— А бабушка Клаха не болеет?

— Ага, в валенках ходит, с палкой.

— Вот бедная! Еще не годы, а уж поизносились вся... — Ульяна мелко перекрестилась и уже спокойно спросила: — А что ж мамка-то ко мне не зайдет, не проведает? Али забыла?

— Не знаю... — потупился мальчик.

— Что делает-то?

— Книжку в саду читает.

— Ты уж, голубь мой, скажи дома: дескать, видел бабу Улю, кланяется она всем. Сама-то я добрести до вас не смогу. Теперь я и своей хаты не вижу. — И отпустив парнишку, удовлетворенно вздохнула:

— Слава те господи, — отыскалась я!

...Груша, будто сторож, одиноко стояла на краю некопаной залежи, перед ветхой плетневой городьбой, за которой угадывался огород.

— Ну, кажется, нашли! — определился Олега и, обратясь к Ульяне, уточнил: — Мать, тут на пустыре груша какая-то... Не твоя ли?

Ульяна встрепенулась, засуетилась, лапая дверцу, ища выход.

— Моя, моя... — торопливо запричитала она. — Дальше не надо. Спасибо, сыночки, приехала я.

Куприяныч прижал машину к придорожной канаве, выключил мотор.

Мы помогли Ульяне выйти и перебраться через канаву.

Поозиравшись, она как-то сама определилась и, став лицом к дереву, облегченно перекрестилась.

Старый дуплистый кряж крепко держался за глинистое подножие обнаженным корневищем, похожим на жилистую пятерню. На



трехметровой высоте ствол был обломан какой-то беспощадной силой и теперь омертвело щерился острой щепой. Но чуть ниже облома из грубого растресканного корья сначала вбок, а затем, подгоняемая жаждой продления жизни, выбилась и круто устремилась вверх мощная молодая ветвь. На легком обдуве она помелькивала еще свежей зеленой листвой, приоткрывавшей уже созревшие плоды, похожие на желто окрашенные электрические лампочки.

— Кто ж ее так покалечил? — спросил Олега.

— Молоньей разбило, — пояснила Ульяна. — Давно-о! Как случиться с моим Василием. Думала — конец, ан оклемалась, ветку выпустила. Вот диво: дули на ней еще слаже, чем прежде.

Через пустырь была протоптана белесая тропка, целившая в огородную калитку, за которой где-то в низине виднелась одна только серая, замшелая крыша Ульяниного жилья — того самого, «под навозцем»... Оттуда на тропку клубком выкатился черно-белый лохматенький песик, разогнался было навстречу, но, увидев чужих, остановился и растерянно присел, метя туда-сюда пушистым хвостом. Часть его заостренной лисьей морды — лоб и поднятое ухо — заливал черный окрас, отчего было похоже, будто носил он на правом глазу темную повязку. Песик подхватился и, пробежав еще немного, снова присел, радостно страшась и нетерпеливо повизгивая, перебирая передними лапами.

— Тобик! Тобка! — признала Ульяна собачонку, и та, отринув страх перед нами, опрометью кинулась навстречу.

Счастливо урча и постанывая, срываясь на визг, Тобик истово подскакивал, норовя лизнуть склоненное Ульянино лицо. И в этом своем рвении кропил не сдержанной водичей ее резиновые сапоги.

— Ну будя, будя! — застилась от него Ульяна. — Экий ты! Ну все, все... Нашлася я, нашлася! Жила-жила, да, вишь, на старости лет и заблукалась в своей деревне... Ну будя, сказано!

Тобик отстранился на время, суматошно обежал нас вокруг, присел, чтобы куснуть некстати донимавшую блоху, и опять запрыгал, ловя жарким языком Ульянину руку.

— Ну, спасибо вам, сыночки! — проговорила она. — Дальше я сама.

— Ну как же... — усомнился было Олега.

— И так не знаю, чем благодарить. Дульки хоть потрусите. Больше мне нечего...

Трясти грушу мы отказались: стало совестно брать даже эту бесхитростную мзду.

Для надежности следовало бы довести ее до самого порога, но и тут мы почему-то уступили, поддавшись ее твердой решимости дальше идти самой.

— Теперь я дома, — облегченно говорила она. — Тут-то я зрячая.



Ощупывая подошвами тропу, она побрела к огороду, к ветхой соломенной кровле, похожей на земляное надгробье, покато обретенное на все четыре стороны. Тобик радостно носился около, невольно мешая ей, а может быть, и помогая...

— Сейчас макаронцев наварю, — доносился ее умиротворенный голос. — Супчику с тобой похлебаем.

1993

## ЖАНИХ

Если захочется побывать в Малых Репицах, где неплохо берет ныне редкий подуст, то следует высматривать не саму деревеньку, а тамошнее сельпо, возле которого и обозначена автобусная остановка. Магазин в Репицах новый, построенный из силиката, будто из кубиков пиленого сахара, так что хорошо виден издали.

По причине торговли разливным керосином магазин поставили не в уличном ряду, как до пожара, а вынесли за деревню, за телячий выгон. К тому же прежняя торговая точка располагалась как-то не по справедливости. Кто жил рядом или через дорогу, тому явная выгода. Стоило отодвинуть оконную занавесочку, как сразу видать, на месте ли Васючиха, какой товар разгружает: ежели хорошее чего, то можно и подскочить на босу ногу, занять очередь в первом десятке. А кто живал по дальним концам, те оставались внакладе: «Бывало, развезет, а ты прись, не ведая, открыто или нет. А ежели дехвицит какой, то завсегда — к самым одоньям... А теперь ладно: с любого двора магазин видать. Снует по выгону народ — стало быть, открыто; густо повалил или побежал — значит, новый товар поступил: стиральный порошок или пачечная вермишеля...»

И продавщица Васючиха (по паспорту — Васильевна) тоже довольна: вот тебе в полсотне шагов — асфальтовое шоссе, подвезти чего не по грязи, опять же товарооборот влияет и даже на культуру местного пайщика. Прежде иная репицкая покупательница — и неумытая, и непричесанная: дескать, таковское дело, все свои, некого стесняться. Теперь же спрехвала не пойдешь, потому как в магазин проезжие люди заглядывают, а то и зарубежные туристы. Натуральный мед берут, летом — яблоки, тыквенные семечки для послабления... Того гляди на фотоаппарат защелкнут...

Одним словом, удачный получился магазинчик: приветливый и место — никому не в обиду. Вот только вокруг — ни кустика, ни деревца, голимый пустырь, выгоравший в иное лето до бурой неприглядности и скуки.

— Что же такая промашка? — сетовали приезжие. — Посадили бы чего...





## A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. C. W. W.' with a large, decorative flourish at the end.

- 2 В сходах автобуса пристроился на тарном  
дизине под сенью Мамреницкого селенья.
- 2 Магазины в Ретницах нові, построенні по-зе  
тею горі из белого селіхота, бугты из кубиков,  
пильного сахара. А еще и краснокирпични  
ажур ~~то~~ меж простенков и по фронтону  
вдоль ~~горизонта~~.
- 2 То причине торговли развили керсеном, з  
ею елихоту, с котрою ~~дальше~~ <sup>хранится</sup> неподалеку  
в забуржневній погребі, магазин поставили  
не в уличном ряду, как до пожара, а вынесли  
за деревню, на тельном выгон.
- 2 А еще был район чисто моральний.
- 2 Трешинел торговал точка располагался как-то  
не по справедливости. Кто жил реформ или  
гараж горю, тому звал лафр. Стоили ото-  
винути околицю Закавеську, как сразу всі  
и видны: на месте <sup>центр</sup> Васючиха або еще чіс  
проклятасть; какой товар разгружает: ежлі  
хорошее того, то можно и поужити на бору погу,  
заметь охерев в первом уелотке. А кто тива,  
по галчим конуам, те оставили извоилин; Бывало,  
разберет, а ты прик, не веда, открыто али нет,  
с ежлі уединит, какой, то моти. Забурж ~~то~~  
хлебавиш. А самими ерелам... А теперь лафр.  
с любого фотра магазин вужет. Сичет по выгону  
нараф, стало баво, открыто, чует повелі -  
то жинит, і одні товар поспукал...



— Мы и хотели, — соглашались местные, — да бабы воспротивились.

— Отчего же?

— Кричат: вам, мужичью, абы кусты да заслоны. А нам ничего этого не надобно. Нам чтобы торговлю не застило.

На знойном полуденном выгоне все же обитала кое-какая живность. Семейками, во главе с петухами, бродили разномастные куры. Возле пересохшей болотины толкся гусиный выводок. Недремные папаша и мамаша зорко поглядывали с высоты своих шей-перископов, тогда как голенастые гуськи-подростки, все еще в своих светло-желтых мохерах, тыкались морковными носами в сухое, растрескавшееся днище. Они будто недоумевали: куда подевалась желанная вода, та, похожая на зеленый кисель майская лужа, на просторах которой они еще недавно весело резвились, играли в салочки? Встряхивая ушами и вяло взмыкивая, бесцельно туда-сюда переходил рыжий кудлатый бычок, волоча за собой на веревке железный шкворень, от которого искрометно брызгали возросшие в числе кузнечики. За бычком неотступно настороже следовали две молодые белые курочки, еще без взрослых зубчатых гребней, с округлыми голубиными головками. Едва шкворень принимался ерошить траву, как обе курочки, вздрогнув крыльями, пускались вдогонку за разлетавшимися стрекунами, которые, ликуя от солнца и льющегося зноя, блаженно звенели и тирликали по всей зыбившейся маревом луговой округе.

Время от времени обитатели выгона навещали Васючихино торговое заведение. Особенно любили бывать здесь деревенские куры, которые, собрав все просыпанное на крылечке и около него, забивались под застреху керосиновой землянки, где, улегшись в уже готовые лунки, выбитые предшественницами, принимались за излюбленное банное дело. Топорща перья, чтобы открывался доступ к самому телу, они короткими вскидками то одного крыла, то другого азартно нагребали на себя горячую сухую пыль и, утолясь и обессилив, медленно опадая крыльями, блаженно замирали в сладостном забытии, задерживая серым шершавым веком оранжево-янтарные глаза.

Молодые же курочки, как бы оберегая еще мало ношенные, ладно пригнанные платица, всей своей новизной и легким облегающим кроєм делавшие их похожими на школьных выпускниц, предпочитали более опрятное и необременительное занятие, впрочем, как и вся теперешняя молодежь. Будто на конкурсном подиуме, картинно, долговязо прохаживаясь вдоль стены, как бы демонстрируя эту свою долговязость в желтых колготках, они в какой-то момент высоко подпрыгивали, склевывая с теплых магазинных кирпичей зазевавшихся мух.

Что до гусей, то большелапые, бесперые подростки, телами все еще обгонявшие свои умственные способности, многозначитель-



но интересовались всякой ненужностью, даже зубчатыми пивными крышками или пустыми конфетными фантиками, перебирали их клювами, поворачивая так и этак, переговариваясь и обсуждая находки детскими подпискивающими голосками, заставлявшими умиленных родителей зорко бдеть задержавшееся детство.

Тем временем рыжий бычок с неотступным шкворнем на веревке, сопя и выфыркивая зеленые травяные пузыри, увлеченно обнюхивая тарные ящики, возбуждавшие крепкими незнакомыми запахами, чесался о них боком, расшатывая и руша на себя ящичные штабеля, нимало не пугаясь этой порухи, а, напротив, как бы довольный содеянным, побрел к сельповским ступеням, чтобы полизать солоноватые перила и в знак удовлетворенности оставить Васючихе теплую, парящую лепешку.

Чем заметнее калился выгон, тем все реже появлялись на нем репицкие покупатели. Васючиха уже несколько раз выходила на крыльцо, глядела из-под руки на замершую пустошь: не идет ли кто... По случаю наступившего безлюдья она уже было собралась накинуть замок, чтобы слетать по неотложному делу в родное Абалмасово (всего-то в двух верстах по шоссе и в десяти минутах на велике), как на одной из троп, что от репицких дворов во множестве сбегались к торговому центру, замаячила белым платком согбенная старушенция, сосчитывая свои drobные прищлепистые шажки долгой клюкой.

— Здрасьте! — подбоченилась Васючиха. — Леший несет эту Павловну. Небось за пустяком или так, потрепаться...

Впереди Павловны бойко шустрил по дорожке, выныривая из кашек и полынков, мохнатый белый завиток, из чего следовало, что Павловна жалует не одна, а в сопровождении некой живой души ростом не выше окрестного травостоя. Этаким крутой крендель способен сотворить только собачонок, пребывающий в добром расположении духа от своего беспечного путешествия в летний погожий день, да еще бегущий впереди хозяйки!

Перед магазином собачонок, далеко опередивший Павловну, внезапно оказался на открытом бестравном пространстве, выбитом машинами. Смущенный такой нерасполагающей переменой, а еще тем, что под стеной магазина сидели заезжие байдарочники с устрашающе вздутыми рюкзаками, испускавшими терпкий, пронзительный запах затиснутой в них перегретой резины, он настороженно замер на своих коротких и кривых ножках, и его добродушно закрученный кренделек поникло сполз со спины. Не зная, что ему делать, песик присел и вопрошающе оглянулся на Павловну, но та, приставшая от зноя и долгопутья, продолжала сосредоточенно и невидяще тыкать тропу костяно навощенным батогом.

— Жучок! Жучок! — знакомо поманил собачонка мужик-репчанин, вместе с байдарочниками тоже дожидавшийся автобуса. —



Чего застеснялся, хвост поджал? Тут все свои. Иди, дурак, покурим. Ну-ка, давай сюда лапу!

Жучок, узнавая и не узнавая мужика, неуверенно перебрал передними лапками, словно обутыми в белые пинетки. Склонив голову, он бочком поглядел на репчанина, продолжавшего хрипло манить и щелкать пальцами, и, не поверив в его панибратство, на всякий случай зашмыгнул за широкую юбку Павловны, в самый раз поравнявшейся с ним.

— Зачем пожаловала-то? — с высоты крыльца, будто с трона, спросила Павловну Васючиха, мельницей вертевшая на пальце большой магазинный ключ. — Уж не за помадой ли? Я намедни целый короб «Ванды» завезла. Еще не открывала, будешь первою.

— Ой, девка! — издали причетно откликнулась Павловна, останавливаясь и передыхая. — Какие помады, какие помады?.. Насмехаешься, што ль? Мне бы постного маслица. А то чибрики затеяла, глядь — а в бутылке муть одна. Масло-то есть, али зря бежала?

— Еще есть малость, заходи...

— Да вот пропасть какая, совсем никуда стала: посудку-то я забыла! Порожня приперлась. У тебя, Васильна, не найдется ли куда б налить?

— Найдем, уважим...

— Ну, слава те... А то ить не ближний свет обратно за бутылкой вертаться. Дак и пряников хотела маненько...

— И пряники имеются. Глазурованные.

— Не засохлые?

— Третьего дня завезла. Хоть губами ешь.

— Эко ладно-то. Ты, Васильна, дай-ка мне штуки три в счет пенсии...

— А почему три?

— Тот раз я у тебя семь штук одолжила. Для ровного счета дала б троечку..

— Ладно, заходи...

Павловна пересекла толоку и с оханьем и кряком взнеслась на крыльцо. Застясь бабкиной юбкой, боязно озираясь то на байдарочные рюкзаки, то на матерого гусака, вызревшего угрозым зраком, Жучок проследовал за Павловной и неумело, косолапо, задевая писей ступени, вскарабкался на высокий помост. Он вознамерился тоже нырнуть в сумеречную прохладу помещения, но Павловна не позволила, выставила в дверной прощелок свой протертый кед и назидательно, словно на паперти, сказала:

— Низя, низя нехристю. Погодь тут, я скоро.

Жучок истово поскреб захлопнувшуюся дверь и, убедившись в ее неприступности, тоненько и слезно заскулил. Но никто не внял его горестным воплям, и он потерянно и смиренно припал боком к кованому подножию двери.



Известно, однако, что беда не ходит одна: в самый этот момент в дырку меж крылечных балясин проснулся рыжий Быча. Он тупо, бодуче уставился на Жучка, должно, пытаюсь понять, взаправдашняя ли это собака или просто оброненная собачья шапка. Бычина морда с широким плоским межглазьем, поросшим упрямыми завитками, в которых запутались цеплючие катышки дурнишника, придвинулась так жутко близко, что Жучка обдало отвратительным духом сброженной травы, шумно вырывавшимся из влажных бычачьих ноздрей.

Самообладание вконец покинуло Жучка, тем паче что отодвинуться от этой мерзкой морды было некуда, и он опрометью бросился с крыльца, оставляя на ступенях мокрое многоточие...

Бдительный гусак, разумеется, не упустил случая припугнуть удирающую собачонку: изогнувшись шеей, он зашипел ядовито, распахнул ветрила и, подняв взмахами сухую перетертую траву, сделал устрашающую пробежку вдогон. Потерявшийся Жучок метнул белками скошенных глаз и, поджав хвост под самый голый живот, постанывая и повизгивая взрыдно, надал еще пуще и, пытаясь укрыться, найти защитное место, лохматой шаровой молнией влетел под навес керосинки.

Но лучше бы Жучок этого не делал: едва он заскочил под земляной навес, как там, в терпкой пещерной прокеросиненной спертости, вдруг что-то не то взорвалось, не то обрушилось. В клубящемся перьями пыльном сумраке истошно закудахтали всполошенные куры. Суматошно толкаясь, тесня друг дружку, они с воплями выметывались наружу, больно наступая когтистыми лапами на опрокинутого Жучка. Его и самого будто вышвырнуло какой-то землетрясной силой, и он, нахлестанный крыльями и осыпанный банной пылью, очутился в жарких и жестких зарослях чертополоха, с боков обступавших керосиновое хранилище.

Все эти злключения стряслись с Жучком в тот миг вращения планеты, когда Павловна пребывала в ублажающей душу магазинной прохладе, напоенной благоговейной вкрадчивой кофейно-ванильной пряностью и перечно-горчичной острейшей выставленных съестных товаров, снадобий к ним и приправ, тогда как от противоположного прилавка веяло кожаном и шубно, клеенчато и одеколонно, отчего размягченной Павловне никуда не хотелось уходить, возвращаться в знойное полуденное репицкое бытие, в обветшалую избу с опревшим углом, к помятой алюминиевой кастрюле на лавке, в которой пузырилась наскобленная на терке серая картофельная дрегва. А еще было у нее желание если не потрогать всю эту магазинную благодать, тем паче — испробовать по самой малости, то хотя бы неспешно потолковать с Васючихой, поведать ей свое, выпытать ейное, особенно если вынесет из подсобки стакан настоящего заварного чая с конфеткой, как иногда случалось в прошлые разы.



Оно, может, и к лучшему, что Павловна замешкалась в магазине и ничего не видела. За это ее отсутствие Жучок постепенно отдышался в своем заключенном чертополоховом вертепе, убрал тряпично свисавший язык и несколько раз сотрясся всей шкурой, выколачивая из нее пыль и щепной мусор. Для окончательного успокоения он поскреб сперва за правым ухом, потом за левым и, сложив перед собой обе передние лапки — белое к белому, коготок к коготку, — смиренно приник к ним головой и сквозь колючки принялся следить за магазинной дверью.

Тем временем жизнь окрест магазина приняла свое прежнее беспечное течение.

Рыжий Быча, должно быть, привлеченный запахом цветочного мыла, пытался сдернуть с бельевого веревки меж двух врытых столбов какую-то Васючихину постирушку, тоже весело раскрашенную колокольцами и васильками. Но поскольку тряпица была прочно схвачена прищепками, а веревка после каждой потяжки натужно пружинила, то постирушка, резко взлетая, всякий раз нахлестывала Бычу по упрямой морде, тем самым доставляя ему занятное удовольствие.

Рядом молодые гуськи, раздобыв кем-то оброненную сушку, азартно гоняли ее по двору. Каждый норовил ухватить и съесть находку, но сушка, выветренная до одеревенения, не поддавалась никаким поклевкам и щипкам. Своей неуязвимостью она еще больше возбуждала долговязых несмышленишей, и те, толкая друг друга, недозволенно отпихивая противника крепким шишковатым закрылком, совсем по-хоккейному носились за дырявой шайбой, орудуя долгими шеями с оранжевыми наконечниками, очень похожими на фирменные клюшки. Старший, Гусь Гусич, со всей строгостью и неподкупностью следил за этой игрой, и на его белой, важно выпяченной груди весьма не хватало судейского свистка.

Любительницы же земляных бань, отбежав в сторону и сбившись в табунок, некоторое время испуганно тянули шеи, озирались и, квохча, обсуждали случившееся, так и не поняв, что же произошло... Но все вокруг оставалось без изменений, даже откуда-то появился оранжевоперый молодцеватый петух с золотистой прошвой по вороту — а-ля Ришелье, — сразу же некстати принявшийся ухаживать за неприбранными, всклокоченными дамами, писать по земле выпущенным крылом и совершать кавалерские загибоны, уверяя цокающей скороговоркой, будто он знает, где запрятано жемчужное зерно, и предлагает лучшей из лучших последовать за ним. От этого ловеласничанья петуха куры окончательно успокоились, но не последовали за ним искать обещанный клад, а начали одна за другой, сторожко поднимая лапы, снова пробираться к своему банному заведению.

На все это смиренно поглядывал Жучок, ему тоже хотелось побегать на свободе, но он не смел и время от времени горестно взды-



хал и, опадая боками, выпускал из себя глухое, похожее на жалобу ворчание.

А Павловна все не выходила от Васючихи, зеленая магазинная дверь по-прежнему оставалась запертой, и от ее равнодушной неподвижности делалось еще тоскливей.

Жучок уже подумывал отправиться домой один: сперва отползти на брюхе сколько-то, чтобы никто не заметил, а потом вскочить и припустить что есть духу. Но осуществить это все как-то не решался. А скорее, ему мешал невнятный навязчивый запах, иногда слабо наплывавший откуда-то издалека, с выгона. Жучок приподнял голову с лап и пошевелил закрылками ноздрей, согласно старой собачьей пословице: лучше один раз учуять, чем десять раз увидеть. Сквозь керосиновый флерок, привычно витавший над врытым железным баком, пробивалось нечто приятное, мясное. У проголодавшегося Жучка с языка побежала слюна. Он нетерпеливо вскочил и принял охотничью позу: спрямил хвост и прижал к груди переднюю лапу. Этому его никто не учил, в его роду не было ни пойнтеров, ни легавых, поисковая стойка получилась как-то сама собой. Сразу же подтвердилось: пахло действительно мясом, и не просто мясом, а мясной сладковатой томленостью. Так однажды пахла ливерная колбаса, которой, почему-то поморщась и обозвав себя старой беспмятной вороной, угостила его Павловна. Она без сожаления отдала ему порядочный кусок. Бережно и благодарно принимая угощение, он тогда боязливо вскинул глаза на Павловну: не ошиблась ли? Жучок никак не мог взять в толк, почему Павловна не стала есть свою половину, как бывало прежде, ведь та колбаса показалась Жучку особенно запашистой. Она пахла точно так же, как теперь тянуло с выгона. И, окончательно выверив направление, Жучок сделал несколько осторожных, бесшумных шажков...

Манившее место оказалось ворохом строительного мусора, оставленного здесь после открытия магазина. Куча уже задержалась и поросла мелкой сорной ромашкой. У подножия этой «исторической» пирамиды, будто часовой, стоял навтыжку долговязый гриб, ростом гораздо превышающий Жучка. Он-то и навевал на округу этот душный ливерный аромат.

За долгое стояние гриб состарился, остроконечная морщинистая шапка, похожая на атаманскую папаху, съехала набок, а единственная штанина пожелтела и лопнула по всей длине. В этой разверстой ране, сочившейся липкой дегтярной жижей, упоенно бражничали какие-то черные сутулые козявы.

Жадно внюхиваясь, Жучок изучающее обошел вокруг грибной ножки и наконец убедился, что крепко пахнувшая штуковина — вовсе не ливерная колбаса, а нечто несъедобное и вообще непонятное. Но запах пробирал до самого нутра, так что уступить находку он никому не хотел, а потому решительно поднял заднюю лапу и старательно по-



брызгал прямо на честную компанию козляв. От этого мероприятия гриб сронил свою смушковую папаху, а его нога переломилась пополам и тоже не устояла...

Павший великан испустил такой густой, обволакивающий ливерный букет, что не выдержавший искушения Жучок с глухим урчанием припал к грибным останкам и несколько раз потерся о них белым шелковистым горлом. Но, не удовлетворившись этим, он опрокинулся навзничь и, постанывая самозабвенно, вертляво ерзая крестцом, принялся вмазывать в себя размятую кашицу.



Накатавшись вдосталь, Жучок бодро вскочил и, счастливо лучась глазами, возбужденно пробежался туда-сюда, испытывая необыкновенный подъем духа и желание немедленно, сию же минуту пересмотреть все отношения и восстановить справедливость. От внезапного прилива бодрости он лихо царапнул землю позади, далеко отшвырнув крошево старой штукатурки, и резво обежал мусорную кучу. Его черные ушки вскинулись острыми косячками, а хвост снова воспрял крепко закрученным бубликом.

В таком вознесшемся самочувствии пребывать на месте не было возможности, и Жучок, оставляя за собой шлейф грибного аромата, гордясь им и сам себе нравясь, пустился в пробежку по более широкому кругу, неожиданно повстречав на его периметре оранжевого петуха, ошивавшегося возле куриных бань. Петух вскинулся восклицательным знаком, вздорно, возмущенно закокословил: «Кто таков? Кто таков?» Жучок не стал представляться, заискивающе вертеть хвостом, а решительно ринулся на кочета, так что тот перестал чиниться, надменно встряхивать гребнем, закрывавшим то один, то другой глаз, а совсем простецки побежал прочь, промелькивая сзади оголившимися подштанниками: «Не имеешь права!..»

«Н-гаф!» — вдогонку пальнул Жучок и, опять царапнув землю задними лапами, вернулся к грибному месту.

Вторую пробежку он совершил против часовой стрелки и оказался на толоке возле байдарочных мешков. Жучок с лаем пробежал так близко, что мог их куснуть, но мешки даже не шевельнулись, наверно, спали, и он лишь полаял на них незлобно, с разбега.

— Жучок! Жучок! — опять поманил репицкий мужик, шлепая ладонями по колену. — Чего шумишь? Выпил, что ли? Иди сюда, обормот

Жучок чуть задержался, признал в мужике соседа Николая и приветно дернул хвостом. Присутствие знакомого человека придало ему еще больше решимости, и он, зачастив звончатым лаем, бесстрашно подлетел к рыжему Быче.



«Н-гай! Н-гай! Н-гай!» — колокольцем залился Жучок, припав перед Бычей на передние лапы и задорно потряхивая над собой закрученным хвостиком.

Быча разморенно уставился на собачонка туманно-синими глазами, не понимая, чего от него хотят. А когда понял, что ему предлагают что-то веселенькое, то в ответ охотно мотнул лобастой башкой с двумя рожками по сторонам, похожими на бабулины наперстки, тем самым как бы говоря: «Ты — так, а я — так!»

Жучок ловко отпрянул, забежал сбоку и добавил лаю. Быча, путаясь в собственных четырех ногах и вездесущей веревке, не очень проворно развернулся, но собачонка там уже не было. А лай раздавался с другого бока. Быча задвигал большими шерстистыми ушами, но в этот миг его больно дернули за хвост.

«Э-э! — обиженно замычал Быча. — Я так не хочу.. ты вот как...»

«Н-гаф! Н-гаф!»

«М-ма-ма-а...»

Этот лопоухий увалень, еще не научившийся бодаться и всех принимающий за своих приятелей, однако своим добродушным сопением так напугавший тогда Жучка, вдруг отвернулся от бестолковой собаки, не пожелавшей весело попрыгать друг перед другом, и обиженно потрусил в луговую скуку, волоча за собой царапавший землю шкворень. Жучок догнал и цапнул зубами эту убегающую забабаху, но она оказалась железной и раскаленной солнцем подобно той сковороде, которую он однажды по молодости лизнул, когда Павловна, жарившая свои чибрики на дворовой загнетке, отвернулась по какой-то потребе.

«Н-гаф! Н-гаф!» — погрозил Жучок недругу за такой подвох, но тут же плюхнулся наземь, чтобы пугнуть блоху, некстати куснувшую за самый крендель. Однако хвост оказался недосягаемым, чего Жучок прежде не знал, и он со все возрастающим азартом завертелся вокруг самого себя, щелкая зубами совсем в малости от укушенного места.

Мудрый Гусь Гусич словно вычислил этот благоприятнейший момент, когда Жучок, вертясь, потеряет всякую ориентировку на местности. Крадучись, низко пластаясь, чиркая по земле дородным подбородком, Гусь Гусич дотянулся-таки до собачонка и ущипнул его за штанину так, что набил себе рот черной собачьей шерстью. Жучок ойкнул от неожиданности, но не пустился наутек, как полагал Гусь Гусич, а, напротив, цапнул его за крыло и вырвал большущее, с косой оторочкой перо, похожее на то, каким писал еще Пушкин. Пера было очень жаль, тем более что таких дорогих экземпляров имелось у него всего несколько, и вознегодовавший Гусь Гусич больно хлестнул Жучка вскинутым крылом, что вызвало у того прилив возмущенного лая, небывалой звонкостью заполнившего, казалось, всю округу от Абалмасова до Нижних Репиц и все воздушное пространство между ними до высоты птичьего полета.



«Тфай! Тфай! Тфай-тфай-ай!»

Его белые пинетки мелькали то слева, то справа перед опешившим Гусь Гусичем, который уже начал остерегаться держать голову у земли и шипеть с этой приземленной позиции, а его угрозное шипение все чаще перебивалось обескураженным гортанным кегеком.

Дворовый шум и гам наконец принудили распахнуться кованую дверь. На крыльце запальчиво объявилась Васючиха, следом, поотстав, выбралась и Павловна.

— Что за содом?! — Васючиха перегнулась через перила. — Это чей же такой заливастый? Аж уши закладывает. Не твой ли?

— А то чей же... — Павловна, укрываясь от солнца, потянула на себя застреху белого платка.

— Нет, ты погляди на него! — изумилась Васючиха. — Четырехлапая варежка, а гусака напрочь затуркал. Аж перо у него выпало. У меня в магазине такие же перья, только со стержнем. Ну молодец! Ну парень! И правильно! Так их, ошивал! Ёни всех взащей! Сладу с ними никакого нету. То вон ящики вверх тормашками перевернут, то лепех наделают... Третьего дня один заезжий — нашли, чужой ли, сейчас их не разберешь, вижу, машина с восемью фарами, — дак он-то нечаянно ступил каблуком на куриную завишку да и поехал с порожка и так жажнулся, что до машины едва доволокся. Вот жду из района неприятностей: мол, не чищу, не посыпаю... А мне на кой все это? Слушай, Павловна, отдай-ка мне кобелька! Ну хорош! Ну шустер! Отдай, а?

— Насовсем, что ли? — не поняла Павловна.

— Ну хоть до зимы. Пока снег падет.

Павловна переобняла клюку, но промолчала.

— Да-а на что он тебе? Чего охранять-то? А у меня сама видела, сколько всего... Да хоть бы и на двор иждивенцев не пускать... Это сегодня еще Никульшинных коз не было. Те, подлые, аж на крышу по ящикам залазят. Отдай, а?

— Не-е, девка... — не сошлась Павловна.

— А хочешь, я тебе за него бутылку масла за так налью?

— Не-е...

— Ну, вдобавок пряников насыплю? Целый кулек: ты же пряники уважаешь...

— Не надо и пряников. — Павловна, стесняясь своего отказа, прятала глаза от Васючихи, глядела куда-то далеко, за выгон.

— Такой пустяк уступить не хочешь, — напирала Васючиха. — Я ведь к тебе со всей душой... И наперед сгодится...

— А я с кем остануся? — Павловна опять поддернула платок. — Пустые углы съедят.

...Жучок, увлеченный потасовкой, наконец ухватил бабкину хрипотцу и, не раздумывая, расстался с Гусь Гусичем. Повизгивая от нетерпения, помогая себе подбородком, он единым порывом одо-



лел высокие ступени и тотчас заподпрыгивал перед Павловной, заплясал на задних лапах. Потом заодно перекинулся и на Васючиху.

— Фу-у! — отняла руки Васючиха и сама отшатнулась. — Да от него чем-то несет!.. Нет, нет, не прыгай на меня... Фу, какая мерзость! Павловна! Да усмири ты его!

— Это у него вроде одеколona, — ровно сказала Павловна. — Для бодрости.

— Ничего себе одеколон!

— Дак от тебя, чую, тоже несет... Всем охота покрасоваться...

— Ну, сравнила! — всерьез обиделась Васючиха. — У меня — «Ванда»! Да убери ты его, честное слово!

— Ладно... — Павловна принялась ощупью спускать ногу с крыльца, цепко хватаясь за перила. — Спасибо за маслице, за чай-сахар.

— Да чего уж... — отозвалась Васючиха, все еще пряча руки за спину.

— Айда, Жаних! — Причмокнула губами Павловна, зазывая Жучка. — Пошли в бочке купаться.

Жучок походно уложил на крестце черно-белый кренделек и, заняв место впереди Павловны, бодро и споро зачастил бело опушенными лапками, время от времени оглядываясь на бабуню: идет ли?..

1998

## АЛЮМИНИЕВОЕ СОЛНЦЕ

### 1

Миновав городок Обапол, а за ним — три полевых угора с лесными распадками да перейдя речку Егозку, аккуратно выбредешь на хуторской посад из дюжины домов, где и спросить Кольшу — тамощнего любознатца. А то и спрашивать не надо: изба его сразу под тремя самодельными ветряками, которые лопаухо мельтешат и повиливают хвостами в угоду полевым ветрам. Глядя на эти мельницы, невольно думаешь, что если побольше наставить таких пропеллеров, то в напористый ветер они так взревет, что отделят избу от хуторского бугра и вознесут ее над Заегозьем.

И еще примета: вокруг слухового окошка блескучей серебрянкой намалевано солнце, испускающее в разные стороны лентовидные лучи. На утренней заре, когда Посад освещен с заречной стороны, серебрянковое солнце на Кольшиной избе сияет с особым старанием, будто и впрямь ночевало в этом веселом доме.

Но и без уличных примет Кольшу легко признать в лесу ли, на степной ли дороге, поскольку это единственная в округе душа на



деревянной ноге. Тем паче нога не простая, а со счетным устройством: потикивая, сама сосчитывает шаги...

Потерял он ногу вовсе не на войне, как привычно думается при виде хромого человека, а из-за своей несколько смещенной натуры. Хотя он и родился крестьянским сыном, но сам крестьянином не стал: еще в малые годы грезил дальними странствиями и, едва встав на ноги, завербовался в ближайший отсюда «Ветлугасплавлес» подручным плотогона. Душа ликовала: лес стеной, смолой пахнет, филины ухают... Сперва ходили поблизости, а потом все дальше и дальше и вот уж на Волгу стали заглядывать. На четвертом сплавном сезоне перед Козьмодемьянском ветреной ночью деревянные связки сели на мель, и лопнувшим буксирным тросом Кольше напрочь оттяпало ступню. Полгода пролежал в Чебоксарах, что-то долбили, подпиливали и допилились до самого колена. Вернулся домой на костылях, с полотняной котомкой за плечами, в которой вместе с дорожным обиходом хранилось главное богатство и услада — лоцманские карты речных участков от Вохмы до Астрахани.

Зиму отбыл в нахлебниках, а со следующего сентября напросился в местную семилетку в Верхних Кутырьках. Рассказывал детишкам об устройстве Земли — про леса и воды, почему бывает снег, почему — лед. Кое-что сам повидал, кой о чем начитался в больницах. Школьное дело пошло душевно, вроде как снова поплыл на плоту, воскрешая в памяти извивы и повороты минувшего, а когда приобрел фабричный протез, позволявший носить нормальную обувь и отглаженные штаны, то и вовсе воспрял духом, возомнил себя полноправным педагогом и даже женился по обоюдному согласию на милой хуторской девушке Кате.

Однако жизнь неожиданно дала «право руля» и еще раз, как тогда под Козьмодемьянском, села на мель. Из школы его вскоре попросили, поскольку не имел свидетельства об образовании, а те лоцманские карты, которые разворачивал перед аттестационной комиссией в доказательство своей причастности к преподаваемому предмету, к нерукотворному устройству Земли, лишь вызвали недоуменные перегляды и шепоток за столом. В довершение он не совсем удачно, весьма по-своему, ответил на некоторые дополнительные вопросы по конституционным основам и — что окончательно пресекло его учительскую карьеру — не назвал фамилии тогдашнего министра просвещения. Лоцманские карты у него тогда же отобрали как документы, не подлежащие никакой огласке, и Кольшу (тогда еще по-школьному: Николая Константиновича) без цветов и даже без расхожего «спасибо», а, напротив, с молчаливой отстраненностью, как инфекционного больного, выпроводили в пожизненные колхозные сторожа.

Фабричный протез, в котором он начал было так счастливо учительствовать, не за долгим изломался вконец, его надо было куда-



то везти на починку, но замешкался, а там и пообвыкся, тем паче в классы больше не ходить и брюки не гладить, и он окончательно опростился, отпустил душу, куда она просилась, да и пророс родным березовым обножьем, которое потом ни разу не подвело — ни в стынь, ни в хмарь, до самой старости одного хватило.

С годами он сделался теперешним Кольшей: перестал бриться, сронил с темени докучливые волосы, о чем выразился с усмешкой: «Мыслями открылся космосу!», по-стариковски заморщился, и только прежними остались так и не отцветшие вглядчивые глаза цвета мелкой родниковой водицы, проблескивающей над желтоватым донным песком. Томимый хронической невостребованностью, Кольша не залег на печи, не затаился в обиде, а, напротив, открыто бурлил идеями и поисками ответов на вечные «как?» и «почему?».

— Я чего? Я не заскучаю... — повинно отводил глаза Кольша. — Плядеть бы, народ не заскучал... Страшна не та вода, что бежит, а та, что копится скукой.

Дети, даже повзрослев, продолжали почтительно здороваться с ним, а иногда, особенно в теплые весенние вечера, собирались напротив его избы и допоздна сидели на просохшем речном обрыве.

Взрослые усмешливо оживлялись:

— Кольша? Ну как же, знаем, знаем такого...

## 2

Счетное устройство на Кольшиной ноге появилось при следующих обстоятельствах.

Еще по расторопным годам, навестив Обапол, Кольша приметил в спортивном магазине некий прибор со спичечный коробок под названием «шагомер». Тяготеющий к науке и распознаванию ее тайн, Кольша истово загорелся приобрести этот портативный измеритель пространств, страдающих пересеченностью. Дрожащими пальцами («Хватит — не хватает?») он выложил на прилавок всю наличность, прибавил сверху помятый троячок из заначки, и все же средств на покупку не достало. Горестное это обстоятельство повергло Кольшу в уныние: продать с себя ничего не нашлось, кроме захватанной балбески, которую и за так вряд ли кто приобрел бы... И тогда, взяв с продавщицы слово, что никому другому не продаст, Кольша на первопопавшейся попутке рванул на хутор, одолжил недостающую сумму и успел-таки тютелька в тютельку.

Обратно шел, счастливо расслабясь и добро заглядывая в глаза встречных обаполчан. Он нес «шагомер» в бережно сложенной ладони, будто изловленную птаху, время от времени прикладывал коробок к уху и с замиранием вслушиваясь, как там, внутри, что-то размеренно жило и повстиковало...

Как ни торопился, домой он доехал уже при звездах на этапном комбайне, да и тот свернул в сторону еще до Егозки. Голодный, ужи-



нать, однако, не стал, а тут же распеленал культю и на деревянной голени складным ножом принялся углублять нишку..

Катерина потом припоминала с добродушной ехидцей:

— Вижу, в ноге ковыряется, стружки летят... Может, думаю, затеял починку с дороги... Он частенько так вот возится. Ну, я без внимания, да и время позднее, пора ложиться. Просыпаюсь ночью, а мужика нет... Свет на кухне горит, на столе инструменты раскиданы, снятые брюки на табуретке лежат, а самого нету.. Тут, конечно, не улежишь. В чем была, в долгой рубахе, босая, вышла на крыльцо. Подождала сколько-то — нету и нету.. За то время мерклая луна обежала четверть дома: где было светло, там стемнелось, а где хоть глаз коли, там опять облунилось. А тут еще поперек двора тряпье на веревке развешано. Спросонья сразу и не разобрать всю эту лунную рябь. Вот вижу, за тряпьем ноги замелькали. Одна — с прискоком, другая — с притопом: он, Кольша! Проскондыбал до огородной верей, постоял, согнутый в поясе, а потом — вдоль заплота, вдоль заплота... И опять пополам перегнулся... Забоялась я: что-то с мужиком неладное... Кричу шепотом: «Ты чего мечешься-то? Весь двор поистыкал?..» А он только выставил пятерню в мою сторону и пропрыгал мимо. Тут я не на шутку охолодала, опять спрашиваю: «Не схватило ли чего? Может, съел нехорошее?» А он как озернется, как сверкнет глазами: «Эт, пристала! “Шагомер” пробую!» — «Я-то чем мешаю — так-то шумишь на меня?» «Он, — говорит, — должен звук подать. А ты со своими вопросами...»

К концу этой суматошной недели Кольша уже знал, сколько шагов в посадской улице, сколько до магазина в Верхних Кутырях, а также до тамошней почты, где Кольша сторожевал последние годы. И вот что занятно: почитай, каждый день туда хаживал, а до сих пор, пока не измерил, не знал, что до почтового порога ровно 3618 шагов! Пошел обратно — и опять почти столько же! Ну не тюк в тюк, шагов на шесть больше, ну так это он лужу с другой стороны обошел, вот и набежало.

Хуторские ребятишки, а следом и кутыринские, а еще понаехавшие на каникулы из разных мест быстро пронюхали про диковинную считалку. Кольшу наперебой просили измерить им и то, и это, и он, не чинясь, исполнял все ихние заказы, ну, скажем, сколько будет до моста через Егозку или «от этого дерева до вот того», и наука о местном землеустройстве пополнялась все новыми открытиями. А чтобы эти усердно добытые сведения не перепутались, Кольша тут же заносил их столбцами прямо на свою березовую опору специальным химическим карандашиком, который, если послюнить, писал въедливо, насовсем.

Ребятишкам, конечно, нравилось шагать рядом с Кольшей напрямки, по канавистым азимутам и переголам, но ликовали больше всего, когда через каждые сто шагов раздавался тонкий конт-



рольный звячок, похожий на звон велосипедной спицы, услышать который каждому хотелось как веху одоления.

— Ага, ударило! — ликовал услышавший первым. — Пацаны, ударило!

Бывало и такое: еще Кольша схлебывает с блюдца свой утренний чай, как в окно уже кто-то тыкает хворостинкой. Кольша распахивает створки, и внизу, вровень с завалинкой, видит льняную маковку.

— Чего тебе?

— Деда Кольса... Сёдни ходить будем?

Землемерное поветрие будоражило Заегозье все тогдашнее лето. Загорелась даже идея создать отряд из добровольцев, запастись хлеба, огурцов, луку там, соли (картошку копать на месте), ведро для варева да с кострами, ночевками двинуться на Обапол, чтобы раз и навсегда установить точное расстояние между Верхними Кутытками (начать от почты) и районным центром (закончить тоже у почты). А то ведь никто толком не знает, сколько же на самом деле. Летом называли одно, а осенью — другое: смотря как развезет. Сами же ребятишки обошли дворы, составили список охотников. Меньше семи годов не записывали, чтоб домой не просились, а и то — с Посаду, с самих Кутырок да с Новопоселеновки набралось аж на обе стороны тетрадного листа. Чувствовалось, что одному Кольше не справиться с таким ополчением, а потому галочками были отмечены два помощника — хуторской Серега Гвоздилов и новопоселковский Пашка Синяк, первый каратист на Егозке, который сам и напросился на эту должность. Все складывалось отменно, даже провели в лесопосадке пробное построение. Кольша в чистой рубашке в сопровождении помощника Сереги (Пашка Синяк почему-то не явился) обошел разновеликий ряд посуровевших землепроходцев, перепроверил список, осведомился, нет ли у кого потертой или каких других жалоб. Таковых не оказалось, но были обнаружены двое в небывалых цыпках на багровых икрах, кои под слезное несогласие были отправлены по домам мазаться топленым маслом и обкладываться капустным листом. Однако в решающий день, когда участники похода на Обапол принялись запасать провиант, начались расспросы: «Зачем?», «За какой надобностью?» — а узнавши, куда и с кем, родители многих не выпустили за ворота, самых же строптивых и непокорных рассовали по местным «кутузкам» — кладовкам да темным запечьям.

Тем временем подступил срок собираться в школу, интерес к землемерию сам собой поиссяк. Пришлые ребятишки, гостившие у деревенских дедушек-бабушек, разъехались восвояси, а местные после Дня знаний, цветов и речей на выгоне перед школой, не успевшие раскрыть тетрадей, на другое утро были отправлены на картошку, поскольку Обаполский район считался передовым.



Но в Кольшиной голове, прикрытой полотняной баскеткой, уже свил гнездо новый замысел.

Той же осенью нашел он в поле четырехметровую секцию от поливальной системы. Самой системы нигде не было видно, а вот одинокая труба с фланцами на обоих концах осталась. Кольша прошел было мимо, но под кепочкой уже зажужжали колесики на предмет полезности этой трубы, и он воротился почти с полдороги, чтобы лучше исследовать находку. Попробовал приподнять — труба подалась без особого сопротивления. Постучал по ней спинкой складничка — звук чистый, высокий, поскреб лезвием — светло, приветно блеснул алюминий. «Вещь хорошая! — оценил Кольша. — Но никто про нее не вспомнит, чтобы отвезти на хоздвор, так зазря и пропадет, зарастет полынью, а то и трактор потом наедет, сомнет, приведет в окончательную негодность». Кольша срезал ветку дикой боярки, воткнул возле трубы, для памяти, и отправился домой. И, уже подходя к подворью и увидев на заревом разливе силуэт своей избы, которая горбатостью кровли вдруг напомнила ему всплывшую подлодку, он осененно хлопнул себя по кепарю: «Ба-а! А где же перископ?» И сразу же само собой решилось, что из той поливальной секции он будет создавать перископ! Это же так ловко: оба фланца как будто затем только и приданы, чтобы к одному из них привинтить верхнюю зеркальную головку, а к другому — нижнюю светоприемную камеру.

Идея властно озарила Кольшу прекрасным чудодейственным свечением, он воспылил духом немедленного созидания, и потому, чувствуя это закипание внутри себя, которое уже нельзя было ничем погасить или отложить на завтра, он отыскал свою двухколесную надворную колымажку, сегодня же, в сумерках, отправился за трубой, всю дорогу будоражившей его воображение отменной прямой, девственной округлостью и легким, певучим звоном.

Легко сказать: перископ. Но труд над ним долог, а главное — кропотлив, или, как говаривал Кольша, копотлив, что, пожалуй, точнее. Первым делом к нему нужны зеркала, которыми, впрочем, Кольша удачно разжился, обнаружив их в кутыринском сельпо, каждое — с ученическую тетрадку, каковые, собственно, и нужны были. К ним — две установочные камеры, которые, само собой, на поле не валяются, и над ними еще покумекать надо. Опять же — бандаж для устройства поворотного механизма. С этим делом надо топтать в кузницу.. В общем, много чего... Когда же осталось только пробить крышу да вырезать дыру в потолке, тут-то и подала голос Катерина:

— Чего-о? Какую такую дыру?

— Перископ вставить... — пояснил Кольша.

— Это еще что такое? На звезды смотреть? Так у нас крыша — и без того звезды видать.



— Ты, Катя, ошибаешься: то телескоп, а у нас с тобой — перископ. Это совсем даже разные приборы.

— А мне все едино: на дворе октябрь, люди топить начали, а ты — крышу дырявить.

— Дак я же опять заделаю!

Кольша усмехнулся непониманию жены и с этой усмешкой посмотрел туда-сюда, будто ища по углам избы вящей справедливости. И он снова попытался объяснить Катерине особенности своей конструкции:

— Вон на подводной лодке тоже перископ, в океане плавает, а не течет. А у нас какая вода? Дожжок иной раз набежит, да и то не каждый день. А ты панику поднимаешь. Вот поставлю перископ и опять заделаю начисто, чтоб нигде ничего. Только не знаю, где лучше. Думал, на печи... Оно, конечно, с одной стороны, удобно: лежишь себе и поглядываешь, не шкodyт ли зайцы на капусте. Но с другой стороны — тебе на печь лазить несподручно. Чтобы вместе глядеть-то...

— Чего выдумываешь...

— Дак и я сомневаюсь... Поди, лучшее место — в горнице, над круглым столом...

— Там иконы Божьи... Я ить думала, ты в сарайке. А ты, гляди-кась, в дом метишь.

— Так ведь в доме-то лучше! — досадовал Кольша. — Ну что хорошего в сарае? Темно, зябко, куры всполошатся, пыль подымут. А перископу пыль вредная. Там же оптика! Экая без понятия! Выгоды своей не видишь! Я ведь как лучше...

— И понимать неча.

— Ну как же, сидим с тобой за столом — тепло, светло, самоварчик пошумливает, чаек пьем. И перископ — вот он, аккурат над самым столом. Хочешь — вправо поверни, хочешь — влево. Вся округа видна: кто куда поехал, кто куда пошел... Кто с грибами, кто — с дровами... Егозка-то наша синяя, осенняя, вся в палом листе. А в небе — облака бегучей чередой, луг то застыт, то опять позолотят.. Совсем как в песне:

*Отговорила роща золота-а-я  
Березовым веселым языком.  
И журавли...*

Эх, девка! А ты не пуцаешь!

Кольша отвернул занавеску, припал лбом к стеклу и уставился в луга, в свою точку схода, в то место, где небо встречается с землей и где, по его понятию, должна обитать истина.

Тяжба Кольши с Катериной за выход в небо разрешилась неганданно. Дня три спустя в избу серым бочонком вкатился весь налитой, округлый, пахнувший укропом участковый Сенька Хибот. Для



начала он произнес с нажимом слово «так», каковым начинают разговор обаполские да и всея Руси участковые милиционеры.

— Так... — Сенька обзрел кухню, ее углы, рогачи и чапыги, потянул носом на известный предмет и только после этого произнес без всякой заинтересованности: — Ну, показывай, что ты тут.. Дошло до нас кое-что...

Кольша все понял, молча напялил баскеточку, телогрейку внапашку и повел участкового во двор, где на двух стопках кирпичей, окрашенный в голубое, под цвет неба, сох уже подчистую смонтированный перископ.

— Так-так-так... — жестко произнес Сенька, будто передернул автоматный затвор. — Куда глядеть?

Кольша носком кеда указал на нижнюю камеру, в глубине которой по отраженным бликам угадывалось зеркало.

Сенька перевернул картуз кокардой на затылок, предубежденно опустился на четвереньки и заглянул в квадратный проем нижнего отдела. От напряженного смотрения Сенькины уши цветом уравнились с околышем. Оставаясь на четверях, он недоуменно повернулся к автору конструкции:

— Слушай, ни хрена не видно... Может, чем закрыто?

— Нет, все нормально, — пояснил Кольша. — Просто он верхней камерой в лопухи глядит. А если поставить вертикально, то все будет как надо...

— И где же ты намерен его поставить? — Сенька поднялся на ноги и отер о штаны растопыренные пальцы: где-то все же цапнул краску.

— А вот.. — кивнул Кольша на конек избы.

— Так-так... — опять «передернул затвор» участковый. — А ты знаешь, что перископ — дело секретное? Чтобы глазеть в него, нужно разрешение.

— Чего же тут секретного? — удивленно свел плечи Кольша. — Ить он ничего не увеличивает. А просто так... Показывает как есть.

— Показывает-то он показывает... Да смотря чего... Смотра куда направлять.. Это, брат, такое дело, подсудное...

— Куда хочешь, туда и направляй, — оживился Кольша. — Там для этого специальные правила есть, две ручки. Хочешь, давай приподнимем? Я потом перекрашу.

— Да нет, с этим все ясно... Все ясненько... — Сенька Хибот спихнул фуражку на сочно разомлевший нос, похожий на шпикачку, и произнес как-то резиново, с расстановкой: — Ну что, брат, будем делать? Сам разберешь? Или мне отволочь эту штуку в опорный пункт? Если сам — то писать ничего не будем, никакого протокола. Вроде ничего и не было... А то ж мне тогда машину вызывать... Бензин тратить... А с бензином — сам знаешь, уборочная... Ну как, разберем?

— Ну.. Не знаю... Зачем же разбирать? — не согласился Кольша. — Ведь оно еще не просохло.



— Ага. — Сенька, засунув руки в штаны, озабоченно восстал над трубой. — Стало быть, не хочешь пачкать руки? Тогда сделаем так... Чтоб рук не марать...

И он неожиданно подпрыгнул и с возгласом «опля!» обеими подошвами ботинок и всем своим округлым бочковым весом обрушился на перископ, приподнятый над землей кирпичными подставками. Труба без сопротивления легонько шпокнула и коснулась земли заостренным надломом...

— Попить ничего нету? — удовлетворенно спросил Сенька.

— А? — не расслышал Кольша, все еще не понимая, как это произошло...

#### 4

С того дня как Сенька Хибот изломал последнюю Кольшину мечту, Кольша и сам как бы изломался: попритих, засел дома, принялся вязать носки-варежки на продажу. Катерина за свою жизнь так надоярилась, что ее пальцы уже и не держали вязальных спиц...

За это время много воды утекло в Егозке, немалые перемены произошли и на ее берегах. Во-первых, в Верхних Кутырках переменялась власть: была твердая, с матерком — пришла помягче, с ветерком. Как ветром выдуло амбары и склады, сено тоже куда-то унесло со скотного двора, из-за чего пришлось порезать скотину и распродать на обаполском базаре. Не устояли и сами коровники: сперва ночью, а потом и в открытую посдирали с них шифер, сбросили латвины, поснимали с петель ворота. Колхозную контору тоже изрядно пощипали: не стало телевизора, радиолы, унесли председательский ковер, на который в прежние времена не дай мать божья было попасть. Приглянулись кому-то и кабинетные стулья, из коих остался один — только для самого председателя акционерного товарищества Ивана Сазонтовича Засевайло...

Нынешней зимой из дюжины посадских труб сколько-то еще дымилось, какая погуще, какая пожиже, остальные вовсе обездымели, так и торчали, обсыпанные снежком: молодые разъехались искать свою долю, ну а старые — известно куда...

Кольшина труба ноне тоже едва не пригасла: кончилось топливо. Раньше ведь как: еще август, а уже везут из Обапола орешек или брикет для стариков по заведенному списку. А нынче — дудки... Новые власти куда-то задевали список, а в Обаполе, сказывают, топливо разворовали чуть ли не с вагонных колес. Резвые мужики, видя такое, принялись сечь ветлу на Егозке, оголять реку, редить лесополосы. Ну а Кольша, как же это он — топором да по живому дереву?.. Да никак! Не смог себя пересилить, все ждал: может, список найдут...

Тщетно берегли прошлый запасец дров, тот без угля быстро upholstery. Пошла в распыл всякая окрестная хмызь, чернобыл с неза-



паханных межей, с опустелых подворий. Катерина почти ползими вьючилась вязанками. А когда навалило снегу, так что в поле не ступить, Кольша разобрал плетень вокруг нижнего огорода. С ним и дотянули до Сороков, до первых проталин. Но до настоящего тепла еще ого сколь печку топить!

Подумывали было горничную лавку спалить, паче теперь гостей ждать неоткуда, да негаданно выручила оказия.

По вечерним сумеркам мимо Кольшиной избы, трандыча и лязгая, волокся трактор. Дальний родственник — Посвистнев — вез со станции только что поступившие дрова: полные сани пиленых двухметровок! Кольша выскочил в чем был, замахал руками.

Посвистнев притормозил, открыл дверцу:

— Чего тебе?

— Слушай, Северьяныч, одолжи полешко!

— За каким делом? — не понял тот. — На черенок аль на топориче?

— Печь протопить! Сделай милость!

Неохота было Посвистневу вылезать из трактора, снаружи косо мело, секло по кабине, да и не с руки мешкать: хотел по свету добраться до своих Кутырок; однако он молча спрыгнул на землю, заступил на санный полук, выпихнул из-под цепной связки самый верхний обледенелый кругляш.

Кольша почесал осыпанный замятью затылок: мало спросил... Дак оно как: просишь два пуда, а дают один. Брать-то выгоднее, чем давать.

— Дай еще, а? — пересилил себя Кольша. — Чтоб на всю неделю потянуть. А я потом отквитаюсь.

— Не из чего давать, — как бы огрызнулся Посвистнев. — Ты теперь и на таганке сваришь, а мне еще и в хлеву топить: телята пошли...

— Ну да еще чурку — не убыток: вроде как по дороге обронил... — Озябший, в одной рубахе, Кольша мялся возле саней. — А я через неделю отдам... Тоже на станцию съезжу.

— Через неделю речка мосты зальет...

Насупленно поизучав концы дровин на возу, Посвистнев обеими руками натужно вытолкнул растопыренную корьем, забитую снегом толстую березовую кряжину. Та грохнулась о льдистую твердь с глухим утробным гулом, и Посвистнев торчком сапога отбросил ее с дороги. Охлопав ладони, он забрался в поддрагивающую кабину.

— Вот как уважил! — закивал-закланялся босоголовый Кольша. — А то хочешь, у меня одна вещичка есть? Добро за добро!

Кольша, обрадованный, что вспомнил, кинулся к сениям, но Посвистнев остановил его недовольно:

— Что за вещица-то? А то мне некогда...

— Дак сейчас покажу. Кутикалки!

— Ладно, балабол! На кой они мне?



— Ну как же! Скоро праздники, с гор потоки... От неча зимой сделал. На двенадцать голосов! Воздуху совсем мало берут, а зато звучность — чистые лады. Иной раз гукну раз-другой — у Катерины глаза так затеплеют. Чую, будь ноги поздоровей, сию минуту б кругом пошла, как бывало в девках. Ты-то не помнишь, а я и доси не забыл.

— Да мне-то они зачем?!

— Когда нито — кугикнешь. Не все ж работа да работа. А нет — детишкам отдашь...

— Мои детишки вместе со мной в четыре встают, некогда им дудеть... А то вроде твоего — всё и прокутикаем...

— Ну тогда хоть так зайди, по-родственному. Чаю испей.

— Он у тебя холодный.

— Дак это я быстренько...

## 5

На другое утро, тихое и светлое, сам в добром настроении от вчерашней удачи, Кольша втащил обе дровины во двор, вынес две табуретки, перевернул их вверх ножками и, возложив на эти козелки малую двухметровку, кликнул Катерину, чтобы шла пособлять пилу дергать. Оно хоть и не велик кругляш, но поперечной пилой с крупными зубьями одному шмыгать неловко: пила начнет кобениться, мотать порожней ручкой, извивами полотна клинить распил.

— Катерина-а! Где ты там? Выходи гостинец делить: две чурочки — направо, две — налево.

Катерина вышла на крыльцо, обтирая о ватник мокрые руки, ступила к козелкам, заняла позицию.

— Начали! — скомандовал Кольша.

Пила весело звенькнула, но тут же изогнулась и ерзнула в сторону по сочной сосновой коре, оставляя косые задиры...

«А хоть и вдвоем, — думалось Кольше, — когда баба неумеха, тоже не разгонишься...»

— Да не дави ты на пилу! — направлял Катерину Кольша.

Туда-сюда, туда-сюда, вжик-скоргык, скоргык-вжик — вот тебе и поперхнулось дело.

— Не висни, не висни на пиле! Не препятствуй!

— А я и не препятствую, — отпиралась Катерина, часто взмаргивая.

— А что — я, что ли?

— Ну и не я.

— Ты пили, как дышишь. К себе — вдох, от себя — выдох.

— Я так не успеваю. Поди, пила такая никудышная.

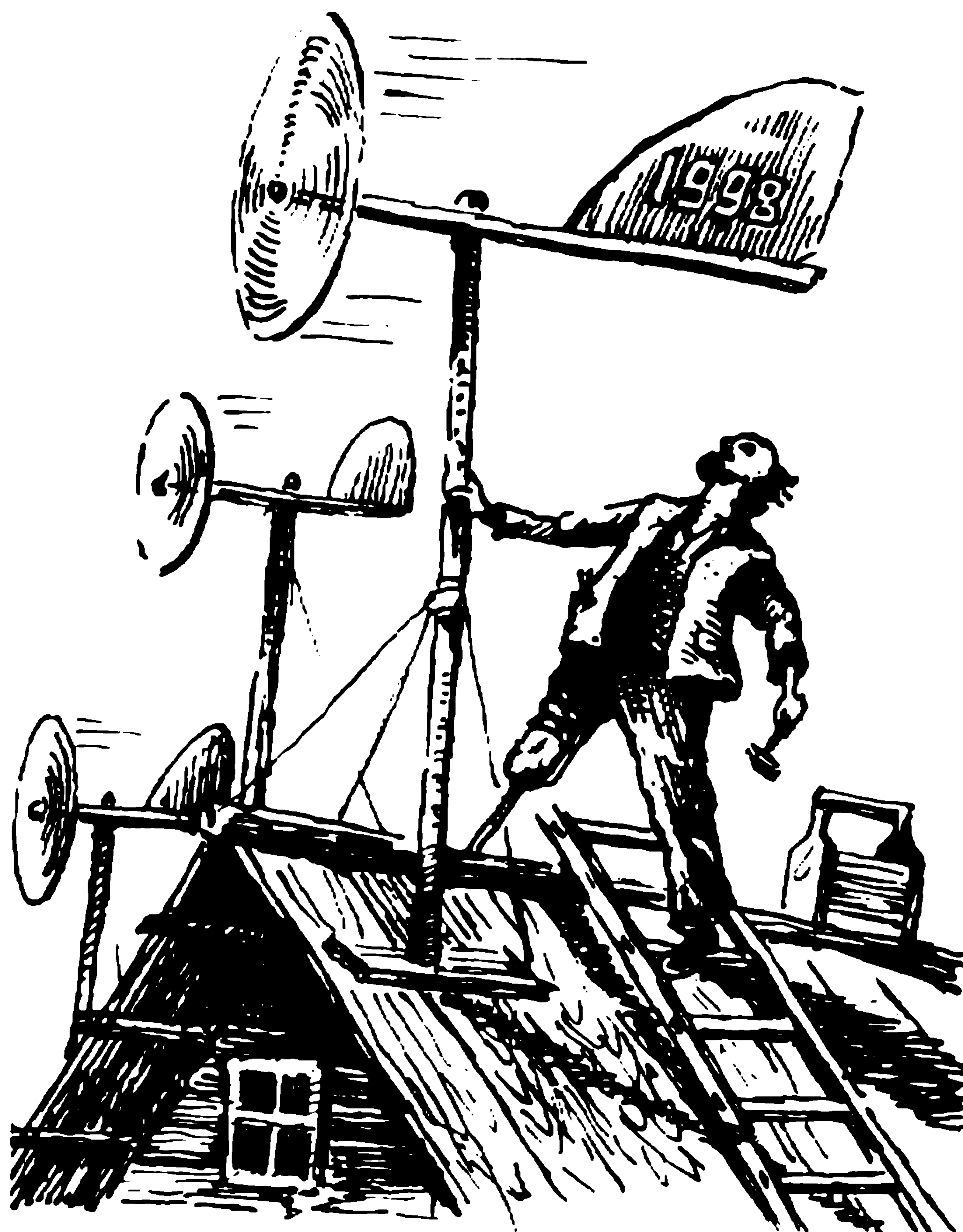
— Пила-то кудышная... Да вот.. вишь... сама заморилась... и меня... замаяла... Ладно, давай передохнём.

Стоят друг против друга, оба запыхались, округло зевали ртами. Кольша покосился на Катеринины руки: на пальцевых суставах бе-



зобразные шушляки, в кулак не согнуть. Не то что пилить — картошину очистить целая морока. А так глядеть — баба еще хоть куда: кровь с молоком!

Тем временем вызревало погожее утро — не то что вчера, с его низким, нахмуренным небом, готовым в любой миг просыпаться жесткой крупой. Солнца еще не было, оно по-прежнему оставалось под туманным миткалем, но свету уже — полным-полно. И свечение это сочилось с приветной теплинкой, от чего все вокруг было обласкано нежной молочной топлённостью: и



травяные проталины в затишках, и всякая заборная тесина, и острецы сосулек по карнизам, уже набрякшие, словно коровьи соски, накопленные талицей, готовой вот-вот побежать дробной чередой капли.

Покрутили головами, порадовались благодати и принялись за березу. Та, непутевая, сразу и воспротивилась, захрипела под зубьями закучерявленной берестой. Кольша сходил за топором, побсек вспухшее корье, остучал обушком ледышки.

И опять: вжик-скоргык, вжик-скоргык...

— Давай... не дури... матушка... — уговаривал Кольша колодину. — Пошла... пошла, любезная...

Наконец-то почувствовалась настоящая древесная твердь, струйкой выплеснулись белейшие опилки: Катерине — на резиновые сапоги, Кольше — на адидасовские подштанники. Запашисто повеяло деготьком.

Однако березовая плоть через сколько-то протяжек пилы внезапно закончилась, полотно пусто провалилось вовнутрь и тотчас заплевалось затхлой трухой пополам с ледяной кашей.

— Ну Северьяныч уважил! — обиженно откинулась Катерина. — Пустую дровину спихнул... А ты ему — кутикалки... Всю зиму ладил, звук подгонял...



— Ладно, не кори напрасно... Не взял он нашей музыки.

Из второго распила вместе с прелью и снегом посыпались еще и какие-то черные барабашки. Все они были свернуты, а недвижные крючковатые лапки собраны пучком, тогда как телескопические усики прижимались к большим выпуклым глазам, похожим на пляжные очки. В темных стеклышках этих очков отражалось небо, а еще промелькивал и сам Кольша.

— Катерина! — изумился он, протягивая жене ладошку с опилками. — Да ведь это же мураши-и!! Плянь-кась! Ну чудеса!..

— Поди, пустые кожурки... — с опасливым неприятием отвела Кольшину руку Катерина. — Давай допилим да я метлой замету, а то стирку затеяла: сколь накопилось.

— погоди, погоди... успеется со стиркой.... — озаботился своим Кольша. — А вдруг они только спят? Видишь, все лежат одинаково... Стало быть, сами так полегли. А во льдах оно все долго хранится. Недавно мамонта откопали, а у него во рту еще трава недоеденная...

## 6

Как ни противилась Катерина, как ни расставляла в дверях руки, не пуская Кольшу в святую горницу, тот, упорный, все же настоял на своем: набрал в миску опилок, побрызгал водицей, разложил по окружности муравьев, сверху обвязал марлечкой и весь этот инкубатор выставил на подоконник, на южную сторону, под солнечный обогрев.

— Ну вот! — наконец удовлетворился Кольша. — Будем наблюдать. Наука, поди, тоже не все знает. Вот опять нашли каких-то голых индейцев. Огонь круглой палочкой добывают, живых пауков едят. Наверное, и еще есть такие, но никто не знает. Сам Бог небось про них забыл, а может, никогда и не видел. А кто же станет доглядывать муравьев? Они же вон какие малипусенькие: наступил и пошел дальше. А может, в нем тоже есть какие соображения? Чего-то он видит вокруг себя, что-то любит — не любит, чего-то чурается. Так что интересно понаблюдать, как и что...

— Неча задохлыми наблюдать, — противилась Катерина. — Ежли бы за то трудовень писали... Вот придет тепло, тогда и наблюдай. Летом их полон двор бегают.

— Дак то здешние, а эти — из дальних мест. Может, таких еще никто не видел. Охота узнать, что за порода. Вот бы посадить их в нашей местности!

Присутствие на подоконнике посуды с телами таинственных муравьев-иноземцев будоражило Кольшу до самозабвения. Катерина уже знала, что теперь он за весь день не попросит есть и ни разу не взглянет на ходики, чтобы определиться в своем бытии. На его впалом лице, поросшем редким, по-иночески чернявым очесом,



проступила та его возбужденная улыбка с двойными складками на щеках, которая всякий раз появлялась и не сходила часами, когда он загорался внезапным интересом.

— Это сколь времени прошло, пока полено к нам на хутор попало, — размышлял вслух Кольша, прохаживаясь у окна. — Потому и сгнило, что небось долго в пачке лежало. У нас на Ветлуге, бывало, по два, по три года лесины не тронуты. В иные осень месяцами морось висела. Грибы чуть ли не на крыше растут. Как тут бревну не затрухляветь? Да потом еще сплавом гонят. Подгнившая береза первая идет на дно. Но в дровяном плоту ее вяжут в один пакет с другими породами, и держится она за чужой счет. А сплав аж с Вохмы, потом в Ветлугу, а там и в Волгу. А Волга — вона велика!

Улучив момент, Катерина вошла в горницу с Кольшинными шапкой и телогрейкой:

— Сходи-ка поколи напиленное, печь запалим.

— Волга — это махина! По ней можно плыть аж до самых арбузов...

— Ладно, потом, потом, — не давала ходу Катерина, запихивая Кольшины руки в рукава. — День на убыль пошел, а мы еще не топили, не варили...

— Ага, ага... — соглашался Кольша, надевая свою старенькую кроличью шапку задом наперед.

Печь долго не занималась сырыми дровами. Катерина торчком ставила свеженарубленные полешки вокруг вялого очага, понамутила дымом глаза, но в конце концов раззадорила пламя: печь, бабахая, будто патронами, лизнула рыжим языком забитое дымом устье, и вдруг высветилось изнутри, сразу воспламенившись всеми подсохшими дровяными концами.

Катерина замелькала рогами, выставляя к огню все, что могло принять воду. — чугуны, горшки, молочные крынки. Намочив для стирки ношеное белье, она по второму заходу накипятила воды для купания и мочалкой с азартом выскребла и выполоскала в большой емкой лохани смиренного притихшего Кольшу. И уже намытый, облегченный, мокро приглаженный на висках, Кольша за кашей, а потом за веселым самоваром с баранками и вареньем опять вспомнил о Волге, о своем молодом, про все то, что всколыхнула в нем березовая колода, уже наполовину сгоревшая в голодной печи. Катерина слушала — не слушала уже не раз слышанное, терпеливо кивала и удивлялась: «Скажи ты!», «Это надо же!»

— Дак вот — «издалека долго течет река Волга». К примеру сказать, до Астрахани плоты почти все лето в гоне. Аж молодью позарастают. Сосновый, строевой плот — чистый. А дровяной — чем больше березы, тем зеленей. Шумит, полощется свежий березняк! Выше колен молодые побежки. Иной раз птахи на зелень залетают. Особенно славки: «у-тюр-лю, у-тюр-лю...» День плывет, другой. И не понимает,



что от отца-матери уже далеко. Тут же, в поросли, шалаш плотогон. Или палатка. Но в палатке жарко, шалаш лучше. Рядом дымок курится, сетровой ухой пахнет. По Волге плыть да сетра не поймать — такого не бывает. А они на вечерней заре иной раз так разыграются, этакими чухами так повскидываются над водой, аж брызги на много сажен в обои стороны. А то как-то сижу на крайнем бревне, ноги в реку свесил, теплая струя подошвы щекочет. Тишина! Из буксирной трубы дым кверху, как из самовара... Вот тебе: как взбросится в двух шагах от плота, рот бубликом, все бляхи на боку видать, да ка-а-ак обдаст ливнем с головы до пят! Этак выпугает, баловник, аж от края навзничь отвалишься, ноги к бороде подберешь... Я ить на сплаве дудки, кутиклы, научился делать. Инструмент завел: резачки, коловоротцы. Летнее время долгое — сверлю да строгаю себе. А то змея запустим — летает, вертит хвостом. А еще медвежонок с нами плавал. Мы его плясать под дудку научили, через голову кувыркатся. Потом под Саратовом на встречную баржу за арбузы отдали. Нам ить все равно скоро было плоты разбирать. Но вот что занятно: сколь ни плавали, всегда с нами на плотах муравьи. Бегают себе по бревнам, как в своем лесу. Ведь где-то они гнездились, в каких-то пустых бревнах? Стало быть, и зимовали в них, вроде наших...

Не сдюжила Катерина, слушая Кольшу, сронила голову на плечо и отпустила на волю слюнку..

## 7

Озабоченный и торжественно отрешенный, с этой своей улыбочкой предчувствия откровения, Кольша почти не покидал инкубатор: развязывал для вентиляции марлечку, пальцем определял температуру и влажность подстилки, направлял на пострадавших увеличительное стеклышко... И утешался тем, что прошло еще совсем мало времени, чтобы ждать какого-то результата. А переколотав еще одну ночь, чуть свет вскочил с запечного полка, примотал деревягу, по привычке выставил нули на счетчике и, не побудив Катерину, пожалев ее в утреннем сне, утрехал из дому по хрусткой подмороженной дороге.

Воротился он при свете посадских окон, пропахший талой полевой землей, захлестанный бездорожьем. Катерина стащила с него взопревший резиновый сапог, а деревянную опору, скованную железным ободом, омыла в тазике. И осуждающе бросила:

— Тонул, что ли?

— Тонуть не тонул, но в одном месте свою березу едва выдернул.

— Что за лихо по такой-то грязище?

— В Кутырки ходил, в библиотеку. Спросить что-нибудь про наш случай. А Тоська как зареочет: «Про чего-чего-о?» Про муравьев, говорю. «Нет, дядь Коль, ты серьезно? Первый раз такое слышу. Или разводить собрался?» Интерес, говорю, имею. Так ты постарайся.



«Ой, Николай Кстиныч, даже и не знаю, где искать... Я по декретному была, так тут без меня всё перерыли. Люди копают, на место не кладут. Лучше прочитай про коневодство. Недавно получили. С картинками. Как запрягать, как самому телегу сделать. Сейчас на телегу спрос». Нет, говорю, Тося, мне про коневодство пока не надо. Ты мне про насекомых. «Ну, дядь Коль, тогда иди сам и копайся. Тебе для потехи, а я каждый день пылью дышу». Ну, полез я... А там книг — аж до потолка! До верха без лестницы не добраться. Да я туда и не осмелился. Только по низам посмотрел. То оглавление поглядишь, то какую страничку прочитаешь. Книжка — дело липучее. Да и не заметил, как день прополыхнул...

— Нашел чего?

— Нашел! — извлек из-за пазухи весело раскрашенную книжицу. — Плянь-кась какая: «Коленками назад» называется.

— Это про тебя, — усмехнулась Катерина. — Чего есть не просишь?

На ходу, причесывая вихорцы, замаявшиеся под зимней шапкой, Кольша, по своему обыкновению, робко, будто в гостях, прискондыбал к столу, где уже стояла тарелка с хлебом, прикрытая рушником. Голодно пощипывая хлеб из-под накидки, он принялся перелистывать книгу сперва одним только уважительным пальцем, но вскоре уже объял обеими руками, и что-то там вычитывая, сам себе кивая, одобряя, соучастно скидывал упавшую на лоб кудельку.

— Слушай, чего пишут! — восхищенно обратился он к Катерине, в самый раз подносившей тарелку паривших щей. — «Муравьиные постройки похожи на города с разумной планировкой, многоярусной этажностью, где всему и всем обозначено место. Система вентиляции такова, что, пока действует муравейник, ничто, ни единая хвоинка, не подвергается гнили, хотя на весь этот органический материал в условиях постоянной влажности неусыпно воздействуют бесчисленные гниlostные организмы». Чудеса! — Кольша восхищенно щелкнул по книге россыпью ногтей. — Никаких тебе дипломов, никаких академий! Спросить: кто их этому научил? А, Кать? Вот кто?..

Катерина пожала плечами, потому что действительно не знала такого ответа, а потому привычно, как заведено, приподняла указательный палец к потолку.

— Ой, вряд ли... — восторженно не согласился Кольша. — Не станет Он говорить каждой козявке: ты неси щепочку сюда, а ты — туда, ты клади так, а ты так... Их же миллионы, каждого не научишь...

— Не знаю, не знаю, Коля. По мне — куча да куча. Ты ешь давай, весь день в печи держала.

— Я так думаю, — не слушал Кольша. — Для такого артельного дела нужен один интерес. Чтоб у каждого с каждым совпадал. Тогда скопом до небес гору насыпешь... или своротишь...



Проснулась Катерина среди ночи, должно быть, от ощущения на веках излишнего света. И верно, предрассветно серело уличное окошко, а на столе желто теплилась переноска, приглушенная газеткой. И все так же сидел над книгой Кольша, туда-сюда ероша и путая волосы на затылке. Заметив ее шевеление, он тут же завосклищал:

— Ну да как же им гору-то до небес не насыпать?! У них все по совести: никто не ленится, перекуров не делает, за другого не прячется, материалы налево не тащит. Каждый вкалывает от души, изо всех сил. Вот, Катерина, опять же: кто их этому научил? А тогда почему нас не научат?

Катерина поспешила накрыться одеялом...

Между тем на хуторском угоре установились погожие плюсовые дни. Хрустел и рушился последний лед по закоулкам, слепили глаза взблески ликующих ручьев, устремившихся с посадских дворов в объятия Егозки. Та, всех принимая, налилась закрайками, неразрешенно вспучилась серым ноздреватым льдом с долгой трещиной посредине.

С улицы в окне замелькала вся новая, оранжевая, яркая, как огонек, крапивница, раз и другой припала к стеклу против муравьиной миски, как бы говоря: «Я уже вот она! А вы чего тянете? Живы ли? Пора, пора!..»

Появление бабочки подогрело Кольшино нетерпение, и он снова и снова брался за увеличительное стеклышко. А, как известно, страстное ожидание желаемого иногда лишает наблюдателя трезвого суждения, и он в конце концов перестает верить своим глазам. Был и у Кольши момент, когда однажды, после долгого и пристального вглядывания в это печальное поле павших лесных братьев, ему вдруг почудилось, будто у одного из муравьев, лежащего рядом с крошечной берестинкой, вроде бы пошевелился усик. Взволнованный Кольша направил туда свой микроскоп, который тотчас подтвердил, что да, левый усик действительно приподнят над большим выпуклым глазом, будто муравей решился наконец взглянуть на здешний белый свет. «Погоди, — окоротил себя Кольша. — А если так и было?»

Сколько потом ни подступался Кольша к заподозренному мурашу, левый усик по-прежнему оставался приподнятым.

Чтобы как-то пробежало время, Кольша отправился во двор, поковырял лед за погребницей, выпустил под забор застоявшуюся лужицу, а когда снова вернулся к своему реанимационному отделению, то со смущением убедился, что у того муравья, которого он назвал про себя Митяхой, левый усик снова был опущен, как и у всех остальных.

Кольша в раздумье потер лоб и на всякий случай сходил в сарайку, снял с полки банку белил и острой спичкой нанес белую метку на гузку запримеченного муравья. А утром, еще до солнца, еще



без ноги, в одних трусах, допрыгал до подоконника и с замиранием принялся развязывать марлечку.

— Ты чего? — бдительно спросила с постели Катерина.

— Тут один, кажется, заморгал... — шепотом сообщил Кольша.

— Может, показалось?

— Вчера днем левый усик был кверху, а вечером — книзу.

— Какой там усик? Какой усик? — Катерина решительно приподнялась на локте. — Где ты и разглядел?

— Вот стеклышко, погляди сама... Я того белилом пометил...

— Ой, парень! Надо мерить температуру. Ты, кажись, того... Вот и спать перестал...

— Да я только поглядеть...

— Шел бы ты, Коля, на Егозку, проветрился бы... Мужики уже плавину всякую ловят, а у нас опять ни щепочки. Иди-иди, и мне руки развяжешь: днями Пасха, убираться надо, зимние рамы выставлять, окна мыть...

— А как же тут?

— Не бойся, у меня не разбегутся. Ну, подсунул Северьяныч мороки!

## 8

А на реке действительно было хорошо, привольно. По неузнаваемо широкой воде, празднично сверкавшей солнечной рябью, устремленно проносились большие и малые льды, иногда скапливаясь в недолгом заторе, где что-то подмыто рушилось, стеклянно хрустело, вскидывалось тяжкими всплесками, и наконец льдины, разобравшись друг с другом, снова устремлялись в свой последний бег. Над тихим же заречьем, где в тепле и спокойствии отстоялась полая вода, черно-белыми отметками крыл объявляли о своем прилете хлопотливые чибисы. А позади, за Кольшиной спиной, на весь околоток кричмя кричали ошалелые петухи, и Кольше казалось, будто его кочет Петруня, огонь с полымем, горланит так, что от него сыпятся искры: того и гляди полыхнет весь просохший и обогретый хуторской посад.

— Экое благо! — шурился Кольша на колкий блеск затопленных лугов, невольно увязывая эту благодать с близкой — через два — Пасхой, совпадавшей с Егозкиным половодьем.

Он устроился с багром на небольшом мысу, ниже которого ходила кругами обширная суводь. Набравшие скорость тяжелые льдины проносились дальше своим путем, но все, что было полегче, захватывалось суводью и до поры кружилось между берегом и главной речной струей. Кольше уже удалось кое-чего словить: пару заборных тесин, помятый тарный ящик и даже нечто похожее на погребной притвор с кованым кольцом на поперечине. Все это добро он относил на бугорок и там раскладывал на просушку.



Подошел, тоже с багром, хуторянин из третьей от Кольши избы, глуховатый дедуля по прозвищу Ась. Он тут же, еще не сказав ни слова, скрутил «козу» и, раскуривая, принялся пыхать кизячным дымком махорки. Дым клочковато отлетал прочь, как бы чужой в остром весеннем воздухе.

На нем было все велико: рукава на старинном, еще сталинском, ватнике закатаны баранкой, резиновые бродни — тоже, черный суконный картуз опирался на оттопыренные сухие, прожилковатые уши.

— Здорово, говорю! — наконец произнес дедко и прибавил к сказанному свое привычное: — Ась?

— И ты — здоров!

— Во, ядрень ее не замай! Давеча собачья конура плыла. Не видал?

— А я думал — улей.

— Ась?

— Улей, говорю, — нажал на слова Кольша.

— Да не-е, конура: крыша на два ската. Железная! Цаплял-цаплял, да никак: багор короток. Надо б в воду ступить, да убоился: крыгой не сшибло б... Конура ха-арошая! Себе б впору.. — Дедко кисло, с кашлем и дымом хохотнул. — А чего, лишь бы голова в лаз прошла, ухами не зацапилася. А так — просторная. Ноги не спрямишь, а калачиком — за милу душу.. — Дедко еще раз посмеялся, посипел горлом. — Ну а ты чего наловил?

— Да вот.. дровишек...

— Тебе-то на кой? У тебя вон солнце прям на полатах! И муки, поди, на три кулича намолот... на своих мельницах? А я зимой глядел, дак дым из твоей трубы не всяк-то день. Думал, солнцем грешься.

— Мое солнце — оно не для этого...

— Ась?

— На нем портянки не сушат.

— А тади для чего? Для сугрева мыслей? Али знак веры какой? Прежде, сказывают, люди солнцу кланялись. Ты не из них ли?

— Не знаю, из каких, — дернул плечом Кольша. — Оно у меня — для зачину дня.

— Ага... Ага... — согласно закивал дедко. — Я ж и смекаю: для обогрева души. Душа она ить завсегда к светлomu тянется. Иной раз глонешь стакан — нет, не тот сугрев. На другой день под рубашой ишшо муторней... Дак и весь народ так хлещет, не поднявши головы... Вот чего ты придумал! Плядеть, дак вроде баловство. Ан теперь вижу — умно: не дать душе зазябнуть.

Дедко заморгал красноватыми веками с белесыми тычками редких ресниц и на этот раз тоскливо, сиротски заглянул в Кольшины глаза:



— А можа, ты и мне солнце намалюешь?

— Это можно, — согласился Кольша. — У меня серебрянки еще на два солнца осталось. Давай одно — с улицы, а другое — со двора. У тебя фронтон не дырявый?

— Ась?

— Ветер, говорю, по чердаку не гуляет?

— Не-е! Заборка шалёвчата, в паз уложена. Все крепко. И голубым покрашено. Вроде как небо будет.

— Ладно, договорились, — пообещал Кольша. — После праздников зайду.

— Ага... Ага... — умиротворился дедко. — Кто ж его знает... Краска — она ить на алюминиве, электричество должна пропускать. А крутом — магнитные силы. Плядишь, чего и притянет... Радикулит уймется, али баба перестанет лаяться. У тебя, вишь, завсегда тихо. Иду мимо твоего двора — тихо, иду обратно — опять ничего, одни токмо ветряки бурундят. А ить Катька твоя натурная! Горазда и по загровку заехать... Ась? Не было такого?

Кольша смущенно пересунул шапку:

— Такого не было.

## 9

Тем часом Катерина готовилась к святой неделе. Почувяв волю и свободу рук, собралась за день побелить печь, веничком обмести потолок, выставить рамы, вымыть стекла и уж после всего выскрести половицы и застелить все новое: постель, скатерть, рушники на божницу, половички — от двери до лампады. Работы предстояло много, но доброе дело ради праздника придавало бодрости и стараний. Повязав косынку и подперев телеса, она оглядела горницу, дабы определиться, с чего начинать, и наперво решила убрать от греха Кольшино заведение, которое в горячке работы можно нечаянно задеть и порушить. К тому же от миски начало бражно пахивать, и она в полной правоте и простодушии спровадила посудину в сени на свежий ветерок. Там, на лавке, она еще раз перепроверила содержимое: все оставалось, как было, и она потуже затянула обвязку, чтобы в случае чего никто не смог совершить побега.

И право же, она совершила сей проступок отнюдь не нарочно, не с умыслом. Откуда же ей было знать, что в сени набредут вездесущие куры во главе со своим рыжим любером и горлопаном Петруней?.. Наверняка это он первым обнаружил запрещенную поживу. Дверь в сени, разумеется, была открыта, потому как весна, теплынь, зачем же запираяться от такой благодати? По правде сказать, Петруня тоже не собирался шkodить, он только хотел выяснить, дома ли хозяйка. Солнце уже за полдень, а она еще ничего не вынесла поклевать. Забыла, что ли? А между тем еще вчера прибега-



ла в курятник и забрала в подол все до одного яйца — и за вчера, и за позавчера. Так несправедливо. Конечно, они с курами уже покопались за сараем, поразгребали навозца, пощипали ростков лебеды, изловили по одной-две мухи на заборе, но все это — так, легкая разминка; а пора бы получить законную оплату твердой пшеничной или хотя бы мятой картошкой, что, конечно, хуже: картошка плохо глотается и забивает дых.

Сбежавшиеся следом куры, не найдя в сенях ничего съестного, сразу же обратили внимание на посудину. Самые бойкие из них взлетели на лавку и, теснясь и толкаясь, принялись теревить обвязку и, разумеется, сронили миску на пол Катерина даже слышала этот глухой звук, но, увлеченная хлопотами по дому, не придавала этому значения и не вышла в сени посмотреть, в чем там дело. А дело уже сводилось к тому, чтобы из разбросанных опилок выклевать недвижных муравьев, что и было исполнено в считанные мгновения. Обескураженной Катерине оставалось только собрать древесный мусор на лопату и отнести за сарай.

Вернувшийся с реки Кольша еще от порога взглянул на пустой горничный подоконник и настороженно спросил:

— А где же?..

— Ой, Коля! — подступилась к нему Катерина. — Чего я натворила!..

Она принялась каяться, заглядывая Кольше в глаза, как бы ища в них ту стрелку, которая измеряла бы степень его гнева.

Кольша молча зачерпнул кружкой воды, напился и, так и не произнеся ни слова, вышел из дому.

Катерина слышала, как под окнами заповизгивали колесишки Кольшиной тараборки: стало быть, поехал собирать свой подсохший дровяной улов.

Вечером же, по его возвращении, выждав, когда он сядет за стол, Катерина распеленала марлевый ком и распластала его перед Кольшей: на белом поле редкого тканья, путаясь в мережке, одиноко и беспомощно копошился черный муравей с белой пометкой.

— Митяха! — изумился Кольша.

— Хотела марлечку постирать, гляжу, а он там запутался, — пояснила Катерина. — Только он и уцелел.

## 10

Надвечер Великой субботы заглянула соседка Муся — обширная и шумная женщина, как-то сразу наполнившая Кольшину избу бодрой теснотой. Она была одета по-дорожному: в голубую китайскую пуховку и веселый светлый платочек, с ивовой плетенкой на изгибе руки. С Катериной она договорилась идти в Кутырки на великую литургию, а если хватит сил, то дождаться крестного хода



со всеобщим песнопением в трепете ночных свечей под многоголосье колоколов, а утром освятить куличи и кое-чего для разговления. Муся любила эту необыкновенную сутолоку, заранее возбуждалась и даже тайком, еще дома перед выходом, нарушая запреты, выпила стакашку, отчего сделалась еще общительнее и добрее.

— Слушай, а ты не забыла слова? — еще у порога спросила она у Катерины. — А то ведь петь придется. Ну-ка, как это... — И неожиданно высоко и сочно возгласила: — ...Ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить-и!..

— Я лучше помолчу, — сказала Катерина. — Боюсь, напутаю...

— А мы с тобой поближе к диакону. Наш Леонтий хорошо голосит, не даст запутаться.

Желая посмотреть, как прибрана горница, Муся отвела занавеску и увидела Кольшу. Он сидел за столом, перелистывая книгу. Накрахмаленная скатерть остро казалась углы столешницы, посередине которой стояла майонезная баночка с каким-то весенним цветком внутри.

— Привет, сосед! — тоже под села к столу Муся.

— Здравствуй, Мария.

— Все почитываешь?

— Да вот, надо отдавать...

— А я и не помню, когда читала, — винясь, засмеялась Муся. — Дома ни клочка бумажки. Одни старые квитки. Раньше заставляли «Обаполского земледельца» выписывать, а теперь — ну его: не за чего... Вот телевизор гляжу, больше — про секс. Иной раз до петухов маюсь, а утром проснусь — весь низ болит.. Последнее здоровье отнимают... Это ж небось нарочно делают.

— А ты не гляди...

— Да я пробовала, — смеялась над собой Муся. — Выключу, похожу-похожу, а сама думаю: ладно, догляжу.. Хоть узнаю, как это у людей. А то живешь в темени...

— Хватит тебе, перед всенощной, — укорила Катерина. — Чаю налить, пока соберусь?

— А больше — ничего?

— Завтра приходи.

— А я б и сѣдни... Отец Федор простит, кадилом отмахает.

Муся расстегнула пухлянку, потрусил кофточкой.

— А что это у тебя в майонезке? Гляди, муравель бегают!

— Да вот, изо льда вытаил...

Муся выложила пышный бюст на стол, приблизилась лицом к баночке, помолчала, понаблюдала черными томленными глазами.

— И чего теперь?

— А ничего, не здешний.

— Скажи ты! Импортный?

— Бревно распилили, а они там, в снегу. Из дальних лесов.



— Разводить будешь?

— Его уже не разведешь...

— А давай ему невесту споймаем! Скоро подсохнет — во все стороны побегут. Хоть черную, хоть рыжую... Гляди, как носится: туда-сюда, туда-сюда...

Муся отстранилась от стола и озорно оглянулась на Катерину, как бы приглашая ее в сваты.

— Такую свадьбу отгрохаем! Я самогонки выгоню...

— У них бескрылых невест не берут, — возразил Кольша.

— Ух ты, какой разборчивый! — Муся утерла ладонью насмешенные глаза и как-то уважительно уставилась на Митяху. Но тут же снова захохотала. — А небось подсунь ему какую-нибудь, так он и без крыльев сграбастает!.. Все вы, мужики, одинаковые!

— А он и не мужик вовсе...

— А кто же? Монах, что ли?

— Он — рабочий.

— Дак чего — ему бабы не надо?

— Не надо.

— Просто на волю охота? По земле побегать? Вот пойдем с Катериной в Кутырки, давай по дороге и выпущу — в хорошем месте.

— И про волю он не думает. — Кольша закрыл книгу и провел по ней узкой, сухой ладошкой. — Просто такое — иди, куда хочешь, — ему не нужно. Один он все равно пропадет.

— Ну а тади чего ему? Чего мечется?

— Это он дела хочет, — пояснил Кольша, поглядев на снующего Митяху. — Мучается он без дела... Истратит всего себя на пустую беготню и начнет затихать, гинуть от ненужности.

— Ой, правда! — согласно воспряла Муся. — Я, когда душа за-скорбит, сразу кидаюсь стирать. И — отпускает!

— Это для всех закон.

— Тади насыпь ему мусорку. Пусть трудится, щепочки таскает. Как на субботнике.

— Нет, так он не станет. Вот тут пишут: ему идея нужна. Общая задача. Ему надо видеть, что делают другие. Завтра отнесу в лесопосадку, поищу муравейник.

— А ежли сожрут? Он ить тут чужой, из других мест.

— Поищу одной породы. Те только обнюхают, ощупают, обмеряют... Чтоб все совпало. А потом окропят своим духом и отправят на общие работы. И он сразу примется помогать изо всех сил.

— Надо же! — Муся сладко смежила веки и, взяв в руки баночку, принялась рассматривать на свет. — А у меня летом по избе бегают и того меньше. Во-о-от такусенькие! Ручки-ножки даже не разглядеть. А сахар — почем зря таскают! С полки — на подоконник, с подоконника — в дырку под рамой и — привет! С улицы — порожняком, обратно — с сахаром. А сахариночка, поди, тяжелее



его самого. Но — тужится, волочет, не присядет, не передохнет. За день, ей-бо, полстакана утаскивают... Вот думаю я: как же это ловко устроено? В ней, в этой букашулечке, небось и сердце есть, все время тикает, и какая-то кровушка перетекает... Не сухой же он изнутри? Дак ведь и надо знать, куда тот сахар тащить? Дорогу помнить... Значит, и в головенке у него не пусто? Как это так, Коля?

— Вот и я пытаюсь понять...

— А я думаю, этого понять нельзя... Может, ты добьешься, а я — нет. Я лучше к отцу Феде: у него все понятно, всё — из глины... Пойдем с нами, а?

— Не-е, я не пойду.

— Чего так?

— А ну его... Когда я рисовал солнце, он остановился перед домом, поглядел, как я малюю, и сказал: «Мимо Господа печешься». И пошел.

— А помнишь, как ты сверчка со склада принес?

— Помню, как же...

— Как ты ножик об ножик тер, заставлял его чирикать. А мы приходили слушать.

— Я его Тюрлей звал.

— Да, да — Тюрля. Бывало, ежели вечер лунный — как распоешь, растюрлюкается!

— Было, было, — покивал Кольша.

— Занятный ты мужик! — Муся привстала и, обхватив жаркими ручищами, потискала за плечи. — Катька, отдай-ка мне его! Годка на два — скоротать бабий зазимок. А, Кать?

— Сама и прогонишь... — отшутилась Катерина. — Он ить безденежный.

— Стало быть, бессребреник! Синяк под глазом не набьет!..

## 11

Воскресный день Пасхи, как и Страстная неделя, вставал по-оже и осиянно. Небо очистилось до самых невероятных глубин, в нем не было ни облачка, ни даже мгновенных росчерков стрижей, еще не прилетевших, и все пребывало в торжественном отрешении и благодати. Из-за полевого угора, тронутого хлебной зеленью, доносился перезвон в три разновеликих колокола. Порученная олокольня долго молчала, и потому, наверное, неопытный звонарь иногда сбивался с беглого боя, но зато эта его рьяная неровность и аливчатое многоголосье придавали бодрящую праздничность сей округе, побуждая к единению и добру.

Катерина с Мусей еще не вернулись с ночного бдения, хотя, по высокому солнцу, и пора бы: поди, на радостях забрели к тамошним знакомым, в чем не было ничего удивительного, поскольку в режние годы бок о бок тащили лямку на бурачном поле, и на скот-



ном дворе, и в сельповской очереди за пачечной вермишелью или постным маслом. В нынешней хуторской разобщенности прежнее товарищество особенно помнилось и ценилось.

Поскоблив щеки и надев еще вчера приготовленную для него белую рубаху, веявшую праздной чистотой и утюжкой, Кольша вышел за ворота и постоял там в одиночестве, иногда поглядывая на кутыркинский проселок.

Река сильно сдала — грязно обнажились низы прежде залитых раки́т, просыпал черный кочкарник на заиленном лугу; но зато здесь, на бугре, под ногами, было зелено и чисто: ободренная теплом, доверчиво шла в рост всяческая мурава, и было удивительно, когда только успели зацвести нежные, застенчивые хохлатки, манившие этой нежной лиловостью еще полусонных шмелей.

А под каждым пеньком или забориной уже барыней гляделась молодая крапива.

Кольшины ветрянки — одна красная, с фасадного конька, две голубые, с дворового подконка, — в этот легкий, безмятежный день окончательно утомонились и, будто усталые гонцы, обессиленно задремали, одинаково повернувшись в теплую сторону, откуда последние дни навевал доброжелательный ветерок.

Катерина все еще не появлялась на дороге, и Кольша, возвращаясь в дом, засоби́рался и сам: поверх новой рубахи надел привычную куртейку, перекинул через плечо холщовую торбочку, а в нее сложил краек черного хлеба, головку лука и бывалую фляжку с колодезной водой.

— Ну, Митяха, пошли... — сказал он, беря на подоконнике баночку с муравьем, который все еще пытался одолеть стеклянную стену. — Пора тебе...

Кольша приоткрыл крышку, пустил внутрь свежего воздуха и, заперев снова, положил майонезку в карман куртки.

В поле он выбрал огородной стежкой, еще нехоженой и сыроватой, оставив на ней свой странный след — глубокие тычки через каждые полтора метра. Стороннему показалось бы, что здесь кто-то прошел на высоких ходулях. Но сама полевая дорога, уходившая к лесополосе, уже просохла, упираться в нее деревянной пятой стало легче и остойчивей, хотя она и возвышалась легким подъемом.

Лесополоса из рослых берез, перемеженных рябиной и кустовой акацией, простиралась на несколько километров. В дальнем ее конце Кольша давно не был, но с хуторской стороны знал несколько муравейников, в один из которых он и собрался определить своего Митяху. В эту пору внедриться в чужую муравьиную артель было нетрудно, поскольку муравьи-хозяева еще не обрели бдительной активности. Облепив вершину гнездового конуса, они всего лишь сонно греются на вешнем солнышке.



С тихим торжеством, будто под свод храма, ступил Кольша под светлую сень полевых берез. Заматеревшие березы, опираясь на чернокорые лапчатые кряжи, стремительно возносились в синеву веселой белизной стволов и там, в вышине, нежно пушились зеленой дымкой. Где-то самозабвенно, раскатно теребил сухую щепу дятел, и все еще не стихал перезвон колоколов, который здесь, среди этой праздничной белоствольной тишины, даже усиливался и медовел. А еще в продольной глубине лесной полосы слышались неспешное дринканье гитары и веселый, возбужденный говор и хохоток.

Вскоре впереди, у березового края, засверкал никель черного мотоцикла, а чуть подальше несколько мопедов подпирали друг дружку рогатыми рулями. Тут же, под зонтом рябины, пять не то шесть парней-подростков полулежа окружали расстеленный рушник, на котором ярко пестрели засахаренные маковки куличей, крашенные яички, стеклянные банки с помидорами и огурцами. И над всей этой красой высилась мрачная крутоплечая бутылка, похожая на монастырскую башню. Тут же, на березовом обрубке, пощипывал гитарные струны парень постарше, уже опушенный чернявой, от уха до уха бородой и с большой цыганской серьгой в левой ушной мочке.

Кольша хотел было стороной обойти пасхальную компанию, но его заметили, гитара умолкла, и навстречу вышли два пацана — оба непокрытые, по-весеннему, а может, по-пьяному вострепанные, со свежими солнечными ожогами на курносых носах и подглазьях. Один из них был долговяз и черняв, другой — поплотней и попеньковей.

Подойдя к Кольше, поразглядывав его неприязненно, исподлобья — не оттого, что имел какие-то претензии, а просто потому, что изрядно охмелел, чернявый, запинаясь, гуняво спросил:

— 3-землемер, ш-шеф просит закурить...

— Нет, ребята, я некурящий, — ответил Кольша.

Пеньковатый обернулся и переответил гитаристу:

— Он некурящий! Нету у него.

— Наверное, врет? — отозвался тот и, не оставляя гитары, не спеша, вразвалочку, шурша перезимовавшими листьями, направился к тем двоим. Остальные двое тоже потянулись за ним.

— Знаю я этих жлобов, — раздраженно ворчал гитарист. — У самого есть, а притворяется — нету.

— А ты чей будешь? — поинтересовался Кольша. — По голосу вроде Синяков Павел. Давно тебя не видал, годов пять. Большой вырос!

— Ошибаешься, дядя!

— Не должон... Вот только борода... А голос — Пашкин...

— Ты, землемер, давай зубы не заговаривай, — огрызнулся гитарист, обдав Кольшу волной самогонной одышки. В его ошетинен-



ной бороде, как раз под губой, взмелькивало огуречное семечко. — Тебя спрашивают: курево есть? Есть или нет?

— Нету.. — развел руками Кольша. — Зачем оно мне: я же не-курящий.

— Найдем — хуже будет, — пригрозил гитарист. — А ну — проверьте!

Те двое — чернявый и посветлей — вяло, без интереса, озира-ясь по сторонам, с двух боков подошли к Кольше: чернявый снял торбочку и высыпал содержимое на землю; тем же временем пень-коватый запустил руку в боковой карман куртки и ухватил майо-незку.

— А баночку не троны! — рассердился Кольша. — Дай немедленно!

Он хотел было вырвать посудину, но гитарист, ухмыляясь, под-нял баночку над головой.

— Пашка, отдай!

— У-тю, тю, тю... — высоко вертел баночкой гитарист.

Пытаясь дотянуться, Кольша запнулся, запутался деревягой в сухой прутьяной траве и, теряя равновесие, подался вперед, обеи-ми руками толкнул гитару, висевшую на груди Синяка. Раздался нечаянный басовый звон.

— А-а, ты струны рвать?! — понизив голос до шипения, выдох-нул Синяк. — А ну, Пепа, сделай ему!

Пеньковатый малый вяло махнул возле Кольшиного уха белой кроссовкой, но промазал и, не устояв, плюхнулся на землю. Осталь-ные пацаны захохотали.

— Слабак! — подтвердил гитарист и повернулся к чернявому: — А ну, ты, давай...

Чернявый, оглядывая Кольшу, примеряясь к нему, зашел сзади и оттуда ударил Кольшу в висок.

— Ребята! — попросил Кольша, зажимая ладонью зазвеневшее ухо. — Крышку хоть откройте... Пропадет ведь...

— Обойдешься! — усмехнулся Синяк и зашвырнул майонезку в глубину лесопосадки.

— Зачем же... — Кольша невольно потянулся за ней руками, но тут же из-под рыжего брюха гитары встречно выметнулся осыпан-ный песком и листьями резиновый бот и тяжело, тупо, будто кувал-дой, саданул ему в грудь, в белую пасхальную рубаху..

— Уметь надо, козлы! — торжествующе крикнул Синяк, огля-дывая примолкших пацанов.

Кольша немощно опрокинулся навзничь, раскинув руки крес-том. На него посыпались ободренные пинки остальной, еще неуме-лой стаи...

«Какое чистое небо!» — теряя сознание, успел удивиться Кольша.



На другое утро, туманное, жесткое от ночной прохлады, Катерина нашла его в лесопосадке застрявшим в цепких кустах акаций; наверное, он потерял направление и полз вовсе не к дому, а куда-то не туда...

Руки его были в вязкой лесной грязи. Но на изодранном, кро-  
воточащем виске еще билась подкожная жилка...

1999

## ТЁПА

— Вот такая, стало быть, история. Недаром сказано: не родись красивым, а родись счастливым... Все, как у людей. — Петровна потуже затянула концы белого платочка.

Три года прожила она на стороне, при внуках. За это время перевелась вся ее деревенская живность. Огород так одичал, что потом едва отлопатила, от осота отбила. Сразу по приезде выскребла полы; словно гаданье, раскидала цветные половички, от соседей возвернула свою гераньку, та как и была — вся в алом цвету. Не утерпела, еще по дороге понюхала: ах ты, родненькая моя: пахнет-то как! Аж слеза навернулась. Проходивший мимо отец Василий заново освятил жилище, самолично зажег лампаду в святом углу.

Принялась жить...

Солнышко всходит да заходит, дни бегут, а заботы, окромя огорода, нету: ни тебе покормить кого, ни приголубить. Не привыкла так-то жить — пусторуко. Выйдет за порог, а во дворе — ни живой души.

И пошла Петровна по знакомым яичек поспрашивать, чтобы изнова квохтушек завести. Набрала ровно дюжину — из разных рук, с тем, чтобы и у нее курочки стали разными. На дворе веселее, когда одна в крапушку, другая с хохолком, а иная — вся в рюшах. И чтоб петушок удачным оказался: хозяином на дворе был, не шастал по соседям. От него весь порядок в заводе. Ну, конечно, чтобы и на песню был дока. Особенно на раннюю Пасху. Любила она, когда небо в синих проталинах, теплынь, даже в дом неохота. Первая пчелка прямо из снежницы пьет. В соседней Покровке заутренний колокол эдак медово кладет поклоны. А петухи — как оглашенные! И ее тоже: крылами машет, старые перья от себя метет. Да как наддаст, наддаст — хоть подушкой накрывайся. Ведь толечко отгорланил, еще в ушах не улеглось, а он, переморгнув, уже заново гребень на спину закидывает, на цыпочки встает. Похоже, и петухи благовесту радуются.

Этакого певца и мнила себе Петровна: из дюжины-то яичек кто-нибудь, Бог даст, кочетком да проклюнется.



Принесла из чулана решето, выстлала донце пеньковой куделью и, перекрестясь, бережно уложила яички на мяконькое, а под решето подсунула резиновую грелку с теплой водой. Все это гнездовье обвязала старенькой шалью и стала ждать. А чтобы не сбиться со счета, на самоварной лучине нанесла первую отметину. Одна мета — один день, а их двадцать одна полагается: ровно три недели.

Все прошла, все исполнила Петровна, как присоветовала покровская зоотехничка Вика Сергеевна. Ни одной ночи сполна не выспала, еще потемну вставала греть да наливать воду, а сами яички — на другой бок поворачивать. И в последний раз собралась было двадцать первую насечку сделать, а он, золотенький, возьми да и пикни: «Пины!» — будто капля сронилась в пустое ведро. Дескать: а вот и я! И пошло капать: пинь да пинь... К вечеру все до единого из скорлупок выломились. Поначалу Петровна даже растерялась: эвон сколько, и все хорошенькие! В золотой пушок одетые, глазки чернявенькие, с понятием, а пальчики уже с коготками. Стоит, голубчик, на лапках-крестиках, туда-сюда раскачивается да вдруг как припустится бежать, пока не запнется, не опрокинется через голову. Один туда побежит, другой — сюда. Петровна округлила их руками, чтоб не разбежались, а рукто и не хватает. Была бы квохта-мама — та знает, что с ними делать: присядет, натопорщит перья, раскинет крылья и доверительно, журчащим голоском покличет погреться. Все мамы одинаковы — что цыплячьи, что щенячьи: последнее тепло готовы отдать. Но и еда тоже греет. Петровна поколупала заведомо приготовленное яичко, мелко искрошила его на тарелку и выставила угощение на половичок. Однако цыплята не сразу поняли, что к чему, толпятся вокруг посуды, некоторые попусту пробуют склевать с ободка нарисованные незабудки. Тогда Петровна сжала кулак, выставила указательный палец и, совсем как настоящая курица, принялась стучать ногтем по тарелке. Малыши с любопытством глядели, что делала Петровна-мама, и вот один из них, самый понятливый, самый шустрый, мелькнув зачатками крылышек, взгромоздился на край тарелки, покачался-покачался, обретая равновесие, и, царапая коготками глянец поливы, съехал на попе в самый ворох яичного крошева. «Цып-цып!» — тоже доверительно, ласково звала Петровна, продолжая постукивать по тарелке. Поняв, что надо делать, первым заскочивший птенчик тоже стукнул в край тарелки, но, догадавшись, откуда исходил манящий запах, наконец попал в желтую крошку и осторожно, закрыв глаза, проглотил свою первую добычу. «Ну что же вы?» — подбадривала Петровна остальных, все еще не сумевших одолеть приподнятую круговину тарелки. «Яичко свеженькое, сладенькое. Вон братец ваш уже по второму разу клюнул. Оно ведь



так: кто смел, тот и за двоих съел. А то как же?» Но первое яичко не столько склевали, сколь на лапах по дорожке разнесли.

Через неделю они уже вовсю подбирали с разостланной во дворе газетки пшенную кашу — крутенькую, рассыпчатую, да еще норовили закусить и мухой, тут же нахально потиравшей лапки, или склевать пробежавшего по газете перепуганного муравьишку. Одним словом, стали потихоньку обвыкаться на белом свете и больше не прятались под Петровниной юбкой от пролетавшего воробья. А тот, что первым залез в тарелку, так непоседой и оставался, с каждым днем пуще прежнего. Еще не виделось особых примет, а Петровна как-то сама-с собой определила, что этот-то непременно станет кочетом. На его подкрылках раньше, чем у других, заострились белые остинки, которые уже через несколько дней обнажили туго свернутые маховые перышки. Почувствовав на себе этакую обнову, шустрик возымел желание привстать на лапах и помахать еще не оперившимися подкрылками. Ветру, конечно, не получилось, но на однокашниц он произвел должное впечатление, поскольку те все еще оставались в своих желтых пухлявых трико и пока еще махать им было нечем...

Имелся у Петровны и еще один кочеток на примете. Тельцем он был покрупнее остальных цыпляток и на ногах повыше. Но какой-то медлительный, вроде как не выспавшийся. Едва из-за тучек проглянет солнце, как он зажмуривается и замирает в млеющем забытьи, как бы про что-то думает. Усомнилась Петровна: здоров ли? Но вроде ничего, из рук вырывается упрямо, сильный такой. И вообще — предпочитал жить самолично. Петровна частенько не досчитывалась его, когда собирала выводок на ночлег, но он, негодный, даже не пикнет, не подаст голосу, что, мол, я тут, в дворовой мураве затерялся. Оперяться он не спешил, как бы не замечал своего ясельного костюмчика, теснившего в плечах и шаге. Он успел замарать себе лоб в цепкую вишенную смолу. К смоле прилипла одуванчиковая пушинка, и он выхаживал с ней, будто с бантиком, вовсе не замечая этого украшения.

А еще заметила Петровна, что он никогда не гонялся за мурашами, а только следовал за ними, разглядывал со своего висока. За все эти чудачества она назвала его Тёпой: уж больно он какой-то неловкий, одним словом — недотепа.

К середине лета закурчавились Петровнины цыплята. Разделись в свой веселый трикотаж: три курочки получились чернявенькие, три — в мелкую серую смушку, а остальные выбрали себе мягкий каштановый цвет. Ну, прямо красавицы! Правда, на маленьких аккуратных головках еще не было никаких украшений — ни гребешков, ни сережек, да и мини-хвостики едва проступали между лапами молодых крыльев. Шустрик тоже принарядился: накиннул на себя огнистый, расшитый позолотой, вы-



пускной офицерский мундирчик. На ногах — желтые чешуйчатые сапожки с заострившимися шпорцами на пятках. На темечке пока еще ничего тоже неросло, а только обозначился розовый галунчик, из которого потом, аж к Третьему Спасу, возвысится бордовый зубчатый гребень, который положен лишь в генеральском чине.

Про себя Петровна называла разбитного петушка Магометкой, потому что яичко, из которого он объявился, подарил ей Магомет Сундуков, заезжий муж прежней заведующей здешним сельпо Зинки Терebeneвой. У них полон двор всяких кур и болтливых индюков. На птичьи окорочка они и дом построили, и машину купили. Магомет — человек, видать, знающий.

— На, дарю... — сказал Магомет, потеряв яичко о свой волосатый, пухлый живот. — Заводи на здоровье! Конкурентом будешь.

— Мне чтоб петушок получился.

— Будет тебе петух, — кивнул Сундуков. — Это яичко я на тарелке крутил. Все сошлось: петушком будет!

— И чтоб петь умел... — попросила Петровна.

— Веселый будет! — заверил Магомет. — Говорю тебе точно. Спать не даст!

И нос у петуха крючком получился — совсем, как у Магомета — припомнила Петровна. Вылитый Магометка.

На Тёпе особенных обновок не появилось, немного оперились только крыльца, остальное все еще пребывало в первородном сквозном пушку, так что казалось, будто Тёпа хаживал в одном распахнутом пиджаке, но без штанишек. Чудак, право!

Невесть кем сказано: большие дети — большие заботы.

Ну, казалось бы: одеты, накормлены — Петровна уже и хлебушка, и рубленой травки стала добавлять — чего же еще? А вот поди ж ты: начали выяснять отношения — кому первому клевать, а кому опосля. Магомет, завидев Тёпу, прямо-таки из себя выходит. Едва тот к еде, как и он тут как тут, клювом замахивается. А еще курочки невеститься начали. Ну, не всерьез, конечно, а так, пококетьничать малость. То павой пройдет на долгих ногах или тоненьким голоском затюрлюкает. От этого Магометка еще рьяней делается. Так и наскакивает, так и намекает: «Пойдем выйдем...» Конечно, Тёпа, будучи повесомей и повыше на крепких ногах, мог бы и сдачи дать. Но юные прелестницы пока еще его не занимали, не пришел черед, и он уединялся в дворовых зарослях просвирника и спорышевой муравки.

Как-то раз Петровна даже изловила Магомета и, удерживая его за бока, принялась поддразнивать им Тёпу, чтобы тот, осерчав, в конце концов набросился бы на своего соперника. Она рассчитывала, что если Тёпа задаст Магометке трепку и почувствует над ним свое превосходство, то таким способом утвердится в правах хозяи-



на курятника. Но глупый Тёпа не понимал, чего от него хотят, и не стал клевать затиснутого Магометку в голое темечко, а только пятался назад и удивленно, на высокой ноте спрашивал: «Что такое? Что такое?»

Зато Магометка, хватая воздух когтистыми лапами и взъерошив свою золотистую манишку, улучил-таки момент и так сильно, с вывертом стукнул Тёпу в самую маковку, что в клюве его осталось несколько выщипнутых перьев.

— Что такое!? — еще больше удивился Тёпа, потрясая головой.

...А между тем Тёпа тоже наконец определился в своем одеянии. Сюртучок на нем выперился отменный — перышко к перышку. Если перышко имело темную окантовку, то следующее, перекрывавшее его перо — обязательно с белой оторочкой. И так всё — сверху донизу — и плечи, и спинка, и бриджики: пометка темная — следом пометка белая, темное — белое. А вместе — приятная тонкая рябость, как у крупной кольчатой вязки. И ничего лишнего, один только многозубый пунцовый гребень, будто замшевый гвардейский берет, свободно опадавший на правый глаз с оранжевым отрешенным зраком.

Заходила соседка, любовалась Тёпой:

— Вот бы такую породу завести. Какой красавец!

— Да ить как заведешь? — пожаловалась Петровна. — Своих подружек никак не замечает. Вот вижу, нравится он курочкам. Они и так около него, и эдак... А он, дурной, все растет, никак не останавливается. Только недавно в перо оделся. Нет в нем петушиного гонора. Я дак и голоса его не слыхала. Другие петушки уже пробуют кукарекать. Первое коленце кое-как возьмут, а на втором — осекнутся — учатся. А этот, как немтырь. Может, к нему все еще придет, да когда — уж скоро зазимки? А Магометка, идол, в чем только душа? — такой натурный, совсем этого заневолит. Не то что к курице — к еде не подпускает. Я и так — посажу его на колени да тайком с ладони кормлю. Дак Магомет, ежели увидит, сразу подскакивает и норовит меня ущипнуть: дескать, не смей на него зерно трать, мне лучше отдай! Вишь, синяки на ногах — его работа.

— А я бы, девка, так сделала, — посоветовала соседка. — Вот днями Успенье будет, возьми да и свари петушиную лапшицу. Да и меня на петушатинку пригласи.

— Да жалко, — не одобрила Петровна. — Птица же. Она ведь без понятия...

— Как же, без понятия! Это мое! И твое — тоже мое!

— Ну что поделаешь? У них так заведено. С людей пример берут...

— А я бы живо такому башку оттяпала. И вся тебе морока... — упорствовала соседка. — Ведь им все одно вместе не жить.

— Как можно? Я же их от самого яичка лелеяла.



— Ну тогда к Парфёнихе сходи, — засмеялась соседка. — Попроси какого-нибудь приворота. Чтоб от кур не воротило.

— Да ну тебя! — отстранилась Петровна. — Смеешься, что ли?

— Ну тогда живьем продай.

— Кому продашь? Это ж надо в город ехать. А как от огорода поедешь — картошку скоро копать. Ладно, пусть пока бегают...

Свезить Магомета на городской рынок долго не получалось. А потом навалилась картошка. Это сколько же надобно почертоломить лопатой, пока перевернешь вверх дном эти пятнадцать соток. Под конец и спина столбняком возьмется, десять раз ойкнешь, пока последнюю картошину с земли подберешь. Копают Петровна, а сама все по небесам шарится, не копят ли тучи, не заходит ли невзгода? А ты, говорят, не жадничай, сажай поменьше. Дак как же поменьше, ежели тут вся твоя жисть. Пенсию выглядеть — шею свихнешь. А денежки кажин божий миг нужны. Без копейки и охнуть боязно. Иной пуздырек растирки дороже ведра картошки. А на Петровне всяких болестей, что кужучек на чулках. А под запись уже никто ничего не дает. Это прежде бывало: придешь в сельпо и говоришь Зинке: запиши пару селедок под яички. Ладно бы брать картошку под соху — споро и неуморно: утром начали — к вечеру того же дня пошабашили. Еще девочкой была, лошадкой выпаживали. Тихо, без грохоту, без керосину, разве что конь хвостом свистнет, когда мухи одолеют. В сухую погоду картошка так и катится на обе стороны из-под лемехов. Да где ее теперь найдешь, эту сошку, разве что в музее. Да и конь ныне редок, всех со свету посживали: дескать, даром корм ест. Перешли на трактора. А тракторов наделали — выше избы росту. Где ж ему, такому дуралею, к примеру, на Петровнином огороде разъезжать? То смородинный кустик своими галошами сотого размера притопчет, то сарайку заденет, аж из-под крыши ласточкины гнезда попадают.

Картошку выкопать — еще не вся забота. Ведь и потом ей надо лад дать: от лишней земли избавить, на ветерке просушить, в погреб перетащить да и там с ведрами — вниз — вверх, вниз — вверх. На все — руки-руки нужны. А их запасных-то и нетути. Какие достались — кривые, с шишками на суставах, с черноземным маникюром. Поднесет Петровна пальцы ко рту, дует на них ветром, а они от ведерных дужек полымем горят, аж слезы за пазуху ручьем бегут.

С картошкой до самого Воздвиженья проваландалась, до самого дня, когда все ползучие гады на зиму в кучу сползаются, лезут во всякие щели, в погреба, ежели не заперто...

Уж и утренние росы калеными стали, мокрая юбка аж до обеда сохнет, а она все ведрами бренькает.

Перевернутая земля для птицы полна поживы: червяк ли, поздний кузнечик, а то забытый переспелый огурец весело до семечек



раздолбать. Радуется Петровна: пусть куры вдоволь набегаются, вот раздождится, еще взаперти насидятся. И только Тёпа все один да в стороне.

И надумал он себе занятие: Петровну с картошкой до погреба провожать. Она во двор, и он за ней. Иногда наперед забежит, первым вышагивает, вроде как дорогу кажет. «Ты бы взял у меня ведерко да пособил, — горестно усмехалась Петровна. — Ах недотепа ты мой!» И жестко утверждалась: «Вот досыплю закром и повезу Магомета на базар. Дадут рубль — за рубль отдам, не стану упираться».

Завсегда после уборки огорода Петровна надолго выбывала из строя. И когда у сына в Тюмени жила. И на этот раз не минуло... Уложил ее этот распроклятый ревматизм. Страсть как ноги выкручивает... Привязался к ней еще с артельных бураков. Ну да какие хворости, какое лежанье? Водицы принести надо? Надо! Хоть один раз за пару дён. Печку истопить тоже надо: уже иней под забором на полдня ложится, пар изо рта валит. Куда ж еще: Покров на дворе! Зима — вот она.

Да забыла помянуть, что два раза за день, утром и вечером, в сарайке курам сыпануть обсевков надобно. А еще забота — изловить Тёпу, занести в сени и там отдельно от всех покормить бедолагу. Совсем извелся в приживалах, даже полегчал чуть ли не вполовину. Заметила Петровна, что Тёпу не пускают на общий насест, где куры, прижимаясь друг к дружке, коротают долгие и уже лютоватые ночи. А среди них Магомет — как «фон-барон», пристроился в самом теплом месте, нос за пазухой, в рыжей манишке греет.

Взяла Петровна молоток, ножовку и, несмотря на хвори, соорудила Тёпе отдельную, свою собственную засидку — в уголке, подальше от коллективного насеста, чтобы сверху не падал на него помет.

\* \* \*

Ту лихую ночь Петровна коротала на печи, на старой, вытертой кухлянке — грела ноги. Ночь пала студеная, метельная: трещала матица, захлеб выло в печи, секло ледяной дробью в запущённые окна. Петровна почему-то вспомнила из дальнего далека, что нынче Кузьминки, которые считались куриным днем. На обед варили кочета во щах, звали на похлебку родственников. А накануне приглашали батюшку, окропить насест, чтобы яички в доме не переводились. Вспомнилась и давняя прибалачка:

*Восседайте, гости, кругом,  
Полепнее друг ко другу:  
Будет петушатинка,  
А попу — курятинка.*



— Нынче бы, в куриный день, Магометке наверняка не поздоровилось бы. За его злую шкodu и несправедность, — на печи вершила свой суд Петровна.

А еще за обедом возбранялось грызть мослы и хрустеть куриными костями — будто бы дурная примета.

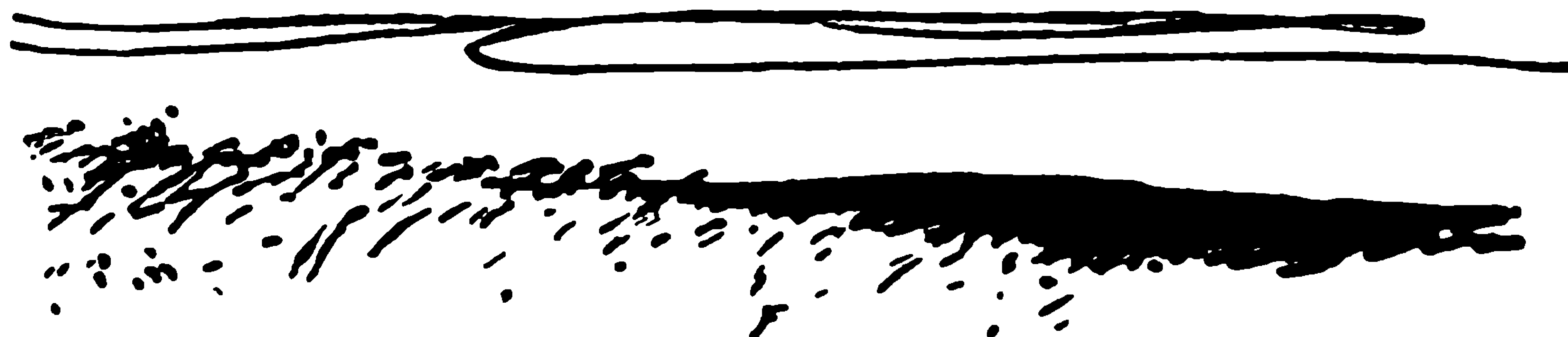
Над крышей все скрипела с тонким подвывом старая ветла, и, тревожно слушая ее, Петровна боялась, что не сдюжит она — падет и напрочь разбросает трубу. Утром принялась пробивать в намети ход, от крыльца к куриной дверце. Снегу — по самые плечи. С полчасца гребла, едва догреблась. Распахнула творило, пригнулась под низкий косяк, пригляделась к стылому сумраку, а в уголке, на земляной трухе, ворох из сырых перьев. Голова с отмороженным гребнем откинута, глаз плотно задернут мутным шершавым веком, как бы навощенный клюв, так и не исполнивший своего первого «кукареку», прочно скован мерзлотой...

2001



# *...И остаются берега...*

Повести, рассказы, эссе





## И УПЛЫВАЮТ ПАРОХОДЫ, И ОСТАЮТСЯ БЕРЕГА...

### 1

После того как вешние шквалистые ветры разгонят остатки льда и острова оденутся зеленью, сюда начинают частить нарядные многопалубные теплоходы — одни со стороны Свири, другие от Вытегры и Повенца. В распахнутые окна кают вдруг свежо и властно дохнет большой водой, и пассажиры посыплют на палубу любоваться Онегой, смотреть, как утонувшее солнце бежит где-то совсем близко за краем воды, будоража задремавшие облака и самую воду чуткими всполохами. В разгар белых ночей далеко видать окрест: и тихие всплески рыб, и призрачные гривы отдалившихся берегов, и то, как за кормой по огнистой засмиревшей глади тянется вспаханная кораблем фиолетовая дорога. Каютные люстры погашены, оставлены только сигнальные фонари на мачтах, приглушенно урчат мощные дизеля, и кажется, будто корабль не просто плывет своим обычным рейсом, а осторожно пробирается в самое сердце чуткой северной ночи. И все парят позади бессонные чайки, летят за теплоходом от самой Вытегры или Петрозаводска, кружат молча, без обычного дневного галдежа, словно и они не решаются нарушить ночное таинство воды и неба.

А утром Онегу уже не узнать: очнулась, зашумела, заходила широкими размашистыми валами. Под засвежевшем ветром порывисто летят тугие грудастые облака. Они рождаются где-то в одной точке горизонта и, растянувшись через весь небосклон лебедиными вереницами, опять слетаются по другую сторону в плотную синеющую стаю. Облака обгоняют теплоход, тенями накрывают встречные острова, и уже различимо, как на одном из них встают нерукотворным дивом седоглавые храмы. Остров невысок и безлесен — узкая, едва приметная полоска земли над вспененными водами, и чудится, будто храмы вырастают, поднимаются из бегущих валов, из самих глубин расходящейся Онеги. Теперь уже и простым глазом видно, как многоярусные шатры и маковки церк-



вей чутко откликаются на переливчатую игру ветреного неба. Срубы то золотятся под брызнувшими лучами, то, когда набежит облако, снова суровеют, прячут свою минутную улыбку в строгую седину.

Теплоход, разворачиваясь, подбегает широким полукругом, бодро трубит бархатистым кличем — приветствует остров, и ждешь, что вот-вот встречный град грянет ответно в запальные пушки и ударит в веселые звоны...

Но остров молчит, серые теремные храмы, не замечая белопалубного гостя, в раздумье глядят поверх его мачт в какие-то дальние дали, и немые их распяленные временем колокола... И, подчиняясь этому безмолвию древнего погоста, что уже вознесся стенами над кораблем и рассекает маковками наседающие на него косяки облаков, постепенно стихает суетный гомон на палубах. Пассажиры молча грудятся у правого борта, щелкают фотоаппаратами, торопливо ловят набегающий берег в окуляры биноклей и дымчатых очков. Судно же тем временем, уняв машины, бесшумно сближается с пристанью, матросы вяжут чалки, налаживают трап, и публика нетерпеливо выплескивается на дебаркадер. Сбегают по сходням полосатые пижамы, пестрые куртки с капюшонами и без капюшонов, шумные шуршащие болоньи, молодецкые округлоплечие свитера... По длинным лавам, выстланным на сваях от пристани к берегу, над зеленой стоялой водой, над осоками сходят на островную твердь и с выражением чинного умиления принимаются озираться вокруг.

Рейсовый массовик-затейник велит всем ожидать тут, на берегу, сам же озабоченно и всезнающе бежит в гору в музейную конторку — договариваться насчет экскурсии. От нечего делать публика разбредается по берегу, читает всякие надписи и указатели, разглядывает причаленные туземные лодки или просто смотрит, как плещется усталая озерная волна на дробном береговом камешнике.

Неподалеку, под сенью лозняка, виднеется свежая глина вперемешку с голышами. Время от времени над ворохом выброшенного грунта вскидывается лопата, и с нее срываются и летят в кусты блинчатые ломти. Бредут смотреть, что там такое, и, обступив яму, с любопытством заглядывают внутрь: в виду музейных храмов все на этом острове обретает особый смысл и значение.

В яме, уже отрытой метра на два в глубину, мелькает донышко суконного флотского картуза, обсыпанное глиной. Серая рубаха, выпростанная из штанов, мокро темнеет на спине. Грунт каменист, неподатлив, желтеющие стены до самого дна зияют вмятинами от вывороченных голышей. Когда лопата натывается на очередной булыжник и начинает скоргыкать, публика заинтересованно нагибается над краем, стараясь уяснить, что за камень, велик ли и нельзя ли что-нибудь посоветовать.



— Подрой, подрой его сначала...

— Да не так, ну зачем же...

— Ничего... Не впервой, — доносится голос снизу. — Дело пустяшное.

— А нет ли лома? Ломом куда удобнее. Ломом поддеть можно.

— Мы его и так вызволим, дак... Не велик барин.

Человек в яме, польщенный вниманием, азартно поплевывает на ладони и всякий раз, налегая на лопату, как-то отчаянно хоркает горлом, разом выдыхая из себя воздух.

— Что здесь такое? — Это набегает новая партия любопытных.

— Что-то копают...

— А вы знаете, — замечает почтенного облика мужчина с доминошной коробкой в пижамном кармане, — прошлым летом я был в Керчи, и там тоже копали и нашли старинные сосуды. Говорили, что очень ценная находка.

— С монетами?

— Нет, монет не было. Просто посуда. Но ей две тысячи лет. Я сам видел: очень хорошо сохранилась.

— Да, но там был раньше греческий город.

— А тут тоже место историческое.

Камень наконец выворочен, человек поднимает его на грудь и, осыпая на себя глину, выталкивает на бруствер. Какой-то малец в голубой матросочке и с биноклем на шее (юный землепроходец!) забрался на глиняную кучу и, присев на корточки, пробует заглянуть оттуда в яму.

— Вовик, Вовик! — пугается его бабушка, еще весьма сохранившаяся дама в темных очках и коротковатой юбке. — Слезь сейчас же!

— Я тоже хочу посмотреть! — надувает губы Вовик.

— Не выдумывай. Ты же свалишься.

— Не!

— Присыплю землей, дак... — остерегает голос снизу. — Не то лопатой задену.

— Вот видишь! Я же говорю, не подходи близко!

— А зачем он копает? — допытывается малец.

— Ты же слышал, дядя ищет исторические находки.

— А какие они, эти находки?

— Всякие...

— Ну бабушка! — упрямо канючит малец. — Какие всякие?

— Перестань, пожалуйста! И не пачкай руки.

Человек в яме выпрямляется, сдвигает картуз на затылок, открывая дробное безбровое лицо с детским вздернутым носом. Из-под замусоленного окольца мичманки, подпираемой как-то враспырку торчащими ушами, выкатываются обильные горошины пота, путаются в давно не бритой стерне, местами сивой, сквозящей темными заветренными скулами.



— С какого теплохода? — интересуется он и живо перебирает глазами обступившую публику.

— С «Ивана Сусанина».

— Ага! — кивает он, и лицо его, похожее на лицо внезапно состарившегося ребенка, осеняется участливой радостью. — А я слушаю — по гудку вроде бы он, «Иван Сусанин». А он и взаправде... Закурить имеется?

Ему протягивают сразу несколько пачек. Человек суетливо обтирает руки о штанины и неловкими короткими пальцами, виновато напрягшись, берет у каждого по штучке. Из последней же пачки торчащую сигаретину вытаскивает деликатно вытянутыми губами...

— Из Москвы, стало быть... — говорит он в нос, подрагивая в деревянно-онемевших губах сигаретой. — Добро, добро! Идете аж из Москвы? — изумляется он и тут же одобряет: — Места у нас занятые, дитю тоже развлечение.

Он бьет себя по карманам, выслушивая спички, но кто-то уже чиркает зажигалкой и опускает огонек в яму. Человек спешит дотянуться до зажигалки, невпопад тычется сигаретой в огонек, и уши его шевелятся при каждой затяжке. Наконец прикурив, он расслабленно опускается на пятки и признательно мигает заслепившимися от дыма и неловкой позы глазами.

— Только вам надобно итить к погосту, к церквам, — говорит он, окутываясь дымом. — Потому как дело мое абнакавенное и никакого для вас интересу. Ежели по-хлотски разъяснить, дак вся и затея, что гальюн будет. А вам надо вон по той дорожке итить.

Мужчины наверху конфузливо хохочут и переводят дамам, не понимающим по-флотски. Лицо человека в яме тоже сжимается в робком ответном смешке, и оно делается похожим на кисет, сдернутый шнуром: уши отпрядывают к затылку, щеки обкладываются ломкими складками, глаза тонут в лучиках сухих морщин.

— Оно, конечно, и без этого никак нельзя, — спешит поправить он неловкость. — Без такой справы и глядеть ни на чего не захочешь...

— Вовик! — Дама-бабушка ловит мальчика за руку. — Идем, детка.

Публике делается неловко стоять и глядеть, как роют такую прозаическую штуку, интерес к яме сразу пропадает, и все возвращается к дебаркадеру.

Человек в яме плюет на ладони и принимается долбить глину.

## 2

Савоня объявлялся на острове с первыми теплоходами и, как зяблик, исчезал внезапно с осенними холодами.

Он не имел здесь никакого твердого занятия, не числился ни в каком штате, и то, что ему выпала эта нехитрая и краткая работа — вырыть яму под лозняком — было делом случайным. Появ-



лялся же он здесь по потребности своей тоскующей и общительной души, как заводятся обычно на Руси такие люди подле шумных и толкучих мест.

Когда на Онеге уже все приобрели лодочные моторы, Савоня все еще ходил под ушкуйным парусом, скроенным из зеленого райпотребсоюзовского брезента, но потом и он у какого-то теплоходного механика раздобыл себе моторишко и приспособил на собственного производства вместительную посудину с высоко вздернутым носом наподобие старинных новгородских ладей. Теперь уже, садясь в лодку, он приторачивал свою мичманку ремешком под подбородком, говоря при этом с серьезной гордецей: «Не то ветром сорвет, скорость теперь вон какие!» И даже иной раз пробовал тягаться с самим «Метеором» на подводных крыльях, набегаящим в здешние шхеры с туристами из Петрозаводска

У него есть собственный прикол на острове в камышах невдалеке от погоста. Савоня привязывал за колышек лодку, выходил из камышей на берег и усаживался в одиночестве на сосновый комель, вкопанный у раскурочного моста, где в неспешном созерцании вод и дальних берегов выкуривал одну за другой несколько тоненьких, быстро сгоравших папиросок «Север». Теплоходы он различал еще издали — кто плывет и откуда, — знал их поименно, по имени же и отчеству знал многих капитанов и механиков. Когда теплоход подворачивал к пристани, Савоня плевал себе на пальцы, тушил папироску и спешил к дебаркадеру. «Прибыл, Степаныч? — кричал он по-свойски знакомому капитану на мостик. — А я тебя аж вон игде заприметил. Ну и махина теперь у тебя, Степаныч! — разливался он в счастливом смехе и похлопывал ладошкой по холодному телу новенького теплохода. — Дворец, а не пароход. Высоко теперь стоишь, как на престоле!» А бывало и так, что Савоня запускал свою моторку и выходил встречать теплоход еще на подходе к острову. Он выстраивал свою ладью нос с носом, старался держаться вровень и, покачиваясь в теплоходных усах, кричал какому-нибудь Петровичу или Савельичу: «А я гляжу, идешь! Ну и шибко бегаешь, братка! За минуту где был, а уж вот он ты, подваливаешь! Бензинчику не отольешь ли маленько? А то свой уже начисто поизрасходовал. Жрет моя холера во все заверти. Ремонт думаю давать, а то не напасешься!.. Ты-то свою подремонтировал, подкапиталил? Ага, добро! И флаг, гляжу, новый навесил. А то прежний совсем пообтрепался. А и шутко ли — аж до самой Астрагани бегаешь. Ну заходи, заходи, передохни малость, покурим, дак...»

К старым своим знакомым Савоня и вправду захаживал на мостик и покуривал там на важной высоте среди барометров и компасов и даже, случалось, угощался капитанским коньяком, который отпивал маленькими глотками, и все посматривал через стопку на блеклое олонецкое солнце, удивляясь золотой игре питья. «А все ж,



я тебе скажу, водка получше будет, — заключал он и выпивал остальное одним глотком. — Здоровее. Правда, не всякая. Ежели на посуде дерево пропечатано, эту не пей, эта из дерева и есть. Сучок называется, потому из сучков, из обрезки гонится. А на которой красный бык натопыренный, вроде как боднуть хочет, — та взаправду водка, та бодается добро! Под самый радикулит! — Савоня заливается дробным смешком и добавляет: — Да и то набрешут, нынче в торговле мастаки врать: этикетку наклеют правильную, а в бутылку дурнины какой нальют. Это сколь хошь! У меня раз было...» Савоня самое настроился побеседовать; но у капитана оказался какой-то спешный недосуг, он пожимал Савоне руку и нетерпеливо говорил: «Ну, будь здоров, будь здоров... Ага, давай... Служба, понимаешь...» — «Дак ить как не понять!» — согласно кивал Савоня и, довольный угощением, ковылял к трапу.

После такого визита на мостик Савоня, распираемый потребностью поговорить, увязывался за экскурсией и плелся за толпой по острову, улущая момент и самому что-нибудь пояснить и порассказать приезжим людям. «А это только говорится, что без гвоздей, — заводил он беседу, топчась за спиной у экскурсантов. — Когда эту церкву перекрывали, ящиков с двадцать поколотили пятидесятки. Дак а пошто возиться, крепить лемех на старый манер, все едино снизу не видно, глянь, какая высота. Не-е, гвоздя там много побито! Оно, конечно, занятней, ежели сказать, что без гвоздя, больше удивляются. А прежняя кровля, верно, та без единой железки держалася, что правда, то не совру».

Администрация, дознавшись про Савонины «антинаучные измышления», одно время даже запретила ему появляться на музейной территории, и он после того куда-то исчез и пропадал все лето. Лишь потом прослышали, будто гостевал у своей дочери. У него действительно была дочь, и притом, как рассказывают, красавица. Были у него еще и два сына, но те заехали куда-то еще дальше, младший оказался аж на Тихом океане, служил на китобойных кораблях.

Нередко выпадало Савоне покатать на лодке теплоходную публику. Катал он охотно, лихо, счастливо расплывшись курносым лицом, что-то выкрикивал в моторном реве, катал с головокружительными разворотами, поднимая столбы брызг и вгоняя мотор в чих и кашель, пока тот, случалось, не замолкал середь воды. «Это ничего, это мы наладим!» — кидался он к двигателю и начинал суетливо что-то отвинчивать, продувать, сушить на спичке свечи и опять отвинчивать, накидывая вокруг себя все больше железок и винтиков, в то время как лодку сносило неведь куда волнами и ветром. Под конец он отступался, рассовывал детали по карманам и смущенно, ни на кого не глядя, бросался на весла. «Незадача вышла... — оправдывался он, глядя, как молча и отчужденно выпры-



гивали на ближайший берег продрогшие, синелицые туристы. — Буду капитальный ремонт давать, дак...

За такое гондольерство Савоне перепадал рублишко, а если катание сходило гладко и клиенты попадались веселые, то кроме денег бывало и угощение в дебаркадерном ресторанчике. Подвыпивший Савоня норовил запеть. Голосом он вовсе не обладал, а только наговаривал песню торопливым словесным бежком, тут же отвлекаясь и давая пояснения к тексту, и лишь самый конец куплетов пытался тянуть жестяным дребезжащим тенорком. «Не вечерня заря да спотухалася... — Это надо тянуть одним голосом, одним, понимаешь ли. — Полуношна звезда высоко взошла...» И вдруг, весь покраснев и надувшись худой жилистой шеей, исто-во выкрикивал:

*Высоко взошла-а-а... ах да светло... да светло-ясная-а-а...*

В наступавшей затем паузе Савоня поднимал указательный палец к потолку и, оставаясь так с воздетой рукой, как бы не позволяя никому говорить, перебивать, поочередно и вопрошающе заглядывал в лица слушателей. И чем-то удовлетворившись, опускал руку и продолжал: «Это уже хором, хором поется: «Высоко взошл-а-а, ах да сыве-е-ет-ла...» Но буфетчица, тучная тетя в наколке, грубо обрывала его, требовала, чтобы он не нарушал порядка в общественном месте, и Савоня, осекшись и как-то опав плечами, виновато говорил: «Нельзя, дак и ладно. Можем помолчать...» Он строжел лицом, безброво насупливался, вставал и, обходя стол, церемонно, со значением протягивал всем руку для прощанья: «Премного благодарим за компанею. Домой пора, однако...»

Но домой он не ехал, а, реализовав заработанный рубль у буфетчицы, которая долго отпихивала смятую в комок потную бумажку, все не хотела отпускать, под конец отпускала-таки с брезгливой неприязнью: «Надоел, хуже смолы...» — переливал купленные сто двадцать граммов из казенного стакана в свою карманную посудинку и шел к лодке, запрятанной в камышах. «Ты мне не указ, чтоб не петь, — распалялся он дорогой. — Я больше забыл, чем ты знаешь, дура напудренная. Петь мне никто не запретит, нету такого права». Складным ножичком он нарезал охапку сырой пахучей осоки, стелил на дно своей ладьи, допивал водку, ложился навзничь и уже здесь, на воле, скрытый от всех стеной зарослей, услаждал себя не допетыми в ресторане песнями.

*Не вечерня заря ох... спотуха... да спотухалася-а-а...*

Пел он тихо, про себя, под конец и вовсе без слов, одними только мыслями и, хмелея, проваливаясь куда-то, бездумно глядел на четкие и строгие силуэты церквей, возвышавшиеся над ним против ясного закатного неба.



Обитал Савоня на одном из островов Малой Онеги. Места те, и теперь еще привольные — лесные, с укосистыми опушками, с рыбными лудами, в послевоенные годы, однако, поизредились жителями. Самый кряж, основа всему, мужики, остался в большинстве своем лежать на обширных и безвестных военных полях, старики повымирали, редко какой еще торчит трухлявым пнем, молодые же начали сбиваться от островной затворной жизни куда пошумней, поинтересней: в Мурманск, Петрозаводск, иные и того дальше. «На островах любо, да безденежно, — говаривал, смеясь, Савоня. — Я бы и то утопал куда ни есть, да поранетая нога раздогону не дала. А чё? На топор я шибко востер да ловок был. Где хошь подвинулись, место ослобонили б... А теперь и не к чему бежать, жисть прошла. И так ладно».

Теперь уже не многие помнят, как на Троицу сорок четвертого об двух костылях, с тощим вещмешком за плечами, в котором погромыхивали два кирпича ячневового концентрата, кисет сэкономленного пиленого госпитального сахара да топор, выменянный у одного дедка в Ярославле, где пребывал на излечении, Савоня сошел на отчий берег.

Жена Ульяна и подросшие ребятишки ударились было в рев, но Савоня от слезы удержался, а, наоборот, что-то сбалагурил и притопнул костылями: «Али и вовсе негожий, ревете, дуры! На войне и промеж глаз попадает...» И, выкладывая скудный гостинец, прищелкнул ногтем по топору, по широкой захватистой пятке, показал звон: «Плядите-ко, с медалями».

В те времена на острове еще держался кое-какой нестандартный народишко, а за ним числилась прежняя довоенная колхозная бригада. Савоня, как недавний солдат, назначенный бригадиром, а заодно и управителем острова, самолично взялся рубить овчарню под шубных овец, которых на острове пока еще не имелось, но коих предписано было разводить, чтобы за деревней значилась общественная забота. Зиму валил он лес, весну и лето с двумя стариками тесал запасенные бревна на стояки и простенки, а следующую весну приступил к поставу. Но пока вязал первые венцы, один старец сослепу сбришил долотом себе руку, другой и вовсе помер от подъема ли тяжелого, а может, и сам по себе от ветхости. Мужской замены им не нашлось, и Савоня занарядил на эту работу всех учтенных баб и свою жену Ульяну. Еще с год проканителились они с овчарней, с одного боку даже дотянули до стропил, но тем временем разводить шубных овец на острове отменили, посчитали делом невыгодным, а дали задачу гнуть обозные дуги, заготавливать кровельную щепу, вязать метлы, а заодно и запасать грибы. Но и эту нетрудную подать справлять уже было некому, так как остров к этому времени и вовсе обезлюдел. Подросший было



табунок девок и ребят как-то незаметно разлетелся: кого подобрали в армию, кто подался в ФЗУ и леспромхозы, а кто и самовольно улепетнул в неизвестные места без справок и Савониных полномочий. Савонины сыновья тоже не засиделись: один ушел в армию, во флот, другой — по набору на фабричное обучение. Незаметно поднялась и последняя девка, Анастася, завздыхала и тоже запросилась из дому. Прикинул Савоня женихов в деревне — никого, примерился к соседнему острову, и там тоже, выходило, ни единого. Может, в каких деревнях на материке и были, да не искать ветра в поле, и отпустил с миром девку, собрали с Ульяной ей подорожный сундучок. «Я как царь без царства, — разводил руками Савоня по поводу своего бригадирства. — Власть дадена, а судить-рядить некого. Во дела!»

Лет десять уже тому, как остыла на ряпушной путине Ульяна. Обхаживала ее по прежнему обычаю местная лекарка бабка Марья, отпаивала травами, что-то нашептывала в подпечье. Но Ульяне становилось все хуже и хуже. Следовало бы вызвать настоящего лекаря, да ведь какие на острове телефоны? Мотора об ту пору и то ни у кого не было, чтобы сесть да на моторке слетать за доктором. Одно слово — остров...

Хотел было самолично везти Ульяну в ближайшую больницу, но бабы всполошились, отсоветовали: куда, мол, по такой невзгоде, затрясет, заболтает на волнах, вконец застудится. Да вскоре и попрощалась бескровными губами, отошла...

На другой день гроб, сбитый из отодранных на повети досок, несли на островной погост все наличные жители деревни, так что позади никто не шел, не голосил, некому было. Передние углы поддерживали две Ульяновы одногодки-сопрительницы, безмужние солдатки, сзади домовину подпирали бабка Марья и он сам, благо, что легка была покойница, вполовину прежнего. Шел, ничего не видя, невпопад тычась скрипучим костылем в неежженую, затравеневшую дорогу. За его спиной шлепался, тянул к земле заткнутый за пояс ярославский топор, который прихватил заколотить могильные гвозди.

Хмурым небом низко летели журавли, вскрикивали прощально. За проливом, на соседнем острове меж сизой ратью ельника проступали пожелтевшие березы. Онега, предзимне темнея, валко ходила меж островами. А здесь, на берегу, пустынно немела деревенская улица. Не гомонили на ней, как прежде, мальцы, не тюкали топоры у поленниц.

Савоня, потерянно возвращаясь с кладбища, проковылял вдоль посада, постоял в онемелом бездумье середь дороги, свернул в прогон между заколоченными избами. Костылем задел вымахавший на тропе можжевельный кустик, чуть было не упал и, неприязненно удивившись побегу, хватил под него топором. Через несколько



шагов встретил малолетнюю елку, рубанул и ее. Кинул взгляд на огороды, на сенные деляны, а там полно колючей молодежи. И уже не запихивая топор за опояску, а держа его на изготовку, запрыгал по пустырям, ударился валить направо и налево наседавший на древню лес. Рубился со злостью, с матюками, в кровь изодрал руки, где-то потерял шапку — будто на Куликовом поле...

Шедшая к Савоне поприбраться в дому после покойницы бабка Марья остановилась, оперлась на клюку, уставилась на странное дело.

— Ушла жисть, так чего уж... Ты б, воитель, сплавал-то, коль делать неча, в Типиницы да привез бы мне карасину. А то зима заходит, вослеп насидишься.

Зимы в Заонежье долги и глухи. Трещат на морозе избы, метет проливом поземка, застит соседние заиндевелые острова. День брезжит невнятно, размыто, и уже часу в третьем ползут из запечья вкрадчивые сумерки. А в пять окно уже кромешно темно: к нему припала и пристально и одуряюще тягуче глядится немая онежская ночь. Ни пароходного вскрика, ни заезжего гостя — мертво до самой весны, пока не сломается лед. Долгой, как век, показалась Савоне та зима без Ульяны, некому слова сказать. Отлежал все бока в немом коротанье, порос бородой и, едва дотерпев до чистой воды, наладил парус и укатил к пристаням, на люди. Корабли подваливали к погосту, большие и малые, трубили на все лады, сходни муравьино кишели приезжим народом — другая земля! Была при Савоне скопленная пенсия, всю спустил до копейки. Угощал каких-то матросов, механиков, неизвестно откуда взявшихся земляков, кричал кому-то, обнимая: «Ты мне друг али нет? Друг, говори? Тади достань мотор на лодку. Нету мне никакой жизни без нево. А иконку — это пожалуйста, это я для тебя доставлю, раз интересуешься. Это пустое». И, стукнув кулаком по ресторанной столешнице, заводил ломким дребезжащим голоском:

*Какая на сердце кручина,  
Скажи, тебя кто огорчил...*

Зачастил Савоня к погосту, а заодно то иконку с собой прихватит, то старый рушник, то туесок обветшалый. Спрашивают люди, почему ж не уважить? За ценой не стоял, больше дорожил компанией, застольной беседой. «У нас этой истории навалом, — говорил он. — Сколь времен копилось, дак...» Сначала подбирал всякую рухлядь в собственном доме, а когда запасы поиссякли, стал заглядывать в чужие брошенные хоромины, покинутые со всем обиходным скарбом — с горшками в печах и святыми угодниками по красным углам.

Этот никчемный товаришко разбирали у него на удивление бойко.



Савоня подчищает дно ямы, хозяйственно оглядывает свое творение и по выдолбленным в стене печуркам выбирается наверх. Там он усаживается на бруствер, неспешно раскладывает на колене разнокалиберные дареные сигареты, выбирает самую долгую, закуривает, а остальные складывает в помятую папиросную пачку.

Экскурсанты все еще толкуются у дебаркадера. Молодежь затеяла бросать гальку, и остальные глядят, как по воде затона скачут в многократных прыжках низко пущенные плоские камешки. Но вот с поддороги что-то кричит теплоходный затейник, машет лентами купленных билетов, и все идут к нему, вытянувшись долгой цепочкой по зеленому взгорку. Савоня прячет лопату в кустах и, припадая на ногу, плетется следом.

У новых, еще не успевших посереть рубленных под старину ворот, отделяющих музейную часть острова от остальной территории, приезжих ожидает местный экскурсовод. «Михалыч!» — еще издали узнает его Савоня по невысокой кряжистой фигуре в безрукавой синей тенниске. Савоня питает к Михалычу особое почтение за то, что Михалыч родом тоже онежанин, долго обучался своему ученому делу в Ленинграде и теперь снова возвратился сюда, в отчие места. Ему нет и тридцати, строг лицом и смышлен бойкими нетерпеливыми карими глазами, но, несмотря на свою ученость, Михалыч, однако, не позабыл исконного обонежского ремесла и при случае мог показать, на что способен топор в его крепких руках.

Пока туристы разбираются у ворот с билетами, Михалыч прохаживается взад-вперед и, глядя себе под ноги, нетерпеливо пошлепывает по штанине самодельной указкой. Савоня протискивается к нему сквозь толпу, протягивает руку.

— Здоров, Михалыч! — говорит он, немного важничая перед публикой оттого, что может вот так запросто подойти к экскурсоводу. — Ты поведешь?

Михалыч молча кивает и пожимает руку.

— А и достается тебе, гляжу! — весело сочувствует Савоня. — Сегодня еще, поди, подвалят.

— Обязательно.

— Тыщ на сорок уже перебивало, а?

— Побольше!

— Ай-йя-йя! — с радостным изумлением качает головой Савоня. — Што делается! Столботворение ерехонское! И едут, и едут...

— Ничего, зимой отоспимся.

— А ить раньше как, вспомни, Михалыч... Тишина-а! Я на этом острове...

— погоди, потом, потом... — нетерпеливо прерывает его экскурсовод и входит в гущу народа.



— Ага, потом... Ясное дело... — соглашается Савоня, оставаясь в стороне.

Михалыч шлепает указкой по ладони, громко и строго требует тишины, и ветер треплет его непокрытые волосы.

— Товарищи, товарищи! Прошу две минуты внимания!

Михалыч называет свое имя и объявляет, что осматривать историко-архитектурный ансамбль поведет он, а потому просит на территории музея не курить, а также самовольно никуда не отлучаться.

— Осмотр будет вестись по измененному маршруту, — трубно провозглашает он, — ввиду того что доступ в храмы Покрова и Преображения временно прекращен по случаю киносъемок. Коллекцию преображенских икон постараюсь показать на обратном пути.

За каменной оградой погоста бодро взывает музыка, Михалыч морщится, словно бы у него заломило зубы, и обрывает свои разъяснения:

— Все ясно?

— А какое кино снимают?

— Эстрадное обозрение «Белые ночи». Для телевидения. Есть еще вопросы?

— Ясно! Ясно!

— Тогда пошли-и!

Как полководец шпагой, Михалыч взмахивает указкой, тычет ею куда-то в поле и, нагнув голову, решительным спорым шагом ведет толпу в обход храмов.

— Этот проведет! — одобряет Савоня. — Этот покажет! Башковитый парень.

Внизу у берега мелко тарахтит на катере движок. От него к воротам погоста тянется кабель. Вчера, когда это все устраивали и налаживали, Савоня пришел посмотреть и хотел помочь что-нибудь поднести. Он поднял какой-то черный ящичек с медными застегками и пошел было с ним от катера на взгорок, но ихний начальник в темных очках и в большой лохматой кепке не понял, погнался за Савоней и стал кричать: «Товарищ, положи! Това-а-рищ, положи!» Савоня, конечно, положил и пошел прочь, а начальник подобрал ящик да еще погрозил вслед пальцем. Теперь артисты наглухо затворились на погосте и никого к себе не пускают.

Савоня отыскивает в створах ворот щелку, прилаживается к ней глазом. На высокой паперти Преображенской церкви, освещенной направленными на нее фонарями, поет молоденькая чернявая певица в белом голоколенном платье. Позади нее переминаются, раскачиваются из стороны в сторону человек восемь поджарых певцов в черных папах и ярко-красных бекешах с кинжалами на поясах, и все восемь с одинаковыми усиками. Девка тянет низким мужицким голосом, и Савоня даже не сразу догадался, что поет именно она:



*Лэ-тят утки-ы-ы,  
Лэ-тят у-у-уткы-ы...*

Певица, пальцами прищелкивая себе возле серьги, после каждого запева спускается на один порожек ниже и долго топчется, перебирает ногами на одном месте, будто месит глину.

*Ы два гуса-а-а-а... —*

подхватывают певцы в бекешах, и лица их при этом страдальчески скорбны. Тянут они, наоборот, тонкими голосками, как бы по-бабьи, так что Савоня кривится и досадует от неладности пения.

*Иэх, кого лу-у-ублу... —*

басит девка и спускается еще на один порожек.

— Пошто она так-то, по-жеребчиному? — сердится возле дырки Савоня. — Бабе надобно голосить, оказывать голос. Баба серебром должна брать, всему делу венец! Пошто над песней-то изголяться, мучить, крылья ей выкручивать, лёту не давать...

Музыка неожиданно переходит на что-то веселое, торопливое, сквозь гармошку и дудки просыпается гороховая дробь бубен. Один из певцов с гиком выпрыгивает из строя, проносится по паперти, окарячивает верхом перила крыльца, взвизгивая, съезжает на задувниз, ловко, лихо соскакивает на землю и, раскинув широкие красные рукава, начинает вертеться на одной ноге, на скрюченном носке так, что мелькают то усики, то затылок. Плясуна сменяет другой, после чего по разбежавшимся на обе стороны перилам скатываются сразу двое — один направо, другой налево — и принимаются наскакивать друг на друга, звякать сабля о саблю. Плясали и еще на всякий манер: один, не выпуская из рук гармошки, перевертывался через голову, другой подбрасывал бубен, и пока тот, позвякивая побрякушками, взлетал под самый конек церковного крыльца, танцор успевал хлопнуть себе по сапожкам...

Но вот к танцорам подбегает тот самый начальник в лохматой кепке, что-то недовольно кричит, машет на плясунов руками, и те, тяжело дыша и утираясь папахами, понуро лезут на крыльцо и начинают всё сначала.

— А ить тоже работка... — удивляется Савоня. — В мыло мужиков вогнала. Дак и то: коня, бывало, почнешь к хомуту приучать, весь измочалится конишко-то... А без хомута и овса не дадут... Во всем усердие требуется.

Он отстраняется от дырки, некоторое время в раздумье стоит у запертых ворот, потом ковыляет вдоль стены на лут, поглядеть, что там делается.

На дальней холмушке возле часовни Святого Лазаря примечает людскую толчею, видит даже, как жестикулирует, машет указкой Михалыч, и неспешно бредет туда по тропе сквозь поясные травы.



Там он приземляется позади толпы, воровато достает сигаретку и, покуривая из рукава, прислушивается к Михалычеву голосу.

— ...Сооружение это относится к древнейшему культовому зодчеству ранней Руси, — доносятся чеканные слова Михалыча. — Это так называемый клетский храм. Основу церкви составляет обыкновенная клеть, какие здешние смерды рубили и для бытовых построек. Различие только в оформлении кровли. Однако это небольшое строение превосходит своей древностью все наиболее известные храмы поонежского и беломорского Севера. Примерная дата его закладки относится к временам Дмитрия Донского, то есть стоит эта церковь без малого шесть веков!

По напевному и торжественному звучанию голоса и по тому, как белой молнией мелькала самодельная можжевеловая указка, Савоня сразу угадывает, что Михалыч уже распалился и будет теперь молотить, позабыв про время и самого себя. Который год слушает его Савоня и каждый раз внимает с детским восхищением, наслаждаясь музыкой высоких и подчас не совсем понятных слов.

— Я прошу вдуматься в эту цифру — шесть веков! — призывает Михалыч и палочкой отбрасывает со лба растрепавшиеся волосы. — Можно прикоснуться к этим седым стенам руками, и вы ощутите естество тех сосен, которые шумели кронами над русской землей еще во времена татарского нашествия, а может, и того раньше, в славную пору Юрия Долгорукого, заложившего самоё Москву. И тем не менее как свежи еще следы топора, как отчетливо прослеживается его искусная и вдохновенная работа, снимал ли он вот этот сучок, — Михалыч тычет в стену указкой, — еще и теперь пропитанный янтарной смолой, или рубил этот порог, этот алтарь, эту дивную луковку... Перед вами гениальное творение неизвестных русских умельцев, и вам бы следовало снять шапки. Это не церковь, — если хотите, это стихи, это песня, товарищи! Потом были Иван Грозный и посрамление Орды под Казанью, были царь Борис и нашествие шляхты, великий бунт протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, был бурный Петр, были Пугачев, Наполеон и прочее и прочее. Сколько потом еще было всего на нашей многострадальной Руси и тоже прошло... А порог этот и по сей день остался. Вот он! Должно быть, так же, как и теперь, у этого порога цвела белая кашка, курчавился бурьяном, гудел, сердился шмель, когда запутывался в травяных тенетах...

Савоня закрывает глаза и, слушая так, одобрительно кивает головой. Он любил, когда рассказывали про дерево, про топоры и постройки, а потому не удерживается и подсказывает:

— Ты, Михалыч, про крышу им порасскажь, про крышу. Ить не хитро на первый взгляд, а поди, сработай так-то!

— Прошу не перебивать! — строго кашляет в кулак Михалыч, однако, сделав паузу, широко взмахивает к небу указкой: — Хочу



обратить ваше внимание на завершение кровли. Здесь мы видим так называемый конек. Правда, внешне он нам не напоминает никакого изображения, он предельно прост. Но в том-то и дело, что...

И опять запел Михалыч, и, довольный, зажмуривается Савоня, нежит себя рассказом о коньке. А рассказ-то всего о сосновом комле, положенном по самому гребешку кровельки, про то, как он, оказывается, воздушно-легок и невесом и так как-то хитроумно срезан на самом окончании, что кажется, будто хочет вспорхнуть и остроклювой птицей улететь в онежские дали.

«Верно, верно говорит», — сладко млеет Савоня и сам любитесь и будто видит эту диво-птицу...

От толпы отделяется светлоголовый паренек в голубой куртке, простеганной крупными клетками, опускается на траву рядом с Савоней.

— В ногах правды нету, верно, б-батя? — говорит он с запинкой.

— Дак и посиди, — притишая голос, дружелюбно соглашается Савоня. — Отсюдова тоже слыхать. Тут ежели все рассказывать — делов много! — Савоня, радуясь возможности поговорить, пододвигается к парню. — Вот, к примеру, откудова она есть, часовня эта... Она ведь допрежь не здесь стояла, не-е! Она стояла на Муромском острове. Вот где ее законное место. Это ежели тебе пояснить, как верст на шестьдесят отсюдова по воде. Конечно, разобрали ее всю, а то как же. Пометили бревна и раскидали. Целиком ее нежели довезешь? Не шутейное дело... Дак и опять же: кто таков Лазарь? Он-то в поспешности не сказал, Михалыч, а я тебе скажу...

— У нас в Калуге тоже всяких ц-церквей дополна, — перебивает парень, отмахивая со лба косой чуб, похожий на птичье крылышко. — Не бывал в К-калуге? Циолковский, между прочим, жил.

Кто таков этот самый Ци..., Савоня слыхом не слыхивал, не знал и про то, где находится Калуга, велик ли, мал ли городок, а потому виновато промешкивается, но вскоре опять возвращается к прерванной беседе и принимается рассказывать про Лазаря, какой это был непреклонный, с характером старец, как пришел он на Онегу-озеро из грецких земель и как соорудил себе среди ненасытных болот одинокую хижину и крест возле нее и как хотели сжечь его, Лазаря, некрещеные лопяне, дикие сыроядцы, но не смогли одолеть!

— Сто пять годов прожил! — восхищенно поверяет Савоня, слышавший эту историю то ли от своей бабки, то ли от деда, а может, и еще от кого из старожилов, хранивших старые книги. — Во какой смоляной был, Лазарь-то!

— Не знаешь, пиво есть в р-ресторане? — спрашивает парень.

— В нашем-то? Должно быть, а то как же.

— Башка, понимаешь, т-трещит... — морщится парень и сплевывает себе на ременные сандалии. — Вчера немножко д-долбанули.

— Усадку голова дает, — понимающе сочувствует Савоня. — Дак пиво должно быть. Позавчера завозили. Только бочковое.



— ...Теперь об окнах, — долетает голос Михалыча. — Мы имеем здесь дело с так называемыми волоковыми окнами...

— Понимаешь, только Вытегру проехали, — опять сплевывает парень, — смотрю, ребята зовут. Пойдем, говорят, б-белые ночи встречать. Ну и пошли... А тут б-бабы подвернулись. Вон они стоят.. Вон та, в белом свитере. И та вон, высокая, в коротких штанах которая...

— Дак ясное дело! — кивает Савоня. — Ежели бабы, оно конечно...

— Ну и з-завелись...

— Стекол в то время в простых сельских храмах еще не было, — поет Михалыч. — И окна задвигались, как видите, или, по-тогдашнему, заволакивались, изнутри дощечкой. Отсюда — волоковые...

— Крепко ж-жахнули, понял?

— ...Существует другой тип окон, характерный для более поздних построек...

— Владлена Андреевна, — переговаривается кто-то в толпе. — Не помните, я замкнула каюту?

— Не обратила внимания.

— А то у меня там плащ остался на вешалке.

— Кажется, замкнули.

— Ужасно стала рассеянная. Я уже имела счастье в Суздале вот так оставить номер... Вовик, Вовик, не становись на порог, детка! Он может провалиться, и ты сломаешь себе ногу.

Михалыч замолкает, нетерпеливо шлепает указкой по ладони.

— Товарищи, товарищи! Имейте в виду: чем больше будете говорить вы, тем меньше расскажу я. Выбирайте.

— Пойду пива попью, — шепчет Савоне парень.

Он встает и, делая вид, будто осматривает церковь, заходит за угол постройки. Через некоторое время парень осторожно высовывается из-за угла, подает кому-то знаки, дует себе на кулак, изображая пивную кружку. В толпе прыскают какие-то девчата, и Михалыч снова прерывает свои пояснения.

— В чем там дело, товарищи? — строго оборачивается он.

Парень в голубой куртке мгновенно прячется за срубом. Но вот со святым Лазарем покончено. Михалыч, нагнув растрепанную голову, суворовским жестом простирает вперед указку и быстрым своим шажком ведет осматривать соседнюю Великозерскую часовню. Савоня со своей ногой не успевает за экскурсией, постепенно отстает, останавливается среди острова и, заметив невдалеке от стен погоста белую панаму туриста-художника, одиноко маячившего над травами, поворачивает к нему. Там он в почтительном отдалении, но так, чтобы видеть картину, опускается на землю. Художник, невидяще глянув на пришельца, на миг показав обложенное русой молодой бородкой узкое, отрешенное, апостольское лицо, снова отворачивается к рисунку и продолжает торопко шуршать по картону



цветными палочками, Савоня достает из кармана недоеденную баранку и, отламывая по кусочку, вяло жуя, наблюдает за работой, сликает картину с живой Преображенской церковью.

Художник отходит на несколько шагов от своей треноги, в раздумье теревит, пачкает цветными пальцами бородку, и видно, что недоволен своей работой. «Вот и готовое, а не дается, — думает про него Савоня. — Да и сколь уже подступались: и оттуда зайдут, и отсудова...»

— Иди покурим, дак, — сочувственно зазывает к себе Савоня.

Художник молча садится рядом, платочком обтирает долгие пальцы, а сам с потаенной тоской и жадностью все глядит на путаницу Преображенских куполов, а Савоня видит, как под его бородкой ходит сухой нервный кадык.

Отсюда, с земли, сквозь колышимые на ветру былинки, храм походит на кем-то забытый в мураве туесок, доверху наполненный грибами-куполами. Будто кто набрал их полон короб и все клал и клал друг на друга, грибок на грибок, все выше и выше, сам удивляясь, как дивно это у него выходило, а на вершине грибного ворошка водрузил самый крепкий чешуйчато-серебристый подберезовик, и даже крест, темнеющий над ним, Савоне кажется прилипшим сучком, лесной соринкой.

— Вот спрашиваешь, — затевает беседу Савоня, косясь на художника, хотя тот ни о чем и не спрашивал, а все глядел на церковные маковки. — Можно теперь соорудить такую? Сразу скажу — можно! Обгляди, обмеряй и — делай. У нас один малец из спичек в точности собрал.

— Это интересно, — вежливо выговаривает художник.

— Все как есть! Дак и теперь мастера найдутся. Покличь стариков, какие еще остались, — состроят! Это я верно говорю. Оно, конечно, и старики теперь отвыкли от топора, нечего стало делать. А которые, окромя дров, ничего дак и не рубят. Но не в том вопрос. Ты меня слушаешь?

— Конечно, конечно... — отсутствующе кивает художник.

— А как она ставилась, церква эта, с самого изначалу, вот ты мне что скажи. Ну привезли лесу, ну натесали... Дальше чего? С чего начинать будешь — крутом голый берег, не на чего поглядеть. Какой и докуда высить угол? Где к месту остановиться и начинать класть карнизы? Какой и куда спускать водоток? От какой метки ставить барабаны? А их вон сколько, двадцать две штуки! Во где закавыка!

— Да...

Художник неожиданно подхватывается, бежит к треноге и принимается что-то подтирать и подрисовывать.

— А-а! — торжествует Савоня и заливается азартным и благоговейным смехом. — Во была голова! Из ничего! А так, гляючи, дак и я соорую.



Ему охота еще поговорить про плотницкое ремесло, но собеседник прилип к картинке, не возвращается, и Савоня, так и не дождавшись его, ложится на живот, с облегчением вытягивает намученную ногу. Теперь ему видны одни только купола и небо, да еще чайки, мелькающие над крестами. Он опускает голову на поджатые руки и погружается в чуткую травяную тишину. Откуда-то выпрыгивает кузнечик, повисает перед самым Савониным лицом на прогнувшейся былинке. Сам весь зеленый, и глаза тоже зеленые, и Савоне видно, как в них, больших и удивленных, отражаются колышимые травы. От всего облика этой шустрой, проворной, жизнерадостной таракашки веет вольницей, напомнившей далекое Савонино детство. «Ну чего, парень, как жисть? — спрашивает Савоня, проникаясь участливым чувством к этому загадочному созданию, о существовании которого даже позабыл в житейской суете. — Ноги еще целы? И то ладно! Скачи давай, бегай, остров-от вон какой для тебя великий, целая губерня». Кузнечик протягивает сквозь передние лапки сначала один ус, потом другой и, вовсе не боясь Савоню, а может быть, просто не замечая его, начинает счастливо сипеть прозрачными крыльями. «Давай, давай, а то скоро придут косари, состригут твою палестину. Што тади будешь делать? А и нечего делать...» Кузнечик прислушивается, потом перебирается повыше и пускается стрекотать еще жарче. Справа, слева ему отвечает веселая братия, трава вокруг Савони закипает знойным баюкающим стрекотом. Нехитрая музыка сигунков сливается звоном в ушах, и чудится Савоне, будто дед посылает его, семилетнего мальчонку, топтать на стогу сено. Савоня прыгает по мягко оседающему, покачивающемуся стогу, радостно страшась этой зыбкости, боясь края и в то же время весь ликуя от беспредельного простора, открывшегося отсюда, с сенной высоты. «Ух ты как! — кричит он деду. — Всю Онегу видать!»

Что-то хлестко шлепает по спине, Савоня поднимает голову и догадывается, что задремал. Редкие крупные капли дождя косо вонзаются вокруг Савони, в пыль разбиваются о мохнатые головки тимофеевки. Савоня поспешно встает, озирается по сторонам. Художника уже нет на прежнем месте, после него осталась лишь истоптанная луговина. Низкая глухая туча волочится над островом. Под налетевшим ветром заметались травы, прибойно заплескались у подножия каменной стены погоста. Их зеленые волны, взмелькивая светлой подкладкой, летуче и мятежно перебегают через весь остров и где-то за ветряной мельницей падают в седую зашумевшую Онегу, и видно, как мельница, борясь с ветром, вздрагивает привязанными крыльями.

Внезапно обрушивается шумный шквалистый ливень.

Мимо Савони по тропе со стадным топотом проносится, экскурсия, и лишь какое-то время спустя проходит своим частым шажком Михалыч.



— Отчитал? — кричит ему Савоня, но тот, должно быть, не слышит за ветром и шумом дождя.

Савоня поднимает оброненный во сне картуз, выбирается на утонувшую в мутной пузырящейся воде тропинку, ковыляет к ограде и мокрой спиной притискивается к еще тепловатым камням стены. Над ним с тесового навеса захлеб плещутся водяные струи. С сухим треском обрушивается совсем близкий гром, пустой бочкой прокатывается по острову. Дождь припускает пуще, все тонет в его обвальном шуме, и только слышно, как с размаху расшибаются о береговые карги невидимые онежские валы.

## 5

После дождя остров словно бы вымер.

Савоня, подставив спину проглянувшему солнцу, давая просохнуть рубашке, в одиночестве сидит у раскуроченного места, излюбленного им потому, что отсюда далеко видать, а главное, можно курить сколько хочешь. Мокрые, потемневшие срубы церквей тоже курятся парком, а над их верхами снова, как ни в чем не бывало, кружат и гомонят невесть откуда налетевшие чайки.

Из раскрытых окон дебаркадерного ресторана доносится обеденный гомон, слышно, как буфетная радиолка выкрикивает на чуком картавом языке. Из-за дождя за столики сегодня засели рано, не дождавшись, пока объявят обед на самом теплоходе.

Савоня, не любивший безлюдья, безо всякой нужды выкуривает еще одну «северинку» и наконец решает сходить к яме посмотреть, много ли натекло туда воды. Идет мимо дебаркадера, стараясь не глядеть на ресторанные окна, откуда ветер накатывает волны кухонных ароматов.

— Эй, батя! — окликает его кто-то.

Савоня оборачивается и видит в окне парня в голубой куртке.

— З-зайди на минутку.

Савоня кивает, но сперва все же идет к яме, выдерживает характер. И лишь после того сворачивает на лавы, обтирает пучком травы спецовочные фэзэушные ботинки и поднимается на второй этаж. Там он останавливается в коридоре и глядит в обеденный зал, пытаясь рассмотреть парня.

Ресторан битком набит сбежавшимся по случаю дождя народом. Распаренная официантка Зойка, разгоняя слоистый табачный дым, курсирует с подносом между камбузом и обедающими туристами. Посреди зала, сдвинув сразу несколько столиков, шумно, с тостами и взрывами белозубого хохота, обедают те самые усаые певцы и танцоры, что плясали на погосте.

*Ай дала, ай дала, дала да... —*

запевает перед бегущей по проходу Зойкой один из артистов и, щая желтыми глазными яблоками, прихлопывает в ладони.



— Да нуте вас! — увертывается с подносом Зойка. — Щи опрокинете.

За соседним столиком дама-бабушка и Вовик-землепроходец в компании мужчины с доминошной коробкой в нагрудном пижамном кармане лакомились кефиром. Вовик дует в свой стакан, выбрызгивая оттуда белые пузыри, бабушка шлепает его по руке и вытирает нос бумажной салфеткой.

Савоня общаривает глазами дальние углы, но парень в голубой куртке оказывается совсем рядом, за столиком у распахнутого окна. Он что-то рассказывает своим приятелям, мешая самому себе минутным смехом, во время которого оцепенело замирает и прикладывает руку к сердцу. Сидящая рядом с ним круглолицая, покрасневшая туристочка с высоким начесом огненно-рыжих волос смущенно смигивает черными кукольными ресницами и прячет подбородок в толстый ворот белого свитера.

— Дима, не ври, не ври! — запальчиво выкрикивает она. — Не так все было!

Дима еще что-то выдает, туристочка накидывается на него, розовыми кулачками колотит по голубой спине.

— Все, все, Шурочка! — со смехом уклоняется Дима. — Ну ска- зал, не б-буду!

— Болтун!

— Все! М-мир — дружба! Мир — дружба!

Дима выстреливает из окна окурком, отмахивает чуб-крылышко и подтягивает к себе пивную кружку.

По другому боку рыжей туристочки пристроился густобровый паренек с набегающей на толстые очки всклокоченной мокрой челкой, — тоже в свитере, но только в малиновом, с желтой росшивью по груди. Паренек двумя пальцами с золотым колечком подносит ко рту тонкую сигаретину, тянется к ней сложенными в трубочку пухлыми губами, как-то так старательно обжимает желтый бумажный мундштук, вдумчиво тянет и, подержав в себе дым, тоже вдумчиво выпускает, целясь струей в подвешенную над головой люстру.

Остальные двое сидят к Савоне спиной, и он видит только их затылки. Один с аккуратным пробором до самой макушки, на которой угнездился неприглаженный петушок, и все называют этого, с петушком, по фамилии — Несветский. Затылок его соседа оброс цыганистыми завитками, набегающими на белый кантик синей футболки. Этот кучерявый, которого в разговоре тоже величали Димой, время от времени шарит смутлой ухватистой рукой по гитарному грифу, и клонясь к нему и прислушиваясь, что-то тихо и неразборчиво подрывничивает.

Савоня долго стоит в коридорчике перед ресторанной дверью, ждет, когда его заметят, и Дима в голубой куртке наконец натыкается на него глазами и нетерпеливо и обрадованно машет ему рукой.

— Давай, бать, с-сюда!



Савоня еще у порога стаскивает картуз, приглаживает волосы и, стараясь не топтать, с опаской поглядывает на грудастую, опутанную по шее тремя рядами монист буфетчицу, пробирается меж столиков тесными проходами.

— Ты куда, батя, з-запропал? — удивляется Дима-маленький.

— Куда ж мне пропадать? Пропадать некуда. В сенях и стоял.

— Понимаешь, р-разговор один есть.

— Дак и вот он я! — приободряется Савоня.

— Тут такое д-дело. — Выжимая из себя очередное, застрявшее слово, Дима-маленький трудно мигает веками. — Теплоход до утра никуда не пойдет, что-то там поломалось, п-понял?

— Отчего ж не понять, — смеется Савоня, переминаясь. — Еже-ли поломался, куда плыть, ясное дело.

Дима-маленький ловит Савоню за пуговицу на рубаше, притягивает к себе.

— Сколько дней плывем — то нельзя, это нельзя... Охота костерчик погасить. На воде, п-понял?

— Известное дело!

— А у тебя, говорят, лодка есть...

— На воде живем, как не быть! — еще больше оживляется Савоня.

— Значит, с-сорганизуешь?

— Это завсегда можем предоставить, — переминается Савоня, удерживаемый за пуговицу.

— А уху заделаем, как думаешь? — спрашивает другой Дима — Дима-большой. Он поворачивает к Савоне крупное скуластое лицо в редких оспинах.

— Дак и уху... — соглашается Савоня. — Третьего дня я тут в одном месте сетки покидал, может, чего и зацепилось...

— Давай, батя, уважь, — удовлетворяется ответом Дима-большой и снова свешивает смоляный чуб над гитарным грифом.

— Ой, поехали, поехали, мальчики! — рыжая Шурочка нетерпеливо топчет под столом каблучками. — Рит, едем, да?

Очкастый паренек выпускает дым, неопределенно пожимает плечами, и Савоня только теперь догадывается, что это вовсе и не парень, а так чудно обстриженная девица.

— Это же чудо как здорово! — ликует Шурочка. — Несветский!

Кругленький, розовощекий, расположенный к ранней полноте Несветский, одетый в хороший серый пиджак с галстуком, устремляет взгляд за окно, изучает низко бегущие облака. На его аккуратной макушке настороженно вздрагивает петушок.

*Телепатия, ух, телепатия,*

*У меня к тебе антипатия... —*

насмешливо напевает Дима-большой и, оборвав пение, хлопает Несветского по округло-женственной спине:



- Брось, кибернетик, умно задумываться! Дамы же просят!
- Поехали, поехали! — снова стучит каблучками Шурочка.
- Да, но я договорился с капитаном насчет радиogramмы.

*У меня к тебе чувство скверное  
Неспроста вызревало, наверное, —*

морщится Дима-большой. — По маме соскучился?

— Не в том дело...

— Все, бать, з-заррубили! — объявляет Дима-маленький и отпускает Савонину пуговицу. — П-пива хочешь?

— Это можно... — расплывается Савоня.

— Тяни! И давай волоки сюда лодку.

Савоня стоя выпивает кружку, в поклоне благодарит и, зажав картуз под мышкой, спешит к выходу.

— Опять ты тут? — фыркнула ему вслед буфетчица, и от ее окрика Савоня втягивает голову.

## 6

Разлатую, заляпанную смолой Савонину посудину покачивает на вялой обессиленной волне в заводине позади дебаркадера. От нее тянет рогожным духом слежалой осоки, устилающей днище. Савоня, уперев весло по внешнему борту, удерживает лодку у скользких зеленых свай настила. На нем просторный, с чужого плеча, флотский бушлат с отвернутыми обшлагами и неполным комплектом латунных пуговиц, недостаток которых восполнен разнокалиберными пуговицами из гражданского обихода. Бушлат этот вместе с прочими пожитками — гаечными ключами, подобранными на берегу бутылками, мережами и большим закопченным ведром — хранился в носовом отсеке, запиравшемся на щеколду.

Оба Димы прыгивают в лодку, принимают рюкзак с провизией, закупленной в буфете, гитару, плащи, ловят взвизгивающую Шурочку, переносят голенастую Риту в коротких, выше колен, наутюженных брючках.

— А она выдержит? — опасливо спрашивает Рита, опускаясь на скамейку.

— Не бойсь, подруга! — ободряет ее Дима-большой. — Морские медленные воды не то что рельсы в два ряда, верно, бать?

— Не-е! — подтверждает Савоня. — Лодка сухая, не течет. Я на ней по пятнадцать человек катал!

Последним с теплохода приходит Несветский, в куцем плащике и темных очках, и Савоня, оттолкнув лодку, дергает пусковой шнур. Мотор бесстрастно отмалчивается, наконец, будто огрызнувшись на донимавшего его хозяина, сердито взгрыкивает.

— Ой, обождите, обождите, — спохватывается Шурочка. — Вон Ёйя Надцатый идет. — И, приставив ладошки ко рту, кричит: — Ё-ша! Ё-ша!



От погоста к дебаркадеру спускается по тропинке уже знакомый Савоне бородатый художник в белой панаме с желтым плоским сундучком через плечо. Он то и дело останавливается и, прикладывая ладонь к глазам, подолгу глядит на отделившиеся силуэты погоста.

— А каракатица да задом пятится, — усмехается Дима-большой.

— Ёша! — кричит Шурочка. — Ну скорей же!

Ѓйя Надцатый наконец улавливает окрики, и Савоня снова подправляет лодку к мосткам.

— Ты где делся? — кричит Дима-маленький.

— Да так, ходил все... — Промокшая панама свисает на глаза Ѓйи Надцатого увядшим безвольным лопухом. — Пописал немного...

— Ты что, еще не обедал?

— Да вот собираюсь...

— Брось, не ходи. Там одни щи. Имеется шанец ухи похлебать, п-понял?

— Ой, Ѓшенька, поедем!

— А как же теплоход?

— Ты чего, не знаешь? Ночевать будем.

— А в чем дело?

— Вызывают аварийный катер из Петрозаводска. У тебя есть г-гроши?

— Да найдутся... — Ѓйя Надцатый готовно копается в тесных карманах узких и мокрых техасских штанов.

— Давай дуй в буфет, бери бутылку и поехали.

— А не помешаю?

— Брось в-выпендриваться. Давай рви за б-бутылкой. Мы ж на тебя не рассчитывали.

— Да, конечно... хорошо... — бормочет Ѓйя Надцатый, отдает этюдник и, по-верблужьи отбрасывая в стороны широченные растоптанные кеды, шлепает по дощатому настилу к дебаркадеру. Возвращается он с пузатой бутылкой и полной панамой «Мишек на Севере», прыгает в лодку и, запыхавшись и радостно светясь, приседает на корточки против Савони.

— Ш-шампанское! — разочарованно изумляется Дима-маленький. — Пижон!

— Ѓша, вы умница! — заступает Шурочка. — И идите ко мне, вам там неудобно.

Дима-большой отбирает у Ѓйи бутылку, которую тот, все еще прижимая к груди, встряхивает и разглядывает против солнца.

— Вода, вода, кругом вода-а... — насмешливо тянет он. — Ладно, на похмелку сойдет.

После нескольких рывков шнура мотор резво взывает, и за кормой закипает коричневая от донного ила вода. Лодка, прошивая камыши, рвется от берега, лихо огибает причаленный к дебарка-



деру теплоход, выбегает на вольную Онегу. Под высоко вскинутым носом хлестко плещет в днище встречная волна.

— Нынче ветерок! — Глаза Савони счастливо слезятся в сощуренных красноватых веках. Он надвигает поплотнее мичманку, пристегивает ее окольшным ремешком и прибавляет газу. Лодка послушно рвется вперед, налетает на волны всем брюхом, разваливая их на обе стороны. Ветер тонким сверлом принимается сверлить уши, и все отворачивают воротники и натягивают капюшоны.

— Мухой будем! — смеется Савоня и, заметив, как Рита обхватывает руку Несветского, кричит: — Ты, милая, не бойся! То ли это волна? По такой волне у нас бабы сено с лугов возят. Копну нашвыряют и — поше-ел!

За рулем он по-детски возбужден и непоседлив, высматривая и выверяя дорогу, склоняется то к правому, то к левому борту. Корма под ним осела вровень с волнами, и кажется, будто сидит он вовсе не в лодке, а на гребне кипящего буруна, взбитого винтом.

— Всю жизнь на воде дак! Это теперь все с моторами. А допрежь того не знавали-и! Под парусом бегали, а то больше на весельках, на весельках! — Савоня, пересиливая рев двигателя и всхлипы волн, выкрикивает слова с азартным оживлением, и в его неухоженной щетине взблескивают водяные брызги. — Я еще в мальчиках бегал, дак, бывало, в праздники... Как вдарят в колокола, как почнут дилибомкать! На Спас-острове себе, в Усть-Яндоме себе колоколят! Да в Типиницах, да на Волкострове! Звону на всю Онегу! Ветер не ветер — и оттуда на звон плывут, и отсюдова! Целыми деревнями. Из гостей да в гости!

Савоня наклоняется над бортом, глядит куда-то поверх волн и, поправив лодку чуть левее, пропускает мимо легкий белый катерок.

— А то ежели свадьба, — продолжает выкрикивать он. — Этим и вовсе волна нипочем! В одной лодке жених с невестой да с друзьями, во второй сваты, а уж опосля еще лодок восемь-десять, сколь увяжутся. Гармошки режут, а лодки все изукрашены, весла лентами повиты! Другой раз вот как волна взыграет, а бабы-девки знай себе олялешкают, да еще и поплясать норовят на волне-то! Я и сам так-от женился. Из Типиниц бабу свою привез.

От лодочного носа вдоль обоих бортов, будто крылья, взмываются пенистые хлопья, радугой вспыхивает пронизанная внезапным солнцем водяная пыль. Берег с дебаркадером и белым теплоходом быстро отдаляется, вот и совсем истаивает, и только шпили церквей все еще бегут по волнам.

Прямо по курсу неожиданно встает белая громада теплохода. Судно, погуркивая дизелями, источая из камбуза запах жареного лука, величаво проходит совсем близко от лодки, и становится слышно, как облепившие борта туристы поют дружным многопа-



лубным хором «Долго будет Карелия сниться...» Савоня кладет руль круто налево, облетает теплоход с кормы и, поравнявшись с носовыми иллюминаторами, ведет лодку метрах в десяти от борта. С теплоходного мостика раздается рупорный окрик:

— Эй, в лодке! Не балуй! Отваливай, отваливай!

— Это ты, Яковлич? — радостно узнает голос Савоня.

— А-а! Привет! — отвечает рупор. — Кто там у причала?

— «Сусанин»! «Сусанин» стоит! — кричит в ладони Савоня. —

Поломался, ночевать остается!

— Что там у них?

— Не знаю! За аварийным катером в Петрозаводск послали!

— Что они, сами не могут, что ли?

Туристы тоже что-то кричат лодке, машут руками, целятся фотоаппаратами.

Дима-большой, набрав из Гыйиной панамы горсть конфет, бросает на палубу теплохода. Конфеты осыпают толпу, шлепают о борт, недолетевшие падают в воду. На палубе поднимается визг, смех, суматоха.

— Кинь еще! — просят на теплоходе.

Дима-большой начинает метать поштучно, выцеливая девчат.

— Давай сюда!

— Кинь нам!

— А пиво б-будет? — кричит Дима-маленький.

— Чего? Громче!

— Пиво, говорю!

— Не-ту!

— Не зажимай! Бросьте пару бутылок!

— Правда, нету! Все попили!

— Эй, рыжая! Давай ныряй к нам!

— У вас своя есть рыжая!

— Еще одну надо! У нас н-недочет!

— Перебьешься! — хохочут теплоходные девчата.

— Ладно, п-попадись только!

— Чего-чего?!

— Попадись, говорю, м-мокрохвостая!

— Полегче на поворотах!

В Диму-маленького летит огрызок яблока, потом на палубе кто-то выкрикивает «три-четыре», и множество голосом сразу подхватывает:

*Не хочу я каши манной,  
Мама, я хочу домой!*

Теплоход нетерпеливо дудит и прибавляет ходу, и на палубе снова, на этот раз с протяжкой, взлетает:

*Ма-ма, я хочу домо-о-ой!*



Дима-маленький вскакивает на носовую деку, корчит ответно рожицу и, заложив в рот пальцы, разбойно свистит. Лодку подбрасывает на разбежавшихся от корабельного носа ухабистых усах, Дима-маленький кубарем летит на Диму-большого, и Савоня отворачивает моторку и возвращается к прежнему курсу.

— Иван Яковлич пошел! — говорит он уважительно, оглядываясь на теплоход. — Хо-ороший капитан!

Налетает чайка, первозданно чистая, стремительная каждым обдутым, плотно пригнанным пером. Птица борется с ветром и, держась почти над самой кормой, деловито заглядывает в лодку. Под ее брюшком видны кулачками сжатые лапки.

— Какая хорошенькая! — умиляется Шурочка, разглядывая дику и доверчивую птицу. — Никогда не видела так близко!

— Смотрите, у нее на лапе кольцо! — замечает Гыйя Надцатый.

— Ой правда! Она ручная, да? Мальчики, дайте ей что-нибудь!

— Сейчас д-дадим... — отзывается сидящий на лодочном носу Дима-маленький.

Неожиданно, так что все вздрагивают, раздается громкий хлопок, мимо чайки пролетает что-то белое и, описав дугу, падает в волны. Чайка опрокидывается на крыло и летит прочь в красивом планирующем вираже. Все оборачиваются на звук и видят Диму-маленького с дымящейся бутылкой шампанского.

— Промазал, п-падла! — хохочет он, сверкая вставным золотым зубом.

— Зачем же ты спугнул? — обижается Шурочка. — Она так хорошо за нами летела.

— Еще прилетит. Тут их д-дополна. — Дима-маленький достает из-за пазухи «уведенный» из ресторана стакан и отливает в него пенно побежавшее вино. — На-ка лучше, старуха, хватани.

— Да ну тебя.

— Чё ты? Чё тыришься? Я ж ее не убивал?

— Давайте, правда, выпьем! — соглашается Рита. — Я вся за-коченела.

— Вот это разговор! — одобряет Дима-маленький и передает Рите стакан. — Дайте ей конфетку.

— Давайте, знаете, за что? — говорит Рита. — Давайте за Ладожское озеро!

— Онежское, — вежливо поправляет Гыйя Надцатый.

— Разве? — Рита конфузливо прикрывает рот ладошкой. — Я их всегда путаю. Еще в школе никак не могла запомнить — Ладожское, Онежское...

— Дак что ж тут запоминать! — смеется Савоня. — Это вот и есть Онежское! А Ладога эвон где! — Он машет рукой за корму. — Ладога к Ленинграду. Мы там в блокаду с батареей под Осиновцем стояли! Ой и дела были!



Бутылка пошла по рукам, досталось немного и Савоне.

— За рулем много н-нельзя! — кричит ему Дима-маленький. — А то на пароход налетишь!

— А и веселый парень! — смеется в ответ Савоня и закусывает непривычное питье папироской.

— Мальчики, мальчики! — оживляется Шурочка. — У меня есть идея!

— То есть?

— Давайте напишем записку и бросим в этой бутылке в воду!

— К-какую записку?

— Как — какую? Кто-нибудь найдет и узнает, что мы здесь были.

— Фи! Кому нужна твоя записка!

— Ничего вы не понимаете! Это же интересно!

— Лучше сдать в б-буфет, — хохочет Дима-маленький.

— Что ты, Димка, все со своим буфетом? Буфет, буфет! Несчаст-ный, помрешь, и ничего от тебя не останется.

— Брехня! — регочет Дима-маленький. — У меня зуб золотой. 3-зуб останется. Найдут и скажут, во парень был! С фиксой!

Все смеются.

— В прошлом году я была в Теберде, — говорит Рита. — Там берут с собой в горы кисти и тубы с красками. На одном перевале вся скала исписана. Есть надписи даже тысяча восемьсот девяносто второго года. Какие-то Константин и Соня. Их ведь, наверно, давно уже и нет...

— Это что! — говорит Несветский. — Хотите хохму?

— Валяй!

— Это по Военно-Грузинской. Какой-то шутник в нише над са-мой дорогой пристроил человеческий череп, а под ним написал: «Я был таким, как вы, вы будете такими, как я. Счастливого пути!» Ничего, правда?

— Фу, какая мерзость! — зябко передергивает плечами Шурочка.

Слева начинает тянуться лесистый берег с белой кромкой при-боя. Сосны то подступают к самой воде, то, отдаляясь, сменяются полянами, кипящими нехоженой цветью. Дима-большой берет ги-тару и напевает расслабленным баском, как всегда, с насмешли-вым оттенком:

*Ангара и Кама, Енисей и тундра,  
Не волнуйся, мама, мы туда, где трудно...*

Лодка огибает острый каменистый мыс, отделяющий большую воду от какого-то залива, и все вдруг видят на берегу, под вольно разметавшейся сосной, островерхую избушку, похожую на здеш-ние часовенки.

— Дак и приехали! — объявляет Савоня.

— Ой какая славная избушечка, — хлопает в ладоши Шуроч-ка. — Вы здесь живете?



— Не-е! Я там... — Савоня неопределенно машет в открыток Онегу. — Вы, робяты, давайте вылазьте, теплинку распалайте, обогрейтесь пока. А я сплаваю, погляжу сетки. Три дня стоят, может, и набежало чего ни то...

Все сходят на берег, а Савоня, проворно оттолкнув полегчавшую ладью, «мухой» уносится в глубину залива.

## 7

Избушка почти по самую крышу заросла кипреем.

Дима-маленький, первым добежавший до ее порога, распахивает дверь, подпертую колышком, и гости заглядывают в полусумрачную ее глубину. Виднеются составленные в углу весла, серый ворох сетей с берестяными поплавками. Перед единственным тусклым запаутиненным оконцем — грубо сколоченный стол и лавка. Дима-маленький срывает со стены пучок сухой земляники с темными запекшимися ягодами, пробует жевать.

— А ничё! — одобряет он. — Жить можно!

— Всё, мальчики! — Шурочка со вздохом опускается на скамейку и расслабленно роняет руки себе на колени. — Остаюсь здесь и больше никуда-никуда не еду. Вымою полы, повешу на окно занавеску — сказка!

— И я! — подсаживается к ней Дима-маленький. — Ты, старуха, будешь прясть пряжу, а я буду закидывать вон тот н-невод, договорились?

— Нет, Димчик, я одна.

— Б-брезгуешь, да?

— Отвяжись!

— Ага! Все понятно: ты хочешь с Несветским!

— Ничего я не хочу.

— Но учти. Несветский не умеет закидывать невод. Он при галстукке. Через неделю он уморит тебя голодом и сам даст д-дубу, верно, кибернетик?

— Не говори, идя на рать... — парирует Несветский.

— Не ссорьтесь, мальчики! Я не останусь: я совсем забыла, что скоро кончаются каникулы. Идемте лучше собирать дрова.

Гости выходят наружу.

Гёйя Надцатый, перекинув через плечо лямку своего сундучка и нахлобучив панаму, отправляется на мыс. У его ног бежит низкое солнце. Оно уже пало на воду и омочило ободок. Далекий пароходик, волоча дым, отважно врывается в правый бок светила и расплавляется в нем, будто в жарком печном устье. И только дым от него все еще волочится по горизонту. Все разбредаются по берегу.

Шурочка об руку с Димой-большим идут собирать плавун, выброшенный волнами, а Рита, грациозно, по-лосиному перешагивая через валуны, в паре с Несветским у края леса лакомится земляникой.



— У нее очень красивые ноги, — замечает Шурочка. — Обрати внимание.

— Уже обратил.

— Нет, правда.

— Поэтому она не надевает юбок?

— А что, шорты ей очень к лицу.

— Не к лицу, а к зад.

— Болтун! Не будь я такая толстая, я бы тоже носила.

— А почему ее не едят комары?

— Кого, Риту? Ты о ней говоришь так, будто она тебе не нравится.

— Не люблю задумчивых дур.

— Почему же дура? Она учится в инязе и знает французский.

— Подумаешь!

— Ну хорошо, а я? Тоже дура?

— Нет, Шурок, ты баба компанейская. Мы сегодня с тобой столкуемся, ага?

— Не болтай и подними вот это колесо. Как по-твоему, что это такое?

— Это от прялки. У моей бабки в Тюмени тоже была такая.

— А я думала, корабельный штурвал. И вот эту дощечку тоже возьми.

Присмирившие в заливе волны с легким стеклянным звоном накатываются на зализанные валуны — восемь ровных, один в один валов, каждый увенчанный солнечной чешуйкой. И лишь девятый набегает покруче, пошумней, с белым барашком на хребтине. Этот девятый дальше других взлетает на камни и, уходя, оставляет среди них пенные живые озерки. Волны несут с собой крепкий смолистый запах неведомых островов, рассыпанных где-то за окоемом, по ту сторону солнца, пахнет от них рыбьими косяками, пресным духом большой воды, а еще — древесным тленом, умершими деревьями, останки коих, выброшенные непогодой, белесые, омытые, тут и там виднеются среди прибрежных камней. Встречаются и следы крушений — смоленые доски карбасных днищ, обломки весел и мачт с истлевшими канатами, и следы разрушенных безвестных очагов — невесомые кружевные плахи наличников, бревна раскатанных срубов и прочие печальные останки человеческого бренного бытия.

Вскоре под сосной на месте старого очага уже пылал большой и жаркий костер.

В заливе слышится частый стукоток мотора, потом становится видно, как из-за горбатых островков, поросших березняком, выныривает Савонина пирога, черной жужелицей скачет по волнам, а вскоре и сам Савоня, по-утиному раскачиваясь, припадая на правую ногу, появляется на тропе с закопченным ведерком.



— Привез, привез, — еще с полдороги обнадеживает он праздничным голосом. — Как не уважить!

У костра он опрокидывает ведро, и несколько лещей, чавкая жабрами и пуская кровавые пузыри, вместе с мокрой осокой вываливаются на траву.

— Бедняжечки! — Шурочка приседает перед ними, сострадательно трогает пальчиком золотые выпученные глаза. Лещи топорщат плавники, бьют хвостами, и Шурочка боязливо убирает руку.

— Хотел вам сижка уважить, — смеется Савоня. — Ан нет, не попался, однако. Усигал сижок! То ли парходá бойчее стали ходить, керосин пущать... А уж и было его, разлюбезного!

Он идет с ведром за водой, потом выбирает из вороха дров дощечку, отходит в сторону и, попыхивая «северинкой», морщась и роняя слезу от папиросного дыма, складничком принимается чистить еще живую рыбу. Делает он это с вдохновенной сноровкой, приговаривая и пошучивая, должно быть, и сам получая удовольствие от этих приготовлений.

Прогоревший было костер раскочегаривают снова. Кидают на угли найденный на берегу выброшенный волнами могильный крест-восьмерик, связанный из сосновых комлей. Крест сразу же занимается дымным смолистым огнем. Его обкладывают корягами, обломками досок, оконными ставнями, сверху бросают какое-то корытце с поржавевшими колечками по четырем углам, на боковых стенках которого еще виднеется обветшала, трухлявистая резьба, изображающая рыбок.

— Хе, какой корабель попался! — щурится Савоня, глядя, как резные рыбки, объятые огнем, шевелятся и корчатся, как живые. — Когда нито малец в ём качался, начинал свое плавание. Дак и вырос, поди, давно! Сколь годов зыбку-то по Онеге носило. А может, и крест тоже его...

Савоня уходит к заливу, споласкивает там нарезанные куски рыбы, достает запрятанные в лодке соль, луковицу, и вскоре ведерко, пристроенное у края костра, уже побулькивает и дымит дразнящим рыбным парком.

Корытце налилось бегучим малиновым жаром, резные рыбы коробятся в судорогах, отстают от стенок, кучеряво закручиваются и осыпаются тонко звенящими углями. Пламя вскидывается с жадным гудом и треском под нижние ветви сосны, и опаленная хвоя осыпается серыми хлопьями пепла.

— А и весело горит! — одобряет Савоня. — Кидайте, кидайте, робяты, грейтесь. Тут этого хламу куда с добром! Сколь по островам да по суземью хоромин трухлявится, совы живут... Раньше оно как? Раньше мужики кажинный год што ни то ладили. Дома ставили, гумна да баньки рубили. Не себе, так еще кому. Дело завсегда топору находилося. — Савоня черной щербатой ложкой зачерпы-



вает жижицу, пробует, сварилась ли уха. — А теперь что ж... Теперь этого ничего не надобно. Не для кого ладить, дак... Наше, стариковское, теперь дело такое: запасай себе последнюю домовину и дожидайся своего часу. Одно лето попрыгал, ан другое, глядишь, и не доведется...

— Помирать, б-батя, не надо, — говорит Дима-маленький, поигрывая хворостинкой, на конце которой пламенеет уголек.

— Это вам не надо. А нам не схошь, а придется. Онега теперь не наша. Теперь вам ею владеть. Какие дела вы тут на ей будете делать, с вас спрос. А мы свое уже всё поделали на этом свете. И топором помахали, и государство сынами снабдили. Вон разъехались мои сыны, не схотели оставаться дома. Как скворухи из скворешни. Они сами по себе, а я сам по себе...

Савоня, глядя в булькающее ведерко, скорбно задумывается, хмурит надбровье, прихватывает верхней губой нижнюю, но тут же оживленно вскидывает голову:

— Дак и чего там! Теперь отцовским домом никто не живет! Это допрежь люди друг дружки держались, по лесам да по островам от миру прятались, куда поглуше. Жить старались, шток ничего не надобно было от прочего миру, ни синь пороха... Дак и пошто порох, ежели без ружья по три дюжины косачей на повети висело. Силками лавливали. Сами ткали, сами сапоги тачали. Одна соль не своя... Ну а теперь, ясное дело, не в лес бегут, а поближе к магазину. Дак я и сам, — смеется над собой Савоня, — старый да хромый, а вон куда из дому забежал! Ни к чему теперь островная жисть. И государству один нечет. Ни сосчитать нас, ни собрание какое устроить или кино... Глухари, мошники!

Савоня еще раз прихлебывает из ложки и отодвигает ведро от огня чуть в сторону.

— Так... Где вечерять желаете? Здеся или в избе?

— Мальчики, давайте здесь, на воздухе.

— Оно, конечно, вам на воздухе интереснее. Дак тади стол надобно выставить. Там у меня и миска гдей-то была. Только беда, ложек нету, одна-разъединая.

— У нас есть картонные стаканчики.

— Ну тади можно и кушать.

Кличут Гойю Надцатого. Тот молча протягивает руки к огню, потирает выпачканные мелками легкие долгопалые ладони. Взгляд у него далекий, отсутствующий, как у пророка, и видно, что весь он еще там, на берегу, где осталась его тренога.

Из избы выволакивают стол и лавку, ставят между костром и стеной сторожки, из камней и досок сооружают еще сиденья. Шурочка достает из рюкзака хлеб, полкраюхи сыру, стопку бумажных стаканчиков. Савоня щепкой поддевает ведерную дужку, на ходу обдувает днище и водружает ведро с ухой на середину столешни-



цы. Все рассаживаются с тем нетерпеливым оживлением, которое всегда сопутствует еде под открытым небом.

— А вы что же? — спрашивает Савоню Шурочка, разливающая уху по стаканчикам, которых хватило и под водку.

— Кушайте, кушайте, — мнетя в стороне Савоня, — я тут за теплинкой послежу.

— Давай, б-бать! — Дима-маленький выставляет три бутылки «Столичной». — Пропусти лампаду.

Савоня, поупорствовав для приличия, присаживается на краю скамьи рядом с Гойей Надцатым, вешает мичманку себе на колено, приглаживает волосы, сквозь остатки которых проглядывает младенчески розовый череп, и, пока Дима-маленький откручивает пробку и разливает всем по бумажным стаканчикам, — сдержанно покашливает, делая вид, что осматривает кровлю сторожки. Тем временем Шурочка разливает уху и на обрывках газеты кладет перед каждым по куску рыбы.

— Ой, давайте, давайте! — торопит она. — Есть хочу — умираю!

Стучаются мягкими, гнущимися под пальцами стаканами, Савоня привстает, тоже тянется чокнуться: «Побудем живы, дак...» — и выпивает свое степенно, с праздничной торжественностью.

Уха получилась хороша — крепка, навариста, с душистой янтарной пленочкой, и все набрасываются на нее с азартным упоением.

— А вы знаете, — неожиданно разговорила Рита, платочком вытирая запотевшие очки, — я ведь чуть было не уехала рейсом «Москва — Астрахань».

— Перепутала теплоходы? — усмехается Дима-большой, обирающий мякоть с лещевой хребтины.

— И ничего я не перепутала. Просто не достала путевки. За два дня до меня последнюю продали.

— Суду все ясно.

— Предлагали на сентябрь. Но куда же я в сентябре? В сентябре занятия.

— А что в Астрахани?

— Как — что? Туда и обратно. Есть такой рейс. Пришлось, как видите, плыть совсем в другую сторону.

— А какая разница?

— Не загорись, зиму будешь бегать бледной дурочкой.

— Бегать черной дурочкой лучше?

— Но в общем-то я ничего не потеряла. Здесь, оказывается, тоже неплохо. И потом, все на юг и на юг, ужас!

— К-кому добавки? — Дима-маленький, взявший на себя роль виночерпия, отшвыривает через плечо пустую бутылку и распечатывает новую. Шурочка тоже не забывает подливать юшки и оде-



лять рыбьими ломтями, набитыми желтой икрой, похожей на пшеничную кашу.

— Ой, мальчики, не могу! — наконец переводит она дух и двумя пальцами трясет на груди свитер. — Аж жарко стало!

— Накижалась? — хохочет Дима-большой.

— Ужасно как наелась!

— Давай отстегну юбку.

— Димка, ты невыносимый тип! — обижается Шурочка. — При тебе нельзя ничего сказать. Отчего ты на себя напускаешь?

— На меня дурно влияла улица.

— Болтун! Ты лучше скажи, за что тебя отчислили из института?

— Не отчислили, а ушел по собственному желанию. Как в Одессе говорят, это две большие разницы, мадам.

— Нет, правда. Ты прошлый раз что-то такое говорил... Что-нибудь натворил, да?

— Бывает, Шурок, бывает...

— И что ты будешь делать, несчастный?

— Поеду к бабке в Тюмень, у нее там корова. Или к Димке в Калугу. Буду помогать ему отливать зубы для пенсионеров.

— А разве наш маленький Дима протезист? — изумляется Шурочка. — Димчик, правда? Ты зубной техник? Ни за что не подумаешь!

Дима-маленький, сияя золотым зубом, прикладывает бутылку к сердцу.

— Какой-то там отливщик в платной стоматоложке, — хохочет Дима-большой.

— Так точно, в б-блатной! — выпаливает Дима-маленький.

— Но калым имеет. Так что можешь выходить за него замуж. Правда, зашибает маленько. Все брови стер.

— При чем тут брови? — не понимает Шурочка, и оттого все взрываются дружным смехом.

— На бровях ходит!

— Ладно трепаться! — смущается Дима-маленький.

— А хотите номер? — регочет Дима-большой. — Это как я в первый раз с ним встретился.

— Брось, ну с-сказал... — еще больше краснеет Дима-маленький.

— Захожу, значит, в туалет... Где-то под Кимрами. Смотрю, стоит, чуб на глаза, в зеркало глядится. А самого ведет из стороны в сторону, мордой не может попасть в зеркало.

За столом прыскают.

— Ты чего, спрашиваю, дверь ищешь? А он мне: с-слушай, друг, ув-в-важь... Познакомь с какой-нибудь... А я, приедешь ко мне в Калугу, з-зубы тебе з-зделаю...



— Ой, не могу! — виснет на руке Димы-маленького Шурочка. — Бедный мой Димульчик! И что же?

— Сам, говорю, не можешь познакомиться, что ли? А он: всех уже расхватали, падлы! Есть, говорит, одна, в семнадцатой каюте, да у нее ангина, горло перевязанное, не хочет со мной р-разговаривать.

И опять дружный взрыв хохота, смеется и сам Дима-маленький.

— И ты пообещался? — топчет в изнеможении Шурочка.

— А как же! А иначе не уходит. Там же, в гальюне, заключили трудовое соглашение.

— Ну хохмач!

— Предложил познакомиться с одной. Вы все ее знаете, толстая такая, чулки всё на палубе вяжет.

— Тетю Феню? Ой, обхохочешься!

— А ему какая разница? Ему было уже не до Фени... Ага, говорит, уважь... Отвел я его в его же каюту, он сразу и захрапел, отбросил копыта... А на другой день заходит, головой крутит: я, говорит, вчера б-бузил... Это я так... А зубы, говорит, я тебе и за так з-зделаю. Приезжай только в Калугу.

Рита пересаживается к Диме-большому, запускает руку в его брючный карман, достает сигареты.

— Что, подруга, перекур? — трясет он смоляным чубом и, облапив Риту за плечи, поет ей шутливым баском:

*Пусть удобства мало, пусть погоды вьюжны,  
Не волнуйся, мама, мы туда, где трудно...*

Савоня, храня в себе праздничное настроение, радуясь веселому застолью, участливо слушает, о чем говорят гости, потом и сам пытается завести разговор со своим тихим молчаливым соседом.

— Время и нам покурить, дак... — наклоняется он к Гюйе Надцатому, протягивая ему обшарпанную пачку «Севера». — На-кась моих, простецких.

— Спасибо, не курю, — отстраняет папиросы Гюйя Надцатый. — Как-то не научился.

— Это ты правильно. Наука никудышная... Из какой местности будешь?

— Из Куйбышева.

— Так, так... — кивает Савоня. — В Москве бывал, а там не приходилось. В Москве у меня дочка, Анастасья.

— Дочь? Вот как!

— Ага. Меньшенькая. Поначалу просто так поехала, разнорабочей. А потом как-то изловчилась, школу закончила, а заодно и институт. Да там же, в Москве, и замуж вышла. За своего учителя. Правда, мужик уже в годах, но из себя видный, справный такой.



— Это хорошо, — кивает Гйя Надцатый.

— Живут куда, с добром! — вдохновляется Гйиной похвалой Савоня. — Кобелек у них лохматенький, дак и тот на диване спит. Это как побанят, побанят его, рушником оботрут, и — на диван, на подушку. А ежели прогуляют по улице, до ветру или так чего, дак после того непременно лапы ему споласкивают. Это чтоб паркет не пачкал.

— Значит, погостили в столице?

— Погостил! Дак я хотел и на зиму там остаться, чего мне тут зимой делать? Ан нельзя! Без пачпорта не дозволяют. Насчет этого в Москве бо-о-ольшие сторогости. Анастасья мне говорит, так, мол, и так, был милиционер, справлялся, кто таков, почему без пачпорта проживает... Жалко, говорит Анастасья, жалко отпускать тебя, папаня, пожил бы ты у меня в свое удовольствие, да, вишь, нельзя. Давай, говорит, поезжай себе, а то мужу могут быть неприятности по службе. Лучше мы когда к тебе приедем. А я и верно, совесть потерял, две недели без никакой бумажки живу, на лифте катаюсь. Они это на службу, а я шасть на лифт, да и к зверям. У них через дорогу звери всякие, двугривенный билетик. И сижу-посиживаю, уток на пруду хлебушком кормлю. Дак так-то и всякие без пачпортов понаедут, колбасу московскую есть! Непорядок получится! Ты сиди там, где тебе положено, верно я говорю ай нет?.. Дак из какой, забыл я, местности-то?

— Из Куйбышева.

Савоня наморщивает лоб, но не находит в своей памяти такого города.

— Не-е, не слыхал! — добродушно сознается он и тут же оправдывает себя: — Теперь к нам со всяких местов едут, каких-никаких! А то дак и иностранцы.

— Иностранцы тоже бывают? — вежливо спрашивается Гйя Надцатый.

— А то как же! Целая пропасть! Шляпа так, шляпа этак...

— Наши ведь теперь тоже в шляпах, — замечает Гйя Надцатый.

— Не-е, — смеется Савоня. — Нашего сразу видно, какой он шляпой ни прикрывайся... А эти ходят, разглядывают, аппаратов по две — по три штуки на шее нацеплено. И на меня иной раз нацеливаются: «Карош, карош!» — Савоня пальцами изображает, как его ловят в объектив иностранцы. — Только я не даюсь. Он только на меня наметится, а я картузом да и заслонюсь. А то и задом к нему поворочусь.

— Это почему же? — включается в разговор Несветский.

— Э-э, парень! — торжествующе грозит ему пальцем Савоня. — Я их хвокусы знаю! Пусть кого надо снимают.

— А вот скажи мне, — Савоня обращается уже через стол к Несветскому. — Как это понять? Вот стоит она, церква, и все на нее



глядят и удивляются. И большие деньги плотют, дай только доехать до наших местов, посмотреть. Так?

— Так... — согласно кивает пробормотав Несветский.

— А пошто раньше на нее никто не глядел? Парохода плывут, и все до единого мимо. Не замечают теих церквей, как ежели б их и вовсе нету. Вот скажи!

Савоня сощуривается, пытается поймать и удержать на себе взгляд Несветского, но тот выжидательно молчит, барабанит пальцами по столешнице, и Савоня продолжает:

— У меня на Спас-острове дружок есть давний, Мышев. Теперь по плотницкому при музее. Летом в сорок девятом годе заехал я к нему покурить да попроведывать. Глядь, и начальство вот оно из району. Справился тот начальник про колхозные дела, все свое спроворил и уезжать собрался. А церкви середь острова стоят, никак их не минеешь. Повернул он на их поглядеть. Походил это он по погосту, поприщуривался. Мы с Мышевым тоже недалече топчемся, што, мол, скажешь. Дак и што сказать, это теперь постройки обихожены да прибраны, ученые к ним приставлены, каждую досочку на учете содержат. А тади ограда была порушена, дурная травина из-под порога прет, скотина шастает. И говорит тот заезжий человек: разобрали бы вы, мужики, этот хлам. Завалится, дак и ушибет кого. Сколь под ним-то пашни занято, под погостом. Не то, говорит, хоть одни купола посбросайте.

Савоня отрывает от рыбьей головы плавничок, тянет ко рту, но тут же откладывает:

— А теперь вон оно как повернулось! Не успеет один пароход с гостями отчалить, вот тебе сразу оба-два, успевай только принимать да показывать. Што за причина? Должно, указание какое дано — на церкви глядеть.

Дима-большой откидывает голову в раскатистом хохоте.

— Дак, а чего? — растерянно мигает и тоже смеется Савоня. — А иконку теперь и не показывай на пристани. Это как набегут, как почнут отнимать друг у дружки! Каждый норовит себе ухватить. А то дак одно лето детишек привезли да с учителем. Посадили их на камушках, и давай они церквя каждый себе срисовывать. А учитель меж ими ходит и поглядывает. И так это все усердствуют. Уж, думаю, не из семинарии? Не к духовному ли званию обучают?

— Это, папаша, хорошо, — учтиво поясняет Гыйя Надцатый. — Народу надо знать себя, свое прошлое.

— Не-е! — мотает головой заметно охмелевший Савоня. — Я тебе так скажу, начистоту: народу никак не с руки на церквя глядеть. Ему, к примеру, лес надо сплавать, лен дергать... Когда ему на пароходах кататься? Сто целковых платить за это — не-е! Не поедет, верно говорю! И иконки ему не надобны.

Несветский неожиданно заспорил о чем-то с Гыйей Надцатым, и Савоня, видя, что его уже не слушают, договаривает самому себе:



— Оно ведь как: у кого рот, тот и народ... Вон в Вытегре так-то глядели, глядели, да и сгорела церква в одночасье. Семнадцать куполов, матушка. С самого Петра простояла. Не-е, ты мне не говори!

Спорили об иконах. Ёйя Надцатый, нервно комкая бородку, пытается что-то возражать, но Несветский, на макушке которого задиристо топорщится петушок, запальчиво перебивает:

— Брось, брось, все это мода! Я в Третьяковке специально наблюдал. Вваливается этакая мадам с авоськой и: где тут Рублев? Ах как прекрасно! Перед рублевскими досками всегда толпы, и каждый старается изобразить на своей физиономии глубокомыслие.

— Ну почему же изобразить...

— Потому что никак не реагировать на эти доски считается неприличным.

— Но при чем тут дама с авоськой? Надо говорить о сути явления.

— А вот тебе и суть! — перехватывает Несветский. — Нам ужасно хочется, чтобы и у нас была своя эпоха Возрождения. Но этот твой Рублев — мальчик в коротких штанишках по сравнению с тем же Леонардо да Винчи. У того пластика, анатомия, формы, вполне доступные пониманию человеческие образы из плоти и крови. А что у Рублева? Плоско, примитивно!

— Вы это серьезно? — изумленно выговаривает Ёйя Надцатый, и его серые, широко распахнутые глаза смотрят на Несветского с горьким недоумением и болью.

— Мальчики, мальчики! — пытается вмешаться Шурочка. — Давайте лучше о чем-нибудь другом. Ну что вы все Рублев, Рублев, честное слово!

— Давайте, ребята, споем. — Савоня тербит Надцатого за рукав, но Ёйя не слышит.

— Нет, позвольте... — Ёйя, бледный от выпитого вина и волнения, даже привстает с лавки.

Савоня отмахивается от спорщиков и, обхватив голову ладонями, в одиночестве сам себе наговаривает песню, уже давно шевелившуюся в нем:

*Гляну я далёко — там озеро широко,  
Озеро широко, да белой рыбы много...*

И, почувствовав от этих слов счастливый и щемящий озноб, тихо, под шум спора, отпускает свой слабый и неверный голос на волю:

*Ах, да озеро широко, а и да белой рыбы много-о,  
Дайте, подайте ой да мне шел-ковый нево-о-од...*

Но Савоню никто не слушает. Несветский с насмешливым торжеством в голосе выкрикивает:

— На леонардовских мадонн не только молиться, но и жениться на них хочется!



— Но если хотите знать, образы Рублева превосходят да Винчи своим внутренним драматизмом...

— Ерунда! — обрывает Гюйю Несветский.

— Ну дайте же мне сказать, — еще больше бледнеет Гюйя Надцатый. — Вы постоитe повнимательнее перед его досками, взглянитесь. Рублевские глаза будут потом преследовать вас годами. Итальянцам этого было не дано при всей их живописности.

— Дак давайте споем, — снова просит Савоня и не получает ответа.

Рита и Дима-большой, окутанные папиросным дымом, уже давно отключились от общего разговора. Дима, притянув к себе Риту за талию, что-то бубнит ей на ухо, мотает растрепавшимся тяжелым куделистым чубом перед ее очками. Та косит на него из-под очков близорукие хмельные глаза и, меланхолически усмехаясь Диминым нашептываниям, выпускает в сосновую хвою над головой колечки сигаретного дыма. Потом молча встает и, нетвердо переступая своими сохатиными ногами через валежины, удаляется к ельнику, что темнеет на задах сторожки. Через некоторое время, хватив залпом водки из чьего-то стакана и забрав с лавки Ритину болонью, Дима-большой уходит тоже, грузно хрустя сушняком.

— Пойду дровец пособираю... — оборачивается он с усмешкой.

— Давай ломай сухостой! — подмигивает Дима-маленький, разливая из бутылки. — Кончайте вы орать, о-охламоны! Шурок, давай дерябнем с тобой! Ну их всех к ч-черту!

— Ну хорошо, — наседает Несветский. — Давай возьмем эту самую церковуху, которую нам сегодня показывали... Святого Лазаря, что ли? Называют ее уникальной древностью, то-сё... Но что в ней особенного? Ну скажи честно, что ты нашел в этом Лазаре? Да ничего! Какая-то баня с крестом... И потом, когда рубили этот убогий курник, уже давно стояли действительные шедевры. Возьми хотя бы храм святого Марка в Венеции. Или Петра и Павла в Риме, Софию в Константинополе. Да куда там!

— Ну зачем же... Зачем же такие произвольные сопоставления? Дело ведь не в том, кто раньше!

— Давайте, я вам свеженького налью, — предлагает Савоне Шурочка, видя, как тот пытается подцепить непослушными пальцами все ту же рыбью голову, что лежала перед ним на мокрой газетке с самого начала. — Вы совсем ничего не съели. А то опьянеете...

— Не-е! — мотает головой Савоня. — Я не пьяный!

Он неловко, засидело встает, роняет с колена картуз и долго ищет его под столом в чьих-то ногах. Найдя же картуз, опускается на плоский камень перед меркнувшим костром, подбрасывает на угли обгорелые концы и замирает, вытянув вперед правую ногу. Где-то рядом, за желтым пятном огня дробит о карги свои неусып-



ные валы Онега: восемь и девятый, восемь и девятый... Зыбкий свет костра высвечивает корни старого дерева, обнаженные, ястребино-скрюченные, цепко обхватившие валуны. Глухой шум прибоя сливается с вершинным шумом сосны, в корне которой что-то скрипит и постанывает. Савоня слушает этот шум и, допразднывая в себе свой праздник, возвращается к песне:

*А и дайте, подайте ой да мне шелковый нево-о-од,  
Ах да шелков невод кинуть, ой да белу рыбу выну-у-уть...*

Песню эту любил петь еще Савонин дед, а деду, должно, досталась она от его дедов — стародавняя запредельная песня. Помнит Савоня, как однажды — и больше потом не доводилось — ездили они с дедом на ярмарку в далекую и сказочную Шуньгу, ошеломившую тогда Савоню-мальчика непроломным скопищем народа, лошадей, лавок, веселой пестротой свезенных туда обонежских, поморских и питерских товаров: топоров, пил, прялок, разрисованных дуг, щепной рухляди, тканого узорочья, куньих и горностаевых связок, дегтярных бочек и семужьих балыков... Ехали в Шуньгу не день, а уж и запомнил сколько, помнит только, как скрипели на раскатах обозные сани, фыркали заиндевелые, с белыми ресницами кони, как хлопали рукавицами озябшие ездовые. Савоня лежал в уютной темени тулупа, задремывал и просыпался то в Подъельниках, то в Губе Великой, то в Космозере... А Шуньги все не было, и дорога бежала и бежала обочь молчаливых боров и усопших подольдом проток и речек. И все маячила в санном передке дедовская заснеженная баранья шапка, и слышалось неторопливое, отлетающее с дыханием, с морозным парком:

*Ах да шелков невод кинуть, да белу рыбу вынуть.  
Ах да бела рыба щука, ой да белая белу-у-уга-а-а...*

Савоня неспешно и бережно, как тонкую мережу, разматывает свою с детства любимую песню, пряча напев за шумным и непонятным спором, все еще продолжавшимся за его спиной, и жалеет, что праздник как-то поломался, не попели хороших песен. Зачем было и ехать?

Между тем Гойя Надцатый, окончательно обидевшись на Несветского, уходит на мыс к брошенной треноге, Шурочка пытается его удержать, а потом напускается на Несветского:

— Ну скажи, за что ты на него навалился? Вечно ты со своими дурацкими спорами!

— Почему же дурацкими? — Несветский засовывает руки в брючные карманы и возбужденно, с победным чувством петуха, только что расклевавшего голову своему хилому противнику, прохаживается вдоль стола. — Все эти иконки, лавки, Иваны Калиты, протопопы Аввакумы...



— У тебя в волосах паук! — вдруг вскрикивает Шурочка.

— Где? Разве?.. — Несветский, смешавшись, отряхивает волосы, ломая свой аккуратный расчесанный пробор.

— Ой, вон он побежал по рукаву! Ужасно боюсь пауков!

Несветский оглядывает пиджак и щелчком сшибает что-то с обшлага.

— Так вот... Надо смотреть не назад, а вперед. Если хочешь знать, атомный реактор — вот мой Рублев! Это штука! Тут мы действительно можем кое-кому утереть нос и оставить после себя настоящие памятники! Я вас как-нибудь приглашу в наш институт, убедитесь. Между прочим, я там возглавляю наше студенческое КБ.

— Что такое — Ка Бе?

— Ну как же ты не знаешь таких элементарных вещей? Конструкторское бюро. Между прочим, меня оставляют в нем после окончания института.

— Ладно тебе б-бузить... кыбырнетик... — Дима-маленький колотит деревянной Савониной ложкой по недопитой бутылке. — Д-давай лучше х-хлобыснем... Вот он где, р-рреактор, понял? А х-хочешь, м-морду набью...

— Ой, мальчики! — спохватилась Шурочка. — Наш дядечка совсем задремал, бедненький!

Савоне хочется сказать Шурочке, что он вовсе и не задремал, но ему становится жаль обрывать песню, и он в ответ качает головой.

*Ах да бела рыба щука, ой да белая белуга-а-а.*

*Ах да куда девкам сести, ой да белу рыбу чи-и-исти-ить...*

— Давай, Ш-ш-шурка, — уже с трудом ворочает языком Дима-маленький. — П-по-ехали ко мне в... Калугу. Я тебе з-з-зубы з-зделаю... Без всякой очереди, п-поняла?

— Ой, уморил!

— З-зделаю! Гад б-буду... Девяносто шестую пробу. Люкс!

— Димка, какой ты пьяненький, ужас!

— Чего! Девяносто шестые зубы... з-знаешь кому только д-делают! Не знаешь! А ты, дура, лыбишься! Б-брезгуешь мною, да? Нет, ты скажи...

*Ах да белу рыбу вынуть... —*

сбивается на старое Савоня и затихает, роняет голову на грудь...

Чудится ему, будто он и на самом деле выбирает невод по темной осенней воде, и невод этот тяжел и бесконечен. Савоня все перехватывает и перехватывает тетиву и видит, как в черной глубине огненно мечутся запутавшиеся сиги, высвечивают вокруг себя ночную воду. Савоня спешит-поспешает вытащить сигов, но глядеть на них жарко, не вмоготу, и он отворачивается и, обжигая руки, торопко рвет их вместе с ячеями. Рвет и бросает, рвет и бросает.. В



лодке появляется Дима-большой, он громоподобно хохочет, и эхо шарахается по ночным шхерам и островам: «О-хо-хо! О-хо-хо!» А рыбы пляшут на огненных хвостах, бьются в дно лодки и со звоном рассыпаются на красные каленые угли...

Савоня приходит в себя от жара, бьющего в лицо. Он невольно отстраняется, трет накалившиеся штанины и только теперь различает по ту сторону высокого языкастого костра, сложенного из сухих валежин и лапника, возвратившегося из лесу Диму-большого. Озаренный отсветом, багроволицый, с набившейся в цыганистые кудри сухой хвоей, Дима-большой наотмашь лупит по гитарным струнам и, раскачиваясь и передергивая плечами, выкрикивает хриплым голосом:

*Катари-и-на! Ох-хо-хо! Ох-хо-хо!*

Перед ним, приседая и вертя из стороны в сторону коленями, двигая локтями и прищелкивая пальцами, топчутся в каком-то непонятном плясе Несветский и голенастая Рита. Лица у обоих бледны и сосредоточенны, длинные тени танцоров ребристо извиваются на освещенных бревнах сторожки.

*Как ты странно идешь!  
Ты вот-вот упадешь!  
Катари-и-на! Ох-хо-хо!*

— Ох-хо-хо! — окрикивает издалека Дима-маленький, в одиночестве оставшийся досиживать за столом. — Д-давай, Ритка... Накручивай б-бормашинку!

Савоня застится рукой от жаркого света и не замечает, как хрумкает в костре перегоревшая валежина, как осыпается и подкатывается дымным концом под вытянутую бесчувственную ногу. Накаленная у огня и пропитанная лодочным мазутом штанина тотчас вспыхивает вместе с ботинком. Савоня сдергивает с головы мичманку, колотит ею по ноге, стараясь сбить пламя. Штанина дымит под ударами картуза, но, раздуваемая взмахами, тут же занимается снова, и пламя переметывается к самому колену. Савоня откидывается назад и, повалившись навзничь, отталкиваясь здоровой ногой, пытается на спине отползти подальше.

Рита первая замечает барахтанье на земле и дико вскрикивает. Дима-большой, отшвырнув гитару, хватает Савоню под мышки и будто куль, оттаскивает от костра. Потом бежит за ведром, и выплескивает на тлеющую ногу остатки ухи. На переполох у сторожки прибегают перепуганные Шурочка и Гюйя Надцатый. Под обгорелым и мокрым тряпьем темнеет коричневая голень, и Шурочка, взглянув на обезображенную ногу, болезненно закрывается руками.

— Ой, мальчики, как же это?!



— П-перевязать... н-надо... Ерунда. — Дима-маленький, пошатываясь, выходит из-за стола, сбрасывает куртку и пытается порвать на себе рубаху. — П-перевяжи бацию, Шурка... Он мужик... М-мировой...

— Ой, да ну тебя! — пугается Шурочка. — Ни в коем случае! При ожогах нельзя.

— Ничего... Пустое... — бормочет Савоня, поднимаясь.

— Соды бы надо, — переживает Шурочка.

— Не-е! — трясет головой Савоня и виновато глядит на ребят. — Вы не беспокойтесь. Ничего не надо. Она у меня такая... не горит.

— Это у вас... протез? — почему-то еще больше пугается Шурочка, и все в молчаливом оцепенении глядят на Савонину ногу.

Такие ноги встречаются все реже. Многие их владельцы уже отходили свое. Оставшиеся после них фабричные и нефабричные подпорки спрятаны родственниками на чердаки и в кладовки, чтоб не напоминали, не бередили душу. А те, кто еще вживе, за долгие годы наловчились прятать свои фальшивые ноги от посторонних глаз: стараются ходить без палок и костылей, не лезть в трамваи и троллейбусы с передних площадок, не ломиться к гастрономной кассе без очереди, чтобы казаться равным со всеми и не вызывать излишней жалости, а то и молодой и жестокой неприязни. Уходящая в прошлое жизнь сама сглаживает рубцы и острые углы своей истории, и потому, наверно, как на страшную диковину, гораздо более страшную, чем обожженная живая нога, все молча и напряженно глядят на Савонин протез, невосприимчивый к ожогам.

— Это у вас с войны? — нарушает молчание Шурочка.

— Да вот... маленько зацепило, — кивает Савоня. — На Ладоге.

Ногу он потерял в сорок втором лихом году под тем самым Осиновцем, у причалов которого швартовались изрешеченные пулями и осколками суденышки, добиравшиеся по Ладоге с грузами для блокадного Ленинграда. Правда, служил он в частях ПВО, но в тех местах это было ничуть не лучше передовой, поскольку немецкие пикировщики специально охотились за зенитными батареями, прикрывавшими причалы. Наглые одномоторные «юнкерсы» изматывали батарейцев, засыпали их бомбами, хлестали пулеметными очередями, и все же Савонина вторая батарея продержалась несколько месяцев. Лишь осенью сорок второго уцелил-таки злодей: тяжелая фугаска вырыла на месте Савониной пушки глубокую, до воды, воронку. Самого же Савоню нашли в сосняке: он сидел в луже крови и судорожно дергал за обмотку, один конец которой еще был подвязан под коленкой, тогда как на другом болтался повисший на суку ботинок, оторванный вместе со ступней. Той же ночью потерявшего сознание Савоню переправили с попутным катером на Большую землю, где в Ярославле ногу еще раз два укорачивали и укоротили выше колена.



— Ну-ка, батя, пройдишь, как оно... — просит Дима-большой. — Ботинок вроде цел, одни только шнурки обгорели.

— А и ладно! — Савоня топает ногой, стряхивая с протеза прилипшие рыбы кости и хлопья вареного лука. — Сойдет! Автольчиком смажу суставы, опять как новая будет. У меня раньше самодельная была. Как с госпиталю пришел, так сразу и состругал. А эту уже опосля дочка подарила. — И, оживившись, рассказывает, как подарили ему ногу: — У них в Москве на самодельных теперь не ходят. Приехал я к Анастасеи, а она мне и говорит: ты, папаня, ногу-то эту смени-и. А то весь паркетъ мне поистыкаешь и от соседей неловко. А я, и верно, как в Москву ехать, новый рашпиль заколотил...

Все смеются, добродушно двигает морщинами и Савоня.

— Дорога-то не близкая. Дай, думаю, хожулю себе подвострю.

— Перестарался, значит?

— Дак из-за этова и купили мне новую опору, московскую. Обувай, говорит Анастасея, а старую давай снимай. Да сразу и шуганула кудой-то, аж гул по всему дому пошел...

— Это она в мусоропровод, труба такая.

— Может, и в трубу... Пришлось мне в новую обряжаться, куда денешься... Нога, и правда, занятная, в коробку уложена, загорелая, одни заклепки выдают, што не живая. И книжечка при ей, как употреблять. Во куда техника пошла! Да еще две ботинки купили. Ходи, говорит, папаня, не береги, а то будешь беречь, а здоровье дороже. А я поначалу дак раза три, а то и четыре ковырнулся, пока приучался. А то уже, как домой ехать, в Петрозаводску сверзился, с поезда слазил. Вагон-то дали в хвосте, а пристани ему не хватило. Я-то ногу окаянную спустил, а земли все нет и нет, да и сиганул... Вот как бок отбил! Ан доскондыбал до дому, ничего... Теперь дак и привык, бегаю...

Савоня, подобрав полу бушлата, подравнивает обгорелые лохмотья, складным ножичком чекрыжит прямо по ноге.

— А и крепкая, холера! Сколь годов ношу, другой раз ею заместа весла правлюсь — и не трескается! Што за матерьял такой? Вот и в огне побывала...

— Ты давай и другую порточину подрежь, — добродушно похихатывает Дима-большой. — Как у Ритки, шортики сделай. По моде!

— А и дела! — Савоня в конфузливом смешке оглядывает кургузую штанину. — Чистый турист!

— Иди, бать, в-выпьем... — икает Дима-маленький. Он оборвал все пуговицы на рубахе, выпустил одну полу из штанов, и теперь, свесив голову, полусонно сидит на лавке, синяя какой-то расплывчатой татуировкой на больнично-белой груди. — У меня дядька т-тоже... на задку к-катается... Все ч-четыре колеса, п-понял? Пиж-жоны! Про историю все... т-тыряются... Покажи им, б-бать, как



она... д-делается... Падлы... Плядите и з-з-запоминайте... Ленарда Недовинченный... М-махали мы его, понял? Морды щас буду б-бить...

— Слушай, не заводись, — просит Дима-большой.

— Зачем вы его брали? — морщится Рита и по-свойски запускает руку в карман Димы-большого, достает сигареты. — Он совсем невменяем...

— Набью! — икает Дима-маленький. — Кыбырнетику н-набью...

— Поехали-ка лучше к тете Фене, а, друг?

— Ой, поедemте, поедemте, мальчики! Спать хочется — ужасно!

Было только три часа с небольшим, а уже над темной гривой леса по ту сторону залива всходило раннее онежское солнце. Оно вставало неяркое, стылое, и на него можно было смотреть не зас-  
тась. Низкие слежалые облака тотчас урезали его наполовину, а потом и скрыли совсем.

## 8

Возвращались по тихой воде.

Онега, наплескавшись за ночь и наволочив на себя пухлое оде-  
яло облаков, умиротворенно дремлет в утреннем забытии. Вски-  
дывается зоревая рыбешка, хороводясь, дробит сонную воду, ос-  
тавляя после себя медленно разбегающиеся колечки, похожие на  
шлепки дождевых капель.

— Сорога играет, к дождю, однако! — щурится из-под картуза  
Савоня и, обернувшись, глядит, как лодка пашет на два отвала мяг-  
ко сияющее раздолье. — Скоро паровой окунь пойдет, на мелкое,  
на луды. — И поясняет, выкрикивая: — Это который табунится по  
теплой воде, по пару! Еще не время ему. Черёма по островам не оц-  
вела! Рано быть паровому!

— Со скольких там... б-буфет? — Дима-маленький перевешива-  
ется через борт, плещет в лицо с ладони, пьет и шумно отфырки-  
вается.

— Что, друг, перебор? — усмехается Дима-большой. — Два туза?

Дима-маленький молча валится на осочную подстилку и на-  
тягивает на себя куртку. Скоро из-под нее раздастся засосный  
храп.

— Все! Этому уже Карелия снится... — кивает Дима-большой и,  
насмешливо разглядывая обшарпанные сандалии, торчащие из-  
под голубой куртки, напевает:

Тещи, матери и жены,  
Не горюйте, не грустите,  
К вам вернутся робинзоны  
С чемоданами открытий...

— Ой, мальчики! Мы забыли занести стол... — вспоминает  
Шурочка. — Там все так раскидано...



— Не беспокойтесь! — отзывается Савоня. — Вернусь — тогда приберу. А то так и сороки подчистят.

— Это ваша избушечка?

— А — ничья! Так, порожняя... Рыбаки себе срубили. — И, оживившись, рассказывает: — Об прошлом годе так-от двое из Москвы облюбовали, недели три жили, дак... То ли муж с женой, а может, и так просто... На сетях спали вместо постели. Он дак и не брился, пока жил, — бородой оброс. Хочу, говорит, опроститься, ни о чем не думать. Тут, говорит, как в раю. И всё, бывало, милуются, рука об руку ходят, грибки-ягоды собирают. А я их рыбкой еще подкармливал. Как раз окунь паровой валом валил. И в магазин плавал, за вином да за куревом... А потом што-то занеладили. Он себе на берегу сидит, она себе... То ли деньги поизрасходовались, то ли наскучило... Рай-то рай, да ежели только недолго.

— Бывает, бать, бывает... — Дима-большой шарит по карманам у похрапывающего Димы-маленького, достает колоду карт, предлагает: — Ну как, ацтеки, врежем дурака?

Между скамейками ставят перевернутое ведро, Дима садится в паре с Шурочкой, Несветский с Ритой. Гыйя Надцатый играть отказался. Он достает альбомчик и, уединившись на носу, что-то черкает, поглядывая на пробегающий справа берег.

Где-то на полпути встречается черный скуластый буксир с километровым хвостом из связанных бревен. Буксир тяжело, утробно сопит, и еще издали окатывает моторку едким солярным дымом, который вычихивает из низкой жерластой трубы. Сиплый гудок требует дорогу, но Савоня не сворачивает, а только глушит мотор, и плотогон с крупной белой надписью по носу «Семен Дежнёв» медленно проходит левой стороной. Из рулевой рубки высовывается женщина, по самые глаза повязанная красной косынкой, пристально и строго вглядывается в пассажиров моторки.

— Здорово, Анна! — кричит ей Савоня. — Одна рулишь? А где ж твой Иваныч?

— Спит, — неохотно откликается женщина. — Нарулился...

Позади рубки на такелажном рундуке из-под бушлата торчат раскинутые босые ступни. Тут же беленькая девочка, склонившись над алюминиевой кастрюлей, чистит картошку. Мальчик поменьше в балахонистой тельняшке пинает ногами волейбольный мяч, подвязанный, чтобы не падал за борт, к длинной жердине. Девочка первой замечает моторку, с ножом и картофелиной подбегает к поручням. Дима-большой нашаривает в кармане завалявшуюся со вчерашнего конфету, замахивается и бросает на палубу буксира. Девочка испуганно убегает за рундук.

— Но-но! — остерегает женщина. — Я тя швырну! — и грозит кулаком из рубки.

— Ты чего? — удивляется Дима-большой. — Дура ненормальная!



— Это Анна, — коротко поясняет Савоня.

— Тулисты! Тулисты! — выкрикивает парнишка, показывает лодке язык и тоже, мелькая босыми пятками, улепетывает за рундук.

— Я тя кину, холера! Шляются тут... — Женщина круто матерится и отворачивается к штурвалу.

Савоня снова запускает мотор, и лодка мчится мимо плота, облепленного отдыхающими чайками.

Незаметно начинает сеяться тихий неспешный дождь. Онега теряет свой фиолетовый блеск, тускнеет и шершавеет, морось обкладывает горизонт.

Игра в подкидного расстраивается.

Дима-большой притягивает к себе Риту, накрывается вместе с ней общим плащом. То же самое проделывает Несветский, сидящий рядом с Шурочкой. Гыйя Надцатый прячет за пазуху альбомчик и натягивает на панаму капюшон штормовки.

Савоня, оставшись наедине с самим собой, поудобнее гнездит голову в поднятом вороте бушлата, недвижно затаивается на кормовой лавке, и только глаза его живо и зорко бегают под навесом козырька, увешанного дождевыми каплями.

Две гагарки заполошно взлетают из-под самого лодочного носа, описывают круги в сером и низком поднебесье. С фарватерной вежи снимается орлан, неохотно тянет в сторону. Гагарки, заметив его, с лету пикоподобно вонзаются в Онегу. Тяжело ухаает крупная рыба, и Савоня догадывается, что сыграла она на луде, которую не мешало бы как-нибудь обметать мережками. Время от времени внезапно набегают скипидарными волнами завешенные моросью близкие берега, и тогда Савоня чуть трогает руль, уходит от незримых скал на открытую воду.

Как всякий туземец, он не умел отделять себя от бытия земли и воды, дождей и лесов, туманов и солнца, не ставил себя около и не возвышал над, а жил в простом, естественном и нераздельном слиянии с этим миром, и потому, должно быть, как душевный отклик на занимавшийся день, в нем само собой забраживает вчерашнее, давнее, вечное...

*Ах да белая рыба щука, да белая белуга...*

Потерявшимся телком где-то в шхерах взмывает теплоход. Отголоски его гудка мягко толкаются в сыром ватном воздухе о невидимые берега и, отразившись эхом, блудят в проливах. Савоня слушает гудки и пытается разобрать, что за теплоход, откуда и куда идет, и вдруг догадывается, что это дудит «Иван Сусанин», не иначе как успел уже починиться.

— Где плывем? — не сбрасывая плаща, спрашивает Дима-большой.



— Дак и вот уже! — бодро выкрикивает Савоня.

И в самом деле, слева проглядывают знакомые разливы лозняка, обрамляющие берег, буйные камыши по мелководью, и вот уже за изредившимся дождем, повисшим над водой парным куревом, проступают и островерхие строения Спас-острова.

— Подъем, робяты! — шумит Савоня. — Приехали, однако...

Но прежде чем подправить лодку к причалу, до которого уже оставалось рукой подать, Савоня вдруг замечает туманную глыбу «Ивана Сусанина», уже отвалившего от дебаркадера и вышедшего на большую воду.

В лодке закричали, засвистели, Савоня поддает газу и пускается догонять теплоход.

Капитан долго не хотел останавливать судно, кричал в микрофон, что ничего не знает, пусть опоздавшие плывут на чем угодно, и даже грозился выбросить за борт оставшиеся в каютах чемоданы, но под конец все-таки смягчился и разрешил опустить трап. Савоня подгоняет моторку к борту, придерживает брошенную чалку, матросы, подтрунивая и перемигиваясь, подхватывают под руки Шурочку и Риту, затем втаскивают сонного, обмякшего Диму-маленького в распахнутой настежь рубаше. Трап убирают, и теплоход сразу же вспенивает за собой воду.

Савоня тоже запускает мотор, плывет рядом и, запрокинув голову, старается разглядеть среди столпившихся пассажиров своих недавних знакомых.

— До свидания! — кричит ему сверху Шурочка, и он растерянно выглядывает и с трудом находит ее в пестрой толпе.

— Прощевай, милая!

К поручням проталкивается Дима-большой, бросает Савоне какой-то синий сверток, который разворачивается на лету и падает в лодку распластанными тренировочными штанами.

— Это тебе! — кричит Дима-большой. — Сам знаешь, за что...

— Ой, парень! И не надо бы...

— Там в кармане троя-як! — трубит в ладошки Дима. — Ну, будь здоров, баты! Салют! Дыши глубже! Ну, будь!

Теплоход гудит так, что на палубе все зажимают уши, лодка, отброшенная бортовой волной, сбивается с хода, постепенно отстает. Савоня поднимается, роняет с колен мешковину, которой прикрывал обнаженный протез, и, стоя, долго машет теплоходу картузом.

Позади него, окутанные мгlistой наволочью, брезжут верхами островные храмы. Они будто парят над тусклым серебром Онеги, кисейно-призрачные, неправдоподобные, как сновидение.



## ГОЛУБУЮ ЛОДКУ НАПРОКАТ...

Мыс отделял большую воду от залива.

На той стороне в полуверсте, по левую руку виднелась в два десятка домов тесовая деревушка Ясельма. Справа шумела открытая Онега.

Второй день мы жили на этом мысу, каменистом, замшелом, с одинокой и древней сосной, простершей свои жилистые сучья над нашей хибаркой. Корни дерева, обнаженные, ястребино скрюченные, охватывали лобастые валуны, цеплялись за расселины, и в этих расселинах, скопивших немного земли, пламенела земляника. Можно было поселиться и в деревне, но мы, случайно набредя на заброшенную рыбацкую избушку, все же решили остаться на этом мысу, никого не стесняя. Здесь свистел ветер, гремели о камни волны и было хорошо палить большой и жаркий костер. Правда, у нас не было котелка, чтобы сварить уху, но не было и лодки, чтобы наловить рыбы. И вот Ефрем с утра берегом ушел в Ясельму поспрашивать какое-нибудь суденышко на эти несколько дней, оставшиеся от отпуска.

\* \* \*

Еще недавно мы с Ефремом снимали на белом теплоходе Химки — Ленинград приличную каюту, ели и пили казенные яства, прилагавшиеся к путевкам, и, бродя по палубам от борта к борту в толпе себе подобных, слушали экскурсовода, чем знамениты ярославские, череповецкие и белозерские берега. И чем дальше плыли на север, тем все больше торчали на палубе. Оба мы были из безводного и безлесного подстепья (Ефрем учительствовал в каком-то тамбовском городке Кирсанове), с приземистыми, скученными деревьями по берегам полуиссохших речушек, вроде тамбовской Вороны или нашей курской Курицы, где уже давно онемели, отвыкли от дерева топоры, и поэтому обоим нам было в диковину видеть такой щедрый разбег рек и лесов.

А тут еще за Вытегрой вдруг открылась сама Онега, и мы до утра простояли на корме, прислонясь к зачехленной шлюпке. Всю ночь солнце, не углубляясь, а едва замочив ободок, как разыгравшаяся золотая рыба, ходило за краем воды, будоража небо и саму воду чуткими всполохами. И было далеко видать, как по тихой огнистой воде за кормой тянулась вспаханная кораблем фиолетовая дорога. Вставали по дальним призрачным островам полосатые маяки, в их граненых стеклах еще долго светозарило затонувшее солнце, и казалось, будто они высвечивали нам направление. Но маяки были потушены, их зажгут, когда иссякнут эти зоревые ночи и зашумят во тьме осенние шторма. А пока светить им было не для чего. И все летели за нами от самой Вытегры бессонные чайки, ле-



тели молча, без обычного галдежа, не решаясь нарушить ночное таинство Онеги, и оттого чудилось, должно быть, что плыли мы во глубину веков, к истоку всего сущего ныне.

В ту ночь мы простояли у приспущенного кормового флага, пока не дождались солнца. И всплыло оно вовсе не яркое, будто захламленное от студеной воды, так что на него можно было смотреть подолгу, не застыя. И мы, не здешние, пришлые, обворожено смотрели на кроткий лик северного светила. Оно долго еще бежало по кромке двух стихий, ничем не заслоняемое, ни за что не запынаясь.

А потом ко всему этому были Кижы...

Теплоход медленно привалил к белому дебаркадеру. По длинным лавам над зеленой водой, над осоками сошли на остров, и среди поясных трав, не кошенных и не мятых, по тропке гуськом потянулись притихшие болоньи, дорожные пижамы и пестрые шорты. И была нелепа и чужда эта одежда перед воротами молчаливого погоста.

Помнится, обалдевшие, невыспавшиеся, не пошли мы в толпе за островным экскурсоводом, а повалились в метровую тимофеевку у каменной церковной ограды, и скрыла от нас трава все, кроме куполов и неба. И отсюда, с земли, сквозь перепутанные былинки вставший пред нами храм Преображения походил на кем-то забытый в мураве туесок, доверху переполненный грибами-куполами. Казалось, кто-то набрал их полон короб и все клал и клал друг на друга, грибок на грибок, все выше и выше, сам удивляясь, как дивно у него это выходило, а на верхушке грибного ворошка водрузил самый крепкий чешуйчато-серебристый подберезовик, и даже темный крест, маячивший над ним, казался нам прилипшим сучком, лесной соринкой. И было непостижимо, что рублена та церковь топором, и стоит она с тех стародавних времен, как побил русский человек напивавшего заносчивого шведа. Велико же было ликование его, если он соорудил такое во славу своей земли! Сказывают, будто срубивши церковь, мастер с ее вершинной маковки, от самого подоблачного креста зашвырнул свой горячий топор в студеные волны Онеги, воскликнув: «Не было, нет и не будет такой!»

А потом мы сидели на берегу, на гладких гранитных каргах, у подножия погоста, над которым белыми хлопьями кружились залетные вытегорские чайки. А из дальней сияющей дали до самых наших ног все катились и катились яснобокие волны. С легким стеклянным звоном они набегали на зализанные валуны: восемь ровных, один в один, валов, каждый с серебряной чешуйкой на хребтине. И лишь девятый шел покруче, пошумней, с белым барашком и был замечен среди прочих еще издали. Этот девятый дальше других накатывался на камни и, уходя, оставлял среди них подсвеченные солнцем озерки. Валы эти несли с собой крепкий смолистый



запах неведомых островов, рассыпанных по Онеге где-то за окоемом, по ту сторону солнца, пахло от них рыбными косяками, ветряной свежестью, а еще древесным тленом, умершими деревьями, остатки коих, выброшенные непогодой, белесые, омытые, будто кости, виднелись среди прибрежных камней. Встречались и следы крушений — смолистые доски карбасных днищ, обломки весел и мачт с истлевшими канатами, и следы разрушенных безвестных очагов — невесомые от времени кружевные плахи наличников, бревна раскатанных срубов, половинка прялочного колеса с точеными спицами, обглоданная камнями, поседевшая детская зыбка и прочий печальный прах человеческого бытия.

И опять восемь валов и девятый... Восемь и девятый... Под их нешумные всплески думалось и думалось. И мы с Ефремом, должно быть, засиделись, потому что нас, недосчитавшись, позвали теплоходным гудком.

И опять мы плыли. Под засвежившим ветром порывисто летели белые грудастые облака. Они рождались где-то в одной точке горизонта, и растянувшись через весь небосклон лебедиными вереницами, слетались по другую его сторону в плотную стаю. Облака обгоняли теплоход, тенями задевали покинутый остров, и было видно, как многоярусные шатры и маковки церквей чутко откликались на переменчивую игру ветряного неба. Срубы то золотились под брызнувшими лучами, то, когда набегало облако, снова суровели, пряча свою мгновенную улыбку в строгую седину. Издали остров казался живым и веселым: вот-вот служивые и челядные люди грянут на прощанье в запальные пушки и ударят в веселые звоны. Но мы уже знали, что это всего лишь игра солнца и что остров музейно тих, пусты и не топлены его старинные избы и немые распяленные колокола...

Вот уж и вовсе теремные Кижы затуманились далью, а мы всё пытались отыскать их на горизонте, там, где теперь сбегались облака, и что-то возвышало нас и что-то печалило... И, может быть, по этой причине нам не хотелось покидать Онегу и плыть дальше по оплаченному маршруту.

Вечером, когда в Петрозаводске наш теплоход насыщался бараньими тушами, хлебом и ящиками с боржоми, мы собрали свои рюкзаки и потихоньку сошли на берег.

\* \* \*

Я жег коряжник, строгал из весельного обломка подобие ложки и все посматривал на залив, не появится ли лодка с Ефремом. Но он вернулся берегом, принес хлеба, полдюжины пачек ячневой каши, пару банок говяжьей тушенки и новую алюминиевую кастрюлю. Выяснилось, что такие, как мы, здесь не в диковину, деревня полна наезжего люда, и все лодки нарасхват. Правда, одна жен-



щина назвала Ефрему какого-то Егора Евстигнеевича, у которого посоветовала спросить. Но она сама видела, как Егор Евстигнеевич уехал куда-то и, как пройдет по губе зеленая моторка, так, стало быть, это он и возвратился.

Зеленая лодка, действительно, промчалась по заливу, и мы, спешно дочерпав свою кашу, отправились вдвоем в Ясельму, куда, оказывается, лесным берегом вела заброшенная тропа.

Деревня завиднелась сразу же за последними соснами. Пляделась она домами не на Онегу, а на лес, на каменистую дорогу, проходившую перед окнами. К заливу же сбегали обнесенные пряслами покосы и огороды, и против каждого дома у воды на высоких сваях чернели бани — что-то вроде второй деревни — сколько домов наверху, столько и банек понизу.

Возле «москвича», стоявшего у крайнего дома под березой, толпились ребяташки, и Ефрем спросил, не покажет ли кто из них, где живет Егор Евстигнеевич.

— Я покажу! — подскочил востролицый парнишка в старой мичманке. — Идемте, дяденька. — И парнишка бойко застукал пятками по убитой земле.

— Не знаешь, есть ли у него лодка?

— Аж четыре! — живо откликнулся паренек. — И с мотором ходить. И так две кижанки.

— Кижанки — это что ж такое?

— А лодки. Кижанками называются.

— Хорошие?

— У-у, лодки!

— Как думаешь, Егор Евстигнеевич даст нам одну?

— Может, и даст. Вы ему угощение поставьте. Дак и даст.

— Водки, что ли?

— Ага! — кивнул мичманкой парнишка. — Только вы ему «Юбилейную». У-у, любит! Вона изба, с телевизором которая.

— Сначала ж в магазин надо?

— А магазин — вона!

— Так тебе ведь конфет полагается?

— Можно и пряников, — подтвердил паренек. — И крючков еще.

— Даже крючки продаются?

— А как же! Раньше дак не было, а теперь — продаются. И огурцы бывают, и яблоки. Как отдыхающие стали жить, так и лучше-ло с етим делом.

— Много отдыхающих?

— У-у, пропасть! У других дак и в бане живут.

— Это что ж у вас тут — колхоз или как?

— Не-е! Раньше был колхоз, а сщас не-е...

— А что же?

— А так... сами... Дачный поселок.



Весь этот разговор со словоохотливым парнишкой вел Ефрем, и мы незаметно дошли до сельмага.

В магазинчике толпились дачного вида особы, ожидали, пока сгрузят только что привезенную редиску. Мы скользнули глазами по полкам, но «Юбилейной» не оказалось, и, посоветовавшись, решили взять «Столичную»: посудина видная и на столе будет выглядеть вполне прилично. Проводнику же нашему, как и обещали, купили конфет и готовую удочку на картонных мотовильцах. Себе тоже запасли по такой же снасти. Я запихнул бутылку в левый рукав своей куртки и, придерживая ее под донышко пальцами, направился к выходу.

Дом Егора Евстигнеевича с улицы выглядел весьма скромно, но опрятно: крепкий сруб, высокая тесовая кровля с напуском, с телевизионной антенной над фигурным коньком, три веселеньких, выкрашенных белилами и заставленных цветочными горшками оконца. Однако со двора, понижавшегося к заливу, дом неожиданно вознесся двумя этажами и был к тому же нарощен мезонинами и застекленными верандами. На одной из веранд в плетеных ивовых креслах сидели две богообразного вида старушки — обе в одинаковых темных платьях с белыми пикейными воротничками и в белых пионерских панамах. Во дворе, обнесенном высоким глухим тесом, тоже стоял «москвич». Под его задраным капотом возился мужчина в желто-синей пижаме. Он что-то напряженно отвинчивал, и шелковые балахонистые штаны вздрагивали на крупных обтянутых ягодицах.

— Не скажете, дома ли Егор Евстигнеевич?

Мужчина высвободил из-под капота лысую голову и недовольно оглядел нас.

— Тут уже все занято, — буркнул он, снова прячась в моторе.

— Да нет, любезный. Мы не насчет жилья...

— Вон по той лестнице, вон по той, — закивала в окно веранды одна из белоголовых старушек. — Вверх и — направо.

В полутемных сенях верхнего этажа мы не сразу нашли среди множества каких-то дверей со щеколдами и засовами ту, что вела к хозяину. Нам открылась маленькая прихожая со столом у окна, с простыми лавками и темным застекленным шкафом у глухой стенки. Веселый шум самовара наполнял комнатку. За самоваром сидели двое. Справа, опершись на локти, с блюдцем перед темно-сивой, лопатистой бородкой чаевничал крупный, плечистый старик с аккуратно прибранными остатками волос, сквозь смоченные расчески которых проступал младенчески розовый череп. Лицом же он был смугл, и бугристые руки, державшие блюдце, были темны до запястий. Исподняя рубаха на нем была расстегнута до последней пуговицы, и на груди, в темной спутанной шерсти под раздвоившейся бородой взблескивал серебряный крестик. По другую сто-



рону самовара, под маленькой иконкой в бронзовом кучерявом окладе, сидела плотная и тоже, видать, рослая женщина, еще довольно молодая, с округлым, распаренным лицом и полными оголенными руками. Женщина вычерпывала из глиняного кувшина вязкий, засахаренный мед и пальцем сдвигала его с ложки в алюминиевую миску.

Увидев нас и поставив блюдо, старик руками откинул свое большое тело от стола.

— Мы к Егору Евстигнеевичу, — сказал Ефрем.

Старик неторопливо приглядывался, все еще держа нас своими цепкими глазами у порога...

— ...Ну, я буду.. — наконец отозвался он.

— Дело к вам, Егор Евстигнеевич, — сказал Ефрем.

— Без дела какой разговор... Без дела сороки летают.. Мать, поди-ка... — старик кивком бороды указал на дверь, женщина послушно встала и, раскачивая по спине распущенной по-девичьи косой, закрылась в соседней горнице.

— Спешное дело-то?

— Да как вам сказать...

— Ежели не к спеху, прошу за мой чай-сахар.

Старик очистил край стола, кивнул на скамью.

— Спасибо, Егор Евстигнеевич.

Присаживаясь, я вытряхнул из рукава на стол надоевшую мне бутылку.

— Ага... — крикнул старик, однако посмотрел на бутылку мимолично, без интереса. — С вином... Стало быть, и с челобитьем...

— Да, верно, Егор Евстигнеевич. Просьба одна...

— Послушаем... — Старик забарабанил пальцами по столешнице.

— Лодочку бы нам, — сказал Ефрем и стал откручивать фольговую пробку.

— Гм... Лодочку.. — Егор Евстигнеевич в раздумчивости огладил бороду. — У кого квартируете?

— Да пока ни у кого...

— Ну и как же я вам дам лодку? А ежели вы, к примеру сказать, американские шпиены? А? — Старик раскатистой, едкой басистой стежкой расхохотался. — А?

Мы растерянно переглянулись.

— Шучу, шучу.. А только непонятно. Нигде не числитесь.

— Мы на мысу, в избушке остановились, — объяснил я. — Видим — пустая, ну мы и остались...

— Ага! Вот теперь ясно... Выходит, мои же и постояльцы... Я рубил тою скрытенку.. Только опять же без успросу.. Как татарины... Эдак и спалить недолго...

— Мы всё аккуратно... Мы заплатим...



Ефрем, державший раскупоренную бутылку, поискал глазами, куда налить. Старик выплеснул из стаканов в поднос остатки чая, бесцеремонно забрал у Ефрема бутылку и принялся разглядывать этикетку.

— Дрянъ водка! — поморщился он. — Намедни с шурёнком опростали такую... Вот как вступило... Насилу в бане отхлестался. Вот видишь, осина нарисована? Знак такой. Ежели бык, дак — ничего, пить можно. Да и то теперь набрешут. В прежнюю бутылку нальют.

— В вашем магазине не нашли лучше, Егор Евстигнеевич...

— Не нашли! В нашем-то нет. Да свет не клином... — Старик разлил водку по неполному. — Ну, с богом! — Он метнул взгляд на икону, поспешно, как бы прислушиваясь, выцедил свой стакан и поддел ножичком меду.

Странно, но мы с Ефремом от такой малости сразу же и захмелели. Видно, сказалось то глупое, дурацкое напряжение, в каком держал нас все время этот старик.

Тем временем Егор Евстигнеевич спрятал остатки водки в шкафчик и надел военный картуз. Был он и впрямь велик ростом и оттого, что сутулился, будто остерегался задеть потолок, казался еще больше громоздким и тяжелым. Лет ему набежало, должно быть, далеко за семьдесят, но, набросив форменную фуражку, заветренный, с прямым сухим носом и зорко сощуренными глазами, он весь как-то помолодцевател.

\* \* \*

За сараями, за огородами ходила шумная солнечная Онега. Волны бежали где-то стороной, и была видна за краем губы их пенистая граница. Здесь же, в заливе, качалась ленивая, залитая солнцем, вода, сонно налესкиваясь на камни. У дощатых причалов стоял весь флот Егора Евстигнеевича: чудесный смоленый карбас с закатанным парусом на мачте, новенькая зеленая моторка и две лодки с высоко вскинутыми волнорезами наподобие старинных русских ладей. Одна, голубая, другая — черная, сработанная из какого-то лакированного дерева, — маленькая, легкая, должно быть всего лишь на одного гребца, и выглядела особенно нарядно. Остов еще одной лодки — не обшитые ребра — белел свежим деревом под навесом, тут же на берегу.

— Ну вот и мой Мурманск, — сказал Егор Евстигнеевич, и было заметно, что он гордится своими лодками.

— Это и есть кижанки?

— Они. Вот берите голубую.

— А почему — кижанки?

— А это манера такая, — горделиво сказал Егор Евстигнеевич. — Кижский я. Тамошнего приходу. Вот и привез с собой манеру. Тут таких не умеют. Так — да не так...



Егор Евстигнеевич принес из-под навеса пару длинных тонкоперистых весел и обрывок веревки метров на восемь-десять.

— Вот вам якориться, — сказал он, бросив в лодку веревку.

— А не коротка ли?

— Длиньше дать — на глубь поплывете. Хватит вам и такой.

— И камень же надо, Егор Евстигнеевич.

— Ага! Дай веревку, да еще и камень привяжи. Этак каженный станет по камню брать, и самому не останется. — Егор Евстигнеевич долго с прищуром посмотрел на Ефрема.

Мы не поняли, серьезно ли он: берег был завален округлыми, всех мастей, валунами. Но сами брать груз не решились: может, и на самом деле старику было жалко валунов.

Подошла та самая женщина, которую застали за чаепитием. Придерживая в фартуке надерганный зеленый лук, она молча наблюдала за нашими сборами.

— А червячка нельзя ли? — уже совсем неуверенно спросил Ефрем.

— Ага! Конечно... Тебе, может, и бабу захочется. — Егор Евстигнеевич задрал подол рубахи, нащупал на поясе связку ключей и отомкнул лодочную цепь. — Хороший рыбак с собой наживку возит... Вот жил у меня генерал. Так он и бабу и целый чемодан червей из Москвы привез. С навозом. Вот это я понимаю — наживка! И супротив дня, и для ночи...

Женщина, засовестившись, потупилась.

— Егор Евстигнеевич шутят, — сказала она, тут же вся зардевшись. — И камень можно взять... У нас камнёв хватает... А черви под каждой колодой. — Она отбросила ногой утопленную в землю плаху. — Тут и берите... А то подумаете... — Была она, несмотря на свою рослость и полноту, по-девчоночьи легка в движениях и, должно быть, простодушна.

— А ты, Варвара, не мешайся, — незлобиво оборвал Егор Евстигнеевич. — Ступай, ступай.

Женщина ушла, и мы тоже сели в лодку.

— Ну-ка, ну-ка... — Егор Евстигнеевич сильно оттолкнул кижанку. — Погляжу, как поплывете.

Я не очень смело взялся за весла. Было неловко грести на виду у этого старика. А он стоял на причале, широко расставив босые ноги в галошах и армейских галифе, и ветер трепал и парусил на нем выпростанную из брюк исподнюю рубаху.

— Дальше, дальше заноси весла-то! — командовал старик. — Экак воды стесняется, гладит!

\*\*\*

И опять вставало солнце.

Оно застало нас возле нашей кижанки, и мы, словно язычники, побросав свои дела, поддаваясь неизбывному человеческому



изумлению перед грядущим днем, смотрели, как оно вставало из воды. Далекий пароходик, волоча дым, отважно врезался в правый бок светила и пропал, расплавился. Только дымок все еще тянулся по горизонту. Но вот пароходик снова появился, будто прошел огненное чистилище. И поплыл себе дальше, как ни в чем не бывало. Нам тоже не терпелось поскорее отчалить от берега. Все-таки это славно, когда есть лодка и ты свободен от всего и вся!

Веревка показалась нам все же коротковатой. Мы удлиннили ее двумя брючными ремнями, которые, в свою очередь, привязали к полутораметровой лодочной цепи. С другого конца закрепили увесистый валун. Камень лежал далеко на берегу, привязанная к нему кижанка нетерпеливо, как норовистый конь, подергивала узду на легких волнах.

Ефрем сел на весла, я подал ему банку с червями, которых мы еще вчера набрали под старыми трухлявыми колодами, снес в лодку якорь и, оттолкнувшись, впрыгнул коленями на кормовую скамью.

— Пошел!

Ефрем, забросив за себя весла, с силой рванул их, кижанка, высоко вскинув лебединую шею, послушно побежала, и вот уже берег отстал, отдалился, опрокинулся в воду отраженной сосной, нашей хибарой и солнечным лесом за нею.

— Право! Больше право! — командовал я. Хотелось выйти за мыс, на открытую воду, хотелось большой настоящей Онеги, черт возьми!

— Держи прямо на солнце!

Где-то в наших далеких местах тянутся теперь пыльные большаки, гудят вдоль них вереницы телеграфных столбов, гудят в ветер и в безветрие. И ребятишки, томимые зноем, сбились к вязким омуткам, истоптаным скотиной, завьюженным гусиным пухом...

А здесь, перед нами, — двести верст открытой Онеги, и было захватывающе и жутковато чувствовать под днищем темную, неведомую глубину. А ведь вся эта уйма воды на карте почти и не заметна. Будто нечаянно сорвалась с пера чертежника капля жидких голубеньких чернил, шлепнулась на бумагу промеж кружков неизвестных городов — каких-то Кондопог и Повенцов, меж красных и черных ниточек дорог и, растекаясь, образовала та капля всякие причудливые заливы и полуострова... А есть еще какой-то остров Колгуев и какой-то Становой хребет, Индигирка и Мангыш-лак, о которых и не всегда помнишь, а вернее, и совсем не вспоминаешь. Какая же она, Россия, если все это даже и не помнится!

— Может, хватит? — Ефрем придержал весла.

— Ну что ты! Давай, давай. Вон еще и хибарку видно.

Налетела чайка, первозданно чистая, стремительная каждым своим пером, деловито заглянула в самую лодку и пошла дальше,



тонко посвистывая взмахами. Нам было приятно ее доверчивое соседство и то, как вокруг лодки вскидывалась утренняя рыба и как властно и пресно пахла вода.

— Хорошо, а? — улыбнулся Ефрем, оглядываясь по сторонам. — Я вот все думаю: видно, тот самый Нестер, когда рубил кижский погост, не зря выбрал пустынный остров.

— Почему — не зря? — не понял я.

— Понимаешь, чтобы окрестные прихожане не просто сходились... А вот так, как мы с тобой, плыли в лодках. На земле, когда идешь — все отвлекают всякие посторонние мысли. А на воде ведь ничего нет. Никаких следов огорчений. Полное забвение. Колокола звонят, зовут, а они садятся в свои кижанки и плывут. Это даже как-то возвышает, настраивает.. Не дураки были эти монахи, а?

— Вот бы и нам сейчас с тобой до самых Кижей! — загорелся я Ефремовым рассуждением.

— На веслах не дошлепать. Они, наверно, под парусом ходили.

— Давай я погребу.

— Да, наверно, уже и хватит.

И, действительно, мы плыли уже миль двадцать. По открытой воде плывешь незаметно. Наверно, ничто так не завораживает, не манит, как тихая, спокойная вода.

В губе тоже появились лодки: пять не то шесть. Было даже видно, как на солнце взблескивали длинные удилища. Но все они якорились между мелкими островками. По вечерам на тех островках жгли костры, бренчали на гитаре и орали какие-то дикие пещерные песни. И мы были довольны, что гордо удалились от всей этой беспардонной публики. Мы чувствовали себя здесь, на открытой Онеге, заправскими рыбаками.

— Попробуем?

Ефрем приподнял камень и поставил на борт.

— Давай.

Сноп сверкающих брызг взвился над лодкой. Веревка, змеей дремавшая у их ног, вскинулась и заплясала.

— Ноги, ноги! — заорал Ефрем.

Я не сразу понял, что означает его испуганный выкрик: лодка вздрогнула, цепь потянулась отвесно.

— ?! — посмотрел на меня Ефрем.

— !!! — взглянул я на Ефрема.

Мы тоскливо посмотрели окрест, достали сигареты.

Потом я перешел на весла и стал подгребать, а Ефрем, распластавшись на носу, придерживал цепь и слушал: не стукнет ли о дно якорь. Но камень не стучал, и мы все пятились и пятились позорно к берегу, поругивая старика.

Пока мы отгребали и щупали дно, пока, бросив наконец якорь, размотали свои удочки, Онега тем временем незаметно раскоче-



гарились. Сперва сонно, убаюкивающе покачивало... Потом начало похлупывать, поплескивать под носом лодки... Потом принялась позванивать цепь... Ветер тонким и нудным сверлом взялся сверлить нам уши... Ни с того ни с сего опрокинулась банка с червями... Но мы все потряхивали и потряхивали своими удилищами, и все мерещились нам в глубине таинственные сиги. Даже было немножко жутко ожидать, что вот-вот тяжело рванет из рук леску и...

— У тебя — ничего? — иногда спрашивал Ефрем и озабоченно посматривал на берег.

— Да пока ничего... Пара ершиков.

К полудню лодка уже не звенела цепью, а рвала ее и, вскидываясь, заслоняла носом полнеба. Мы теперь избегали смотреть в ту сторону, где не было земли. И как это все-таки прихожане плавали в свои Кижи к престолу? Святили куличи... Детей крестили... А то и с покойником... По такой вот Онеге с гробом... Плядеть на сивые валы из пляшущей скорлупки, оказывается, не то что с берега... Но сняться с якоря мы уже не решались. Потому что не знали, что из этого могло бы получиться: там, у камней, ревело и вскидывалось какое-то взмыленное зверье. Впрочем, свое положение мы не обсуждали. И вообще ни о чем не разговаривали. Ефрем сполз со скамейки на дно, поднял воротник своей куртки и молча, механически подергивал мотовильце. Я тоже делал вид, что серьезно занят...

И тут, за всхлипами волн, послышался бойкий, радостно-захлебывающийся стукоток. Из залива, вскидывая вытянутое щучье рыло, мчалась моторка. В лодке сидели двое: за белыми гривами валов то и дело взмелькивали клетчатый платок и фуражка. Сделав широкую дугу и заглушив мотор, хлюпая на волнах, лодка с разбегу подрулила к нам.

— Ну как, соколики? — Егор Евстигнеевич, в брезентовом дождевике, в глубоко надвинутой фуражке, ухватился за борт нашей посуды. — Хорошо глядеть, как солдат идет. Портки еще не намокли?

По тому, как он лихо подрулил, как смотрел на нас, насмешливо сощурясь, как мямл при этом, путал свободной рукой, в блестках брызг черно-сивую бороду, было видно, что он в добром расположении духа. И мы обрадовались его появлению. Догадался все-таки, что нас окончательно измотало. А может, и Варвара упросила, чтобы съездил, взял на буксир и отвез в тихое место.

— Да вот ловим, — проговорил Ефрем, пряча в кулаке сигарету. Егор Евстигнеевич наклонился, заглянул в лодку:

— Ого! Нахватали!

Под Ефремовыми кедами трепыхалось десятка полтора ослизлых ершей.

— Уха! С такой ухой жить можно! — весело сказал Егор Евстигнеевич, и было непонятно, серьезно он или шутит. Но тут же хохотнул: — Однако к бабе не захочется. А? А?



— Ну что вы все, — укорила Варвара Егора Евстигнеевича, называя его на «вы» и с задумчивым сожалением разглядывавшая нас, посиневших и сиротских. Сама она была в стеганом ватнике и глухо повязанном теплом платке. — Вы на луду, на луду поехали. На луде, может, и словите. На мелком, на луде дак... А и то: рано еще окуню. Вот когда паровой пойдет, тогда и ловить.

— Это что ж — паровой? — поинтересовался Ефрем.

— А который по теплой воде, по пару. — пояснила Варвара. — Вода-то еще не степлилась. Еще черема по островам не оцвела. Рано-то быть паровому...

— Ладно! Нечего! — крикнул Егор Евстигнеевич, наматывая пусковой шнур на кулак. — Вот к вечеру привезу, снабжу дак... Сижка не будет, усигал сижок... А лещиков добуду.

Он оттолкнулся от нас, рванул шнур, и моторка прыгнула в волны.

— Да чтоб лодку не побили о каменья! — крикнул он, повернувшись. Он сидел на корме, у мотора, но, казалось, был погружен по пояс в бурун, взбитый лодочным винтом. — А то будет вам ужо дак...

И долго было видно, как то выныривали над волнами две головы, то опять пропадали, держа путь куда-то в яростное, вздыбленное безбрежье.

Мы проболтались в своей кижанке до вечера, пока не поутихли волны, и выбрались на берег полупьяные, на чужих ногах.

А вечером, когда Онега снова улеглась и вся рдела под низким солнцем, в залив прошла моторка, распахав зоревую воду широким треугольником. Мы сидели у своего костерка, продрогшие и голодные, и проводили ее взглядом без всякого энтузиазма.

\* \* \*

Когда мы сварили и съели свою кашу, моторка снова застукотела в заливе и неожиданно причалила к нашей стоянке. Мы все еще сердились на Егора Евстигнеевича, но уже не за короткую веревку, а за то, что он тогда уехал от нас и вынудил болтаться в лодке до самого вечера.

Но в зеленой моторке оказался парнишка, тот самый, в мичманке, что провожал нас до избы Егора Евстигнеевича. Он деловито приткнул лодку в бухточку между камнями, подхватил со скамьи корзину и прыгнул на берег.

— Вот, папаня прислал, — сказал он, опрокидывая перед нами корзину. Несколько крупных лещей вперемешку с осокой вывалились на землю. Рыбины еще чавкали жабрами и пускали кровавистые пузыри.

— Какой папаня?

— А мой. Егор Евстигнеевич.

— А разве Егор Евстигнеевич — твой отец? — удивились мы.



— А может — дедушка?

— Хы-ы, — усмехнулся парнишка. Он присел перед лещами на корточки и тыкал пальцами в их золотистые, выпученные глаза. — Какой такой дедушка? Папанька!

— Ну и папанька, у тебя! Сердитый! Поди, порет тебя-то?

— Не-е... Один раз только.

— За что же?

— Да я на карбасе на острова угнался. С ребятами.

— На какие острова?

— А там... Отсюда не видать...

— Выходит, ты уже и моряк. Вот и мичманка есть...

— Это брата, дяди Коли.

— Как же так, — рассмеялись мы, — брат и — дядя Коля. Кто же он тебе?

Парнишка смутился, принялся опять тыкать рыбу.

— Он уже большой, у Севердвинскому живет.

— А что это у вас за «москвич» во дворе стоит?

— Это не наш. Это шатуинский.

— Как это — шатуинский?

— Дяденька у нас живет, так его и есть...

— А почему ж все-таки шатуинский? Непонятно...

— А это папаня так говорит. Которые к нам приезжают... Ну, рыбу ловить, по грибы... Так папаня их шатунами называет, потому как, говорит, без дела шатаются...

— Значит, мы тоже шатуны?

Парнишка нагнул голову, уши его, торчавшие под мичманкой, замалиновели.

— Ну, раз такое дело, садись с нами чай пить.

— Не... Не хочу... Я молока напилси... — Парнишка поднялся, взял корзину. — Тут пять килограмм, папаня велел два рубля получить.

— А... понятно... — Ефрем пошарил по карманам. — На тебе три...

— А рупь — мне?

— Почему — тебе? — рассмеялись мы.

— Дак папаня велел два рубля, а вы три даете...

— У нас меньше нету.

— Ладно, я в магазине разобью, — сказал парнишка, запихивая трешку за окольш. — Маманя спрашивала, может, молока надо! Али меду. Так я привезу.

— Нет, спасибо. Ты лучше вот что... Скажи Егору Евстигнеевичу, пусть завтра на уху приходит. Скажешь? Часика в два пусть и приходит.

— Ага...

— Постой, я лучше записочку напишу. — Ефрем достал блокнотик и что-то написал на листке. — Вот...



Парнишка забрал корзину и вихрем умчался на моторке в Ясельму.

— Пусть старик придет, как думаешь?

— Да пусть, — согласился я.

Ядовитый старик этот Егор Евстигнеевич, но не пригласить его на уху мы почему-то все-таки не смогли.

Неожиданная идея — пригласить к себе в гости Егора Евстигнеевича — на другой день выросла до чрезвычайного события. С самого утра мы взялись наводить порядок в избушке: вымыли и выскребли тесовый стол, лавки, выбросили накопившийся хлам, протерли крошечное запаутиненное оконце. Вынесли из угла и наше ложе — охапку еловых лап. Избушка попросторнела и повеселела.

Потом я принялся разделывать рыбу, а Ефрем побежал в магазинчик купить лаврового листа, перцу и какой-нибудь закуски. Денег у нас оставалось не густо, но Ефрем не удержался, притащил ветчины, сыру, шпротов и угадал под свежие огурцы. А самое главное, раздобыл две бутылки коньяку. Он намекнул продавщице, что у него сегодня день рождения, и та, раздобрившись, нагнулась и со словами: «себе берегла», достала из-под прилавка две бутылки четырехзвездного.

— А еще — вот, — сказал Ефрем и торжественно достал из кармана три новеньких деревянных ложки.

— А стопочек не было?

— Фу ты, черт, забыл! Да что мы, генерал-губернатора ждем, что ли?

Генерал не генерал, а этот старик вызывал у нас непонятное и даже унизительное подобострастие.

Онега в этот день шумела пуще прежнего. Переменившийся за ночь ветер жал в губу крупные валы, и мы ждали, что Егор Евстигнеевич придет берегом. Но старик все-таки предпочел водный путь. Он приплыл даже не в моторке, а в своей черной лакированной кижаночке на одну персону, и мы еще издали заметили, как взмелкивали над валами легкоперые весельки. Егор Евстигнеевич был в новой голубой рубашке, черном сюртуке и, восседая в своей легкой, тонко сработанной лодочке, будучи сам глыбисто-тяжел, вид имел весьма внушительный и впечатляющий.. Неуловимо управляя весельками, отрабатывая чаще то одним, то другим и притормаживая ими, он с ходу вогнал лодку в расселину между камней. Я хотел было придержать нос и помочь старику сойти на берег, но он управился сам и легко вытащил лодочку на сухое.

— Ну, вот он — я, — сказал он, покашливая в бороду и щурясь.

— Заждались, заждались, Егор Евстигнеевич.

— Вроде и не престол — по гостям ходить. Этот, который с тобой, кто будет?



— Ефрем Петрович? Ученый, — приврал я. — Стариной интересуется.

— Ага, так... А ты?

Я сказал.

— Хотел было сенца покоситься. Но уважу, уважу... Посижу...

Егор Евстигнеевич, низко наклонясь, придерживая фуражку, протиснулся в избушку.

В маленьком полутемном помещении крепко пахло горячей ухой. Стол наш блестел разложенными на газете закусками. Егор Евстигнеевич присел на лавку, повесил фуражку себе на колено и, нимало не заинтересовавшись яствами, озираясь по сторонам, принялся оглядывать избушку.

— Вот рубил... утеху себе, — сказал он.

— Зачем она вам, Егор Евстигнеевич? Дом ведь рядом.

— А так... Руки чесались... Раньше оно как... Раньше мужики каждый год что-нибудь ладили. Избы ставили, мельницы, гумна рубили не себе, так соседу. То мосток, то баньку. По деревням... А теперь что ж... Теперь этова ничего не нужно... Сколько по островам хоромин поброшено дак. Совы живут... Вот другой раз и заскучаешь по дереву, да и придешь сюда, потюкаешь. Так-то собралась скрытенька... Со скуки.

Егор Евстигнеевич пощипал, покуделил пальцами бородку.

— Вот и лодки тоже... Вон ту, черную, два года ладил. Помру, дак заместо гроба сойдет. Как раз по росту, ежели вытянусь...

— Ну, вам — да про такое думать!

— А и пора! Все я свое поделал на этом свете. И топором помаhal, да и всяко... И сынами государство снабдил. Даже перевыполнил. Двух старших убило, так я с обиды к остатним еще четырех настрогал. Теперь кто где...

— Парнишка рыбу приносил — это тоже ваш?

— Мой бесенок! При мне трое теперь осталось. Самая мелкота, листопадники. Это я их уже по третьему заходу.. Гм...

— Жена у вас еще молодая.

— Да двух пережил. Старая все хворала. А вторая утопла. Карбас опрокинуло... А Варвару взял, когда с островов ушел. — Егору Евстигнеевичу, видно, было приятно сообщить, что у него, не первой молодости человека, есть малолетние сыновья. — А и бедова! — довольно покашлял он. — Варвара-то... Ей это в диковину, ну а мне что ж... не жалко, пусть брюхатит, коли в охоте, — хлеб пока водится.

— Значит, раньше на островах жили? Это интересно...

— Дак что ж интересного... Как заштормит, ну и сиди... А зимой и вовсе — Соловки... Это раньше, в старое время, люди в леса да на острова прятались, куда поглуше. Жили — ничего не надобно, ни синь-пороху. Без ружья — по три дюжины тетеревов на по-

вети висело. Сами ткали, сами сапоги тачали... Одна соль не своя... Ну а теперь, наоборот: не в лес, а из лесу... Поближе к магазину... Поубавилось людей на островах... Да... Колхоз — не колхоз и сам — не хозяин... Ну ладно... Налей-ка, чего там у вас...

— Коньячок употребляете?

— Коли больше нечего, дак... — Старик разгорнул усы, пригладил их на обе стороны.

— Извините, посуды у нас никакой. — Ефрем поставил перед Егором Евстигнеевичем консервную банку из-под свиной тушенки.

— Знато, дак из дому стаканчик прихватить. Однако в войну и не из такого едали.

— Довелось повоевать?

— Гм... И в тую, и в эту. В эту — тут, с финнами.

— В партизанах?

— Да было... Они тут все острова проволокой позапутали. Ну, побудем здоровы! — Егор Евстигнеевич, не торопясь, как бы прислушиваясь к питью, опорожнил банку, взял огурчик, бойко похрустел им. — Ну а вы из каких местностей будете?

Мы рассказали.

— Из хохлов?

— Да нет, самая Россия. Приехали, Егор Евстигнеевич, на ваши Кижы посмотреть.

— Оно конечно... — Егор Евстигнеевич побарабанил пальцами по столешнице. В сощуренных глазах его, в заветренных морщинах на висках поигрывала усмешка, от которой всегда почему-то было неловко. — Новая мода пошла — Кижы глядеть... Да... А я там, раньше, когда на островах жил, сено кашивал — и ни единой души. Пароходá плывут мимо, вроде и не замечают тех Кижей. Потому как моды не было.

— На великое моды не бывает, — заметил Ефрем.

— Ага! — усмехнулся Егор Евстигнеевич. — А отчего ж ты раньше не ехал?

Честно говоря, еще не так давно мы и не знали о существовании Кижского погоста, который, оказывается, простоял вот уже два с половиной века. Но признаться в этом Егору Евстигнеевичу не решались.

— Однава прикатил туда какой-то начальник. Ходил, смотрел на Преображенье, все затылок чесал под шляпой. Вот, черт, говорит, стоит и не трухлявеет. Как бельмо в глазу. Забери, говорит, дед, себе на дрова.

— Это когда же было?

— А когда... Опосля войны уж... Финны приходили — не тронули, а им и положено было разорять нашенское: враги дак... с войной пришли. Ан — ни бревна не порушили. А этому — на дрова! Дак зачем же нам такие дрова, говорим тому начальнику, кто ж их



поохотится с острова перевозить, ежели кругом — дрова: какую хошь избу ломай. Ну, дескать, так разберите... Мы тут лучше дом отдыха построим... Да... А теперь вот ездят, удивляются. Потому — мода.

— Пусть народ смотрит, к русской культуре приобщается, — сказал Ефрем, разливая по второму кругу.

— Ну да, ну да... Отчего ж... — Егор Евстигнеевич раздумчиво покивал бородой. — Я там каждую весну плотничаю. Нанимаюсь. Кое-что подправляю. Да и нужники по острову ставил, потому как публики вон как привалило... Однако гляжу я — все не народ это...

— А кто же?

— Все больше дамочки в порточках. Да патлатые малые. С этими самыми... которые через плечо носят... с балаболками.

— Туристы?

— Шут их разберет... Позевают, позевают на купола, да и на дебаркадер, в ресторан. Тут тебе храм стоит на берегу, из окна видно, а тут пластинки на весь остров орут, чужими кошачьими головами, французы — не французы... Ну и сидят, посматривают в окошко на Преображение, на Покрова, сосут соломинки, приобщаются, стало быть, к культуре, а сами ляжками под тую музыку дрыгают.

Егор Евстигнеевич выпил, опять похрумкал огурчиком.

— В Кондопоге один такой плитер-вентер смотрел, смотрел, да и стрельнул под порог окурком. И сгорел тот храм до корня.

Егор Евстигнеевич все с той же усмешкой принялся разглядывать нас — то меня, то Ефрема, — ожидая, что скажем.

— Это, конечно, безобразие, — сказал Ефрем, подливая в баночку коньяку.

— Ага, вот... сообразил! — крикнул старик. — Да еще вот такой патлатый хлыщ куражится: эй, дедок, покатай на лодке, я тебе на четушку дам... Ну я-то не повезу. Я и по шее могу... А иные катают: рублишко по Онеге ветром не носит, не изловишь дак... Понабьются в лодку, дрынькают на гитаре, а старик молчит, подгребает. Иной раз, знаю, мастер был хороший. С топором родился, топором крестился...

— Да вы закусите, Егор Евстигнеевич. Ухи не попробовали. — Я пододвинул к нему кастрюлю. Уха получилась крепкая, с желтой пленочкой жира, но старик, покопавшись ложкой в кастрюле, выудил одну только дешевую голову и положил ее перед собой на обрывок газеты.

— Не-е! — протянул Егор Евстигнеевич. — Не народ это. Шатуны! Народу некогда раскатываться. Народ лес валит, лен дергает. Да и чего мужику приобщаться к этой самой культуре, ежели он сам это все и делал. Вот я: зачем мне ехать туда на избу посмотреть, когда у меня самого такая была. Всю жизнь это видел: лавки да короба...

— Суров, суров, — похлопал старика по плечу. — Что, по-вашему, ни к чему все это?

— Да я тебе не об том, — нетерпеливо ерзнул Егор Евстигнеевич. — Поехал я в Петрозаводск — по своим делам. Ходил-ходил по конторам — есть захотел. Думал, столовка, ан — в ресторан угодил. А мне говорят: сюда, папаша, в сапогах нельзя. Во как! Строгость какая! В сапогах не моги! Потому, мол, наследишь и вид испортишь. Вроде как осквернение... А на остров как хошь валяй. И в портках до коленок, и волосья дыбом.

Егор Евстигнеевич поддел ногтем мякоть с лещевой щеки, пожевал.

— Иностранцы ведь тоже бывают?

— Бывают, — кивнул Егор Евстигнеевич. — Даже очень бывают. Шляпа — так, шляпа — этак. Ходят, глядят, аппаратами щелкают. Наши лектора бегают перед ними, тычут указками, дескать, вот вам изба кулака, которая с резным крыльцом, а которая с простым крыльцом, так это бедняк жил. Вот тебе и все. Две избы да мельница... Ничего не умеют. Свое же показать. Эх, дали бы мне Кижы, хоть на время! — Егор Евстигнеевич стукнул кулаком по столу. — Берись, Егор Евстигнеевич, покажи-ка!

— И как бы вы? — заинтересовались мы.

— А вот так... Притащили этот самый дебаркадер... Экая невидаль! Пластинки гнусявые крутят, «люлю» из баб на тарелочках подают. Да я бы избу поставил, нашу, онежскую. Как есть — с печкою, с лавками. Вот тебе и ресторан! Туда сто душ посадить за один стол можно. Да щей наварил бы, да ухи онежской, лососевой, пиროгов на поду рыбных... Да сбитней, расстегаев, окороков медвежьих. И чтоб пиво солодовое, самовар всегда под паром... Да девки ресторанные не в юбках до коленок бегали, а чтоб чинно-благородно, павами. А ежели песни нужны, дак нашенские. Самого Шаляпина выписал бы... Во как!

Егор Евстигнеевич, бычась, поглядывал на Ефрема, видимо, помня, что я отрекомендовал его ученым.

— А по берегу бань наставить. Чтоб с полками да каменками. Да при каждой ражего мужика с веником. Заходи, у кого кости захрясли! В самой Америке так не продерут. Он хоть и иностранец, а заинтересуется, полезет на полук. Вот тут-то его и веником, веником по заморской заднице... Да и своим не худо, патлатым...

— Ну вы и даете! — хохотал подвыпивший Ефрем.

— А то как же! — сверкал глазами Егор Евстигнеевич. — Да не две избы, как теперь, а целый посад на острове поставить. Которую под ночлег, а которую под посиделки. Вот и читай лекции. Чего ж их пустыми держать. Музей — музеем, а чтоб и дело было... У околицы толоку с девками, с качелями... Чтоб Россией пахло-то, а не мертвым погостом. Да лабазы старинные поставить... Щепной то-



вар всякий, резьбу онежскую, сопелки-свистульки, пряники печатные, обливные разложить... А то сколь по Онеге всяких мастеров зазря штаны просиживают! Вот бы всем и дело нашлось. Сиди, валяй шкатулки, табакерки... Тут тебе соборы диковинные, а тут и сами мастера живые. Пусть глядят иностранцы. Глядишь — гляди! Ешь — на здоровье. Свистульку тебе на память — бери! Покатать на лодке — садись, пожалуйста, хоть в голубую, хоть — в красную. Покатаем тебя по Онеге-озеру. Но и плати у меня! И за щи и за песню. Знай наших. Ракеты — ракетами, а и это не в бровь, а в глаз.

Мы с удивлением глядели на Егора Евстигнеевича. А он, вдохновенно блестя глазами, продолжал разворачивать свои губернаторские идеи. Раскрасневшийся от выпитого, темнобородый, широкоплечий, он и впрямь смахивал на градоначальника.

— И корабли! Чтоб корабль у меня ходил туда особенный. Под старинным парусом, с литыми пушками. Пусть внутрих машина стоит, работает, но чтоб сверху все по моему заказу было. Да набрать на него по нашей Онеге добрых молодцев, да чтоб одеть их сообразно. И встречать тот корабль большим колоколом, а то и с подголосками. Во как!

— Ну, ты, Егор Евстигнеевич, размахнулся! — хохотал Ефрем. Его уже порядком развезло. — По-купчески. Сам-то не из купцов ли?

— Ты хоть и ученый, а дурак, — обиделся старик. Он замолчал и подпер кулаками отяжелевшую голову.

— Я пошутил, — развел руками Ефрем.

— Налей-ка лучше...

— Да уже всё выпили.

Егор Евстигнеевич посопел, набычась, отпихнул от себя рыбью голову и подпер кулаками подбородок.

— Однако засиделся, — встряхнул он головой.

Опираясь о столешницу глыбистыми кулаками, он грузно поднялся, переставил ноги через скамейку и молча направился к выходу. Я подхватил его под локоть.

— Ты не лезь, не лезь, — пробурчал он, отпихиваясь.

Солнце уже забрело за лес позади нашей избушки, но Онега все еще шумела, и, наверно, это был один из тех ветреных и неутомных дней, когда и ночью на воде беспокойно. Егор Евстигнеевич, загребая сапогами мелкий камешник, направился к лодке и навалился на нее, силясь столкнуть ее на воду. Глядя, как он с трудом управляет своим огромным, отяжелевшим телом, я сказал, что ему не следовало бы ехать по такой волне, а лучше, если бы я отвел его домой берегом.

— А пошел ты! — огрызнулся старик и рывком сдвинул кижанку в пенный прибой.

— Егор Евстигнеевич, голубчик! Ну давайте хоть вместе! Вон на той голубой. Та побольше.

Егор Евстигнеевич не ответил. Сопя, он залез на четвереньках в пляшущую скорлупку и взялся за весла

— Ей-богу, я вас не пущу! — сказал я, удерживая за нос лодку.

— Брось, — проворчал он глухо.

— Не брошу! Куда же вы такой...

— Пусти, говорю! — крикнул старик и, приподнявшись и выхватив из уключины весло, вдруг замахнулся. Я отпрянул, запнулся за камень, упал и, падая, нечаянно толкнул ногой легонькую лодчонку. Кижанка отскочила, и в ту же минуту я с ужасом увидел, как мелькнули в воздухе весло и сапоги Егора Евстигнеевича.

— Ефрем! — заорал я и бросился в воду.

Я успел схватить старика за воротник и что есть силы заработал ногами и свободной рукой. Падая, Егор Евстигнеевич не выпустил весла и продолжал держать его, мешая мне плыть.

— Фуражка где? — прохрипел он, отплевываясь.

— Да ну ее! — озлился я. — Бросьте весло!

В это время я нащупал донные валуны, и мы, захлестываемые набегавшими волнами, выбрались на твердое. Вслед за нами, придерживая кижанку, подплыл и Ефрем. Все это случилось так внезапно и мгновенно, что мы буквально обалдели.

И когда мы, мокрые, нахлебавшиеся воды, сидели на валунах, жадно, как рыбы, хватая воздух, Егор Евстигнеевич вскочил и, будто боясь, что его схватят, одним каким-то прыжком впрыгнул в лодку. Мы даже не успели пошевелиться, как он оттолкнулся, и кижанка заплясала на волнах.

Ошарашенные, мы глядели, как Егор Евстигнеевич, не торопясь, вложил весло в уключину и, как только весла были заправлены, взмахнул ими каким-то невероятным образом — одним вперед, другим назад. Кижанка мгновенно развернулась и побежала, запрыгала по волнам легко и послушно. Старик сидел прямо и строго и, казалось, работал веслами без малейшего усилия. Было видно только, как легко и скоро взмелькивали они над волнами.

Он уплыл, ни разу не посмотрев в нашу сторону.

Весь следующий день мы ходили обескураженные таким нелепым концом этой тайной вечера. Нам надо было в магазин, но мы не пошли, потому что идти туда следовало мимо дома Егора Евстигнеевича. А встречаться с ним мы попросту побоялись. И мы до самого вечера понуро шатались по лесу.

Переночевав и немного обвыкшись со своим дурацким положением, соблазненные тихой утренней Онегой, мы решили напоследок поудить, а потом и раскланяться с этими берегами. Правда, мы уже не рвались на открытую воду, а пристроились в заливе, под прикрытием не то маленького островка, не то просто большого камня. Ловились все те же ерши и мелкие окуньки, но мы, присмиревшие и чужие, были довольны и этим.



И вдруг у Ясельмы взревела моторка...

Мы вздрогнули, как последние браконьеры. Первым желанием было — бежать, спрятаться с глаз долой, укрыться где-нибудь за островами... Но надо было выбирать якорь, сматывать удочки... И вообще, к чему уж... Все равно встречи со стариком не избежать, перед тем как уходить отсюда совсем, придется возвратить лодку. Не сейчас, так потом объяснения неизбежны... А может быть, это еще и не он.

Но это был Егор Евстигнеевич.

Окатив нас брызгами и поддав боковой волной, зеленая моторка развернулась, и, пока я соображал, как себя вести — обратить все в шутку или просто, как ни в чем не бывало, завязать разговор о клеве, Егор Евстигнеевич молча подрулил к носу нашей кижанки, набросил на него веревочную петлю и дал газ.

С размотанными удочками, которые тянулись за бортом с невыбранным якорем, оборвавшимся по дороге, он приволок нашу лодку в деревню и, совершенно не замечая нас, повесил на цепь замок, и направился к дому.

— Егор Евстигнеевич — крикнул Ефрем. — Деньги хоть возьмите.

Но старик оставался глух. Видно, то невольное купание для него, онежского волка, было смертельной обидой.

Ефрем положил на лодочную скамейку трешку, придавил камнем.

На дне кижанки еще трепыхались только что пойманные окуньки.

— Ладно, чего уж... — махнул я рукой.

Невольно втягивая головы, мы прошли через двор, мимо окон избы и с облегчением вышли за калитку. Что ж, мы для него всего лишь шатуны — припшлые, непрошеные...

В тот же день, забрав свои рюкзаки, мы потопали искать ближайшую железнодорожную станцию.

1975

## КОГДА ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ...

В тот вечер как прийти весне, у Василия Петровича разболелись ноги: старая рана, полученная еще когда фашисты бомбили завод, на котором он служил в пожарной охране.

Василий Петрович укутал ногу ватной безрукавкой, согретой на батарее, и улегся в постель. Колено ныло, не давало уснуть. Так всегда бывало, когда начиналась весна.

— Которая по счету-то? Бежит, однако, время. Ой как поспешает!

Лет десять назад он въехал сюда, в эту маленькую квартирку в новом заводском доме, одиноким пенсионером. Война отняла у него двух сынов, расшвыряла их семьи. После ранения пришлось

оставлять завод. Не поселись Василий Петрович в этом большом, сорокасемейном доме, где отнеслись к нему с участием и пониманием, горе и одиночество, пожалуй, вконец согнули бы старика.

Как-то само собой вышло, что и он сумел быть полезным людям. Присматривал во дворе за ребяташками, разбивал с ними клумбы, ладил песочницы, зимой чистил снег, заливал каток. Словом, стал негласным комендантом двора и коллективным дедушкой для всех своих многочисленных внуков и внучек, обитавших в доме.

— Петрович, скажи Димке, чтоб не задибался!

— Петрович, конек развязался!

— Петрович, Петрович! — доносилось со всех концов двора, и Василий Петрович унимал забияк, поправлял коньки и выполнял уйму других ребячьих просьб и поручений.

За эти десять лет внешне мало что изменилось во дворе. Разве только повзрослели молодые топольки, которые были посажены в самую первую весну. Теперь они уже заглядывают в окна второго этажа. Но те, кто сажал эти деревца, уже не живут в доме. Каждый год кто-нибудь из «внуков» подходил к Василию Петровичу с чемоданом в руке или котомкой за плечами и смущенно и взволнованно говорил:

— Ну, Петрович, я поехал...

— Да куда же это ты?

И тут только Петрович замечал, что «внук»-то на целую голову выше его самого, а протянутая парнем рука на прощанье больно сжимает непослушные, корявые пальцы.

Иногда на имя Василия Петровича почтальон приносил письма. Старик торопливо, дрожащими руками надевал очки и долго разглядывал конверт с неизвестным адресом.

— От кого бы это? Что-то не помню такого...

И только читая письмо, вспоминал, и глаза его теплели и прятались в глубоких старческих морщинах. Таких писем собралось уже порядком. Из Сибири, откуда-то с Заполярья, с плоскими белесыми веточками северного мха, вложенными между листами письма, из казахских степей, с пограничной заставы, с морских судов. Со всех концов страны шли вести от упорхнувших со двора внуков Петровича.

Но улетали одни, а вместо них во дворе появлялись другие, в кружевном конвертике, с розовой соской в беззубом рту. Петрович осторожно подходил к колясочке и шепотом спрашивал у молодой мамы:

— Как называли-то?

— Алексеем.

— У меня сын тоже Алексей... Танкистом был... Ну, Алеша, расти, брат, да приходи к нам учиться в песке города строить. Нужная специальность. Смотри, как ребята орудуют.



«...М-да, бежит, однако, время!» — подумал Василий Петрович, вслушиваясь в чуть прихрамывающее тиканье стареньких ходиков, висевших над кроватью.

А за окном, под покровом темноты, шла невидимая схватка зимы с молодой весной. В голых ветках топольков свистел примчавшийся с юга ветер, где-то, должно быть на сарае, погромыхивал оторвавшийся лист железа. По непрозрачным, запотевшим стеклам бежали, пробивая себе дорогу сквозь матовую целину мороси, первые вешние ручейки — с них начинается половодье.

— Теперь пойдет! — сказал вслух Василий Петрович, перекладывая ногу поудобнее. — Не зря колено разломило. Метлу бы надо купить. Старая совсем пообтрепалась. Обсохнет — двор мести нечем.

За окном слышались шаги: кто-то шел по мокрому чавкающему снегу. Остановились у подъезда. Сдержанный девичий смех. Приглушенный басок парня. Опять смех.

— Не влетит?

— За что?

— За поздно?

— А тебе?

— Мне — нет. Только вот по алгебре не успел... Завтра утром поделаю.

— А у меня химия осталась.

— Оля, пойдем завтра в картинную? Там выставка современной скульптуры.

— Нет, завтра не могу. Мы и так часто встречаемся.

— А когда?

— Сама скажу. Ну, я, Вовка, пойду, а то в самом деле влетит. До свиданья. За Рабиндраната не беспокойся, скоро дочитаю.

— Читай, читай, я еще, если хочешь, на один срок перепишу. Ну ладно, пока.

Снег снова зачавкал под ногами: парень пошел в глубь двора.

— Неужто Ольга? — не поверил Василий Петрович. Вскоре после новоселья соседи пригласили его вместе встретить Новый год. Старика очень тронуло это внимание к нему. Он тут же оделся, взял свою палку и заковылял покупать подарок Олечке, шустрой шестилетней соседке.

— Вы не Дед Мороз? — спросила у него Оля, когда он, с палкой и свертком под мышкой, появился в прихожей.

— Я твой сосед, Петрович.

— А-а — ты Петрович, — разочарованно протянула Оля и тут же опять затараторила: — А мне мама сказала: когда придет Дед Мороз, тогда будем зажигать на елке свечи. Только у нас не елка, а сосновка.

С того вечера Василий Петрович и Оля очень подружились. По вечерам она приходила в его комнатку, забиралась на колени и начинала «почемукать» — расспрашивать про свои детские разные разности.

— Петрович, а что это висит на стене?

— Это моя пожарная каска. Я ее носил, когда работал на заводе. Теперь там твой отец работает.

— А это пожарный завод?

— Нет, внучка, это завод, где делают разные машины.

— А почему ты ее повесил?

— Каску-то? Это память о моей службе.

— А почему на каске ямка?

— Это, Оленька, в нее попал фашистский осколок.

Когда Оля наконец засыпала, уткнувшись русой головой в телогрейку, Василий Петрович относил ее домой.

Раз в месяц, в пенсионный день, Василий Петрович покупал гостинцы — леденцы, орехи, веселые пестрые книжки, и они вдвоем устраивали свой скромный праздник.

На глазах дети растут незаметно. Василий Петрович по-прежнему в получку приносил гостинцы своей Оленьке, которая теперь уже изучала бином Ньютона, цепную реакцию и писала сочинения на тему «Образ женщины в творчестве русских классиков».

«Это — нашего литейщика сынишка, — догадался Василий Петрович, прислушиваясь к удаляющимся шагам. — Из третьего подъезда».

В окно тихонько постучали. Василий Петрович поднялся, надел галоши, пошел отпирать дверь.

— Ольга, ты?

— Я, Петрович. Прости, пожалуйста, что постучала. Это все Софья Павловна запирается.

— Да уж и поздно, — Василий Петрович смущенно, даже совестливо взглянул в свежее, разрумянившееся лицо Оли. От нее пахло ветром, талым снегом, ранней весной. Через плечо перекинута ботинки с коньками.

— А я совсем уж было задремал, — схитрил Василий Петрович.

...Через неделю весна окончательно завладела поселком. Рушились подточенные водой и солнцем снежные бабы и крепостные валы, воздвигнутые ребятишками, в лужах терпели бедствие бумажные корабли, клокотали и захлебывались водосточные трубы, дымились на солнцепеке просыхающие крыши, заборы, тротуары. А по ночам бессонно барабанила капель.

В радостной весенней суматохе никто не заметил, когда на старых тополях, что росли у самых ворот, появились грачи. Их возбужденный гомон как-то сам собой слился со звоном ручьев, голосами ребятишек, сигналами автомашин, почему-то особенно громкими в весеннем воздухе.

Грачи приносили новые хлопоты Василию Петровичу. Они ремонтировали свои гнезда, и вниз, на асфальт, с утра до вечера летели прошлогодние полусгнившие листья, почерневшие сучья и ветки. В такие дни Василий Петрович вставал особенно рано, ког-



да дом еще спал и, раскурив трубку, под гомон уже пробудившихся грачей, неторопливо подметал асфальт. Эта ранняя работа доставляла ему удовольствие.

Первыми из подъездов дома выходили люди в рабочих спецовках, потом домохозяйки с кошелками и, наконец, шумно выкатывалась детвора.

— Доброе утро, Петрович! Задали они тебе работы.

— Здравствуйте, Василий Петрович, не знаете, булочная нынче открыта?

— Петрович, Петрович, не замечай наши классы!

На крыльцо вышла Ольга с книгой в руке, зажмурилась от солнца, заслонила глаза.

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствуй, внучка!

Василий Петрович прислонил метлу к дереву, подошел к крыльцу. Оля стояла всего на одну ступеньку выше, но Василию Петровичу пришлось поднять голову, чтобы заглянуть в ее ясные, чуть сощуренные глаза. А глаза эти смотрели из-под книги вверх, на вершины тополей, над которыми, выписывая озорные виражи, кружились грачи, играя в пятнашки. Потом старик перевел взгляд на книгу и с трудом разобрал заглавие: «Рабиндранат Тагор». «Наверно, та самая», — подумал он.

— А знаешь, Петрович, Вовка после десятилетки собирается пойти на завод. Он даже себе специальность подобрал: хочет стать литейщиком, как и его отец.

— А ты?

— Не знаю... Мы ведь договорились вместе ехать в электротехнический институт. Теперь вот он отказывается. А мне одной... страшновато... Как думаешь, Петрович?

Что думает на этот счет Петрович?

Сегодня утром он, как всегда, подметал двор. И вдруг его метла остановилась на замахе. Под Олиным окном на асфальте он прочитал надпись мелом: «Оля + Вова». Василий Петрович не посмел, не смог занести руку на эту надпись. Хотя, он понимал, ее надо было стереть, она написана озорником, ее не должен читать всякий, чтобы потом проводить девушку насмешливым взглядом. Он не стер ее. Он обошел это место и стал подметать под своим окном... Он, Петрович, все понимает.

— Говоришь, одной страшновато? А зачем — одной? Вы вместе. Вовка — парень смелый...

Над домами поселка в чутком весеннем воздухе поплыл густой тягучий бас гудка. Старик и девушка повернулись на могучий голос завода.

— Наш, — подаваясь на звук, с лаской сказал Василий Петрович и сдернул с головы картуз.

Помнится, в шестьдесят первом году, дней за десять до октябрьских праздников, я оказался в Москве по каким-то служебным делам и, как почти всякий наезжий человек, которому выпало пробыть в столице несколько суток, попытался попасть в Большой театр. Мне было все равно что смотреть, лишь бы заполучить билет и проникнуть под своды знаменитого театра, где я так-таки ни разу не побывал, но один вид которого, подобный афинскому Акрополю, с его торжественно вознесенными колоннами и бронзовой колесницей покровителя муз на фронтоне, вызывал во мне возвышенное почтение.

На следующее утро я отправился к театру, чтобы объявиться за час до открытия около касс. Но предприятие мое оказалось наивным: пестрая змея очереди из страждущих и вожделенных, трехзначно пронумерованных по сумочкам, портфелям, а то и прямо по спинам, не оставляла мне никаких надежд. К тому же выяснилось, что на ближайшую неделю все билеты проданы и что очередь дожидается возможности попасть лишь на послепраздничные представления или же того счастливого случая, когда, может статься, выбросят неиспользованную «бронь» на сегодня.

Мне тоже написали что-то между лопаток, и я, с чувством клейменого раба, пристроился в хвосте больше от безвыходности, нежели из здравого смысла. Идти по ведомству было еще рано, а возвращаться в гостиницу почти через всю Москву и вовсе не хотелось.

Коротая время, я сходил в киоск за свежими газетами, потом отлучался еще и еще и, возвращаясь, находил очередь все в той же удручающей неподвижности. Я начал уже колебаться, стоит ли тут торчать дальше, когда подслушал в толпе разговор, что-де есть еще надежда, если, разумеется, повезет, купить билет с рук. Бывает, что к театру подносят контрамарки люди, у которых почему-то не складывается со временем, а то и просто охотники погреться на ажиотаже.

Я покинул очередь и, взглядываясь во встречных, стал прохаживаться вдоль центрального подъезда, время от времени забредая в театральный сквер.

Разгорался погожий октябрьский денек, слегка морозный, бодрящий, с хрустом тонкого льда на тротуарах, с почти весенней капелью, ниспадавшей с пригретых солнцем карнизов, с бодрым щебетом московских воробьев, набившихся в еще не опавшие, сочнозеленые кусты сирени перед театром. Где-то в Замоскворечье, над гумовскими кровлями, безветренно, в полнеба клубились розово подсвеченные пары теплоэлектростанции, да и все вокруг, дома и улицы, начали пламенеть, постепенно одеваться в праздничный кумач панно и транспарантов.



Было против обычного особенно оживленно и людно и даже разнолико: то здесь, то там в людском водовороте по-южному броско мелькали азиатские тюльпановые платки, величаво покачивались кавказские папахи или проплывал песцовый заполярный ма-лахай, и все это вместе — и топот каблуков на асфальте, и шелест шин на проспекте, и взблески автомобильного никеля меж посадок сквера, и хрустальное мелькание капли в багряном отсвете утра на фасадах домов — все это подчеркивало тот особенный, повышенный столичный тонус, что всегда сопутствует преддверию октябрьских торжеств.

Пока я, заглядевшись, созерцал утреннюю Москву, билеты и в самом деле внезапно объявились почти под самым моим носом. Откуда-то вынырнули двое хватоватых парней: один — долговязый, в кожаной куртке с распушенной до самого паха молнией, другой — в клетчатом пальто с поднятым воротом, и тот, длинный, вскочив на театральные ступени и сразу возвысаясь над толпой, потряс в воздухе стопкой билетов:

— Кому «Зори Парижа»! Налетай!

Тотчас множество рук потянулось к мелькавшим кремовым бумажкам, парней густо обступили, сдавили со всех сторон, и этот клубок, гудящий и умоляющий, влекомый парнями, покатился за угол, в Театральный проезд...

А уже через несколько минут те двое, бесцеремонно расталкивая прохожих и неудачников, улепетывали восвояси.

Вскоре подобное же билетное столпотворение взбурлило на аллее театрального сквера, но когда я прибежал туда, все уже утихомирилось, и я, как говорится несолоно хлебавши, в досаде закурил и опустил на одну из долгого ряда планчатых скамеек.

Несмотря на раннее время, сквер уже был основательно обжит всяким пожилым неслужебным людом с книжками, журналами, вязаньем на коленях и неприметными детскими колясочками возле бабусь. Здесь, среди автомобильных волн, омывавших сквер со всех четырех сторон, было сравнительно тихо и даже уютно меж бордово заосеневших яблонь и свежих, взбодренных морозцем газонов, и сидевшая рядом со мной старушка в смушковой шляпке поверх черного крепового платка даже умиротворенно подремывала, подставив солнцу блеклое увядающее лицо в тонких сосудистых прожилках. Дремал рядом с ней и малыш в рессорной зыбке, от ласковости солнца подрагивая голубоватыми нежными веками.

Многие из старичков, должно быть, давно знали друг друга, потому что, объявившись в аллее и проходя вдоль скамей, приветливо кивали или же пожимали руки уже сидевшим.

Мое внимание привлек преклонных лет человек, обряженный в тяжелое ватное пальто, какие теперь уже не нашивали — долгополое, из черного неизносимого драпа, казалось, пригнувшее хо-

зяина своей пудовой тяжестью так, что он с какой-то робкой неуверенностью, всего на полступни, высовывал из-под полы то один, то другой ботинок, мелко шаркая по убитому гравию. Жидкие прядки седины провисли из-под высокой мутоновой шапки, заломленной топориком, и снежком осыпали каракулевый ворот. Под мышкой правой руки держал он с застылой бережливостью большую потемневшую шахматную доску, отороченную перламутром. Пробираясь вдоль скамеек, старик время от времени останавливался и, не поворачивая головы, а медленно разворачиваясь всем своим ватно-драповым склепом, озира́л сквер тягучим сосредоточенным взглядом из глубоко запавших глазниц.

— Пляди-ка, Пал Палыч выполз, — удивились на соседней скамейке какие-то бабушки. — От самого мая не было. Я уж порешила, не встанет. Ан, вишь ты, оклемался, упорный.

— И опять со своими сашками, — сказала другая бабушка. — Степаныча, должно, выглядывает. Напарничка свою. А Степаныча за то время уже и нету. Ох ты осподи...

Старик измерил шажками ту сторону аллеи, потом перешел на нашу и, не найдя того, кого искал, осторожно, негнуче усадил себя неподалеку, положив доску на колени, подобно тому как, бывало, клали бродячие слепцы свои гусли.

И, глядя на него, мне было грустно думать обо всех этих стариках, выползших сюда из каких-то своих углов и прибежищ, где жили они потаенной от всех нас, прочих, жизнью, а здесь, на вольном свете, все уже было не про них, бежало и катило своей шумной дорогой. Казалось, что они обитали сами по себе, все же остальное, за пределами этого сквера, и дальше во все земные концы, все шло само по себе... Да, бежит, бежит время! Не помню уже, кто из мудрых сказал о времени так: что ж, дети мои, мы были такими, как вы, вы же будете такими, как мы. Всему черед...

Между тем неожиданно опять объявились те двое. Они были заметно навеселе, и это удерживало меня от унижения спросить у них билетик. Свое доходное дельце они уже провернули, успели заскочить в ближайшую закусочную и теперь, сплевывая после каждой сигаретной затяжки, праздно бредя вразвалочку, искали себе такое же праздное занятие, скорее всего случайных бульварных знакомств и свиданий. Заметив старика с шахматной доской, длинный, дурашливо вздернув плечи, крупно, с подпрыгом пошастал туда.

— Ну чего, бать, погреемся? — сказал он, пересунув сигарету в угол влажного губастого рта, расслабленного выпивкой. — Громыхнем костями?

Старик вскинул седые кудельки бровей, оценивающе измерил парня и, малость поразмыслив, поколебавшись в каком-то сомнении, все же снял доску с колен и переложил на скамейку, тем са-



мым как бы давая свое не совсем еще твердое согласие на игру. Длинный тотчас плюхнулся рядом и, уже отковыривая ногтем металлические застёжки, небрежно кинул:

— По троячку?

Старик нахмурился и, ничего не сказав, потянул к себе доску блеклой некрепкой рукой.

— Небось не на чего? — хохотнул парень, не выпуская шахмат. — Ну тогда по рубчику, а?

— На деньги не играю. Ступайте, ступайте, — слабо проговорил старик и опять попытался отобрать доску.

— Ладно, Эрик, пошли, — потянул приятеля за рукав другой, клетчатый.

— Да погоди... Ну раз не на чего, давай, дедусь, так срежемся. — Длинный отомкнул крючки и, запустив пятерню, выгреб фигуры в свою кепку. — Фору, бать, берешь? На вот ладейку. Плянь, какая хорошая. Как стопарик. А? А то хочешь ферзя?

— Играйте, как положено, — все тем же слабым голосом, но с оскорбленной звонцой попросил старик. — Не надо мне вашей форы.

— Ох ты! — присвистнул длинный, быстро раскидывая на обе стороны фигуры. — Не хочешь ферзя? Ай ты батяня! Ботвинник не твой племяш?

Как там завязалась и пошла игра, мне было трудно представить, потому что вскоре соперников обступили любопытные, и было только слышно, как длинный, по-доминошному грохая о доску фигурой, азартно и дурашливо покрикивал: «Не взял, батя, ферзя, сам отдашь. Отдашь, как миленький. Это тебе не песком дорожки посыпать. На-ка вот тебе такой ходик. Ну как? Ничего сработано, а?»

Подстрекаемый неведением, вскоре и я не усидел и присоединился к болельщикам.

Длинный играл белыми. Нахально напирая легкими фигурами, он зажал черного, почти ничем не прикрытого короля, рокировавшегося в короткую сторону. Старик уже потерял слона и несколько пешек, ферзь его почему-то оказался вне главных событий на поле а4, тогда как белый ферзь, утвердившись на d2 и имея у себя по правую руку тоже открытую ладью на с1, угрожающе нацелился на вскрытые тыловые линии соперника. Тоже коротко рокированный король белых на g1, прикрытый пешками f2, g2 и h2, безмятежно созерцал дворцовую осаду своего противника.

Старик попытался собрать кое-какие силы для контратаки, неплохо сдвоил ладьи на е8 и е6, полностью овладев всей коммуникацией. Но угроза эта все же оказалась недостаточной, а главное, длинный Эрик не давал старику перевести дух, заполучить возможность свободного маневра и, пиратствуя кавалерией на ближних подступах черных, безнаказанно охотился за его разрозненными пехотинцами.

— Хана, батя, хана! — торжествовал парень. — Иди, батяня, домой, на свою печку, и больше не высовывайся. И скажи своему Ботвиннику, что Эрка ждет его у Большого театра. По десюнику за партию.

Старик молчал, насупив спутанные брови, и лишь непрерывно оглаживал озябшие свои запястья.

— Да все, все, бать! Чего там думать много? — давил словами длинный. — Песня вся, песня вся, песня кончилась.

В довершение близкого разгрома он принялся двигать на подмогу свои нехоженые пешки на левом фланге, открыл диагональ d1 — a4, где на a4 стоял в бездействии черный ферзь. Старик, подышав на тонкие бескровные пальцы и как-то виновато взглянув на длинного, медленно, сообщив дрожь от пальцев фигуре, переставил ферзя на поле c2 впритык с белым ферзем на d2 и ладьей на c1.

Ход был настолько неожиданный, что по окружившей доску толпе прокатился вздох торжествующего облегчения. Длинный Эрик враз откинулся от доски и, растерянно взмаргивая, попросил у клетчатого сигарету. Положение его и на самом деле оказалось, что называется, пиковым. Ни ладьей, ни ферзем брать черного ферзя, оказывается, было нельзя, поскольку одна из спаренных черных ладей тотчас врывалась на линию «а» и белому величеству пришлось бы задира́ть лапы.

— Погоди, бать, погоди... — почесал под кепкой длинный. — Разберемся... Значит, если я так, то ты... Ох ты, черт! Да-а... Валерка, — кинул он клетчатому. — У тебя плотнуть не осталось?

— Пусто, сам знаешь.

— Ох ты, черт! Ну, мазанул!

Я оглядывал доску, теперь уже ища выход для длинного, собственно, оценивал позицию с тем, чтобы еще раз убедиться, что выхода у него не осталось. И вдруг похолодел: между двух чернопольных пешек f6 и g7 затаился белый слон на поле g6. Вскоре увидел его и сам Эрик и, презрительно оглядев собравшихся, ликующе шлепнул себя по коленке:

— Я ж говорил, что-то тут не так... Ха-ха! Ну чего, бать, гавкнул твой ферзь или как?

Старик тоже покосился на незамеченного слона, но промолчал, ничем не выдав волнения и досады, и только привычно огладил свои руки.

— Ну что, доигрался?

Старик молчал, обдумывая создавшееся положение.

— Да чего там думать! Не видишь, что ли, что сейчас ферзю секир-башка будет? Давай мотай, пока я добрый.

— Нет, нет! — упорствовал старик, и было видно, как под истонченной пергаментной кожей упрямо стиснулись челюсти.



— Брось, бать, выпендриваться. Делаю вид, что я ничего не видел.

Длинный Эрик сам взял черного ферзя и снисходительно переставил его на прежнее, исходное место.

— Позвольте, позвольте! — Сухой заострившийся кончик носа у старика гневно побелел. — Не имею таких правил. Пожертвованный не хочу. Не привык.

Старик в свою очередь с непреклонной твердостью взял черного ферзя, возвратил его на роковое поле и сделал это с таким достоинством, будто не ферзь, а он сам вышел на расстрел под белого офицера, отказавшись от помилования. — Играйте дальше, молодой человек!

— Да чего там играть! — обернулся длинный, как бы ища подтверждения у зрителей. — Чего играть-то? Все куплеты твои спеты. Хана!

— Нет, играйте. Ваш ход!

— Иди, батя, домой на свою печку. — Длинный Эрик засунул палец за щеку, дернул им, издав пробочный хлопок и, вставая, повалил и спутал на доске фигуры. Старик замер, будто его ударили, потом, трудно наклонившись, принялся шарить под скамейкой, отыскивая скатившиеся фигуры. И я заметил, как за отворотами его пальто неясно мелькнули металлом ряды каких-то орденов...

Зрители начали расходиться. Отошли и те двое и, остановившись неподалеку, задымили сигаретами.

По минувшему утру было уже видно, что денек разойдется, но он выдался и того славней: бездонная синь воспарила над громадой города и лились оттуда теплынь и солнечное благоденствие, так, будто кто-то, задобренный погодой, распорядился на радость ребятишкам открыть театральный фонтан-красавец, еще поутру безмолвный, запорошенный листвой по дну пустой чаши. И выпущенная на волю вода теперь ликующе рвалась ввысь ажурными голубыми струями, заглушая своим переплеском людской гомон и шинный клекот машин.

Фонтан ли, от которого и впрямь нельзя было оторвать глаз, был тому причиной, или просто удавшийся денек, но только в этот час все окрестные скамейки были пуще прежнего заняты завсегдатаями этого благословенного уголка в виду величавой колоннады знаменитой Оперы.

И вдруг где-то совсем рядом, за фонтаном, за поредевшими яблонями, грянула музыка. По тому, как густо вздохнули басы и брызнули серебром литавры, чувствовалась слитная мощь большого многосотенного оркестра, какие играют лишь в дни особых торжеств на Красной площади перед мавзолеем. Сперва я подумал, что и впрямь играли где-то на той, главной площади, за Музеем Ленина, репетируя предстоящее шествие. Но тут же просочилось

ослепительное сверкание труб за проезжей лентой проспекта, и лишь потом, приноровившись к просветам в ветвях, различил я четкое каре военных.

*Это есть наш последний...*

Было, однако, непонятно, зачем, по какому случаю звучал «Интернационал» именно здесь, в виду Большого театра, и я, всегда, с самого детства, еще с отцовского заводского оркестра, с непреходящим волнением воспринимавший эту величавую всеочищающую мелодию, зовущую что-то делать вот сейчас же, немедленно, застигнутый ею врасплох, смешался. И чтобы сориентироваться, определить свое поведение, украдкой поглядел по сторонам. Все вокруг меня внезапно всколыхнулось и побежало. Бежали какие-то женщины с громоздкими покупками в гумовской фирменной обертке, промчалась галдящая стайка студентов-негров, зашмыгала вездесущая ребятня. Бежали из проезда, мимо театра, из метро, с близкой Петровки, бежали, чтобы обойти все сложные извивы и подземные переходы и оказаться поближе к месту неожиданного события.

— Куда это они? — недоуменно пожал плечами длинный Эрик. — Бабуся, в чем дело?

Старушка, та самая, что еще поутру признала Пал Пальгча с шахматной доской, привстав со скамьи, строго взглянула на длинного.

— Ты бы папиросу-то бросил. Да рубаху б застегнул.

— А чего, чего, мать?

— Ничего.

— Ладно, пошли, — потянул дружка клетчатый. — А то Зойка теперь ждет.

Придерживаясь за ветки яблони, я забрался на самую высокую спинку скамьи и только теперь понял, в чем там дело: на той стороне проспекта, за плотно обступившей многотысячной толпой темнела гранитная фигура Карла Маркса. Еще вчера, занятый своими командировочными заботами, я прошел как-то без внимания мимо зеленых дощатых щитов, за которыми что-то выскребали лопатами. И вот теперь убрали щиты, сбросили укрывающий брезент, и Маркс, порывистый, сосредоточенно лобастый, облокотившись на уступ скалы-пьедестала, как бы выйдя, возродясь из этой скальной массы, воплотившись в сам Разум и Гений человечества, вознесся над бурлящим людским прибоем на восьмиметровую высоту.

И я вспомнил, что именно здесь, на этом месте Театральной площади, еще в двадцатом году сам Ленин положил первый камень в основание памятника своему великому учителю.

— С Интер-национа-а-лом... — почти выговаривали — знакомо, по-человечески понятно — ликующие волторны и трубы, и было слышно, как к звукам инструментов примешивалось все более крепнущее пение тысячных голосов.



А люди все бежали, спеша пробиться к проезжей кромке, к строгим рядам милиции, и только те, утренние старики и старушки, что набрели в сквер, остались на своих местах.

Мне было видно, как поднявшись со скамеек, покинув книжки и детские коляски, вытянулись и замерли они в суровой отрешенности, и были они красивы в эти минуты своей обнаженной сединой и неусыпной верностью делу всей своей жизни.

Так и не собрав фигур, каменно восстал в своем тяжелом пальто Пал Палыч, уронив на скамью шапку и не прибрав встрепанные, по-детски легкие волосы. Он был по-прежнему строг и непроницаем бледным выболевшим лицом, но нахолодавшие бескровные губы весело шевелились, должно быть, беззвучно нашептывали сопутствующие слова бессмертной мелодии.

— И решитель-ный бо-о-ой... — гремело по ту сторону проспекта.

Я невольно обратил внимание на стиснутые в кулак пальцы Пал Палыча и заметил в правой руке белую фигуру ферзя, которого он, упрямец, не захотел принять как фору и теперь поднял под своей скамейкой...

1977

## НЕ ИМЕЙ ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ...

### 1

Без пятнадцати четыре раздался долгий настойчивый звонок. Федор Андреевич, вчера поздно улегшийся, капризно, по-мальчишески натянул на голову одеяло, однако назойливый звон доставал его и там, под стеганой ватой. Все еще пребывая в обволакивающей паутине сна, но уже подсознательно понимая, что требуют именно его, директора, он с недовольной гримасой на одутловатом, отлежалом лице повернулся на другой бок и обругал секретаршу, долго не бравшую трубку: «Какого черта! Опять, поди, удрала из приемной». Звонок верещал, и, прислушиваясь к нему с неприязнью, строя догадки, кто бы это мог быть, Федор Андреевич вдруг сообразил, что так настойчиво звонят только по междугородному, скорее всего, из главка. «Обождут, тут тоже не Ваньки на подхвате», — оскорбился Федор Андреевич, сделал строгое должностное лицо, погмыкал сонным горлом, чтобы соответствующе поставить голос, и... и проснулся.

Рядом, на стуле, обессиленно, затухающе дозванивал будильник.

— А-а... это ты... — пробормотал Федор Андреевич и, протянув руку, поспешно придавил кнопку.

Он откинулся навзничь со все еще неприятно бухающим сердцем и лежал так неподвижно, приходя в себя.

— Да-а, отзвонились главки...

На пенсию Федор Андреевич ушел этой весной на шестьдесят втором году жизни. Ушел с глубокой обидой, с ощущением, будто отставка его была предусмотрена заранее. Стариком он себя вовсе не чувствовал, еще лет пяток вполне мог поработать. Других вон и после пенсионной черты продолжают держать на прежних должностях. Сидят, пока не помрут. Будучи последний раз в Москве, уже зная, что ему готовится замена, он зазвал в гостиницу начальника отдела кадров Кудинцева, заказал в номере ужин и попытался прощупать, чем, мол, все-таки не угодил. Кудинцев всячески увиливал от прямого разговора и только снисходительно отшучивался:

— Помилуй, Федор Андреевич, что за мнительность! Сразу и «не угодил»! Все твои заслуги остаются при тебе, спасибо за долгую службу, но, увы, друг мой, ничего не поделаешь, время! Надо в конце концов и тебя пощадить. Вот уж и инфарктик был, насколько помнится... Нет уж, ты нас пойми правильно, не имеем никакого права посягать на твоё здоровье. Мы и так передержали тебя в упряжке сверх пенсионного законодательства. Короли, папы римские — и те уходят. А мы с тобой, брат, простые смертные. Мне вот тоже до пенсии рукой подать. А что поделаешь?

И, уже подпивши, приятельски положив руку на плечо Федора Андреевича, увещевал:

— Есть тут у нас кое-какие наметки. Но пока это только так, в проекте. Неизвестно еще, как посмотрит Госплан, вот ждем, что нам скажут. Но тебе, как старому другу, могу кое-что приоткрыть. Понимаешь, задумали мы укрупнить твой заводик. Пришлось бы тебе заниматься капитальным строительством, входить в связи с новыми поставщиками, набирать новых людей, изыскивать для них жилье. Ну сам знаешь — канительное дело. Да пока перестроитесь, пока освоите новую продукцию — это минимум года три всяких неурядиц, неувязок. Будет лихорадить с планом, посыплются рекламации, замучает текучесть кадров... Сам посуди, зачем тебе, старику, во все это ввязываться? Иди, иди себе отдыхай, честное слово!

Тоже мне радетель! Извивался, как угорь.

Получилось так, что не провожали, а выставили за дверь... Нет, все-таки кто-то подкапывался под него все последние годы. Вот анонимку, сволочи, накатали: недоверие к подчиненным, единовластие и прочая чепуха, даже перерожденцем окрестили... Так ты приезжай и проверь на месте, так ли это, а не таи камень за пазухой. Или взять случай с орденом. К шестидесятилетию посулили Трудового, — нет же, кто-то там вмешался, подставил ножку, и Трудового заменили «Знаком Почета». Выходит, большего не заслужил, недостойн... Сорок два года на производстве, из них только на руководящей работе тридцать! Начинал с зачуханных мастерских, бывало, путного сверла не сыщешь, какими-то



огрызками работали. Считай, вся жизнь производству отдана. Отделались стариковским орденом... На, мол, тебе для утех и уходи, сажай огород, уди рыбу.

Федор Андреевич лежал на диване в своем домашнем кабинете. Уличный фонарь сквозь окно, прихваченное морозцем, лунно освещал кусок большой картины на противоположной стене. Картину эту — копию с «Девятого вала» Айвазовского — рисовал с огоньковской репродукции заводской художник — глухонемой, одиноко обитавший в общежитии. Держали его для оформления цеховых досок показателей и всякого рода наглядной агитации, но основной его обязанностью было писать на ящиках с готовой продукцией трафаретки «Не кантовать!», «Осторожно: стекло!» и тому подобное. Очень уж любил Федор Андреевич этот «Девятый вал» за бесшабашный разгул стихии и потому попросил художника не пожалеть холстины, нарисовать побольше, повнушительнее. И тот размахнулся чуть ли не во всю стену. Правда, года через два картина начала меркнуть, покрываться каким-то коричневым туманом, должно быть, сукин сын, намешал дрянной олифы. Жена покушалась выбросить ее, и Федор Андреевич, обидевшись, решил отвезти Айвазовского на дачу. Но без привычной рамы стена оказалась удручающе глухой, будто на том месте только что было окно в мир, а его, это окно, этот мир заложили кирпичами и заштукатурили. «Нет, мать, — сказал жене Федор Андреевич. — Так еще хуже». И водворил полотно на прежнее место, подумав про себя, что с этой темнотой картина стала как-то таинственнее и смахивает на старинное письмо.

По праздникам, после того как разойдутся по домам гости, Федор Андреевич, будучи в приподнятом расположении духа, уже полураздетый, с недопитой рюмкой в руке, подолгу задерживался перед любимой картиной. Вздурораженно-восхищенный, он созерцал всю эту вакханалию туч, валов, пены, брызг, повергнутых мачт, раскиданных обломков и в эти минуты чувствовал себя в духовном родстве с бушующим океаном. И, ощущая себя несокрушимым, молодея душой, азартно, ликуяще запевал:

*Эй, баргузин, пошевеливай вал —  
Молодцу плыть недалечко...*

Крапчатый бульдог Фома (тогда у него еще была собака) от громового голоса подскакивал на своей подстилке, сонно таращился на хозяина и, не сдержавшись, задрав брдастую морду, принимался вторить неуверенными руладами.

— Молодец, Фомка! — одобрял кобеля Федор Андреевич. — Ай да Фома! Как там дальше поется?

*Шилка и Нерчинск не страшны теперь,  
Горная стража меня не поймала...*

«Вот тебе и “баргузин”... — мрачно подумал Федор Андреевич! — Доплыл, называется...»

Когда были сданы все дела, подписаны надлежащие бумаги, переданы новому хозяину ключи от сейфа и ничего больше не оставалось делать, как уйти восвояси, Федор Андреевич попросил секретаршу никого не пускать к нему в кабинет. Он отпер встроенный в дубовую панель шкаф-буфет, налил полный стакан коньяку и выпил напропалую, жадно, крупными глотками — так, как если бы хотел покончить с собой. Потом в последний раз сел за стол — прибранный, холодно-пустой, с умолкшими телефонами, — теперь уже чужой стол. Сюда больше не звонили, незачем было звонить. Новый директор Петряев, недавний технолог завода, теперь, наверно, сидел у себя, затаился, выжидал, когда уйдет прежний хозяин. Третьего дня, когда уже все знали о его новом назначении, Петряев встретился Федору Андреевичу в коридоре — такой весь будничный, все в том же крапчатом дешевом пиджаке, словно бы ничего и не произошло. А в душе, наверно, рад до беспамятства. Разговор как-то не получался, да, собственно, говорить было не о чем, и Федор Андреевич, чтобы заполнить неловкую паузу, взял из рук Петряева какую-то книжку. Книжка была на иностранном языке. Федор Андреевич, повертев ее в руках, принялся разбирать латинские буквы на суперобложке и, разобрав самую верхнюю строку, прочитал вслух:

— Веелер.

— По-английски — Уилер, — поправил Петряев.

Федор Андреевич делано кашлянул:

— Романы почитываешь?

— «Физика пространства и времени» называется, — сказал Петряев. — Частная теория относительности. Вчера получили в нашу библиотеку, решил вот почитать вечером.

— Ну, давай, давай... — Федор Андреевич возвратил книгу, исподволь, с интересом оглядел суховатую, мальчишескую фигуру новоиспеченного директора, как будто видел Петряева впервые. Вот, оказывается, кто метил на его место! Ловок!

— Новый костюм хотя бы надел, — не удержался съязвить Федор Андреевич. — Как-никак начальство.

— Да бросьте вы! — Петряев подвинул на носу роговые очки.

— Ладно, не злись, — усмехнулся Федор Андреевич, дотрагиваясь до альпинистского значка на пиджаке Петряева. — Теперь другие будут горки, покруче. — И, уходя, снисходительно похлопал преемника по плечу: — Смотри, альпинист: высоко лезть — низко падать.

Медля уходить из кабинета, куда не было уже ему возврата, но и не зная, что делать, Федор Андреевич машинально потянулся к пластмассовому стаканчику, набитому, будто колчан, острыми заточенными карандашами. Над пестрой канцелярской мелюзгой



возвышался в палец толщиной красный карандаш-великан. Федор Андреевич извлек его в раздумье и повертел перед глазами. Давно в обиход вошла всякая шариковая дребедень и всевозможные авторучки, даже с золотыми перьями, но Федор Андреевич непременно пользовался только вот этим, фабрики «Сакко и Ванцетти» — простым, весомым и безотказным. С самого восшествия Федора Андреевича был он грозным и милостивым — кому как! — орудием его, директорского, правосудия. «Да, брат, — грустно сказал карандашу Федор Андреевич. — Такие дела...»

Постукивая тупым концом карандаша по настольному стеклу, Федор Андреевич сумрачно нахохлился. Так он сидел долго в отчужденной тишине, прощально оглядывая кабинет, ряды стульев у стен и у приставного стола. Он помнил, кто и где сидел во время совещаний и планерок. У каждого было свое привычное место — у главного инженера, главного механика, начснаба, начальников цехов, смен, бригадиров, если до них доходило дело. Старшие — за приставным столом, все прочие — у стен. Оказывается, и Петряев сидел у стены! Вон на том стуле у входной двери. Маскировался, шельмец, под массу, под серого. А сам исподтишка, выходит, прицеливался к его креслу!

Вспомнилась первая вылазка Петряева на одном из таких производственных совещаний. Тогда Федор Андреевич не придавал значения этому его выпадку. Думал: молодой, охота покрасоваться, с молодыми это бывает. Завод в то время не уложился в квартальный план. Вышли из графика почти все цеха, и особенно отстал сборочный. Досадный затор образовался даже не столько на самой сборке, сколь на пустяке — на окраске внешних деталей. Начальник сборочного цеха Рудяк, в чьем ведении находились бригады отделочников, только развел руками: «А что я могу сделать, товарищи! Сами знаете, какое положение. Я и так в ущерб сборке снял часть слесарей». Все сочувственно молчали: в городе свирепствовала эпидемия гриппа, и в цехах бюллетенило много рабочих. У Рудяка же, как назло, вышли из строя все три сменные бригады отделочников. И вдруг попросил слово Петряев.

— Тут такое дело... — начал он своим невнятным голосом, по привычке подталкивая на переносье очки. — Перед этим совещанием я зашел на наш здравпункт и выписал кое-какие данные... — Достав блокнот, он принялся перелистывать страницы, и в кабинете воцарилась неловкая тишина ожидания. — Ага, вот! — наконец объявил Петряев и опять подтолкнул свои очки. — По состоянию на сегодняшний день на бюллетене побывало: по литейному цеху — тридцать два процента рабочих, по кузнечному цеху — двадцать восемь, по термообработке — двадцать три, по механическому — двадцать и пять десятых. А вот в отделочных бригадах товарища Рудяка — шестьдесят четыре процента...

— А я тут при чем? — обернулся Рудяк.

— Вырисовывается любопытная картина. — продолжал Петряев, оставив реплику Рудяка без внимания. — Число заболевших гриппом среди отделочников вдвое и даже втрое больше, чем в остальных цехах. Что это — случайность? Если вдуматься, то тут нет никакой случайности. Напротив — это прямое следствие отсталой технологии...

— Ты давай по существу, — снова не вытерпел Рудяк. — Нечего разводить демагогию!

— Пожалуйста, давайте по существу. У вас, товарищ Рудяк, люди работают переносными красочными разбрызгивателями в обыкновенном открытом помещении. Красители, как вам известно, составлены на ацетоновой основе высокой летучести. Вентиляционные устройства при такой концентрации вредных испарений малоэффективны. Применяемые противогазы и респираторы — далеко не лучший выход: дыхание через фильтры утомляет рабочих, снижает производительность труда, а следовательно, и заработки. Некоторые, несмотря на предупреждения, все-таки предпочитают работать без масок. Выдаваемое же дополнительное питание — почти нулевая компенсация для организма, испытывающего систематическое кислородное голодание. И вот вам результат — шестьдесят четыре процента отделочников свалил грипп. У меня складывается впечатление, что мы тут пытаемся переложить вину за срыв производственного плана на так называемое стихийное бедствие. В главке, надо полагать, это непредвиденное обстоятельство будет принято во внимание, и нам, в сущности, не грозят никакие такие особые неприятности. И все-таки, если начистоту, в значительной мере виноват не грипп, а мы сами, наша рутина, наше недалёковидное сиюминутное делячество.

При этих словах Петряев продолжительно посмотрел на Федора Андреевича, и Федор Андреевич, нетерпеливо ерзнув в своем кресле, вынужден был перебить:

— А что вы предлагаете, Петряев?

— Я предлагаю покончить с этой кустарщиной.

— А конкретно? — Федор Андреевич посунулся вперед и даже приставил ладонь к уху — отчасти потому, что Петряев говорил издали, от входной двери, говорил, как всегда, невнятно, но больше для того, чтобы подчеркнуть, что ничего вразумительного он от него не ждет по обсуждаемому вопросу. — Ну-ка! Ну-ка! Да ты громче! Ты что, не обедал, что ли, бубнишь под нос, как тетерев!

Петряев покашлял в кулак и, повысив голос, заговорил, глядя на Федора Андреевича поверх запотевших очков:

— Я предлагаю разработать специальные окрасочные камеры с полной герметизацией, оборудовать их системой разбрызгивателей различной направленности в зависимости от окрашиваемой поверх-



ности и конфигурации детали. Кроме того, при современном уровне автоматизации нет ничего сложного вынести управление всеми этими системами на отдельный пульт. Это во много крат ускорит процесс окраски, оздоровит условия труда и высвободит излишних рабочих. Я не подсчитывал, какую экономию средств даст это заводу, но выгода и так вполне очевидна. По существу, всей окраской может управлять какая-нибудь девчонка в белом халатике...

— Гм... В белом халатике... — Федор Андреевич откинулся на спинку кресла, но тут же вскочил из-за стола, и шея его налилась раздраженной багровостью. — А план? Пла-ан! Как все-таки быть с планом? Вот сегодня, завтра?! Кроме всяких распрекрасных проектов насчет белых халатиков существует еще повседневная обязанность перед государством выпускать продукцию в строго установленном количестве, и ни на штуку меньше! Как прикажете быть с этим?!

Вообще-то Петряев говорил дело, и над его предложением следовало как-нибудь подумать на досуге, но Федора Андреевича раздражало то, что этот тихоня, ни с кем не посоветовавшись, полез копать в бюллетенях, самолично учинил ревизию и вот теперь перед всеми размахивал блокнотом, в котором черт знает еще чего написано. И он резко оборвал Петряева, собравшегося еще о чем-то там дискутировать:

— Ладно, садись, садись, Петряев! Все ясно. Твоими устами да мед пить, а нам надо план делать.

Петряев послушно сел, спрятал в карман блокнот и устался в пол. И, утираясь платком, переходя на деловой тон, Федор Андреевич отдал распоряжение начальнику сборочного цеха:

— Возьмешь пока людей в конструкторском бюро. И я кое-кого из заводоуправления подброшу. Покажешь им, как и что надо делать. Пусть красят. Но смотри мне, чтоб план был! А то усложнять, запутывать дело все мы мастера... Умники, понимаешь...

Были и еще неприятные объяснения с Петряевым. Однажды он отказался получать прогрессивку. Завод не дотянул что-то там самую ерунду, процента два до декабрьского плана. Решили все же сведения округлить: не лишать же коллектив из-за этого пустяка дополнительной оплаты, да еще под такой праздник, как Новый год! Договорились с начальниками цехов, чтобы добрали эти два процента в январе. Так нет же, Петряев уперся — и ни в какую! Не буду, говорит, получать, и все! Не могу, говорит. Понимаете, не могу! Это, говорит, меня унижает! И опять тогда вспыллил Федор Андреевич: «Так что ж, по-твоему, это я для себя, что ли?! Черт с тобой, не получай, но не поднимай бучу, зачем же людей подводить, портить им праздник!» А он: «Знаете что, Федор Андреевич, рабочие, конечно, эту вашу незаконную подачку возьмут и потом задним числом отработают. Но уважать нас не будут. Мы же этой своей доб-

ротой топчем рабочую гордость, опошляем самую суть соревнования». Вот даже какие кидал формулировочки! Ну, знаешь, сказал тогда ему Федор Андреевич, говорить говори, да не заговаривайся... Да и анонимку наверняка он написал. Кто же еще? Все в свой блокнот копил, записывал... Впрочем, теперь и не поймешь, от кого ждать подножку. Вон Рудяк сам же наушничал про Петряева, а теперь, когда учуял, что он, Федор Андреевич, уходит с поста, готов переломиться пополам перед новым хозяином.

Даже и теперь пустые стулья казались ему сотрудниками, молча ожидавшими его кончины...

Потом взгляд его нечаянно остановился на каком-то портрете, только теперь обнаруженном справа, на глухой стене. Стекло в раме отсвечивало бликами, и было не разобрать, кто там изображен. «Фу ты черт, — пробормотал Федор Андреевич, все еще недоумевая. — За делами и головы поднять было некогда». Он грузно поднялся и подошел к раме. Это было изображение Гагарина. Рассматривая улыбчивого человека, обеспечившего себе бессмертие, Федор Андреевич вдруг остро осознал свое непоправимое одиночество, такое, как будто поезд ушел, а он остался, в чем был, на неприятном пустом полустанке. Неожиданная идея шевельнулась в захмелевшей голове Федора Андреевича. Кряхтя, он с трудом влез на стул, осторожно потоптался подошвами, испробуя его прочность, и, оглянувшись на дверь, снял с крюка багетовую раму. Картон, подложенный сзади, серел накопившейся пылью. Федор Андреевич рукавом протер верхний угол картонного задника, пристроил раму на коленях и размашисто крупно расписался директорским карандашом. «Брежня! Этого не снимете!» — проговорил он, тешась мстительной мыслью, что пока будет висеть Гагарин, до той поры будет незримо присутствовать здесь и он, хотя бы в виде своего факсимиле. «Ну вот и все...» — подвел черту Федор Андреевич и, еще раз оглядев кабинет, теперь уже с полуметровой высоты стула, шагнул вниз, как с пьедестала. Сейчас, когда прошло время, Федор Андреевич стыдился той своей выходки. Глупое мальчишество... Спьяна, с досады. Но тогда оставить это напоминание о себе казалось ему необходимым и даже справедливым перед историей.

Уходя, ничего не взял с собой Федор Андреевич: ни старого кожаного кресла, все еще крепкого, удобного, которое мог бы забрать на память (все равно потом новый директор выбросит и поставит себе новое); ни настольной лампы, замысловато сработанной заводскими слесарями и преподнесенной ему по какому-то случаю; ни любимой финиковой пальмы, которую сам же вырастил, посадив в кадку крепкую, как морской голыш, косточку. Ничего этого не взял сокрушенный Федор Андреевич. Унес только свой красный карандаш. Засунул его в карман пиджака с таким чувством, будто уносил с собой державный скипетр.



Теперь этот карандаш хранится на домашнем письменном столе под картиной Айвазовского. Федор Андреевич поместил его в просторную карандашницу, отлитую из чугуна на манер заводской башни-градирни, предварительно выбросив оттуда всё, и карандаш покоился в этой башне один — в почетной ненадобности, как персональный пенсионер.

— Однако уже и четыре, — проговорил Федор Андреевич, уловив приглушенный бой часов в гостиной.

Он спустил ноги с дивана, нащупал шлепанцы и, включив свет, прошел к окну взглянуть на термометр. Показывало минус одиннадцать. Морозы стояли уже третий день, и озерко должно было сковать как следует. Река, может, еще и гуляла, особенно на быстринах, но тихую воду должно прихватить сантиметров на пять-шесть наверняка. Не удовлетворившись показаниями градусника, Федор Андреевич отвернул на двери шпингалеты и, как был в нижнем белье, проворно шмыгнул на балкон. Туда еще с вечера выставил он ведро с водой, чтобы проверить, сколько за ночь нарастет льда. Черное небо рьяно играло колкими звездами, морозный ветерок побрякивал сухими стручками балконной фасоли. Кальсоны тотчас жестяно обожгли ляжки. Задерживая на ветру дыхание, Федор Андреевич схватил ведро и вбежал с ним обратно в тепло.

— Прижима-ает! — удовлетворенно крикнул он, отходя душой, чувствуя бодрящий озноб по всему горячему со сна телу.

Он поставил ведро на пол и попытался продавить льдину кулаком. Пнул раз-другой, но та не поддавалась. Тогда он занес над ведром ногу и даванул лед пяткой, как делал это когда-то в мальчишестве. Но и на этот раз льдина устояла. И только когда замахнулся гантелью, лед треснул и покрылся белесыми лучами.

— Хорош, хорош! — одобрил Федор Андреевич, прикидывая, что если к этому льду приплюсовать тот, что вырос за два других дня морозной погоды, то ходить по нему будет можно. И, выплеснув звонкое крошево в ванную, Федор Андреевич принялся умываться, разжигая свое воображение насчет того озерка, которое он неожиданно открыл этим летом.

А обнаружил он его вот при каких обстоятельствах. Оставив должность, Федор Андреевич с самой весны засел на даче. В своей городской квартире первое время он чувствовал себя так, будто находился под домашним арестом. Больше всего страдал он от того, что все знали его в этом большом доме и что надо было, выходя на улицу, пользоваться общей дверью подъезда, через которую, как пчелы в узкий леток улья, то и дело влетали и вылетали бесчисленные обитатели девяти этажей. Особенно раздражали лифтеры, которых никак нельзя было минуть, разве что глубокой ночью. Проходя мимо лифтерши, мелькавшей вязальными спицами, он весь деревенел под ее нагловатым взглядом. И, хотя эта бестия была

предельно любезна с ним и этак участливо бросала: «Доброе утречко, Федор Андреевич! Стало быть, уже на пенсии? Миленькое дело: никуда не ходить», — он слышал за этим скрытое ехидство сплетницы, которая тут же, еще он не скроется за дверь, кому-нибудь скажет: «Поперли голубчика! Отъездился на черной машине». И Федор Андреевич старался никуда не ходить, пока не сбежал, не укрылся на загородной даче.

Впервые за все годы он по-настоящему осознал, что у него есть собственный клочок земли, отгороженный высоким и плотным забором от остальной территории планеты. Осмотрев пустые комнаты нижнего этажа и не удовлетворившись их излишней открытостью, Федор Андреевич устроил свою обитель под крышей, в длинной и узкой мансарде с единственным оконцем, из которого, как из бойницы сванской сакли, просматривался почти весь дачный переулок. Разумеется, он не боялся, что кто-либо посмеет вторгнуться на его участок, тем более засматривать в нижние окна с намерением узнать, как он там поживает. Нет! Но в те первые дни его одолевала болезненная потребность запрятаться как можно дальше, как это бывает у рака во время линьки, когда тот сбрасывает привычный и надежный панцирь, а потому подкрышная мансарда наиболее соответствовала его тогдашнему состоянию духа. В городе он появлялся редко, да и то под покровом ночи, выезжая с дачи последним автобусом и добираясь до дому как раз к тому часу, когда лифтерши уже заканчивали свое надзирательное бдение. По воскресеньям к нему навещалась жена, привозила еду, свежее белье, всякие аптечные снадобья и время от времени сообщала, что звонил с завода Петряев, хотел что-то там спросить у него. На это Федор Андреевич не без удовольствия гмыкал: «Ага... Пусть, пусть... Говори, нету, мол, уехал». С обостренным чувством хозяина принялся он наводить на даче порядок: починил кое-где пошатнувшийся забор, смастерил и сам развесил скворечники по березам, посадил две грядки редиса. Отсюда, с дачи, несколько освоившись и пообвыкнув, он и начал предпринимать тайные вылазки на глухие, мало посещаемые речушки и старицы, начисто отмежевавшись от своих прежних рыбацких напарников, любивших выезжать шумными таборами на двух-трех машинах. Теперь в распоряжении Федора Андреевича не было никаких лимузинов, а набиваться пассажиром, сидеть на пол-ягодицы в чужой машине затиснутым между палаточными тюками и визгливыми бабенками, которые еще в дороге затевали «Подмосковные вечера», он не хотел, да и вообще не желал никого видеть.

В одну из таких своих вылазок Федор Андреевич и обнаружил это укромное озерцо в поемных дебрях, запавшее в душу библейской тишиной и безлюдьем. Правда, закинуть удочку ему тогда так и не довелось: камышицы, дикая лопушня и прибрежные топи не



позволили подобраться к воде. Но он, затаившись, сам видел, как некий старик, должно быть из местных, стоя в лодке, выбирал вен-теря и как билось в его снастях что-то крупное: то ли лапти-кара-си, то ли такие отменные окуни. И даже мелькнула белым прого-нистым брюхом хорошая щучка. «Дождаться бы перволедка!» — думал тогда Федор Андреевич, вожделенно наблюдая, как старик рвал рогоз и укрывал им рыбу в большой корзине. И еще раза два наведывался туда по теплу Федор Андреевич, обхаживая непри-ступное озерко по берегу, будто кот вокруг миски с горячей кашей, и опять воочию убеждался по громким пескам, по разбегавшимся кругам, что рыбка тут есть, и немалая. Теперь вот топи и само озер-ко сковало морозом и можно было наконец попытать удачи.

Федор Андреевич извлек из кладовки зимнюю амуницию, на-тянул теплые бриджи, грубый, крупно связанный свитер, но обу-ваться пока не стал, чтобы не топать, не разбудить жену, и с рюк-заком в руках прошел на кухню: надо было взять что-нибудь из еды. На холодильнике он увидел плоский пенальчик, под ним записку. «Федя, — писала жена своими прыгающими буквами. — Обяза-тельно возьми с собой валидол. Это импортный (слово «импортный» было подчеркнуто). И, умоляю, помни про свое сердце. Мало ли что... Учти, там телефонов нет». Федор Андреевич поморщился, но пенальчик с валидолом взял, небрежно сунул в задний карман, где обнаружил еще какие-то таблетки, завалявшиеся с прошлой зимы. «Понасовала...» — проворчал он и раздраженно передразнил: «Им-портный!» Терпеть не мог, когда ему напоминали про этот злопо-лучный инфаркт. Ну был, и как на собаке присохло.

Он открыл холодильник и стал разглядывать его запасы. От-вертел от вареной курицы бульжжу, в пергамент завернул ломоть сыру, ветчина показалась ему жирноватой, и он не стал отрезать ветчины, а отсыпал в целлофановый пакетик горстку соленых мас-лин. Потом перелил из начатой бутылки во фляжку ром, а остав-шийся выставил на стол — выпить перед дорогой.

Проснулась домработница Агафья, приковыляла на кухню, зас-панно зажмурилась на свету. Она еще не успела вложить протез-ную челюсть, и оттого лицо выглядело неприятно сморщенным, смятым, а костистый подбородок подступал чуть ли не к самому носу.

— А я слышу, ктой-то вжбулгачилша ни швет ни жаря. А это ты, Андреич, — прошамкала она, застегивая на плоской груди сит-цевую кофту. — Али на охоту шобираешьша?

— Да ты зубы-то хоть вложи, — проговорил Федор Андреевич. — А то как Баба-яга.

— Вложу, вложу. Дай опамятоватьша. — Она погремела в кар-мане просторной юбки ключами, спичками. — Жубы вот они, шо мной.

Цапнув рот ладонью, Агафья отвернулась к рукомойнику, плескалась и уже оттуда, из угла, внятно, без шамканья, сказала:

— А не рано ли на охоту-то? Лед небось не устоялся.

— Устоялся.

— Ой, смотри! Вон сколь в тебе весу-то.

— Спала бы ты еще, — досадливо обернулся Федор Андреевич.

— Да, куда больше спать-то? Ночи вон какие стали — не успишь. Я и так перемогалась, перемогалась, а — все темно. Может, яишанку тебе?

Пока Федор Андреевич соображал, хочет или не хочет он яичницу, Агафья, подпалив горелку и набрав в карман яиц, уже колола их над миской.

— Я тебе и туда парочку сварю, крутеньких. Да пирожков возьми, вчера от обеда остались.

— Куда мне столько?

— Бери, бери. Дорога все подберет. А сам не съешь — товарища угостишь.

Федор Андреевич, копаясь в рюкзаке, промолчал, а та, взглянув на его крутую спину, перекрещенную помочами, сказала:

— Кожушок-то безрукавный пододень. Зазимок он пуще зимы. У мороза зубы молодые, игольчатые, так и цапаются. Кабы моль овчину-то не поточила... Такая моль пошла, ничем ей не досадишь. Допрежь моль и та боязливей была...

— Ага, Бога боялась, — съязвил Федор Андреевич.

— Нет, правда, Андреич, раньше табаку сыпнешь, она и затихает. А нонче я и такую ей понюшку, и этакую, все едино разбойничает. И не токмо шерстя, а кульки полителенные дырявит. Нет, ей-богу, допрежь моль не такая была.

— Пошла молоть, старая мельница! У тебя, поди, и шерстей раньше-то не было, потому и моль не ела.

— Дак у меня их и теперь нет, акромья тех, в чем народилась.

И, послеживая за яичницей, перевела разговор на другое, стала вспоминать, как ее отец тоже любил удить по перволедью.

— Такой снасти, как у тебя, конечно, не было. Твоя снасть, что серьги, — в уши продевай, да хоть под венец. А тади что ж... Отец старый пятак отобьет, красной меди были пятаки, да как-то так изогнет, навроде зубца чесночного, и булавку туда устремит заместо крючка. Ух, бывало, мать так его изругает за эту булавку-то! Зачем, дескать, испортил, она денег стоит. Да-а... А тоже лавливал! Придет ввечеру — весь прокаленный, валенки громыхтят, катаются по полу, сосульки на усах понарастали. А через плечо — овсяная торба с окунями. Окуня-то позакочурились, залубенели, чисто щепка из-под топора. Мы его окружим, ребятишки-то, ну давай те-ребить: «Папаня, дай сосулечку да дай сосулечку!» С усов, стало быть. Дюже охота нам было ледку пососать. А он на нас этак серди-



то: «Чего надумали! Кыш все от меня, а то понастынете». Соберет усы в горсть, соскребет сосульки в кулак да разом и побьет их об пол. Да еще и валенками потопчет, чтоб не подбирали...

Агафья притихла над сковородкой, ушла мыслями в далекое, но вдруг, как бы очнувшись, удивленно глянула на Федора Андреевича, просияв тихой улыбкой:

— Эко что вспомнилось...

Федор Андреевич достал из кухонного ларца простую граненую стопку, но, посмотрев на все еще чему-то улыбающуюся Агафью, должно быть, в первый раз поглядев на нее как-то так, не служебно, выставил на стол и другую.

— Сядь-ка, выпей со мной, — предложил он, проникаясь чем-то вроде жалости к этой одинокой старухе.

— Пей, пей, батюшко, на здоровье! — обрадованно заотнекивалась Агафья и, проворно выставив жаркую сковородку на стол, сказала: — Погоди, сейчас свежего лучка покрошу.

— Лучок — это хорошо! — крикнул Федор Андреевич.

Агафья посыпала яичницу нарубленной зеленью, обтерла о передник руки и смущенно подседа напротив Федора Андреевича.

— Да что ж это я спозаранку гулять начну? — заулыбалась она.

— Давай, давай! А то мы с тобой жизнь прожили, а вместе, поди, ни разу и не выпили, — благодушествовал Федор Андреевич.

— Как же не выпили! — Она провела ладонью по столу. — Выпили!

— Когда же это?

— А вот пятьдесят годков тебе отмечали. Ты мне тади рюмочку поднес. Уж чего налил, не знаю, а до того вкусная была, до того душевная. Было дело!

— Что-то не помню... Наверно, пьян был?

— Да веселый...

— Ну это когда было! — Федор Андреевич разлил по стопкам и, довольно усмехаясь Агафьиным словам, потянулся чокаться.

Агафья неумелой рукой подставила свою рюмку, торжественно и ревностно следя, чтобы вышел звук, чтобы рюмки зазвонили.

Она всегда любила этот звон, олицетворявший мир и согласие между людьми, хотя самой редко доводилось принимать участие в этой церемонии. Но и в чужих руках звон рюмок радовал ее не меньше. Особенно на Новый год, когда из шумной переполненной гостиной пахнет разомлевшей в тепле елкой, а на белоснежный праздничный стол выставлены тонкие, как девушки, бокалы. Набегавшись за день по магазинам, накрутившись со всякой стряпней, и уже к полуночи, когда все закуплено, испечено, нажарено, прибрано и вымыто и можно бы уйти в свой угол и вздремнуть часок, пока гости будут заниматься пиршеством и пока хозяйка не спохватится и не окликнет ее за какой-нибудь надобностью, Агафья все же

не шла к себе, а, сморенная, сидела на кухне, клевала носом, дожидалась, когда грянут куранты. И когда они забьют торжественно, как в соборе, а в зале враз зашумят, задвигают стульями, она встрепенется и кинется к двери. Там, неслышно прислонившись к дверному косяку, она с детским восторгом ловила момент, когда все потянутся друг к другу пенистым бегучим вином, и празднично освещенная разноцветными елочными огнями гостиная наполнилась веселым переливчатым звоном бокалов...

У них с Федором Андреевичем нынче так хорошо не вышло, стопки клацнули как-то холодно и глухо, должно быть, не сумела она, как надо, подставить свою рюмку, но и тем осталась довольна.

— За удачу! — провозгласил Федор Андреевич.

— Ага. Чтоб ловилась маленькая и большая.

— Это какая придется.

— Вот, Андреич, не думала, не гадала, а на праздник попала, — смеялась Агафья, держа полную стопку перед собой.

— Ну, пей, пей, — поторопил ее Федор Андреевич. — А то некогда расслаживаться.

Высоко вскинув округлый напыливистый подбородок, усыпанный седоватой трехдневной щетиной, Федор Андреевич опрокинул стопку в рот, проглотил одним махом, как заглатывают сырое яйцо, и зажевал маслинкой. Агафья же приблизила не рюмку к губам, а губами потянулась к рюмке, осторожно, по-птичьи отпила, поцоккала языком и сразу отставила.

— Ох и крепка, окаянная! — весело напугалась она, замигав повлажневшими глазами. — Я думала, красненькая и сладкая, а она вон какая! А так на нюх запашистая, ломпасеткой отдает.

— Пуэрториканский ром! — пояснил Федор Андреевич.

— Ой-ёй. Скажи ты!

— Чокнулись, так не ставь, не положено, — подзадоривал Федор Андреевич. — Теперь уж пей до дна.

— Не, Андреич, не понуждай. Эту не могу. Эта кусачая больно. Подкосит она меня, а скоро в булочную бежать.

— Ну как знаешь... — сразу как-то остыл Федор Андреевич. — Только рюмку загубила. Знал бы, не наливал.

— Да я сверху отпила, а остальное чистое.

— Ну ладно, ладно, — нетерпеливо скрипнул табуреткой Федор Андреевич. — Ну и глупа ж ты, Агафья. Разве я про то? Сверху...

Старуха, ободренная недавним вниманием к ней, продолжала сидеть за столом, участливо посматривая, как Федор Андреевич кромсал горячий яичный блин на квадратики и один за другим поддевал их вилкой.

— Чтой-то наша Капитолина не пишет, вести не подает, — вздохнула она, озабочась. — Мать вон вся изболелась, изахалась. Хоть бы ты, Андреич, дочку-то письмом пристрожил. Нешто можно так-то с матерью, ничего не писать.



— Сама виновата, — буркнул Федор Андреевич и недовольно подумал о дочери: та тоже все «импортный», «импортный»... Привезет, бывало, сапожки из Москвы, а она даже не примерит, только гримасу скорчит: «Фи! Скороходовские. Носи ты их сам. Вон у Наташки настоящие "Коломбо"». И скажет-то не «Коломбо», а с вывертом — «Колёмбо». Вот и замуж выскочила за «импортного». Поехала в институт учиться, а через год — здрасьте: «Уезжаю с Ласликом в Будапешт». Теперь старая квохчет: «Ах, нехорошо видела Капитолину во сне». Ах, ах... Доимпортировались, дуры.

— Дела твои, Господи. — Агафья встала, налила чайник. — Внучатки пойдут, как вроде и не наши теперь. Небось не по-нашенскому лопотать приучатся. Да и как им говорить-то: на булочной и то, поди, по-ихнему, по-мадьярскому написано. А булочная — первая тебе азбука. Вот как корень твой, Андреич, пресекся-то.

— Ну хватит! — прервал старуху Федор Андреевич. — Не твоя забота.

— Да как же не моя? Я с ней от самого горшка. — И уже про себя обиженно добавила: — Ты ее и на руках-то ни разу не потетешкал за своими делами.

Федор Андреевич не стал дожидаться, пока вскипит чай, и вышел в переднюю одеваться.

Он обулся в старинные свои бурки из белого фетра с отворотами наподобие охотничьих сапог, фасонно обшитые желтой кожей. Отвороты эти, если их расправить, доставали до самого заду, но не было такого случая, чтобы пришлось ими пользоваться. Однако прежде считалось, что без отворотов бурки уже и не бурки, не было в них надлежащей солидности. Обувшись, Федор Андреевич встал, потопал, пошевелил внутри пальцами, прошелся взад-вперед: не давят ли где? Бурки были еще крепкие, на настоящей спиртовой подметке прежней выделки, на кленовых гвоздях в два ряда. Делались они за большие деньги на заказ, но за годы слежались в кладовке, пересохли и были на ногах жестковаты. Зато легки, и не надо галош. Если пройтись немного, то должны помягчить. Поверх свитера, по совету Агафьи, он надел меховую безрукавку и обвязался старым шарфом, чтоб не просквозило поясницу. Потом вынул из целлофанового мешка старенькую, но ловкую лисью шапку, густо разившую нафталином. От всей этой одежды, от возни с ней ему сделалось жарко. Он постоял, отдышался и только после этого напялил на себя длиннополое кожаное пальто на тонком стриженном барашке. Пальто шилось еще в те давние годы, когда были в ходу острые плечи, придававшие фигуре, по тем понятиям, атлетическую бравость. К буркам и этому пальто Федор Андреевич заказал еще и серую смушковую папаху. Она тоже была цела, валялась в старых вещах, и вся эта троица составляла его зимний директорский ансамбль. Он даже увековечил себя на фотокарточке в этой

обнове. В те времена руководителям особо важных отраслей промышленности присваивали звания генерал-директоров. Звучало это солидно, внушительно: не просто директор, а генерал-директор! Федор Андреевич со своим небольшим заводом не попадал под этот ранг. Однако обмундирование пошил тоже с ориентацией на генерала. Впрочем, бурки и кожанки в послевоенные годы вообще были в большом ходу среди руководящей сферы, так что Федора Андреевича нельзя было назвать особым модником: носили другие, носил и он.

Всю эту генеральскую оснастку Федор Андреевич заменил потом пыжиковсй шапкой, укороченным пальто с узким воротником из выдры и легкими ботинками на меху, но к прежней своей директорской форме до сих пор питал почтение: и сшито крепко, да и напоминала она времена, когда знали цену авторитетам.

Уже одетый, с рюкзаком за плечами, Федор Андреевич заглянул в кошелек. На ладонь высыпалась мелочь, что-то копеек восемьдесят. Можно было ехать и с такими деньгами — тридцать копеек на автобусе туда, тридцать обратно — и еще оставалось на трамвай. Но с таким кошельком выходить из дому Федор Андреевич не привык, это все равно что отправляться на машине с пустым баком, и он неуклюже, будто водолаз, протопал в своей хрустящей, скрипящей экипировке к себе в кабинет и остановился перед книжными полками, где у него был заведен тайник с так называемыми «подкожными».

Книг накопилось чертова уйма. Когда переезжали в этот новый девятиэтажный дом из прежней квартиры, пришлось загрузить шестикубовый контейнер, не считая кулинарной литературы и многолетних залежей журналов «Здоровье», которые супруга упаковывала отдельно как личную ценность. Да и тут уже к прежнему стеллажу заводской столяр добавил под самым потолком еще одну полку, и та теперь забита до отказа, так что приобретать книги было больше некуда.

Вообще-то Федор Андреевич специально книг не покупал, некогда было этим заниматься, и даже не помнил, когда бывал в книжном магазине. Все это накоплено за счет подписки и главным образом хлопотами заводской библиотечарши, которая еще при нем вышла на пенсию, но продолжала копаться в библиотечных книжках на общественных началах. В коричневом ученическом платье и неизменной белой панаме, которую она даже зимой носила с собой в сумке и надевала, входя в библиотеку, старушка время от времени деликатно стучалась в дверь его кабинета:

— Извините, Федор Андреевич, я буквально на одну минуту.

На предложение сесть старушка решительно отказывалась, даже как-то пугалась:



— Нет, нет, голубчик! Я знаю, как вы заняты, так что сразу — о деле. Получили подписной проспект, не желаете ли Манна?

Федор Андреевич озабоченно наморщивал лоб:

— Манна, Манна... Но мы с вами уже, кажется, на него подписывались?

— У вас, голубчик, другой Манн.

— А разве есть еще?

— Да. У вас Генрих, а это Томас.

— Это что же, однофамильцы?

— Нет, родные братья. И оба удивительны. У Генриха прекрасный политический гротеск. Но я больше люблю Томаса.

— Хорошо, Томаса так Томаса.

— Есть еще Драйзер. Вы, конечно, в свое время его читали, но здесь в проспекте наиболее полный. Очень рекомендую. В последнее время недурно стали издавать.

Федор Андреевич никакого такого Драйзера никогда не читал, даже слышать о нем не слыхивал, до Драйзера ли было при его загруженности, но из-за снисхождения к чудаковатой старушке, из-за того, что она почитала его книголюбом, подписывался и на Драйзера и даже кокетливо спрашивал, нет ли там, в проспекте, еще чего «вкусненького», какой-нибудь энциклопедии, например. Старушка называла «Малую Советскую». Федор Андреевич, которому нравилась эта игра, с видом гурмана возводил взор к люстре, как бы прикидывая, стоит или не стоит обзаводиться «Малой», и наконец отказывался с шутливым резонансом:

— Нет, знаете, если брать, так уж сразу «Большую». А то в «Малой» все неполно, укороченно. Понадобится что-нибудь, а там этого нет.

И под одобрительные кивки библиотекаря взамен «Малой энциклопедии» заказывал «Всемирную историю искусств» в шести томах.

— Надо на досуге познакомиться с этой областью поглубже. — пояснял он. — Вавилон, Египет... Содом и Гоморра... Удивительные времена! Но все забывается, знаете. А когда-то штудировали, да... Не хотите ли чаю?

— Нет, нет! — Библиотекарша протестующе выставляла сухонькую ладошку в рыжих старческих крапинках. — Не смею вас больше отрывать, работайте, работайте, голубчик.

Досугов, однако, у Федора Андреевича все не оказывалось, а книги стараниями радетельной просветительницы тем временем прибывали и прибывали — Куприн, Вересаев, Лесков, Толстой со всеми своими романами, письмами и дневниками, Стендаль, Фолкнер, Голсуорси, оба Манна, Гашек и О. Генри, Апулей и Вергилий, многотомная «История России» и энциклопедические справочники — толстые, тяжелые, приятные своей новизной, каждое изда-

ние в красивых одинаковых переплетах, и он собственноручно расставлял их по полкам, словно каменщик, возводя из этих томов аккуратную стену до самого потолка. Клал с упованием как-нибудь взяться и все перечитать до последней книжки.

Взялся он, уже когда вышел на пенсию.

Отправляясь на все лето на дачу, долго стоял перед полками, не зная, с чего начать. В конце концов решил читать все по порядку, снизу вверх, тем более что на нижней полке стояли пятнадцать голубых с золотым тиснением томов Соловьева, уже давно интриговавших своим названием — «История России». Познания о прошлом своего отечества у Федора Андреевича были весьма скромны, в основном в пределах «Краткого курса» и тех кинофильмов, которые изредка удавалось посмотреть по настоянию скучавшей дома супруги, вроде «Петра Первого» и «Ивана Грозного». А вот, скажем, что было в промежутке между Грозным и Петром, тут он, право, затруднился бы ответить. Да если уж начистоту, то когда было этим заниматься?! Нет, в самом деле! Так все уплотнено, что и газет иной раз просмотреть некогда, разве что заголовки только.

На дачу Федор Андреевич прихватил сразу несколько томов, по семнадцатый век включительно. Взял бы еще, но кипа и так получилась препорядочная. И он решил остальное забрать в следующий заход. Против ожидания, книжки оказались довольно скучными: такая в них была неразбериха со всеми этими Олеговичами, Игоревичами, Мстиславичами, Святославичами, с их вотчинами и дележами — сам черт ногу сломит. Тем не менее Федор Андреевич читал терпеливо, хотя и были иногда моменты, когда подмывало бросить. Но угрызения совести и зарядившие одно время обложные дожди, из-за которых нельзя было и носа высунуть за порог, заставляли снова и снова приниматься за скучное чтение. Благо что ничего другого из книг не взял, понадеялся на занимательность вот этих. Читал не то чтобы запойно — на даче находились и другие дела — то чего-нибудь подкрасить, то подстрогать доску, — но после обеда, перед тем как вздремнуть, книгу брал в руки непременно.

При всем старании, однако, за лето добрался всего лишь до Всеволода Большое Гнездо, после которого Федор Андреевич наконец сдался, воля его надломилась, и он отложил отечественную историю в сторону.

— Ладно, теперь уж и не к чему знать так подробно, не студент, — сказал он себе не без грусти оттого, что, наверное, уже не прочтет этих книг никогда. И подумал об этом самом Соловьеве и с удивлением и с укоризной: куда, к черту, написал столько!

Утешала догадка, что не один он не читал истории. Если хозяйственник, так это уж точно. Даже взять хотя бы того же Зинченко, замначальника «Сельхозтехники», дружка Федора Андреевича.



Ведь наверняка не читал! Вот эти пятнадцать томов?! Ни за что! А мужик он с апломбом. Про кино, про Муслима Магомаева это он мастак трепаться. Надо как-нибудь позвонить ему, спросить, а кто, мол, такой Всеволод Большое Гнездо? Убей, не скажет.

...В раздумье постояв в своем кабинете перед стеллажами, Федор Андреевич взял «Войну и мир», тоже пока непрочитанную (собрался было почитать, когда получил по подписке, но срочно уехал в главк, а потом закрутился с делами), извлек из нее десятирублевую бумажку и запихнул под пальто в нагрудный карман безрукавки.

— Агафья! Я пошел! — оповестил он, схватил зачехленный ледоруб, щелкнул за собой замком и грузно вывалился на лестничную площадку.

## 2

Город был по-утреннему пуст. Лишь изредка одинокие прохожие, подняв воротники, торопливо протопывали по тротуару да заспанные дворничихи шаркали метлами, сгоняя в кучи пожухлые листья. В переулках и подворотнях сквозило, сухой бесснежный ветер вихрил пыль, наждачно цапал за лицо. Но Федор Андреевич, одетый тепло и надежно, не чувствовал холода, напротив, после душной квартиры, где ему пришлось долго топтаться в ватных штанах и жарком свитере, испытывал даже удовольствие от бодрящей стужи на щеках.

Первый автобус в том направлении отходил в половине шестого. Времени осталось не так уж много, но и до трамвайной остановки было рукой подать: пройти квартал по главному проспекту Павших борцов, потом свернуть на Парковую, и Федор Андреевич не спешил, размеренно похрумкивал бурками, ощущая приятную крепость в ногах и во всем теле. Нет большего удовольствия в его годы, чем ощущение на утреннем морозце вот этого физического комфорта, когда чувствуешь, что ты добро и удобно одет и выпитые за завтраком две стопки рому приятно бодрят и приглушают все минувшие невзгоды жизни. Из-под уютной лисьей шапки как-то сами собой улетучились все прочие думы и заботы, кроме предвкушений рыбалки. Он стал рисовать себе, как пробьет первую лунку на заветном озерке. Бить лучше, пожалуй, у камышей, метрах в двух от прибрежной травы. Там теперь таится зимняя мальва, а где малек, там и окунь. Ах каких окуней, какие лапти выпутывал тогда из вентерей старик! Федор Андреевич вообразил себе этот неожиданный, азартный удар по мелькавшей подо льдом блесне, бойкую упругую силу на зазвеневшей лесе и как, раздвигая ледяную крошку, из лунки покажется весь взъерошенный, воинственно-непокорный полосатый разбойник. И пойдет, и пойдет!

К нему пришло хорошее настроение, легкая бездумная радость бытия, в чем, собственно, и заключается наркотическая особен-

ность рыбалки, раскрепощающей дух наподобие марихуаны. И он почувствовал, как где-то в глубине его существа зарождалось, росло, ширилось нечто, чего не мог бы он выразить никакими другими словами, кроме как:

*Эй, баргузин, пошевеливай вал!..*

С этой внутренней музыкой, заставлявшей как-то тверже ставить ногу, Федор Андреевич прошел мимо ярко освещенных витрин большого, недавно открытого универмага, не без игривого интереса разглядывая пластиковых манекенщиц в кокетливых позах. Он сравнивал их между собой, невольно выбирая, и условно выбрал себе рыжеватистую, как-то так по-особенному томно глядевшую из-под наклеенных ресниц, так что Федор Андреевич на мгновение замедлил шаг и даже обернулся. «Каналья, каналья!» — смущенно подумал Федор Андреевич о рыжеватистой, живо напомнившей прежнюю его секретаршу Люсю, которую он потом, когда все зашло слишком далеко, отдал в «Сельхозтехнику».

«Пуля стрелка миновала...» — мурлыкало в нем где-то, и он еще раз оглянулся на витрину.

Однако дух марихуаны продержался в Федоре Андреевиче только до трамвайной остановки.

Свернув на Парковую, где намеревался сесть на «двойку», следовавшую до автобусной станции, он вдруг увидел под уличным фонарем человека в полушубке, подпоясанном ремешком, в простых серых валенках и тоже с пешней и рюкзаком. Человек этот, по всей видимости, уже давно дожидался трамвая, потому что нетерпеливо пританцовывал, постукивая друг о друга самодельными галошами из камерной резины, которые среди рыболовов именовались бахилами.

Федор Андреевич хотел было повернуть назад и переждать за углом, пока этот тип уберется восвояси. В его планы никак не входило ехать с этим типом в одном трамвае: непременно привяжется, начнет допытываться, куда, в какие места собрался, а то еще станет набиваться в попутчики, мол, вдвоем будет веселее. Ему только скажи, откройся — через день весь город будет знать про то озерко. Ты — Якову, а Яков — всякому. Понаедут такие вот бахилы, всё издолбят пешнями, распугают рыбу, испакостят, того и гляди бутылку с карбидом под лед сунут... Известная публика!

За угол, однако, Федор Андреевич спрятаться не успел: тип в бахилах обернулся на его печатные шаги по морозному асфальту и перестал притопывать, сделал легавую стойку, как бы приготовился выкрикнуть: «А-а! Вот еще один полуношник! Куда едешь, в какие края?»

Тип и на самом деле окликнул его обрадованно и что-то там еще завосклищал, но Федор Андреевич, глядя прямо перед собой, при-



бавив ходу, отрешенно и независимо проследовал мимо, так что тот осекся и только покашлял в рукавицу.

«Черт бы его побрал!» — раздосадовался Федор Андреевич, спиной чувствуя на себе недоуменный взгляд незнакомца. И ему ничего не оставалось делать, как идти теперь до другой остановки на углу Куприяновской.

Не будь при Федоре Андреевиче рюкзака, иди он по улице просто так, как всякий прохожий, никто не посмел бы остановить, затронуть бесцеремонно. Но если при тебе снасти — всякая дворничиха норовит шаркнуть по ногам метлой, не станет дожидаться, когда пройдешь мимо. А то, бывает, в трамвае или в автобусе подсядет какой-нибудь мозгляк, изо рта камсой прет, и начинает запанибрата: «Ну, как, дед, поймал чего? Или удим-удим, а есть хрен с огурцом будем?» Да ты у меня, дурак, — суровел лицом Федор Андреевич, — год назад в приемной бы настоялся... Дед!

Все больше досадуя, что началось так нескладно и что времени у него осталось в обрез, Федор Андреевич запоздало подумал, что надо было бы ему идти не на Куприяновскую, навстречу трамваю, а, наоборот, по его ходу на Пугачевку. Но, поразмыслив, сообразил, что на Пугачевку и того хуже. Садись он на Пугачевке, этот тип наверняка уже ехал бы в том самом трамвае, в какой по незнанию вошел бы и он, Федор Андреевич, потому что тот бы сел остановкой раньше, и тогда от него нельзя было бы отвертеться. Но выходило, что и Куприяновская тоже ничего не меняла: если он сейчас сядет на Куприяновской, то сам же и подъедет к этому типу, а тот преспокойно ввалится в трамвай и — привет, куда едешь?

— Экая чертовщина! — сплюнул Федор Андреевич. — Петляешь, как заяц. И откуда его вынесло!

Времени оставалось, как говорится, с гулькин нос, но все же Федор Андреевич, добравшись до Куприяновской, предпочел пропустить «двойку» и тем самым едва не испортил все дело: как назло следом пошли совсем не те маршруты.

Федор Андреевич нервничал, поминутно поглядывал на часы, а трамваи шли всё не те и не те. Можно было уехать другим автобусом, но следующий шел только в девятом часу, и с ним заря пропадала начисто. Пока доедет, доберется до озера — нечего будет делать. Несколько раз, заметив вдали зеленый огонек, он с надеждой поднимал руку, однако водители, притормозив на секунду и взглядев в его руках ледоруб, тотчас газовали дальше, даже не выслушав, что ему от них надо. Следовало бы записать номер, мстительно думал Федор Андреевич, глядя в хвост машине, да позвонить ихнему Сидоркину. Совсем распустил своих наглецов.

Спасительная «двойка» наконец подошла, Федор Андреевич, мельком оглядев пассажиров и не найдя среди них того самого, в бахилах, остался стоять возле водительской кабины. Ревниво по-

глядывая сквозь дымчатое дверное стекло, как идет трамвай, он мысленно торопил вожатую. Ему казалось, что трамвай едва плетется, что вожатая без всякой нужды излишне задерживается на остановках, подолгу копается в коробке из-под леденцов, отсчитывая сдачу за проездные талоны, а после того как она начала подтягивать чулки, Федор Андреевич не выдержал и, приоткрыв дверцу, попросил вести побыстрее.

— Все там будем... — успокоила его вожатая и задвинула дверь.

В кассовый зал автостанции он влетел в тот критический момент, когда на его рейс уже прекратили продавать билеты. Кассирша, возвращая мелочь, посоветовала бежать на стоянку, да поживее: может, еще успеет, если поспешит, хотя навряд ли...

Сразу взмокнув от нависшей опасности остаться ни с чем, плечом раздвигая неповоротливых, толсто одетых деревенских баб, набившихся сюда погреться, Федор Андреевич кинулся к выходу.

— Да тише ты, охламон! — услышал он позади себя низкий простуженный голос и почувствовал, как кто-то огрел его по спине. — Все ноги оттоптал!

Федор Андреевич затравленно обернулся и мельком успел разглядеть растрепанную цыганку.

— Зальет zenки с утра, людей не видит, — прокричала она ему вдогон.

Тесная, сдавленная со всех сторон домами и ларьками станционная площадь тоже кишела народом. Автобусы, будто стадо слонов, возвышались над толпой округлыми спинами и со слоновьей безропотностью пережидали, пока в их утробы напихают чемоданов, мешков с хлебом, чугунов, эмалированных выварок, связанных попарно стульев, ошестинившихся во все стороны дубовыми ножками, и всякой прочей покупной всячины, терпя давку и хруст собственных распахнутых дверей. Какой из них следовал на Ерпены (если он еще не ушел), разобраться впопыхах было мудрено, и Федор Андреевич, багроволицый, с неприятным колотьем в области селезенки, вынужден был выбегать под самые фары, чтобы заглянуть в маршрутные трафаретки.

— На Ерпены не здесь. На Ерпены вон туда бечь надо, в тот угол, — помог советом какой-то дедок с ивовой корзиной за плечами, надетой на костыль. — А тут все южного конца.

Ерпенский уже выруливал с площади, Федор Андреевич в отчаянье замахал руками, стараясь как-то привлечь к себе внимание водителя. Тот наконец увидел, чмыхнул пневматическими тормозами, двери скрипуче разломились, и Федора Андреевича подхватило сразу несколько рук, как подбирают утопающего.

Автобус оказался не столь переполненным, как другие, должно быть потому, что в ту сторону ходила еще и электричка, забиравшая главную массу народа. Нашлось даже свободное место на зад-



нем сиденье. Федор Андреевич стащил с себя рюкзак, сунул его под ноги, распахнул пальто и потряс на груди меховыми полами. Но дышать все еще было нечем, и он снял малахай, давая и мокрой шапке, и распаренной голове отдохнуть друг от друга. Потом достал платок и облегченно вытерся.

Ехал всякий поселковый и деревенский люд, и в салоне стоял гомон от разговоров про цены на поросят, облаву на самогонщиков, показанное по телевидению фигурное катание и прочее. Рядом с Федором Андреевичем, с левого локтя, похрапывал, привалясь виском к промерзшему стеклу, парень в франтоватом, не по сезону легком плаще, из-под которого белел жесткий воротник нейлоновой сорочки, уже порядочно замызганной на сгибе. У ног парня стоял чемодан с привязанной к ручке аэрофлотской биркой. Справа же от Федора Андреевича, нахохлившись под толстой шалью, сидела старуха с сеткой на коленях, набитой пачками пилевого сахара, кренделями и еще какой-то снедью.

Отдышавшись, Федор Андреевич вытащил кошелек, отсчитал тридцать копеек, передал деньги на билет и, следя глазами, как пошла его мелочь по рядам к застрявшей впереди кондукторше, вдруг узрел среди всякой поклажи, сложенной в проходе, серый войлочный валенок, обтянутый резиновой бахилой. Федор Андреевич почувствовал себя примерно так, как Робинзон Крузо, внезапно обнаруживший на своем необитаемом острове отпечаток ступни людоеда. Он перевел взгляд выше и с неприязненным конфузом увидел торчащий над спинкой сиденья козий воротник знакомого полушубка...

Федор Андреевич вынул носовой платок и снова утерся.

Кроме желания сохранить озерко в тайне, у него был еще один подспудный мотив для своего инкогнито: он считал нецелесообразным, даже вредным — и не столько для самого себя, сколь для общественного порядка — подпускать к себе близко всякого нижестоящего. Кто таков этот нижестоящий? А это тот, который вроде бы желает тебе всяческого добра и благополучия, а на самом-то деле ежечасно, ежеминутно следит за каждым твоим шагом, за каждым словом и за тем, какие на тебе штаны, какие отеки под глазами и что понесли к тебе в кабинет на подносе во время обеденного перерыва... А что такое директор? Это такой же смертный, как и все. Он тоже чертовски устает на работе, а то еще и похлестче, чем прочие, потому что нет у него этих самых регламентированных часов «от» и «до», и ему иной раз тоже бывает охота плюнуть на все, забиться в какой-нибудь тихий уголок, повалиться там в трусах на песочке, поудить рыбу, выпить стопку водки, поговорить по душам с друзьями. А ведь бывает, и выпьешь лишку, и скажешь резковато, не для всякого уха... Прodelай все это на глазах у кого не следует — завтра же поползут черт знает какие рассказы, и уже, гля-

дишь, какой-нибудь проходимец ведет себя развязно и посматривает с нагловатым прищуром, дескать, я в курсе, но можете на меня положиться: могила! А потом начнет вымогать всякие поблажки и залезет тебе на шею. Нет, золотое правило: каждый сверчок должен знать свой шесток. По этой причине Федор Андреевич не заводил доверительных знакомств ни с кем из своих заводских, а если и были у него приятельские связи, то, как правило, на стороне, с людьми, равными по положению, с которыми можно было не бояться ни выпить, ни спеть, ни поговорить, ни просто перекинуться в картишки. По этой же причине Федор Андреевич избегал общедоступных мест и выезжал на природу лишь туда, где была гарантия, что по соседству с их биваком не будет посторонних. Вообще Федор Андреевич никогда не забывал, что он не просто рыболов-любитель, а рыболов-директор, даже теперь, когда остался не у дел и вынужден пользоваться общественным транспортом.

Федор Андреевич пожалел, что не догадался взять с собой газету. Сейчас она пришлась бы весьма кстати: он развернул бы ее и, заслонившись, сделал вид, что читает. Но газеты при нем не было, и оставалось только рассчитывать на то, что тип не обернется. Хорошо еще, что Федор Андреевич вошел в автобус с задней площадки.

Тип не оборачивался, затеял разговор с какой-то теткой, сидевшей сбоку, автобус же тем временем катил и катил, и уже давно выбежал за пределы города, так что Федору Андреевичу осталось перетерпеть всего несколько остановок.

Неожиданно завозился и поднял голову сосед во франтоватом плаще. Он засидело потянулся и с зябким рыком потряс сонными опухшими губами, прогоняя остатки дремоты.

— Где едем? — спросил он у Федора Андреевича, принимаясь черным запущенным ногтем скоблить заиндевевшее стекло. Сориентировавшись через дырку, сосед удовлетворенно сообщил:

— Скоро дома буду. А я, понимаешь, на курорте, в Сочах был. Никогда не ездил?

Он сделал выжидательную паузу, ища взглядом на лице Федора Андреевича какой-то реакции, но, ничего не дождавшись, выставил большой палец:

— Ну, что ты! Высший сорт! Мне местком говорит: давай, Ванюха, дуй в Сочи, пока работы мало. А у нас, и верно, сейчас работы почти никакой, конец сезону. Я на канавокопателе работаю, понял? На СМУ... Нет, она, работа, завсегда есть... У нас как? Только асфальт положат — хоп! — давай вскрывай, канаву надо в том месте. Что ты! А так, конечно, работы нет. Одна ерунда...

Сосед наклонился к уху Федора Андреевича и, секретничая, задышал горелым:

— А мы, дед, маленько выпили в аэропорту. Там с одним... Ты не возражаешь? Прилетаем сюда — темно, холодно, а у меня в чемо-



дане бутылка была... Ну, мы ее по-быстрому. Что ты! Двести рублей с собой взял, это помимо ихних харчей, и во, вишь... — Малый засунул руку в карман плаща, вывернул его наизнанку вместе с измятыми сигаретами. — Ни шиша! А чего? На пляже сейчас никого, одни волны... Дождь всю дорогу, понял? Гор никаких не видно: и льет, и льет. Чего будешь делать? Ну мы давай... тянем спичку, кому бежать за этим делом, понял? А, ерунда! Заработаю. Рабочий класс, он завсегда заработает.

Парень опять придвинулся, положил руку на плечо Федору Андреевичу:

— А мне местком говорит: давай рви в Сочи, а то путевка пропадет. Ну раз пропадет, надо уважить. Местком — мужик хороший. Во какой, понял? Что ты! А гроши — все это мура... Зато повидал. Сейчас домой приеду, мать картошки нажарит. Высший сорт! Мандаринов вот матери везу, пусть погрызет, три рубля ведро... Сегодня еще отгуляю, а завтра — все! Завтра — ни-ни... ни капочки... Завтра в город на работу надо. Я и так один день задолжал...

Курортник потер рукавом окно, зыркнул в щелку и вдруг закричал на весь автобус:

— Слышь, тормозни! Деревню свою проехал.

Все заворочались, заоборачивались на сиденьях.

— Во гадство! — весело озирался курортник. — Теперь назад пёхать.

Водитель подвернул к обочине, парень подхватил чемодан и, вылезая из тесного прогала между сиденьями, задел и с грохотом уронил на пол Федора Андреевича ледоруб.

— Ну, дед, счастливо тебе поудить! — помахал он рукой, поднял воротник измятого плаща и без шапки вывалился на улицу.

В этот-то суматошный момент обернувшийся тип в бахилах и увидел Федора Андреевича.

Он оказался человеком уже в годах, даже, пожалуй, постарше самого Федора Андреевича. На заветренном лице, однако еще свежем, без заметной ветхости, выделялись сплошь седые обвисшие усы, концами сливавшиеся с козьим мехом полушубка. Над усами же, будто на заснеженных еловых лапах, грудастым снегирем восседал крупный с краснинкой нос, какие обычно бывают у складских сторожей и заводских вахтеров. Старик кивнул Федору Андреевичу, как давнишнему знакомому, и тут же, забрав пешню в рюкзак, неловко переступая по шаткому полу, направился в конец автобуса.

— У вас тут местечко освободилось, — живо сказал он. — Давайте уж заодно.

Федор Андреевич нехотя, молча отодвинулся к окну, оставив место между собой и старухой.

— Вы, стало быть, тоже этим автобусом? — обрадованно заговорил тот, укладывая свой рюкзак в нише заднего окна. — А я даве-

ча гляжу, прошли мимо, думаю: наверно, на электричку. А вы, оказывается, тоже ерпенским... Вот и ладно, вот и пусть мешок там себе полежит, чтоб не мешался. А пшню можно положить на сиденье за спину. Бабуся, позволь-ка на минуточку, я оружие свое спрячу. А то, не ровен час, кого и оцарапает. И вашу давайте заодно.

Он взялся было за ледоруб Федора Андреевича, но тот придержал его, не отпуская, и выговорил скупое:

— Мне через две остановки сходить.

— В Подьячем?

Федор Андреевич кивнул.

— В Подьячее едете? — переспросил старик.

— А что? — насторожился Федор Андреевич и, не поворачиваясь, а только покосившись глазами, взглянул на старика: знает или не знает про озеро?

— Позвольте, а где же там ловить, в Подьячем-то?

Федору Андреевичу действительно надо было сходить через две остановки, и именно в Подьячем. А там уже, перейдя луг и мост через речушку, двигаться той стороной в глубь леса версты четыре к озеру. «Видно, не знает...» — успокоился Федор Андреевич и сказал непринужденно:

— Как где ловить? На реке и ловить.

— На Ворожее? — На лице старика выразилось изумление. — Помилуйте, да там такие быстрины, такая крутоверть! Вся рыба оттуда уходит зимовать на тихое.

— Есть и там спокойные омуты... — возразил Федор Андреевич и немного приврал для убедительности: — Я в прошлом году ловил...

— И что же бралось?

— Как что? Окунь.

— Не знаю, не знаю... — пожал плечами старик. — Первый раз слышу, чтобы там об эту пору ловил кто-нибудь.

Он собрал усы в кулак, задумчиво подержал их вислые концы, как бы пытаясь припомнить, где могут быть омуты на Ворожее, и, видимо, не припомнив таких омутов, убежденно сказал:

— Нет, ей-богу, пустое затеяли. Она ведь потому и Ворожеей зовется: крутит, вертит — ворожит, одним словом. Только ноги зря уьете. Поедемте-ка лучше со мной в Шутово. Никогда не бывали?

— Да нет, не приходилось...

— Места проверенные. Ничего такого особенного заранее не обещаю, но окунька половим, это уж точно!

— Да нет, я сюда... — упорствовал Федор Андреевич.

— Ну что вам это Подьячее? Только испортите себе день. Право слово, поедемте.

Федор Андреевич все более тяготился разговором и, чтобы как-то отвязаться от докучливого старика, выставил еще одну причину:



— Я ведь и денег взял только до Подьячего.

— Ну, это пустое! — воодушевленно сказал старик. — Это все устроится.

До Шутова надо было доплачивать еще с полтинник да потом за обратный проезд. Федор Андреевич рассчитывал, что у дедка не найдется лишнего рубля или же покусится тратиться на постороннего. Но старик был готов и на это. Федор Андреевич смутился:

— Чего ж вы будете возить меня на свой счет? Туда да еще обратно.

— Да чего там! Не велик наклад, — весело отозвался тот. — Как-нибудь сочтемся: дело рыбацкое. Да и то сказать: наклад с барышом угол об угол живут. Зато вдвоем веселее. Да и безопаснее по перволедью. Вот если, не дай бог, окунетесь. — он озорно засмеялся, — поκληчете Фомича. Это я, стало быть, буду. У меня бечевочка к такому случаю найдется. Выручу. А я ошугнусь — вас кликну. Как бишь покричать-то?..

— Нет, я все-таки до Подьячего, — решительно отказался Федор Андреевич, уклонившись назвать свое имя, и, чтобы показать, что разговор исчерпан, отвернулся к окну и принялся глядеть в снежную дырку, процарапанную курортником.

— Напрасно, — огорчился старик. — Напрасно отказываетесь.

Некоторое время ехали молча, каждый занятый своими мыслями. Забираться в это самое Шутово, когда у Федора Андреевича поблизости было на примете свое укромное местечко, не имело никакого смысла. Ко всему прочему, будь сапог сапогу пара, куда ни шло. А тут — черт его знает как себя с ним держать, целый ведь день придется быть на одном льду. При нем и перекусить-то неудобно: станет присматриваться, что ешь, и прочее. Эта публика все мотает на ус. Для человека, который всегда на виду, даже и это — целая проблема.

— Ну, коли не хотите в Шутово, — неожиданно решил старик, — давайте попробуем в Подьячем. Пусть будет по-вашему.

И он обернулся и потянул из ниши свой рюкзак.

Такой оборот дела и вовсе сконфузил Федора Андреевича.

— Что... вы тоже в Подьячье? — серым голосом переспросил он.

— Что ж с вами поделаешь? В Подьячье так в Подьячье. Хотя очень сомневаюсь...

— Так я не неволю... — осторожно намекнул Федор Андреевич.

Однако старик не понял этой тонкости и, оправляя на себе заплетные лямки, снова добродушно рассмеялся:

— Вдвоем оно, знаете, и батьку веселее бить...

В снежную дырку в окне Федору Андреевичу было видно, как в рассветной синеве бежало, кувыркалось морозными комьями грубо вспаханное поле. Метались на ветру, взлетали и опадали серы-

ми тряпками рано проснувшиеся вороны, должно быть иззябшие и продрогшие за долгую ночь полуголодной дремы. Ситуация складывалась курьезная. Ну хорошо, сойдут они в Подьячем... Что же дальше? На озеро он его не поведет, это исключено. Но даже если бы и надумал туда пойти, то теперь и это было бы невозможно: ведь он сам же сказал, что собрался на Ворожею. Однако и на Ворожею нельзя было соваться, поскольку никаких таких омутов он не знает и никогда там зимой не бывал. Вся эта его выдумка и насчет омутов, и про окуней, которых он якобы там ловил, сразу же и обнаружится. Ужасно глупо! Сколько раз Федор Андреевич давал себе зарок не болтать лишнего при таких вот мазуриках. Черт бы его подрал! Взять и напрямую сказать, чтоб катился своей дорогой, тоже как-то нехорошо...

От всей этой незадачи Федор Андреевич чувствовал себя скверно, а между тем следующей остановкой должно быть уже само Подьячее и надо было как-то выбираться из этого дурацкого положения. И Федор Андреевич, сделав над собой усилие, объявил как можно естественней и непринужденней:

— Ладно, уговорил. Так и быть, поедem в Шутово.

— Ну вот и хорошо! — обрадовался старик. — Вот и славно!

Тем временем автобус вильнул вправо, и Федор Андреевич сквозь распахнувшуюся дверь увидел зеленую придорожную будку с надписью по фронту: «Подьячее». За будкой меж голых садовых деревьев темнели избы большой деревни.

— Никто не выходит? — осведомилась кондукторша и, положив руку на кнопку отправления, оглядела пассажиров.

Был тот миг, когда можно было, пока дверь еще не захлопнулась, схватить рюкзак и выскочить наружу перед самым отходом автобуса. И у Федора Андреевича мелькнула такая отчаянная мысль. Но он смалодушничал, подавил в себе этот порыв и только, сидя, переступил бурками. Кондукторша нажала кнопку, и двери тюремно захлопнулись. Автобус, всхрапнув мотором, покатил, увозя Федора Андреевича против его воли и желания в какое-то Шутово, о котором он еще утром ничего не знал и знать не хотел.

— Вот и поехали, — удовлетворенно огладил усы старик. — Вот и славно. Аккурат будем там к восходу солнца.

И тут всплыло еще одно неприятное обстоятельство. Поехали-то поехали, но надо было доплачивать за непредвиденный кусок дороги. Федор Андреевич вспомнил про десятирублевую бумажку и уже было потянулся, чтобы извлечь ее, но тут же отвел руку за ухо и почесал там под малахаем: ведь денег-то у него нет! То есть они на самом деле есть, вот они, лежат в боковом кармане безрукавки... Но выходило, их у него нет: он уже дал понять этому типу, что взял с собой только до Подьячего. Сказал просто так, нарочно, чтоб не пристава... Фу, как нескладно! Вытащить и объявить: мол,



смотри-ка, вот чудеса, совсем забыл, а у меня, оказывается, есть красненькая?! И как же я, дескать, про нее запамятовал? Но, представив себе эту сцену, Федор Андреевич болезненно поморщился. Сразу станет ясно, что морочил голову. И он, исподволь оглядев старика, который доставил ему сегодня столько неприятностей, а теперь как ни в чем не бывало приматывал ослабшую пуговицу на своем козьем кожаном, горя от стыда и унижения, вынужден был сказать:

— В таком случае... м-м... одолжите-ка мне в самом деле на дорожку...

### 3

В Шутово они и впрямь приехали к восходу солнца. Ветер словно бы разворошил у горизонта остывшее за ночь кострище, выдул из сизой наволочи единственный уцелевший уголек, и тот, краем оголившись из пепла, сначала тускло-багровый, неяркий, постепенно все больше обдуваясь, вдруг рьяно полыхнул, озарив все вокруг бегучим отсветом. Затеплилась пожухлая и продрогшая трава на выгоне, каждой веткой розовато высветились заиндевелые раkitники по огородам, ало заметались над крышами печные дымы. И нос у Фомича тоже занялся на ветру красным углем, тогда как усы опушились и еще больше побелели от инея. Он норовисто шмурыгал впереди Федора Андреевича глубокими галошами, волоча за собой на шнурке глухо позвякивающую пешню.

— В лес забежим, дак и тихо будет! — кричал Фомич, пересиливая ветер. — В Подьячем — там не спрячешься, там насквозь просвищет. А тут ничего, тут река аккурат под лесом.

По долгой безлюдной улице домовито бродили гуси — почти перед каждой избой по стае — предзимне чистые, в новом, недавно смененном пере, возбужденно гомонили, топтались босыми красными лапами на промерзших лужах и все тыкались морковными клювами в сухой черный лед, должно быть не понимая, что случилось с водой. Фомич бодрым бежком рассекал гусиные сборища, даже иной раз ребячливо прокатывался по лужам, подошвами своих бахил сшибая со льда намерзший гусиный помет, и разбежавшаяся за ним пешня догоняла и била его по пяткам.

— Эх, хорошо — первый ледок! — смеялся он. — Упаду, дак рассыплюсь, как старый сухарь.

Дородные гусаки, пригибая шею, тоже кидались ему вслед с грозным шипением, норовя ущипнуть за полу, а потом долго обсуждали со своей братией странное поведение дедка, не иначе как поддавшего с самого позаранку.

Федор Андреевич шел молча, тяжело и развалисто, все еще с досадой переживая свою неволю. И оттого, что брел он здесь не по своему желанию, улица казалась ему бесконечной и бесприютной.

Возле колодца на оледенелом сливе, несмотря на рань и стужу, уже пробовали свои салазки деревенские ребяташки.

— Рыболовы! Рыболовы! — завопили они и, побросав санки, высыпали на дорогу. И вот уже бежали следом и разноголосо канючили:

— Дяденьки, дайте крючочек! А дяденьки!

— Ой, некогда! — весело отмахнулся Фомич. — Далеко лежат.

— Да дайте! Хоть один!

— И один далеко спрятан.

— Жалко, что ли?

— Ах вы мошка неотвязная! — Фомич дернул плечом, на ходу сбрасывая рюкзачную лямку, и ребятня тотчас осыпала его со всех сторон.

— А мне? Дяденька, а мне? Ему так дал...

— И тебе на. Да не оброни. Руки как крюки. Давай в шапку застремлю. Да беги скорей домой, обогрейся.

— Не-к!

— Чего — «не-к»? Смотри, что под носом. Вожжа какая. Марш на печку!

— Не пойду, мы ката-а-аимси!

— Ох и воробы! Ну, кыш, кыш.

И, уже удаляясь, оба слышали:

— Какой тебе дяденька — это Фомич! Он всегда тут ходит.

— А тот толстый кто?

— А то охотник. Не видишь, с ружьем?

— Это у него пешня такая.

— Говорю, охотник. Пешня вон у Фомича, на веревке. А у толстого на плече ружье. Понял? И крючков не дал. У него крючков нету, одни патроны.

— Пацаны, толстый — это генерал.

— Ты-то почему знаешь?

— А слышишь, как обутка хрумтит.

— Ну, пострелы! — усмехнулся Фомич. — Чего, стрекуны, мелют. А может, ты и вправду генерал? Да ты ее не неси, пешню-то. Небось в самом деле не ружье, не барыня какая. Кил пять весу, а ты с ней тетёшкаешься. Холку-то и набьешь за дорогу. Ты ее тоже вот так, за бечевку. Пляди-ка, моя сама бежит!

— Ничего... — буркнул Федор Андреевич. — Донесу.

Извлечь пешню из кожаного чехла и тащить ее вот так, на виду у всей деревни, Федор Андреевич не решился бы, во-первых, потому, что как-то несолидно в его годы и с его положением транспортировать снасть таким легкомысленным способом. А во-вторых, пешня его была не простая, не расхожая.

Когда Федору Андреевичу сравнялось пятьдесят, этот ледоруб вместе с ящиком зимних принадлежностей преподнес ему предсе-



датель завкома Кирюшин. Изящных линий четырехгранный наконечник, отшлифованный и хромированный, был покрыт художественной чеканкой и всякими шуточными надписями, вроде: «Рубит в ясно, рубит в снег, но, однако ж, не для всех». Рукоятка же была набрана из цветных пластмасс, наподобие тех форсистых мундштуков, которые делали во время войны из сбитых немецких самолетов. Сработали, шельмецы, на совесть. Федор Андреевич и сам удивился, что у него на заводе есть такие артисты. В ближайшее же воскресенье после юбилея состоялось посвящение Федора Андреевича в зимники. Собралось человек восемь приятелей, махнули в Рассохино на турбазу. Федору Андреевичу указали место, где он должен был собственноручно пробить первую свою лунку. Дело было уже весной, лед стоял почти метровый. Сначала пешня шла хорошо, но потом пришлось сбросить пальто. Все столпились вокруг, подзадоривали и дружно горланили: «Сухо! Сухо!» Это означало, что надо было откладывать пешню и «подмачивать», то есть разливать коньяк по протянутым кружкам, ну и себе, конечно. Откупившийся таким способом Федор Андреевич, пока «судьи» закусывали, спешил углубить проходку, но тут снова раздавалось дружное «сухо!», и он кивал шоферу, чтоб тот подавал следующую бутылку. Однако обряд посвящения в зимники непредвиденно нарушился. Когда в ледяной колодец уже хлынула вода и Федор Андреевич азартно добивал в булькающей глубине остатки перемычки, пешня вдруг выскользнула из рук и мгновенно исчезла в проруби. Это было так неожиданно и так обидно, что Федор Андреевич расстроился. Пробовали достать пешню всякими подручными приспособлениями, но из этой затеи ничего не вышло. Потом, уже под вечер, шофер, мотнувшись в соседнюю деревню, привез-таки добровольца, который за обещанную бутылку согласился вызволить пешню. Щуплый, небритый мужичонка с красным вытекшим глазом, выйдя из газика и еще на ходу, будто врач «Скорой помощи», деловито осведомляясь: «Ну что тут у вас случилось?», чинно пожал всем руки и спросил закурить. «Бывает, бывает», — кивнул он с пониманием дела и тут же рассказал, как в ихней деревне милиция утопила в проруби самогонный бак, а ему пришлось потом доставать. Бак отнесло куда-то в сторону, так что заныривать пришлось раза четыре. «А пешня, она чижолая, далеко не уйдет, тут прямо и села». Он достал печной отвес, опустил его в прорубь, пальцем прихватил в том месте, где шнур касался воды, и, вытащив, задумчиво объявил: «Глубоковато. Надо бы сверх договоренного прибавить за глубину стаканчик». Ему тут же налили, мужик отпил половину, поставил недопитый стакан рядом с прорубью и, решительно бросив на снег шапку, принялся раздеваться. Федор Андреевич попросил шофера обвязать его веревкой, черт знает что это за водолаз, еще нырнет да и не вынырнет, потом отвечай за него.

Однако мужик не дался, и даже как-то поспешно, будто спасаясь от шофера, норовившего захлестнуть его бечевкой, сбросил с голых плеч телогрейку и, весело вскрикнув: «Даже не сумлевайтесь, мне не впервой», юркнул в прорубь. Все настороженно склонились над полыньей, в которой жутковато покачивались ледяные осколки, наконец в проруби взбурлила вода, перелилась через края, и сначала высунулась острием пешня, а вслед за ней показалось и голое темя, синее, как брюква. Несколько человек ухватились за пешню и выволокли ныряльщика наружу. Мужик как-то по-собачьи стряхнул налипшие крошки льда, с веселым кряком, будто плетью, хлестнул себя несколько раз крест-накрест тощими костлявыми руками и, ступив в сапоги, допил оставшийся коньяк.

— В илу, зараза, дюже упила, — рассказывал он счастливо. — Я ее тяну, а она не вот-то, засосало по самую ручку. Закурить найдете, товарищи?

После того случая еще раза два не то три приходилось Федору Андреевичу бывать на зимней рыбалке, но, в общем, зимника из него так и не сделали тогда, не привелось как-то: то ли потому, что выезжали слишком шумными компаниями, то ли не было должной сноровки, и дареная пешня до самой пенсии провалялась в кладовке.

Между тем вышли на площадь, по-деревенски размашистую, где летом, должно быть, паслись привязанные телята, а теперь сиротливо торчали одни только самодельные футбольные ворота. На отшибе от всех прочих строений сверкал широкими окнами новый сельповский магазин, обросший с тылов штабелями тарных ящиков.

— Забежим, раз такое дело! — свернул с дороги Фомич.

— Так ведь... — остановился было Федор Андреевич, опять вспомнил про свою злополучную десятку, которую он не смел обнародовать, и потому вынужден был играть постыдную роль иждивенца.

— Об чем разговор! — пресек его Фомич. — Гора с горой не сходится, а рыбак с рыбаком завсегда.

— Честное слово, неудобно как-то...

— Брось, брось. Сейчас посмотрим, что у нас тут получается...

Фомич отвернул полу колушка, достал кошелек и принялся пересчитывать наличность.

— Значит, так... Сразу откладываем на обратную дорогу полтора рубля. Это, так сказать, энзе. Этого мы не трогаем. А остальное можем употребить. Так, два рубля... Вот он еще рублишко... И мелочи у нас... Пятнадцать да пятнадцать... Да тут медью... ага, двадцать две копейки... Ах ты черт! Маленько не дотянули до коленчатой. У тебя сколько там есть?

— Да пустяки... — Федор Андреевич тоже достал кошелек и, сгорая от неловкости, высыпал Фомичу на ладонь все его содержимое вместе с квартирным ключом.



— Во! Три рубля восемьдесят три копейки! — подытожил Фомич. — Вышли из положения.

На входной двери магазинчика оказался замок. Но по тому, как ветром валило с крыши клокастый дым, было ясно, что внутри есть какая-то живая душа. Фомич с зажатыми в кулаке деньгами обежал магазин и постучал в дверь черного входа. Сперва долго никто не откликнулся, но, когда Фомич побарабанил еще, внутри железно заскрежетал засов, и в чуть приоткрывшуюся дверь выглянула старуха.

— Закрyто, закрyто! — запричитала она.

— А то вынесла б, — попросил Фомич.

— Сказано, нету продавца.

— А ты денежки положи, а бутылочку возьми.

— Я неграмотная, — отрезала старуха. — И потом — это дело с десяти. Аль указа не знаешь?

— Так ведь без сдачи, кудрявая! — не отступался Фомич.

— Сам ты кудрявый. Давай уж...

Старуха забрала деньги, придирчиво пересчитала, высыпала в карман передника и притворила за собой дверь. Вскоре она снова высунулась и протянула сначала бутылку, а потом и стакан.

— Тут нельзя, возле двери, — сказала она строго. — За тару идите. И посуду не закидывайте, на ящик поставьте.

— А говоришь, неграмотная! — засмеялся Фомич, отстраняя стакан. — Да ты тут, видать, целую академию прошла.

— Ладно, проваливай! — озлилась старуха. — Шляются тут. Им как людям...

— Ох и кудрявая!

Старуха хлопнула дверью, а Фомич, все еще усмехаясь и покачивая головой, спрятал бутылку в рюкзак, затянул завязку и уже по дороге объявил:

— Это, понимаешь, сегодня у меня день рождения. Аккурат шестьдесят пять на спидометре намотало. Так что выпьем с тобой по маленькой. Один бы я не стал ее брать, один я не хочу. Никакого удовольствия. Вот и дома иной раз в шкафчике стоит — и месяц стоит и другой, не-е, даже не понюхаю. Так бабка на растирку и изведет, на свой радикулит. Вот ежели с кем да за разговорчиком... Ну а сегодня вроде бы полагается, да и за знакомство тоже не грех. Это хорошо, что ты в Подъячее не поехал. Это ты правильно сделал. Вдвоем оно веселее. Поймаем не поймаем, так хоть поговорим.

Федор Андреевич конфузливо промолчал.

За деревней пошел рослый сосняк. Ветер отступил вверх, шумел теперь макушками, и было далеко слышно, как в гулкой пустоте короткими очередями строчили дятлы. Фомич все крутил головой, поглядывал по стволам, выглядывал дятлов, а то и отбегал куда-то в сторону.

Еще когда сошли с автобуса, Фомич как-то сразу переучился на «ты» и теперь во всем назойливо и неприятно опекал, а главное, расходовал дорогое утреннее время по-пустому: то остановится над ворошком лосиного навоза, то принесет откуда-то промерзших, громыхающих маслят.

— Это и есть Шутово! — пояснял Фомич, присев на корточки перед рюкзаком и запихивая мерзлые грибы в полотняную сумочку. — Я сюда лет двадцать хожу. Привольные места.

Федор Андреевич, когда минули подворье лесника, и сам стал припоминать, что вроде бы тоже бывал здесь когда-то. Тогда тоже были и сосняк, и лесная сторожка. Потом уже по заливной низине, по берегу должны начаться густые ракиты, такая чащоба, хмель, ежевика. Еще тогда лосенок выскочил, прямо к ихней стоянке.

Помнится, они приехали уже под вечер, успели только разбить палатки, поставить перемет, и сразу стемнело. Им тогда повезло: не прошло и полчаса, как зазвонил колокольчик, все наперегонки кинулись к воде и где-то на втором или третьем крюке выволокли отменного сома, килограммов на десять, а то и побольше. На радостях начали плясать вокруг него. Зинченко, замначальника Сельхозснаба, колотил в кастрюльку, изображал шамана. А сом тоже подпрыгивал, косил хвостом траву, задевал по ногам. Потом его забили монтировкой, и женщины принялись стряпать уху. Шофера вытащили из багажника ковер, направили на него фары обеих машин, и все сели... Заводила-сельхозснаб, с ним только свяжись, ночью мотался еще куда-то, а тут это чертово пиво... В общем, проснулись кто где, забыли и про палатки. Федор Андреевич очнулся на ковре рядом с опрокинутой кастрюлей. Головы — хоть отруби, все искусаны комарами. Зинченкова баба закатила сельхозснабу скандал, будто у него вчера что-то там было с заезжей филармоничкой, которую прихватил с собой на рыбалку главреж филармонии, та — в слезы, хотела уже уходить пешком, и тут как раз — лось! Сначала все опешили, а потом разглядели, что это всего лишь годовалый лосенок. Перепугавшиеся было женщины обрадованно завопили: «Ой, какой хорошенький! Поймайте, поймайте, мы ему яблоч дадим!» И все кинулись ловить. Федор Андреевич, правда, не бегал, было не до лося, а все остальные вскочили. Федор Андреевич кричал им тогда, мол, бросьте, что за блажь — гоняться по кустам за зверем. Да где там! Шофера вытащили из багажника бредень. Свист, крик, хохот. А лосенок, видно, хромый был, волочил заднюю ногу. Заметался он между палатками, туда, сюда — кругом люди, да и сиганул с обрыва в воду. Федор Андреевич видел со своего ковра, как зверь, выставив торчком уши, поплыл на ту сторону. А там тоже кто-то ночевал с палатками, весь вечер дрынькала гитара, те услышали шум, выскочили в трусах на песок, давай тоже кричать на лося, махать руками, кидать палками. Лосенок опять повернул к лесному берегу, но, увидев шоферов с бреднем, поплыл вдоль по



реке. Народ за ним. С этого берега шумят и с того машут. Погнали его куда-то за поворот, а после шофера возвращаются, разводят руками: утонул. Плыл-плыл, окунулся и больше не вынырнул. Женщины накинулись на шоферов, стали ругать: мол, разве так можно, ну, пошутили, позабавились немножко, зачем же было так далеко гнаться? Так кто ж его знал, что он утонет, недоумевали шофера. Это все те, пижоны, виноваты. Чего они ему не давали выйти на тот берег? Пришлось спешно сворачиваться и переезжать в другое место... А вот где они тогда были, Федор Андреевич теперь уже и не помнит... Шутово... Шутово... Вроде бы в Шутово...

— Сейчас лес пробежим, и — вот оно! — возбужденно выкрикивал Фомич, хотя кричать в гулком бору никакой нужды не было. — Бабка моя ругается, куда, говорит, тебя из дому несет, сыны приедут, а ты завеешься? Так сыны, говорю, надвечер обещались, чего ж мне целый день сидеть? Съезжу, пока ноги бегают, отведу душу по первому ледку, да аккуратно к сынам и вернусь пятичасовым. Понимаешь, бабка пирог затеялась печь. Петр с Анастасией, Василий со своей Нонкой подъедут. Да так, кое-кто: соседи, старые дружки. Слышал, может, Лямин Павел Степанович? Директор птицесовхоза в Туровском районе?

— Нет, не слышал, — сказал Федор Андреевич.

— На той неделе в нашей газете про него было. Целых два столбца. Так это мой старший, Павел.

— Нет, не знаю, — повторил Федор Андреевич, и было заметно, как Фомич огорчился оттого, что не знают про его Павла, про которого напечатали два столбца. Но огорчение его было мимолетным, и он тут же весело засмеялся, оповестил:

— Не-е! Это еще не все! У меня их пятеро. Павел, считай, под рукой живет. От Туровки два часа на машине. Сядут с женой и приедут, машина своя. А Васятка, у него возле вокзала квартира, компрессорщиком на товарной станции. Остальные — от тех только телеграммок жди, те далеко! Я, когда на пенсию вышел, время объявилось свободное, целый год дома не был, все по своим путешествовал. Знаешь, как резиновый шар, почуял, что никакая нитка меня теперь не держит и — фьють, улетел! Сперва думал к одному только Алешке съездить, в Сызрань, тут недалеко. Поехал по весне, только-только снег стоял, да и прогостевал полтора месяца. Он меня то на Куйбышевскую ГЭС, то в Тольятти, ну а мне интересно: такие дела раскочегарили, ого-о! Дак и сама Волга — тоже занято. После наших-то скудных мест. Пароходá, баржи, танкерá. Ночью огни, как на проспекте. И сам чуть свет с удочкой бежишь на плоты, чехонька берет исправно, никак не отвяжешься, заразное это дело. День по дню, глядь — уж и июнь вот он!

Ну, побыл у Алексея. что ж, думаю, раз из дому стронулся, давай заодно и Зинаиду проведу. Махнул в Барнаул, понимаешь.

Да еще от Барнаула триста верст в сторону. Зинаида там агроном. Степья, степья, крепко живут. Пробыл у нее месяц. Ну а там, трикидываю, и до Валерки осталось всего ничего.

Одолжил у Зинаиды на дорогу, прилетаю в Магадан — Валерки нет, в рейс ушел аж под Аляску, под американские воды. Жена — первый раз свиделись, он ее там, в Магадане, брал, — Ольга, значит, говорит мне, дескать, Леры до снега не будет, самый сезон, путина потянем. Ну что ж, берусь за шапку, извините, раз не попал вовремя, полечу обратно. А она ни в какую: останьтесь и останьтесь. В кой-то раз приехали да не повидаться с Лерой — это она его так зовет, — обидится. Не пустила, и все! Хорошая такая женщина, врачом в интернате. Вот, говорит, вам отдельная комната, а вот ключи от Лериной моторки, а он скоро должен воротиться, август на дворе.

Во где рыбалка, я тебе скажу! Выйдешь на моторке в бухту, только снасть утопишь — на тебе камбала! Лопата! В любом месте опустишь лесу, и везде клюет. Как будто все дно ею уложено. До самого льда и проудил. А тут вот он, Валерка, сдал свою рыбу, стал на зимний ремонт. Тот себе давай не пускать. Не выдумывай, говорит, глупостей, а то полотенцем свяжу. Ну, я с ним и зазимовал, на ремонт даже вместе ходили. Я ему в кают-компании диваны новым дерматином обтянул, да аж на другую весну только отыскался. Всю Россию обмерил! Да-а! Что велика, то велика! А ты, значит, тоже на пенсии? Ты с какого года?

— С девятого, — сказал Федор Андреевич.

— Не-е, я с седьмого! — чему-то обрадовался Фомич. — Аккурат шестьдесят пять в нынешний день. Дак я сейчас опять работаю. Тебе разве не говорил, что я на кожгалантерейной фабрике? Нет? Так, значит, на кожгалантерейке я. До пенсии мастером по раскрою, а теперь вот на штучной поделке. В прошлом году открыли такой цех... Ну не сказать чтобы цех: художник, четверо парнишек и я, за таршего. На отходах. Всякая обрезь, мелочовка, чтоб, стало быть, тря не пропадало. Это — как тебе получше объяснить... Такое художественное тиснение по коже. Медальоны, кулоны, памятные значки, городские гербы — всякое такое. Ну а по тиснению где цветную мальку положишь, где бронзового порошку. Хорошо получается, расиво. Сувениры! Я, считай, всю жизнь с кожей работаю. А мне директор говорит: давай, Лямин, берись, лучше тебя никто кожи не знает, покумекай, чего зря дома сидеть. А оно, вишь, как теперь пошло: на будущий год уже и цех думаем под это пускать. Посылай одну партию в московский ГУМ, так только, попробовать. Пишут, давайте еще. Иностранцы, говорят, очень интересуются. Так то я теперь опять сгодился. По второму заходу пошел.

— Кто же теперь у вас там директором? — поинтересовался Федор Андреевич.

— Как кто? Да Туртыкин же! Павел Ива-аныч!



— Все этот Туртыкин?

Туртыкина Федор Андреевич знал давно по всяким совещаниям, но коротко знаком не был и даже не помнил по имени-отчеству. Туртыкин, ну и Туртыкин. Встретятся когда, если уж совсем нос к носу: «Привет». — «Привет», — и только. Не заводил близкого знакомства потому, что не приходилось иметь деловых контактов: разные профили, разные ведомства, словом, не одного леса ягоды.

Да и вообще Федор Андреевич никак не мог поставить на одну доску туртыкинскую фабричку рядом со своим заводом, ну и, конечно, самого Туртыкина вровень с собой. Бывало, на совещаниях в перерыве он и пива не садился выпить за один столик, если там уже сидел Туртыкин. Про себя же называл Туртыкина не иначе как бабьим угодником: возятся с какими-то ридикюлями, лакированными поясами и прочей дребеденью. Да и сам: переменные галстуки, всякие заковыристые запонки, одеколоном за версту разит... Начнет выступать, можно подумать, что он невесть что такое делает, жить без его ридикюлей нельзя. В Дрездене был, в Париже был... Везде, мол, ихняя продукция нарасхват. Дерьмо-то это? И, шагая рядом с Фомичом, невольно выслушивая всю его сорочью трескотню, Федор Андреевич теперь уже через этого Туртыкина испытывал к своему разговорчивому попутчику еще бóльшую неприязнь: такой же, как и его Туртыкин, пустобрех и пустодел. Какие сани, такие и сами.

— Туртыкин у нас! — подтвердил Фомич. — Кому же еще быть? Дельный мужик. Вот Трудового дали. Зря не дадут, верно я говорю?

— Гм... Ну, ну...

Саженный сосняк, сквозной и чистый, с одной лишь хвойной подстилкой, сменил густой, непроглядный уремник: темнели развалистые ракиты, иные совсем древние, с корявыми морщинистыми обножьями, с провалами черных дупел. Под их кронами теснились мелкокленье, черемушник, крушина, колючей проволокой опутывал трухлявые пни, поваленные колодины еще не отмерший, покрасневший от холода ежевичник. Закостенелая дорога толсто укрылась палым листом, уже прибитым дождями и густо просоленным изморозью. Сюда, в эту еще девственно-непричесанную урмину, оставшуюся такой благодаря близкой реке и ее буйным вешним разливам, затоплявшим лес, который потом все лето курился паркой сыростью, слеталась на зимовку всякая крылатая живность. Та, что соглашалась и на стужу и несытое коротанье ради того только, чтобы не покидать родных мест, не лететь за синь-море, где, может быть, и тепло, да зато одиноко российской неказистой птахе среди чужой вечной зелени и пестро расфранченных заморских хозяев.

Вертелись, бегали вверх-вниз по озябшим стволам сизые поползни, грустно просвистывая затихшую чащобу.

Семейками, в пять-шесть душ, перепархивали синицы в черных платочках, обследовали каждый случайно уцелевший на ветке листок, каждую подозрительную зазоринку, заглядывали в разверстые пасти раковых дупел, где среди смерзшейся гнили мог затаиться на зимовку какой-нибудь онемевший, бескровный червячишко. И даже пробовали теребить черные неподатливые шишки ольшаника, совсем уж бескормные, такие, что когда синица раздвинет наконец чешуйки с превеликим трудом, то сама удивится никчемности семечек, черных и деревянных, как и сама шишка.

С ливневым шелестом сорвались с дороги, на которой невесть что клевали, ничейные, нигде не прописанные уремные воробьи, обсыпали куст чернотала, вытирают об ветки носы с таким видом, будто только что пообедали из трех блюд. Но по взъерошенным загривкам без труда можно понять, что клев этот на лесной дороге был пустопорожним, так только, чтоб не сидеть без дела. А уж что они будут клевать, какую отыщут поживу, когда выюга завалит землю и вымолотит из травинки последние семена, как перебьются, одолеют зиму — одному Богу ведомо, да и то вряд ли...

И снегири уже объявились в уреме, прилетели из северных краев. Одеты тепло, в толстые зобастые шубы, а поверх шуб повязали красные фартуки, чтобы не замарать одежды. Сидели по деревьям степенно, чинно, будто старинные лабазники, и с той же степенностью, не жадничая, не поспешая, а будто помня, что они здесь хотя и тоже в России, но все же залетные с севера гости — ярославские, костромские, вологодские, срывали с кленовых веток крылатые семена, для них, для гостей, диловинные, заманчивые, так и этак неспешно поворачивали в толстых клювах, приноравливаясь к замысловатому яству и наконец, разобравшись, что к чему, найдя к семени отмычку, раздваивали его и пускали по ветру крылатые кожурки. И перед тем как сорвать новое, склонив голову набок, с интересом наблюдали за кожурой, как та, запорхав мотыльком, долго летела прочь, пока не ударялась случайно о встречную ветку и не сбивалась с полета.

Фомич опять принялся отбегать в стороны, знаками манил за собой Федора Андреевича, пригибаясь, крался по кустам, замирал и опять крался, кому-то подсвистывая. Потом и вовсе исчезал в глухомани, и тогда подолгу от него не было ни слуху ни духу, так что Федору Андреевичу, оставшемуся стоять на просеке, приходила мысль плюнуть и то ли идти дальше одному, то ли повернуть обратно. Но вот Фомич неожиданно вынырнул из чащобы и, поправляя сбившуюся набок шапку, ликующе оповестил:

— Какой чечет! Какой чечет был! Зря не пошел.

Федор Андреевич не знал, что такое «чечет», а тот, все еще азартно горя глазами, тараторил:



— Во так да! Лед стал, а чечет все крутится, не отлетает. Не иначе зима теплая будет. Давай на то воскресенье с тенетками наедем! Поскрадываем чечета. Веселая охота! У меня дома двенадцать клеток, считай, оркестр Большого театра, а чечета никак не заловлю..

И, заметив, как Федор Андреевич нетерпеливо взглянул на часы, чуть ли не рысцой припустил по дороге.

— Сейчас, сейчас добежим... — задышливо хватал воздух Фомич. — Вот незадача: и на речку охота, и в лесу красота. Я дак до всего жадный, уж и жаден! Не знаю, как и помирать буду. Даже жалко оставлять все это.

Федор Андреевич грузно сопел, стараясь идти вровень со своим суетливым напарником, а тот, едва выровняв одышку, уже опять докучливо кричал под ухом:

— И тебе расскажу, чтоб не скучно было... Возвращаюсь я, понимаешь, из лесу. Прошлым летом, в августе месяце. В городе жара духота, против лесного воздуха сразу заметна разница. Иду по той улице, что к рынку. А там, возле рынка, и того пуще: люд роем, машины, фургоны, бензинище, пылюка. А тут еще от мясных рядов тяжело так повеваает... После леса, благодати-то вольной, все это свежему человеку сразу чувствуется. Да-а... А против рынка — может, знаешь, — домик жактовский, двухэтажный. Ну а стоит он не в красную линию, чуть отступя, так что между домом и улицей еще пространство есть, и то пространство штакетником огорожено. А за штакетником три не то четыре деревца, и такие они жалкие, такие серые от пыли, да еще между ними веревка протянута, сохнут чьи-то штаны с вывернутыми карманами. И сам дом весь пылью запырошен, давно дождей не было — крыша серая, окна мутные. И, понимаешь, сидит на скамеечке старик. Восковой уже, глаза запали, на усохших плечах теплый платок с бахромой. А я того старика знал: Бусов Егор Филиппович. Когда-то геройский мужик был, служил егерем. Останавливаюсь у заборчика, здороваюсь, спрашиваю, как она, жизнь. Ничего, говорит, помаленьку. А голос трудный такой, немощный — восемьдесят четыре года. Вот, говорит, вышел прогуляться на природу, подышать свежим воздухом. А то дома духота невозможная. Гляди, как! — покрутил головой Фомич. — Егеры! Каких-никаких лесов исходил. А теперь ему три дерева со штанами на веревке — тоже вроде леса, тоже природа. Во как земля-то с овчинку стала...

Федор Андреевич промолчал.

— Дак мы с тобой, если подумать, тоже последние годочки бегаем. Кончается, брат, наша пружина, завод на исходе. Тик-тик, да и остановимся, а? Тогда тряси, не тряси...

Фомич засмеялся и, семеня рядом, вопросительно заглянул в морозно-красное лицо Федора Андреевича, как бы оценивая, сколько еще осталось в нем этой самой пружины.

И опять Федор Андреевич ничего не ответил. Разговор этот был ему неприятен. И, должно быть, почувствовав молчаливую сухость своего напарника, Фомич затих. Стало слышно, как скребла дорогу, ворошила листья его пешня.

На открывшейся опушке, такой же взъерошенной и диковатой, как и сам лес, где среди всякой пожухлой травяной всячины густо порос репей, вызревший рыжими папахами, кормились щеглы — веселые, никогда не унывающие пичуги. Словно беспечные гусары, в одинаковых, ловко скроенных мундирчиках, с позолоченными знаками отличия по надкрыльям, они со стеклянной звонцой переговаривались в репьях. Неожиданно вспугнутые, щеглы, так же весело и беспечно, будто нисколько не сожалели о прерванной пирушке, волнистым аллюром помчались над уремой.

— Видал?! Ну, сорванцы! Ну, артисты! — приостановился Фомич, и глаза его светились восхищенной жадностью. — Чистые сувениры!

#### 4

Дорога круто свернула вправо, и лес внезапно закончился береговым обрывом с рыжей стеной камышей у самой кромки. Река сверкала на солнце молодым бесснежным перволедком, но уже в нескольких метрах от берега была открыта и черна. Ничем не сдерживаемый ветер гудел и завывал в речном ложе, как в подворотне, трепал камыши и гнал против течения поспешные, беспорядочные волны. Свинцовые, с прозеленью, валы, захлестывая теснившие их забереги, неистово глодали хрупкий, истончившийся лед, выплескивали и снова слизывали обломки, и оттуда доносился непрерывный жалобно-стеклянный звон, сопровождаемый хрустом, скрежетом, бульканьем и какими-то глухими стонами. Казалось, река никак не хотела смириться с уготованной ей долгой неволей и отчаянно отбивалась от надвигавшихся с обеих сторон смиренных ледяных оков.

Оба молча глядели с обрыва: Фомич — весь подавшись вперед, навалясь грудью на черенок пешни, Федор Андреевич — отрешенно прислонясь к дереву. Плечом он чувствовал, как ветер раскачивал ствол матерой ракиты, и было слышно, как где-то вверху монотонно скрипела, скоргыкала старая сухая древесина. И этот ревматический скрип старой ракиты, и валкое мотание камышей под обрывом, и заунывные всхлипы воды вызывали у него удручающее чувство бездомности, и в нем снова зашевелилась неприязнь к своему попутчику. Больше всего его раздражало то, что он оказался в нелепой, глупой зависимости от случайного прохожего, о существовании которого еще сегодня утром даже и не подозревал и с которым его решительно ничего не связывало, кроме того разве, что у них обоих были за плечами рюкзаки.



— Вот незадача, а? — растерянно оглянулся Фомич.

— Это и есть Шутово? — с тайной издевкой спросил Федор Андреевич. Теперь он был даже рад, что река не замерзла: на-ка вот, выкуси!

— Это все Шутово называется. Вся местность, — подтвердил Фомич и удивленно воскликнул: — Ляди-ка! Никак он ее не одолеет! Мороз-то! Третьи сутки жмет, а — нема делов! Вот ведь и паук: начнет укручивать букашку, пеленает-пеленает, сам весь умается, а она — жива! Все трепыхается, теребит ему путца. — И задумчиво заключил: — Все, брат, в муках, все в муках! Вот река тоже: и пробуждается, и засыпает в муках! Да оно и все так...

На эту мудреную философию Федор Андреевич достал из бриджей носовой платок и шумно и как-то даже обиженно высморкался, будто подвел итог всему загубленному дню.

С обрыва подхватило ветром пригоршню сухих скрюченных листьев, и они долго летели разрозненной стаей над сверкающим льдом и, наконец опав, покатались наперегонки, с веселой обреченностью бросаясь в хлюпающие волны.

— Да-а... Маленько осечка вышла, — следя за листьями, сказал Фомич. — А может, попробуем, а?

— Где ж тут пробовать? — безразлично спросил Федор Андреевич.

— А нам далеко заходить и не надо. Окунь сейчас весь под берегом, возле травки.

— Не знаю, не знаю... — отвел взгляд Федор Андреевич.

— Эх, была не была! — отчаянно воскликнул Фомич, затянул потуже на кожушке ремень и кубарем скатился с обрыва.

Федору Андреевичу было видно, как он, размахивая впереди себя пешней, принялся разваливать на обе стороны камыши, и вскоре кожаный треух замелькал по другую сторону зарослей.

— А ничего! Держит, едрена Матрена! — донесся его бодрый голос. — Давай-ка сюда, не бойся! Ей-бо, крепко!

Без всякого энтузиазма полез в заросли и Федор Андреевич. Камыши тоже были прихвачены у самого основания ледком, и он, выставя правую ногу вперед и подвигая к ней другую, бочком, с опаской выбрался на открытое. Не далее как в десятке метров жутковато бугрились над плоскостью льда зелено-черные волны, сам же лед был совершенно прозрачен, и, как Федор Андреевич ни приглядывался, он так и не смог определить его толщины. В черной глубине прямо под собой он увидел бурые, лениво шевелящиеся водоросли, и хотя, как и на берегу, ощущалась привычная твердь, ему казалось, что он непостижимым образом висел над бездной. Эта оконная прозрачность льда странно парализовала движения, и Федор Андреевич оцепенело замер, глядя себе под ноги.

Неожиданно резкий порыв ветра толкнул его в спину, ноги беспрепятственно заскользили, и он, едва не потеряв равновесие, опустился на четвереньки.

— Держись! — засмеялся Фомич. — Вынь пешню-то. Чего ты ее носишь! Упирайся, упирайся пешней, а то снесет.

Сам Фомич уже обжито, как кулик, бегал в своих широкоступых галошах по всему закрайку и легкими ударами пешни простукивал лед, испытывая его прочность.

Федор Андреевич извлек из чехла ледоруб и с его помощью сделал еще несколько скользящих шажков от берега. Однако дальше за Фомичом идти не решился: пешня почти без усилий прошивала лед с двух-трех тычков, и тотчас из пробоин напористо устремлялась вода. Она растекалась вокруг ног зловещими лужами, означавшими, что лед, не выдерживая его веса, начинал прогибаться. Федор Андреевич поспешил выбраться на берег.

— Или оробел?! — крикнул Фомич.

— Да нет, вода! Я ведь без галош.

— Да это пустяк! Это мы сейчас камышику настелим, будешь как на печи сидеть.

— Да нет...

— Ну нет, так и нет... Оно и правда, для тебя маленько тонковато. Больно грузен ты. А я ничего, меня держит! — И засмеялся: — Дак и я уже раза три макался. Один раз за рюкзак поймали. Я уже бульки пускал, а рюкзак, как пузырь, сверху плавал, не давал тонуть. Потеха!

Потыкав еще в нескольких местах пешней, Фомич тоже вылез на берег.

— Да, незадача, незадача, — сказал он, оглядывая сверху то место, где они только что были. — Надо было нам сразу пойти на какое-нибудь озеро. Там тебе в самый раз было бы. На озере теперь крепко. Как паркет. Хоть танцуй.

Федор Андреевич промолчал. Он ведь и не собирался в это чертово Шутово.

Фомич потыкал пешней заржавленную консервную банку, оставшуюся, должно быть, от летних пикников, потом поддел ее острием пешни и зашвырнул в кусты.

— А то давай камышу наломаем. Камыш — он как понтон. Я тебе расскажу, осенью сорок третьего на Втором Белорусском. Вот тоже так Днепр маленько прихватило, а ходить еще нельзя. Немец на том берегу в полной надежде, сидит по блиндажам, только часовые иногда ракетки популивают. Ну раз он нас не ждет, мы возьми да и походи на него. В тылу, на болотах, наломали камышу, понаделали вязанок, и, стало быть, так: одну вязанку насаживаем на один конец палки, а другую — на другой. Понял как? Ну, на манер той штанги, которую поднимают силачи. Каждый сделал по такой штуковине, чтобы,



значит, животом лечь на палку, а по бокам вроде как поплавки. Ну, все это мы отрепетировали в лесу на озере, а вечером, едва стемнело, всей ротой и поползли через Днепр, как тараканы. А лед — плюнь, и пробьешь! Едва только вода прикрыта. Дак мы это подалее, подалее друг от друга, чтоб не скопом. А тут аккурат поземка началась. Оно, с одной стороны, и хорошо: маскирует, видимости никакой, свети не свети. А в то же время и опасно: ветер как лед раскачал, как давай он под нами вверх и вниз ходить — душа замирает! Никогда не думал, что лед может так гнуться. А — ничего! Перебрались! Правда, были, которые провалились, дак и те только намокли, а так все целы остались. Камыш выручил! Ну мы ж фрицам и устроили перволюдок!.. А ты на каком фронте был?

— Я на фронте не был, — сказал Федор Андреевич.

— По чистой, что ли?

— По броне.

— А-а... Ну да... ну да... По броне... — Фомич загляделся на реку. — Дак чего будем делать? Вот незадача! А то давай по грибы сходим. Тут опять бывают в ракитнике. Они теперь хоть и мерзлые, но есть можно. В вареве как свежие. Леском пахнут.

Бродить в чаще Федору Андреевичу и вовсе не хотелось, тем более искать какие-то там мерзлые грибы. Как ни странно, но он начал зябнуть в своей плотной одежде, должно быть оттого, что во время ходьбы порядком вспотел, и теперь в поясицу и особенно под рюкзак между лопаток прокрался липнувший к спине влажный холодок. Да и сквозь тесноватые бурки тоже начало пробираться. Самым разумным было бы вернуться домой, но обратный автобус будет только около пяти.

— Может, к леснику зайдём? — вспомнил Федор Андреевич про лесную сторожку, до которой было не так далеко.

Шутовского лесничего Федор Андреевич не знал, но вообще бывать в подобных сторожках приходилось, и он испытывал какое-то благоговейное чувство даже перед самим словом «лесник». Обычно завозил его туда все тот же замсельхозснаб Зинченко со своей компанией, и всегда с ночевой. Федор Андреевич и теперь еще с удовольствием вспоминал эти внезапные ночные наезды. Ему нравилась крошечная чернота леса прямо за порогом, просторные, душистые сеновалы, ружья и косульи рога на стенах, тыкавшиеся в колени мордами лобастые гончаки и даже керосиновые лампы под потолком, о существовании которых он уже почти забыл в городе. Сами они были мужики гостеприимные, хлебосольные, а главное — нетрепличные, если бывало чего лишнего. Когда на другой день просыпались, забрызганная ночью машина уже была сполоснута колодезной водой, вычищенные сапоги рядком стояли на завалинке, а в горнице предусмотрительно стоял кувшин холодного квасу на мяте.

— К леснику, говоришь? К Никанору? — переспросил Фомич. — Не-е! Он и в избу не пустит. Как увидит, что с пешнями, — даже калитки не откроет.

— Почему с пешнями? — не понял Федор Андреевич.

— Не жалует он нашего брата-рыболова. Мы ему как-то сеть на реке порезали. А ты что, озяб, что ли?

— Да есть немного... — поежился Федор Андреевич.

— Во! Мил человек! — встрепенулся Фомич. — Дак давай костерок запалим. Все едино идти теперь некуда. Чего ж зря мерзнуть-то?

Фомич, как бы обрадовавшись, что нашлось-таки дело, проворно сбросил рюкзак и, приговаривая: «Сейчас, сейчас, мы его! Это мы мёнтом!» — с усердием и проворством поползняя принялся обшаривать окрестные заросли, выдергивать из-под ежевичной путаницы старые валежины, обламывать со стволов сушняк. И когда костер загудел хватким порывистым пламенем, продрогший Федор Андреевич достал из рюкзака легкий складной стульчик, который, снаряжаясь на озеро, заведомо, еще по теплу, высмотрел в охотничьем магазине, пристроился на нем с наветренной стороны, чтобы не мешал дым, и протянул к огню ноги.

— Это дело! — одобрил Фомич, роняя наземь очередной бережок хвороста и видя, как ладно устроился на стульчике Федор Андреевич. — Вот видишь, он и пригодился, стульчик-то... Ах незадача какая!

Костер на ветру быстро пожирал легкие дрова, и чем больше в него подкладывал Фомич, тем жаднее набрасывался он на подачки, уже не разбирая, где сухое, а где мокрое, с гнильцой и трухлявинкой. И Фомич, едва присев у огня на корточки, снова отбегал за дровами.

— Надо бы потолще, — посоветовал Федор Андреевич. — А то так не напасешься.

— Ага, ветер! Да, понимаешь, топорик не взял, — посетовал Фомич. — С топориком вот как ладно. Прежде-то я всегда носил. А теперь стал выгадывать, чтобы ноша была полече. Вот и термосок уже не беру. — И засмеялся: — Дак я и ножик себе купил другой, попроще. А то был у меня охотничий. Всем хорош нож, да один изъян — больно тяжелый. Это я в книжке читал. Жулеверн, писатель такой был... Нет, не Жулеверн, а правильно надо Жюль Верн. Да у меня это одним словом проскакивает, так ловчее. Не читал такого? Я вот и певца американского тоже так. Знаю, что Поль Робсон, а я его — Коля Робсон, по-свойски, дюже хорошо поет... Дак, значит, в книжке-то этой. Летят они на воздушном шаре, путешественники, стало быть. Ну а в шаре вся сила на исходе, уже не может подниматься высоко. Вот-вот заденет корзиною за деревья. И давай они выбрасывать все лишнее: ружья, боеприпасы, топоры, утварь всякую, а потом и еду начали кидать за борт. Лететь-то



надо! Так и я: все излишки повыкидывал из рюкзака, охота полетать подольше. А сегодня топорик надо бы...

Фомич попробовал было притащить найденную колодину, попыхтел-попыхтел над нею, но, так и не осилив, отступился. Тут же поблизости попала сухостойная осинка, вся издолбленная дятлами, и он, навалившись плечом, взялся ее раскачивать. Осинка наконец надломилась у самой земли, стрельнула сухим ружейным выстрелом и, соря хрупкими, перестоялыми ветками, завалилась в объятия соседнего дерева. «Сейчас, сейчас...» — приговаривал Фомич, ухватив комель под мышку и рывками пытаюсь выпростать застрявшую вершину. Однако макушка засела крепко, и Фомич, дергая, упустил из рук комель и шмякнулся задом на землю, хохоча и охая.

— Ты ее не тяни! — подсказал Федор Андреевич, тоже усмехнувшись незадачливости Фомича. — Заводи ее в сторону. Она и обломится.

Дровину было бы легче вызволить вдвоем, но Федор Андреевич об этом как-то и не подумал. В прежние свои вылазки на природу всегда находились люди, которые запасали дрова, кипятили чай, чистили рыбу, расстилали брезент, ставили палатку, копали для насадки червей, оснащали удочки и даже указывали место, где надо забрасывать снасть. И если он выказывал какие-либо пожелания или просто спрашивал: «А что же не закопали в песок пиво?» — то кто-то готовно вставал и выполнял эти пожелания, шел и закапывал пиво в песок, и было бы противоестественным, если бы ему сказали: «Пойди и закопай сам». Привычное главенство как-то так автоматически переносилось и на пикник, где всякие устроительные хлопоты — скажем, собирать дрова — отводились младшим по чину (чаще всего это делали шоферы), тогда как право выбирать место у костра первому предоставлялось всегда Федору Андреевичу, и таким образом поддерживалась гармоничная структура загородного сообщества, где все довольны и весело вкушали заслуженный воскресный отдых. «А ты чего же не садишься?» — отечески спрашивал Федор Андреевич шофера, когда все уже разместились у костра. «Да ладно, кушайте, кушайте... — мялся тот. — Я пойду, еще дровец пособираю». — «Потом, потом! — отменял Федор Андреевич. — Нечего церемониться, давай садись». Все радушно теснились, пропуская к костру и шофера, но при этом раздвигались так, что ему доставалось самое дымное место.

Словом, Федор Андреевич, уйдя на пенсию, унес с собой прежние свои привычки, и даже теперь, когда у костра было всего двое — он и Фомич, — ему показалось бы нелогичным, если бы Фомич сидел у огня, а он, Федор Андреевич, таскал для него сушняк.

Впрочем, он никаким таким размышлениям и не предавался. Прежние привычки тем и удобны, что они, закрепляя благоприобретенный навык, избавляют нас от излишних раздумий по каждо-

му поводу. Думал же Федор Андреевич в эту минуту о том, что Фомич напрасно связался с этой осиной, потому что, пока он заламывал ее то вправо, то влево, то опять вправо, костер тем временем окончательно прогорел и запепелился. А надо было бы ему принести еще хвороста, тогда уж делать свое дело.

Фомич притащил-таки несговорчивое дерево, костер был восстановлен, и положенный поверх толстый сухой комель сразу же занялся на ветру.

— Во потеха! — засмеялся он, сдвигая со лба взопревшую шапку. — Я ее сюда, я ее туда, а она ни в какую! Ну дак как, полегчало? А то давай, бурки-то стяну, а ты поладней обуеешься. Поди, туго надевал портянок-то.

— Ничего, сейчас нормально, — сказал Федор Андреевич, отстраняя стульчик подальше от полыхавшего бревна.

— Ну дак если сверху обогрелись, — сощурил один глаз Фомич, — давай теперь изнутри тоже степлимся?

Федор Андреевич взглянул на часы, и тот понял это как согласие.

И опять, обретя дело, Фомич соколом слетал под обрыв, вернулся оттуда с большой охапкой камыша, расстелил его возле стульчика и, усевшись, потянул к себе рюкзак. Первым делом он вынул бутылку, поставил ее ближе к огню, чтобы согрелась, потом, расстелив между собой и Федором Андреевичем газетку, стал доставать еду, оживленно приговаривая: «Посмотрим, посмотрим, чего тут бабка спроворила?» — и выложил по порядку тройку яиц, пару котлет, два соленых огурчика и краюху хлеба. Раскладывая все это, он удивленно восклицал: «Ох ты, смотри, котлетки!»; «Ага, огурчики! Огурчики в самый раз! Молодец, бабка!»; «Хлебушко! Это дело»; «Э-э, старая, а помидорчика-то соленьенького и забыла! Помидорчика надо бы. Наверно, побоялась, что помнутся. Так можно было бы их в баночку закрыть. В баночке им ничего не сделается». И в завершение Фомич достал алюминиевый складной стаканчик, расправил его, со значением подул внутрь.

В свою очередь развязал рюкзак и Федор Андреевич, расстелил полиэтиленовый мешочек впритык с Фомичовой газеткой, так что получился как бы общий накрытый стол, и, небрежно бросив: «Особенного ничего, что нашлось...» — выложил свои припасы: куриную ножку, косячок голландского сыру, тройку румяных, с палец, пирожков и пакетик с маслинами.

— Ну! — восклицал Фомич, потирая руки. — Дак и совсем славно! А моя тоже тесто поставила, взгоношилась пироги печь. — И засмеялся шкодливо: — Дала пятерку, наказала, чтоб я на обратном пути торт к столу купил, а я, вишь, коленчатую... Дак и обойдется дело без торта, не дети. Пироги будут, чего ж еще?

Покопавшись в рюкзаке, Федор Андреевич извлек и свою маленькую серебряную фляжечку с цветным эмалевым гербом на боку.



— Ох ты, мать честная! — изумился Фомич. — Вот это лафитничек! Чистый сувенир!

— Да это зять. Из Будапешта прислал.

— И сколько в нем?

— Сто пятьдесят. — Федор Андреевич испытывал некоторую неловкость от того, что фляжка столь миниатюрна, не по фигуре.

— Стало быть, у них норма такая. А что? И правильно! Оно и носить легко, и обогреться одному в самый раз. С умом сделано, с расчетом! Чтобы, стало быть, ни больше, ни меньше, а — чук в чук. Это они умеют! Математики! Откуда, говоришь?

— Из Венгрии.

— А-а, мадьяры! Не-е, те не математики... Те больше скрипачи. Они и на фронте... Я тебе расскажу, под Белой Калитвой разбили мы ихнюю дивизию... Дак давай сперва... этого... — спохватился Фомич. — А потом я тебе доскажу. А то что же — она стоит непочатая, а мы разговариваем.

Под верховой ветер и морозный костяной перестук ветвей Фомич молча, аккуратно, домовито откупорил бутылку, по-аптекарьски наполнил, подняв на уровень глаз стаканчик и со стариковской многозначительностью, в которой не столько было самой потребности выпить, сколь желания посмаковать ритуал, протянул его Федору Андреевичу.

— Ну, давай, брат, по маленькой.

Федор Андреевич чарку взял, но с какой-то неохотой, с внутренней раздвоенностью: выпить ему, в общем-то, хотелось, он, пожалуй, и выпил бы сейчас как следует, будь он один или в хорошей компании. Эта же выпивка неприятно обязывала, тем более что угощал не он, а Фомич. И хотя искушение выпить взяло верх, все же он, взглянув на готовую пролиться через край, выпукло напрягшуюся, дрожащую влагу, для очистки совести заметил с упреком, что для него, пожалуй, многовато.

— Да чего уж... — сдержанно возразил Фомич. — По холоду-то...

Водка была еще холодна, Федор Андреевич не рискнул проглотить сразу, как обычно любил, а процедил ее в несколько потяжек, ощущая на губах обжигающий край металлической посуды, и пока он пил, Фомич недвижно и озабоченно наблюдал за каждым его глотком, и в карих его глазах отображались сопричастие и живая мука.

Федор Андреевич шумно вздохнул, отвернувшись, сплюнул горьковато-терпкую слюну и морщась, вроде как бы обижаясь за учиненное над ним насилие, не глядя, протянул в сторону от себя пустой стаканчик.

— Закуси, давай, закуси... — озабоченно задвигался Фомич, перехватив чарку. — На огурчик, огурчиком зажуй! — приговаривал он, поспешно вкладывая огурец в ожидающие чего-нибудь, шевелившиеся в воздухе пальцы Федора Андреевича.

Когда Федор Андреевич уже с торопливым хрустом грыз огурец, Фомич, убедившись, что с приятелем все нормально, налил и себе и, построжав лицом, с серьезной торжественностью объявил:

— Ну, за хорошее знакомство, значит... Чтоб не последнюю...

Пил он тоже торжественно и благоговейно, закрыв глаза, как бы отгородившись веками от посторонних, потом в раздумье, с внутренней тишиной обтер усы, бережно поставил стаканчик и так же бережно отрезал от огурца колечко и только после этого, будто очнувшись, заговорил:

— Ты давай ешь, закусывай. Вот котлетки, яички...

Федор Андреевич, не любивший чужой стряпни, недоверчиво взглянул на котлеты, обрамленные белым застывшим жиром, которые жарила какая-то старуха, должно быть, на чумазой сковороде, и предпочел свой домашний пирожок с мясом. Фомич, деликатничая, не посмел попинаться на Федора Андреевича половину, и таким образом, хотя стол был вроде бы и общим, закусывали каждый своим.

— А-а! Про мадьяров! — вспомнил Фомич. — Захватили мы ихний обоз — восемь скрипок нашли! А самолетов нет! Целая армия на Дону стояла, и ни одного самолета! Дак и танки чужие — у Муссолини на хлеб выменяли. Он им весь свой хлам сбыл. На них пахать, дак и то двухлемешный плуг не потянет. А то офицеров в плен брали: у каждого в шапке петушиное перо. Синее такое, серпом над ухом торчит. И шпоры на пятках. Вырядился — чистый кочет. Кочет-то кочет, а воевать никак не хочет! — расхохотался Фомич. — Не встречал таких?

— Не приходилось, — подтвердил Федор Андреевич.

— А-а, дак ты по броне был... Тогда, конечно, не видал... А я, брат, от Белой Калитвы аккурат до Берлина. Правда, больше шилом воевал, — опять засмеялся Фомич.

— Как так — шилом? — не понял Федор Андреевич.

— Да так! Обыкновенным шилом. Сам-то я стрелком в роте числился, и винтовка была, и патроны, все, как положено, а больше шилом орудовал. Ну дак чего тут непонятного — шорник я по довоенной специальности. Шорником и на войну пошел. Ну, как узнали, что я шорник, и не стало мне никакого житья. Хозчасть к себе тянет, а ротный не отдает, ему стрелки позарез нужны. Тот — себе, этот — себе. Аж до батальонного дело дошло. Тот и рассудил спор: чтоб я и там и там был, смотря по обстановке. Да так и таскали меня... то в обоз, то опять в окопы. Если по совести, на передовой и получше, посвободней. Там и медальку скорее схлопочешь. А в обозе и день и ночь с шилом, особенно если дороги развезет. Пехота начнет наступать — все приходит в движение: обозы, кухни, санчасти. Патроны везут, продовольствие везут, фураж, всякую амуницию, опять же раненых в тыл — сотни подвод! Повозочные орут.



матерят друг друга, грязь по ступицы, лошаденки надрываются, хомуты трещат, постромки лопаются, а тут еще то артналет, то бомбежка... Руки аж до крови дратвой, а обозники все напирают: «Фомич, сделай! Фомич, выручи!» Как попадет нитка в старый порез, хоть волком вой. Поскорей, думаю, в роту бы отправляли. Уж клянусь себя, что назвался шорником...

Фомич подтянул на угли обгоревший конец осины, подбросил мелочи.

— А вот, скажи, как жизнь переменилась! — воскликнул он. — Теперь такой специальности и нет! Даже по деревням не стало. Сама собой извелась. Кончились хомуты да постромки. А то, бывало, завод и тот без шорника не обходился. Я ведь десять лет на заводе шорничал.

— На каком заводе? — поинтересовался Федор Андреевич.

— На МРЗ. Машиноремонтный. Сейчас-то он уже не ремонтный, а тогда только ремонтировали, а делать еще сами ничего не делали.

— Знаю, ну как же! — кивнул Федор Андреевич. — Это ж в какие годы?

— Да в какие... В двадцать седьмом я, стало быть, поступил и аж до тридцать, считай, седьмого.

— Между прочим, и я на том заводе работал, — признался Федор Андреевич.

— Да ну?! — обрадовался Фомич. — На МРЗ?

— На МРЗ.

— Который на Чаплыговке?

— Ну а где ж еще?

— При Лыкине? При Аким Климыче?!

— При Лыкине, — усмехнулся Федор Андреевич.

— Пляди-ка! А в каком цехе?

— В механическом. Токарем.

— Постой, постой... А станок где стоял?

— Ну, точно не помню. Кажется, третий от входа. У глухой стены.

— Третий... Третий... — наморщил лоб Фомич. — Если третий, так за ним Федька Толкунов токарил. Может, помнишь, такой длинный малый, в солдатских галифе и в ботинках с крагами?

— Так это я и есть! — ерзнул довольно стулом Федор Андреевич.

— Да не может того быть! — Фомич хлопнул себя по коленкам. — Ты — Федька Толкун?! Не-е! И не говори!

— Чего ж — нет?

— Мать твоя мачеха! — откинулся Фомич ошеломленно. — Федька!.. Федор!.. Ну дела! Полдня вместе ходим, и — хотя бы в зуб ногой, не догадался. Дак и где ж признать: вон как раздался!

— Так и я тебя не узнал.

— Ну как же! Степка я! Степка Лямин. А больше Жучком звали, — засмеялся Фомич. — Степа Жучок. Не вспомнил?

— Да, да... Что-то припоминается... Ну да, Жучок, Жучок... Был такой... Чернявенький...

— Во-во! — счастливо расплылся Фомич. — Все точно!

В памяти Федора Андреевича постепенно ожили те далекие, почти забытые годы, когда он начинал в ремонтно-механическом токарем. Даже вспомнились кое-какие подробности.

В полутемном закопченном цеху стояли тогда старенькие разболтанные токарные козлики, на четырех растопыренных ногах. Питерские, ревельские, шведские, немецкие. Были даже тысяча восемьсот какого-то года выпуска. Приводились они от общей трансмиссии, подвешенной под потолком, откуда к каждому станку тянулась ременная передача. Сколько станков — столько и снующих, пляшущих, шлепающих ремней. Перед каждым токарем свисал с трансмиссии деревянный, захватанный солидолом рычаг метра полтора-два длиной.

Если надо было остановить шпиндель, токарь хватался за рычаг и толкал его вправо. Палка эта давила на бегущий ремень, отесняла его с рабочего шкива на холостой, станок останавливался, тогда как ремень продолжал вертеться впустую. Канительное и хлопотное дело! Изношенные, шитые-перешитые ремни вытягивались, хлябали, давали пробуксовку и часто рвались, заклинивая шкивы, а то и калеча токарей. В цеху по несколько раз в день кто-нибудь кричал во всю глотку: «Шорника! Шорника сюда!»

И летело по переходам и другим цехам от рабочего к рабочему: «Шорника в механический! Где шорник, черт бы его побрал!»

Наконец заявлялся и сам шорник — кудлатый, черномазый Степка Жучок, обвешанный кусками приводных ремней, в заляпанном варом дерюжном фартуке, в карманах которого побрякивали всякие шилья. «Ну, чего орете? Вас много, а я один. Вон в ситопробойке тоже порвало». Ситопробойка была единственным цехом, где не ремонтировали, а выпускали новую продукцию: дырчатые сита для сортировок. Дыры в железных оцинкованных листах пробивали нехитрыми механизмами, тоже работавшими на ременном приводе. Жучок вбегал в механический запаленно, загнанно и накидывался на токарей: «Опять изорвали! Я же вчера все ремни починил. Вам только на бабкиных пряжах работать. Темнота!» И, оглядывая порванный привод, с озабоченной важностью выкладывал на слесарный верстак свои шорницкие причиндалы. Держался он с гордецей и был на заводе видной фигурой, от которой во многом зависели и заработки станочников, и представления их на красную доску.

Федор Андреевич поглядывал теперь на Фомича, который и ему когда-то объявлял: «Дуй-ка, Толкун, за пивом, ушивальник смочить надо, а то больно сухой: не протянешь», — пытался отыскать в нем что-либо от прежнего Жучка и не находил: то ли мешали седые об-



вислые усы и старческие морщины, то ли за давностью лет и вовсе запамятовал его лицо. Разве что осталась от прежнего вот эта безалаберная непоседливость.

События тех лет, как и сам Степка, были так далеки, так крепко занесены временем, что Федор Андреевич смотрел теперь на объявившегося Жучка, как на некое ископаемое.

— Ну, брат, история! Да чего ж это мы... Давай, раз такое дело... — Фомич старательно наполнил стаканчик. — На-ка, Федя, держи! За встречу. Вот видишь, бутылочка аккурат впору приплась. Как сердце мое чуяло.

— Да, холодновато нынче... — крикнул Федор Андреевич, принимая стаканчик.

— Это сколько годов-то прошло, как не виделись? Чуть ли не сорок, а? Еще пацанами на завод бегали. — Фомич, не переставая изумляться, счастливо поглядывал на Федора Андреевича. — А теперь вот и на пенсии. Считай, целая жизнь... Да-а, побелел, побелел ты, Федя. Засеребрился!

— Что поделаешь... — отвел взгляд Федор Андреевич. Он никак не мог совместить прежнего Степку с теперешним Фомичом в одного человека, и ему было как-то непривычно и даже неприятно, когда тот называл его Федей.

— А я думал, ты как уехал тогда в Харьков, помнишь, в тридцать пятом, так больше и не возвращался.

— Да нет, после Харькова я опять сюда.

— Ага... Так, так... Дак и куда?

— На МРЗ и пришел.

— Пляди-ка! На прежнее место, значит! Ну я, брат, уже тогда там не работал. Я в тридцать седьмом оттуда уволился. Выходит, Федя, разминулись мы с тобой. Ты — туда, а я — оттуда.

— Выходит, так.

— Да где живешь-то теперь, на какой улице?

Федор Андреевич изучающе посмотрел на Фомича.

— Павших борцов, — сказал он не сразу.

— Вот так штука! — вскинулся Фомич. — Дак и я на Павших! А дом какой?

— Дом?... Гм... Ну, сорок два.

— Мать твоя мачеха! Пляди-ка! А мой тридцать девятый! Как раз через дорогу. Аптеку знаешь? Так аккурат над аптекой, восемнадцатая квартира.

— Я в городе, в общем, теперь редко бывало, — намекнул Федор Андреевич на всякий случай. — Я больше теперь в Подлипках.

— Ну да вот зима заходит, заглядывай когда, посидим, поговорим в тепле. У тебя время теперь свободное. А мы со старухой одни живем. Все мои орлы поразлетелись, квартира пустая. Заходи, Федь, честное слово! Без всяких церемоний. У меня бабка огурчики хорошо засаливает. Как, ничего огурчики?

— Ничего, приятные.

— Ну дела! Друг против друга живем, а ни разу не встретились. Дак где ж тебя встретишь? Поди, высоко летал... — рассмеялся Фомич. — В автобусах не ездил небось, в магазины не ходил...

— Такая жизнь, — дернул плечами Федор Андреевич. — Служба — дом, дом — служба. Как белка в колесе.

— Дак и встретиться на улице, нос к носу, ей-бо, не узнал бы! Руби голову! Разве узнаешь — чистый генерал стал!

— Какой там генерал: сердце стало барахлить, — объяснил свою полноту Федор Андреевич.

— Ну, ты еще герой! — Фомич любовно оглядывал собеседника. — Еще вон какой свежий. Дак ты на пенсию откуда пошел, не пойму я?

— Оттуда и пошел,

— С МРЗ?

— Теперь он не МРЗ, — поправил Федор Андреевич. — Теперь он «Коллективист».

— Ну да я все по-старому, по привычке. Дак скажи, до чего дослужился-то? Чего таишься?

Федор Андреевич усмешливо дернул губой. В общем-то, ему не хотелось себя называть, и он произнес со вздохом, даже с каким-то порицанием:

— Директором я, друг мой, директором...

— Директором?! Директором завода?! Ох ты мать честная!

— С тысяча девятьсот сорок восьмого года.

— Ну, Федор! Ну, молодец! Вот это я понимаю! — ликовал Фомич. — То-то я гляжу, какой-то ты не такой...

— Какой же? — с любопытством усмехнулся Федор Андреевич.

— Ну как тебе сказать?.. Дак и в разговоре чувствуется.

— Ерунда...

Фомич, смеясь, погрозил пальцем:

— Есть, есть! А вообще молодец! А я слышу: «Толкунов, Толкунов» на МРЗ, а самому невдомек, что это ты там командуешь. Думал, однофамилец. Ну да я больше там и не бывал, отвык помаленьку. Как-то ехал мимо, смотрю, заводоуправление новое, с колоннами. Фонтан бьет. А это, значит, ты все шуруешь.

— Ну, это давно построено.

— Дак чему удивляться: уж и город за эти годы вон какой стал, ничего от прежнего не осталось. И домов, в которых родились, давно нету. А ведь вспомнить, какой городишко-то был, с чего начинали, а, Федь?

— Как же, помню...

— Церкви, барахолки, булыжник на мостовой, воробьи середь улиц в конском навозе копаются. Бывало, бежишь на завод, а по городу телеги громяют. Прямо как землетрясение. Фуры всякие,



грабарки, пароконки... Утром весь город в тележном грохоте. Это когда они еще налегке, порожняком. А потом целый день уголь везут, кирпич, везут мешки, ящики... А сейчас от машин улицу не перейдешь. Во как переменилось!

— Да, большие перемены... — Федор Андреевич бросил в рот маслину.

— На главной городской площади возле исполкома и то коновязь стояла. Пока начальство заседает, конюха тем временем с таратайками внизу дожидаются, лошадям корм задают, на голубей в небе зевают. Личные водители!

Фомич дробно засмеялся.

— Дак и у нас на заводе тоже своя конюшня имелась. Ты, может, и не помнишь, а я сбруи чинил, помню. Шесть пар ломовых, два легких выезда, да еще директорский. Буланый под седло. Это уж потом на заводе машины объявились, а до того всё на лошадях: и железный прут для кузницы подвезти, и в банк за деньгами послать. Дак и Лыкину куда съездить. Помнишь Лыкина? Аким Климыча?

— Ну как же...

— Бывало, выйдет на крыльцо и — конюху Николаю: «Батя, коня! В исполком надо!» Во мужик был, а? Твоего росту, только посуше, два ордена боевого Красного Знамени на кумачовых бантах, баранья кубанка на левом ухе. Самого уха-то не было, шашкой отсечено, так он все кубанку кособочил, дырку прикрывал. Идет к конюшне, ноги уцепистые, плетью по сапогам пошлепывает. А то, бывало, разохотится, скажет конюху: «Ну-ка, батя, погоди, дай я сам, не разучился ли?» И сам взнуздает Буланого, седло затянет. Раза два с нами даже в ночном бывал. Это, значит, дед Николай соберет всех заводских лошадей под выходной и — за город, на свежую траву. Ну и я с ним иногда увяжусь. Сидим как-то, вот как с тобой, костерчик палим, чай греем. Вот тебе сам Лыкин к огню подходит. Примите, говорит, братцы, в подпаски. Соскучился я по вольной воле. Ох и порассказывал он нам тогда всякого... У него на спине звезда вырезана. Сам видел, когда на речке коней купали. Это он, раненный, к Дутову в плен попал... Ты ведь теперь как? Кнопочку нажмешь, вызовешь секретаршу, Даша или там Маша, позвони, мол, в гараж, к трем часам машина нужна... А Лыкин — не-е! Он, бывало, сам!

— Если сам седлал, значит, время лишнее было, — заметил Федор Андреевич. — Теперь и он по гаражам не ходил бы. Не те масштабы.

— Ну дак ясное дело! — согласился Фомич. — Об чем и разговор: далеко ушли от тех времен. Оно и верно, какие тогда масштабы? Всех-то заводчиков — по пальцам перечесть. Ну, наш МРЗ был... Кожевенный, на Терновке. Дрожжевой, крупорушка. Ну еще депо можно посчитать. А остальное — вовсе мелкота. Наш дак про-

тив других самый крупный. И гудок у нас побасовитей был. Бывало, загудят все разом пересмену — кожзавод с сипотцой, старичком; крупяной — тот высоко, по-бабьи. Тут и наш голос подает. Ну дак наш — ого! Шаляпин!

— Гудок — еще не завод, — возразил Федор Андреевич. — По правде сказать, то были плохонькие мастерские. Заводом он потом стал.

— Ну ясное дело! — согласно кивнул Фомич. — Оно конечно, завод был не ахти какой, а по теперешним размахам — дак и правда — мастерские. Что верно, то верно. Но Лыкин, я тебе скажу, масштабный был мужик! Не знаю, как у него с грамотёшкой, наверно, как и у всех тогда, но глядел далеко. Помнишь, как он на митинге говорил, когда отремонтировали первый «фордзон»? Он так сказал: «Мы сейчас работаем полукустарно, нету у нас техники, надежных станков нет, плохие у нас инструменты. Но это, говорит, не позор! Пока будем на этом, на чем есть, учиться, делать из себя сознательных рабочих. Конечно, говорит, спору нет, в больших, хороших цехах да с хорошей техникой работать лучше, и все это будет у нас. Но нам в данный момент важнее всего не какой есть завод, а кому он принадлежит». Понял... как он? Для нас, говорит, завод — не просто место, где мы работаем. Он для нас — пролетарская школа, наш полигон, боевая позиция, откуда мы, дескать, пойдем на разруху и на мировой капитал. Во как! Не-е, с головой был мужик! Дак он потом, помнишь, привел в цех учительницу, совсем девчоночку, привел и говорит: кто не умеет писать, вот, учитесь у нее. Классов у нас пока нету, и парт еще не наделали. Да вы, говорит, и не малые дети. Возьмите вон во дворе лист котельного железа, повесьте на стене и на нем пишите, и чтоб больше ни одного креста не было в ведомости! Хватит ставить кресты! У вас, говорит, есть имя.

Фомич поднял палец и со значением посмотрел на Федора Андреевича.

— Понял? А то встречает он меня как-то раз на конюшне, спрашивает, чем, дескать, я там занимаюсь? Да, говорю я, в цехах пока все нормально, обрывов нет, зашел к деду Николаю пособить. Вот, говорю, аккурат овсеца лошадям насыпали. Походил, поглядел, потрепал своего Буланого и говорит: нет, Степан, не рабочий ты человек. Как, удивился я, не рабочий? Все свое сполняю, даже на красной доске висю. Как так не рабочий? А вот так, говорит, нет в тебе рабочей косточки. Цыган ты, лошадирик. Дак и ты, говорю, Аким Климыч, любишь на конюшню ходить. Засмеялся! — То — я! Я четыре года в седле провел. И ел и спал на коне. А ты, говорит, молодой: чем возле конских хвостов ошиваться, лучше бы еще чему научился. А я и учусь, отвечаю ему. Вчера с учителькой басню Крылова читали. Могу, говорю, наизусть доложить. «Волк на псарне».



Про Наполеона Бонапарте. Опять смеется: да разве я про басни? Книжки — это хорошо. Это, говорит, ты молодец, если читаешь. За это хвалю. А только, говорит, даже если и выучишься грамоте, все равно ты мне не нужен будешь, распрощаемся мы с тобой. Скоро, говорит, ни конюх<sup>а</sup>, ни шорники не понадобятся. Даже грамотные и те не нужны будут. Скоро, говорит, на моторы перейдем, на электричество. Так что, чем около лошадей околачиваться, лучше, говорит, возле станка постой, посмекай, что к чему.

Фомич зарделся лицом то ли от выпивки, то ли от воспоминаний. Перед ним так и лежали нетронутыми котлеты, а перед Федором Андреевичем — нетронутая куриная ножка, и Федор Андреевич, видя, что напарник не собирается есть его курицу, решительно принялся за нее сам.

— А в тридцать третьем, помнишь, как нас прижало? Прямо край подошел. Ну дак чего: хлеба двести пятьдесят граммов на рабочего, остальное — кто что придумает. А что тут придумаешь? Костяную муку и то по карточкам выдавали. На других предприятиях все-таки полегче было. На кожзаводе остатки сала со шкур соскребали, добавляли в варево, холодец из сыромятины варили. Дрожжзаводцы — те дрожжами спасались. На крупяном тоже так не бедствовали, все-таки кое-чего и для рабочей столовой перепадало. Правда, крупорушку потом закрыли, нечего было рушить. Так люди все закоулки, все стены вениками вымели, пособрали пыль. Ну а на нашем заводе что? Одно железо. Я как-то еще ничего, держался, по цехам пробегусь, и то легче. Или во дворе на солнышке погреюсь. Солнце оно вроде бы помогало. А ты, помню, опухать начал, даже галифе в голяшках распорол, ноги в штаны не пролазили.

— Было, было... — кивнул Федор Андреевич.

— Да и другие станочники тоже. Трудно смену-то на одном месте выстоять. Помнишь, как одну ситопробойщицу в ремни замотало? Тоже так вот потеряла равновесие, голова закружилась. Прибежал Лыкин, бледный весь, и сразу ушел. А потом слышим — во дворе выстрел. Это он в конюшне своего Буланого хлопнул... К весне из пятнадцати лошадей одна пара осталась. Помаленьку тянули, так только, чтоб какая-никакая поддержка рабочим была. Всех подчистую тоже нельзя было, оставлять завод без транспорта. Дак Лыкин чего? Вот все-таки хлопотной был мужик! Как травка полезла, надумал он кроликов разводить. Где-то раздобыли-таки пару. Ну, с них и началось. А летом уже клетки в три яруса стояли. В пустой конюшне. Приставили к ним пятерых женщин, и пошло дело! Лыкин наказал всем, без исключения, даже бухгалтерам: каждому пошить сумку и носить траву. Да ты помнишь: идут на работу люди, а через плечо сумка с травой. Рви где хочешь, а принеси. Тем и продержались. Ну а с новины уже и полегчало. Вот скажи, как было, а план все-таки держали!

Многое из того, о чем рассказывал Фомич, Федор Андреевич теперь уже и не помнил, во всяком случае с такими подробностями. Тот далекий отрезок его жизни отстоял особняком, представлял собой как бы эмбриональный период, когда он еще не был тем Федором Андреевичем, которым стал потом и каким он привык ощущать, осознавать и оценивать себя все остальные десятилетия. За повседневными делами и административными хлопотами он все реже и реже заглядывал в свое предисловие и потому воспринимал его теперь больше биографически, анкетно: с такого-то года по такой-то работал токарем, тогда-то закончил вечернюю школу, в таком-то году поступил в техникум и так далее... Он, например, помнил, что голодал, но что ел тогда, чем был жив, сказать уже не мог, помнил это не внутренне, не физической памятью каждой клетки, а как бы со стороны, уже не умея содрогнуться от пережитого.

И когда Фомич помянул, что он, тогдашний Толкунов Федя, даже опухал от недоедания, Федор Андреевич с каким-то отстраненным любопытством слушал и узнавал о себе эти подробности и подтверждал кивком головы: «Было, было» — не потому, что сам помнил, а больше потому, что это было ему приятно, как признание его не-напрасного мученичества.

— Вот, Федя, какие огни-воды да медные трубы мы с тобой прошли!

— Да, да... — кивнул головой Федор Андреевич. Ему не терпелось выпить еще, но Фомич, увлекшись разговором, мешкал, не предлагал, и он, взглянув на бутылку, напомнил уже сам: — Разлей, что ли...

— Ага, правда, — спохватился тот. — Чего это мы...

Они выпили еще по одной, и Федор Андреевич, чувствуя прилив аппетита, потянулся за яичком, обколупал его и бросил в рот целиком.

— Котлетку, котлетку бери. — Фомич пододвинул закуску. — Котлетки телячьи. Вчера бабка на рынок бегала.

Федор Андреевич, поколебавшись, взял и котлету, которая оказалась, в общем, ничего, с чесночком и перчиком.

— Пришлось, Федя, пришлось... — вернулся к прежнему Фомич. — А ничего, выдюжили! Потом, когда минули тридцать третий, люди даже вроде как просветлели, будто обновились, очистку прошли. Всю с себя старую окалину сбросили. Вот ты говоришь: гудок. Дескать, не по Сеньке шапка... Не-е, не скажи! Я утром, бывало, услышу, и что-то шевельнется такое, сродственное: наш зовет! Было с тобою? Помнишь?

— Ну как же, было, было...

— Ну, вот, видишь! И мать моя тоже: что ж ты, скажет, Степа, мешкаешь, еще и не умывался, наш вон прогудел. Дак и детишки заводской гудок узнавали. От горшка два вершка, а уже знает: пап-



кин гудит. Верно тогда Лыкин сказал: завод — это рабочая школа. А я тебе еще так скажу: если бы не завод, не знаю, как бы перенесли то лихое время. Тут дело даже не в похлебке, которую нам давали в столовке. Ну, конечно, без нее и вовсе край. А в том, я так понимаю, что вместе легче было нести беду на глазах друг у друга. Совместная работа, она ведь многое значила, не давала расслабиться. Не будь дела, лег бы и — конец тебе! И сам Лыкин — он тогда с женой прямо при заводе жил, на втором этаже, над конторой — это уж непременно каждый день по цехам пройдет, поговорит, с мужиками покурит. Не знаю, что он там дома ел, как перемогался, может, чего и получал дополнительно...

— Получал, получал... — поспешил заверить Федор Андреевич.

— Ну, может, и получал лишку, сахару или там крупцы какой, а только, гляжу, и он пожелтел, усох весь, залысины обнажились. А виду не подавал, все шутил, бывало. В перерыв обязательно приходил в столовую, обедал вместе со всеми, ел общую баланду. Ну, может, это он так только, для одной видимости, но в рабочий котел всегда заглядывал. Вот, говорим, Аким Климыч, оставили тебя без выезда, съели твоих рысаков, ходи теперь пешком. А я, смеется, велосипед себе куплю, с грушей: уйди, уйди! Ничего, говорит, братцы, до травки как-нибудь дотянем, а там свой санаторий откроем. Думали, что он так просто, шутит, а он всерьез это. Чуть снег убрался, запрягай, говорит мне, поедem место смотреть. Дед Николай еще зимой помер, дак я у него с год конюховал по совместительству, пока машину не получили. Ну, приезжаем мы в лес. Лыкин соскочил с таратайки, ходит, глядит, что-то шагами меряет, а над нами сосны шумят верхушками. Хорошо так смолкой пахнет, голова аж от воздуха кружится. Вот, говорит, Степан, тут и откроем себе курорт. И верно, за месяц прорубили просеки, посыпали песочком, поставили навесы для столовой, котлы привезли, разбили всякие там площадки под городки, волейбол, для детишек грибков наделали, качелей-каруселей. Лыкин вместе со всеми и лес расчищал, и плотничал. За четыре субботника все отделали, покрасили. Вот как славно получилось! Тем же временем Лыкин раздобыл у местной воинской части десятка три палаток. Палатки, правда, старенькие, списанные, ну да женщины взялись, где чего подшили, подштопали, где заплаток положили — все сгодилось. Натянули на колья в два ряда — красота! Чистый курорт! Сначала только на выходной путевку завком давал, а на другое лето, когда с продуктами уладилось, хоть весь отпуск живи! Тогда воскресений, как теперь, не было, пять дней работали, шестой — выходной. Вечером пятого собирались, у кого на руках путевки, и шли туда с ночевой. Верст пять пешком. Потом получили машину, на грузовике подвозили. Ну да оно и пешочком, если всем гамузом, не в тягость. Так что вечер да еще весь следующий день отдыхай. Там и кормежка была получше, да и так — на воздухе. У нас завод-

ской огородец был, к столу всякий лучок, редисочка, а тут как раз кроли пошли, забивать стали, даже иной раз кролячьи котлетки перепадали. Правда, первый сезон каждый свой хлеб приносил, картофельную пайку. А так хорошо получилось, все довольны. И детишек с собой, кто хотел, брали, детям тоже в радость. Да что я тебе рассказываю, и сам там, поди, бывал.

— Да что-то помнится, раз или два, — сказал Федор Андреевич. — Я ведь на следующий год в Харьков уехал.

— Да, да, в Харьков... Ну а как первый грузовик получили — при тебе было? Такой высокий, на тонких колесах? Ярославского завода?

— Это, кажется, при мне...

— А оркестр?

Федор Андреевич наморщился, вспоминая:

— Погоди... Оркестр, оркестр...

— Мы еще тогда второе место заняли по Российской Федерации, — подсказал Фомич, — а нас за это оркестром премировали. А?

Про оркестр Федор Андреевич что-то запомнил, и Фомич торжественно хлопнул себя по коленкам:

— Забыл, забыл, Федя! Ну ясное дело: ты-то не играл, не любитель был, а я на альтухе выучился. Вышли мы, помню, в первый раз с оркестром на седьмое. Все остальные колонны еще с гармошками, а мы с новеньким духовым. Новые трубы сияют, ребятишки бегут рядом, боятся отстать, ловят момент, когда играть начнем. Ну а мы сами волнуемся, как бы не сбиться, в первый раз ведь на параде. На всякий случай друг другу на спины ноты пришили. Вышли мы на главную, на Ленинскую улицу, кругом флаги, портреты, народу — тысячи. Лыкин обернулся, машет, давай, мол, ребята, три-четыре... Ну мы как врезали: «Смело, товарищи, в ногу!» Как все повалили к нам: глянь, глянь, кричат, МРЗ идет! МРЗ! С музыкой! Конная милиция давай не пускать, оттеснять лошадьми народ, кони и сами шарахаются, на дыбки встают, никогда оркестра не слышали. А мы знай рубим, лица у всех строгие, в ноты глядим, а у самих что твои крылья за спиной, так тебя и поднимает куда-то: такая это музыка! Тут как раз дождь усыпал, мокрый снег повалил, а мы идем, ни дождя, ни снега не чуем, будто нас и нету вовсе, а есть один только марш:

*Сме-ло, това-рищи, в ногу-у,  
Ду-хом окреп-нем в борьбе-е...*

Фомич попытался голосом изобразить, как они тогда играли, пропел как-то по-стариковски немощно, дребезжаще, глаза его вдруг влажно заблестели, и он, махнув рукой, виновато засмеялся:

— Не-е, нема делов, порошишко отсырел. Вот бы мне альтуху сюда...



И минуту спустя воскликнул очистившимся голосом:

— Во, Федя! Ноябрь во дворе, дождь пополам со снегом, а в колонне женщины наши заводские, ситопробойщицы, мойщицы, и все в одинаковых майках, в сатиновых трусах. Снег по голым лыткам сечет, а они идут! И в ногу, в ногу, ядреный якорь! Сказать бы — девочки, так ладно. А то — матери! Которым и по тридцать, а то и по сорок лет. А не стыдились, что в майках. Во как себя понимали: и голодногато, и нарядов никаких таких особенных, но ни одна из строя не выскочит и лозунга другому не отдаст. Ну так они, наши заводские бабенки, в тридцать шестом, почти все посдавали нормы на ворошиловских стрелков. Бывало, это уже без тебя, свезут их на ЯАЗе за город, в овраг, дадут малопульки, а они и давай лупить по фанерному фашисту. Да еще серчают, когда в голову не удастся попасть. Им инструктор говорит, надо в грудь метить, дескать, самые очки там, а они все норовят в морду, в морду! Вот тебе, друг мой Федя, и гудок!

Фомич опять поднял кверху палец, подержал его возле треуха, многозначительно сощурясь.

— Да-а... Ну так мы чего? — продолжал он. — С демонстрации — снова на завод. Не-е, никто никуда, все опять строим, с музыкой. А там в цеху уже общий стол накрыт, прямо в проходе между станками, все честь по чести. Мы всегда, помнишь, в вашем, в механическом, праздновали, когда еще клуба не было. В столовке тесно, там всегда в три захода обедали, в моечном сильно отдает керосином, а в вашем хорошо, просторно. Садимся, значит, Лыкин тоже с нами, партком, завком, весь красный треугольник. Ну как положено: сначала приказ зачитают, кому грамоты или там благодарность. И детишки тут. Им тоже по кульку конфет, пряников, петушков на палочке, а потом, чтоб не мешались, кто-нибудь из завкома поведет по цехам показывать, где чьи отец-мать работают, разные станки, кузницу. А мы, значит, в механическом... Так рассчитывали, чтобы посидеть по-хорошему, поговорить про заводские дела, где какие неполадки. И руководство покритикуют, если что не так было. Старик-кузнец, помнишь, Рогов Ефим Василич, бывало, подсядет к Лыкину, давай, дескать, Аким Климыч, с тобой выпьем. Хороший ты мужик, нашенский, но вот тут-то и тут-то ты даешь промашку... Посидят-поговорят... Ты ведь, Федя, теперь как? — засмеялся Фомич. — Колонну мимо трибуны провел, откозырял начальству, отчитался, а за углом тебя машина дожидается.

— Ну-ну... — снисходительно усмехнулся Федор Андреевич. Он сидел на стульчике, простерев к костру пухлые ладони с растопыренными пальцами, поворачивая их так и этак, будто поддурманивал на вертелах ухоженных цыплят.

— Ну так ясное дело: остальные тоже кто куда. Плакаты да портреты покидают в кузов, а сами по своим норкам. И получается «Шумел камыш».

— А Туртыкин ваш как же? В цеху с вами?..

— Дак и Туртыкин тоже... на машину.

— Все это, брат, демагогией называется. В цеху, за одним столом... Вон, видел, утром ехал с нами курортник... Такого только пусти за стол, он и ноги на стол. Отошла эта кустарщина, рюмочное братание. Завод есть завод, а не забегаловка.

— Вот уже и обиделся! Ладно, Федя, не серчай, это я к слову. А помнишь, как на учебу тебя провожали! Вас тогда трое было: Тутов Иван из кузнечного, Зинка Фетрова из ситопробойки и ты. С духовым оркестром! Ты в белых парусиновых штанах, баульчик фанерный.

— И баульчик помнишь? — удивился Федор Андреевич. — Я и то забыл...

— Ей-бо, помню! — засмеялся Фомич. — Такой круглый, с дверцей на боку, как улей-дуплянка. И замочек маленький, зеленый такой. Зинка обнимается с подругами, ревет, дуреха. Грузовик вам подали, чтоб на вокзал ехать. Лыкин руки жмет, по плечу хлопает. Запомните, говорит, ты, Федор, ты, Иван, и ты, Зинаида. Это когда митинг начался. Ваши, говорит, знания, которые вы получите, это не ваша собственность, как штаны или чемодан. Это раз. А второе, говорит, само по себе ученье еще не наука. Самая главная наука: ежели ты поднялся высоко, гляди не сверху вниз, а и оттуда, с этой своей ученой высоты, смотри опять же снизу вверх. Потому, говорит, что выше народа все равно никому не подняться. А теперь, говорит, поезжайте, час добрый. Ну-у, музыка, помахал он нам, давай марш! Зинка опять в рев: да как же я там без вас буду, вы мне все как родные. Дак и ты рукавом утерся...

— Так уж... — усмехнулся Федор Андреевич. — Сочиняешь!

— Чего сочинять? Вы как раз все трое в кузове стояли. А я с оркестром напротив. Дак Иван с Зинкой куда потом делись-то?

— Тутов до подполковника дослужился. Потом где-то в Сибири мосты строил. Теперь, наверно, тоже на пенсии.

— Так, так...

— А Зинка, писали мне, погибла в сорок втором. В десанте, что ли...

— Ох ты, смотри как!

— Говорят, будто Героя ей дали посмертно, но я что-то в газетах не читал, не знаю... На нее не похоже...

— Да кто же ее знает. Оно, Федя, не похоже, пока случай не подоспеет. — Фомич в раздумье пощипал усы, но тут же вскинул голову. — А ты по броне, значит! Ну дак смотри, как у тебя все славно! Вон как в гору пошел, большим человеком стал! Поди, персональную теперь получаешь. А я, брат, не-е! Ничего из меня не вышло.

— Что так?

— Да что? Дурак дураком был. Лыкин мне еще когда говорил: давай, Степан, вникай, скоро твоему дратвенному рукоделию ко-



нец будет. А я про себя посмеиваюсь, дескать, пугаешь, Аким Климыч. Как это, думаю, станок без ремней обойдется? Ну, пусть с мотором. Дак ведь и на моторе тоже ремень должен быть. Видишь, какой я Архимед был? Ан — все не по-моему обернулось. Вот тебе приходят в тридцать шестом на завод токарные ДИПы.

— Догнать и перегнать, — расшифровал Федор Андреевич.

— Ага. Догнать и перегнать страны капитала. ДИП-200. Мать честная! Скоростные, с коробками передач, и — никаких ремней. Одни ручки да кнопки. Выбросили из цеха старые драндулеты, сняли с потолка трансмиссии, ремни ребята на подметки растащили. В цеху посветлело без ремней, попросторнело, никакого тебе грохота. Ребята-токаря радуются, а я затылок чешу... Осталась у меня одна конюшня с парой лошадей. А потом и конюшню разломали, кирпичный гараж на ее месте начали строить. Ну, думаю, надо, пока не поздно, на шофера поучиться. А тут хоп, Лыкина, стало быть, Аким Климыча, неожиданно убрали. Вчера еще был, по цехам ходил, смеялся, все такое, а на другой день — нету... Ну, поставили вместо Аким Климыча какого-то присланного. А тот со мной цацкаться не стал, раз-два, приказ на меня и — до свидания! Как не соответствующего профилю производства. Ну — куда? Побегал, побегал, нигде моя специальность не требуется. Да вгорячах аж в санобоз залетел, к золотарям. Шорной работы хватало, да и только! Сбруя и та этим самым духом пропиталась... Пошел я по всяким сапожным артелям набойки приколачивать, и тоже душа никак не лежит: всякий шахер-махер, старье чинят, на барахолке продают. Против завода не та публика. Помыкался я, Федя, как бездомный какой. Сто раз помянул Лыкина. Думал уже махнуть куда по вербовке, да тут война вот она. Ну, ясное дело, мне в тот же день и повестка на все четыре года. Это уж после войны, в сорок шестом, открыли кожгалантерейную фабрику, тут-то я и определился накрепко. Ну дак чего: кожа! Материал знакомый. Я тебе с закрытыми глазами скажу, где баран, а где козел. Сначала подручным на раскрой поставили, а потом потихоньку-помаленьку всю премудрость прошел: тиснение, колеровку, всякую там рисунчатость под крокодила, под змею. Да так и по сей день. Ну да что там, про меня сказ короткий. Давай-ка, Федя, лучше допьем. Вот как славно посидели! Сколь с тобой вспомнили, друг ты мой рассердечный, всю нашу молодость, откуда пошли...

Фомич хотел было разделить остачу, но какая-то мысль настигла его за этим движением, и он живо спросил:

— Кто ж теперь вместо тебя? Кому передал руль-то?

— А-а... — Федор Андреевич, даже не удостоив назвать своего преемника, досадливо поморщился, потянулся к бутылке, сам налил и разом выплеснул стаканчик в запрокинутый рот. — На готовое и дурак сядет, — сказал он, переводя дух.

Он уже давно подобрал все, что еще оставалось на их общем столе — сыр, пирожки, вторую Фомичову котлету, теперь принял-ся за уцелевший кусок хлеба, подмоченный огуречным рассолом.

— Пусть как хотят, — добавил он сумрачно.

— Ну дак ясное дело, — понимающе кивнул Фомич. — Не до веку тебе сидеть. Ну, побудем...

Он все с той же церемонностью допил свою долю, запечатал пустую бутылку и бережно определил ее рядом под кустик, заметив, что, может, кому сгодится.

При мысли о преемнике Федору Андреевичу захотелось выпить всерьез.

Он уже жалел, что утром не разменял в магазине, черт бы ее побрал, эту свою десятку и не взял еще одну бутылку и чего-нибудь закусить.

Не любил он этого чиканья — через час по столовой ложке.

— Хочешь? — поболтал он фляжкой.

— А не торопим ли?

— Да чего там. Тут комару в нос закапать.

— Ну, брат, загуляд, загулял я сегодня! — откинулся Фомич. — Лей, счезни оно! В жизни раз бывает... шестьдесят пять лет. Казаковать так казаковать.

Он дробно и смущенно засмеялся.

За разговором Фомич почти ничего не закусывал, съел одно только яйцо да время от времени чиркал ножиком все тот же огурчик, и после рома как-то вдруг неприятно захмелел.

Глаза его заморозили, шапка каким-то образом повернулась задом наперед. Он опять принялся восторгаться встречей, хлопал Федора Андреевича по коленке и даже называл его Федькой.

— Занятная посудинка! — с хмельным умилением разглядывал он фляжку. — Как говоришь: костари... Костариканский? Не-е, не пивал, не пивал. Врать не стану. Ну, Федька, ядреный корень! Ну молодец! Смотри, куда залетел — держи шапку!

Фомич засмеялся и, поглядывая Федору Андреевичу в лицо, приятельски шлепнул пятерней по колену.

— Ну ладно, ладно тебе... Какую там шапку...

— Чего ладно! Выходит, Лыкин тогда верно тебя уцелил! Как чуял, что из Федьки голова получится. Большо-ой человек! Не-е, не скажи, приметливый был мужик Аким Климыч. Узрел, узрел! А баульчик у тебя, верно говорю, с замком был. Ей-бо, не вру! Зелененький такой. И чего ты им запирали, не знаю...

Федор Андреевич досадливо посмотрел на часы.

— Нет, ты скажи, чего ты замыкал? Какие брильянты?

Он пустился еще вспоминать из тех давних лет, перебивая себя смехом, рассказывал, как они, заводские, ходили под Пасху к все-нощной, как возле церкви он, тогдашний Степка Жучок, играл на



ливенке, а Федор Андреевич и еще несколько ребят пели про попов частушки, и как выскочил рассерженный дьякон и стал толкать их взащей, а Федор Андреевич будто бы наступил на подрясник, и тот полетел в крапиву.

— Ну дак все по закону, — хохотал Фомич. — Мы за ограду не заходили, мы — на своей территории. Он первый напал....

— Давай-ка собираться, — сказал Федор Андреевич. — Без малого три.

— Ерунда! Нам теперь, друг ты мой стародавний, торопиться некуда. Всё свое поделали. Ты — свое, я — свое. Верно я говорю? Посидим, поговорим... Я ж тебя, черта, сорок лет не видел! А помнишь...

— Ладно, хватит... — поморщился Федор Андреевич.

Несколько лет, проведенных когда-то вместе на одном заводе, были единственной точкой соприкосновения между ними, и теперь Фомич вытряхивал из себя все, что касалось того полузабытого времени, начиная уже раздражать этой своей памятьливостью, которая теперь все больше смахивала на пьяную болтливость. В сущности, с этим шорником Степкой в остальной его жизни ничего особенного и не происходило. Ровно, похоже бежали дни и годы, пока вот не дотянул до пенсии. Вся его жизнь беспрепятственно проглядывалась насквозь, как длинный прямой коридор, в начале которого был вход, а в конце — выход. Никаких тебе поворотов, никаких лестниц и этажей. С шилом вошел в этот коридор, с шилом и вышел. Такие люди надолго удерживают в ничем не обремененной голове всякую ерунду. Какой-то замок вспомнил.

А может, и просто привирает...

Федор Андреевич поднял фляжку, брезгливо сбил щелчком прилипшее к ней огуречное семечко.

— Давай кончай.

— погоди! Ну чего ты? — Фомич поймал его за полу. — Хочешь, я на нее чехол сделаю? Как другу. Из сайгачьего сафьяна? Во будет чехол! Чистый сувенир!

— Пошли, пошли. — Федор Андреевич, вставая, выдернул полу.

— А, чертяка! — погрозил пальцем Фомич. — Не хочешь...

Федор Андреевич молча сложил стульчик и запихнул его в рюкзак.

## 5

Ветер нагнал-таки какой-то хмари: тучи не тучи, а нечто зыбкое, замутившее солнце, с завыванием неслось над лесом, сея редкую сухую крупку.

Две сороки, борясь с ветром, кособоко тянули над деревьями, выглядывая внизу людей, с тем чтобы потом вернуться к кострищу, поискать какой-нибудь поживы.

По всему было видно, что к ночи должно помести.

Федор Андреевич, уйдя в себя, размашисто и грузно крошил каблуками дорожные колчи, и Фомич, так и не поправивший шапки, не поспевая, рысил неверной трусцой.

Он что-то выкрикивал, чему-то смеялся, и было ему невдомек, что все его восклицания уносило ветром и запутывало позади в лесной чащобе. Федор Андреевич вышагивал впереди, не прислушиваясь.

Остановился он лишь в сосняке, возле лесной сторожки.

— Спроси-ка, — кивнул он в ту сторону.

— У Никанорки? Не-е.

— Спроси, спроси.

— Не, — мотнул шапкой Фомич. — Я к нему не ходок. Дак и на что пойдешь?

Федор Андреевич промолчал.

Высокий тесовый забор, ошетиженный остро запиленными зубьями, поверх которых была протянута колючая проволока, скрывал самую сторожку, и было видно только хребтину сенной скирды да похожую на кладбищенское распятие телевизионную антенну.

Плотные ворота, покоившиеся на вековых дубовых верях, с крепостной отрешенностью замыкали квадрат усадьбы.

Федор Андреевич попытался отыскать какую-нибудь щелочку, но не нашел ни выщербленного сучка, ни задоринки.

Лишь в калитке, врезанной в воротную половину, была проделана щель наподобие червонного туза, да и та заставленная изнутри дощечкой.

— Дохлое дело, — заверил Фомич. — Верь моему слову. Есть, а не дадут.

Федор Андреевич подергал калитку.

Два кобеля с ликующей злобой с разбегу ударились об ворота, заскребли лапами по доскам.

— Ч-чего надо? — раздался бабий голос.

— Кто там... пойдн-ка сюда, — окликнул Федор Андреевич.

— Пешню, пешню спрячь, — смеясь, посоветовал Фомич.

В калитке открылась сердцевидная дырка, туда-сюда зыркнул острый козий глаз, и снова пала дощечка, затянув дырку равнодушным бельмом.

— Никого нетути, — недовольно сказала баба сквозь собачий брех.

— Выйди на минуту. Дело есть.

— Знаем твое дело, проваливай. — Баба удалилась в глубину двора.

— Да погоди ты... — озлился Федор Андреевич.

— Будешь годеть — касторки выпей.

Фомич прыснул в кулак:



— Я ж говорил!

Но тот упрямо толкал калитку.

— Ступай, ступай, нечего! — крикнула баба. — А то кобелей выпущу.

Федор Андреевич чувствовал себя так, будто ему влепили пощечину. Даже не пощечину, а харкнули в физиономию.

— Не-е, так не зайдешь, — торжествовал Фомич. — К Никанорке отмычка фигурная, простая не подходит. Чтоб зубец в зубец попал.

— Что еще за отмычка? — метнул сумрачный взгляд Федор Андреевич.

— Ну, сказать, ежели ты на машине, тогда еще будет разговаривать. Да и то не со всяким. И сперва баба, а тогда он сам. Так-то ты вроде подходишь по всем статьям, — смеялся Фомич. — И шапка на тебе что надо, вроде пропуска, а — пеший. Не тот зубец!

— Сволочь, — процедил Федор Андреевич, уходя от ворот и оскорбленно оглядываясь. — Даже не спросила, кто...

— Да наплевать на них. Слушай, поехали ко мне! — Фомич взял его под руку, потрусил рядом. — У меня ж нынче того... Я тебя в самый что ни на есть красный угол посажу. Как старого друга. А, Федь?

— Да нет... — Федор Андреевич высвободил локоть. — Не могу...

— Пое-ехали! Чего там! Сынов покажу. Аккурат вечером будут. Пашка у меня тоже директором. Поговорите с ним про свое. А то и Алешка подкатит из Сызрани. Тут самолетом один час. Во тоже парень! Верхолаз! Слушай... У тебя есть порожняя дочка?

— А что?

— Дак у меня Алешка тоже пока так ходит. — Фомич засмеялся, толкнул Федора Андреевича в бок. — А чего? То — друзья, а то своими будем.

— Моя уже замужем, — холодно сказал Федор Андреевич.

— Ах ты досада! Ну да ладно. Я тебе тогда птиц покажу. У меня их чертова прорва. Полная комната. Это как ребята разъехались, дак я целиком под них комнату отвел. Бабка ругается: всю пенсию под коноплю изводишь, давай, дескать, студентов лучше напустим, от них хоть польза. А я не-е, никаких делов! Пусть чирикают! Это по солнышку как врежут — душа отлетает в рай. А хочешь, я тебе кенаря подарю? А то пару? Заведешь себе кенарей.

— Да на что мне твои кенари?!

— Мил человек! Дело стариновское: будешь ножичек об ножичек подраживать, с бабкой слушать. Поехали!

— Не могу. У меня на восемь международный с дочерью заказан.

— Ну дак говори себе на здоровье! Говори, а потом забирай бабку и приходи. Пусть старухи тоже обнюхаются. Моя расскажет, как огурцы солить.

— Ладно, ладно. — Федор Андреевич досадливо переложил пешню с одного плеча на другое. — Экий ты... Как смола.

— Вот и дело! Значит, так: над аптекой, восемнадцатая квартира. Во бабка моя обрадуется!

На краю леса ветер ударил встречным валом, хоть ложись на него.

Сухая крупа летела над землей белыми пулями, жестко секла по одежде, по сосновым стволам.

Луг перед Шутовым перешли, согнувшись, рукавицами придерживая шапки, пока не укрылись за первыми деревенскими строениями. Ранние сумерки уже копились по голым садам. Продрогшие воробьи, нахохлившись, сбивались поближе к застрехам, густо облепляли сваленный перед избами хворост, пятная его жидким известковым пометом.

Возле завалинки одной из хат высилась куча жома, кисловато разившего на всю округу.

Щуплая старуха в стеганом ватнике, единственная живая душа на всей долгой пустынной улице, лопатой нагребала жом в обмерзшие ведра и, сутуло согнувшись под коромыслом, мелкими осторожными шажками таскала во двор.

— Здорово, Марья! — еще издали крикнул Фомич.

Старуха медленно разогнулась, оперлась на лопату. Из толстого платка, закрывавшего подбородок, как из дупла, гляделось остроносое лицо. Ссохшиеся кирзовые сапоги и старый продранный ватник были заляпаны жомом, который, как и на ведрах, тоже успел замерзнуть и остекленеть.

— Не Степан ли Фомич? — сказала старуха, дую попеременно в голые синие ладони. — Пляжу, гляжу, он и не он.

— Он самый!

— Давно не видела. Уж не хворал ли?

— Да нет, опять на службу пошел.

— Ох ты! Заскучал без дела. Ну дак заходите, заходите. Иззяблись, поди. — Старуха бегло взглянула из своего дупла на Федора Андреевича. — Али по окуня ходили?

— По окуня, по окуня.

— Дак какой окунь-то, больно люто.

— Охота, Марья, дня не разбирает.

— Ой, молчи, малый! Я вот тоже: купила себе мороки по морозу. Надо бы по теплу, да не спроворилась. Петька, обормот, посулился утром привезти, да где-то проваландался, привез аж под вечер. Его дело шоферское: свалил, денежки в карман, а ты как хошь. Да вот ношу не переношу, ночь на дворе. И бросить никак нельзя. За ночь задубеет, потом хоть топором руби. Да уж мочи моей нету, ноги не шагают. Девка в город зафинтилила, шапку какую-то мохеровую покупать. Все, дескать, уже носят, а у меня нету. Еще утром схватилась, губы намазала...



— Носилки найдутся? — перебил ее Фомич.

— Ась?

— Носилки, говорю, давай! Пособим маленько.

— Ой да Степан Фомич, батюшко! Носилки-то есть, да будешь возиться, сам небось уморился.

— Давай, давай. — Фомич сбросил рюкзак. — Тут дело минутное.

— Ой да голубчик белый! Сичас, сичас... гдесь были...

Бабка заспешила в сарайчик, загремела там чем-то железным, выволокла забрызганные известью жиденькие носилки.

— Ох да касатик ты мой! Да откуда ты взялся!

Фомич проворно накидал пирамидку, приклепнул маковку лопатой.

Федор Андреевич взглянул на часы: до автобуса оставалось не более получаса, и ему никак не нравилась эта затея. Он хотел как-то напомнить про именины, но Фомич упредил, сказал оживленно:

— Берись-ка под зад, Федя.

— Дак товарищ-то пусть пока в хату зайдет, обогреется. Что ж он будет мараться.

Но Фомич, уже нагнувшись и ухватив передние ручки, ожидал, и Федор Андреевич, помедлив, подошел к носилкам.

— А то дак я Дуняшкин ватник вынесу, — запереживала старуха. — Она у меня тоже телесная, так что подойдет в самый раз.

— Ватник наденешь? — обернулся Фомич.

— Не надо... — буркнул Федор Андреевич. Серый ворох курил перед самым лицом теплым паром, обдавая кислой вонью, и он задирал голову повыше, недоумевая, как может корова или кто там есть эту мерзость.

Стараясь не дышать, Федор Андреевич проследовал за Фомичом в калитку, потом двором — к низкому плетневому сарайчику, крытому землистосерой соломой. Старуха, гремя сапогами, лотошила впереди, показывая дорогу, убирая из-под ног какие-то чугунки, долбленные корытца. И все суетливо, виновато приговаривала:

— Сюда, сюда... Головы обороняйте, тут у меня лутка низкая... Валите, валите наземь. Пока так, а тади я сама по бочкам разложу, соломкой укрою. Не держала бы я ее, корову-то, клятву дала не держать больше, силов моих не стало, да теперь вот ребеночек у Дуняшки объявился, придется повременить.

И бегая взад-вперед, норовя чем-то помочь, поминутно хватаясь за лопату, виноватилась и вздыхала:

— Да что ж я так-то утрудила... Вот дай бог вам здоровьица, выручили. А то б потемну таскать. Все сама и сама: воды наноси, дров наруби, корову напои, подои, а тут малый куksится, за юбку хватает. А ей — бай дюже: подавай модную шапку. Дак под шапку

надо голову, а головы-то и нету. Нету, нету головы у дуры. Сироту вон набегала, намахорила.

Всего доносить старуха не дала, осталось еще с треть, но она замахала руками, даже стала отнимать носилки.

— Будя, будя! Нечева Бога гневить. Остальное сама доскребу. Пойдемте, пойдемте, перекусите. Да вот беда, выпить нету, была поллитровка, Петьке за жом отдала. Пятнадцать целковых, да еще бутылку с приятелем вылопал, ханурик. Кабы знать, дак не дала б.

— Ничего не надо, — отмахнулся Фомич. — Мы и так нынче веселые. Дак и еще предстоит...

— А то посидите, я сейчас, магазезя еще торгует, у продавщицы займы перехвачу покамест.

— Некогда, Марья, некогда! — Фомич опять напялил рюкзак. — На автобус надо.

— Ой, лихо! Да как же так, не по-людски, не угостёмши пойдете, — причитала она, стесняясь, стыдясь глядеть на Федора Андреевича, пугавшего ее и кожаным пальто, и белыми бурками, и всем своим не по ее двору видом. — Мы-то с тобой, Степан Фомич, как-нибудь и потом раздолжаемся, а вот человек что скажет.

— Это мой старинный друг, — горделиво заверил Фомич, — вместе на одном заводе работали. Еще когда ты невестой бегала. Так что...

Федор Андреевич сосредоточенно соскребал палочкой приставший жом с рукава.

— Давние, стало быть, дружки, — умилилась старуха. — Ну дак когда будете опять, заходите вместе без сумления, яишанку або переночевать. Летом, дак и яблоки...

Федор Андреевич взглянул на неопрятную старуху, почему-то подумал о малом, который хватает ее за юбку, и заторопил:

— Пойдем, пойдем...

— Да что ж так-то... Погодите... — Бабка шмыгнула в сени и вынесла ковш желтых, румяно поджаренных тыквенных семечек.

— На дорожку. Хоть этова...

Уже отойдя, Фомич обернулся:

— А что, Марья, машинка еще шьет, бегаёт?

— Ой, парень, бегаёт! Дай Бог тебе здоровья. Как ты ее тади наладил, с того дня ни разу не ломалась. Швыдко ходит!

...Поперек шоссе, пустынно убегавшего в сумерки, текучей мережей струилась поземка. Она опутала, затенетала и лес, и деревню, и поля по правую сторону, и, казалось, не было ничего во всем свете, кроме этой вот промерзлой придорожной будки, уже набитой по углам и под лавками первой наметью.

Сидеть под навесом, задуваемым ветром, было холодно и неприятно, и оба укрылись за подветренной стеной, откуда виделась дорога.



Шло начало шестого, и скоро стало ясно, что автобус или уже прошел, или поломался и не придет вовсе.

— Вот незадача! — прицокивал языком Фомич. — Что-то задерживается.

— Прошел, — убежденно сказал Федор Андреевич.

— Да когда ж ему проходить было?

— Когда, когда... Прошел! — В голосе Федора Андреевича звучали досада и осуждающее торжество.

Больше никаких автобусов на этой трассе не ожидалось до завтрашнего дня, и оставалось одно: ловить попутку.

Но машины шли редко. За эти полчаса, что они проторчали на остановке, прогромыхал один только самосвал да проскочила какая-то аварийная со стремянкой на крыше, оставившие без внимания поднятые руки.

Фомич предложил еще вариант: идти на железнодорожную станцию. Но до станции было не менее шести верст, топать туда пришлось бы все время полем, на ветер, да еще без всякой гарантии, что успеют к пригородному поезду, который должен был пройти что-то около семи вечера.

— Подгуляли, подгуляли мы с тобой, Федя, — не переставал удивляться Фомич. — Теперь бабка ждет-пождет, а нас нету.

Федор Андреевич мрачно отмалчивался.

С метелью мороз не унимался, как это обычно бывает, а задирал, кажется, еще круче, и у Федора Андреевича опять начали зябнуть ноги. Он все чаще отрывался от стены и пускался притопывать.

— Слушай! — вдруг окликнул Фомич. — У тебя есть дома телефон?

— Ну есть. А что?

— Пойдем сейчас в сельсовет, позвоним твоей старухе.

Федор Андреевич перестал притопывать.

— Это еще зачем?

— Пусть она сбегает к моей старухе, а там теперь Павел из района приехал, на своей машине. Понял? Он мотнется и нас заберет. Как же я раньше не додумался?

Федор Андреевич представил себе этот веселенький разговор со «старухой»: «Боже мой! Федор! Откуда ты? Из какого такого Шутова? Ты же говорил, что поедешь на озеро и после обеда вернешься. С каким таким еще Степаном Фомичом? Где ты его нашел? Выпивал, конечно. Не отпирайся, не отпирайся. Так я и знала! Так я и знала! К какой такой жене? Что за вздор! Боже мой, Федор, что ты со мной делаешь!»

— У тебя во сколько переговоры?

— Какие переговоры? — не сразу сообразил Федор Андреевич.

— С заграницей.

— А-а... гм... На восемь заказывал.

— Во! Аккурат с Пашкой и поспеем. А там сразу к нам. Давай, пошли!

— Да брось ты! — Федор Андреевич опять принялся притопывать.

— А чего? Час — сюда, час — туда, как раз к восьми дома будем.

— Не городи чепуху.

Фомич так и не понял, чем это его идея неисполнима, и он предложил другую: идти к какому-то Петьке, у которого во дворе всегда ночует грузовая машина и который будто безо всяких слов домчит их до станции. Федору Андреевичу никак не улыбалось возвращаться в деревню, плутать в темноте, разыскивая какого-то Петьку.

— Ну дак побудь, я тогда сам сбегаю, — не унимался Фомич. — Я ментом, одна нога тут, другая там.

Не мешкая, он и на самом деле пошел на собачий брех, оставив возле будки рюкзак и пешню.

Федор Андреевич не стал его больше отговаривать, и уже через несколько шагов Фомичов черный кожух слился с темнотой.

— Черт бы тебя побрал с этим жомом! — вконец озлился Федор Андреевич и подвязал под подбородком тесемки лисьего малахая.

Оставшись наедине, он трусцой обежал будку, потом ударился бежать по шоссе, через сотню шагов отдышался и потрусил обратно. Возвращаясь, он обратил внимание, что бежит в какой-то странно блескучей кутерьме снега, в озарении зыбкого блуждающего света. Федор Андреевич обернулся, и глаза его вдруг ослепило фарами. По шоссе, нагоняя его, шла машина. От неожиданности он отскочил в сторону и уже оттуда, из темноты, заметил над желтыми размытыми метелью пятнами фар зеленый огонек. «Такси!» — обрадовался Федор Андреевич и тут же испугался, что водитель его не заметит и промчится мимо.

Он снова кинулся в полосу света и, будто потерпевший кораблекрушение, отчаянно замахал обеими руками и даже закричал что-то несвязное и дикое.

Машина вильнула в сторону, завизжала тормозами.

Федор Андреевич ухватил такси за дверную ручку, будто хотел его удержать, не дать умчаться, и запаленно крикнул в приоткрытую форточку:

— В город?

— Чего под колеса кидаешься? — осадил шофер. — Одичал, что ли?

— В город надо.

— Потом отвечай за тебя, понимаешь. Лечи за свой счет... Шесть рублей дашь?

— Дам, дам... — поспешно согласился Федор Андреевич.

Шофер зажег внутренний свет и, обернувшись, — он был без шапки, с аккуратным пробором и вислыми баками, — отомкнул заднюю дверцу.



Федор Андреевич добежал до будки, схватил свой рюкзак, ледоруб и грузно ввалился на заднее сиденье.

— Поехали! — выдохнул он с облегчением.

Но таксист не спешил и надел что-то на зеленый колпак.

— Если не возражаешь, конечно, — бросил он небрежно, включая скорость.

Федор Андреевич не возражал.

И уже по дороге, придя в себя и отдышавшись, вспомнил, что на остановке остались Фомичовы снасти. Подумал было, что надо бы прихватить и их, но потом решил, что так даже лучше. Никуда они не денутся. В такую завируху на шоссе ни одной собаки... А то потом пришлось бы относить ему на квартиру. Или, чего доброго, сам припрется.

— Ну чего, дед, поймал? — без всякого интереса спросил водитель, и когда Федор Андреевич не ответил, больше ни о чем не спрашивал.

В машине было тепло, что-то тихо подрывничивал, копался в гитарных струнах вмонтированный транзистор. Федор Андреевич, отогревшись, незаметно укачался, поник головой в мягкий отворот пальто.

Разбудил Федора Андреевича таксист.

— Куда будем ехать? — трепал он за шапку. — Слышь, куда тебе?

Федор Андреевич непонимающе замигал набрякшими веками.

— Ну ты и храпел! Давал дрозда, — усмехнулся шофер. — Тяпнул, что ли? Говори, куда, а то в гараж отвезу.

Федор Андреевич выглянул в окно, чтобы сориентироваться.

Под уличными фонарями куделились метельные струи. Город был неузнаваемо бел и лунно светел от больших магистральных плафонов. Справа от шоссе белыми горбами дыбилась взрытая земля, зияли метровыми диаметрами запорошенные трубы, торчали бетонные опорные столбы, рядами вколоченные в грунт, и было слышно, как тяжело, размеренно ахал пневматический молот. Где-то высоко, неизвестно на чем подвешенные, пламенными сотами светились групповые прожекторы. Федор Андреевич вглядывался во весь этот строительный хаос и все еще не мог понять, где они, с какого конца въехали в город. И только после длинного кирпичного забора, когда в глубине подъездной площадки с фонтаном открылось трехэтажное здание в классическом стиле, с шестью колоннами в центре фасада, Федор Андреевич узнал вдруг свое заводоуправление, которое он построил еще в пятьдесят третьем году и за которое потом влетело ему в «Известиях», — и за эти колонны, и за этот фронтон с алебастровыми гирляндами.

Выходило, что он только что проехал мимо новой заводской стройплощадки, уже без него, за эти несколько месяцев вторгшейся в гущу окрестных домишек. Самих домишек уже не было, а вдоль

расширенного шоссе светили новые, должно быть, к октябрьским праздникам повешенные, уличные плафоны.

— Погоди... — Федор Андреевич тронул водителя за плечо. — Тормозни на минутку.

Таксист крутнул баранку и прижал «Волгу» к пустынному забору.

— Давай, пока никого нет... — кивнул он.

— Да нет... Ты мне назад сдай маленько.

— А в чем дело?

— Надо.

Шофер, недоуменно дернув плечами, дал задний ход.

— Давай, давай еще.

И когда такси, пятясь, минуло долгий забор, похожий на монастырскую стену, Федор Андреевич сделал знак остановиться. Он приоткрыл дверцу, метнул глазами по сторонам, нет ли кого, и, высунувшись до пояса, щурясь от слепивших прожекторов, с ревнивым любопытством принялся разглядывать строительную площадку. С первого взгляда было трудно понять, что тут задумано, но размахнулись широко, если снесли целых две улицы. Среди труб, штабелей бетонных блоков, деревянных кабельных катков, смрадных смолотопок черными провалами зияли ряды котлованов. В одном из них, мелькая тросовыми бегунками, время от времени высывалась над краем верхушка стрелы экскаватора. И все продолжал где-то тяжело сопеть и ухать молот, удары которого отдавались вздрогами даже здесь, в машине. По рядам каркасных опор в глубине площадки, ослепительно белевших в ночи под лучами прожекторов, Федор Андреевич угадал-таки очертания одного из будущих цеховых пролетов. Опоры протянулись метров на сто и там, в конце, разворачивались под прямым углом.

— Ага, значит, буквой «Г» решили, — пробормотал Федор Андреевич, придиричливо соображая, какой в том резон, в этой букве «Г». — Мудрят, мудрят что-то... Хотя бы забором обнесли, тоже мне хозяева. Ходи, гляди, кому вздумается.

— Тебе кого тут надо? — осведомился таксист, тоже выглядывая в окно.

Федор Андреевич промолчал.

— Вон кто-то идет, спроси, да поедem. А то мне в гараж пора.

От котлованов по тесовому настилу приближалось несколько человек в строительных шлемах.

Однако одеты они были не по-рабочему, и когда в этот момент смолк молот, заколотивший очередную опору, в морозной тишине Федор Андреевич отчетливо разобрал слова:

— Послушай, Петряев, зачем тебе тридцатитонный кран? Возьми два по десять. Вдвоем они вполне справятся. Я тебе подкину пару совсем новых, только получили.



— Нечего сказать: хитер! — слышался глуховатый голос Петряева. — Выходит, я должен оплачивать сразу двух твоих крановщиков. Да еще за краны слупишь, как за две машинные единицы. Нет уж, спасибо!

— Так и так я возьму с тебя параметрную ставку за тоннаж крана. Так что учти, два по десять обойдутся дешевле.

— Шалишь, мы уже прикинули: с оплатой двух машинистов дороже получается.

— Ну и скряга ты, как я поглажу! — засмеялся первый.

— А ты как думал? Копейка рубль золотит, — тоже рассмеялся Петряев. — Так что нечего, нечего, давай гони тридцатку. Наверно, уже кому-то пообещал? За коньяк?

— Да брось ты!

— Тогда на той неделе привози. Сразу начнем монтаж перекрытий с южного торца.

Жгучая зависть к этим оживленно разговаривающим людям обожгла Федора Андреевича. Если бы его не подсадили, он тоже теперь вот так шел с ними. Сейчас, после работы, наверное, завалятся к кому-нибудь на квартиру...

Говорившие меж тем приближались, дольше оставаться было рискованно, еще чего доброго заметят: «Ба! Пляди-ка, Толкунов! Ты что тут делаешь?» — и Федор Андреевич воровато втиснулся в машину.

— Поехали! — поторопил он шофера.

— Чего, передумал спрашивать?

— Давай, давай.

— Может, возьмем кого? — таксист кивнул в сторону подходивших.

— Никого не надо!

— Дело хозяйское, — кисло усмехнулся шофер.

Проезжая мимо запорошенного фонтана, скульптурный центр которого уже был обшит на зиму тесом, Федор Андреевич припал к стеклу, чтобы еще раз взглянуть на заводоуправление. На втором этаже, как раз между колоннами, он отыскал окна своего кабинета. Горела верхняя хрустальная люстра, все та же, с тяжелым медным каркасом. Но стены кабинета были перекрашены. Вместо розового наката просвечивала какая-то зеленца, и этот пустяк неприятно кольнул Федора Андреевича: можно было и не перекрашивать, прежний накат не простоял и года.

И вдруг в последнем окне мелькнула золотом багетовая рама. Он вспомнил про свою глупую подпись на обороте и со стыдом и досадой представил, как снимали во время побелки портрет и, конечно, обнаружили это его пьяное факсимиле... И, должно быть, показали Петряеву. А тот, наверно, прочитал, хмыкнул ехидно и опять повесил. А может, тоже показывал всем, мол, полюбуйте,

как Толкунов увековечил себя! И в том, что портрет висел теперь при Петряеве с его, Федора Андреевича, подписью, было что-то обидное и унижительное.

Возле попутного гастронома Федор Андреевич попросил еще раз остановиться. В штучном отделе, достав десятирублевую бумажку, он хотел было взять бутылку коньяка, но, вспомнив, что надо еще расплачиваться с таксистом, ограничился «Экстрой». Тут же, при гастрономе, заперся в телефонной будке и набрал домашний номер Зинченки.

К телефону подошел сам Зинченко, мягко, бархатно ответил:

— Я вас слушаю.

— Это я... Толкунов.

— Позвольте... Какой Толкунов? Куда вы звоните?

— Брось валять дурака! — пыхнул Федор Андреевич. — Повышение получил, что ли, узнавать перестал.

— А-а! Федор Андреевич! — расхохотался Зинченко. — Привет! Привет, дорогой! Извини, пожалуйста! Давненько не звонишь, оттого сразу и не сообразил. Ты откуда? Из дома?

— Да нет, с автомата.

— А что такое? Какие-нибудь неприятности?

— В Шутове был, да вот с дороги звоню.

— В Шутове? — оживился Зинченко. — Ну как там? Как любезный Никанор Матвеевич поживает? Лесник, лесник. Грибков у него не отведал? Прелесть у него грибы! А ты в Шутове по какому случаю-то?

— Да... рыбачил, понимаешь.

— Ну-у! — сладко изумился Зинченко. — Представляю! И завидую! Кто же еще был?

— Да... связался тут с одним... Прилип, как банный лист к... — Федор Андреевич, назвал к чему.

— Это кто же такой? Я его знаю?

— Да нет... Так, случайный.

— Так, так... А я уж думал, прежняя компания. Даже обиделся, что без меня. Такие, значит, дела... — И, вздохнув перед трубкой, Зинченко заговорил тягуче, с зевотой: — Ну что, старина... Спасибо, что позвонил. Привет супруге и все такое... Как она, все нормально? Ну и тебя обнимаю на сон грядущий...

— Погоди обниматься. Я тут взял кое-что по пути. Такси вон стоит, ждет.

— А-а! — бархатно раскатился Зинченко и замолчал.

— Чего молчишь?

— Да понимаешь... — Голос Зинченки поблек.

— Ну что «понимаешь»? — напирал Федор Андреевич. — Заезжать или не заезжать?

— Давай лучше как-нибудь в другой раз, а?



— В другой раз я не поеду.

— Сразу и обижаться! Ты меня, дружище, неправильно понял.

— Все я понял... — угрюмо буркнул Федор Андреевич. — Хрен с тобой!

— Ну вот еще! — опять рассмеялся Зинченко. — Так вот сразу и «хрен». Ну ладно уж, давай подсказывай. Ты без него? Один?

— Один я.

— Ну, хоп!

В трубке клацнуло, и Федор Андреевич, все еще не вешая ее, постоял в мрачном раздумье. Ехать туда ему уже не хотелось.

Он сел в такси, громко захлопнул за собой дверцу.

— Теперь куда? — холодно осведомился таксист.

Федор Андреевич уставился в окно, раздумывая, к кому бы поехать. Снова сильно помело, и в стекло уныло забарабанило крупной. Незнакомая улица была почти безлюдна. Махнуть к этому филармонисту, что ли? Так он теперь, поди, на своих концертах... К кому бы это? Не везти же поллитровку домой, не пить же ее одному, черт побери?

— Так куда?

— Гони на Кольцовскую площадь.

И Федор Андреевич назвал адрес Зинченки.

— Подлец, однако, — выругался он.

1973

## ПЕРЕПИСКА НА МАШИНКЕ

Был конец погожего марта, радостное время ранней весны, пришествие которой всего более заметно именно в Москве, по-весеннему оживленной, уже ходившей без шапок, но и теперь все еще дремотной, заваленной надоевшими неопрятными сугробами. И особенно примечалось это после провинции, лежащей много южнее.

Покончив со своими бумагами поздно ночью, Невструев не поленился принять ванну. Он распахнул на ночь окно и утром проснулся с бодрым и легким чувством уже в десятом часу, когда за дверью его номера гудел мотор и тыкалась в коридорный плинтус щетка пылесоса. Переменив сорочку, он спустился в сверкающую зеркалами и никелем парикмахерскую, побрился у хорошенькой мастерицы, с удовольствием ощущая прикосновение ее теплых ароматных рук, попросил сделать массаж с горячим компрессом, потом неспешно позавтракал в полупустом зашторенном кафе. За едой он позволил себе две стопки коньяку и, наслаждаясь сознанием, что опять он в столице, от гостиницы у Ботанического сада потопал в главк на Трифоновскую пешком, ориентируясь по не-

правдоподобно вознесшемуся в синее небо останкинского шпилю. И пока пробирался переулками Огородного проезда и потом Шереметьевской, весь этот наобум избранный путь, угадываемый одним наитием, его сопровождало звонкое и лучезарное утро с неугомонной капелью и вешним шумом воды под тротуарными решетками.

Наезды в главк, несмотря на докучливые хлопоты, всегда встряхивали, вносили приятную аритмию в довольно монотонное течение жизни управленческого инженера с периферийного предприятия и были связаны с тем, что время от времени Невструеву доводилось бывать в Москве с пояснительной документацией и проспектными текстами по линии всякого рода новинок ширпотреба. В прошлый раз, например, он привозил на утверждение портативную шведскую стенку с набором спортивного инвентаря, куда входил даже пружинный тренажер для ножных упражнений. Все это можно было применять не только в домашних условиях, но и в учреждениях, где люди весь день заняты сидячей работой. ТПБ — тренажер портативный бытовой — после всяких поправок и доводок был в общем одобрен и запущен в производство, а о турнике, который при помощи червячной системы легко и быстро устанавливался в проеме любой двери, сказали, что он попросту выломает дверную коробку. Над шведской же стенкой и вовсе посмеялись, посчитав, что это не серьезно, что никто на нее не полезет ни дома, ни тем более в учреждении...

На этот раз Невструев прибыл с разработками детского безмоторного ролевого карта, мысль о котором подали мальчишеские каталки-самоделки на шариковых подшипниках, ставшие повальным увлечением детворы в их городке.

В общем, поездки эти были всегда канительным делом: технический и художественный советы главка привередливо копались в представленных бумагах, чертежах и фотографиях и редко удавалось пробить очередную номенклатуру без придирок и оговорок. Так что нередко приходилось возвращаться обратно на завод, или, в лучшем случае, тут же, в гостинице, перелопачивать чуть ли не каждую бумажку. Да еще потом перепечатывать на машинке.

Главковские машинистки, надменные и выхоленные, как стюардессы, брались за переделку неохотно, откровенно водили за нос наезжего челобитчика. Поначалу Невструев, уламывая несговорчивых «пишбарышень», пробовал одаривать их шоколадками и галантерейной мишурой, но в конце концов все это осточертело, и он нашел себе неподалеку, в Марьиной роще, машинистку, практиковавшую на дому.

Елизавета Мефодьевна оказалась хотя и весьма преклонных лет, но чистенькой, аккуратной старушкой в коричневой униформе с белым воротничком, каковые носят школьные старшекласс-



сницы. Совершенно седые волосы, разобранные на строгий пробор, наподобие белого платочка облевали маленькую голову с острым носом, намученным до багрового рубца дужкой тяжелых роговых очков. И хотя она уже не могла проводить за машинкой более полутора-двух часов кряду, о чем сразу и предупредила Невструева, вытянув перед ним полиартрические кисти рук, запятнанные старческой ржавчиной, показавшиеся ему непомерно большими для столь маленькой женщины, он все же оставил ей свою папку. И все последующие приезды Невструев обращался уже только к ней. Несмотря на некоторый проигрыш во времени, теперь он, однако, получил уверенность, что все будет исполнено в назначенный ею срок и с безукоризненной тщательностью. И он стал ее постоянным клиентом. Елизавета Мефодьевна, всегда безотказная и обходительная, даже как-то по-родственному привязалась к нему. Особенно после того, как он взялся отладить ее старенькую, уже подслеповато печатавшую довоенную «Ленинградку». Он и на самом деле в следующий свой приезд захватил с собой паяльник, инструменты и целый день провозился с машинкой, устраняя люфты, очищая от напластованной старой смазки, которая, впитав за долгие годы бумажную пыль и хлопья, окаменела до ископаемой твердости. Заново смазав и собрав рабочие узлы, он съездил в специализированный магазин, купил и поставил новый шрифт и даже восстановил контрольный звонок, давно не работавший, чем и вовсе привел в восторг Елизавету Мефодьевну.

— Ну, надо же! Надо же так уметь! — с чувством восхищенного изумления глядела она на четкие, аккуратные строчки пробного листа. — У вас просто золотые руки! А вы знаете, я приглашала мастера, а он посмотрел и отказался. Лучше, говорит, купить новую. Но помилуйте, где же я куплю? И кто мне продаст хороший инструмент? «Москву» — пожалуйста. Но на «Москве» многие печататься не желают, а хорошую машинку мне не достать. Да и дорого. Нечестные люди за «Олимпию» просят четыреста рублей. Такие деньги, такие деньги! Я и в лучшие свои времена по стольку не имела. А теперь и вовсе. Многие забыли ко мне дорогу, да и руки не слушаются. Что делать, что делать — время... Ах ты господи! Надо же! Так меня выручить! Такое утешение! Вы мне целых десять лет вернули. Право слово, я будто и сама помолодела.

После этого случая Елизавета Мефодьевна вовсе заотказывалась брать с него плату за перепечатку, и лишь когда Невструев в свою очередь заявил, что совершенно не приемлет этой ее любезности, что платит он не свои, а казенные деньги, специально отпущенные на подобные расходы, Елизавета Мефодьевна уступила, но уже с того дня не отпускала без чая, а то и без баночки грибов собственного посола. И уж непременно напередает приветов и по-

клонов и жене Невструева, и его великовозрастным чадам, и матушке, о которых как-то исподволь, за разговорами, успела все вызнать и проникнуться их делами, здоровьем и заботами.

Впрочем, так ли уж много Невструев проигрывал во времени? Конечно, бойкой главковской машинистке его дела от силы на четыре-пять часов, не более. Но такую надо еще уговорить, походить около, а если и возьмется, то это еще не значит, что отпечатает сразу же. Придется всякий раз умолять, подталкивать, что тоже выльется не в один день, да еще с нервотрепкой. Медлительная же исполнительность старушки была даже по-своему выгодна: он испрашивал продления командировки и, уже заведомо зная, что через день-другой все будет выполнено в точности, эти-то день-два, а то и три, как сложится, наслаждался полной свободой и тем безмятежным ничегонеделаньем, которое после заводской суматошной повседневности особенно приятно здесь, в Москве, с ее бесчисленными соблазнами и вообще в обстановке всей этой столичной новизны, когда приятно просто пройтись по улицам, поразглядывать витрину какого-нибудь табачного киоска или посидеть в кафе, сладко и тихо печалась от присутствия за соседним столиком незнакомых хорошеньких женщин...

Да и не только надоедал завод, все эти планерки, накачки, вечные неурядицы с планом, сырьем, поставщиками, а и сам городишко в два десятка улиц, с единственной площадью, где неделями маячил рекламный щит перед кинотеатром, переделанным из старого собора; осточертели все эти домишки, садочки, серые тесовые заборы, вороний грай, мокробрюхие собаки и даже новый заводской поселок на окраине, куда ведет узенькое колдобистое шоссе, хлюпающее жидкой кашицей в дожди и оттепели; и неразбериха коммунальных траншей, кавказы навороченной глины, застятые вторые этажи... Да чего там! Москва есть Москва. И не только он, Невструев, обыкновенный, ничем не примечательный провинциал, часами выстаивающий за железнодорожными билетами в общей очереди, а и бери выше — какие бы ни были тут дела, всяк едет в Москву с заведомым предвкушением хотя бы на время ослабить служебно-будничную сворку и перевести дыхание сообразно со своими наклонностями и пристрастиями...

И Невструев, запрятав заячий ушан в портфель, подставив ничем не омраченному солнцу свои уже глубокие залысины, все еще ощущая свежую, приятно саднящую выбритость, уже вышагивал по Трифоновской, радуясь городу, одарившему его чувством расслабленности и свободы.

В главке, занимавшем весь третий этаж высокого, но узкого по фасаду здания, в облике которого переплелось нечто мавританское с готикой, как, впрочем, по мнению Невструева, и в самой организации производства ширпотреба, он наконец утряс бумажные не-



увязки, над которыми вчера, запершись в номере, просидел с обеда до глубокой ночи, и, уладив еще кое-какие поручения в других отделах, отправился на ближайшую почту. Он позвонил на завод, доложил обстановку и выпросил еще трое суток к тем четверем, отпущенным ему по командировке, уже пролетевшим за всеми этими прениями и трениями. Таким образом, когда документы будут заново отпечатаны с учетом всех внесенных поправок, ему останется еще разок наведаться в главк за подписью начальника и главного инженера. Но это будет не ранее, чем через пару дней, а до той поры он теперь волен распоряжаться собой по собственному усмотрению, и в этом-то и была самая приятная изюминка его столичных вояжей. За вольное время прежних своих приездов он излазил Москву, как говорят немцы, крейц унд квер, и все, что было доступно обозрению, старался посетить и увидеть: Оружейную палату, манежные выставки, антикварные салоны, Донской монастырь, иконы Рублева, Новодевичье кладбище с именитыми надгробьями и даже Палеонтологический музей на Моховой. Нынче он предполагал закатиться в усадьбу Архангельское, посмотреть, что это такое, благо, что выдались удивительные погожие деньки. А то можно и на Бородино, где тоже ни разу не бывал с тех пор, как осенью сорок первого несколько дней отбивались от врага на речке Колоче. Но тогда было не до реликвий. Изможденный долгим отступлением, окопной грязью и недосыпанием, он, по правде сказать, ничего и не видел: были ли на том поле какие-либо памятники или их тогда же снесло и сровняло с землей обстрелами и бомбежками.

В Марьину рощу Невструев отправился все так же пешком.

Елизавета Мефодьевна жила в Репловском посаде в старом двухэтажном рубленом флигеле, окрашенном в желтую охру, с деревянной вязью по карнизу и оконным козырькам, с вольной порослью сирени и жасмина в тихом муравистом дворике, каковые еще встречаются в лабиринтах тамошних переулков. Дом этот, некогда принадлежавший одному хозяину, впоследствии перешел в коммунализ и был заселен несколькими семьями. К нему пристроили всякие боковушки и лесенки, отчего он стал походить на отслуживший свое дебаркадер, вытасченный на берег из-за ветхости и потери плавучести. Елизавета Мефодьевна с двумя одинокими сестрами, такими же, как и сама, сухонькими, белоголовыми старушками Анастасией и Степанидой, и совсем уже ветхой матерью, переступившей за девяносто, занимали на втором этаже единственную комнату в три окошка и маленькую кухонку, уже потом переделанную из кладовки.

В первый раз, придя по указанному адресу и поднявшись наверх вслед за Елизаветой Мефодьевной, Невструев удивился четверем

кроватям во всех четырех углах, делавшим комнату похожей на больничную палату или, скорее, на общежитие в доме для престарелых. Самих жилищ, кроме Елизаветы Мефодьевны, он долгое время не заставлял: как потом выяснилось, едва заслышав его звонок, они поспешно покидали комнату и затаенно отсиживались в кухоньке все то время, пока Елизавета Мефодьевна принимала клиента. Лишь спустя год Невструев впервые увидел самую мать, даже не увидел, а ощутил ее негласное присутствие в комнате: у старой женщины случился инсульт, ее парализовало, отняло речь, и она недвижно и немо лежала за ситцевой ширмочкой в дальнем от входа углу, который принято называть красным и где тускло мерещился лик Богородицы в померкшем фольговом окладе. При виде этой ширмы, которой прежде не было, Невструев невольно убавил голос, но Елизавета Мефодьевна, поняв его замешательство, ободрила:

— Это мама. Уже шестой месяц... Не обращайтесь внимания. Я ведь и на машинке при ней стучу. Она привычная.

А еще через полгода ни ширмы, ни матери в комнате уже не было, но кровать ее не убрали, она так и осталась стоять, аккуратно застеленная, с горкой взбитых подушек в изголовье.

— Пусть стоит, — дрогнула губами Елизавета Мефодьевна. — Все-таки память... Сразу после нее не убрали, знаете, как-то нехорошо было выносить сразу же... Да и привыкли мы так, в четыре души...

Оставшуюся площадь между кроватями, как раз посередине, занимал просторный стол на упористых брусковых ногах, и на дальнем его краю возвышалась самая ценная вещь в этом жилище — пишущая машинка. Скорее, не машинка, а машина, даже на вид неподъемная, на литой чугунной станине, всей своей осанистой громоздкостью и чернотой напоминавшая какой-то фабричный станок. Машинку эту, видимо, никогда не убрали со стола не только потому, что ее, весившую не менее двух пудов, и на самом деле было не по силам квелым старушкам переносить с места на место, но главным образом потому, что остерегались повредить, не дай бог, что-либо испортить, оберегали и лелеяли всем миром. И она так пожизненно, неприкасаемо и стояла здесь на специально сшитом ватничке с той только разницей, что когда не было работы или в праздники ее покрывали плюшевой накидкой с такой же кружевной оторочкой, как и на подзорах всех четырех кроватей. Когда Невструев взялся ее ремонтировать, то под ватником, к великому изумлению Елизаветы Мефодьевны, обнаружил старую, еще до-реформенную тридцатирублевку.

— Удивленье, да и только! Какая стала память... — смущенно запричётывала она. — А я, помнится, так тогда искала, так искала...

Впрочем, стол был достаточно велик, чтобы во время трапезы разместиться на другом его конце, не беспокоя машинку. За ним



доводилось сиживать и Невструеву, более из терпеливой вежливости выслушивая за чашкой чая словоохотливую Елизавету Мефодьевну, радовавшуюся теперь уже редкому посетителю.

— А что, есть ли теперь в городе бумага? — интересовалась она, забывая, что уже спрашивала об этом.

— Видел, видел. В канцелярском, возле площади Маяковского.

— Давно видели?

— И в тот раз, и позавчера заходил. Присматривал себе хорошее лекало. Была, была бумага.

— Ну, слава богу. Мы теперь в городе почти и не бываем.

— А что, нужна? Я как-то не подумал...

— Нет, нет, это я так. По старой привычке, — успокоилась она. — Прежде с бумагой было так трудно, так трудно. Все мы только и думали, как достать бумагу. И Стеша, и Настюша, и даже мама, когда еще могла выходить из дому — так и глядели в оба. Настюша поедет в центр прикупить чего к празднику, а увидит — бросит все другие покупки, да вся на бумагу и потратится. На уме только и было: бумага, бумага.

И неожиданно поинтересовалась:

— А вы не знаете, на комиссию ее принимают?

— Если хорошая, почему же не принять?

— Конечно, конечно, еще хорошая. Запечатана, все как следует

— Думаю, что возьмут.

— Да вот все жадничали, накопили. Знаете, это все от войны в нас сидит. Все эти нехватки. А теперь что ж... нынче каждый со своей бумагой идет. Господи, что я говорю: идет... Хотя бы со своей, да шли-и! А то иной раз и за месяц никто не позвонит. Теперь ведь всюду машинки — и на работе, и дома. Правда, в центре еще можно практиковать. Там много живей. Весной дипломники и вообще... А к нам кто ж поедет? Бог ты мой, я и сама не помню, когда на Красной площади бывала!

И, уловив взгляд Невструева, блуждавший по пустынно голой стене и остановившийся просто так, машинально, на толстом крюке, под которым на выцветших обоях красовался квадрат чуть потемнее, Елизавета Мефодьевна оставила прежнее и заговорила о гвозде:

— Это у нас часы висели. Да, все было, все было... И часы, и многое другое... Никто не мечтает быть машинисткой, их делает жизнь. Походите, голубчик, по Москве, полюбопытствуйте. Если где увидите надпись «Переписка на машинке» — это значит, что когда-то что-то надломилось у этого человека. Что-то было не так, верьте моему слову. Конторские машинистки не в счет. У них все обыкновенно. Но пишущая на дому.. Я многих знавала, и многие жили прошлым... Вот видите, на той стене неровности? Там прежде была дверь в соседнюю комнату. Обе комнаты были мои. И еще

просторная кухня с той стороны. До войны это была вполне приличная квартира. Правда, без особых удобств, но кто же тогда жил с особыми удобствами? Даже в Москве. Но зато, смотрите, какие потолки! Если перегорит лампочка, нам уже не заменить. Между прочим, та комната больше этой. И все это занимали мы, то есть я с мужем. Муж работал старшим инспектором в Управлении Рязанской дороги, я учительствовала, росло двое мальчиков. Все славно было, всего хватало. Кстати сказать, не будь он ревизором, мы бы с ним и не поженились. Вы никуда не спешите?

— Да, в общем-то, нет...

— Ну, я в двух словах... Чтобы вам знать, все мы — и Стеша, и Настюша, и еще два меньших брата — родом из-под Шацка, это как ехать на Тамбов. Батюшка наш крестьянствовал, пахал землю, но был еще и хорошим плотником, и его нередко нанимали на работы в помещичью усадьбу Воротовых. Отец брал с собой и меня, и с любопытством крестьянской девочки разглядывала все вокруг. Помню, как свозили с поля картошку, как она грохотала по деревянному желобу, а посередине двора на разостланном рядне бабы перебирали вороха грибов. И как на выгоне сам Воротов в белом сартузе и красной распущенной рубаше в присутствии мужиков вонял вокруг себя на вожжах молодую лошадь. Случалось, что меня звали играть с детьми Воротовых, Митей и Оленькой, и мы за большим белым домом качались на веревочных качелях или прятались друг от друга за всякими строениями. Оленька учила меня даже по-французски и потом громко смеялась с Митей, а то и сердилась, и называла меня обидно, когда я непослушным языком неправильно выговаривала чужие, непонятные слова. Это я к тому, что, когда папа умер в тысяча девятьсот тринадцатом году — он сбрушил золотом руку, и у него приключился антонов огонь, — то гостивший у помещика его брат, Федор Львович, с женой — все звали ее Анусей... — из жалости к нашей семье предложили взять меня с собой в Гродненскую губернию... Ничего, что я так издалека? Или, может, все это неинтересно?

— Отчего же? С удовольствием слушаю.

— У нас ведь, у стариков, своя жизнь. Сидим по углам, старимся, и никто и ничего про нас не знает. Иногда вот так поведешься про свое, и вроде бы душе просторней, не так давят годы. Ну, так вот... Мама поплакала, поплакала, да и решилась меня отпустить: как ни жалко, а все же один рот из дому.. Снарядили меня, и мы поехали.. Сначала на пролетке до Сасово, а там — поездом, который впервые видела, и, когда поехали, все удивлялась, почему за нами гонится красная луна.. Ну, приехали наконец в Гродно, откуда — в местечко Шавли, где у Федора Львовича было коммерческое дело — конная почтовая станция. Это, чтоб вы себе представили, ольпой одноэтажный дом с обширным голым двором, по сторо-



нам — конюшни, фуражные сараи, амбары, жилье для конюхов и ямщиков. Федор Львович обслуживал участок почтового тракта до границы с Пруссией города Таурогени. Это примерно сто верст. По участку ходили его пассажирские крытые дилижансы для простолюдинов, дорогие заказные кареты, разные повозки и колымаги для посылок и багажа. Мне выдали платье, и я стала учиться прислуживать сначала в корчме, а потом и по дому. Вроде бы все ничего, но тут случилась война с Германией, Федора Львовича призвали в армию, а потом было объявлено об эвакуации ввиду опасности. Федор Львович, уже в погонах и ремнях, спешно воротился на несколько дней домой и распродал лошадей и почтовое имущество. Денщик-солдат погрузил домашние вещи в большую фуру. Ануся с детьми и горничной и я с ними сели в непроданную, оставленную для этого карету, и мы поехали. Помню, я всю дорогу держала на руках маленькую собачонку Арлика, обшитую овчинкой по самую шею: Ануся боялась, что собачке будет холодно в дороге. Федор Львович со своим денщиком верхами сопровождали нас трое суток до Лиды, там нас погрузили в поезд, и военные вернулись обратно на фронт. А мы поехали в Россию, где в имении под Калугой жила родная тетка Ануси. Эта тетка с багровым родовым пятном во всю щеку, из-за чего не была замужем, с первого шага невзлюбила меня и не велела появляться в господском доме. Но я все же прожила у нее все годы войны, определенная в прачки и водоноски... Не наскучило?

— Нисколько...

— Ну, я буду многое пропускать. Если бы вы были писателем, возможно, что-то из этого вам бы пригодилось. Одно то, как я жила у этой старухи, чего натерпелась — целая повесть. Но, бог с ней, со старухой. Когда пришла революция, я что-то не помню. Наверно, потому, что ничего особенного у нас там не происходило. Только велено было на ночь закрывать в доме ставни. Но уже потом, году, кажется, в восемнадцатом, внезапно объявился Федор Львович, небритый, в извозничьем балахоне. Он пробыл два дня, никуда не выходил из дому, а на третий, надвечер, уехал вместе с Анусей на простой крестьянской телеге, оставив детей тетке. А через некоторое время тетка обвинила меня в краже каких-то фамильных безделиц и прогнала меня со двора, не заплативши ни копейки. На мне опорки от сапог, кофтенка да платок. А уже осень, слякотно, люто, вот-вот морозы грянут. Что было делать? И решилась я пробираться домой, в свою деревню. Только где она, эта деревня? Оттуда я выехала одиннадцатилетней девочкой, да и теперь, хотя мне было уже шестнадцать, я не имела ни малейшего понятия, куда мне идти: на юг, на север ли... Близко, далеко ли... Да и жив ли там кто из родных? Ну, пошла я с подорожной палочкой, кое-как пробавлялась подаяннием, добрела до Калуги, это верст за семьдесят от Ма-

сальска-то. Да там и застала меня зима. Убоялась я холодов, осталась в городе, кому постираю, кому воды принесу. Тогда ведь водопроводов не было, ну-ка, потаскай коромыслом с Оки на гору. Никогда не бывали в Калуге?

— Да нет, не приходилось.

— Дожила до весны, стала присматриваться к поездам, у железнодорожников разузнала, куда мне ехать, в какой стороне наше Сасово. И вот, уже по теплу, по травке, упросилась я на какой-то поезд. Мужчина в черном кителе с петлицами, с револьвером на боку, — ну какой там мужчина — лет двадцати парень! — расспросил, кто я, откуда, есть ли документы. Я все рассказала, как на духу, и он поверил и посадил. А когда поехали, ночью стошнило меня, закружилась голова, не знаю, что со мной стряслось, только очнулась я в служебном купе и, вижу, сидит рядом тот человек в черном кителе. Я хотела было подняться, но он удержал, велел не вставать, принес кипятку с сухарями. Я поела и снова забылась. Утром в Москве меня сдали в больницу, оказалось, у меня тиф...

— Смотрите, как не повезло.

— Да, форменный тиф. Теперь не знают, что это такое. Меня остригли наголо, отобрали все пожитки, даже нательное, и я только помню, как душили кошмары. Несколько суток... А потом, когда минул кризис и я стала вставать и учиться ходить по стеночке, мне передали этаким черным пирожнице с луком, кусочек сахару и записку. А в ней два слова: «Выгляни в окно». Я глянула и опять увидела внизу, в больничном дворе, того парня в кителе. Он что-то говорил, смеялся, мелькали его белые зубы, но я ничего не поняла. И тогда он взял палку и нацарапал на сырой земляной дорожке: «Без меня не уезжай!» И у меня опять закружилась голова... К выписке он пришел с чемоданчиком, там оказалось платье, еще хорошие ботинки и косынка: я-то была стрижена, как овечка. Отвел он меня в кондукторский резерв на Казанский, есть у них такая служба, дали мне койку в дежурном общежитии, а на другой день приняли учиться на машинистку в их управлении дороги. Ну а дальше — все такое разное, и кончилось тем, что летом девятнадцатого года мы с моим Павлом Андреевичем поженились, и он отвез меня к свекрови в Перово. Вот так я и не добралась до своей деревни. Он все время разъезжал, и я очень за него боялась: время было беспокойное, на дорогах банды, в поездах лазутчики, спекулянты. Но постепенно все стало налаживаться, родился наш Ванечка, потом Костик. Мужа повысили, сделали старшим ревизором и дали вот эту квартиру из двух комнат. Он заставил меня учиться, поступила на рабфак, закончила и пошла в школу учительницей. Да и потекло все ладом. Мы с ним даже в Крым ездили. Это вот, — Елизавета Мефодьевна затеплившимися глазами показала на точеную этажерку в простенке, уставленную поверх шкатулочками, морс-



кими камушками и ракушками, — это все оттуда... Да-а, голубчик, все было, все было... Давайте еще стаканчик налью. Вы так и не попробовали варенья.

— Признаться, сладкого не люблю.

— Ну, что вы! Это же ежевика. Я, правда, уже не ходок, все наша Стеша лесует. И варенье, и грибки — все она. Уже и сама стала плоха, а все в лес смотрит. Она у нас единственная из семьи всю жизнь прожила в деревне. Ну, еще мама. А остальные — все распорхались. Настюшу я потом разыскала в Ленинграде, тоже все хорошо, семья, детки. Брат Афанасий оказался в Нижнем, тоже при деле, еще один, Петр, сверхсрочно остался в Красной армии, ну а Стеша с мамой как жили в деревне, так и поживали.

— Это еще до войны?

— Да, я вам рассказываю о том времени. О том, о том... Теперь вы спросите, как же мы оказались тут, в этих четырех стенах. Ах, голубчик! Кто же знает наперед, что с нами будет! Кто знает... Это как крушение поезда. Мой Павел часто рассказывал про эти крушения. Едет человек, хорошо устроился на полке, размечтался о жизни. И вдруг: бах-тарарах! — бьются стекла, летят чемоданы, пол уходит из-под ног, люди — кто убит, кто искалечен... Так и война. Мальчики мои, Ванечка и Костик, к тому черному часу оба служили в армии, их больше так и не видела. От Ванечки остались три письма с фронта, а от Костика совсем ничего. Как я не хотела, чтобы он был летчиком! Но разве их отговоришь? Ушел в спецшколу из восьмого класса. Потом писали Костины товарищи: погиб в первый же день на аэродроме. Прямо в самолете, даже не успел взлететь.

— На войне не угадаешь, где лучше...

— Это верно. Мой Павел Андреевич служил на железной дороге, а тоже не уберется. Его сначала не брали, а осенью, когда немец подошел к Москве, вдруг прибегает домой с двумя ведерками угля в вещмешке и как обухом: ночью с бронепоездом выезжает на фронт. Бронепоезд вскоре вернулся на ремонт, а в полуразбитом вагоне привезли семнадцать человек под брезентом. Был там и мой Павлик. Их показали родственникам, но отдавать по домам не стали, а похоронили в общей могиле возле депо. Это мое крушение... А у Настюши — свое. Правда, мужа ее на передовую не брали, он оставался на заводе, но война достала и там. Вы же знаете, как пришлось ленинградцам. К концу блокады он уже едва ходил и не возвращался домой с завода, сэкономил силы. Да там, в цеху, и умер. Должно быть, предчувствовал: в последнюю свою ночь залез за котлы, в обтирочный ящик, никто этого не видел, а когда хватились, он уже скончался. Потом Настюша схоронила младшенького. А девочка пошла по воду, и как раз начался обстрел. Бедненькой оторвало обе ножки, два дня только и пожила... То же с братья-

ми, Петром и Тимофеем. Петина могилка в Познани, а Тимоша пришел домой, но потом открылись раны, резали да сшивали, резали да сшивали, пока уже нечего было сшивать. Осталась жена, трое детей, где они теперь, не знаю, связь с ними с годами порвалась. Да и Стешу не минуло: на мужа пришла похоронка, а детей Бог не дал, и тоже осталась бобылкой. Вот такой финал всему..

— Да, это ужасно...

— После Павла Андреевича я из Москвы уже никуда не уезжала. Даже когда немцы в Яхrome были. Решила: будь что будет. Тогда я уже не учительствовала. Школы закрылись, их отдали под госпитали. Направили меня шить телогрейки для фронта. Ваты не хватало, и мы, женщины, пороли, а затем растеребляли на трепальной машине всякое тряпье: негодные шинели, нательные рубахи, госпитальные бинты... Из всего этого делали серое подобие ваты. В цеху холодина, руки не заживали от порезов, тряпичная пыль ела глаза, зудела в горле, и я заболела туберкулезом. Из-за этого в школу я уже не попала. Дали мне пенсию, ну да что эти крохи? Хоть чем-то поддаться, выменяла на толкучем вот эту машинку да и присохла к ней по сей день. Правда, все потом обошлось, Бог миловал, как видите, дожила до седин. Но судьба распорядилась так, что в школу я уже не вернулась, знаете, многое утратилось, да и недостатка в учителях уже не было. А вторую комнату я еще в войну отдала. Не по силам было отапливать, да и на что мне две — одинокой? Кто же знал, что вот так соберемся вместе, четыре старухи? Сначала мама приехала, когда я еще болела. Потом Настюша. А четвертый угол уже много спустя заняла Стеша. Уговорили: что ж ты будешь одна стариковать в деревне, давай к нам, уж будем вместе доживать свой век. Да вот и собрались: мышка-норушка, лягушка-квакушка да сова — бездомная голова. Когда без семьи, так и это семья... Вы, вижу, посматриваете на часы. Простите меня, старую...

И, уже провожая Невструева по сумеречной крутой лестнице, говорила:

— Я вот иногда думаю: растет такое дерево. Великое, тысячелетнее. Несет оно на себе много-премного ветвей. На ветвях еще ветви, а у тех — еще, и так все drobней и тоньше. И вот налетела буря. Такая буря, такая ужасная! Засвистело в ветвях, полетели листья. Само-то дерево устояло, удержалось на крепких корнях. Но много обломалось на нем ветвей, и не счесть унесло листьев. С годами дерево поправилось, свежая листва укрыла надломы и ссадины. Но разгари эти молодые побеги, загляни под них, под зеленую гущину, и увидишь следы прежней невзгоды. И еще долго им зарастать, затягиваться. Вот и наша ветка обломилась и отпала. Будут на дереве другие плоды, но наших уже никогда не станет. И сколько таких надломленных веток...



## ЗАРИСОВКИ ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ

Как ни кажется бесконечно долгим  
бег таинственных капель, как ни велик  
счет их черед, все же придет миг, когда  
падет последняя из этих четок судьбы...

*Из ночных бдений*

### ПАЛАТНЫЙ СОСЕД

В палате нас двое. На вытянутую от меня руку лежит житель дальней глубинки, по некоторым деталям его палатного обитания сумевший уцелеть после землетрясений перестройки.

— А я как... Когда затряслось, посыпалась старая штукатурка, я не будь дурак, взял и убежал в поле...

У него странная манера: даже о смешном он говорит без улыбки, и бывает трудно понять, когда он шутит, а когда говорит всерьез.

— Как это — в поле?

— А вот... Работал я по ремонту сельхозтехники и даже квартиру получил в казенном доме. Две комнаты на втором этаже. Ну, ванна, туалет с бачком, вода прямо на кухне... Жена все в окно дивилась: «Ох, высоко!»

Тут как раз под ногами зашатало: перестройка! Один за другим попадали районные начальники и подначальники. Смекаю: и мне не уцелеть... Плюнул я на этот теплый туалет, свернул ковер в трубку и спустился с казенной высоты на землю, на выхлопотанный участок. Деньжат немного было, на «Таврию» копил. Вместо «Таврии» купил красного «муравья»-работягу, с него и начал рулить...

То, что он уцелел после тряски, видно и простым глазом. На нем приличная пижама, молодежного кроя кокетливые белые трусы, хорошие часы с ночным подсветом, импортный прибор для бритья, с умывальника веет, забивая мое, российское, духовитое заграничное мыло...

Он лежит навзничь, в боку у него дренажная трубка, которая не дает ему лежать иначе, а потому говорит чаще всего вверх, не адресуясь к собеседнику. А вообще он крепок, охотно и много ходит, разыскивая на этажах земляков.

— Так что, — слышу я, — кого потом потрянуло аж под семь баллов, много и вусмерть, а я вот уцелел. Семью уберег и сам спасся. У меня теперь дом с верхней светлицей, хозяйство, одних кур аж за сто штук. В неделю — ящик яиц...

— Ну хорошо, куры-утки — все это товар — деньги, деньги — товар. А вот что-нибудь для души? Попугайчиков, например?

— Не-е, этого нет, много треску, обои забрызгивают. А так — обычное: кошки, собаки...

— Сколько собак-то?

— Две.

— Небось злобных пород?

— Да не-е! Наши, поселковые. Из жалости подобрал. Доходяги. Одна больше месяца у ворот сидела. Выгляну в окно — сидит. Ночью — сидит, утром — сидит. Потом стала на работу провожать. Я работаю, а она ждет, когда наступит конец рабочего дня. Дома закрою за собой калитку, а она поскребет-поскребет лапкой, успокоится и ждет утра, когда я выйду. Ни хлебца, ни косточек — ничего этого не давал, а то еще больше прилипнет. Дак она за так сидела и за мной бегала... Ну ладно, говорю, раз ты такая верная, все экзамены выдержала — заходи. И пустил во двор. А потом и вторую пустил. Парой надежней. Я им хорошую сторожку построил. Утепленную. Современные изоматериалы применил...

Дак их теперь не узнать: шерсть залоснилась, глаза веселые. Сапоги мои чуть не лижут. И такие культурные: во дворе ни за что не напачкают. Ходи хоть в чулках — нигде ничего. До вечера терпят. Ждут, пока не приду с работы да не выпущу их на нейтралку.

— Как же ты научил этому?

— А это долгая наука, — уклонился он.

Узнав, что я пишу книжки, встречно с явной готовностью сообщил:

— А у меня тоже штук под тыщу книжек. Да штук двести по разным профилям. Надо чего по столярке — какие пазы, какая вязка, а у меня уже есть. Листаю: ага-а! вот оно!.. По кузнечному — тоже на! Сварочные работы — пожалуйста! Выделка хрома — есть и выделка хрома... Гидропоника — есть и она.

— Поди, к тебе люди идут за книжками, как к знахарю...

— А я не даю! И не дам больше...

— Что так?

— По первости дал одному — нет и нет... Уж и третий день пошел, пора, думаю, прочитать. Если надо, дак за ночь прочтешь и нужное спишешь... Захожу к нему, а он еще и не брался читать. Сидит, со свояком водку трескает. «Садись!» — тянет табуретку. «Да пошел ты!» — забрал книжку и ушел к такой матери... С тех пор никому не даю. Будь ты хоть сам министр. Если надо — приходи ко мне: вот стол, книжки, мой руки и садись читать. А за порог не дам... Они с неба не упали, я их своим горбом начертячил...

Голос его ожесточился, а при полостных дренажах всякие напряжения исключаются, и я чуть повернул разговор:

— Да, книгам нет замены, нет им равной цены. Что же, книжную стенку не купил еще?

— А я их в спальне держу. Полки повесил.

— Выходит, спишь, а сам тем временем знаний набираешься...

— Может, и набираюсь. Я в одном месте читал, будто каждая книга испускает невидимые волны. Из тех мыслей, которые в ней заложены. Умная книга — большие, долгие волны. Поменьше мыс-



лей — и волны послабей. А пустая — та как доска. Кувшин ею покрывать. Я таких не держу, не трачусь. Прежде чем купить, я не раз в магазин зайду да выйду.

В разговоре он больше всего боится, что его могут обвинить в каком-либо незнании, и он ревностно, иногда обиженно защищается, в то же время нападая:

— Да читал я! Читал! Есть у меня и про это.

А в общем, мой сосед — жизнестойкий, упористый, трудолюбивый человек. Может, такие ныне России нужнее, чем те, что в казенных дворах уже с утра начинают стучать доминошками, посылая проигравшего за бутылкой?..

## ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

По главному коридору впереди меня шагает-шлепает тапками один из обитателей межэтажных пространств. Со спины он пресыщенно округл, руки далеко отставлены от бедер, как бывает у надувных манекенов. Шеи у него нет, стриженная голова, морщась на загривке моржовыми складками, вставлена прямо в вырез черной футболки с полукружьем букв во всю спину: «Чикаго Буллс». Под надписью — багровая голова бизона с яростными глазами.

Штаны его прочерчены то красными, то белыми полосатыми лампасами, создающими впечатление многосуставчатости подобно членистоногим обитателям донных глубин. Среди этой чересполосицы, где-то выше колена, красуется еще одна голова бизона, а на видном месте бедра ярко высвечивает как бы написанная горячей бычьей кровью крупная аббревиатура «USA», производящая то странное и магическое воздействие, как если бы на штанах было написано буквально: «Стоп! Собственность Соединенных Штатов!» Неизвестно только, относится это лишь к штанам или и к обладателю оных...

Он идет, встряхивая кистями, поигрывая растопыренными пальцами-коротышками, лопатки его, как и каучуково напряженные ягодицы, тоже участвуют в этой игре откормленной силы, требующей походя что-то двинуть, согнуть в бараний рог, дать в морду.. Он с ленцой разбрасывает ноги: левый тапочек на шестьдесят румбов влево, правый — на столько же вправо... По этой вялой, никуда не стремящейся походке можно с уверенностью сказать, что в армии он не служил, иначе ротный прапор скоро бы придал его развальному шлепанью нужную целеустремленность. Но сейчас он самодовольно шагает, высверкивая правой ляжкой выстроченное тавро «USA», «USA», «USA»...

Это, как оказалось, был новый русский.

У него какое-то расстройство в связи с перееданием...

Тем временем из дальней неясности коридора вывернулся встречный. Поочередно размахивая руками, он ускоренно прибли-

жался, будто доставлял депешу. Я его уже немного знал. Он ничего и никуда не доставлял. Просто это его стиль — озабоченная суета. На нем мешковатый хлопчатый якобы «адидас», скорее всего, сработанный в цыганских переулках завокзалья. Цвет неопределенный: нижняя часть штанин — цвета канарейки, коленная часть сверкала белизной, далее следовала васильковая вставка... То же повторялось и на рукавах. Он был не только членистоног, но и членисторук, но этого, видимо, не доставало до нужного рейтинга, и оттого был суетлив и непоседлив. К тому же у него долгая шея, серое дистрофичное лицо и большой гусячий носоклюв, делавший его похожим на квелого гусенка. И вообще он был полной противоположностью толстяку. Даже уши гляделись разное. У толстяка они розовые, похожие на горящие огни поворота. У него же уши вяло и обвисло торчали, будто непропеченные блины. Один переел в новых экологических условиях, другой в тех же условиях схлопотал язву желудка.

Набежав на толстяка, продолжавшего лапчато вышлепывать по коридорному фарватеру, Гадкий Гусик скользнул по его фирменным знакам и, мигом определив свою вторичность, отвернул влево — ничего не поделаешь: «Чикаго Буллс» есть «Чикаго Буллс».

— Салют! — поднял члениковую руку Гадкий Гусик.

— Чао... — небрежно шевельнул губами Бизон.

Теперь я уже не мог ходить по больничным этажам непредвзято. Обнаружился как бы целый подводный мир «членистоногих», существовавший среди прочих больных — заурядных бабуль и дедуль из отдаленных весей, износившихся трактористов и доярок.

Я исподволь вглядывался в наспинную и нагрудную геральдику, вслушивался в особый говор, где то и дело звучало: «прикол», «шварт», «трахнуть» и пр.

У них свои предпочтительные товары в вестибюльной торговле, свое чтиво, блуждающее по палатам, своя система фильтрации «чуваков» и «чувих» в обход охраняемых постов, свое питье — во всяком случае, липовых «боржомов» они не пьют...

Попадались особи под знаками многих фирм, в том числе и наших, российских, старавшихся не отстать в членистоногой безвкусице, но приоритетное положение занимали все же красные быки — боевые кумиры родео — знак особой крутости и неоспоримости авторитета. В очереди на рентген я встретил сразу троих, замкнуто и отрешенно подпирающих коридорную стену. Видел их и в телевизионном холле. Но главная тусовка членистоногих всех мастей и покроев — это межэтажная площадка на лестнице у окна. Особенно многолюдна она с вечерней пятницы до воскресенья, когда больницу покидают почти все белые халаты.

Влекомые стайным инстинктом, они еще засветло начинают мелькать в межлестничных пролетах — сбегая и поднимаясь вверх-вниз, вверх-вниз, определяясь в клубки, кучки, толоки. Кучкуются



они и около висящего телефона, но собираться там им мешают проходящие позвонить. Зато на пустынной вечерней межэтажке — полная свобода слов и жестикуляций... Клубы дыма, окурочная вонь, многолюдный галдеж, грубая брань, хохот... Особенно бурлят тусовки после ужина...

Однажды утром я оказался в этом месте. Подоконник во всю его длину и ширину завален смердящими терриконами сигаретных окурков, комками смятых пачек и сникерсовых упаковок. Под нагроможденным пепелищем еще что-то тлело, и сизая прядь дыма, извиваясь и прерываясь от нечаянного движения воздуха, утомленно тянулась вверх. Несмотря на ранний час, здесь уже присутствовал одинокий завсегдатай в адидаске, небрежно накинутой на обнаженные стропила ключиц.

— Послушай, парень, — сказал я ему. — Давай найдем ведро и веник и сметем эту пакость. Поди, самому же муторно стоять возле такого омерзения.

Парень замял окурочек о затыканный закраек подоконника и, меня не поняв, молча «отвалил» восвояси.

— Не лезьте вы к ним, — тронула меня за рукав пожилая женщина. — Они и побить могут...

И в самом деле, всё могут...

И изнасилуют...

В отделении уха, горла и носа неподалеку от двери какого-то кабинета в ожидании вызова томятся трое парней. Один без интереса разглядывает плакат-пособие, другой ногтем скребет трещину на стене, делает ее... пошире, третий носком чумазой кроссовки поддевает отставший край линолеума. На этом парне еще топорщились измятые, давно не стиранные, какие-то сингапуро-кокосо-банановые штаны, но на меня почему-то большее впечатление произвели его толстомордые, донельзя замызганные кроссовки.

И вот в коридоре появилась молоденькая, светленькая, в аккуратном халатике медсестричка с папкой деловых бумаг.

Парни враз замерли вдоль стены, будто легавые кобельки, сделали стойку: учуяли дичь...

Медсестра с озабоченным стуком каблучков прошла мимо, и тогда парень в кроссовках отлепился от стены и, дурачась, строя омерзительно-похабную рожу в красных воспаленных прыщах, охватно разбрасывая лапищи, запрыгал на цыпочках позади медсестры, всеми своими ужимками и отвратительными жестами показывая, что бы он с ней сделал в другом месте...

Сестра задержала шаг и взялась за дверную ручку кабинета. Парень тотчас отпрянул, выпрямился и с постной физиономией принялся рассматривать стенной плакат. Остальные двое едва удерживали солидарное хихиканье.

Открылась дверь, и чистый девичий голос оповестил:

— Больной Пегаскин, заходите! (Фамилия изменена.)

Тот, в замызганных кроссовках, принял скорбную страдальческую мину и, сутулясь, тихим лисом вошел в кабинет...

Сам я ходил в не очень выдающихся, давненько купленных трикотажных штанах для лыжных прогулок. Ходить на лыжах упустил время, но затогодились они для обитания в больнице. Вполне пригодные для этого штаны. Темно-коричневые, с карманчиком для туалетной бумаги. Правда, слегка побитые молью. Но это — если глядеть на просвет... А так — еще вполне терпимые штаны... Тем не менее в одно из своих посещений невестка напала на меня со всей непримиримостью:

— Да не ходи ты в этих позорищах! Сними сейчас же, я отвернусь. Вот принесла тебе новые. Будь человеком!

И она, порывшись в сумке, протянула мне черные членистоногие штаны с красным быком и вышитым клеймом «USA»...

## СИНИЙ ЧЕПЕЦ

В больничные палаты принято входить без стука.

Для врача, пока ты находишься у него на излечении, не должно быть такой ситуации, которая требовала бы предварительного оповещения. Больше того, вхождение доктора без стука олицетворяет не только его власть над тобой, которую ты добровольно ему вручаешь на время недуга, но и полное доверие, которое, пожалуй, важнее власти.

Весь остальной персонал больницы, вплоть до подсобника, посланного заменить перегоревшую лампочку, тоже следует этому правилу. И понять его можно. Большая разница — входить в палату без всякого якова, вроде как на равных, а то и хозяином положения, нежели когда заискивающе стучишь в запертую дверь. Каким войдешь, таким и выйдешь: прямым или глупым... Опять же — не господа лежат, иные и похуже нашего будут.

После большого торжественного обхода с курирующим профессором и долгой свитой, напомнившего крестное шествие, меня снова уложили под капельницу, не мешавшую, однако, пребывать в расслабленном отдохновении и сознании того, что на сегодня ты больше никому не нужен, никто уже не войдет и не станет мять и щупать под ложечкой и что можно взять в свободную руку хорошую книгу и погрузиться в совсем иные коллизии. И я блаженно полистывал недавнее издание «Петровской академии науки и искусств», где вместо «отрывок» пишут «отрык» (так короче, экономнее, а кратость, как известно, сестра...) или дальнего следования автобус называют «междурогодным», то есть едущим из одного «рогода» в другой. Словом, весьма поучительное чтение, как вдруг... дверь, будучи изрядно двинутой снаружи, размашисто, с прохладным вздохом, так что



зашелестели академические страницы, распахнулась и в образовавшийся проем шагнул некто в белом халате и высоком синем чепце. Лицо вошедшего в тот момент почему-то не запомнилось, было оно какое-то пшенично-округлое, как ситный хлебец, а обратил на себя внимание курняпый нос, который был непроизвольно румян и который вошедший (будем называть его Синий Чепец) сразу же и потрогал согнутым указательным пальцем.

— Так... — почему-то произнес он это любимое милицейское словцо, обычно звучащее в таком сочетании: «Так, пройдемте!..»

Из халатного кармана он достал большой пухлый блокнот, открывавшийся не книжно, справа налево, а вверх, через себя, как отбрасываются волосы на затылок. Он принялся в него что-то записывать, но строптивый блокнот, петушино распуская отогнутые страницы, пытался помешать сделать это.

— Вы кто? — неожиданно спросил Синий Чепец из-за своего встопорщенного блокнота.

— Я?

— Да, вы...

— Как кто? Я больной. Вот, видите, капельница...

— Да это понятно... — сказал Синий Чепец.

— А тогда что непонятно?

— На что жалуетесь? — поправился он и еще раз потрогал свою красную пипу.

— Как «на что жалуетесь?..» — Вопроса я не понял, ибо не знал, что имелось в виду и что за человек меня спрашивал. Больше всего меня смущал его колпак. Что он означал? Для чего-то же он был окрашен в синее — в отличие от белого общепринятого чепчика... Ну, скажем, в армии: красный околыш — пехота, черный — артиллерия. Голубой — авиация... Или во флоте: золотой кортик — боевой офицер, белый кортик — офицер обеспечения...

В медицине ведь тоже объявились цветовые различия. Сначала выделились хирурги, надели на себя все зеленое. И чепчик — тоже зеленый. Идет по коридору человек в зеленом, наперед знаешь: хирург — и проникаешься уважением. И это правильно. Они всегда стояли особняком. Их мужественная профессия, сходная с извлечением опасного фугаса, требует и соответствующей экипировки, близкой к условиям передовой, окопам...

Мне кажется, следовало бы ввести некие различия и в другие отрасли медицины. Розовую шапочку я бы предложил сердечникам — целителям самого деликатного органа, голубую — неврологии, желтую — гастроэнтерологам и т. д.

Ну а синий — почему-то само собой определилось под впечатлением от вошедшего — следовало отдать техническим службам. Так я и решил про себя, что пеклеванный хлебец в синем чепце — не иначе как по какому-то бытовому обслуживанию.

— Дак на что жалуетесь?

— Да ни на что особенно... Разве что в умывальнике краны протекают.

— Это не по моей части, — сказал Синий Чепец, однако поглядел на краны, действительно ли капают? Краны, как назло, не капали — в трубах не было воды.

«Ага, — сообразил я. — Ну если он не по сантехнике, тогда по электропроводке». А по электропроводке — сколько угодно. Например, чтобы ночью посмотреть на часы, надо сперва выйти из палаты и нажать на выключатель в коридоре. Или же идти с часами в туалет и там засветить плафон...

Я пожаловался на эти неудобства, но Синий Чепец промолчал и, подсев на край койки, принялся задирать на мне рубаху. Он долго мял горячими пальцами в подреберье, потом ниже пупка, а я, все еще ничего не понимая (ибо меня уже утром мяли), бездыханно глядел на его красную пипу, на кончике которой постепенно набухла большая светлая капля... капля наконец сорвалась и шлепнулась на мой оголенный живот...

— Виноват.. — сказал Синий Чепец и согнутым пальцем утер нос.

Утершись же, он помял еще с правой стороны, там, где, кажется, у меня должна быть печенька, и осведомился:

— Тут тоже ничего?

— А что должно быть? — не понял я.

— Ну если ничего, то нормально, — сказал он и пошел к умывальнику, как мне показалось, ополоснуть руки, которые согласно предписанию непременно надо тщательно помыть после соприкосновения с больным.

Краны сухо, безводно зашипели, и он, помахав так и не помытыми руками, вытер их о полотенце, висевшее на койке соседа.

— Возьмите мое, — сказал я.

— Это тоже хорошее, — поскромничал он.

И тут я спросил напрямую:

— А вы кто?

— Я? Вы мне? — удивился он и даже указал на себя пальцем. — Я субординатор.

Прозвучало это весьма внушительно.

— Это что, такой чин? Звучит, однако.

— Нет, это пока не чин.

— А что же?

— Я субординатор.

— Теперь понятно. Значит, еще только суб...

— Практика у меня.

— А чепец почему синий? Я думал, ты по слесарному.

— Да не-е... Я на врача... А шапка... Это так... У всех белые да белые... Дай, думаю, синюю...

— А почему полметра?



— А-а, шить дак шить...

— Девочек смущать? — рассмеялся я.

Субординатор было расплылся ответно, но весь сморщился и вдруг, закрывшись блокнотом, оглушительно и неудержимо взорвался чихом.

— Будь здоров! — сказал я вполне искренне.

С носом у него случился какой-то непорядок, он вырвал из блокнота листок, принялся им вытираться и, ничего больше не сказав, вышмыгнул за дверь...

### ГОВОРЯ, НЕ... КОЛУПАЙ

Этот телефон общего пользования, подвешенный на лифтовой площадке шестого этажа, я помню еще по прежним обитаниям в областной больнице.

Тогда были некоторые ограничения в его использовании. Ну, во-первых, чтобы вдохновить аппарат на переговоры, требовалось внести определенную мзду. А ежели вам понадобилось пообщаться более трех минут, то следовало опустить еще одну денежку. При таком правопорядке особенно не разговоришься. Приходилось постоянно заботиться о некотором запасе монет, выпрашивать их в ближайших газетных киосках или одалживать у добрых людей. При некотором неудобстве тем не менее это было весьма справедливое правило для общественного телефона, невольно заставлявшее думать о переговорном времени и о его цене.

Ныне для разговора по общему телефону нет никаких ограничений, кроме собственной совести. Не надо задабривать аппарат денежкой, из него изъято релейное устройство, ограничивавшее время переговоров. Так что теперь полная свобода слова! Давай валяй, если есть о чем и даже если не о чем... Правда, из-за этого доступ к телефону заметно уменьшился... Но об этом, как считают на площадке, следует болеть голове больничного начальства. Пусть повесит не один, а два-три телефона. Или поставит переговорные будки, как в цивилизованной Европе.

А говорящий — говорит.. Говорит, меняя позы, перемежая застоявшиеся ноги, говорит, одной рукой придерживая вспотевшую трубку, а другой, не замечая и сам, что творит, просто так, для снятия напряжения от возникающих биотоков, долгим отроченным ногтем или подобранным гвоздем, или забытой на переговорном подоконнике дамской шпилькой (а можно и просто туго свернутой фольгой от «жевачки») царапает стену вокруг телефона, создавая подсознательно композиции или же записывая адресок только что зафрахтованной чувихи, которую еще не видел, но, судя по голосовым руладам и по общему трепу, ничего вроде...

Розоватые облицовочные плиты, имитирующие мрамор, коими были отделаны во время последнего ремонта все межэтажные площадки и переходы, оказались весьма податливым и приятным материалом для настенной каллиграфии, и стенная роспись пышно расцвела вокруг телефона по крайней мере в радиусе вытянутой руки. Затем она охватила подоконники, оконные рамы, проемы лифтов и даже сами лифты. Не знаю, стоит ли читать это, но тем не менее вот весьма и весьма избранное: «Беба», «Анжела», «Мэн», «Граф», «Мэкан», «Шурик Пономарь, Солдатское», «Грузин, Щигры», «Лысый (Дерьмо)», «Майор, 9.26.97, Рязаново», «Здесь была Оксана» — к этому имени добавлено скверное непристойное слово...

Иной, перед тем как пуститься в телефонный марафон, закури-вает сигарету и, стряхивая пепел себе под ноги, начинает вялый, мед-лительный, сопровождаемый гримасами треп. Сигарета тем време-нем истлевает, исходит паутинным дымком, зажигается новая, а оку-рок от первой говорящий, говоря, тщательно замуровывает в паз между мраморной плитой и краем монтажной доски, на которой ук-реплен телефон. Таким вот способом многочисленные окурки запих-нуты по всем периметру доски, и шик заключается в том, чтобы най-ти место, лазейку для очередного окурка. Ювелирная работа!

Строгое оповещение крупными красными буквами «У нас не курят» провисело недолго. Ювелиры-умельцы аккуратненько выс-кребли отрицание «не», оставив лишь одно бодрое утверждение «У нас курят». А кто-то другой это сообщение снабдил определен-ным тусовочным смыслом: «У нас курят свои».

Подобные письма и автографы — по всем больничным эта-жам. Приводить их здесь нет резона, да и много чести...

Иногда терпеливая администрация заменяет некоторые пли-ты на новые. Я догадываюсь, что это были экземпляры с очень уж невменяемыми письменами. Но сколько надо сделать таких замен! Вы, стенные мемуаристы и письменники из Солдатского и Щиг-ров, тоже задумайтесь над этим!

Когда я ехал из дома сюда, то невольно опасался, что больница за те годы, пока я тут не был, далеко уже не та против прежнего. Новое устройство жизни многое привело к упадку и запустению. Но я был приятно удивлен: больница не только не оплошала и не обветшала, но и заметно похорошела. Освеженные капитальным ремонтом свет-лые палаты с автономным санобеспечением, специализированными кроватями, новым постельным бельем, добротными одеялами, на многих из которых еще не сняты товарные ярлыки. На окнах — кра-сивые занавески, вносящие в палату домашний уют и какую-то праз-дничную васильково-луговую бирюзу.. В коридорах и холлах много живых цветов, местами образовавших нечто вроде зимних садов и оранжерей, правда, иногда с натыканными в кадки окурками...

И это — несмотря на сдержанный больничный бюджет..



Ну вот... А мы тем временем всё ковыряем. Всё выцарапываем адреса, телефоны, тусовочные клочки и просто бранные слова на свежотремонтированных стенах, всё выкручиваем и выкручиваем шурупы из дверных и оконных ручек и шпингалетов, всё курочим переговорные приборы, которыми некогда были снабжены палаты для срочных вызовов дежурной сестры...

Между тем больница — то подобное храму место, где не просто лечат, сращивают переломы, вырезают аппендиксы, накладывают швы на уличные мордовороты, но и посвящают тебя, беспечного и самомнящего, в тайны собственного устройства и бытия, иногда позволяют зрячему вдруг увидеть собственное ничтожество и несоответствие гипертрофированного «я» остальному мирозданию...

Здесь трудятся люди гораздо серьезнее и достойнее, чем ты их себе представляешь, когда, проявляя к ним неуважение, берешься за ковыряльное орудие неандертальца.

А у телефона — все тот же... Он, дымя сигаретой, все еще что-то лениво мямлит...

— Ох уедет! Уедет!..

В коридоре, примыкающем к телефонной площадке, взад-вперед топчется пожилая женщина. На ней коричневое бумазейное одеяние, белый в крапе платочек, заячьими ушками повязанный под шеей.

— Кто уедет-то? — спрашиваю бабулю.

— Да дочка моя, Липа. Ей же нынче в ночь. Проводницей она. Будет аж через двое суток... А меня завтра выписывают. Край вот надо, а он все говорит да говорит...

— А вы бы попросили уступить.

— Просила я... Говорит, тоже срочно. А где ж срочно, ежели он с девками. С девками сроку не бывает...

Темной сухой рукой она охватила подбородок, будто у нее болели зубы и, угнувшись, уйдя в свои думы, прошла несколько шагов и опять вернулась.

— А что, милай, не наберешь ли ты мне номер? А то цифры все поистерлись, я считаю-считаю дырки, а мне говорят: «Не туда попала!» Я заново дырочки пересчитаю, ан опять не туда. Да сердито так: о чем, мол, думаешь?!

— Сейчас наберем, как надо, — обнадежил я.

Парень наконец заткнул в щелку последнюю сигарету. Но, откуда ни возмись, к телефону подлетела и ухватисто сцапала трубку некая тумбообразная дама, окатившая меня дезодорантом.

— Моя, моя очередь! — объявила она гневно. — Я уже говорила, а этой женщины еще не было.

— Правда, — подтвердила бабуля. — Она уже говорила, когда я пришла...

И хотя это было несправедливо, бабушка опять смиренно заходила по коридору.

А та говорила... Вернее, не говорила даже, а однозначно исторгла глухое, утробное «угу», сопровождая каждое кивком перманента.

Тоже загораюсь нетерпением, я принялся считать эти «угу». Счет перевалил уже за два десятка... после тридцатого я попытался взглянуть на ее физиономию, чтобы увидеть, как она произносит этот свой жабий звук. Но у дамы-тумбы, должно быть, имелось какое-то локаторное устройство, и находилось оно как раз в тумбовой части, потому что едва я пытался обойти ее и заглянуть спереди, как дама, не видя меня, автоматически поворачивалась ко мне всей своей кубатурой, и я отступал, посрамленный...

— Сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, — отсчитывал я ее «угу». Мне показалось, что ей пересказывали очередную серию «Санта-Барбары».

— Послушайте! — не выдержал я. — Вы только что произнесли свое пятьдесят седьмое «угу». Дайте же взглянуть, есть ли на вашем лице признаки совести. Пятьдесят восемь... Пятьдесят девять... Там бабушка ждет, переживает... Шестьдесят...

— Ладно, перезвоню. А то тут всякие... — Она повесила трубку и резко, воинственно повернулась, будто корабельное башенное орудие.

У этой приземистой, кубатурной женщины оказалось жесткое волевое лицо с прямым отвислым римским носом и выдвинутым навстречу складчатый подбородком, между которым углами книзу презрительно прорезался большой рот, выпачканный помадой свекольного колера. Это было лицо старого разгневанного Цезаря, каким оно могло бы стать в ее годы, если бы деспота не прикончил Брут.

«Теща! — мелькнуло в моей голове. — Владелица всего движимого и недвижимого, чад и домочадцев, зятьев и снох, всей подвластной ей Римской империи, возникшей на субстрате приватизации... Наверное, приехала сюда с целым гардеробом, телевизором, шампунями и бесшумными фенами...»

— Ты сперва у себя совесть поищи, — шипяще произнесла она свекольным ртом.

И четко, как-то строево вышагнула в темноту межэтажья...

Бабушкин номер уже не отвечал.

— Уехала Липа... — сгорюнилась она, поднеся к вискам темные старческие ладони...

## ВЕТЕРОК

В хирургическом отделении форточки наглухо запечатаны, здесь не терпят сквозняков. В палатах душновато, и по ночам почти везде приоткрыты двери.



Мы тоже оставляем небольшую щелочку для вентиляции. Утром в коридоре загорается свет, и в темную дремлющую палату падает узкий золотистый лучик.

Начинается новый день.

По коридорному линолеуму раздаются частые строчки легких шажков. Так перебегает по пустому гулкому насту лесная мышка. Лучик в нашей двери гаснет, но тотчас высвечивается. Гаснет и снова вспыхивает. Это хлопочет санитарка Таня, приступившая к своим обязанностям. В палаты она пока не заглядывает, чтобы не докучать больным. У нее мягкое ведро, не гремящее дужкой, бесшумная, обмотанная ветошкой швабра и много такта. Остальное — дело тоненьких, но ухватистых рук с прозрачными и хрупкими фалангами пальцев, напоминающих лапки зарядки.

Хлопот у Тани много. Один коридор — целая спринтерская дистанция. Швабра плохо слушается на взбухшем линолеуме, вязнет в неровностях, а в многочисленных понижениях скапливаются лужицы. Не знаю точно, за ней ли числятся всякие служебки — например, клизменная или похожая на преисподнюю мрачная процедура с выкрученными лампочками, затертой до черноты ванной, в которую в доброй памяти вряд ли кто полезет, и прочими бачками и емкостями, уже не подвластными никакому «комету», разве если их заменить новыми, на которые, видимо, нет свободных средств. Главная же уборка — это палаты, и главная она потому, что проходит в присутствии больных, под их невольным и пристальным контролем. А после обхода надо вести или даже везти кого на рентген, кого на УЗИ, кого на кардиограмму. А еще в любую минуту может последовать распоряжение срочно доставить каталку в приемный покой за новым поступлением...

Между делами она иногда забегает ко мне, спрашивая: не надо ли чего?

В день моего прибытия Таня везла меня на каталке с первого этажа на шестой долгими переходами и гулкими грузовыми лифтами, озабоченно поглядывая на лежавший в ногах мягкий аэрофлотский чемоданчик, с которым я некогда бывал за облаками, а теперь вот обескрылел и печально катился по земле, подталкиваемый чуткими руками милосердия...

С той поры Таня как бы взяла надо мной попечение и в незанятую минуту забегала, мелко строча шажками, чтобы задать все тот же душевный вопрос:

— Не надо ли чего?..

Ей всего восемнадцать, она еще в детстве — и тельцем, и чувствами. Серый больничный костюмчик — жакетик и брючки — сидит мешковато, не выделяя никаких форм, как это выигрышно смотрится на других медсестрах. Серая шапочка на простых чернявых волосах, подрезанных по самые ушки, в мочках которых

робко мелькают зернышки сережек. Личико ее простенькое, широковатенькое, с приятной пипочкой вздернутого носа, что-то от Мирей Матье, только не в звездной холености, а такое, какое есть, — свое, изначальное, милое... И глаза... Я видел такие на блокадных портретах Пророкова. Они глубоко посажены в чуткую трепетную темень глазниц, глядят оттуда распахнуто, с давней, устоявшейся печалью, и не всегда удается выдержать их предельную искренность и немигающее доверие.

Мне показалось, что, получая свои сто пятьдесят, она просто хронически недоедает, отсюда и ее запавшие блокадные глаза.

Но, несмотря ни на что, она весела и приветлива, и озаряющая теплом улыбка весь день не покидает ее.

После консилиума решено было перевести меня в другое отделение, этажом выше.

Я уложил свой чемоданчик, взял под мышку настольную лампу и собрался было уходить, как внезапно в палату вбежала запыхавшаяся Таня.

— Ой, чуть не опоздала... Давайте, я что-нибудь понесу.

— Да вроде бы и нечего... А впрочем...

На тумбочке оставались три гвоздики, подаренные мне лечащим врачом Татьяной Львовной как знак ободрения. Они и теперь были еще хороши, празднично цвели в опустевшей палате. Оставлять их здесь было неэтично. Я собирался вернуться за ними вторым заходом, и вот очень кстати заглянула Танечка.

Я оставил записку соседу, увезенному на операцию, и процессия наша тронулась: Таня с цветами впереди, я с чемоданом и настольной лампой сзади. Она держала горшочек с пламенно горящими гвоздиками впереди себя обеими руками, ступала торжественно и бережно, с приподнятой головой, будто опасаясь нечаянно задуть, не уберечь это живое горение.

Чтобы не идти тоже слишком торжественно, я принялся расспрашивать ее о том о сем:

— Ты живешь в общежитии, или у тебя своя семья?

— Я живу с мамой, папой и еще — сестренка.

— Сестра тоже работает?

— Нет, она учится на филологическом.

— А мама?

— Мама в детском саду логопедом.

— Сколько получает?

— Тоже немного...

— А папа?

— Папа у нас лодырь... — горестно возвысила она голос.

— Ты серьезно?

— Да, серьезно.

— Ну, что он, например, делает, когда проснется?



- Просит есть. Выпить не просит — у нас на это нету..
- И что же потом?
- Уходит к дружкам или собирает бутылки... Так каждый день.
- Зачем же такой папа? — спросил я ненужно.
- Она не отвечала, некоторое время шла молча.
- Неловко как-то: через всю больницу с цветами, — сказал я.
- Ловко, ловко! — озаренно воспротивилась она. — Очень даже ловко! Я так и по улице пошла бы...
- Тебе-то с чего?
- А я вас читала! Ваши «Берега».
- Есть такая книга, — сказал я.
- В нашей библиотеке брала. Читала и плакала... Верушку-сорожку жалко...
- Ну спасибо... А я тебя Ветерком зову.
- Почему?
- Когда ты мимо промелькиваешь, в палате будто свежее. Так и говорю себе: «Ветерок пробежал...»

1997

## ТАНА

В ожидании фотографа она сидела в раздольном мягком кресле из оранжевого плюша. На нее надели легкий ромашковый сарафан, повязали воздушный сиреневый бант, а сами волосы вымыли шампунем, и теперь от них веяло тонким изыском таинственных благовоний.

У нее просторное розовое лицо, но не гладкое и пухленькое, как у детей такого же возраста, а мелко испещренное еще не огрубевшими складками, какие бывают на нежных подошвах младенцев. Эти многочисленные лучики и сборочки на щеках и под глазами, присущие ей от рождения, делали ее много старше, тогда как живые, непоседливые глаза, словно выточенные из золотистых янтарных камушков с вкраплением черных мушек зрачков, наполнились наивной детской распаханностью, непринужденным доверием ко всему миру и окружающим вещам, создавали какой-то странный облик мудрой старушки с бантиком.

Прическа вообще была самым восхитительным ее реквизитом. Пышно взбитые волосы от самого банта образовывали аккуратный прямой пробор, обнажавший такую же розовую кожу и, разделившись на два потока, обильными каскадами ниспадали на плечи и далее — огненным мохером укрывали руки до самых запястий. Долгие же и узкие ногти Хозяйка, стремившаяся придать ей как можно больше цивилизованности, окрасила в перламутрово-сиреневый тон, что, по ее мнению, прекрасно сочеталось с нежным колором банта.



Автограф первой страницы рукописи



Она была из древнего рода Утанов, что побудило назвать ее Таной, а то и просто по-свойски — Танькой.

Все эти банты и переодевания были предприняты в связи с тем, что неожиданно ставшая состоятельной Хозяйка, обладавшая предприимчивой фантазией, решила сфотографировать Тану в наилучшем виде, чтобы напечатать с полсотни снимков, а потом вместо поздравительных открыток рассылать их в дни всяких празднеств и юбилеев. Это казалось ей неожиданным и неповторимым, а главное — наглядно свидетельствовало бы о ее современном имидже: не каждый, даже в самых высоких сферах, содержит в своих апартаментах дочь благословенного Сулавеси...

— Ну, вот и наша красавица! — цокая по паркету высокими каблуками, представила Тану Хозяйка, вводя за собой очень серьезного молодого человека, обвешанного специальными сумками. — Надеюсь, вы с ней подружитесь. Она у нас воспитанная девочка и вовсе не бука.

Молодой человек в черной кожаной куртке со множеством молний сдержанно кивнул Тане, снял с себя черную же сумку и принялся высвобождать из черного футляра складной металлический штатив.

Тана без всяких эмоций встретила самого фотомастера и принялась катать свои любознательные янтарики, лишь когда тот тонкими, бледными пальцами, похожими на лапки паучка-сенокосца, начал выпускать из пустотелых штативных полостей телескопические ножки, которые с легким жужжанием выбрасывались наружу и с четким щелчком фиксировались в положенном месте. Тане и самой хотелось проделать все это, и она даже собралась протянуть руку, что означало бы «дай!», но фотомастер извлек из черной сумки и принялся прилаживать к фотоаппарату большой воронкообразный светоотражатель, что заставило Тану забыть о штативе и переключить свое внимание на новый невиданный предмет.

— Таночка, будем сниматься! — прищелкнула пальцами Хозяйка, озаряя интерьер гостеприимной улыбкой, окрашенной тоже в нежную сирень. — Сейчас будет птичка! Хочешь птичку?

Тана, осмыслив обращение Хозяйки, склоненно, сперва направо, потом налево, оглядела молодого человека, который молча и строго манипулировал воронкообразной штуковиной.

— Где птичка? — продолжала привлекать внимание Таны Хозяйка.

Тана не спеша приподняла свою долгую, как бы сложенную, подобно штативу, в несколько раз мохеровую руку и полусогнутым крюкообразным пальцем с перламутрово-сиреневым ногтем указала на молодого человека.

— Умница! — восхитилась Хозяйка. — Давай поправим твой бантик. Ты у нас такая красавица!

У мастера что-то занеладилось с фотовспышкой, и он отошел с ней к маленькому столику у окна.

— Что-нибудь не так? — обеспокоилась Хозяйка.

— Ничего особенного, — отозвался молодой человек. — Просто отчего-то нет контакта.

— Ну, хорошо, вы пока занимайтесь, а мне надо позвонить.

Хозяйка ушла, прочерчивая свой путь бодро и четко постукивающими каблучками.

Молодой человек, согбенно копающийся за столиком, сидел спиной к Тане, и ей вскоре наскучило глазеть на его малоподвижный силуэт на фоне серого ненастного окна. Она еще понаблюдала за мухой, перелетавшей туда-сюда по комнате, но и та вскоре утомила ее внимание. Больше глядеть было не на что, и тогда Тана занесла над головой руку и принялась перебирать и ерошить волосы, бесцеремонно нарушая прическу, о которой она, конечно, вовсе не подозревала, а когда неожиданно натолкнулась на давно позабытый бантик, то, не понимая, что это такое, решительно сорвала его с головы.

Бантик разочаровал ее своей ненужностью. Она раздергала оба его крыла, пожевала немножко, но тут же неприязненно отшвырнула прочь.

Еще она попыталась зубами соскоблить с ногтей чужеродную краску, но это ей не удавалось: лак держался прочно и неподатливо, отчего она, обкусывая пальцы, даже повизгивала досадливо, но потом, сделав себе больно, смирилась и удрученно уронила руки на колени.

Отсутствие чего-либо интересного и теплое объятие шелковистого кресла, похожего на уютное гнездо, сделали свое дело. Мигая, Тана все реже поднимала веки, и все равнодушнее делались ее янтарики. Обвядая, она машинально перебирала широкими, вялыми, будто разношенными губами, как бы ища для них удобное положение. Наконец окруженные жесткими изреженными оспинками губы разомкнуто замерли с выражением расслабленного удовлетворения, так что летавшая по комнате муха, если бы не убоялась, могла беспрепятственно заползти в рот и выбежать обратно.

В этом отрешении Таны и раздался ее глубокий вздох, обозначивший полный уход в себя и обретение истинной свободы. Ее взъерошенная голова постепенно обникла, склонилась на плечо, грудь размеренно завдымала шерстяной покров, и вскоре сон обуял Тану так сладко и обморочно, что из уголка ее рта потянулась нитью прозрачная слюнка. Тихие вздохи постепенно перешли в озвученное посапывание, слюнка еще больше удлинилась и своим свободным концом юркнула куда-то под мышку.

Уловив это мерное дыхание, молодой человек недоуменно, как



бы нехотя отрываясь от своих дел, медленно обернулся и вдруг, отринув светоотражатель, вскочил со стула. Подбежав к аппарату, закрепленному на треноге, он без всякой вспышки, полагаясь лишь на светосилу объектива, раз, и другой, и третий прощелкал затвором, спеша не упустить этот неожиданно подвернувшийся превосходный сюжет со спящей в кресле утомившейся Танкой, пребывавшей в непринужденной детской расслабленности, с этой трогательно сбежавшей слюной... «Ах, какая прелесть! — про себя восторгался молодой человек, продолжая вновь и вновь засвечивать на Тана цветной рулончик «Кодака». — Какие кадры!»

И тут воротилась Хозяйка.

Вошла и в изумлении свела у подбородка кулачки, сверкнувшие гранями наперстных камней.

— Боже мой! Что здесь происходит! — воскликнула она трагическим сопрано, переводя взгляд то на спящую встрепанную Танку, то на припавшего к видоискателю фотографа... — Стоило отойти всего на две минутки, как мои старания обернулись такой неблагодарной напраслиной...

Вняв голосам, Тана с усилием выпуталась из глубины внезапного забытья и приподняла непослушные веки. Но глаза ее, казалось, все еще оставались забытыми в тех запредельных мирах и дивных видениях, где она только что счастливо пребывала. Она еще никого не узнавала, не воспринимала окружающих реальностей, как и самое себя, но первое, что она почувствовала, было ощущение какого-то личного непорядка. И, повинувшись этому ощущению, Тана потянула ртом воздух, стремясь вобрать убежавшую слюну, свисание которой тоже невесть как угадала. Утершись раз, другой, Тана снизу вверх, морща лоб, виновато посмотрела на Хозяйку и робко, вопрошающе улыбнулась.

В этом ее просыпании было столько человеческого, столько очевидного родства, особенно в кадре, где она утирала губы, что молодой человек даже побледнел и замкнуто стиснул зубы от сознания того, что он стал обладателем редкой, а может, и единственной фотографии, убеждающей в подлинном людском исходе. Тану можно было научить малевать красками или ездить на велосипеде, но то, что она проделала, просыпаясь, была ее собственная наука. Выходило, что ее совершенно человеческие жесты пришли к ней с молоком матери и были древнее самого человека, как и рукодвижения «дай», «на», «там», «ко мне», выработанные лесным перворазумом.

А Хозяйка негодовала:

— Ты что же натворила, паршивка?! Посмотри, на кого ты стала похожа? Где твой бантик? Я же на тебя полдня истратила, старалась сделать цивилизованным существом, а ты опять — в свою дикость. А вы, молодой человек? Что вы снимаете? Вы меня совер-

шенно не поняли. Разве я вас об этом просила?..

— Это только для себя. Только для себя, — попытался объяснить фотограф. — Я даже не уверен, получится ли...

— Что значит — «для себя»? А когда же для меня?

— А вам я сниму завтра, как только поставлю новую вспышку. Без дополнительного освещения я не рискую. Должна быть гарантия. Кстати, сегодняшние кадры много интереснее, чем с бантом. В бантике нет естества. Он придает нечто шутовское, понимаете?

И, помолчав, как бы про себя добавил:

— Впрочем, все мы тоже с бантиками...

Это было воспринято как дерзость:

— Ну, знаете... А мне рекомендовали вас как серьезного мастера.

Молодой человек ничего не возразил, а только молча принялся собирать свои вещи...

1998

## СОБАЧИЙ НАПЕРСТОК

На одном из городских рынков, в крытом мясном ряду, уже много серых осенних дней обретается ничейная собака. Она крепких широкогрудых статей, хорошего строгого окраса: короткошерстый черный чепрак, тупая охристая морда с двумя светлыми точками над терновыми глазами, такая же глинистая грудь и запястья передних лап. В ее облике еще угадывались некие черты ротвейлеров, несколько размытые несоблюдением клановой чистоты. Но и поныне она сохранила родовую осанистость, с чем никак не вязались ее теперешнее нищенство и бездомность. Отсутствие же каких-либо признаков убогости, пожалуй, еще больше усугубляло ее бедственное положение, ибо увечной, замызганной собачонке скорее перепадет милостыня, нежели такой вот, как эта, вполне сохранившейся нормальной собаке. К тому же она не рыскала у прилавков, не подлезала под столы в поисках случайно оброненных кусочков, не обнюхивала сумки и авоськи прохожих, как обычно вели себя остальные базарные побродяжки, а часами недвижно стояла у самого конца ряда, у последнего столика.

Она выбрала это место не случайно, не потому, что там находился добрый человек. — добрых продавцов мяса почти не бывает, особенно для такой крупной и неприветливой собаки, которая одним только присутствием отпугивала многих несобачливых, тем самым нанося невольный ущерб и убытки торговому делу. Надо полагать, лучшее место находилось в самой середине ряда. Но тамошние заприлавочники дружно и неприязненно цыкали на нее, замахивались кулаками и всякими подручными предметами — чугунной гирькой ли, порожней пивной бутылкой, швыряли в нее





# Собачий напёрсток

Автограф первой страницы рукописи

подобранные яблоки, арбузные корки... В конце концов мясники вынуждали ее отступить к самому краю, где противодействие оказалось минимальным, так как стоявшая за последним столиком молчаливая деревенская тетка старалась ее просто не замечать, и это вполне устраивало собаку. Во всяком случае, она появлялась на этом месте, возле крайнего опорного столба, поддерживающего шиферную крышу, уже несколько дней и простаивала, вот именно простаивала в жидкой натасканной грязи, до самого закрытия рынка. Мимо нее протискивался всякий базарный люд, в тесном проходе ее задевали кошельками и сумками, смыкали по морде полами одежды, но она даже не увертывалась, не отступала, а лишь терпеливо прикрывала глаза, снося все эти неудобства и потом снова глядела, глядела, глядела...

Перед ней, в каком-нибудь полуметре и далее — на всю длину прилавков — виделись бордовые пласты парной говядины; нежно-розовые с тонкими жировыми пробельцами куски свинины; разрубленные вдоль бычьих загривки, напоминавшие белизной и параллельностью хребтовых костей клавиши какого-то быкомычащего музыкального инструмента; вычищенные и ошпаренные кипятком телесно-желтые свиные ножки с изящными, остро заточенными копытцами; смуглые тушки гусей с разверстыми полостями, в которых виднелись янтарные гроздья нагулянного жира; голубоватые поленца ободранных кроликов; беспечно ухмыляющиеся поросычьи физиономии с наивно-детскими пяточками и двумя аккуратно проделанными сопелочками, в каждую из которых было вставлено по веточке петрушки; и опять — говяжьи и свиные выкладки по сортам и кухонным достоинствам.

Собака неотрывно и вожделенно созерцала всю эту живописную кладь, дурманно веявшую на нее разрубленной плотью, уже начавшей местами подвядать и оттого особенно сладко, волнующе пахнуть спекшейся кровью. Черная пуговица ее носа нервно вздрагивала, западая и вновь распахиваясь боковыми завитками, в то время как в темных глазах неизменно томилась потаенная тоска.

И она глядела и вбирала в себя все это, ни у кого ничего не прося, не проявляя жадного нетерпения, не взвизгивая моляще, как иные бездомные собраты, а предавалась своей безмолвной страсти столь отрешенно, что, кажется, даже не замечала, как с шиферного навеса падала на крестец ненастная капель, разбрызгиваясь по всей черной спине мелким стеклянным бусом.

— Нет больше сил видеть это! — ни к кому не обращаясь, воскликнула задержавшаяся перед собакой женщина. — Ну что же ты тут стоишь, глупая?! Никто тебе ничего не даст. Ты хоть побегай, как другие собачки. Что-нибудь да найдешь. Или тебя недавно вы-



гнали — еще ничего не знаешь?.. А скоро зима... Аж душа заходит-ся... Я бы тебя взяла, да куда: у меня и так уже трое: Тошка, да Тишка, да прилипшая Ланка...

Женщина жестко и горестно махнула рукой, как бы отстраняя от себя собаку, и побрела к выходу из мясных рядов.

Она еще походила среди зеленщиков, купила вилок капусты и оранжевый серпик тыквы, как вдруг на сухом месте, под торговым столиком, увидела какое-то оброненное печево. Оно, это печево, лежало больше на той стороне прилавка, уже пустого, никем не занятого, и женщина, оставив сумку, не поленилась слазить под стол, уронив свою серую вязаную шапочку. Находка оказалась надкусанной булочкой с запеченной внутри сарделькой.

Довольная собой, женщина выбралась из-под прилавка, отрянула полы нечаянно запачканного пальто, поправила шапочку и, держа перед собой булку, вымаранную томатной пастой, решительно направилась к мясным рядам.

Увидев собаку, она еще издали ликующе оповестила:

— Ну, пес, тебе повезло! Смотри, какой бутерброд! Не всякой собаке перепадает такая штука с настоящей сарделькой.

Женщина присела перед собакой в готовности порадоваться и насладиться тем моментом, когда пес увидит угощение и в его скорбных глазах воссияет благодарная радость.

— На, бери... — Она протянула булку к самой морде, так что собаке оставалось лишь слегка повернуть голову. И та повернула... Обернулась как-то нехотя, без видимого интереса, неспешно обнюхала и так же равнодушно отвернула морду.

— А-а... — догадалась женщина. — И зачем они пачкают этой пастой... Я сейчас, сейчас, моя хорошая.

Из булки, бордово сочившейся томатом, она выколупнула сардельку, отерла ее подобранной газеткой и снова протянула еду собаке.

Пес даже не пошевелился.

— Что? И сарделька не нравится? — пожала плечами женщина. Недоумевая, она откусила округлый кончик колбаски и с настороженным лицом принялась жевать. Начинка оказалась вполне сносной. Во всяком случае, ее звери не стали бы мешкать. Да и она сама тоже...

— На же! Бери! — продолжала настаивать женщина, дожевывая свой кусочек и тыча остальной сарделькой. — Видишь, я ее хорошенько обтерла, и теперь она вовсе не пахнет томатом. Я пробовала: вполне приличная вещь. Конечно, лучше, если бы она была горячая...

Но собака, казалось, больше не замечала и не слышала женщину. Вздрагивая желтыми надглазными точками, она продолжала подобострастно и поглощенно вглядываться в соседние прилав-

ки, где как раз шла оживленная торговля и где большой двузубой вилкой поддевали и поднимали то один, то другой влажно блестящие куски мяса, так и этак поворачивали перед покупателями, после чего бросали на весы, что-то добавляли или, напротив, заменяли другим, более весомым куском. Собака ревностно бросалась глазами, ловила каждый жест продавца, и это было какое-то странное состояние, захватывающее каждую ее живую клетку цепляющим азартом, после которого она больше ничего стороннего не видела и не воспринимала. Это ее многочасовое стояние чем-то напоминало игру в наперсток, которым ловко манипулировал продавец, всякий раз показывая ей пустышку. Однако она по-прежнему искренне верила и обреченно надеялась, что уж следующий-то кусок, поддетый и приподнятый вилкой, будет непременно ее куском.

И еще раз женщина попыталась привлечь собачье внимание и даже поводила туда-сюда сарделькой по ее щеке. Не отводя глаз от прилавка, пес неожиданно приподнял верхнее огубье и обнажил ослепительный оскал крупнопильчатых зубов, как раз тех, которыми дробят кости. Следом, будто отдаленный гром, раздался глухой, глубинный предупреждающий рык, как если бы где-то на стороне провели палкой по чугунной решетке, тот самый, которые издают только ротвейлеры, и никто больше...

— Так, да? — Женщина смущенно приподнялась с корточек и, в порыве внезапной обиды и даже униженности, засунула остаток сардельки в свой рот.

Прожевывая колбаску, она оглядывала упрямую собаку с досадным недоумением, но и с оттенком подспудного уважения:

— Какой, а?.. А не взять ли его себе?..

1998

## ЗАДУМАЛ ЕЖ РАЗБОГАТЕТЬ...

*Современная российская сказка*

Надоело ежу всех бояться, сворачиваться в клубок перед каждым встречным. Решил он построить себе коттедж с надежными запорами и зарешеченными окнами, как у госпожи Курощуповой, новорусской лисы. У той, сказывают, даже камин черемуховыми полешками топится — для приятности запаха и воспоминаний о босоногом детстве...

Конечно, такого особняка ему не потянуть, а что-нибудь попроще — одноэтажненькое, с бетонным перекрытием — хотелось бы. Но для такой задумки хорошие деньги надобны. А где их взять? Красть он не умел, да и что украдешь в лесополосе? Разбойничать тоже предками не обучен... Жил одними только лесными подаяниями...



Думал-думал еж, где взять, ничего против совести не придумал и подался челночить, как теперь делают многие, даже с образованием. А что тут такого? Сбегал в лесополосу, наколол на иголки сыроежек и тем же ходом — на рынок. Только не ленись, увещевали знатоки, вставай пораньше, пока грибы не собрали. Живая копеечка сама собой и побежит ручейком, пусть не обильно, но зато трудовая, без плохих сновидений.

Но не тут-то было, не получилось с грибов навару. Едва вышел из лесу, как вот тебе волк-объездчик в форменной фуражке: «Стой! Что несешь? Кто разрешил? Плати штраф!..» И поснимал с ежовой спины самые крупные сыроежки. А потом его серая половина ими же торгует на рынке. Видать, не на него одного наложил волчью лапу, то бишь по-культурному — штраф...

А на базаре и вовсе хоть глаз не кажи. Еще и не огляделся, что к чему, тут же со всех сторон принимаются ощипывать. За проход на территорию с товаром — давай гриб, за определение съедобности, не поганцы ли какие? — давай другой, за навес над головой — третий, за весы — опять же отстегивай. А то какой-нибудь чин с портупеей документы потребует, чем-то не понравится ему колючая ежова физиономия — тоже подавай в лапу. Не успел определиться, как уже и торговать нечем — всё ощипали.

То же и с яблоками — никакого проку. Хорошо б приличных сортов — пепин или анисовка... Но за такими надо в чужой сад забираться. А в чужом саду, сами знаете, не всякий раз с рук сойдет. Заметят — собаку спустят. Придется в передней в кубышку сворачиваться, но в иголки прятать. А если сам хозяин набежит, тот в сердцах лопатой подденет и за калитку с позором выбросит. Так что приходится лесной осыпью пробавляться. Иной покупатель дичка за райское яблочко примет, но едва только отведаст, как сразу глаз за глаз заводит, аж самому становится боязно, встанут ли глаза на прежнее место...

Как-то раз забрела на рынок сама госпожа Курощупова. Еще издали было видно, что живет в хорошем достатке. Мало того, что своя шампунями ухоженная шкура переливами играет, она еще на плечи чернобурку набросила. За ней хипповый терьер неотступно с корзиной ходит, угадывает каждое ее желание.

Испугался еж неожиданной встречи, плюхнулся на землю, свернулся колом, выставил во все стороны колючки — лисица ведь, давняя его недоброжелательница, еще с тех времен, когда сама в лесопосадке жила в барсучьей норе. Терьер угодливо принялся лаять на обмершего ежа, но лиса потянула за поводок:

— Ладно, Терентий, оставь его, не поднимай шуму.

Еж опасливо высунул нос, пошевелил им, принюхиваясь.

— А ты не топорщись! — сказала она ежу. — Вставай, вставай! Нечего меня бояться. Я ведь теперь совсем другая. — Курощупова

картинно повернулась вокруг себя, обдав ежа ветерком нездешних духов «Маги», с тонким кубиковым оттенком... — Мы ведь давненько не виделись. Как хоть поживаешь? Как жена? Как дети?

— Да вот.. — смущенно произнес еж, вставая и поправляя на колючках дикие яблоки.

— Я вижу, ты делом занялся. Это похвально. Нынче бедным быть неприлично.

Курощупова сняла с ежовой спины яблочко, осторожно куснула и тут же отдала терьеру. Тот смачно счавкал, хоть и проследился.

— Ну, брат.. — укоризненно покачала головой лиса. — И какой же баланс?

— Да вот.. — развел лапы еж. — Все почему-то плюются.

— Еще бы! За такое и посадить могут. За нарушение кондиции. Прежде чем начинать дело, зашел бы посоветоваться. Ведь мы не совсем чужие. Можно сказать, земляки: в одной лесопосадке родились. Ты и теперь там живешь?

— Ага... По прежнему адресу. Да вот хочу жилье обновить, а то старая нора совсем обветшала, в дождливую пору и вовсе насквозь протекает. Потому и челночу: надеюсь на новый домик заработать. Только что-то не получается.

— Ну, дружище! Право, ты меня насмешил... — Лиса всплеснула лапками в тонких выхухолевых перчатках. — Да ты только погляди на себя! Ты же весь капиталом утыкан. Каждую твою иголку любая бабка с руками оторвет, особенно в деревне, подальше да поглуше. Только посмотри, сколько на тебе иголок! Зачем тебе столько? От кого обороняться? Нынче перед законом все равны. Я ведь тоже прежнюю жизнь оставила. Православие приняла. Вот, видишь, крестик ношу.. Так что поезжай, поезжай! — настаивала Курощупова. — Займись серьезным делом. Терентий, я верно говорю?

— Гаф! — сверкнув клыками, согласился терьер.

\*\*\*

Всю ночь еж-предприниматель готовился к поездке. Изогнувшись, он подставил спину своему старшему ежовичу, и тот, вооружившись гвоздодером, принялся вытаскивать иголки — в первую очередь с выпяченного хребта. Эти были наилучшего качества — острые и упруги. Иголки с гузки оказались еще дольше, но излишне толстоваты. Они, пожалуй, тоже сгодятся и пошли бы на подшивку валенок и на шорное ремесло. Было, конечно, больновато, но еж терпел, натужно сопел и отпыхивался, утешая себя мечтаниями о том, как он будет жить под непромокаемой крышей, за семью запорами и тоже станет топить печку черемуховыми полешками — для воспоминаний о родной лесополосе.



Тем временем жена-ежиха, вздев очки, придирчиво, как в ОТК, сортировала выдернутые иголки по их одинаковости: длинные — к длинным, короткие, со щек и бровей — к таким же.

Двое младшеньких увлеченно раскладывали готовые иголки по пакетикам — по десять, тридцать и по сотне штук в упаковке, а средний из ежовичей, студент лесотехнической школы, вел на калькуляторе разные подсчеты.

— А вот скажи-ка, — спрашивал еж-отец, беря трехминутный перекур, — сколь будет, ежели мы за каждую хребтовую иголку запросим по три рубля?

— Не многовато ли? — усомнилась ежиха.

— Дак я это так, для интересу. Сочти, сочти, ежели по три рубля...

— Значит, так, — принялся давить кнопки студент. — Ежели по три за штуку, а у нас сотенных пакетов уже восемнадцать — это будет, это будет... Вот оно, выскочило: пять тысяч четыреста...

— Это чего?

— Рублей, конечно!

— Ты не ошибся?

— Пляди сам: вишь, цифры светятся... Машина не обманет, если ты ее не обманешь...

— А ведь верно давеча лиса говорила: «Весь в капитале ходишь». Только до половины хребта дошли... А еще на крестце сколько! А что, ежели пустить по пяти рублей?

— Эк, размечтался! — укорила ежиха.

— Я ж это так, на прикидку. Охота знать, сколь за меня дадут? А то живешь-живешь и не знаешь, чего ты стоишь... Оказывается, не так себе, не халам-балам... А еще, мать, на тебе сколь добра! — Еж провел лапой по звонко отозвавшимся колючкам своей половины. — Я-то уж плешиветь начал, — а на тебе еще ого-го! Ведь ты на два сезона моложе моего.

— Еще чего? Ты и сам не больно-то оголяйся. Оставь хоть про запас. Вдруг опять какая реформа или девальвация. А ты за раз норовишь все начисто повыдергивать.

— Да уж как-то обтерпелся, мешкать не хочется, — пояснил еж.

— Не знаю, как нагой-то по деревням пойдешь, там ить собаки... И все голодные. Хоть бы через раз выщипывался, а то случись, и оборониться нечем будет.

— А, ладно, пробьемся! — весело уверил еж.

— Ты ведь не кот: от собак на дерево не заскочишь...

— А что собаки? Собаки меня уже знают.

— Да уж... Прямо-таки друзья... А в Писании сказано: «Бойся друга своего паче врага твоего».

— Ступай, ступай, ставь самоварчик, передохнем маленько.

\* \* \*

На другой день, прикрыв ощипанную спину холщовой котомкой, в которую уложил свой заветный товарец, еж отправился на периферию. Ранняя осень едва только озолотила березы, зарумянила терновнички. Еж пустился трусцой не столько для поспешности, сколь для сугрева, потому как утренняя свежесть пробиралась под суму и выхолаживала обнаженные места, еще саднившие от вчерашнего ошипа. Можно было отправиться и на электричке — в вагоне теплее, но он решил пока опробовать товар в ближайших деревеньках, а уж потом, если дело себя покажет, махнуть и подальше.

Первым попало подлесное сельцо Белые Холстинки, очень даже кстати промышлявшее вышивками по самобрани. Ступив на косогор, устланный льнами, еж громогласно оповестил жителей:

— Иголки! Иголки! Кому иголки — упруги и колки? Налетай, рукодельницы! Отдаю за безделицу!

И верно, долго ждать не пришлось: бабы густо высыпали из подворий, обступили небывалого коробейника. Еж притулился к колодцу, развязал заплечную сумку и принялся одной жменей раздавать пакетики с иголками, а другой — собирать уплату. Было бы все как по-писаному, но тут случился непредвиденный конфуз:

— А где же у иголок мочки? — загалдели-заспрашивали бабы. — Куда нитку-то вдевать? Ах ты жулик разэтакий! Обмануть захотел? Хватай его, бабы! Задайте прохиндею выволочку, чтоб знал, как обманывать.

Благо, на краю косогора оказались усадебные плетни, опутанные старой тыквенной ботвой, стрекучкой и прочей непотребой. Не успев даже закинуть за плечи свой сидорок, еж опрометью метнулся под огородные прясла.

— Держи его, стервеца! — кричали вослед осатаневшие вышивальщицы по холсту. — Вон он! Вон он побег!

Огородами, огородами, вишняками да репейным чертоломом — едва унес ноги, сбил погоню со следа. Отдышался в ямке, из которой брали песок, и побрел прочь от взбудораженной деревеньки, прикрыв нагую спину лопухом.

Уже под вечер, избегая все живое, еж-предприниматель добрался до знакомых мест. Загородные коттеджи чередой причудливых строений вытянулись вдоль лесной окраины.

— Ну, кажется, пришел... — Он облегченно перевел дух. — Вот только на минуточку заскочу к землячке, посоветуюсь, как быть дальше...

\* \* \*

В воскресном номере местной газеты под рубрикой «Происшествия» промелькнуло сообщение:



«На минувшей неделе ушел из дома и не вернулся коммерческий предприниматель Eḡnasens eaḡoraens, проживавший по улице Лесополосной, в собственном строении. Особые приметы: игольчатый покров частично отсутствует, волосяная опушка на груди и животе — светло-серого окраса. На правом ухе следы старых покусов».

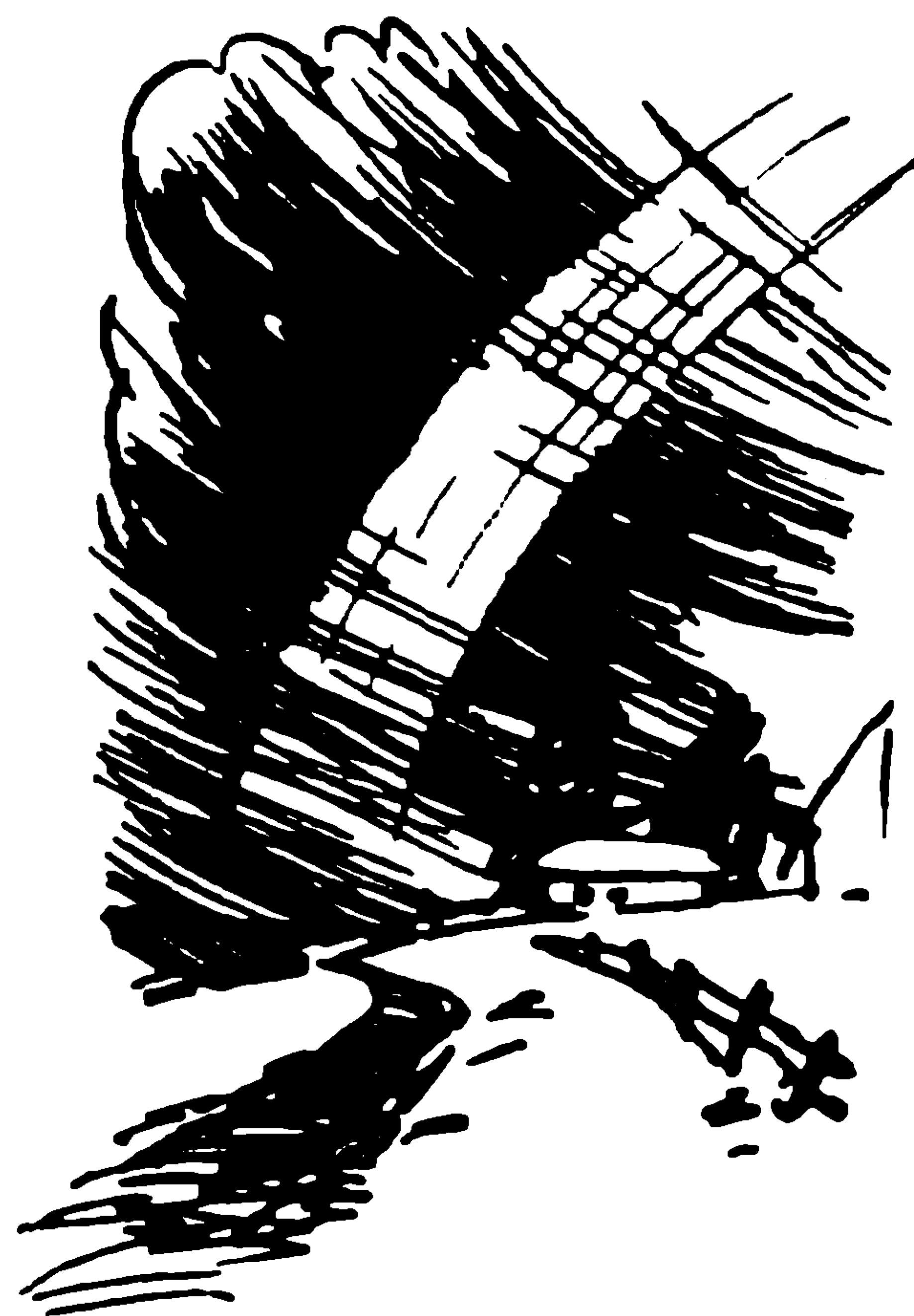
Ниже был помещен портрет черноглазого усмехающегося пропавшего. На его колючем чубчике были нанизаны дикие лесные яблоки и сыроежки.

А еще прошел слухок, будто как раз на упомянутой неделе многие улавливали, как из каминной трубы краснокирпичного коттеджа доносило запахом шашлыка с примесью черемуховых полешков.

2001

# *Во всей правде-матушке...*

Статьи, очерки, интервью





## ДОРОГА К ДОМУ

Говорят: жизнь на дорогах. Под этим подразумевается тот заряд эмоционального воздействия, те впечатления, которые человек получает в пути. Даже наша обыденная, повседневная формула «дом — работа» была бы неполна, если бы между этими важными и главными компонентами нашей жизни не стояло маленькое тире — дорога.

Что же говорить, когда это маленькое тире превращается в долгую линию, уводящую нас за горизонт...

Да, дорога за горизонт — это прекрасно! Она и манит, и обещает, и волнует. Как-то иначе бьется сердце, острее становятся глаза, и чувствуешь, как за спиной прорезаются крылья. Воистину, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.

Мне довелось увидеть многое. Видел Кызылкум — Красные пески, где, несмотря на сорокаградусную жару, местные ребятишки, черные, как стручки акации, гоняли мяч, норовя забить его между двух флегматично дремлющих верблюдов, служивших им футбольными воротами. Выходил на заснеженные перевалы Джунгарского Алатау, за которым из-под ладони виделся Китай. Пробирался девственными борами Беловежской пуши, напоенными такой хрустально-звонкой тишиной, что далеко слышать, как, падая, стучит по сушням сорвавшаяся шишка. На таежных увалах Сибири рвал охапками жарки, факельно пылающие в нетронутых травах. Пил воду Сырдарьи и Северной Двины, Кубани и Волги, Тихого Дона и знаменитой Непрядвы на Куликовом поле, пил из Енисея и Ангары, из Онеги-озера и священного моря Байкал. Входил под арку Золотых ворот во Владимире и под арку Зимнего дворца, безмолвно стоял перед невянувшими фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и заглядывал в ссыльную келью опального патриарха Никона в Кириллове-Белозерском. Преклоненно замирал в залах Третьяковки и, ошарашенный, смятенный и в то же время с гордым чувством за величие человеческого духа уходил из Эрмитажа...

А как волнуешь одна только Москва, уже исхоженная вдоль и поперек, почти что обжитая за многие наезды. Просты ее улицы —

большие, рекоподобные, и малые, ручейково-причудливые в своих извивах — эти Столешников переулочек, Сивцев Вражек или какой-нибудь проезд Соломенной Сторожки. Это вдруг открывшийся в тени липовых бульваров непокрытый Гоголь в дорожной накидке, легендарный дом Ростовых или церковь, где венчался вдохновенный и полный надежд и замыслов Пушкин с блистательной и тонкой, как белая шахматная королева, Натали...

Но газета есть газета, она взывает к краткости, и я поневоле должен свернуть свой перечень, хотя и неудержимо хочется рассказать еще и о многих других дивных городах и замечательных людях, встречавшихся на моем пути, например, о великоустюжских умельцах, удивляющих весь мир своей чернью по серебру, или об умельцах с ленинградского металлического завода, тоже удивляющих мир своими супертурбинами...

Да что там! Всего не передать.

И вот всякий раз — наездишься, насмотришься, наудивляешься, голову распирает от впечатлений, приходит момент, когда ноги и глаза уже отказывают: ноги не несут, а взгляд начинает скользить по поверхности — и вдруг неудержимо, ностальгически, с каким-то подскуливанием души захочется к себе домой, в Курск. Вглядитесь в полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына»: право, приходит такое состояние, которое наиболее полно схвачено и запечатлено в этой картине, где древний и добропочтенный старец-отец, положивший свои добрые руки на спину беглеца, в такие минуты всегда ассоциируется в моем сознании с обликом родного города.

...Как-то поспешно, уже отрешенно бросаешь в чемодан неизрасходованные рубахи, надоевшие галстуки, без сожаления оглядки захлопываешь московский гостиничный номер и с тайной вожденностью выкрикиваешь таксисту: «На Курский!» В эту минуту он — лучший из всех вокзалов. Многие едут в том направлении — туляки, орловцы, белгородцы и далее — во многие города и веси российского Юга, Украины и даже всего Кавказа и Закавказья, но вокзал все же назван не Тульским, не Орловским, даже не Кавказским, а почему-то в угоду твоей душе: Курский, и все тут!

Нетерпеливо куришь и топчешься на четвертой платформе в ожидании поезда, тоже лучшего из всех поездов, потому что на его занавесках видишь силуэт курского соловья, нашего птичьего полпреда в столице, а когда наконец подадут состав и ты предстанешь перед проводницей, учтиво обтирающей чистой тряпкой поручни, она, эта иногда не в меру тучноватая тетенька, кажется тебе наипервейшей красавицей и чуть ли не сестрой родной. А говор ее, наш, черноземный, где каждое «г» как будто обернуто бархотцей, звучит почти что откровением. И весь мчащийся поезд полон этого умягченного говора — наши едут, свои, куряне. И отдыхает душа, и умиротворенно смежаются веки...



Спишь безмятежно, раскованно, почти забывчиво, потому что знаешь: поезд фирменный, никуда тебя, сонного, не завезет, кроме как до родного порога. Но это только пока едешь по незнакомым местам, мимо станционных надписей: «Щекино», «Горбачево», «Мценск», «Змиевка», «Глазуновка»...

Казалось бы: устал, намаялся, спи себе, посапывай под убаюк колес, ан нет же, на рассвете будто кто дернет тебя за вихор, и ты поспешно тянешься рукой к занавеске. Поезд стоит, тишина, меркло светит станционный фонарь, и в полусвете его читаешь азбучные буквы, каждую на отдельном квадратике: «Поныри». Азбучная надпись еще и потому, что слово «Поныри» знают у нас, на Огненной земле, даже малые дети... И всё: сна как не бывало. Завертелись, закрубились думы, воспоминания: Курская дуга. Сколько ни едешь мимо, но всегда это краткое слово «Поныри» сжимает сердце колючей проволокой окопа. Хватаешься за сигареты и уже до самого конца выходишь в коридор.

Смотришь, еще и еще кому-то не спится, кто-то вышел в коридор, к окошку. А за окном уже заиграл рассвет, зазолотилась наметком дня дальняя полоса над горизонтом, и заворочалось, заходило ватное одеяло тумана над сонной землей. Выбелилось спелое поле пшеницы с мокрым комбайном, прикорнувшим в чуткой дреме на часок-другой — до первого луча солнца. Промелькнуло безлюдное, предрассветно-сонное село под купами обмякших раки, потом — одинокая будка с заспанной молодайкой в желтом жилете и с желтым свернутым флажком. А рядом с будкой на веревке — детское бельишко, две-три яблоньки с отяжелевшей антоновкой в пыльных усталых листьях, грядка капусты... Бог ты мой, капуста! — умиляешься ты, вовсе забыв за всякими экзотиками, что на свете есть простая курская капуста... И вот уже перед глазами сизый, осыпанный росой лужок, где наверняка об эту пору за стуком поезда неслышно для нас орут коростели, подушно делят покосы. А тут уж громыхнул железный мосток через полоснувший отсвет зари, извив речушки с неказистым ивнячком на излучине, и как раз в эту минуту, чтобы смутить тебя окончательно, беззвучно вспухла вода и разошлась кругами от взыгравшей рыбины. И запоздало признаешь: да это же, черт возьми, Тускарь! Ну как же, вон и та самая кручка, с которой не далее как этой весной ловили голавлей на выползка. И глядишь, глядишь, поздно спохватившись, выворачивая шею и вдавливаясь щекой в стекло: Тускарь же! Что там Сырдарья! Какая Сухо-на! И не знаешь сам, как и когда без слов запоешься:

*На дальней станции сойду,  
Трава по пояс...*

Ну а от Свободы до дома — рукой подать. Начинает бугриться тускарное заречье, далеко, аскетично, в перламутровой пустоте неба одиноко выбелилась Акиманная церковь, следом выгнулась

дугой насыпная плотина будущего моря, вагон ожил, застучал лавками, заклацал дверьми: Курск!

Нет! Еще не вокзал. Пока только все те же заречные кручи, но уже в высотных башнях домов, то тут, то там вырвавшихся из зелени. Горд на горе, город на заре — просятся стихи... Я не знаю здесь, в центре России, других таких городских высоко вознесшихся силуэтов. Тула? — нет, равна, как столешница. Орел? — тоже нет. Разве что Киев, который некогда срубил и наш Курск себе в подобие. И мы горды, что нам сегодня девятьсот пятьдесят. Впрочем, это ведь только летописное упоминание. Наверняка нам тысячу, а то и за тысячу. Кто теперь знает точно?.. Знаем только, что когда в самом начале XI века отрок Феодосий ушел из Курска, чтобы стать игуменом Киево-Печерской лавры, а затем остаться в веках одним из первых наших любомудров и просветителей, в Курске уже были книги. Стало быть, были и полки для книг, а над полками — крыша, а крыши — это уже город... И стоял он, высокий, теремной и башенный, как раз на самом лезвии хребта между Тускарью и Куром. Как раз там, на княжеском подворье, колыхались копья и пики дружины буй-тура Всеволода, уходившего в знаменитый степной поход. Именно оттуда с тех курских высот прозвучало гордое Всеволодово слово:

«А мои ти Куряне сведоми кмети: под трубами повити, под шело-мы взлелеяны, конец копия вскормлени, пути им ведоми, яругы им знаеми, луци у них напряжени, тули отворени, сабли изострени, сами скачут, аки сери влци в поле, ищучи себе чти, а князю славе».

Проходили века, менялся облик города, принимал другие очертания его водораздельный силуэт. Был он крепостным оплотом Киевской Руси — нагрянул Батый, спалил все дочиста. Потом пришли стрельцы и пушкари, отстроили все наново, и стал он оплотом Руси Московской...

Но ни в какие века так не менялся Курск своим лицом и душой, как в наше, советское время, а точнее сказать, за послевоенные годы. Многие куряне, живущие в других концах страны, скажем, лет двадцать, уже с трудом узнают его улицы. А такие, как улицу Ленина или Радищева, или, допустим, Энгельса и Карла Маркса — вовсе не узнают. А разве узнать наше завокзалье или рышковское засеймье?

Я ведь еще помню это довоенное засеймье тридцатых годов. То были просто деревеньки: Ламоново, Рышково, Цветово, Гуторово... Неказистые соломенные деревеньки, с плетнями, плетневыми хлевами, с серо одетыми бабами и мужиками. От города их отделяла речная уремная чащоба, через Сейм был переброшен хилый деревянный мосток. В ночь они собирали свои возки на воскресный базар, к рассвету по булыжной мостовой взбирались на Белую гору (ныне многоэтажная улица Энгельса) и, трясая и соря сеном, полоша сонные пригородные улицы кегеканьем гусей, скрипом колес и цоканьем копыт косматых низкорослых лошадемок, спешили по Дзержинской и по Красноармейской на Покровский рынок.



Да и сам город, честно сказать, не ахти как выглядел в те годы. Давайте мысленно уберем все, что мы настроили за последние два десятка лет, а вместо этого поставим прежние мещанские домочки и купеческие потуги на жалкую двухэтажную респектабельность. Сдерем до бульжника весь асфальт, посыпем сверху конским навозом и сенной трухой, ибо бульжные улицы мести метлой было просто невозможно и их время от времени смывали лишь летние ливни. Давайте к этому прибавим темень и грязь заштатных улиц и переулков, подслеповатые лавчонки, пропахшие рогожей и керосином, натыкаем пожарных вышек, которые, однако, не избавляли город от пожаров, служивших зрелищем для босоногих курских мальчишек. Хилые предприятия, жестяной трамвайчик, еще не ходивший к вокзалу и едва пробивавшийся к Барнышевке...

Это город в первую свою пятилетку. А что же тогда было до революции? Пляжу на старые фотографии Курска. На Красной площади, где ныне чистота, торжественный порядок, голубые ели и памятник Ленину, на этой самой площади неопрятно, муравейно копошатся людом обжорные ряды... <...> Московская улица (ныне имени Ленина), кривой телеграфный столб, городской с тяжелой саблей на углу Почтовой и пароконный экипаж. А в экипаже — барчук в жилетке и с усами, закрученными по-кайзеровски. <...>

Нет, не хотел бы я жить в том Курске. Мне бы до зубной боли недоставало и света в широких окнах, и таких привычных теперь киосков «Союзпечать» на углу с их россыпью всевозможных газет и журналов, недоставало бы разлива цветов на газонах, шумных, говорливых стаях студентов на улицах и скамейках. <...>

...Я не отрециваюсь от прошлого, время отсеяло в нем много хорошего, чем можно поистине гордиться. Но я живой человек, и мне свойственно и естественно любить все живое, настоящее, сегодняшнее. А следовательно, и все то, что грядет завтра.

Я люблю утро.

Вот оно встает над родным городом. В окнах домов, пока только самых последних этажей, воссиянно отражается взошедшее солнце. И кажется, будто город открывает глаза и еще издали приветно всматривается в бегущий в его объятия поезд.

*Здравствуй, Курск!  
Тенистая прохлада!  
С дороги пыль стряхну:  
Я не был столько дней ...  
Все повидал,  
Но ничего не надо  
Взамен тебя,  
Твоих родных камней.*

1982

## РУССКОЕ ПОЛЕ

Места курские издревле заселялись полупахарями-полувоинами, которым назначено было первыми принимать на себя налеты половецких орд. Мы, жители курской земли, никогда не забываем о том, что мы куряне. Нашу память и сердце всегда греет, ласкает тот великий народный подвиг, который совершали в древности да и в недавние времена наши предки-куряне, защищая родную землю.

По сухим, увалистым водоразделам еще и теперь сохранились клочки дикой, непаханой степи, некогда уходившей от порубежных русских земель к Черному и Каспийскому морям и далее — за Волгу. Острова этих первозданных степей затерялись теперь в безбрежном море паханных и перепаханных полей. Но странная, непривычная тишина охватывает всякого, кто после каждодневной сутолоки, житейских дел и забот шагнет вдруг в дикие травы. Как и сотни лет назад, переливаются седые ковыли, в вечном сне дремлют курганы, подернутые синеватой марью, и все так же кружат над дикой равниной отрешенные от всего степные орлы, под крыльями которых проносятся столетия. Вовсе не случайно говорю об истории, ибо человек, чувствующий прошлое своей земли, иначе относится и к ее настоящему.

Со временем Курск стал городом, далеко отстоящим от рубежей, но ратные традиции курян, приобретенные ими в древности, неистребимы. Они, как говорится, в крови. И едва только случались исторические надломы, грозные события — они снова оживали, вспыхивали. Так было в Гражданскую войну, так произошло и в Великую Отечественную.

Мне не довелось участвовать в боях на Курской дуге, был на других фронтах. Но после ранения заехал в Прохоровку и увидел следы грандиозной битвы — до самого горизонта застывшие танки разных образцов. Их стаскивали к железной дороге — надо было возродить жизнь, сеять.

А сейчас по обе стороны большака разворачиваются неоглядные дали — не просто убегающая к горизонту докучливая ровнота, а размашистая череда холмов: вверх — вниз, вверх — вниз, будто глубокие вздохи, словно бы дышит земля и не может надышаться под благодатным мирным небом.

О чем бы я ни писал, чаще касаюсь сельской жизни потому, что хотя по всем статьям я и городской житель, но родился в деревне. А это значит, что все сельские дела проходили на моих глазах.

Когда я вернулся с фронта и стал журналистом, долгие годы проработал в газетах и главным образом — в сельскохозяйственных отделах, видел жизнь деревни глазами уже взрослого человека. Да и сейчас я думаю о деревне, о ее обновлении, о пока еще не решенных ее проблемах. Может быть, здесь, в деревне, особенно заметны те изменения, которые происходят в нашей сегодняшней жиз-



ни вообще, в необходимости которых назрела насущная потребность... <...>

Что нового сегодня на селе прежде всего? Мне кажется, что одной, пожалуй, из самых заметных примет обновления является приход молодых специалистов к руководству хозяйствами. Ведь теперь только хватки, интуиции и преданности делу явно недостаточно. Нужны глубокие знания, новый подход к делу, ибо изменилось и само хозяйство, и запросы, потребности людей. Бывая на собраниях партийных активов, на совещаниях председателей, замечая, как помолодели ряды руководителей на селе. У них и интересы иные. На перерывах, смотришь, они спешат уже не в буфет, а к книжному киоску.

Такой руководитель смотрит на жизнь уже не только со своего хозяйственного двора. Он понимает, что культурный фронт укрепляет хозяйственный, что и на нем решается вопрос удержания кадров на селе. У него и манера общения с людьми иная: товарищеская, демократическая. Таким вот руководителем является молодой коммунист, председатель колхоза «Заветы Ильича» Горшеченского района нашей области Владимир Лихачев. Здесь построены школа, торговый комплекс, стадион. Сам председатель — капитан сборной команды по волейболу. К таким руководителям тянутся. Из других хозяйств люди уходили на соседний комбинат, а у него оставались. Или вот молодой бригадир комплексной бригады ордена Ленина колхоза «Россия» Медвенского района Валерий Рожнов. Он пишет стихи, серьезно увлекается физикой. То есть это руководители нового склада, люди разносторонних интересов. <...>

Слышал о молодом председателе колхоза имени Ленина Октябрьского района Виталии Поправке. Отец его был председателем, брат — тоже председатель колхоза в соседнем районе. Когда думаешь о судьбах таких людей, задаешься вопросом: может, они обладают неким особым «сельскохозяйственным талантом»? Да нет же, просто они добросовестные, совестливые, ответственные люди. А это на земле — главное. У Виталия Поправки проявились организаторские способности еще во время службы в армии, он был хорошим старшиной роты. И здесь расторопно и умно хозяйствует. При Доме культуры по его инициативе открыто современное кафе, на животноводческой ферме и для механизаторов построены сауны. Пустяк? Да какой пустяк — конкретная забота о людях.

Председатель не только думает о задачах сегодняшнего дня, но и смотрит в будущее, сочетает решение перспективных задач с текущими, заботится о подрастающих сельчанах. В колхозе успешно работает школьная свиноводческая ферма, строится школьная теплица. То есть создаются условия для приобщения ребят к современному сельскохозяйственному труду. Ведь в детстве закладываются и профессиональные пристрастия человека. Еще мальчишкой прибегал на ферму Юрий Силаков, где была дояркой его мать. Еще до службы в армии стал оператором машинного доения. И пос-

ле службы вернулся к привычному делу. Сейчас он руководит фермой, одним из лучших хозяйств в Октябрьском районе.

И конечно, та закалка, которую получают ребята в армии и на флоте, привычка к четкости и дисциплине помогают им и в труде. Добрым словом вспоминают бывших командиров и сослуживцев и Поправка, и Силаков, и механизатор колхоза имени Чапаева Щигровского района Юрий Попов, проходивший службу в погранвойсках. Да и тысячи других моих земляков, вернувшихся в родные села после службы.

Сегодня село уже перестало пугать трудностями. Люди потянулись в деревню. Они уже держатся за землю. А многие семьи возвращаются на постоянное жительство.

Пришла в деревню в добром смысле слова привередливая эстетика. Сельскому жителю сегодня нужны уже не только четыре угла. Он теперь не просто кладет кирпич, а начинает плести из него узоры. Деревенский человек сейчас испытывает потребность не только трудиться, не просто надсадно работать, но и любоваться. А это — верный признак прочной, надежной жизни.

Об изменившемся облике современной деревни говорят многие факты. Как-то приехали ко мне с «Мосфильма» снимать «Усвятских шлемоносцев» непосредственно на курской земле. Решили найти уголок старой деревни, такой, которая соответствовала бы периоду, изображенному в повести. Но найти такую деревню оказалось невозможно. Ее просто нет.

Конечно, и нерешенных проблем еще немало. Одна из них — по современному организовать сельскохозяйственное производство. Нам не хватает порой хорошей организации, распорядительности, подлинно хозяйского отношения к делу. Мне кажется, что сейчас село требует уже не столько дополнительных материальных затрат, сколько рачительного, умелого использования имеющихся средств. <...>

А это возможно при целенаправленной работе по воспитанию хозяев земли. То есть все опять-таки упирается в человеческий фактор, в безграничные потенциальные возможности, таящиеся в наших людях.

Надо вернуть селу веками выработанную эстетику сельскохозяйственного труда, чувство хозяйского, заинтересованного отношения к родной земле. Отчетно-выборные собрания в колхозах, к примеру, должны снова стать шумными и бурными. Ведь почему они проходят порой скучновато? Не потому вовсе, что крестьянин стал пассивным. А потому, что мы сами потихоньку отстранили его от прямого участия в деле. И он стал просто исполнителем, а не хозяином. Вот эту заинтересованность, кстати, испокон веку свойственную сельскому жителю, и надо возвращать.

Вот молодой человек выстроил новый добротный дом. Все у него ладом. А рядом, за забором, растет бурьян. Куры там бегают, там же и ребятишки его играют. Говорю ему:



— Ну что же ты развел этакий бурьян?

— А это не мое, — отвечает.

— Ну не твое, но ведь рядом, смотреть неприятно.

— А это пусть у сельсовета голова болит.

И дети его, выросшие в этих бурьянах, не будут просто замечать их потом, не будут видеть в этом ничего ненормального. Так они и пойдут по жизни с этими бурьянами...

Далеко не все резервы используются еще на селе. А сколько мы теряем из-за недостаточной организованности, простоев техники, недисциплинированности. <...>

Ведь как было, скажем, в послевоенные годы, почему было самоноварение в деревне? Не от хорошей жизни. Представьте, осталась вдова одна с ребятишками. А везде разруха, нескладуха. Ей надо и сена накосить, и привезти его, и огород вспахать, и дров заготовить, и крышу починить. А чем платить ей оставалось, как не этой злосчастной бутылкой? Так вот потихоньку и спаивались сельские умельцы. А кроме того, — что самое страшное, — видя все это, и ребятишки ее к недоброму делу пристрастились. Так оно было — чего тут греха таить. Сейчас же, когда уровень жизни на селе возрос, исчезли бытовые предпосылки для этих пагубных пристрастий. С ними теперь надо бороться целенаправленно и настойчиво, всем миром.

Быть подлинным хозяином на селе — вовсе не значит проявлять ущербный практицизм. Мне больно видеть дом в деревне, возле которого нет палисадника, березки или рябинки, а все сплошь засажено картошкой. Мне больно слышать несущуюся из сельских дворов непонятную, чуждую сельскому жителю музыку, когда молодые люди стыдятся, что ли, наших народных песен...

Поле — не только хозяйственное понятие, но и категория нравственная. В языке нашем одним этим словом обозначается и ратное поле, и место созидательного труда. Это символично.

Человека должно тянуть в его родные края, к земле, где жили его предки, где формировалась наша культура, эстетика труда.

Я бываю в своем родном селе Толмачеве под Курском, на высоком берегу Сейма. И хотя все там уже изменилось, зовет меня это село — воля, открытый горизонт, ковыльный полынный ветер. Это вечный, неистребимый зов. Придет человек, постоит и скажет: «Да-а-а...» Что он хотел этим сказать? Все сказал. И обязательно сорвет былинку, молча пожует ее, глядя в бесконечную синюю даль. И если он пришел сюда, значит, уже ощутил потребность прикоснуться к тому, чем веками жили его предки, значит, услышал вечный зов земли. В душе его произошла перестройка, переоценка тех ценностей, которыми он жил до этого. И к земле он будет уже относиться по-новому, как ее подлинный хозяин.

1985

## ШУМЕТЬ ЛИ ЛУГОВОЙ ОВСЯНИЦЕ?

«Лесные запахи смешались с медовыми и чайными запахами лугов в крепкий настой, от которого становилось хмельно и необъяснимо радостно и молодо на душе», — читаем в повести Евгения Носова «Шумит луговая овсяница»...

— Евгений Иванович, в этой же повести вы описываете травы, которые стояли в пояс. Но я вот что-то не видела таких, хотя поездить пришлось немало.

— Повесть «Шумит луговая овсяница» я писал по живому наблюдению.

Но вы правы, такой щедрый сенокос бывает, увы, далеко не везде. Говоря языком специалистов, у нас низкая продуктивность лугов. Причины? В основном это связано с реками. У нас сложилось бесхозяйственное отношение к речкам, особенно к малым. А ведь они — капилляры земли. Малые реки, скажем, раньше были полноводными. В результате уровень грунтовых вод был высоким, а это то, что нужно лугу, — трава росла в пояс. Сегодня на тех же самых лугах — реки уже обмелевшие! — трава — низкая, выгорает.

Раньше и плотины возводили, всей деревней строили, всем миром поправляли после половодья, чтобы поддерживать урожайность луга. Это было делом жизни. А нынче это тем более ничего не стоит — с нашей-то техникой и железобетонными плитами! Кроме того, не мешало бы специалистам провести обследование малых рек. Тут пытаются кое-что делать. Но как-то урывками, эпизодично.

— Евгений Иванович, издавна считалось, что прибрежные деревни богаче суходольных: вдоль речки ведь тянутся заливные луга. Значит, есть дешевое мясо, молоко... Иначе говоря, река и ее пойменные луга серьезно влияют на экономику хозяйств, помогают им.

— Верно. Но мне кажется, лучше сказать это в прошедшем времени. Это раньше луг кормил. У нас почти в каждом сельском дворе была корова. Да еще колхозное стадо. И все на лугу паслись. Хлеб на корову не тратили, да и силоса тогда еще не было. Всю зиму корова ела сено. А где сено — там и молоко. Сегодня корову мы кормим в основном соломой. Ее мельчат, потом проводят дрожжевание, витаминизирование... Но ведь это корм побочный, его бы дать как добавку. А у нас вышло: сено заменили соломой. Отсюда — низкие надои, низкое качество молока, мяса. Да любой хозяин скажет: если держать корову на соломе, то она как бы вырождается — болеет, дает плохое потомство.

— Коль уж мы коснулись экономики, то давайте попытаемся разобраться, почему сено стало проблемой.



— Возьмем хотя бы ту же кукурузу. Ведь она в свое время потеснила не только хлеба. Сеяли ее часто на распаханном лугу.

Или другой пример. Есть в Курской области речка Полная. Раньше она оправдывала свое название: налитая в край была, глубокая, петляла себе меж лугов. Пришли мелиораторы. Прорыли речке прямой ход. Вода схлынула, берега сильно поднялись, оголились. Извели в окрестности все болотца, озерки — провели так называемое осушение. Распахали луг. Пробовали сеять сахарную свеклу — не получается: пока вода уйдет после разлива, пока подсохнет... В полях уже давно отсеются, а тут еще трактор никак не пройдет — запаздывали. Пробовали клевер сеять. Он там вымок. Кончилось тем, что бросили это дело. Деньги огромные затратили. А зачем?

Луг как украли. Приедешь осенью — смотреть больно. Вокруг колючки сплошняком растут, заросли сорняков там, где когда-то травы стояли. Скот не пасется. Такое обращение с лугом нанесло огромный экономический ущерб.

— Да, не по-хозяйски все это. Не сторонний человек должен решать, что делать с лугами, — решать должен хозяин луга...

— Мы долго вынашивали эту мысль, может, даже слишком долго. Через многие годы и множество ошибок наконец пришли к верному мнению: дать хозяину земли возможность быть хозяином, развязать ему руки. Ведь все председатели сегодня грамотные, образованные.

И вот получилась странная ситуация. На земле, обладающей уникальными природными возможностями для животноводства, из года в год туго с кормами...

— Значит, луг надо вернуть. А как это сделать?

— Чтобы вернуть луг, не так уж много и требуется. Расчистить там, где он зарос сорняками и лесом, засеять, удобрить, дать воду... Одним словом, всерьез, по-хозяйски заняться лугами. Тут поможет бригадный подряд, да и семейный. Надо заинтересовать людей. А жизнь и крестьянский опыт заставят колхозника выбирать наиболее подходящие варианты.

— А каков он — нынешний хлеботорб, крестьянин? Вы когда-нибудь видели, как молодые ребята на тракторе едут к речке купаться через луг? А за ними — глубокая колея, как рана на теле. Вы видели, какие нынче полевые дороги? Как московские проспекты. Лужа на дороге — он ее объедет, норовит проехать, где посуше. Подминают под колеса хлеб, травы...

— Безнравственность порождает надругательство над землей. Это страшнее, чем экономические потери. Возьмем тот же луг, чем он был для крестьянина? Он ведь не только кормил. Это была

поэзия жизни! Село на высоком берегу, внизу: сколько глазом окинешь — ветер травы колышет... Все это не могло не волновать человека. Может, это и есть та пуповина, которая связывает человека с родными местами. Нельзя перерезать ее.

А потом ведь самой любимой работой у крестьянина был сенокос. На луг съезжались семьями, колхозами. Балаганы ставили. Вечером костры горели, кулеш варили, песни пели. На луг как на праздник ехали.

Луг объединял людей. Вот вам и нравственная сторона проблемы. Проблемы патриотического и гражданского воспитания.

1986

## ЧТО МЫ ПЕРЕСТРАИВАЕМ?

Демократия — это тот самозатачивающийся инструмент народного самосознания и самодисциплины, которой становится тем надежней и действенней, чем будет он в большем употреблении. Демократия способна уверенно противостоять как анархизму слева, так и бюрократизму справа...

Как я себе представляю, сегодняшняя перестройка — это вовсе не текущая косметика в квартире, когда что-то подсвежают, подкрашивают, меняют надоевшие обои, на иной манер переставляют мебель, — словом, наводят очередной квартирный марафет.

Это даже не капитальный ремонт всего дома — когда нагрянувшая жэковская бригада начинает таскать на этажи заляпанные побелкой деревянные козлы, связки плинтусов, баллоны и шланги газосварки, скрежетно отдирать и сбрасывать вниз обветшалую кровлю, выламывать старые раковины, ржавые, склеротические водопроводные трубы и, наконец разделавшись с интерьером, принимается за наружность: замазывает выбоины и трещины, подправляет фронтонную мишуру и уж после всего наводит внешний колер из той бочки, на какую укажет главный прораб.

Нечто подобное в истории нашего общества уже не раз было, но все эти подновления и капремонты не приносили желаемого удовлетворения. Освежающие материалы и краски оказывались непрочными, фасадная штукатурка вскоре снова растрескивалась и осыпалась, а во всех внутренних функциональных системах, смонтированных со следами поспешной шабашки, по-прежнему начинало что-то подтекать, заедать и не срабатывать. Так что возникавшее было чувство новизны быстро улетучивалось, и все снова начинали жить упованием на лучшие времена.



На протяжении многих десятилетий такие подновления и капитальные ремонты и особенно конструктивные новации прежних прорабов, не согласованные с чаяниями самих жильцов, а также с генеральным планом, все дальше уводили внешний облик и внутреннее обустройство нашего дома от его изначального замысла. В конце концов мы до того дообновлялись и допереиначивались, что в нашем ведомственно и кастово заперегороженном, забарьеренном, затабличенном, задерматиненном доме нечем стало дышать, а человеческий голос подчас глож в непроницаемых препонах заполнившего его чиновничества.

А ведь как было все прекрасно задумано!

После двух затяжных и разрушительных войн — Первой мировой и Гражданской, — низвергнувших народ в хаос разрухи, голода, продразверсток, повальных тифозных хвороб, приходилось начинать почти с нуля. Надеялись только на самих себя, на миллионы ухватистых рук, вооруженных тачкой и лопатой. А еще — вдохновляющим ленинским предначертанием. Мечталось на месте обветшавшей, покрытой соломой России воздвигнуть нечто необыкновенное, величественное, равно справедливое для всех, просторное для души и мысли и светло и гордо вознесенное над прочими угнетенными народами, чтобы далеко был виден наш общий социалистический дом под красным флагом, с широкими окнами, открыто и честно глядящими в наше будущее и наше прошлое, во все стороны света, на весь остальной человеческий мир.

Но осуществить эту прекрасную мечту Ленину не довелось. Он ушел из жизни, успев заложить лишь фундамент и оставив развернутый план, как и что следует делать дальше.

Если бы этот план попал в хорошие, добрые руки! Но судьба распорядилась так, что невоплощенный замысел оказался как раз в тех руках, в которых великий зодчий революции не хотел его видеть. Осиротевшее строительство взял на себя Сталин.

Новый прораб, повесив над стройкой отвлекающий лозунг: «Ленин умер, но дело его живет», принялся переиначивать ленинский план на свой аршин. Властный и самолюбивый, не терпевший ничьего, другого мнения, он неприязненно относился к идее многоголосого, вечевового управления. И потому своим синим обрекающим карандашом прежде всего перечеркнул систему двусторонней гласности, направленную сверху вниз и снизу вверх. Эта система, по замыслу Ленина, должна была сыграть роль общественной вентиляции, обеспечивающей кислородный режим и предупреждающей застойную плесень и нравственное загнивание. «Не надо», — поморщился он и вместо двусторонней циркуляции гласности предпочел односторонний циркуляр.

Постепенно на фундаменте ленинского народного социализма начало прорасти нечто блоко-гранитное, пирамидоподобное, вер-

шиной задевающее облака, названное демократическим централизмом. Как показали последующие годы, это нечто оказалось вовсе не демократическим, а самым примитивным деспотическим централизмом, лишь снаружи прикрытым декоративной овечьей шкуркой. Модель эта древнейшая, нашедшая себе применение еще во времена строителей великих пирамид. Вся эта единовластная, центронаправленная и строгорежимная машина, в какие бы века она ни возникала, непременно зиждется на лишенной гласности, единообразно мыслящей, коленопреклоненной массе, поддерживающей чиновно-иерархические этажи, где нижний подпирает верхний, а верхний попирает нижний. Этажи, постепенно сужаясь, под конец образуют сиятельную вершину, на которой остается лишь тот, от кого исходит живительная благодать и карающие громы и молнии.

О том, как делать единообразную и коленопреклоненную массу,двигающую глыбу великих строек, тоже было известно еще древним. Всех горлопанов, гораздых перечить, иметь свое суждение или, напротив, мрачно молчащих, отводящих в сторону глаза и не проявляющих должного почтения, посредством наущничества и лжесвидетельства уличали в покушении на престол, заковывали в колоды и отправляли на галеры, с тем чтобы всем остальным было неповадно.

В нашем двадцатом веке все делалось так же, с той лишь разницей, что галерные весла заменялись пилой. Но только в том случае, если не постигала высшая мера.

Вот образчик судилища (цитируется по «Судебному отчету по делу антисоветского «правотроцкистского блока...» (М.: Изд-во Юридической лит-ры. 1938):

«Государственный обвинитель Вышинский:

— Были ли случаи, когда ваши соучастники, сообщники в преступном заговоре против Советской власти и советского народа подбрасывали в масло гвозди?

Подсудимый (фамилия опущена мной. — Е. Н.):

— Были случаи.

Вышинский:

— С какой целью? Чтобы было «вкуснее»?

Подсудимый:

— Это ясно.

Вышинский:

— Вот это и есть организация вредительской диверсионной работы. В этом вы себя признаете виновным?

Подсудимый:

— Признаю.

Далее Вышинский весело вышучивает подсудимого, видимо, и сам не веря в нелепые обвинения относительно гвоздей в масле (в самом деле, как можно «подбросить» гвозди в сливочное масло?! Как это сделать практически?).



«Вышинский:

— А в яйца гвозди не подсыпали?

Подсудимый:

— Нет.

Вышинский:

— Почему? Не выходило? Скорлупа мешала?..»

И гремели карающие выстрелы, и лязгали запоры пожизненных заключений...

Представляется, как он, оставшись один в глухом предрассветном кремлевском кабинете, доставал из стола потаенные списки и, раскурив трубку, как расчетливый игрок, неспешно и углубленно раскладывал свой жуткий ночной пасьянс из человеческих судеб. Он скользил сощуренным взглядом по разложенным именам и время от времени помечал кого-либо все тем же синим обрекающим карандашом. Никто не знает, какие конкретные мотивы заставляли синего коршуна опуститься на ту или иную жертву. Но теперь, спустя десятилетия, просматривается общая направленность обречений: расчищая себе дорогу к непререкаемой власти, он вырубал самые крупные деревья, которые затеняли его и своей высотой не позволяли ему казаться выше других. Мстительное ожесточение не останавливало его даже перед родственниками, возможно, что-либо знавшими или когда-то что-либо неосторожно сказавшими по родственному. Иногда он ломал человека особо иезуитским приемом: не трогая самого, но подвергнув репрессии его жену или брата, давал понять, что при малейшем непослушании та же участь постигнет и его. И растоптанный и униженный человек, находясь под постоянным страхом расправы, невольно превращался в безропотного услужителя. Такая участь, например, постигла Молотова, с которым Сталин по-прежнему поддерживал внешне дружеские отношения. Но особенно злорадное удовлетворение получал он, натравливая одну жертву на другую. Так поступил он и с маршалами Егоровым и Блюхером, послав их судить своего же боевого товарища, маршала Тухачевского. А вскоре они сами были расстреляны по такому же шаблонному инспирированному обвинению.

В энциклопедический справочник о Гражданской войне за 1938 год боязно заглядывать: столько в нем изломанных, растоптанных и оборванных судеб! Все они закончились трагически, но справочник продолжает стыдливо сообщать, будто ничего с этими людьми и не случилось: «В дальнейшем на партийной и хозяйственной работе». Или: «В дальнейшем на командных должностях». Да ведь не было у них ничего в дальнейшем! И какие имена! Уборевич! Косиор! Гай! Бокий! Енукидзе! Корк! Рудзутак! Гамарник! Примаков! Якир! Ладис! Костюх! Затонский! Уншлихт! Блюхер! Крестинский! Егоров! Тухачевский! Бела Кун! И многие, многие, многие, многие другие. Сколько их, этих других? Кто знает?..

В таком потрясенном состоянии общество вскоре надело шинели Великой Отечественной.

Не потому ли на нас и напали в сорок первом, что враг понимал: лучшего момента, более ослабленной изнутри России, чем тогда, может уже и не быть....

Шли навстречу вражеским танковым армадам плохо вооруженные и плохо снаряженные, не всегда с патронами в подсумках и снарядами в артиллерийских передках. Шли без несостоявшихся танковых корпусов, на развертывании которых настаивал маршал Тухачевский, без ракетной огневой поддержки, также предложенной им, но отвергнутой как идея, исходившая от «врага народа», без самого маршала — смелого новатора, образованного и умного полководца, знатока тактики и стратегии германского милитаризма. Шли, заведомо понеся огромные моральные и стратегические потери, как если бы, еще не начиная сражения, наперед отдали врагу трех прославленных маршалов, почти всех командармов, большинство командиров дивизий, командиров полков и почти поголовно всех политкомиссаров всех уровней и рангов — считай, душу армии, ее главный мотор и наиглавнейшее оружие.

Слишком большая и опасная фора гитлеровскому вермахту!

Не этой ли расправой над лучшими, обстрелянными революцией и Гражданской войной командными кадрами predeterminedены последовавшие затем потери двадцати миллионов? Впрочем, двадцати ли? Не стыдливые ли это цифры? И были бы человеческие жертвы столь велики, а территориальные потери столь позорны и унижительны? Всего не перечислить, чего могло просто не быть...

Да, мы все-таки победили! «Пол-Европы прошагали, полземли...» Измученные народы ждали нас, и мы, преодолев все, пришли наконец им на помощь. Но они ждали нас ленинцами, а пришли мы хотя и победителями, но сталинцами. А это не одно и то же... Мы пришли учить их будущей свободной жизни, сами уже потеряв ее. Мы пришли не от ленинских Советов, а от сталинских политотделов. Не с ленинской демократической открытостью, а со сталинским настороженным сощуром и застегнутостью на все пуговицы, за которой тщательно прятали от братьев по борьбе все свои социальные извращения и недуги, приведшие впоследствии к падению нашего престижа.

Ранней весной 1953 года Сталина не стало.

На несколько дней страна оделась в траур.

Поникли знамена, примолкли, ушли в себя люди. Светило, казавшееся вечным, погасло, и знобко повеяло холодом неизвестности. День погребения, когда жутко выли гудки, казался концом света. Многие рыдали.

Положили его в Мавзолей рядом с Лениным, как бы проводя между ними знак равенства. Так тогда раболепно казалось.



Но равенства между ними никогда не было. Куда вел за собой Ильич, всем было ясно. Куда вел Сталин, наверное, под конец не было ясно и ему самому. Начавшиеся после войны новые театрализованные и по-прежнему жестокие процессы, которые, казалось, после нашей Победы над фашизмом, олицетворением чудовищного беззакония и жестокости, не должны были повториться; разгром генетического центра страны; глумление над крупными учеными; циничное потакание лжеученому академику Лысенко — этому Гришке Распутину от науки; предание анафеме кибернетики, объявленной буржуазной лженаукой, в результате чего мы угрожающе отстали в своем техническом развитии, — это ли продолжение дела Ленина?

И вот Сталин в гробу.

Люди двигались мимо с робким и настороженным чувством, испытывая растерянность и смуту, как если бы проходили мимо упавшего с неба божества, у которого при ближайшем рассмотрении оказалось все разочаровывающе обыкновенным и преходящим: темные запавшие глазницы, узкий скошенный лоб, местами посеченный оспой, отдавал пергаментной сухостью постившегося схимника.

В сущности, это был одинокий, глубоко несчастный человек, отягченный большой совестью, доживавший свои годы в угрюмом одиночестве, без окружения отвергнутых им близких, без верных друзей, с которыми можно было бы душевно расслабиться, но которых он предал и цинично растоптал, без увлечений и привязанностей, наверно, даже ни разу не покормивший кремлевских воробьев; человек с сумрачной средневековой натурой и непредсказуемым поведением, подозрительный, носивший мягкие, вкрадчивые сапоги, непреклонный, не ведающий чужой боли, а может быть, и своей тоже.

Он оставил задерганную, замордованную процессами страну, напичканную фискалами, испытывавшую до последнего его часа дефицит колючей проволоки, когда при свете дня, не таясь, нельзя было взять в руки Достоевского, Есенина, Бунина, Александра Грина, Андрея Платонова, Анну Ахматову и даже Сетона-Томпсона — последнего за то только, что этот прекрасный анималист писал о гордых и вольнолюбивых зверушках, вызывая у нашей детворы якобы антиматериалистическое восхищение и сострадание. Оставил общество, повергнутое в безгласность, в молчание, перед постоянной опасностью доноса принужденное думать одно, а говорить другое и на все согласно кивать.

Старая деревенская женщина, по самые выцветшие глаза замотанная серым платком, взваливая на плечо мешок, угловато набитый буханками, сказала о его смерти как бы самой себе: «А-а... Хужей не будет... Куда ж ишшо...»

Кстати, деревня по нему не убивалась: натерпевшись всего, она сдержанно и строго молчала.

Со всем этим надо было что-то безотлагательно делать, и руководство партии, в первую очередь понесшее от своего генсека огромный урон, приняло решение низвергнуть культ личности Сталина, освободить саму партию и весь народ от отягчающих сознание и волю культовых вериг.

Помнится, как тяжело и горько звучала разоблачающая речь Хрущева, как слушали его, опустив головы, как не вдруг, не сразу приходило отрезвление и отпускало скомканные души. Но самое трудное было сделано — окна распахнуты, и многие вздохнули с облегчением, как если бы сбросили нашейную колоду.

Люди с пытливой надеждой вглядывались в первые появившиеся портреты Хрущева — нового заступившего прораба: никакой высокомерной отчужденности, никакого надменного вождизма во взгляде, простое крестьянское лицо с совершенно неруководящим вздернутым носом, открытая улыбка, обнажающая два крупных, широко расставленных зуба, сквозь которые в мальчишестве, должно быть, ловко сплевывалось, когда играли в биты на околице курской Калиновки. Весь какой-то обыденный, свойский: надень на него ватную телогрейку да шапку-ушанку — ни дать ни взять колхозный бригадир. И что еще привлекало: в столице безвылазно, как Сталин, не сидит, во все сам вникает, землю пальцами мнет, пшеничный колос тербит, зерно на зуб пробует. Свой, кажется, мужик!

Как-то не верилось, что больше не станет тюрем. А по запретным землям с вечной мерзлотой под ногами распускали лагерь, валили сторожевые вышки, усыпляли конвойных собак за ненужностью дальнейшего применения.

И появились на станциях и в поездах уцелевшие и отпущенные узники — с лагерной свинцовой сединой, запавшими, поблеклыми глазами, задышливые, с подшаркивающим шагом, превратившиеся в стариков. Молчаливо, неразговорчиво пробирались они к своим домам, к таким же постаревшим, померкшим женам, к взрослым, неузнаваемым и неузнающим детям, к отвыкшей, отчуждившейся семье, вернее к тому, что от нее осталось, ибо лучшие годы прошли по разные стороны разлучившей их проволоки. Многие из вернувшихся вскоре умерли, не смогли адаптироваться, не вынесли этого глотка свободы, как не выносят резкого всплытия наверх водолазы, долго пребывавшие на дне.

Возвращались по домам целые народы, некогда попавшие в немилость, — балкарцы, чеченцы, калмыки, изгнанные из отчих мест до последнего человека. С содроганием вспоминали они насквозь продуваемые товарняки, увозившие в ссылку. Люди ехали стоя, сплошным комом сгрудившихся тел, и только совсем ослабевшие сползали и опускались на грязный ледяной пол. Иногда в безлюдных местах товарняки останавливали, чтобы вынести из вагонов трупы и закопать их в снег...



Вместе с земляками-балкарцами возвратился в долину Чегема Кайсын Кулиев. Из заполярного рудника наконец вырвался в свою Калмыкию Давид Кутультинов. В родную Чечню вернулась с навсегда испуганными глазами поэтесса Райса Ахматова...

А тем временем Никита Хрущев принялся разбирать сталинские культовые завалы, перетряхивать министерства и ведомства, выкуривать оттуда набившихся чиновных хомяков, вызволять крестьян из сталинской колхозной барщины и зверевского податного оброка. Впервые сельские жители получили паспорта и гарантированную денежную плату за свой труд.

На добро народ отвечал добром: на одном дыхании были вспаханы, засеяны и обжиты многие миллионы гектаров целинных и залежных земель.

Чтобы наглядно продемонстрировать целинные успехи, было велено во всех столовых подавать хлеб бесплатно. Велено было также бесплатно выдавать свежую нашинкованную капусту. Подходи к чану, накладывай сам себе в тарелку сколько хочешь. Хорошо, конечно, — витамины!

Однако это были всего лишь первые шаги на пути к экономическому и демократическому обновлению общества. Даже не шаги, а полушаги только. Например, первый год освоения целины, несмотря на хороший урожай, все-таки принес убытки: бездорожье, отсутствие складских емкостей, высокие затраты на переброску техники, горючего, стройматериалов, переселение больших масс людей склонили весы в убыточную сторону. И в последующие годы хлебная проблема так и не была окончательно решена, зерна в стране по-прежнему не хватало. Так что раздавать в столовых хлеб бесплатно было рановато. Но тогда еще никто не знал, что Никита Хрущев, горячая голова, склонен был к таким широким жестам, не подкрепленным реальным обеспечением.

То же самое и с демократией. С вершины бюрократической пирамиды был сброшен ее творец, в замшелых стенах абсолютистского сооружения пробили отдушину, впустили живительный воздух. Но сама-то пирамида осталась! Со всеми своими иерархическими этажами и даже пустующим самодержавным креслом на макушке. А пока кресло не убрано, всегда будет соблазн забраться в него и примериться. Так что все, что было предпринято, можно было назвать лишь послаблением, а не демократией. У нас ведь как: ежели за воротник не хватают — уже и демократия. А на самом деле демократия — это не когда тебе что-то разрешают, а когда ты сам себе не разрешаешь. На том и должно все держаться: и человеческое общежитие, и общее дело, и самоуправление. А это возможно, когда человек научится укорачивать прежде всего не других, а себя. Наука нескорая!

В какой-то розовый момент, когда голова слегка затуманилась от показавшегося преуспевания, неизвестно какой бес лукаво нашеп-

тал: настал-де, Никита-свет, твой звездный час, твое исключительное предназначение. Смело бери в руки бразды — и с ветерком! Покажи всем кузькину мать. И как-то сладко поверилось в это. Приме-рился к пустовавшему единовластному креслу — нигде не жмет, не давит. Правда, высокогато вниз глядеть — там люди, как мураши. Но зато далеко видать, особенно вперед. И захотелось сотворить нечто такое, чтобы все диву дались и ахнули. Ну хотя бы в ближайшие годы догнать и перегнать Америку. По технике мы уже ее обставили: наш спутник уже летает, а ихнего что-то не слышать. Теперь осталось обогнать ее по уровню жизни. Показать им, в самом деле, кузькину мать. Или заделать коммунизм скажем, к восьмидесятому году.

Ах этот российский неоглядный характер! Ах это лихое, молодецкое — шапку оземь! Ах эта птица-тройка с бубенцами! «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: "черт побери всё!" — его ли душе не любить ее?»

Насчет коммунизма к восьмидесятому году люди уже и тогда конфузливо переглядывались: не лишку ли хвачено? Даже если и обставить Америку по всем статьям, то из одного изобилия коммунизма не получится. Потому как коммунизм — это не просто стол, прогнущийся от избытка: подходи и потребляй сколько хочешь за так. Нет, коммунизм не ублажение себя, а торжество человеческого совершенства, итог долгой, из поколения в поколение, кропотливой нравственной селекции, выведения людей особого мышления, создания особой, высоконравственной, невосприимчивой ко всякой скверне среды обитания. Где уж там — к восьмидесятому году...

Что же касается мирного состязания с Америкой в изобилии, то спору нет — дело это хорошее, патриотическое, а не шапкозакидательное, не ради бесшабашных амбиций, поднявших на дыбы экономику целой страны.

А расклад был такой.

У нас:

помимо безалаберщины, селекционной запущенности и хронической бескормицы, бичом нашего животноводства является долгая холодная зима с запасами по самую крышу, с морозами, от которых лопаются водопроводные трубы, а навоз превращается в бетон. Перенести, перетерпеть такую зиму даже в исправных постройках требуется немало коровьего мужества. А бывает, что и коровник худой, щелястый, и пожевать, кроме соломы, нечего. Да и ту не всякий день подвозят. А то загуляет село на Николу-зимнего или на Варвару да и запомнует в многодневном гудеже накормить и напоить брошенную скотину. Иной раз сторожа да скотники так назююкаются, что и постройку спалят вместе с коровами, и сами погорят, сердешные. Всякое на святой Руси бывает, повидал я...



Такой вот зимовки — спертой сырости, темени, дрожака, а то и голодухи — выпадает на коровью долю почти полгода: с ноября по апрель — май, а по Сибири и того дольше. Но и в этих условиях с замурзанной, взъерошенной и истощенной коровенки, привязанной цепью за шею до самой весны, не слазят всякого рода планочаатели, требуя от нее ударного молока и планового теленка. На этого теленка уходили ее последние силы и оставалась одна забота — не упасть. Так что, пока она дождется весны и выберется на первые проталины погреть бока, от нее останется одна только среднестатистическая шкура, повешенная на растопыренные кости. Уж и май минул, июнь на лугах, трава по вымя — казалось бы, самое молочное время, а нужного молока все нет. Она, голубушка, ест, ест, жадничает, аж язык зеленый, даже мух забывает отмахнуть, изо всех сил старается начальство уважить (душа-то у нее российская, сочувственная, всех жалко!), а молока все мало. Ей пока не до рекордных удоев: почти весь корм на себя тратит, на восстановление зимних удоб. Но едва наберет сил — вот тебе первые заморозки, конец летней благодати. И опять на полгода на цепь и на солому...

А что было у них? Какие козыри?

Нашей буренке противостояла мощная элитная фермерская корова, сформированная жесткой конкуренцией, а потому содержащаяся в оптимальных условиях при одновременной дотошной просчитанности затрат на единицу продукции. Поэтому впроголодь, а тем паче вовсе без корма, как это бывает у нас, корову не оставят, но и лишнего не дадут. А дадут ровно столько, чтобы она постоянно пребывала в надлежащей «форме». Иначе ее забьют. Так что ихняя корова всегда хорошей породы, упитанна, ухожена, как может быть ухожена и отлажена гоночная, или, вернее, молокогоночная машина.

Но главное — это загром.

У нас — солома, веточный корм, случайно — корнеплоды, не всегда сено, тем более зерно в рационе.

В ихнем, фермерском, закроме тонны кукурузного зерна на каждую дойную и убойную голову в год. Куда с лихвой! Да еще сорго, да соевые бобы, из которых производят высокобелковые концентраты, да миллионы тонн жмыхов масличных культур, да технологичный насыщенный силос, обязательные корнеплоды, потребное количество сеяных трав и сена из них. Да плюс ко всему естественные выпасы молочного пояса и прерий Великих равнин.

А кроме всего — организация дела.

У них ставка на высокую индивидуальную продуктивность.

У нас с продуктивностью неважно, а потому весь расчет — на количество голов. У них — чем меньше коров, тем выгоднее. Для нас пока лучше, если скота больше. В итоге одна ихняя корова против трех наших. Или сто против трехсот. Но чем оборачивается такое соотношение? Прежде всего непроизводительными затрата-

ми. Чтобы разместить те же триста голов, надобно построить втрое больше против ихнего животноводческих помещений. Для этого потребуется втрое больше кирпича, леса, цемента, шифера, водопроводных труб, поилок, кормушек и т. д. Во-вторых, надо иметь втрое больше кормов и естественных выпасов. Кроме того, эти триста коров за зиму произведут втрое больше навоза, на уборку которого надо затратить втрое больше ручной или моторной работы. Все это ложится тройной наценкой на себестоимость продукции.

Однако такая бухгалтерия не заставила задуматься Никиту Хрущева. Он был уже одержим, не слушал никаких резонов и очертя разгоряченную голову ринулся врукопашную с быкомычащей Америкой, заведомо обрекая свою затею на провал и на дискредитацию неразвернутой экономики.

Лично побывав в Штатах и посмотрев на тучные кукурузные поля Айовы, почесав за ухом вскормленных на калорийных харчах крутолобых бычков, он привез домой подсмотренную там идею. Оказывается, все просто! Надо только засеять кукурузой побольше площадей. Вот она — панацея! Да мы их... С нашими-то просторами...

«Можно с уверенностью сказать, — звучало потом в одном из документов, — что мясная проблема в самый короткий срок в нашей стране будет успешно решена и мы будем иметь мяса в достатке не только для внутренних потребностей, но можем заложить значительные государственные запасы и выделить часть мяса и мясных продуктов для внешней торговли».

«Хорошо глядеть, как солдат идет», — говаривали прежде в подобном случае.

В стране началась памятная кукурузная кампания, в том ее проявлении не понятая и не принятая народом. Вообще-то сама по себе культура она продуктивная, если с ней обращаться по уму. Но Кострома не Айова... Во многих российских местах кукуруза оказалась самозванкой, непрошено посаженной на престол нашего земледелия. Внедряли ее таранно, ударом кулака по столу, не слушая никаких резонов, вешались выговоры, отбирались партбилеты, не глядя ни на широту, ни на долготу.

Не имея свободных земель в тогдашних пахотных регионах, ее поначалу вводили, вернее — вколачивали, в уже занятые уголья, тесня не только традиционные, испытанные кормовые культуры, но и зерновые тоже. Однако это не дало желаемого результата. И тогда трактора ворвались в луга...

Вспоминаю, как была загублена пойма реки Полной. Река вполне оправдывала свое название: вода стояла в самый край берегов. Сколько в ней было рыбы! Какое раздолье для дичи в лутовых старицах! Но главное — какие выпасы, какие зимовали стога! Я ставил свою палатку на берегу и буквально за несколько захватов нарывал хороший бережок душистых трав для ночлега. Но вот с ревом и грохотом при-



катила мелиоративная техника: бульдозеры, кусторезы, экскаваторы. В одно лето срезали луговые ивняки, выпахали корневища, спустили все луговые старицы, а саму Полную, прежде раздольно петлявшую в лугах, загнали в прямой, как стрела, канал с глинистыми откосами. Вода бурно устремилась в него, уровень в реке резко упал, обнажились рачьи норы и белые корни аира. Метнулась и куда-то ушла перепуганная рыба, долго носились над неузнаваемыми лугами обездоленные чибисы и кряквы. И в первый же день после слива реки сорвалась с обнажившегося и ставшего крутым берега корова. Ее потом вытащили веревками и бросили тлеть на берегу. Долго потом сюда сбегались пировать, оглаживать решетчатый остов окрестные деревенские псы. Но кукуруза здесь так и не выросла: посевы ее вымокли, взошли изреженные и блеклые, будто больные.

Не пошла и сахарная свекла. Да и плюнули на всю эту мелиорацию. И на обезвоженном и брошенном лугу вовсю полезли сорняки и колючник, густо ронявший по ветру пуховые семянки, рассеиваясь по окрестным полям.

Наконец пришла мысль посягнуть и на саму травопольную систему, выбросить из севооборота травы-предшественники, а вместо них внедрить все ту же кукурузу. Для оправдания этого посягательства был изруган и дискредитирован основоположник этой системы академик Вильямс, портреты его сняли, а труды изъяли из учебных заведений и библиотек. Наряду с травами, игравшими роль восстановителей питательного баланса почв, были ликвидированы и чистые пары, вместо них, дававших отдых земле, внедрялась опять же кукуруза.

Но это далеко не все амбициозные извержения того поистине вулканического десятилетия.

Упрямо изыскивая способы посрамления Америки, Никита Хрущев распорядился скупить у колхозников без всяких уклонений всю их рогатую живность. Таким административным приемом удалось увеличить общественное поголовье на несколько миллионов голов. Но с наступлением холодов выяснилось, что колхозы и совхозы не готовы к размещению и содержанию скупленных коров, и их пришлось частично забить. С той поры на деревне не стало ни коров, ни телят, а упрямые старушки, как их теперь ни уговаривают, не желают больше возиться с рогатиной. Телевизор лучше. Так что испить на селе кружку молока стало проблемой, порожденной все той же амбицией: «Какое молоко! У нас, милай, теперь ниче не мычит, будто уши заложило. Будешь итить соседней деревней, Алябихой-ти, дак спроси у Анисимовны, кажись, она доси коровку держит. А нас уже и на погляд нетути. Усих порешили».

Или вспомним печальное постановление о лошадях. Они были обозваны дармоедами, поедающими чужой корм, позорящими со-

циалистическую Россию бездельным ржанием и тележным скрипом. Но дело тут не в «бездельном ржании». Какой-то придворный лукавец нашептал Хрущеву, что ежели забить несколько миллионов лошадей, то сколько сразу сэкономится корма! Да плюс почти за так уйма конского мяса! Да кожа на ремни и подметки! Было запрещено выдавать корма на лошадей, их исключили из всех видов отчетности, то есть фактически объявили вне закона, и колхозы волей-неволей вынуждены были отправить их на убой. И потянулись на живодерни эти скорбные, понурые шествия лошадей по дорогам России, которую они много веков кормили, опахивали, окашивали и берегли от врагов. Еще и теперь кони, брошенные на произвол, бродят по полям, иные с малыми жеребятами. Обросшие длинной дикой шерстью, они зимуют в терновниках, лесных полосах или возле одиноких скирд, грызя смерзшийся наст и сторожку, опасливо прядая ушами при виде показавшегося человека.

А тем временем молочную флягу от фермы до сельского детского сада везут на тракторе с прицепом. Тогда как высокомоторизованная Америка и теперь держит для расхожих работ десять миллионов лошадей.

А насаждение декоративных агрогородов?! Ради такой театрализованной жизни, случалось, людей силком, с милиционером переселяли в казенные многоквартирные дома с общим для всех туалетом под забором. А тем временем покинутые деревеньки объявляли бесперспективными, дворы зарастали чертополохом, кособочились и падали радиостолбы, осыпались колодцы, и ветер трепал истлевший белесый флаг, забытый над крышей заколоченной школы.

Или многократное объединение колхозов, превращение их в показушные гиганты, где все огромное: поля, и тракторные гоны, и объединенные доходы, ставшие миллионными (и долги тоже), но оказался совсем маленьким сам человек, чей голос все более терялся в бескрайности обезличенной земли, уже не обогреваемой любовью ее оратая.

А какую неразбериху внесли всякие структурно-руководящие комбинации, скажем, создание областных и краевых совнархозов, этих еще одних бумажных волокитных сооружений! Или разделение областных комитетов партии на промышленные и сельские обкомы, между которыми сразу же возникли всякого рода несогласованности и ненужные противопоставления. Или разделение мелких областей на еще более мелкие. Из нашей Курской сделали две: собственно Курскую и Белгородскую. Обе с одинаковым профилем экономики: у них руда, и у нас руда, у них производство сахара, и у нас оно... Даже Курскую огненную пришлось поделить между областями: южный фас белгородцам, северный — курянам. Теперь на территории бывшей Курской области стали действовать два обкома, два облисполкома, два облсельхозуправления, два контингента мили-



ции, два облоно, два облздрава, облстата, облкинопроката и т. д. Всяких «обл» стало по паре. И всем их служителям государство фактически платит двойные денежки. Что же тут было делить, если между Курском и Белгородом всего-то сто пятьдесят километров?! Такая же двойная дань платится за отделение Липецка от Воронежа, между которыми и вовсе сто двадцать шесть верст земли.

Решения и постановления, предписания и указания сыпались градом, которые нижестоящие органы не успевали воспринимать и осмысливать, их охватывала нервозность и зыбкая неопределенность перспективы. На этом фоне в Рязани раздался трагический выстрел: секретарь обкома Ларионов покончил с собой. Но многие, еще со сталинских времен приученные не перечить, приспособившись к показному цифротворчеству, пустились откровенно врать в отчетах, выдавая желаемое в верхах за действительное в низах.

В начале шестидесятых годов раздался еще один выстрел: после тщетной попытки остановить разрушительное экспериментаторство в деревне, после неоднократных, но безответных обращений на этот счет к Хрущеву пытался покончить с собой отчаявшийся Валентин Овечкин.

И, словно предвестники грядущей беды, начались пыльные бури — прямое следствие чрезмерных распашек и нарушения севооборота. Миллионы тонн растрепанной земли подняло ветрами с полей Кубани и Ставрополья. За одну ночь наши курские, еще заснеженные предвесенние поля переоделись в черные сугробы. Черная взвесь проникала сквозь оконную оклейку, черно лежала на подоконнике, на писчей бумаге, ну и, конечно, на душе...

Подобные пыльные бури потом повторялись неоднократно.

Вопреки еще не успевшим выцвести, не смытым дождями оптимистическим диаграммам роста надоев и привесов, с прилавков магазинов стало исчезать мясо и все мясное. Потом все молочное. В считанные дни размели даже привялые плавленные сырки. Куда-то девались пшено и гречка, как потом оказалось, исчезли на целые десятилетия. Дело дошло до лапши и макарон. Осенью хлебозаводы прекратили плановую выпечку батонов и булок, закрылись кондитерские цеха. Белый хлеб выдавали по заверенным печатю справкам только некоторым больным и дошкольникам. В хлебных магазинах и столовых появились обращения, предлагающие еще раз подумать, сколько вам нужно хлеба. Над страной нависла угроза карточной системы. Одним словом, приехали...

«Болярская шапка» оказалась не по «нашему Сеньке».

Никита Хрущев, вопреки своему простодушному крестьянскому облику, оказался человеком с упрямым и своевольным характером, был способен, не дослушав, внезапно и бурно разгневаться, бесцеремонно и грубо обругать. Предприняв ряд мер против сталинского

монополизма, он сам же перешел к единоличному, волевому и непрекаемому управлению страной, взяв на себя еще и обязанности председателя Совмина, не располагая для этого склонностью к вдумчивому, углубленному социально-экономическому анализу обстановки... Общество в конце концов устало от бурного и непредсказуемого экспериментаторства, хотелось трезвого перспективного дела.

Прежде всего возникла проблема нового руководителя. Высший эшелон, где решаются такие задачи, во времена волевого десятилетия тоже испытал немало неудобств от непосредственных контактов со своим шумным лидером. Поэтому вполне естественно, что новую кандидатуру подбирали по принципу противоположности: если, например, предшественник был горяч и неуправляем, то его преемник, напротив, должен быть со всеми лицеприятен, коллегиален, иметь терпение выслушивать и принимать советы и рекомендации. Обусловили также линию поведения: спокойно, без суеты исполнять свои непосредственные обязанности, без неотложной надобности не разъезжать по стране, как это часто и показно делал Хрущев в своем специальном поезде с многочисленной свитой экспертов, советников и поваров и даже кавалькадой лимузинов на платформах... Словом, дать стране прийти в себя, оправиться от пережитых новаций.

Таким кандидатом оказался Леонид Брежнев.

И он держался подобающе. Или, как называют это в низах, не высывался. Его портреты в газетах были редки и скромны. И никаких речей и нравоучений. Всем это нравилось. Наконец-то потишело. Страна отдыхала.

Но страна отдыхала работая. Была пущена на полную мощность Братская ГЭС, введен в действие газопровод «Дружба», завершена реконструкция Волго-Балта, осуществлена первая в мире мягкая посадка на Луну автоматической станции.

Тем временем никогда не дремлющий бюрократизм присматривался к очередному лидеру, определяя свою тактику в новой обстановке. После некоторого выжидания в газетах появилась лукавая добавка: «...и лично Леонид Ильич Брежнев». Лидер не возразил, послушно принял подношение. Добавка быстро вошла в обиход и вслед за газетами зазвучала с разновысоких трибун. Взамен невыразительного, будничного «первый секретарь» было предложено прежнее, как у Сталина, осанистое, сразу возвышающее над всеми остальными звание «генеральный». Новое звание пришлось очень даже к лицу, ко всей молодежавшей фигуре.

Теперь золотая звездочка Героя Соцтруда на широкой груди генерального оказалась явно одинокой, и ему преподнесли звезду Героя сначала за Малую землю, а потом еще три героические звезды просто для солидности, для авторитетного вида.



Так же посчитали нужным примерить на него маршальский мундир, и тот, отменно простроченный, приятного цвета топленого молока, пришелся в самую пору, как тут и был. Маршальский же орден Победы, украшенный бриллиантами и камнями, довершил лучезарный облик. Над страной вставало еще одно рукотворное руководящее светило. Еще одно незакатное солнце.

Хорошо, конечно, когда во главе страны стоит авторитетный лидер. Но для этого надо, чтобы он сам создавал свой авторитет. Но... лидера делали другие.

Наконец был преподнесен еще один приятный сюрприз: оказывается, лидер, ставший уже человеком преклонных лет, начавший забывать, в какой карман вложены чужие листки для произнесения «собственной» речи, еще и большой писатель! И хотя уже тогда нетвердые языки проболтались, что «Малую землю», «Возрождение» и «Целину» сработали бойкие подрядные перья, тем не менее официально признанному Высокому автору за выдающиеся литературные заслуги была присуждена Ленинская премия. В тот раз в списке соискателей стояла одна только эта фамилия. Тем самым как бы подчеркивалось, что рядом со столь исключительным талантом находится кому бы то ни было — просто недозволительное самомнение.

Лидер принял премию и, как многие помнят, в ответном слове пообещал написать еще...

Члены жюри и присутствовавшие на церемонии высокие гости одобрительно похлопали этому щедрому обещанию.

Сговорчивый, покладистый руководитель «ленинского типа» готовно брал все, что ему давали, но и без возражений отдавал все, что просили. Щедрой рукой расписывался на подсунутых бумагах, одаривая орденами, званиями, должностями, назначениями, повышениями... Мы — тебе, ты — нам.

Отдал он в распоряжение бюрократизма и самое главное — руководство страной. Редко выезжавший, спеленатый, окутанный коконом лести, заживо мумифицированный, он получал представление о своей стране и ее делах лишь по услужливым газетам, парадным рапортам и припудренным статотчетам. Бумаги же выглядели всегда усыпительно прекрасно.

Дело было сделано, лидер пребывал в желаемой нирване, и бюрократизм, копившийся десятилетиями, пополз из всех своих потайных щелей на отвоеванный оперативный простор. Теперь во всем была его безраздельная и безнаказанная воля!

Как известно, бюрократом не рождаются. Бюрократизмом заражаются. Как заражаются, например, ветрянкой. Как и всякому бациллоносному недугу, бюрократизму для самопроявления необходимы располагающая среда, благоприятные предпосылки. Поражая психологию людей, в первую очередь тех, от кого попахива-

ет хотя бы мало-мальской властью, распространяясь как по вертикали, так и по горизонтали, бюрократизм, будучи весьма пластичным, умеющим приспособливаться к различным общественно-политическим ситуациям, при определенных условиях способен давать вспышки, обретать массовые формы и даже перейти в повальную пандемию.

Сталинский абсолютизм, заложивший опорные глыбы бюрократической системы, все же не был подходящей средой для чиновного благоденствия. Исполнявшие верховную волю и сами наделенные немалой властью, чиновники всех этажей в условиях сталинской опричнины чувствовали себя во многом стесненно. К тому же Сталин, азартный политический игрок, сам небрегая житейскими благами, не позволял жиреть и своим чинам, держа их в гончей, поджарой форме. Но именно та обстановка жестокости, устрашения способствовала нравственной деформации человека, ибо страх является первородной субстанцией равнодушия, лицемерия, низкопоклонства, которые в свою очередь служат основой для порождения других производных пороков. Страх убивает человеческое достоинство, извращает сознание, побуждает падать ниц при виде начищенной обронзовелости.

Особенно пагубной та обстановка оказалась для подрастающего поколения послевоенных лет. Вбирая разлагающий дурман подобострастия, дыша им в стадии своего гражданского становления, многие молодые люди как бы вдохнули в себя инфекцию бюрократизма, став бациллоносителями опасного социального недуга. Это и привело впоследствии к гражданской апатии, небрежению принятыми нравственными и духовными ценностями, к прямому участию в образовании застойной обстановки в стране.

В словарях о нашем, отечественном бюрократизме говорится с некоторым снисходительным осуждением. Бюрократом называется должностное лицо, выполняющее свои обязанности формально, в ущерб делу. Ну подумаешь, иной раз в служебное время куда-нибудь отлучится и то, что надо сделать сегодня, отложит на завтра. Бюрократ он все-таки наш, советский... Вот «у них» — другое дело. Там все условия для процветания бюрократизма. У них — это «иерархически организованная, оторванная от народа и чуждая ему управляющая (политическая, экономическая и др.) система, делающая основным правилом своего функционирования собственное сохранение и воспроизводство».

Ах, если бы только формальное выполнение своих обязанностей! А то ведь на совести нашего бюрократизма куда более тяжкие прегрешения... А разве иерархически организованная мафия высокопоставленных мошенников и казнокрадов в Узбекистане не была оторвана от своего народа? Разве для нее не стало основным правилом функционирования «сохранение и воспроизводство»?



А что связывало с казахским народом кунаевскую иерархическую систему карьеристов, у которых были отобраны сотни потайных гостиниц, охотничьих домиков и прочих злачных уединений, охраняемых заборами, запретными знаками и дежурными постами? Весь этот развлекательный Диснейленд был сооружен на народные деньги, и, разумеется, там, в истоме финских саун, в ковровой глуши номеров, за благоуханием шашлыков и бешбармаков, в обществе умопомрачительных гейш, дискутировали не о благе народном...

Между этими вопиющими примерами каждый может вставить сотни других, но писать об этом тяжело.

Становится не по себе при одной только мысли о том чудовищном разрушении и ущербе, которые были нанесены нашей многострадальной деревне, задерганной, измордованной, исхлестанной чиновно-бюрократическими вожжами. Колхозник шагу не мог ступить без «ценных» кабинетных указаний: и когда ему сеять, и когда полоть, и когда и как убирать — прямо или отдельно, и на какую глубину опускать лемех... И все это под одну и ту же присловицу: давай, давай! Пошевеливайся!

Все это кончилось тем печальным фактом, что в годы застоя были почти разрушены производительные силы деревни. Многие колхозы остались без колхозников. Я знаю курские свекловичные поля, которые приезжали обрабатывать наемные люди из Молдавии. Нет, не отсутствие клубов, пошивочных мастерских и телеателье погнало крестьянина с родной земли. За долгие годы бюрократического крючкотворства и произвола натерпелся он лиха, навидался много раз обещанного процветания, наполучался посулов, наслушался ценных указаний, наглотался начальственных матюков... Плюнул на все землешапец и пошел прочь, куда дорога выведет.

Нет, сущность бюрократизма везде одинакова. Паразитируя на обществе, в том числе и на социалистическом, бюрократизм приспособливается к его социально-политической структуре и прикрывается теми общественными лозунгами, какие реют над ним в данный момент. Нет и не может быть идейного, патриотического бюрократизма!

К середине семидесятых годов, когда Брежнев был окончательно опутан лестью и изолирован, наш родной, отечественный бюрократизм полностью овладел ситуацией и откровенно легализировался в облике самой тлетворной своей разновидности — в форме бытового, тряпичного, стяжательского бюрократизма. Высокие лозунги, доставшиеся нам еще от Ленина, призывавшие общество к социальной активности и нравственному совершенству, выцвели от пустоглазой невосприимчивости, обвисли в наступившем безветрии, превратясь в расхожие слова. Слово «товарищ», всегда означавшее наивысшее духовное единение, стало, напротив, знаком холодного отчуждения. Когда говорят «товарищ такой-то», то

это стало означать, что человеком недовольны. Возвышенное ленинское «гражданин» теперь — это когда человек попался...

На смену прежним критериям как-то ползуче, вегетативно, от одного к другому, распространились иные, взятые из кодекса «бобровых воротников»: «Если ты от Иван Иваныча — проходи, дорогой!», «Черный автомобиль — не роскошь, а средство продвижения», «Локти — не опираться, локти даны толкаться», «Если влип — дай в лапу», «Пойманный не вор, если поделишься...».

Эти постулаты уже не произносились втихую, в своем кругу, их открыто несли в обиход, в практику жизни, внедряли в народное сознание, особенно — в миропонимание молодежи.

Бюрократизм ищет соучастников везде — от верхних этажей до уличных перекрестков. Он стремится взяться за руки, образовать круговую поруку, закольцеваться в единую систему, как это делается в энергетике. Но этого ему мало: он жаждет выглядеть респектабельно и интеллигентно. Для чего старается поголубить свою кровь, породниться с искусством и литературой. И мне не раз приходилось видеть роскошные, с морозной подпушью фирменные бобровые воротники под сенью волшебных муз... Да что там музы! Как-то захожу в магазин незадолго до закрытия. Стою, разглядываю канцтовары. Вдруг слышу — по моим ногам шлепает мокрая тряпка. Торопясь управиться до закрытия, тетя Маня — уборщица (назовем ее так) затеяла мыть полы, не обращая внимания на присутствие покупателей. «Что же вы этак-то грязной тряпкой да по моим ботинкам?! Вы хоть взгляните, — пошутил я, — а вдруг я какой начальник?!» Но тетя Маня даже не подняла головы: «Чево мне на тебя глядеть: начальники по магазинам не шляют!» И еще настырнее полоснула тряпкой по моим ногам, как бы показывая, что я для нее совершенный ноль. Половая тряпка — а уже орудие власти. А если в руках учреждение, управление, министерство?

Развращение народа, пробуждение в нем самых примитивных инстинктов, обращение его в свою бездуховную веру, главными идолами которой являются опять же теплое место и жирный кусок, — одна из главных забот стяжательского бюрократизма в поддержании своей оптимальной экологической среды.

Это оскорбительное «Нет!». Но есть еще более равнодушное «Не надо». На всякое разумное и полезное, душевное и окрыленное следует мертвящая резолюция. Запретная растопыренная пятерня выставлялась перед нашим производством, наукой, искусством, литературой, перед лицом всего нашего умного, сметливого, неисчерпаемо одаренного народа. Потому что всякое шевеление вообще, а тем паче биение народной инициативы и мысли вызывает нежелательные крути и волны на бюрократической застойной незыблемости.

В одном из сел под Обоянью чудаков-умельцев из велосипедных рам, лыжных палок и дюралевых раскладушек смастерил аэроплан и сделал несколько победных виражей над тещиной хатой, которая



не верила мечтаниям доморощенного Икара. Но на другой день пришли не улыбчивые товарищи и в своем присутствии заставили умельца собственными руками отпилить аэроплану крылья... «Не надо, — сказали ему. — Зачем тебе?»

После этого Икар покинул свою деревню.

Была опасность, когда таких крыльев могла лишиться целая страна...

Итак, что же мы перестраиваем?

В древности пирамидальное устройство общества, когда один стоит над другим, попирая нижнего, при всеобщей обращенности к вершине, объяснялось тем, что восседающий наверху и опахиваемый пальмовыми ветвями якобы ниспослан самим Богом. Уже тогда это первоустройство было бюрократическим с огромным штатом иерархических чинов — от высших жрецов, славословивших иерарха, поддерживающих в подданных умах его прямое родство с небом, до мелких сборщиков податей во славу и процветание его же, власть предержащего. И этому верили и падали ниц, ибо таков был уровень мышления тогдашнего, утонувшего в глубине веков изначального, примитивного государственного образования.

Но странно, когда в наше время в стране, вооруженной передовыми социальными идеями, еще недавно насаждалась эта почти божественная ниспосланность. Общественное пирамидальное устройство с балдахином единовластия наверху, навязанное народу Сталиным, с различными переделками и подновлениями, но так и оставшееся безгласным, плохо проветриваемым единоуправным сооружением, фактически просуществовало до XXVII съезда КПСС, на котором и было признано анахроничным и бесперспективным. Его порочность заключалась еще и в том, что между опорным основанием и вершиной неизмеримо велика конструктивная пустота, заполненная промежуточной чиновной межэтажностью. И слишком крут и недоступен возвышающийся уклон. Чем больше ярусность, разделяющая общество, его экономику, науку, культуру на этажи подчиненности, тем больше, по выражению Даля, «многоначалия» и «многописания». И чем круче возвышающийся наклон пирамиды, тем с большим вывихом шеи (и совести тоже) надобно глядеть на ее сиятельную вершину, тем глуше слышны голоса, вопиющие у подножия.

Насаждавшееся в народе подобострастное иерархическое мышление, которое якобы должно было сплотить и целенаправить общество, на самом деле обернулось обездвиженностью мысли, инертностью поступков, гражданской дряблостью и безразличием. А еще — массовым уродливым явлением, когда главным становилась не работа, не дело, не ремесло, не созидание, не наука, не творчество, не самовыражение во всем этом сообразно общепринятым нравственным ценностям, наиглавнейшим делался поиск наиболее

престижного, наиболее освещенного места под люминесцентным солнцем, источающим благодать. И мы разучивались растить хлеб, тесать топором, завинчивать простые шурупы, заколачивая их сплеча молотком... В краску мы чего-то там недомешиваем, в клей чего-то недосыпаем, дерево недосушиваем, резину «недорезиниваем», машинам недодаем микронов, и в результате сделанное нашими разучившимися, а то и недобросовестными руками перестали покупать другие умелые народы. Как и в стародавние времена, берут у нас только сработанное природой: нефть и газ, лес и руды, шкуры и меха, икру и красную рыбу, последних наших осетров и белуг, отстрелянных лосей вместе с рогами и шкурами, грибы, мед, которого у самих почти не стало, и даже волжских раков для закордонных любителей пива. Печальный это перечень...

Сами же, будто мы с дальних, запредельных островов, горделиво расхаживаем в зарубежных фирменных нашлепках, соперничая друг с другом в их рекламной броскости, и рьяно притоптываем и приплясываем под чужую сомнительную дуду.

Страну со всей очевидностью засасывало в безвременье, ее растаскивали, разворовывали — кто карманами, а кто и вагонами, но по-прежнему бодрячески утверждалось, что это и есть развитой социализм.

В нашу сторону все с большим недоумением посматривали социалистические братья. Они чувствовали какие-то нелады у своего старшего соседа. Но мы, как всегда, заносчиво, высокомерно не признавали за собой ничего. Однако «ошибок» и «искривлений» накопилось столь опасно много, что за их нагромождением даже с пирамидальной высоты не просматривалась перспектива дальнейшего движения. Со всей неизбежностью вставал сакраментальный вопрос: кто мы? куда мы?

До последнего времени все наши лидеры напоминали бегунов, которые, сменяя друг друга на исторической дистанции, бежали без эстафетного жезла.

Мудрость и мужество XXVII съезда партии состояли в том непростом решении, что впервые открыто, всенародно было определено вернуться и поднять оброненный эстафетный символ. Вернуться — это не означало отступить. Вернуться к Ленину — значит обрести силу и веру, значит избрать самый истинный и кратчайший путь вперед.

Возвращение к Ленину — это прежде всего признание жизненной необходимости глубинной, всепроникающей демократизации общества. Не просто некоторого послабления, отпуска ремня на две-три дырки, как это прежде бывало, но полного упразднения такового ремня, как меры и средства административного воздействия. Разумеется, это не есть попустительство анархизму, стихии уличной толпы. Демократия — это как раз тот самозатачивающийся инстру-



мент народного самосознания и самодисциплины, который становится тем надежней и действенней, чем будет он в большем употреблении. Демократия, обретая силу, способна уверенно противостоять как разрушающему анархизму слева, так и удушающему бюрократизму справа, подобно тому как луговая дернина, сплоченное сообщество трав противостоят прорастанию дурмана и чертополоха.

Конечный смысл сегодняшней перестройки — возродить народу подлинно демократический, подлинно народный образ жизни, где, например, земля принадлежала бы не райкомам, как она принадлежала до сих пор, а по-ленински — крестьянам и их земельным объединениям, а власть, по-ленински, — Советам...

Наша шестая часть суши должна воистину по-ленински стать Страной Советов! Стать общим нашим домом под красным знаменем Октября — равно справедливым для всех, просторным для души и ума, с широкими окнами, открытыми в наше прошлое и наше будущее, с достоинством, терпимо глядящим на весь остальной многоликий и прекрасный человеческий мир.

## СЛОВО — НА БАРРИКАДАХ ПРОГРЕССА

Пользуясь печатной возможностью, хочу поблагодарить тех, кто откликнулся на мою публикацию в «Литературке» — «Что мы перестраиваем?». Прошу извинить, что я не смог своевременно ответить на все письма, которые, в силу злободневности затронутой мною темы, в большинстве своем написаны с полемическим пафосом, что в свою очередь требует терпеливого и пространного ответа, а по сути — новых статей. А это физически невозможно.

Письма-отклики продолжают поступать еще и теперь, и вот именно в последних, поздних, все отчетливее прослеживается упрек, в том смысле, что перестройка только на словах, что в газетах и журналах бушуют страсти, а в действительности... И приводятся различные примеры такого несоответствия. Вижу ли я, автор «перестроечной статьи», явное расхождение слова и дела?

Вижу, друзья мои, вижу! Иногда желаемое и действительное уж очень далеко отстоят друг от друга. Тогда как в идеале они должны идти рука об руку. Но то в идеале. Потому и поднята по тревоге вся страна, что идеал нашего бытия утратил свои очертания за дальней далью.

Понятно мне и человеческое нетерпение, выражаемое сиюминутными категорическими требованиями: «Меньше слов, больше дела!» Всем нам не терпится, чтобы побыстрее, сегодня же свершилось все, что задумано, что провозглашено всенародно. Мне тоже этого хочется. Но не так это просто. У исторического процесса обновления свои законы. Невиданное наше с вами словоговорение — явление не пус-

топорожнее, как иногда кажется, а диалектически закономерное и даже благотворное. Люди заговорили враз и наперебой. Иногда запальчиво, противоречиво, порой не слушая друг друга, вовсе не из-за пустой прихоти. Они рвутся к слову потому, что уж очень долго молчали! В отупляющей немоте были проведены целые десятилетия. В этой немоте прожили жизнь поколения и успели оставить после себя таких же немых. Лишенного же слова поражает самый тяжелый и опасный недуг — равнодушие. Человек становится рабоподобным, безразличным к своему делу, ко всему окружающему, к своему будущему. Поступки молчаливого непредсказуемы...

Пусть же люди услышат свой голос, пусть выскажутся, пусть освободят душу, сбросят с себя скверное оцепенение, скудоумие поднадзорного единомыслия, Янусово проклятие думать одно, а говорить другое! Придет время — и все станет на свои места: и слово, и дело. Обретенные истина и дело сами успокоят слово.

Благотворность же наших споров и диспутов, даже несогласий и пререканий в том, что развеянное слово истины работает на перестройку нашего сознания. А это на определенном этапе поважнее, нежели перестройка даже самой экономики. Нельзя сдвинуть экономику на новую ступень лишь по приказу свыше. Любое общественное деяние обречено на неудачу, если идеи этого деяния не овладеют большинством.

Вот почему первым на баррикаду прогресса выходит слово. Слово-клич, Слово-правда, Слово-отвага, Слово-знамя. Выверенные модели слова обладают поистине титанической силой. Так ленинский лозунг «Власть — Советам, земля — крестьянам!» поднял за собой всю трудовую Россию, уже, казалось бы, обессиленную, обескровленную империалистическими распрями. Увлекающая мощь этой ленинской идеи такова, что она, пробившись сквозь насилие сталинского деспотизма, сквозь циничные извращения, ныне вновь вдохновляет народные массы и является стержневой сутью теперешней перестройки.

Конечно, в распахнутые шлюзы гласности хлынули не только верные и нужные слова, выстраданные и наболевшие, но и слова-плевелы, слова, пораженные эгоизмом, мелким расчетом, слова, напоминающие пустую обволакивающую пену, и даже слова, по своему воздействию похожие на парализующий стрихнин. Но разве внешний, обновляющий поток бывает чист и прозрачен? Надо только верить, что трезвый разум народа, его врожденное чутье отделит пустые и вредные примеси и воспримет лишь истину, необходимую ему для выстраданной и достойной жизни.



В третий том собрания сочинений Е.И. Носова вошли произведения разных лет. Некоторые из них неоднократно публиковались в России и за рубежом, в том числе в центральных и областных газетах: «Литературная газета», «Литературная Россия», «Сельская жизнь», «Курская правда», «Молодая гвардия», «Городские известия»; в журналах «Знамя», «Новый мир», «Наш современник», «Москва», «Юность», «Смена», «Литература в школе», «Дальний Восток», «Сибирь», «Толока», «Подъем», «Порубежье», а также в «Роман-газете», «Роман-газете XXI век», «Поле Куликовом», «Охотничьем сборнике» и др.

### ВЕЧЕРНИЕ СТОГА *Рассказы, повесть*

#### **Наглядный урок, с. 7–11**

Впервые опубл.: Молодая гвардия (Курск). 1956. 4 сент.

#### **На рассвете, с. 11–25**

Впервые опубл.: Курская правда. 1963. 24 ноября.

С. 20. ...в святом углу новые угодники прибавились. — Святым углом православные верующие называют угол, где находится иконостас (или просто полочка) с иконами Спасителя, Богородицы, святых (святых нередко называют угодниками Божьими, а за некоторыми особо чтимыми праведниками это слово закрепилося как часть их святого имени — Николай Угодник, например).

Иоанном Рыльским знающие люди зовут. — Преподобный Иоанн Рыльский происходил из Болгарии, свое монашеское подвижничество совершал у р. Рыло. Преставился в 946 г.

#### **Портрет, с. 25–35**

Впервые опубл.: Курская правда. 1958. 8 авг.

Эпиграф — из песни «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» (1946 г.; слова А.И. Фатьянова, 1919–1959; музыка В.П. Соловьева-Седого, 1907–1979).

С. 30. ...от МТС не зависим... <...> ...после ликвидации МТС... — МТС — (машинно-тракторная станция) — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР, создававшееся для организационной и технической помощи колхозам. Первая МТС была создана в 1928 г. на Украине, в Одесской обл. Существовали до 1958 г.

**Шумит луговая овсяница...** с. 35–71

Впервые (как небольшая литературическая зарисовка) опубли.: Крская правда. 1965. 7 марта.

В 1975 г. за книгу рассказов и повестей «Шумит луговая овсяница...» Е.И. Носов был удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Горького.

«Я не придумывал, — рассказывал впоследствии писатель о том, как он собирал материал для этой повести. — Я жил тогда в деревне, был с бородой. Хлеба у меня не было. Питался рыбой, которую вылавливал и проквашивал немножко... Но повесть — не фотография, это искусство, которое концентрирует материал». (Цит. по: Чалмаев В. Храм Афродиты: Творческий путь и мастерство Евгения Носова. М.: Сов. Россия, 1972). Воспоминания Чепурина о войне («из нашей семьи девятеро ушло. Сначала батя с дядями. А следом и мы, пацаны»), ранении и госпитале («из детства вырвали прямо взорванным парнем. Миную юность»), ствол восьмидесяти пяти калибра после войны по инвалидности («столичные башмаки на барахолке тысячу рублей стоят»), о посещении дневной школы («иду по коридору, медали звякают, малышня жметесь к стеночке... Директор говорил: "Если надо покурить, заходи в мой кабинет... Только не при детях, пожалуйста"») — все это перекликается с фактами жизни самого писателя.

Первые отзывы о повести в печати противоречивы и характеризуют в большей мере литературную ценность повести 60-х годов, нежели ее основное содержание повести, отразившей приближение нового этапа в жизни деревни. Так, Д. Глубков писал в «Литературной газете» (28 февраля 1968 г.), что «деревенская жизнь для Е. Носова — это не повод для элегических вздыханий и любования этнографическими подробностями. Это прежде всего работа — тяжелая, героическая, еще не всегда ценимая по должному расценку. Это источник великой нравственной силы, издавна присущей русскому трудовому человеку». Г. Бровман, напротив, находил в повестях и рассказах Е. Носова (а также В. Белова и В. Астафьева) «сентиментальную элегичность, которую иногда подкрепляет даже романтическая идеализация» (Лит. газета. 1968. 4 сент.).

Повесть «Шумит луговая овсяница...» в известном смысле находится у истоков широкого читательского признания художественного таланта Е. Носова. Размышляя о творческом пути писателя и судьбе его произведений в критике, А. Кондратович писал: «Широкий читатель, как, впрочем, и критика, обратил внимание на Е. Носова где-то во второй половине шестидесятых годов, когда в журнальной периодике появились его первоклассные... "Шумит луговая овсяница...", "Пятый день осенней выставки", "За долами, за лесами", "Объездчик"» (Кондратович А. На прочных устоях: Проза Евгения Носова. Наш современник. 1982. № 1).

С. 58. Берлин еще брали. <...> Это было в Эбенсвальде, в полевом госпитале. — Берлинская операция в период Великой Отечественной войны осуществлена силами 1-го и 2-го Белорусских фронтов и 1-го Украинского фронта 16 апреля — 8 мая 1945 г.

**Есть ли жизнь на других планетах?** с. 71–81

Впервые опубли.: Молодая гвардия. 1965. № 2.

**Храм Афродиты.** с. 81–103

Впервые опубли.: Носов Е. В чистом поле за проселком. Воронеж: Центр.-Чернозем. книжное изд-во, 1967.

«...У Евгения Носова через всю прозу проходит одна женщина-труженица, как бы стесняющаяся своих тяжелых рабочих рук» (Астафьев В. И тогда стоит писать дальше... — Лит. Россия. 1974. 3 мая). «Носов бывает безжалостен, редко, но все же приговаривает иных героев к нравственной смерти, — писал В. Шуга-



е...с...а...е "С...а...а...ель". — И конечно, "казнит" о... в первую очередь т...х, ...то ...-  
...р...у...й...раб...п...авляет лишь д...я т...г..., ч...обы жирн...и в у н...м...ь-  
...я. Для Но ов...н...рабо...ники, не труже...ки... Таков путеш...с...ющ...й  
архитектор в "Храме А...родиты"...» Лит. Россия. 1974. 11 нояб.).

С. 82. ...бредил новаторством Корбюзье... — Ле Корбюзье (наст. фам. Жан-  
нере, Ш...рль Эд...рд (1897–1965) — французс...ий арх...е...тор и теоретик...и-  
...е...у...ы; ...з...одо...ч...льников современных н...правлений в арх...т...кту...р...  
ционализма, функционализма). По его проекту в Москве построено здание Цент-  
росоюза (1928–1935).

С. 83. ...то ли Грызловка, то ли Дрызгалка, какое-то этакое, в духе некра-  
совского «Кому на Руси...». — См. пролог поэмы Николая Алексеевича Некрасова  
«Кому на Руси жить хорошо»:

Семь временнообязанных,  
Подтянутой губернии,  
Уезда Терпигорева,  
Пустопорожней волости,  
Из смежных деревень —  
Заплатова, Дырявина,  
Разутова, Знобишина,  
Горелова, Неелова,  
Неурожайка тож.

С. 90. Библия... Директивы от Луки, от Матфея... — Писатель использует  
многочисленные духовные понятия, названия (см. далее — «Это моя обитель»,  
«Святая простота»), стремясь показать нравственную чистоту, высоту устремле-  
ний девушки — председателя колхоза.

#### Потрава, с. 104–123

Впервые опубл. (под названием «Объездчик»): Новый мир. 1966. № 2.

В период работы в курской молодежной газете «Молодая гвардия» (1951–1959)  
писатель неоднократно бывал в Стрелецкой степи (в 20 км к югу от Курска, вхо-  
дит в Центрально-Черноземный заповедник). Участок целинной разнотравно-  
злаковой степи, никогда не знавший плуга и сохранивший многие уникальные  
виды растений, глубоко интересовал Е.И. Носова, большого знатока лесостепной  
флоры. И все же не только богатством растительного мира и возможностью фе-  
нологических наблюдений привлекал к себе писателя заповедник: степь, какой  
она представляла не вдалеке от Курска — нетронутая, как бы исторически «закон-  
сервированная», «помнившая» столетия, «видевшая» многие поколения русских  
людей и других племен, настраивала на более высокий, далекий от ботаники лад:  
«...вопрос — кто ты и зачем? — всегда присутствует в облике степи», — обронил  
Е. Носов в одной из публикаций (Лит. Россия. 1976. 14 мая) и тем самым приот-  
крыл для читателей замысел своего произведения.

Рассказ оценен в печати как «превосходный» (В. Астафьев), «хрестоматийный»  
(Ф. Кузнецов), классический (Б. Можаяев), сопоставлялся с рассказом И.С. Тургене-  
ва «Бирюк» («...За время, прошедшее с момента написания Тургеневым "Бирюка",  
сам тип "бирюка-отшельника" проделал большую эволюцию». И. Ростовцева). В од-  
ном из первых откликов на «Потраву» говорилось: «Рассказ невелик, судьба Игната  
проста, изложена четко и безыскусно. Но как поражает эта вещь, по емкости туго  
спрессованных деталей, по значительности мысли превосходящая иной роман...»  
(Голубков Д. Добрая сила земли: О прозе Евгения Носова. Лит. газета. 1968. 28 февр.).

С. 104. ...уведут в полон в Крымское ханство. — Крымское ханство — госу-  
дарство в Крыму в 1443–1783 гг. Выделилось из Золотой Орды. Ликвидировано в  
результате русско-турецких войн, присоединено к России.

...прошли когда-то Игоревы полки «испытать Дону широкого», прошла и конница Будённого — «от Касторной на Тихий Дон»... — Мотив из древнего «Слова о полку Игореве» сочетается здесь с фактом сравнительно недавней нашей истории. Семен Михайлович Будённый (1883–1973) в пору Гражданской войны командовал 1-й Конной армией (1919–1923).

С. 107. ...на искромсанных ступенях рейхстага... — В период Великой Отечественной войны, в ходе Берлинской операции, 30 апреля 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта овладели рейхстагом (парламент Германии в 1867–1945 гг.). Над зданием рейхстага было водружено Знамя Победы.

#### **Земля заповеданная, с. 123–131**

Впервые опубли.: Подъем. 1964. № 2.

В основе рассказа (вариант его печатался под названием «Трое из серой машины») — впечатления от пребывания в Стрелецкой степи, в Центрально-Черноземном заповеднике. Его можно назвать подступом к теме написанной спустя два года «Потравы»: в раннем рассказе нет еще ни истории степи, ни событий драматического характера, сама жизнь заповедника показывается автором вне связи с судьбами окрестных сел и деревень.

С. 123. ...как только миновали Курск, она сошла на темное шоссе рядом с указателем государственного заповедника. — Имеется в виду Центрально-Черноземный заповедник в Стрелецкой степи, в 20 км от Курска.

С. 124. ...следы копыт Игоревых полков... — имеется в виду половецкий поход князя Игоря Святославовича (1185), запечатленный в древнерусском эпосе «Слово о полку Игореве».

#### **Домой, за матерью, с. 131–144**

Впервые опубли.: Лит. Россия. 1967. 19 мая. № 21.

«Мастерство этого удивительного рассказа, — писал Б. Рахманин (Лит. Россия. 1975. 17 окт.), — состоит в том, что автор поведал нам не о матери шахтера Васюкеева, о которой, казалось бы, и следовало говорить, раз все началось с семьи Васюкеевых, а совсем о другой, не имеющей отношения к шахтеру, центральной фигуре рассказа, ни к самому вроде бы сюжету. Сделав это, писатель возвел проблему в степень. Бесчисленное количество матерей предстало перед нашими повлажневшими от душевного волнения глазами».

#### **Пятый день осенней выставки, с. 144–166**

Впервые опубли.: Новый мир. 1967. № 8.

По мнению критики, это — один из лучших рассказов Е. Носова: высокую оценку произведению дали Ф. Кузнецов, В. Чалмаев, Вл. Воронов, Вс. Сурганов, Ю. Томашевский, И. Дедков, А. Кондратович и др.

«Рассказ... заставляет задуматься читателя не о том, вернется ли Клавдия в свою деревню, к прежнему труду, или о том, как плохо быть «белой вороной», а о том, в чем же смысл прожитой жизни? Главное в этом рассказе — не судьба Клавдии, а судьба Анисьи как утверждение внутренних ценностей жизни» (Ростовцева И. Сокровенное в человеке: Литературно-критические очерки. Воронеж: Центр.-Чернозем. книжное изд-во, 1968). Имея в виду судьбы Анисьи и Клавдии, Е. Старикова писала в статье «Социологический аспект современной «деревенской прозы»: «Две тоски, две эмоции сталкиваются в рассказе в живом, невыдуманном, понятном противоречии» (Вопросы литературы, 1972. № 7).



**Во субботу, день ненастный...** с. 166–187

Впервые опубли.: Наш современник. 1968. № 6.

Привлекает прежде всего личность рассказчика, отражающая духовный мир самого писателя, его взгляды на жизнь и литературу: «...хотелось написать что-нибудь простое, бесхитростное, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни, хотя бы вот о таком сером осеннем деньке, о бабкином гусе, зашитом в корзине... написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства». Е. Носов исповедует принципы бессюжетного письма, к которому тяготел, например, и В. Шукшин. «Сюжет. — говорил В. Шукшин в беседе с корреспондентом “Правды”, — всегда несет в себе заданность. Сюжет нехорош и опасен тем, что он ограничивает широту осмысления жизни. <...> Он идет по следам жизни или, что еще хуже, по дороге литературных представлений о жизни. <...> Несюжетное повествование более гибко, более смело, в нем нет заданности, готовой предопределенности» (Вопросы самому себе. М.: Мол. гвардия, 1981).

«Бессюжетное» осмысление действительности во всей остроте и предельной трудности ставит перед художником вопрос «как писать», ибо, по Е. Носову, «о чем», но без «как» — это та щель, через которую старается проскочить бойкая амбициозная конъюнктура, бескрылая серость» (Лит. газ. 1975. 29 янв.); песня же и радость — «понятия нерасхожие, и даются они не всякому. Они сопутствуют лишь горению, бескорыстию и готовности к самопожертвованию, они спутники Человека и Гражданина» (Лит. Россия. 1975. 15 авг.). И еще — о неразрывной связи характера творчества и личности творца: «Человек по складу своему рассудочно-созерцательный, склонный к размеренности собственного бытия, оберегающий свою персону от ушибов и добросовестно блюдающий веления журнала “Здоровье”, способен воссоздать лишь нечто себе подобное, тоже рассудочно-созерцательное, вялое, безмускульное детище, хотя, может быть, и весьма пухлое по количеству страниц» (Носов Е. Он любил эту землю // Воробьев К. ...И всему роду твоему: Рассказы и повесть. Вильнюс: Вага, 1978).

Е. Носов предпочитает, по его же метафорическому выражению, работать не с холодным, а с раскаленным словом и отходить от горнила усталым, измотанным, в ссадинах и ожогах. Он ценит только то искусство, сквозь которое угадывается автор — человек, наделенный личной отвагой, мужеством, «взрывным зарядом темперамента и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем: «...не в словесной образованности дело... В отзывчивости души на все окружающее» (Лит. Россия. 1977. 7 янв.); настоящий художник «живет и борется в литературе не ради самой литературы, а — через ее посредство — ради утверждения жизни и справедливости» (из выступления на VI съезде писателей РСФСР // Лит. газета. 1975. 24 дек.).

**Течет речка...** с. 187–205

Впервые опубли.: Север. 1970. № 1.

«Жизнь течет, как та речка, унося одно, наволакивая другое, обделяя счастьем таких, как Нюрка, и сурово обходясь с Устином, безобиднейшим по своей тихости и незаметности сельским жителем, но не грубая, наглая сила торжествует над душой этого человека, не болезнь... а выжившая... все простившая и забывшая, вознесенная над грязью и пошлостью житейской, юношеская еще любовь к слабому, неприкаянному и — сорок лет спустя — дорогому существу» (Дедков И. Надежные берега. Проза Евгения Носова. Наш современник, 1976. № 7).

Это, пожалуй, один из самых любимых рассказов Евгения Ивановича. Да и герой рассказа, Устин, во многом близок душе писателя. «Ничего, тепло еще потержится. — утешал себя Устин, думая, что, пока постоит тепло, поживет и он. — Осень, глядишь, будет погожая. До Покрова еще сколь... В иные года стоит и сто-

ит теплынь... Дак, а что ж, ежели Покров... Дровец насечь да печку истопить... И выходило, что после Покрова тоже бывает хорошо...»

Труд — основа всему, так всегда считал автор, — спасает и держит человека. Трудом жил и он сам, великим и мужественным своим делом. И еще он сам очень любил осень, любовался ее уходящей солнечно-золотой красотой, не сетовал на надоедливые дожди, грелся на редком и уже не очень теплом солнышке... Может б... п э в т д г ю б г р д у х о а а о к и н ,  
...с в а ч а ... знойного лета.

С. 187. *Дак ить Ильин день проше-е-ел!* — День памяти св. пророка Илии (Ильин день) — 2 августа (20 июля ст. стиля).

С. 192. ...неторопливые «Сопки Маньчжурии». — Старинный вальс: музыка И. Шатрова, слова А. Машистова.

С. 197. *Вот придет Мамай с ружьем...* — Мамай (?–1380) — татарский военачальник, фактический правитель Золотой Орды, организатор походов в русские земли. Потерпел поражение от московского князя Дмитрия Ивановича в битвах на р. Вожака (1378) и на Дону, в Куликовской битве (1380). Убит в Кафе (Крым, нынешняя Феодосия). В русском фольклоре широко использован образ Мамай как жестокого завоевателя, притеснителя; долго еще матери пугали неразумных чад грозным именем — Мамай.

С. 205. *До Покрова еще сколь...* — Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы — 14 августа (1 августа по церковному календарю).

#### **Кнут и атом, с. 205–210**

Впервые опубли.: Молодая гвардия (Курск). 1979. 1 янв.

Это — своеобразное продолжение рассказа «Течет речка...»: пастух Устин, один из самых любимых героев самого автора, — в центре обоих произведений. Но тема здесь иная: город и деревня; раскрыта она на нескольких страницах удивительно емко.

#### **На дальней станции сойду.. с. 210–223**

Впервые опубли.: Лит. газета. 1984. 8 авг.

#### **Петушиное слово, с. 223–228**

Впервые опубли.: Курская правда. 1984. 15 апр.

#### **Кузиногорец, с. 228–232**

Впервые опубли.: Молодая гвардия (Курск). 1984. 24 авг.

#### **Холмы, холмы... с. 232–244**

Впервые опубли.: Лит. газета. 4 янв.

Одинокو путнику посреди поля в ненастье, и вдруг он видит существо не менее одинокое, чем сам. «Это был понуро и недвижно стоявший жеребенок...» Общая тягота рождает желание единения, и вспоминается путнику давно не слышанное: «Кось! Косья! Косечка!» Но голос тут же осекается: «...у ног жеребенка лежало громоздкое и безвольное тело мертвой лошади...» А мимо проезжают жители деревни и не обращают на них внимания, не пытаются хоть как-то помочь этому ребятенку.. «...Я долго не могла заснуть... — пишет автору одна из читательниц. — И даже плакала, прочитав “Холмы, холмы...” И, возможно, расстроилась не из-за жеребенка, а потому, что жуткая картина вырисовывалась передо мною: безразличие людей друг к другу, к животным, эта непролазная грязь! И как вы сказали: пустодушные... Спасибо вам!...»



С. 232. ...именуемыми на школьных картах Среднерусской возвышенностью. — Среднерусская возвышенность — на Восточно-Европейской равнине, от широтного отрезка долины Оки на севере до Донецкого кряжа на юге. Крупные реки: Ока, Десна, Сейм, Псел, Дон.

#### **Карманный фонарик, с. 244–261**

Впервые опубликовано: Москва. 1992. № 1.

«...Растрогал меня Ваш «Карманный фонарик»... Словно бы мы встретились и по душам поговорили. Ну конечно же Вы правы. Что бы там ни болтали наши политики, русская жизнь идет своим чередом. Какая есть. Другую нам не привить, как бы ни старались...» — писала Е. Носову в письме критик И. Стрелкова.

Иван да Марья... Исконно русское сочетание. И исконно русские же характеры — все в них перемешано: и доброта, и деликатность, и расхлябанность, и душа нараспашку, и желание помочь, а то вдруг — сделать все наперекор...

С. 250. *Ваша деревня, грит, теперь непереспективная*... — Теория неперспективных деревень привела к уничтожению огромного количества русских деревень, нанесла вред всему сельскому хозяйству.

С. 252. ...словно в библейские дни сотворения мира. — См.: Библия, книга Бытия: «Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо...» (глава 2, стихи 1–4).

#### **Темная вода, с. 261–279**

Впервые опубликовано: Курская правда. 1993. 29 янв.

Бесхитростный вроде бы сюжет: баба Уля заблудилась по слепоте своей в нескольких шагах от родной деревни, — но глубоко символический. Здесь пустодушие — у одних, беззлобность, всепрощение — у других; именно на душевно щедрых людях и держится земля наша...

#### **Жанки, с. 279–290**

Впервые опубликовано: Москва. 1998. № 12.

За вроде бы веселой историей похождения деревенского песика Жучка, выписанной автором с добрым, тонким юмором, встает тяжелая жизнь российской деревни, когда человек, долгие годы отдавший крестьянскому труду на земле, остается никому не нужным и одиноким. «А я с кем останусь? — вопросом отвечает Павловна на предложение продавщицы отдать ей Жучка. — Пустые углы съедят...»

#### **Алюминиевое солнце, с. 290–317**

Впервые опубликовано: Москва. 1999. № 7.

С. 310. *Надвечер Великой субботы*... — Надвечер — время перед вечером. Великая суббота — суббота Страстной недели (седмицы), перед Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

...на великую литургию... — Литургия — общественное богослужение, в котором, с воспоминанием крестных страданий и смерти Христовой, приносится бескровная жертва за живых и умерших и преподносятся верующим Тело и Кровь Христовы под видом хлеба и вина. В рассказе имеется в виду литургия в пасхальную ночь: служба предваряется чтением из Деяний святых апостолов, после чего следует полунощница с канонами Великой субботы, на литургии звучат пасхальные песнопения (стихи из псалмов — антифоны).

С. 311. ...перед всенощной... — Всенощная, бдение всенощное — праздничная служба, состоящая из вечерни, утрени и 1-го часа с присоединением литии и благословения хлебов.

**Тёпа**, с. 317–324

Впервые опубли.: Москва. 2001. № 1.

С. 317. Особенно на раннюю Пасху. — У православных церквей Пасха приходится на период с 22 марта по 23 апреля по юлианскому календарю (ст. стиль). Народ говорит о ранней Пасхе: «Пасха на снегу».

...благовесту радуются. — Благовест — так у православных христиан называется колокольный звон, призывающий в церковь.

**...И ОСТАЮТСЯ БЕРЕГА...**

*Повести, рассказы, эссе*

**И уплывают пароходы, и остаются берега...** с. 327–373

Впервые опубли.: Наш современник. 1970. № 6.

В последней редакции повести (см.: Носов Е. Усвятские шлемоносцы. Л.: Лениздат. 1982) по сравнению с ее журнальным вариантом 1970 г. свыше трехсот семидесяти поправок: новое членение на абзацы, перестановки слов внутри фразы, замена одних слов на другие, сокращения или дополнения в тексте и т. п. Серьезной правке подверглась кульминационная сцена в повести — спор между Гойей Надцатым и Несветским о культуре, об истории России.

*Редакция 1970 г.*

— Ну дайте же мне сказать, — еще больше бледнеет Гойя Надцатый. — **Как же можно было вывести народ на Куликово поле с толстозадными мадоннами на хоругвях? Тогдашней Руси нужен был Спас Феофана Грека с его суровым аскетизмом, нужна была рублевская Божья Матерь — возвышенная каждой чертой своего высокого духовного облика...**

.....

— ...Ну хорошо, — наседает Несветский. — Давай возьмем эту самую церквуху, которую нам сегодня показывали... Святого Лазаря, что ли? Называют ее уникальной древностью, то-се... Но что в ней особенного? Ну скажи честно, что ты нашел в этом Лазаре? Да ничего! Какая-то баня с крестом...

*Текст 1982 г.*

— Ну дайте же мне сказать, — еще больше бледнеет Гойя Надцатый. — **Вы постоите повнимательнее перед его досками, взглянитесь. Рублевские глаза будут потом преследовать вас годами. Итальянцам этого было не дано при всей их живописности.**

В тексте 1982 г. «выступление» Несветского продолжено: **«И потом, когда рубили этот убогий курник, уже давно стояли действительные шедевры. Возьми хотя бы храм святого Марка в Венеции. Или Петра и Павла в Риме, Софию в Константинополе... Да куда там!»** и дополнено возражением Гойи Надцатого: **«Ну зачем же... Зачем же такие произвольные сопоставления. Дело ведь не в том, кто раньше!»**



Материалом для повести послужили впечатления автора о поездке по Русскому Северу в начале 1960-х гг. Писателя беспокоила не только социально-нравственная проблема изживания малых глухих деревень, но и ажиотаж вокруг заповедных, «нетронутых цивилизацией» уголков страны, нездоровый интерес определенной части молодежи к Северу, мода на старое — храмовое зодчество, иконопись, предметы традиционных ремесел и т. п. «Я в утрированно сопоставлял этим воссургам, — говорил Е. Носов корреспонденту «Лит. России». — Все фальшиво, лицемерно. Надо знать, чтобы судить и ахать. Растаскивают Север: вывозят книги, вещи, выпрашивают всякие вещи, хоть они и без надобности. Когда захотелось об этом написать, я стал искать конкретную форму. Вначале героем был учитель, потом инвалид с Тамбовщины. Писал-писал. Забросил: получалось неинтересно. Я почувствовал, что нужен какой-то абориген, который сам не понимает, что происходит вокруг» (Лит. Россия. 1976. 2 янв.). Так созрел в сознании писателя образ Савони, «управителя одного из островов» на Малой Онеге.

Некоторые критики находил в повести «антигородские» тенденции, «в силу коих доброе, мудрое, трудовое, чисто деревенское начало сплошь и рядом противостоит “развратному и бездушному” началу городскому» (Сурганов В. Да, название обязывает...: Размышления критика о прозе «Нашего современника»/ Лит. газета. 1971. 13 окт.); «явную архаичность» Савони и «утрированное “народное начало” в нем» (Цит. по: Лобанов М. Внутреннее и внешнее: Литературные заметки. М.: Сов. писатель, 1975). В. Чалмаев, как бы отводя подобные упреки, писал в статье «Доверие к жизни»: «Что-то ненатуральное видит» Савоня «во всей этой (туристской. — В. Ч.) толчее и суеде. Впрочем, хочет ли Савоня останавливать, праведнически обличать этот стадный топот, эту мещанскую страсть не просто гульнуть и выпить, а выпить именно в Кижях? <...> Не на все эти и многие другие вопросы художник отвечает в рассказе — и не надо предъявлять и к нему, и к характеру Савони глобальных претензий. Отрадно, что эти вопросы поставлены и что художник вновь не пошел по пути упрощенного ответа на них» (Наш современник. 1971. № 10). «Именем Савони, — утверждает И. Стрелкова, — писатель спрашивает с молодых, равны ли они своему времени, как Савоня был равен своему, уже уходящему» (Лит. Россия. 1971. 6 авг.).

«Носов увидел Север необычайно остро, — отмечал А. Хайлов в статье «Три встречи с Евгением Носовым», — может быть, как раз так, как не всегда могут увидеть привыкшие к нему северяне. Непосредственность первой встречи придает описаниям свежесть первооткрытия. Северный колорит нигде не выставляется нарочито, не подчеркивается — он всегда присутствует, он растворен в повести» (Север. 1972. № 3).

С. 327. ...со стороны Свири, другие от Вытегры и Повенца. Свирь — река в Ленинградской обл. Вытегра — река в Вологодской обл.; на р. Вытегре — город с одноименным названием. Повенец — поселок городского типа в Карелии, в Медвежьегорском районе, на берегу Онежского озера.

С. 327–328. ...многоярусные шатры и маковки церквей... — Шатер (в русской храмовой архитектуре XVI–XVIII вв.) — кровля в виде высокой четырехгранной или восьмигранной пирамиды, увенчанная в церковных постройках главкой с крестом.

С. 328. ...теремные храмы... — Терем — дом в виде башни в Древней Руси.

С. 329. ...я был в Керчи... <...> ...там был раньше греческий город. — Керчь — город на Украине, в Крыму, на берегу Керченского пролива. Основан в VI в. до Р. Х., назывался Пантикапей, был столицей Боспорского царства. В IX–XI вв. — древнерусский город Корчев. В 1475 г. захвачен турками, с 1774 г. — в России.

С. 332. «А это только говорится, что без гвоздей... Не-е, гвоздя там много побито! <...> А прежняя кровля, верно, та без единой железки держалась, что правда, то не сокру». — В 1960-е гг. в Преображенской церкви провели реставрацию, в нарушение долготы перестроителей (поставивших 22-главый храм без единого железного гвоздя), применив металлические конструкции.

С. 337. *Столботворение ерехонское!* — Выражение это родилось из двух других (в основе обоих — события Ветхого Завета): вавилонское столпотворение (построение Вавилонской башни, окончившееся смешением языков и рассеянием народов) и труба ерехонская (что значит — трубный, громкий глас).

С. 338. ...историко-архитектурный ансамбль... — Уникальный ансамбль Кижского погоста. В XIV в. — административный центр деревень, расположенных на островах Онежского острова. В XVII в. вокруг погоста была возведена деревянная стена со столбовыми башнями.

...в храмы Покрова и Преображения... Коллекцию преображенских икон... — До наших дней сохранились 9-главая Покровская церковь (во имя праздника Покрова Божьей Матери; 1764), 22-главая Преображенская церковь (во имя праздника Преображения Господня; 1714), а также шатровая колокольня (1874 г.). Преображенские иконы — иконы на сюжет Преображения Господа и Спаса нашего.

На высокой паперти Преображенской церкви... — Паперть — крытая площадка перед входом в церковь.

С. 339. ...возле часовни Святого Лазаря... — церковь во имя святого Лазаря (друза Господня четверодневного Лазаря, воскрешенного Спасителем на четвертый день после его смерти); относится к XIV в.; привезена на Кижы из Муромского монастыря.

С. 340. ...клетский храм. — Клеть — сруб, простейшая конструкция в деревянном строительстве, образуется положенными друг на друга венцами из бревен (венец — один ряд сруба).

...к временам Дмитрия Донского... — Дмитрий Иванович (1350–1389) — великий князь московский (с 1359) и владимирский (с 1362). За победу над монголо-татарами на Куликовом поле, при слиянии Дона и Непрядвы, наречен Донским. Канонизирован Русской православной церковью.

...в славную пору Юрия Долгорукого, заложившего самую Москву. — Юрий Долгорукий (конец 90-х гг. XI в. – 1157), князь суздальский и великий князь киевский, сын Владимира Всеволодовича Мономаха. В пору его правления в летописях впервые упоминается Москва (1147).

Потом были Иван Грозный и посрамление Орды под Казанью, был царь Борис и нашествие шляхты, великий бунт протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, был бурный Петр, были Пугачев, Наполеон... — Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) — великий князь московский и всея Руси (с 1533 г.) первый русский царь (с 1547 г.), из династии Рюриковичей. Руководил завоеванием Казанского ханства (Казанский поход 1552 г.). Борис Годунов (ок. 1552–1605) русский царь (с 1598 г.). В 1609–1618 гг. Россия находилась под гнетом польско-шведских завоевателей: так, с сентября 1608 г. по январь 1610 г. был осажден Троице-Сергиев монастырь, в 1609–1611 гг. польские войска держали в осаде Смоленск, в сентябре 1610 г. польские войска вступили в Москву; в марте 1611 г. в Москве произошло восстание против польских войск; 26 октября 1612 г. в столицу вступили войска ополчения во главе с князем Д.М. Пожарским и нижегородским гражданином К. Мининым, польский гарнизон, находившийся в Кремле, капитулировал; но лишь в декабре 1618 г. было подписано перемирие (так называемое Деулинское) между Россией и Речью Посполитой (официальное название



польско-литовского государства в 1569–1795 гг.). Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682) — протопоп, глава старообрядчества, писатель («Житие» и др.); выступил против церковных реформ патриарха Никона; провел 15 лет в земляной тюрьме в Пустозерске, но от убеждений своих не отрекся; по царскому указу сожжен. Феодосия Прокопиевна Морозова (урожд. Соковнина) (1632–1675) — боярыня, старообрядка, состояла в переписке с протопопом Аввакумом; умерла в заточении в Боровске (ей посвящена картина В.И. Сурикова «Боярыня Морозова»). Петр I Алексеевич Великий (1672–1725) — русский царь (с 1721 г.), первый российский император (с 1721 г.), круто повернувший патриархальную Русь-Россию на путь реформ. Емельян Иванович Пугачев (1740 или 1742–1775) — донской казак, предводитель казацко-крестьянского восстания (1773–1775); казнен в Москве. Наполеон (Наполеон Бонапарт) (1769–1821) — французский император; в 1812 г. предпринял поход на Россию, бесславно для него закончившийся и приведший к крушению империи Наполеона; последние годы жизни провел на острове Святой Елены, будучи пленником англичан.

С. 341. — *Не бывал в К-калуге? Циолковский, между прочим, жил* — Калуга — центр Калужской обл., в 188 км к юго-западу от Москвы. С 1892 г. в Калуге жил Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935), ученый и изобретатель в области воздухоплавания, авиации и ракетной техники, который по праву считается родоначальником современной космонавтики; в Калуге — мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского.

...некрещеные лопяне... — Лопари, лопяне — расхожее название восточных саамов — народов, живущих в России на Кольском полуострове, а также в северных районах Норвегии, Швеции, Финляндии.

С. 352. — *Ладога к Ленинграду. Мы там в блокаду с батареей под Осиновцом стояли!* — Ладожское озеро, Ладога (в древности — Нево) — озеро на северо-западе европейской части России, в Карелии и Ленинградской обл.; самое большое пресноводное озеро в Европе. Во время Великой Отечественной войны по льду Ладожского озера была проложена Дорога жизни, сыгравшая огромную роль в снабжении и обороне блокированного немецко-фашистскими войсками Ленинграда.

С. 364. ...храм Святого Марка в Венеции. Или Петра и Павла в Риме, Софию в Константинополе. — Пятикупольный собор Святого Марка (Сан-Марко) в Венеции построен в 829–832 гг., перестроен в 1073–1095 гг. Грандиозный собор Святого Петра в Ватикане построен в 1506–1614 гг. (архитекторы — Д. Браманте, Микеланджело, Дж. делла Порта, Дж. Виньола, К. Мадерна и др.); его купол — главная архитектурная доминанта Рима. Храм Святой Софии в Стамбуле (Константинополе, Царьграде русских летописей), Айя-София — выдающийся памятник византийской архитектуры. Воздвигнут в 532–537 гг. Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. Представляет собой трехнефную купольную базилику (длина ее — 77 м). Внутри храм облицован мраморными плитами, украшен мозаиками (среди крупнейших исследователей софийских мозаик — русский ученый академик Н.П. Кондаков, 1844–1925). После взятия в 1453 г. Константинополя турками и падения Византийской империи собор Святой Софии превращен в мечеть.

#### **Голубую лодку напрокат, с. 374–394**

Впервые опубли.: Молодая гвардия (Курск). 1975. 14–15 янв.

Эта повесть перекликается с мотивами повести «И уплывают пароходы, и остаются берега...». В ней та же тема — Русский Север, столь же незаурядный, кремневый характер.

С. 393. ...*таким нелепым концом этой тайной вечера*. — Тайная вечера — вкушение Господом с апостолами пасхального агнца (ягненка) перед своими вольными страданиями; на ней было установлено таинство причащения; православной церковью вспоминается как Великий четверг. Здесь это выражение использовано для большей образности, вне прямой связи с изначальным, христианским подтекстом.

**Когда звенит капель...** с. 394–398

Впервые опубли.: Носов Е. Сердце мое — земля. Курск, 1963.

**Октябрьским днем на проспекте Маркса**, с. 399–406

Впервые опубли.: Курская правда. 1977. 7 ноября.

С. 399. ...*подобный афинскому Акрополю*... — Акрополь — возвышенная, укрепленная часть древнегреческого города (так называемый верхний город), крепость, служившая убежищем на случай войны. Как правило, на акрополе находились храмы в честь божеств — покровителей данного города. Афинский Акрополь — один из самых известных, он внесен в Список всемирного наследия, составленный и утвержденный ЮНЕСКО на Конвенции 1972 г. об охране всемирного культурного и природного наследия (вступила в силу в 1973 г.). Он включает выдающиеся культурные и природные ценности, являющиеся достоянием всего человечества: целые города — Бразилия, Венеция; национальные парки — морской парк Большого Барьерного рифа, Йелоустонский (оба — США), заповедники — Дельфы; исторические центры, площади, соборы — Красная площадь и Кремль в Москве, центр Варшавы и др. Государства, на территории которых находятся эти объекты, берут на себя обязательства охранять и сохранять их.

**Не имей десять рублей...** с. 406–480

Впервые опубли.: Наш современник. 1973. № 8.

В центре повести — типичный карьерист. Сам писатель в одной из статей так выразил суть подобных приспособленцев: «...низвести смысл человеческой жизни к карбканью по чинам. И если уж достигалась какая-то вершина, то не более как куча движимого и недвижимого хлама». Очень характерный для любого времени типаж. И вместе с тем — образчик своего времени.

С. 407. ...*Трудового заменили «знаком Почета»*. — Ордена Трудового Красного Знамени (1928–1991), «Знак Почета» (1935–1988) — государственные награды СССР.

С. 408. ...с «*Девятого вала*» Айвазовского... — Иван Константинович Айвазовский (1817–1900) — российский живописец-маринист; «Девятый вал» (1850) — одна из самых знаменитых его картин.

С. 422. *Вавилон, Египет... Содом и Гоморра*... — Вавилон — древний город в Месопотамии, к юго-западу от современного Багдада. Египет (Древний) — государство в Северо-Восточной Африке, в нижнем течении реки Нил; территория Египта — один из древнейших очагов цивилизации. Содом и Гоморра — см. Ветхий Завет: два города в устье р. Иордан или на западном побережье Мертвого моря, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, ниспосланным с небес; в живых Господь оставил лишь праведного Лота с семейством; названия этих городов стали синонимом беспорядка, хаоса, разврата.

С. 423. ...*Всеволода Большое Гнездо*... — Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212) — великий князь киевский и владимирский, сын Юрия Долгорукого.



С. 440. ...*то на Куйбышевскую ГЭС, то в Тольятти...* — Куйбышевская ГЭС — речь идет о Куйбышевском водохранилище в среднем течении Волги, образованном плотиной Волжской ГЭС. Тольятти — город в Самарской обл., на левом берегу Волги, к северу от Самарской Луки.

С. 441. ...*аж под Аляску...* — Аляска — штат США, на северо-западе Северной Америки; коренное население — индейцы, эскимосы, алеуты; в XVII–XVIII вв. открыта русскими землепроходцами, основавшими здесь ряд поселений; в 1799 г. была создана Российско-американская компания с правом монопольного пользования промыслами и ископаемыми; в 1867 г. была продана российским правительством Соединенным Штатам Америки.

#### **Переписка на машинке, с. 480–491**

Впервые опубли.: Курская правда. 1985. 13 янв.

Писатель надеялся вернуться к работе над повестью, но, к сожалению, так и не завершил ее.

С. 480. ...*от гостиницы у Ботанического сада... в главк на Трифоновскую...* — Ботанический сад: судя по контексту, речь идет о ботаническом саде на просп. Мира, 26. Это — памятник истории и культуры Москвы; заложен он по указу Петра I как Аптекарский огород при Московском генеральном госпитале; согласно преданию Петр посадил в нем несколько деревьев; ныне это — филиал Ботанического сада МГУ. Но вполне возможно, что речь идет о Главном ботаническом саде Российской академии наук (Ботаническая ул., 4). Заложен он в 1945 г. на территории бывшей Останкинской дубравы; неподалеку — две гостиницы: «Останкино» и «Золотой колос». Трифоновская ул. — одна из старейших в Москве, между станциями метро «Рижская» и «Проспект Мира». В древности вся эта местность входила в дворцовое село Напрудное великого князя московского Ивана III; ок. 1472 г. здесь поставлена белокаменная церковь в честь мученика Трифона — она так и называется — Трифона в Напрудном; видимо, по церкви получила название и улица — Трифоновская.

С. 484. ...*Оружейную палату, манежные выставки, антикварные салоны, Донской монастырь, иконы Рублева, Новодевичье кладбище с именитыми надгробьями и даже Палеонтологический музей на Моховой. ...закатиться в усадьбу Архангельское... А то можно и на Бородино, где тоже ни разу не бывал с тех пор, как осенью сорок первого несколько дней отбивались на речке Колоче.* — Оружейная палата в Кремле — один из старейших московских музеев; первоначально — государственное учреждение (известна с 1508 г.); во второй половине XVI – начале XVIII в. ведала изготовлением, закупкой и хранением оружия, драгоценностей, предметов дворцового обихода; в 1640 и 1683 гг. при Оружейной палате были созданы иконописная и живописная мастерские, велось обучение изографов и живописцев; в 1700 г. в Оружейную палату переданы сокровища, хранившиеся в царских Золотой и Серебряной палатах. Манеж московский (старинное название — экзерциргауз) — выстроен в 1817 г., к пятилетию победы над Наполеоном (проект всего здания разработан инженером А.А. Бетанкуром, фасадный декор выполнен по проекту архитектора О.И. Бове); значительна градостроительная роль Манежа: образуя огромную Манежную площадь, он соединяет две центральные улицы — Моховую и Тверскую; первоначально использовался для проведения парадов войск (первый — в присутствии Александра I), учений и смотров; в 1957 г. переоборудован под Центральный выставочный зал. Донской монастырь — основан в 1591 г. в память избавления Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея (1591). Преподобный Андрей Рублев (ок. 1360 или 1370 – 1427 или 1430) —

гениальный русский иконописец; его иконы (из Звенигородского чина, «Троица Ветхозаветная», писанная «в похвалу преподобного Сергия Радонежского») хранятся ныне в Третьяковской галерее; причислен Русской православной церковью к лику святых. Новодевичье кладбище — возникло в XVI в. на территории Новодевичьего монастыря (основан в 1524 г. на юго-западе столицы, в излучине Москвы-реки); в XVII–XVIII вв. — традиционное место захоронения светской и церковной знати, в XIX в. — интеллигенции и купечества; впоследствии — место захоронения известных ученых, деятелей русской культуры, политиков и военных; многие надгробия выполнены выдающимися отечественными скульпторами (среди них Н.А. Андреев, С.Т. Коненков, И.Д. Шадр, М.К. Аникушин, Е.Ф. Белашова, Е.В. Вучетич и др.). Палеонтологический музей — исторически связан с петровскими Кунсткамерой и Минеральным кабинетом (с 1836 г. — Минералогический музей) Петербургской Академии наук; в Москве — с 1934 г.; с 1966 г. носит имя академика Ю.А. Орлова, находится на Профсоюзной ул., д. 124. Видимо, в рассказе имеется в виду родственник Палеонтологическому Геологический музей им. академика В.И. Вернадского (находится в здании на Манежной площади. Архангельское — усадебный ансамбль в стиле классицизма в 20 км к западу от Москвы; в 1703–1810 гг. принадлежало князьям Голицыным, в 1810–1917 гг. — князьям Юсуповым. Музей-усадьба — с 1918 г. Бородино — село в Московской обл., в Можайском районе, в 124 км к западу от Москвы. В его окрестностях Бородинское поле — место Бородинского сражения 1812 г. и боев в ходе Московской битвы 1941–1942 гг. (недаром оно зовется полем русской славы — наряду с Куликовым и Прохоровским). В окрестностях Бородина, близ р. Колочь, стоит Успенский Колоцкий женский монастырь — у стен его в 1812 г., во время Бородинского сражения, размещался штаб М.И. Кутузова.

*В Марьину рощу Невструев отправился...* — Марьина Роща — территория на севере Москвы, между улицей Суцевский Вал и Октябрьской железной дорогой. Название появилось в XVIII в. после прокладки Камер-коллежского вала и расчистки леса близ деревни Марьино.

#### **Зарисовки под капельницей, с. 492–506**

Впервые опубли.: Курская правда. 1997. 23 дек.

С. 492. *...после землетрясений перестройки.* — Перестройка — термин, вошедший в широкое употребление с середины 1980-х гг., обозначавший курс на реформирование политической и экономической системы СССР. В результате непоследовательности, непродуманности реформ произошло обострение всех без исключения сфер жизни общества.

С. 503. *...лицо старого разгневанного Цезаря, каким оно могло бы стать в ее годы, если бы деспота не прикончил Брут. ...Римской империи...* — Гай Юлий Цезарь (102 или 100 – 44 до Р. Х.) — римский диктатор, полководец. Брут Марк Юлий (85 – 42 до Р. Х.) — глава (вместе с Кассием) заговора против Цезаря; по преданию, именно Брут одним из первых нанес Цезарю смертельный удар кинжалом. Священная Римская империя (962–1806), с конца XV в. — Священная Римская империя немецкой нации. Основана германским королем Оттоном I, подчинившим Среднюю и Северную Италию (с Римом); включала также Чехию, Бургундию, Нидерланды, швейцарские земли и др.

С. 505. *...на блокадных портретах Пророкова.* — Борис Иванович Пророков (1911–1972) — график, народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР.



**Тана**, с. 506–511

Впервые опубли.: Смена. 1998. № 6.

**Собачий наперсток**, с. 511–515

Впервые опубли.: Толока. 1999. № 12.

**Задумал еж разбогатеть...** (Современная российская сказка), с. 515–520

Впервые опубли.: Курская правда. 2001.

## ВО ВСЕЙ ПРАВДЕ-МАТУШКЕ...

Статьи, очерки, интервью

**Дорога к дому**, с. 523–527

Впервые опубли.: Курская правда. 1982. 4 дек.

С. 523. *Видел Кызылкум...* — Кызылкум — пустыня в Средней Азии, в междуречье Амударьи и Сырдарьи, в Узбекистане, Казахстане и частично Туркмении.

*...Джунгарского Алатау, за которым из-под ладони виделся Китай.* — Джунгарский Алатау, Семиреченский Алатау — горная система в юго-восточной части Казахстана, а также в Китае.

*...стоял перед невянувшими фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и заглядывал в ссыльную келью опального патриарха Никона в Кириллове-Белозерском.* — Дионисий (ок. 1440 – после 1502/1503) — русский иконописец, стенописец. Замечательны его фрески в храме Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря близ Кириллова (Вологодская обл.). Никон (в миру Никита Минов) (1605–1681) — Патриарх Московский и всея Руси (1652–1667) — провел церковные реформы для унификации богослужения и церковных текстов. На церковном соборе 1666–1667 гг. лишен сана, сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь.

С. 524. *...в тени липовых бульваров непокрытый Гоголь в дорожной накидке...* — Имеется в виду памятник Н.В. Гоголю на Арбатской площади (скульптор Н.В. Томский, архитектор Л.Г. Голубовский), установленный в 1952 г. к 100-летию со дня смерти писателя; ранее на этом месте стоял памятник Гоголю работы Н.А. Андреева (ныне — во дворе дома № 7 по Никитскому бульвару).

*...легендарный дом Ростовых или церковь, где венчался... Пушкин...* — Построенный в конце XVIII — начале XIX в. как усадебный дом князя А.Н. Долгорукова (ныне № 52 по ул. Поварской), известен как «дом Ростовых»; в 1958 г. во дворе дома поставлен памятник Л.Н. Толстому; ныне в «доме Ростовых» — писательские организации. А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова в 1831 г. венчались в церкви Большого Вознесения (иначе — церковь Вознесения за Никитскими воротами).

*Вглядитесь в полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына»...* — Харменс ван Рейн Рембрандт (1606–1659) — голландский живописец, рисовальщик, офортист. Монументальное полотно на библейский сюжет «Возвращение блудного сына» (ок. 1668–1669) воплотило художественную и морально-этическую проблематику позднего творчества великого художника: здесь — и сострадание, и бесконечная милость, и всепрощение. Этот рембрандтовский шедевр — в собрании Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург).

С. 526. *...отрок Феодосий ушел из Курска, чтобы стать игуменом Киево-Печерской лавры...* — Преподобный Феодосий Печерский (ок. 1036–1074), один из основателей и игумен Киево-Печерского монастыря (с 1062). Первым на Руси ввел монастырский устав. Его житие написал преподобный Нестор Летописец.

...дружины буй-тура Всеволода, ух - ившего - знаменитый степной поход. Именно... с тех курских высот прозвучало гордое Всеволодово слово... — Всеволод — Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212), великий князь владимирский (с 1176), сын Юрия Долгорукого. В правлении Всеволода III Владимиро-Суздальская Русь достигла своего наивысшего расцвета. Имел 12 детей (около 10 прозвище). Могущество князя воспето в «Слове о полку Игореве» (конец XII в.). Е. Носов приводит отрывок из «Слова...».

#### **Русское поле, с. 528–531**

Впервые опубли.: Красная звезда. 1987. 25 окт.

#### **Шуметь ли луговой овсянице? с. 532–534**

Впервые опубли.: Молодая гвардия (Курск). 1986. 2 окт.

#### **Что мы перестраиваем? с. 534–555**

Впервые опубли.: Курская правда. 1988. 16 июля.

С. 536. ...во времена строителей великих пирамид. — Пирамиды (здесь) — гробницы древнеегипетских фараонов во II–III тысячелетиях до Р. Х. (например, Хеопса в Гизе — XXVIII в. до Р. Х., высота 146,6 м).

С. 537. Уборевич! Косиор! Гай! Бокий! Енукидзе! Корк! Рудзутак! Гамарник! Примаков! Якир! Лацис!.. Затонский! Уншлихт! Блюхер! Крестинский! Егоров! Тухачевский! Бела Кун! — Иероним Петрович Уборевич (1896–1937) — командарм 1 ранга; репрессирован. Станислав Викентьевич Косиор (1889–1939) — генеральный (первый) секретарь ЦК ВКП (б) Украины (с 1928 г.), заместитель председателя СНК СССР, председатель Комиссии советского контроля при СНК СССР (с 1938 г.); репрессирован. Гай Дмитриевич Гай (наст. имя и фам. Гайк Бжишкян) (1887–1937) — комкор; репрессирован. Глеб Иванович Бокий (1879–1937) — революционер, ответственный работник ОГПУ — НКВД; репрессирован. Авель Сафронович Енукидзе (1877–1937) — секретарь Президиума ЦИК СССР (с 1935 г.); репрессирован. Август Иванович Корк (1887–1937) — командарм 2 ранга; репрессирован. Ян Эрнестович Рудзутак (1887–1938) — заместитель председателя СНК и СТО СССР (1926–1937), член ЦК ВКП (б) (1920–1937); репрессирован. Ян Борисович Гамарник (1894–1937) — армейский комиссар 1 ранга, член ЦК ВКП (б) (с 1927 г.); покончил жизнь самоубийством. Виталий Маркович Примаков (1897–1937) — комкор (1935); репрессирован. Иона Эммануилович Якир (1896–1937) — командарм 1 ранга (1935); репрессирован. Мартын Иванович Лацис (наст. имя и фам. Янис Судрабс) (1888–1938) — советский политический деятель, с 1932 г. — директор Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (Москва); репрессирован. Владимир Петрович Затонский (1888–1939) — член Президиума ЦИК СССР, кандидат в члены ЦК ВКП (б); репрессирован. Иосиф Станиславович Уншлихт (1879–1938) — начальник Главного управления Гражданского воздушного флота (1933–1935), кандидат в члены ЦК ВКП (б) (с 1925 г.); репрессирован. Василий Константинович Блюхер (1890–1938) — маршал Советского Союза (1935); репрессирован. Николай Николаевич Крестинский (1883–1938) — заместитель наркома юстиции СССР (1937); репрессирован. Александр Ильич Егоров (1883–1939) — маршал Советского Союза (1935); репрессирован. Михаил Николаевич Тухачевский (1893–1937) — маршал Советского Союза; репрессирован. Бела Кун (1886–1939) — один из организаторов и руководителей компартии Венгрии; с 1916 г. — в России; тогда же вступил в РСДРП (б); репрессирован.

С. 539. ...лжеученому академику Лысенко... — Трофим Денисович Лысенко (1898–1976) — агроном, академик АН СССР (1939), президент ВАСХНИЛ (1938–



1956, 1961–1962) — создатель псевдонаучной концепции наследственности, изменчивости и видообразования; в период лысенковщины были разгромлены научные школы в генетике, репрессированы или отстранены от работы многие ученые.

С. 540. *...разоблачающая речь Хрущева...* — Имеется в виду доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», с которым он выступил на XX съезде КПСС (25 февраля 1956 г.).

С. 541. *...зверевского податного оброка.* — Арсений Григорьевич Зверев (1900–1969) — нарком (министр) финансов СССР (1938–1960).

С. 542. *«И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: “черт поberi всё!” — его ли душе не любить ее?»* — Из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (1842).

С. 553. *...до XXVII съезда КПСС...* — XXVII съезд КПСС работал в Москве 26 февраля — 6 марта 1986 г. На нем была принята новая редакция Программы КПСС (исключено положение о строительстве коммунизма), утверждены основные направления экономического и социального развития СССР на 1986–1990 гг.

**Слово — на баррикадах прогресса, с. 555–556**

Впервые опубликовано: Лит. газета. 1988. 28 дек.

С. 556. *...Янусово проклятие...* — Янус (в древнеримской мифологии) — бог времени, а также всякого начала и конца, всевозможных входов и выходов (от лат. *janua* — дверь). Изображается Янус с двумя лицами: молодым, обращенным вперед, в будущее, и старым, повернутым вспять, в прошлое. Отсюда выражение — двуликий Янус (что значит — двуличный, лукавый, неискренний человек).

# СОДЕРЖАНИЕ

## Вечерние стога Рассказы, повесть

Наглядный урок .....	7
На рассвете .....	11
Портрет .....	25
Шумит луговая овсяница.....	35
Есть ли жизнь на других планетах? .....	71
Храм Афродиты .....	81
Потрава .....	104
Земля заповеданная .....	123
Домой, за матерью .....	131
Пятый день осенней выставки .....	144
Во субботу, день ненастный... ..	166
Течет речка... ..	187
Кнут и атом .....	205
На дальней станции сойду.. ..	210
Петушиное слово .....	223
Кузиногорец .....	228
Холмы, холмы... ..	232
Карманный фонарик .....	244
Темная вода .....	261
Жаних .....	279
Алюминиевое солнце .....	290
Тёпа .....	317

## ...И остаются берега... Повести, рассказы, эссе

И уплывают пароходы, и остаются берега... ..	327
Голубую лодку напрокат... ..	374
Когда звенит капель... ..	394
Октябрьским днем на проспекте Маркса... ..	399



Не имей десять рублей...	406
Переписка на машинке	480
Зарисовки под капельницей	492
Палатный сосед	492
Членистоногие	494
Синий чепец	497
Говоря, не... колупай	500
Ветерок	503
Тана	506
Собачий наперсток	511
Задумал еж разбогатеть...	515

## Во всей правде-матушке...

### *Статьи, очерки, интервью*

Дорога к дому	523
Русское поле	528
Шуметь ли луговой овсянице?	532
Что мы перестраиваем?	534
Слово — на баррикадах прогресса	555

Примечания	557
------------	-----

**ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ НОСОВ**  
**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ**

**Том 3**

**Редактор Т.А. Соколова**  
**Дизайнер Е.Н. Семенов**  
**Компьютерная верстка Л.А. Фирсова**  
**Корректор М.Г. Лобанова**

**Подписано в печать 18.05.05**

**Формат 60х90/16**

**Бумага офсет**

**Шрифт: Bookman**

**Усл. печ. л. 36.0**

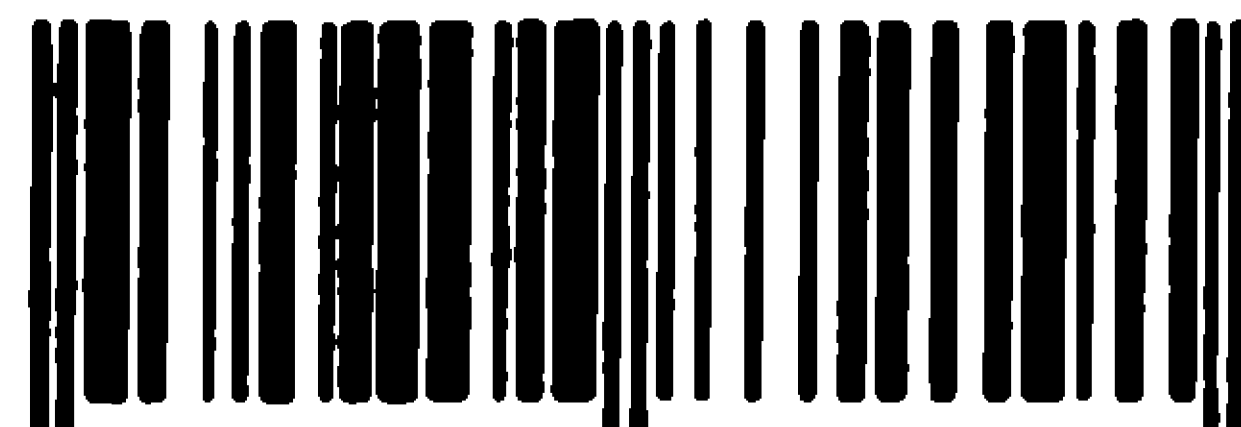
**Тираж 3000 экз.**

**Заказ № 1396**

**ЗАО «Издательство “Русский путь”»**  
**109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2**  
**Тел.: (095) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru**

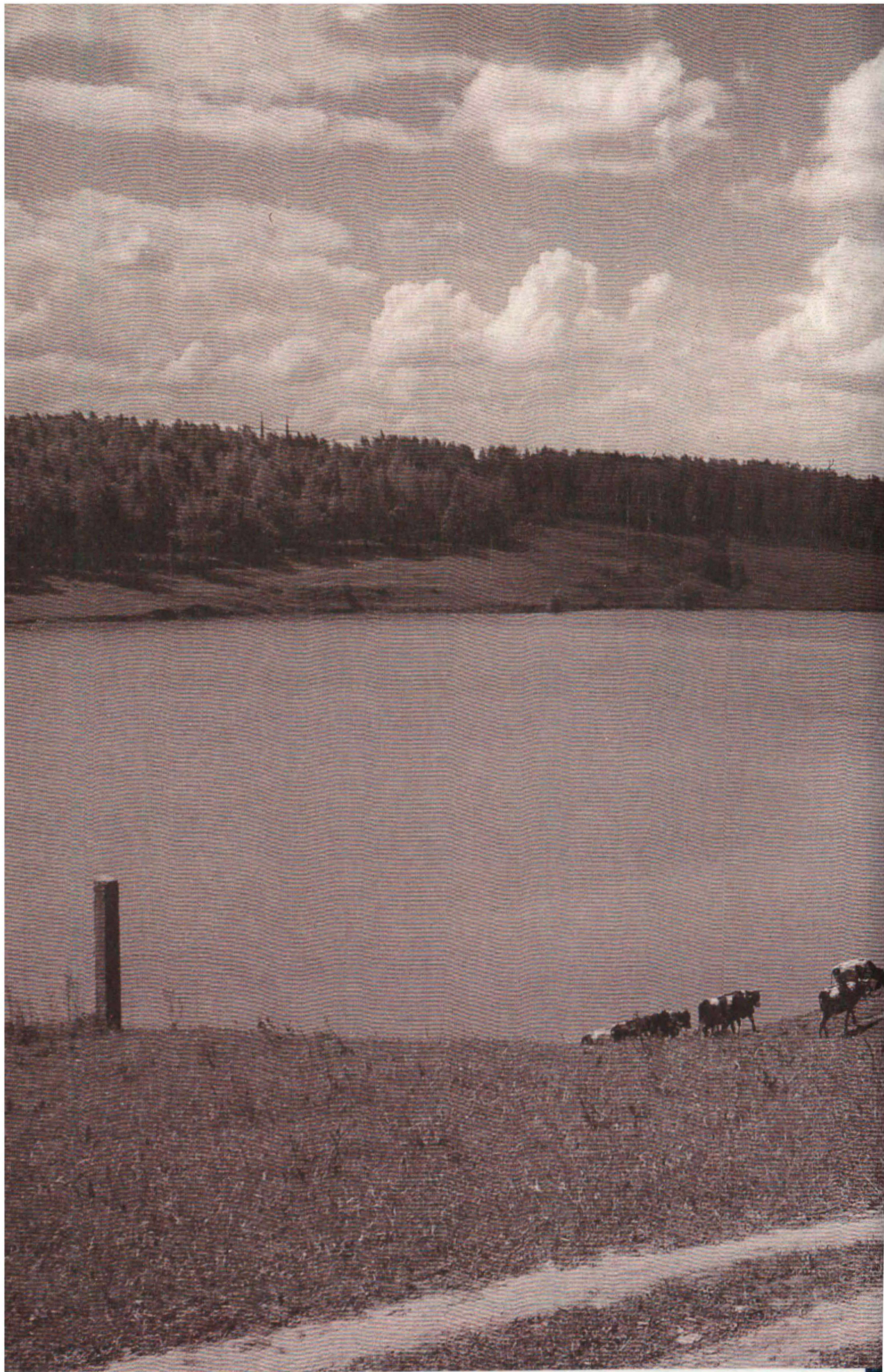
**Отпечатано в ОАО «Типография “НОВОСТИ”»**  
**105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 46**

**ISBN 5-85887-219-0**

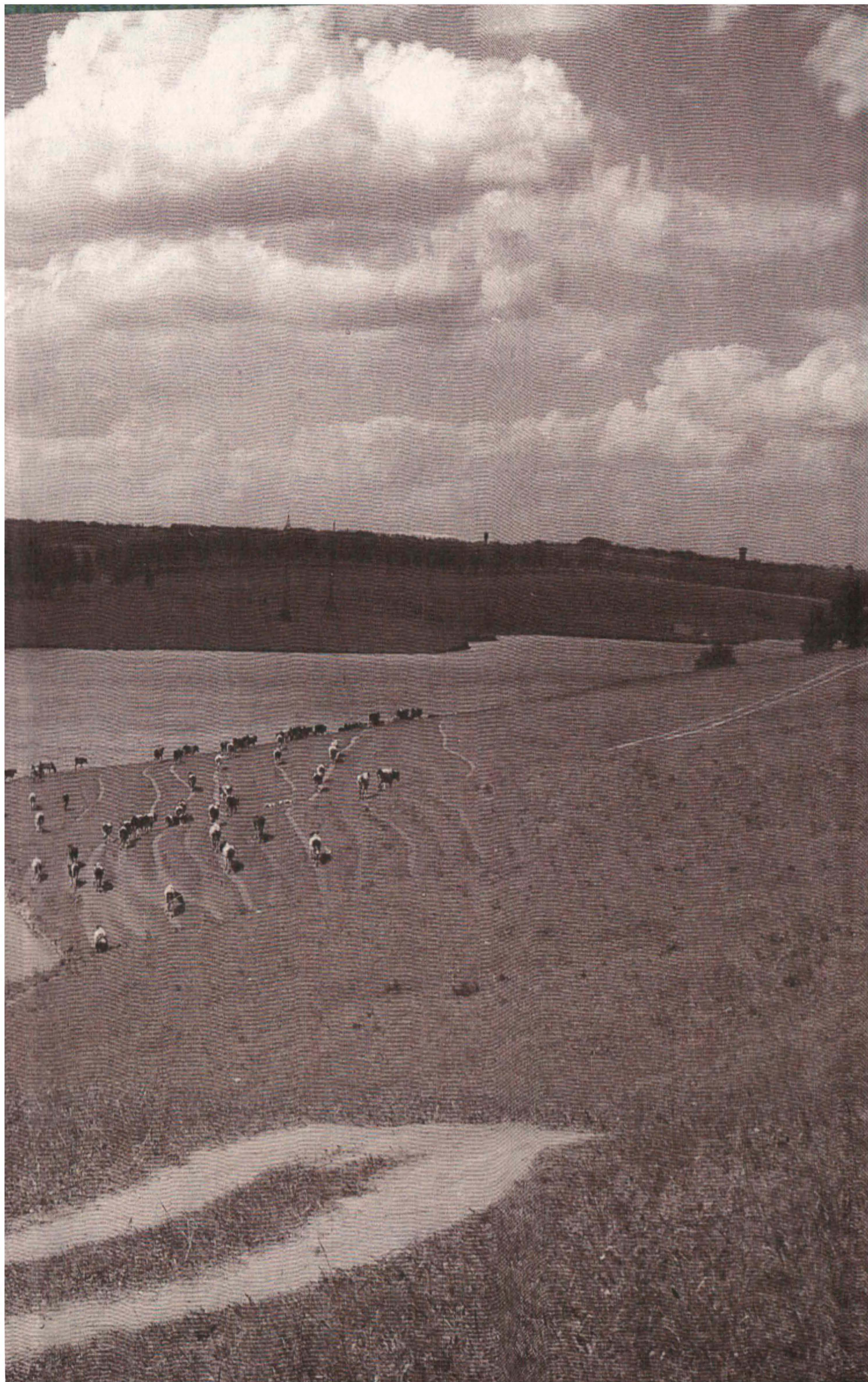


**9 785858 872191 >**











В рассказах Носова крестьянская жизнь – до того натуральная, будто не прошедшая через писательское перо. Никакой литературщины, никаких приемов. Крестьянское осмысленное понимание каждого природного, бытийного хода. Такое коренное, подробное знание его, такой наметанный глаз, такая проницательная наблюдательность, какой не находили мы у дворянских писателей и быть не могло у них по их отстраненному положению. Да вот – она и есть, неизмышленная простая народность, самый тип народного восприятия. Нам тут посылается один из последних памятников деревенской, а значит, тысячелетней и навсегда уходящей Руси. Она застигнута в ее домирающем советском, а затем и послесоветском состоянии. . . . И как же Носов удерживался, чтобы не дать себя согнуть в заказную советскую казенщину?

А.И. Солженицын